Библиотека
всемирной литературы

Серия третья ***

Литература XX века

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ
ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Абашидзе И. В.
Айтматов Ч.
Алексеев М. П.
Бажан М. П.
Благой Д. Д.
Брагинский И. С.
Бровка П. У.
Бурсов Б. И.
Ванаг Ю. П.
Гамзатов Р.
Грабарь-Пассек М. Е.
Грибанов Б. Т.
Егоров А. Г.
Елистратова А. А.
Емельяников С. П.
Жирмунский В. М.
Ибрагимов М.
Кербабаев Б. М.
Конрад Н. И.
Косолапов В. А.
Лупан А. П.
Любимов Н. М.
Марков Г. М.
Межелайтис Э. Б.
Неупокоева И. Г.
Нечкина М. В.
Новиченко Л. Н.
Нурпеисов А. К.
Пузиков А. И.
Рашидов Ш. Р.
Реизов Б. Г.
Самарин Р. М.
Семпер И. Х.
Сучков Б. Л.
Тихонов Н. С.
Турсун-заде М.
Федин К. А.
Федосеев П. Н.
Ханзадян С. И.
Храпченко М. Б.
Черноуцан И. С.
Шамота Н. З.

ЛУ СИНЬ

ПОВЕСТИ

●

РАССКАЗЫ

ПЕРЕВОД С КИТАЙСКОГО

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА · 1971

И(Кит)
Л82

Вступительная статья
Л. Эйдлина

Составление и общая
редакция тома
Н. Федоренко

7-3-4
подп. изд.

О СЮЖЕТНОЙ ПРОЗЕ ЛУ СИНЯ

В 1918 году появился в печати рассказ Лу Синя «Записки сумасшедшего». Автор был уже не молод, ему шел тридцать седьмой год, но до этого его знали лишь по научным и публицистическим статьям.

«Записки сумасшедшего» удивили и даже взволновали читателей, увидевших здесь много нового и необычного. Конечно, некоторые из них помнили, что рассказ с таким названием был уже в мировой литературе, и не кто иной, как Лу Синь, писал в свое время о русском писателе Гоголе.

«Записки сумасшедшего» вышли в свет в ту пору, когда в раздираемом столкновениями милитаристов Китае происходили волнения рабочих, а в передовую интеллигенцию вселила надежды на национальное освобождение революция в России. Надо представить себе все значение, какое в Китае традиционно придавалось писаному слову, чтобы понять весомость и силу идейно направленного литературного произведения.

...«Сумасшедший» давно излечился, и даже назначен на должность, и, конечно, не будет уже высказывать того, что написано в безумных его тетрадях, любезно предоставленных нам автором. Он сделал ужасное открытие — люди едят людей. Они едят их повсюду, а не только в той деревне, что называется Ланцзыцунь — Волчьей. Они, оказывается, ели их всегда, и, раскрыв страницы истории, он видит, как между строк о гуманности, справедливости и прочих конфуцианских добродетелях всюду испещрены они словом «людоедство». Эта пагубная страсть лишает людей веры друг в друга, наделяет их вечной подозрительностью, постыдным любопытством ко всему, что связано с кровью. Казнят преступника, и какой-то чахоточный макает хлеб в кровь казненного — правдивая, взятая из жизни деталь в фантастическом бреде,— мы потом

найдем ее у Лу Синя в рассказе «Снадобье». Да и так ли уж фантастичен этот бред?

«Сумасшедший» знает предания о почтительных сыновьях и задумывается над словами брата о том, что для спасения больных родителей сын должен не колеблясь вырезать у себя кусок мяса и накормить их. И «сумасшедший» предупреждает преданных сыновей от соглашательства, от утешения себя временностью его: «Раз можно съесть кусок, то, конечно, можно съесть и целого человека». Вот как думает «сумасшедший». Он предостерегает тех, кто питается человечиной. Пусть не надеются они, что всегда будет так и людоедство пройдет для них безнаказанно: наступит же, наконец, время, когда «на земном шаре не потерпят людоедов». Что скажут они тогда?

Его охватывает страх при одной мысли, что среди людоедов нельзя уберечься от того, чтобы незаметно для себя не наесться человечины. Может быть, есть еще дети, которые не успели стать людоедами? И он кричит: «Спасите детей!»

Но позвольте, скажет внимательный, сведущий в литературе читатель, не подобным ли призывом кончалось уже другое какое-то произведение? Да, да. «Спасите меня! Спасите!» — кричит герой рассказа Л. Андреева «Ложь». Стоит задуматься над тем, что столь поразившее современников творение Лу Синя начинается с гоголевского заглавия и кончается подобным андреевскому призывом. Стоит задуматься и над тем, почему необходимые для спасения порочного общества слова обличения вложены Лу Синем в уста безумца. И мы постараемся сказать об этом. Пока же заметим, что, находясь в выгодном положении по сравнению с современниками Лу Синя, на суд которых был представлен первый рассказ еще неизвестного им художника, мы уже знаем, что с «Записками сумасшедшего» в мировую литературу XX века вошел великий писатель.

Лу Синя звали Чжоу Шу-жэнь. Псевдоним Лу — это фамилия его матери, деревенскому происхождению которой писатель обязан своими связями с китайской деревней. Мальчик из городской чиновничьей семьи иначе и знал бы только захолустный Шаосин, где он родился. Правда, и город одарил его с детских лет немалым жизненным опытом. Семейные несчастья, болезнь отца, тяжелая бедность и, как следствие всего этого, ломбард и аптека — постоянные для него места посещения. И тогда уже мысли о безрадостной жизни народа и раздумья о тех, кто когда-нибудь стремился помочь ему. И кто чаще всего терпел поражение. Об этом китайскому мальчику рассказывали события древности в исторических книгах. Обычным был интерес к истории и поэзии для юношей, вырастивших в старом Китае. Но еще не окончательно стали историей подвиги тайпинов — крестьян, поднявшихся против маньчжурской династии и основавших «Небесное государство великого благоденствия», и

совсем уж на глазах восемнадцатилетнего Лу Синя происходило антиимпериалистическое восстание ихэтуаней, жестоко подавленное в 1900 году войсками восьми держав.

Лу Синя преследовали безотрадные воспоминания детства, когда вся жизнь семьи была сосредоточена на смертельной болезни единственного ее кормильца. И в Японии, куда он был послан в 1902 году для получения технического образования, он поступает в медицинский институт, чтобы спасать таких, как его отец, «который больше страдал от невежественного лечения, чем от самой болезни». Трагедия отца и трагедия Китая для Лу Синя соединились в одно, и ему казалось, что он нашел того врага, которого так безуспешно пытались поразить все герои древности и современности. Но враг ускользал еще и потому, что будущий исцелитель, мучительно размышлявший над тем, каким должен быть идеальный человек и в чем недостатки национального характера китайцев, все больше отдалялся от медицины, увлеченный философией, литературой, естественными науками. Он твердо знал, что необходимо свергнуть маньчжурскую династию, и в этом ничем не отличался от большинства китайских студентов, учившихся в Японии. Казалось бы, столько примеров доблести в так хорошо известной ему истории Китая, но, по привитой ему привычке, обращаясь к древности, он все же ищет образец героического духа в предках тех, кто уже добился иного существования. Первая статья, опубликованная Лу Синем, «Дух Спарты» — о защитниках Фермопильского ущелья.

Через девятнадцать лет, в 1922 году, в предисловии к сборнику «Клич» Лу Синь обосновывает свое разочарование во всемогуществе медицины: она исцеляет тело, но не дух. Дух народа в оцепенении. Лу Синь думает о том, что такой народ не способен восстать, он может лишь быть либо объектом, либо равнодушно-любопытным зрителем казней. Лу Синю, отошедшему от казавшейся ему прежде всесильной медицины, легче всего уверить себя во всесилии близкой его устремлениям литературы. Он осознал величие литературы и будет ей служить безраздельно. К нему еще придет и понимание задач, какие должны стоять перед литературой в борьбе за национальное и социальное освобождение народа. Это для него станет главным.

К 1907 году относится статья Лу Синя «Сила сатанинской поэзии». По существу, впервые узнал из нее китайский читатель о Байроне, Шелли, Пушкине, Лермонтове, Мицкевиче, Петефи, поэтах «непреклонных», «не льстящих толпе», ведущих к новой жизни. Так воспринимал их Лу Синь. В них видел он идеал поэзии, властительницы дум. Нас же в этом замечательном для своего времени труде должны привлечь и несколько строк о Гоголе, который «печалью невидимых слез потряс соотечественников». О том, что окажется для писателя самым главным, сказано, как видим, попутно. Начало XX века было для Китая и нача-

лом перевода русской литературы — прозы Пушкина, Лермонтова, Толстого, Чехова. В 1909 году Лу Синь перевел с немецкого рассказы Андреева «Ложь» и «Молчание» и рассказ Гаршина «Четыре дня». Осталось ли это только эпизодом для дальнейшей его писательской деятельности?

В том же 1909 году Лу Синь вернулся из Японии на родину. Обрадовавшее его было свержение монархии в 1911 году не принесло народу облегчения: к власти снова пришли реакционеры. Разочарование Лу Синя в совершившейся революции вскоре повергло его в уныние. Деятельная натура его не могла примириться с вынужденной подчиненностью обстоятельствам: «Я понял, что мне далеко до героя, которому стоит лишь взмахнуть рукой и кликнуть клич, чтоб созвать толпы соратников».

Временем молчания и погружения в работу над китайской классикой явились годы с 1914 до 1917. Правда, в январе 1914 года Лу Синь под псевдонимом Чжоу Чо опубликовал рассказ «Былое», интересный для исследователя творчества писателя. Рассказ был написан на старом литературном языке вэньянь, и Лу Синь не включил его ни в один из своих сборников.

Великая Октябрьская социалистическая революция вновь оживила в передовой китайской интеллигенции угасшую надежду на освобождение страны. Усилилась тяга к русской литературе, привлекавшей и прежде заступничеством за обиженного судьбой человека. В ней уже стараются найти и ответ на вопрос о том, как произошло это в России, даже прочитать и то, как сделать это для своей страны. Приближается 1919 год. Готовится культурная революция, которая станет частью «движения 4 мая». И вот тогда-то, на подступах к этому движению, и, кто знает, может быть, как один из сильнейших толчков к нему, в мае 1918 года появляется рассказ «Записки сумасшедшего». Вот время пробуждения Лу Синя. В предисловии к сборнику «Клич» он впоследствии представит нам «Записки сумасшедшего» как плод своих надежд, надежд на то, что слово писателя в состоянии пробудить хотя бы часть людей, спящих глубоким сном в закрытой железной камере. А эти поднимут остальных, и все вместе они разрушат камеру и выйдут на волю.

Автор многих просветительских и злободневных статей, известный в стране педагог, переводчик и публицист. Лу Синь выступил с первым значительным художественным произведением, за которым чередою последуют и другие. Нам известны, конечно, случаи, когда те или иные достаточно серьезные жизненные причины превращали публициста в художника. Удивляться этому не приходится. Важно то, что позднее начало принесло с собою зрелость мысли и чувства и лишило Лу Синя так называемого раннего, то есть отмеченного несовершенством, периода творчества.

«Записки сумасшедшего» всколыхнули китайское общество. В них послышался отклик резкий и бескомпромиссный, отклик, пришедший из-

нутри на тревогу тех, кто все больше размышлял о бедах родины. Но почему же «Записки сумасшедшего»? Да, Лу Синь сам утверждал, что название взято им у Гоголя. Зачем же понадобилось ему это недвусмысленное подражание? И тогда возникает сомнение — а подражание ли это? Какой же явный подражатель станет афишировать свою зависимость. Не будем наивны и мы и заглянем в доступные нам истоки произведения. «Записки сумасшедшего» при кажущейся надуманности — вещь глубоко реалистическая по самому существу своему. Только таким, безумным, и мог быть герой рассказа, восстающий прямо и неприкрыто против тысячелетних государственных установлений.

Представим себе страну с деспотической властью, которая опирается на эти установления, нивелирующие личность, пронизывающие все общество сверху донизу и, более того, занимающие немалое место в воспитании национального характера. Кто способен подняться на такое, не видя поддержки вокруг, не надеясь на сочувствие и не имея никаких оснований сомневаться в своей гибели?

В истории Китая на одиночный протест решались вельможи: сановник мог возразить государю и не обязательно поплатиться за это головой. Величайший историк Китая Сыма Цянь, живший во II—I веках до н. э., вместо казни был жестоко изуродован лишь потому, что посмел заступиться за осужденного государем полководца, потерпевшего поражение. Обличительные речи сносили в старину цари от находившегося на самой нижней ступени общественной лестницы актера, который, по выражению академика В. М. Алексеева, «был придворным гаером, кривлякой, шутом, клоуном». Сыма Цянь рассказывает о карлике Ю Мэне, посмевшем, несмотря на грозивший смертью запрет, возразить против кощунственно-пышных похорон царского боевого коня. Для того, чтобы иметь возможность сказать резкое слово, в X веке Ли Цзя-мин ушел в презренный круг шутов-актеров и говорил это слово. Цари предпочитали, чтобы произнесено оно было огражденным снисходительностью шутом, а не кем другим.

Все это знал, на всех этих преданиях и былях вырос Лу Синь, искавший героя для своего повествования. Китайский герой был подсказан Гоголем. Безумец, только безумец, свободный от чувства самосохранения, мог стать той реальной фигурой, в существование которой поверил бы китайский читатель, не восприняв рассказ Лу Синя как некую фантазию. «Не дай мне бог сойти с ума». Так писал поэт, страшась одной лишь темницы, в которую запрут сумасшедшего. Если же не лишать свободы, то «силен, волен был бы я, // Как вихорь, роющий поля, // Ломающий леса». Ничем не сдерживаемая воля безумца всегда приводила в трепет царей, терпеливо сносивших остроты шутов. «Записки сумасшедшего» прельстили Лу Синя и возможностью заимствования типа героя. Мы встре-

тимся не с одним еще безумным ниспровергателем в других, позднейших его произведениях.

Гоголь своею «Шинелью» и «Записками сумасшедшего» открыл трагический мир «маленького человека». Через три четверти столетия оказалось, что открытие это и даже самый мир этот близки и необходимы Китаю. Не углубляясь во вполне закономерное сравнение Гоголя с Лу Синем, а в частности, с Лу Синем первого его рассказа, заметим все же, что вместе с историей свой шаг вперед сделал и китайский писатель. Его «сумасшедший» в соответствии с требованиями времени радеет за всех обиженных. И на смену жалобе: «Матушка, спаси твоего бедного сына»,— слышен призыв: «Спасите детей!»

Лу Синь — очень национальный писатель, впитавший в себя китайскую традицию и немыслимый без нее, как, естественно, и без китайской действительности. Но эта же китайская действительность не могла уже обойтись без взгляда на запад, когда он врывался в нее и своим насилием, и своим сочувствием. В декабре 1932 года Лу Синь в статье «Приветствую литературные связи Китая и России» писал о китайской молодежи, которая «мучилась и металась» и «нашла русскую литературу». Дальше идет удивительное признание: «Русская литература раскрыла перед нами прекрасную душу угнетенного, его страдания, его борьбу...» Вот оно что. И читая о самом, по мнению Лу Синя, важном, понятом из русской литературы — «что в мире существуют два класса — угнетатели и угнетенные», читая, что «тогда это явилось величайшим открытием, равным открытию огня»,— мы не должны покорно доверяться лишь прямому смыслу этих поразительных строк. Неужели же вправду китаец, родившийся и живший в стране, где все держалось на условиях почтительности и подчиненности в семье и в государстве, так и не замечал деления на угнетателей и угнетенных, о котором догадывались чуть не поэты древности. Вдумаемся в эти слова, будем держать их в памяти, читая Лу Синя, и поймем, что здесь имеется в виду именно открытие души угнетенного человека, его души, принадлежащей ему одному, и никому другому в мире. Как это было необходимо передовой китайской интеллигенции, мечтавшей о духовном раскрепощении народа, об уничтожении проклятой и унизительной привилегии немногих быть личностями. Вот почему особенно значительным для Китая, как и для России в свое время, оказалось то, что на Акакия Акакиевича, на существо, проживавшее незаметно, «так же потом нестерпимо обрушилось несчастие, как обрушивалось на царей и повелителей мира».

В борьбе за развитие и утверждение личности — пока еще оскорбленной, угнетаемой, подавленной, прежде всего необходимо сказать о неповторимой ценности каждого человека. Он сам должен понять, что рождён он не для того, чтобы пополнить собою толпу покорных раз и навсегда заведенным обычаям. Но даже как будто очевидные истины тре-

буют доказательств. И художник Лу Синь взял на себя право доказать, что индивидуальность в Китае существует, что Китай многолик и в жизни, и в смерти. Так обосновывалась надежда на пробуждение народа. В свете этого закономерно обращение Лу Синя и к Леониду Андрееву, писателю пристального, а иной раз даже чрезмерного внимания к душевным переживаниям, передающего чувствительность оголенной души. Здесь подчеркивалась личность — то, чего недоставало китайской жизни и литературе. Возникшая еще в юности вера Лу Синя в литературу, как орудие переделки жизни, оказалась правильной. Только тогда он еще и представить себе не мог всю объемность литературы, ее плодотворность, когда добрые устремления основываются на глубоком исследовании состояния общества. Он тогда не знал и того, какое место займут собственные его произведения. Мне очень жаль, что наш читатель не может насладиться полностью тяжелым изяществом лусиневской прозы, что перевод, как бы ни был он хорош, всегда стоит сам по себе, лишенный того длинного строя теней далекого и близкого прошлого, какие откидывает за собою китайское слово Лу Синя. Впрочем, в великих произведениях это все-таки не главное, и они звучат вопреки любому переводу.

Воспитанию человека, сотворению личности посвятил Лу Синь свой дар художника. Он хотел сделать видимым для всех то, что удалось разглядеть одному ему в людском муравейнике, где обычному взгляду жизнь кажется безличной, смерть же всегда потрясает своей единственной трагедией, напоминающей нам о неминуемом. И, значит, на примере смерти легче утверждается вера в неповторимость человеческой индивидуальности. В произведениях Лу Синя нет (и не может быть) благополучных жизней. Смерти в них насильственны даже тогда, когда герой умирает в постели: они подготовлены несчастливой жизнью. Для Лу Синя нет незаметных жизней и, тем более, нет незначительных смертей. Всем творчеством своим он отвергает мудрость древнего Сыма Цяня, делившего смерть на весомую и ничтожную: «Как знают все, одну лишь смерть имеет каждый человек, но смерть бывает тяжелей, чем великан-гора Тайшань; она бывает и легка, ну, как гусиное перо». Нелепый конец свихнувшегося учителя Чэнь Ши-чэна из рассказа «Блеск» или сознательная гибель мальчика-мстителя из легенды «Меч» — любая смерть жертвы общественного неустройства или деспотии для Лу Синя всегда тяжелее великана-горы Тайшань. Жизнь несчастной героини рассказа «Моление о счастье», умершей «от бедности», проходит в раздумьях о смерти. Остается ли после человека душа, есть ли на том свете ад? Она познала ад, она на этом свете не получила отпущения навязанных ей обществом грехов и надеется на милосердие там. И надежда-то у нее зыбкая, робко и ощупью находимая в темноте ее сознания. Каждая смерть у Лу Синя — убийство, совершенное обществом бессердечным, лишенным жалости и нравственности.

Нравственность лежит в основе произведений Лу Синя. Нам могут сказать, что это вполне естественно и без нравственности нет литературы, ибо она «в природе вещей», и мы готовы к этому замечанию. Но согласитесь, что бывают в сем мире «минуты роковые», когда нравственное слово писателя насущно необходимо, и произносящий его должен сам обладать незаурядной нравственной силой и верой в свою правоту. Лу Синь был таким писателем, и он хотел поднять нравственный уровень общества. Едва ли не дидактически прямо выражено это стремление в рассказе «Маленькое происшествие», в обыденно благородном поступке рикши, невольно заставляющего героя устыдиться собственной душевной черствости.

Нравственные устои китайского общества были расшатаны многовековыми усилиями поколений его угнетателей. Нравственность давно уже стала недосягаемым идеалом золотой древности, а вернее всего, набором лицемерных заклинаний. Нуждается ли это в дополнительном объяснении? Но нравственность с давних времен входила в традицию китайской литературы, и воплощение этой традиции, скажем, в древнейшей «Книге песен» уже тогда вызывало ненависть деспотов. Легко сказать, что Лу Синь, видя в литературе средство для исправления нравов, продолжает нравственную традицию истории китайской литературы. Но впервые в истории Китая литература произведениями Лу Синя послужила глубинному исследованию общества, неопровержимо доказала необходимость революционного переустройства его на справедливой основе как единственного пути к созданию общества высоконравственного.

После каждого произведения Лу Синя стоит дата его написания. Дело исследователя идти от события к событию в жизни страны и писателя, сопоставляя их с содержанием и характером его творений. В нашей стране достаточно много интересных сведений о Лу Сине и серьезных наблюдений читатель найдет в трудах ученых и переводчиков В. М. Алексеева, Б. А. Васильева, В. С. Колоколова, В. В. Петрова, Л. Д. Позднеевой, В. Н. Рогова, В. И. Семанова, В. Ф. Сорокина, Н. Т. Федоренко, А. Г. Шпринцина, А. А. Штукина. Первый сборник писателя «Клич», включивший в себя художественные произведения 1918—1922 годов, был издан в 1923 году. За ним последовали «Блуждания» (1926), «Дикие травы» (1927) и, наконец, в 1936, последнем году жизни Лу Синя,— «Старые легенды в новой редакции».

«Записки сумасшедшего» явились как бы вступлением к первой книге Лу Синя: в них герой рассуждает о людоедском обществе, в остальных же произведениях — картина этого общества. «Клич» и «Блуждания» — как деревенская и городская родина Лу Синя, если позволительна характеристика, основывающаяся на большей части рассказов того и другого сборника. Лу Синь не слишком разнообразен в выборе места для описываемых событий. Лучжэнь, где они происходят, становится

как бы символом старой китайской провинции. События эти находятся и в незримой, а иногда и упоминаемой связи: один из героев «Волнения», лодочник Ци-цзинь, которому после революции 1911 года в городе насильно отрезали косу, встречается нам по тому же поводу и в «Подлинной истории А-кью».

«Кун И-цзи», «Снадобье», «Завтра» — рассказы открытого трагизма, последовавшие непосредственно за «Записками сумасшедшего». Это уже не декларация о людоедстве, а изображение всекитайской трапезы, в которой съедены старик Кун И-цзи, юноша Сяо-шуань и трехлетний ребенок ткачихи, вдовы Шань. Странная и типичная для старого Китая фигура спившегося недоучки Кун И-цзи дана в окружении насмешливо наблюдающих его полноправных посетителей винной лавки. Все они, и те, что в длинных халатах, и даже бедняки в куртках, гордятся своим более высоким, чем у Кун И-цзи, местом в мире. Гордость вытесняет нормальную человеческую жалость. У них нет сочувствия к несчастьям Кун И-цзи, которому, по слухам, перебили ноги за то, что он «задумал обокрасть дом цзюйжэня Дина». В винную лавку в последний раз он приполз на руках. Покидал он ее «под взрыв веселого смеха».

В «Снадобье» на первом плане спасение Сяо-шуаня от чахотки. Лучшее средство — кровь казненного. Ее добывает владелец чайной Лао-шуань, отец Сяо-шуаня. Недалеко от места казни получает он от палача окровавленную пампушку, к которой внимание его приковано, «словно к младенцу — единственному наследнику десяти поколений». Сяо-шуаню не помогло чудодейственное снадобье, он умер. Незадолго до его смерти в чайной Лао-шуаня произошел знаменательный разговор. Палач рассказывает о преступнике, чья кровь спасет Сяо-шуаня. Оказывается, он шел против властей и заявил, что Поднебесная принадлежит не сидящей на троне династии, а всему народу. Это возмущает посетителей чайной, совершенно спокойно воспринимающих сведения об ограблении тюремщиком «преступника» и о вознаграждении, полученном Ся Третьим за то, что он выдал своего племянника. Здесь никого не трогают ни жестокость, ни даже предательство. Всех их веками воспитывали так, чтобы они были на стороне своих угнетателей. Им представляется естественным то, что людоеды пожирают больного Сяо-шуаня и полного сил Ся Юя, посмевшего восстать против деспотизма. Могилы Сяо-шуаня и Ся Юя рядом. На могиле Ся Юя венок из живых цветов. Этот венок Лу Синь в предисловии к сборнику «Клич» назвал улучшением действительности. А может быть, Лу Синь ошибается? Просто он первым, раньше всех других, увидел венок на могиле погибшего революционера: в провидении сила писателя.

В рассказе «Завтра» в знакомом нам уже Лучжэне у вдовы Шань умирает маленький мальчик. Тягостен путь Шань с ребенком на руках от дома к врачу (такой же лечил отца Лу Синя), затем в аптеку и до-

мой. Ей и помогают как будто, но это та людская обязанность, которая еще больше подчеркивает одиночество ее в мирке, ограниченном маленьким пространством Лучжэня. Рискуя показаться назойливым в ассоциациях, снова приводящих к Андрееву, я не могу не вспомнить о рассказе его «Великан» начала 900-х годов, почти несомненно, как и многие произведения Андреева того времени, известном Лу Синю. В нем та же атмосфера безнадежного материнского горя — бедная мать в ожидании смерти ребенка придумывает ему сказку о великане. «Завтра» Лу Синя распространеннее, и конкретнее, и глубже андреевского эскиза, и оставляет в нас не только чувство разрывающей душу скорби, но и неудовлетворенную мысль о завтрашнем, не намеченном писателем дне. Так что же завтра и для чего так спешит ночь «скорее превратиться в завтрашний день»?

В этих первых рассказах Лу Синя ясно видна писательская его позиция, даже если бы она не подчеркивалась авторскими ремарками («Я говорил уже, что она была женщина темная...»). Это позиция сочувствия, заставляющая писателя быть безжалостным во имя спасения тех, кого он любит и чьими покорностью и равнодушием возмущен. Автор дает нам понять, что равнодушие есть порождение жестокой неумолимости деспотического управления обществом, что равнодушие это лишь сродни эгоизму: оно вырабатывает в человеке пренебрежение не только другими, но и собой, полную незаинтересованность в окружающем. В уже упоминавшемся выше рассказе «Блеск» выловили утопленника. «Нашлись люди, которые признали в нем Чэнь Ши-чэна, но соседям лень было пойти взглянуть, а родственников не нашлось». Страшное в своем спокойствии лаконичное подтверждение факта. О какой общественной морали может идти речь, когда нет осуждения предательства, нет жалости к идущему за тебя на гибель, да нет и понимания подлости первого и благородства второго, а уважение к человеку осталось лишь конфуцианской фикцией, выполнением «церемоний». И все-таки что же завтра? Писатель своими произведениями пока не отвечает на этот вопрос. Но он его поставил.

Трагизм рассказа «Родина» приглушеннее. В нем Лу Синь не пытается скрыться за героем-рассказчиком: «брат Синь» называют его. Мы можем предположить, что этим он хотел подчеркнуть достоверность описываемой им родины, «прекрасной родины!» В этих словах нет иронии, в них заключены детские воспоминания. Прекрасная родина детства Лу Синя олицетворялась другом его игр, крестьянским мальчиком Жунь-ту. Дети были равны между собой, а взрослый Жунь-ту называет автора господином и робеет, как робеет он перед всеми стоящими над ним начальниками, солдатами и бандитами.

Племянник автора Хун-эр дружит с Шуй-шэном, пятым ребенком Жунь-ту. Но все повторится: Хун-эр станет «господином», а придавлен-

ный заботами и голодом Шуй-шэн будет с ним почтителен и робок. Если ничто не изменится. Когда Лу Синь захочет немного отвлечься от тяжелых этих мыслей, он почти через два года после «Родины» напишет прелестный, озаренный перемежающимся светом солнца и луны рассказ «Деревенское представление» о «прекрасной родине» своего детства и о маленьких Жунь-ту и Шуй-шэнах, еще не задумывающихся над бедами ожидающей их взрослой жизни. Но мы-то, читатели, все это узнали уже от Лу Синя, и тем сильнее печалят нас безмятежные страницы «Деревенского представления». Изменилось ли что-нибудь в Лу Сине за полгода, прошедшие от «Завтра» до «Родины»? Все ли еще так же вопрошающе смотрит он на ночь, что спешит «скорее превратиться в завтрашний день»? Нет, он говорит уже о надежде. И пусть она кажется ему сотворенным им кумиром, и пусть мечты его, в отличие от практических расчетов Жунь-ту, в туманном будущем, он верит в осуществление своей надежды. Так и дорога: «Сейчас ее нет, а люди пройдут — и протопчут». Это очень важно для понимания законченной в декабре 1921 года «Подлинной истории А-кью».

Психологические рассказы Лу Синя были новостью для китайской литературы, привыкшей к выражению характера героев через внешние проявления их поступков. Западноевропейская, а в особенности русская традиция до удивления легко и органично вошла в китайскую художественную прозу, не отторгнувшую ее, не ощутившую в ней ничего инородного. Это произошло еще и потому, что психологизм, в данном случае и прежде всего психологизм Лу Синя, так прочно переплетен с собственно китайской литературной традицией, что отделить его от нее уже и невозможно. Психологизм не есть привилегия западной литературы, просто в истории ее развития он появился раньше, чем в литературах Востока. Не посчитать ли нам одной из возможных причин этого замечание Лу Синя, когда он говорит в предисловии к русскому переводу его «Подлинной истории А-кью», что «нарисовать глубоко молчаливую душу китайского народа — дело очень трудное. И я чувствую это, ибо, несмотря на все мои усилия проникнуть в нее, я постоянно ощущаю какую-то преграду». «Подлинную историю А-кью», повесть о душе китайского народа, следует отнести к высшим достижениям мировой литературы XX века. Лу Синь готовил себя к этой повести: «Вот уже не год и не два, как я собираюсь написать подлинную историю А-кью...» Свое повествование он облек в героико-иронические одежды. Он пронизал его злободневными полемическими намеками и укорами. Он вначале сделал все, чтобы показать как бы неполную серьезность, как бы остроумную легкость, как бы случайность этого произведения. Но от главы к главе (он публиковал его главами) все решительнее и суровее звучал его голос обличителя. А когда повесть стала обозримой целиком, уже никто (в том числе и ненавистники Лу Синя) не мог сомневаться в величии

совершенного писателем открытия, в революционном значении художественного исследования китайского общества.

А-кью живет в деревне. Он занимает в ней самое низкое место, но играет в ее жизни далеко не последнюю роль. Мы знаем старую китайскую деревню и механизм эксплуатации в ней — он кажется простым и ясным, однако же кто-то должен был впервые обнажить его для нас. Найдем ли мы среди авторов ученых трактатов столь выдающегося и смелого исследователя китайского общества, каким был автор «Подлинной истории А-кью»?

Лу Синь для повествования иронически использовал традиционную форму официальных жизнеописаний в китайских историях. Он в растерянности останавливается перед невозможностью установить родословную своего героя, который пытается нагло утверждать, что он одной фамилии с самим почтенным Чжао, за что и получает от вышеназванного Чжао пощечину. Автор не доискивается до фамилии героя, он даже не может установить подлинный иероглиф его имени. Ничего удивительного, однако, и в возможности для А-кью быть в родстве с Чжао: в том-то и особенность угнетения крестьянина в старой китайской деревне, что помещик не был отделен от него глухой сословной стеной, и тем более страшный и безжалостный характер приобретал помещичий гнет. В пьесе Островского и Соловьева «Светит, да не греет» кулак Дерюгин, вознамерившись купить имение у барышни Реневой, произносит такой монолог: «Забарствует тогда Денис Иванович, узнают его!.. Ну и скручу ж я вас, други милые, мняне православные. Полно вам, ребятушки, баловаться; подвяжу я вам хвосты, это не то, что у господ вы!..» Здесь все, кроме православия, являющегося лишь формальной внешней приметой, соответствует состоянию деревни Лу Синя, и поэтому так часто и тесно общается помыкаемый всеми А-кью со своими работодателями.

А-кью презираем, но нужен, и за ничтожностью А-кью проглядывается труженик, мастер на все руки, без которого не обойтись. Как о рыцарских подвигах, в возвышенном стиле сообщает нам автор о злоключениях героя. И вот уже оказывается, что злоключений-то нет, а есть «победы», и их умиротворяющим туманом окутан А-кью. Своеволие помещика, вымогательства старосты настолько в порядке вещей, что об этом нарочно и говорится-то между прочим. Никого не интересует оскорбительность подобного отношения к человеку, потому что никто и не оскорбляется. Жители деревни окружены частоколом писаных и неписаных моральных правил, но это отнюдь не мешает самым ревностным блюстителям морали покупать у А-кью краденое. В атмосфере безудержного произвола и отсутствия морали превращение жизненных поражений А-кью в «победы» выглядит на первый взгляд безобидным: ведь оно-то никому не вредит. Так ли это?

Иллюзорные «победы» следуют одна за другой. Они начинаются уже с утверждения А-кью, что его сын мог бы быть познатнее, чем сыновья самых почтенных граждан деревни. А когда А-кью бьют, он утешает себя мгновенной выдумкой, что это избил его недостойный сын. А-кью считал себя первым, даже если в глубине души признавался, что первый он среди униженных. Но в таком случае он тут же опускал последние слова и оставался просто первым. Заключительную моральную победу А-кью одержал перед казнью. Вместо подписи он по неграмотности поставил кружок. Кружок вышел у него некрасивым, продолговатым, и А-кью успокоил себя: «Только дурачки рисуют круги совсем круглыми».

Казнь, давшая возможность А-кью одержать последнюю свою «победу», постигла А-кью так же несправедливо, как и все, что совершалось по отношению к нему в мире. Он не грабил честнейший дом «почтенного Чжао», и подозрение, павшее на него, могло основываться также на свежих впечатлениях жителей Вэйчжуана о другой краже, в которой А-кью действительно участвовал и подробностями о которой он с гордостью делился. Та, другая, кража знаменательна для нас не сама по себе: некоторые ее подробности вдруг заставляют нас вспомнить о похожих событиях, описанных за два с половиной века до приключений А-кью в рассказе знаменитого Пу Сун-лина «Некий И, удачливый вор». Вспомнить и о случайности двух этих краж, и об одинаковой до мелочей роли в них обоих героев, убежавших домой после первой добычи. Вспомнить как об еще одном из ряда свидетельств тесного вплетения традиции старого национального повествования в ткань до неожиданности новой для современников лусиневской прозы. (Может быть, Лу Синь и сам бы удивился, если бы ему сказать об этом совпадении, незаметно для него пришедшем из глубины китайской памяти, сохранившей наслоения столетий).

«Подлинная история А-кью» имеет два плана. Один из них — китайская деревня, второй (воспользуемся популярной терминологией) — она же, как модель современного Лу Синю китайского общества, в котором царит дух произвола, пренебрежения личностью, надругательства над человеческой моралью. Для этого общества характерно утешение «моральными победами», сковывающими волю к борьбе за освобождение. Это общество насчитывает века «моральных побед», помогающих забывать об обидах и вообще умеряющих способность к восприятию обиды. Недаром же после ударов лакированной палки старшего сына почтенного Цяня наш герой «почувствовал облегчение, а потом и забвение — драгоценное наследие, завещанное нам предками». Придуманное А-кью утешение «моральной победой» после выхода в свет повести Лу Синя стало называться акьюизмом. Акьюизм — это лицемерие, возведенное в ранг искренности: ища утешения в «моральной победе», человек начинает верить в реальность ее и уже забывает о том, что придумана она

им самим, и лицемерная вначале вера приобретает затем искаженное подобие искренности, и уже не найти концов. Остается лишь удовлетворенность рабским состоянием. «Рабская душа!» — восклицают судьи А-кью, не догадываясь, что слова эти в полной мере применимы и к ним, ибо печальный и смешной герой Лу Синя по воле автора несет на своих плечах весь моральный груз китайского общества.

События повести относятся к 1911 году. Свержение цинской монархии не освободило китайский народ от феодального и империалистического гнета, а значит, не принесло ему и духовной свободы. Карикатурное отражение революции наблюдаем мы, благодаря Лу Синю, в деревне Вэйчжуан, где все остается прежним. За исключением того, что расстрелян А-кью. Но что означают слова его перед казнью: «Пройдет двадцать лет, и снова появится такой же!»? Не этого ли и боится Лу Синь, не от этого ли, не от повторений ли предостерегает Лу Синь. И знакомый уже нам крик «Спасите...», не успевший на сей раз вырваться из уст «преступника»...

Принято говорить, что «Подлинная история А-кью» — гротеск. Но это не так. В ней нет ничего, что преувеличивало бы увиденную художником гротескность действительности, в которой нужны темная ночь, «отряд солдат, отряд самообороны, отряд полиции и еще пять сыщиков» с пулеметом для того, чтобы захватить одного «опасного преступника» — А-кью. Ирония автора, безупречный юмор его, несоответствие возвышенного тона повествования ничтожной сущности происходящего производит комический и страшный эффект. На всем облике А-кью лежит отсвет печали самого Лу Синя.

Выход художественного произведения в свет не разлучает его со своим создателем: однажды наблюденное непременно остается жить в художнике и влияет на дальнейшую судьбу его творчества. Так повлиял и образ А-кью на Лу Синя, мы же, просвещенные Лу Синем, читая написанное им, уже ищем и в других его героях знакомые нам черты. И понимаем, что какая-то часть А-кью заключена и в учителе и чиновнике Фан Сюань-чо из «Праздника лета» с его уговариванием себя, что «разница невелика», с его размышлениями о неизбежности несправедливого, с его полной удовлетворенностью собственным способом жизни. А бедная тетушка Сян-линь из «Моления о счастье» с ее наивной покорностью, с ее готовностью к любым ударам судьбы, совсем иная и все же такая же, как наш старый знакомец А-кью! А когда в маленькой зарисовке «Напоказ толпе» нянька показывает ребенку на белую безрукавку с черными иероглифами приговоренного к казни («Как красиво!»), не предстает ли перед нами снова неунывающий А-кью: «А видели вы, как рубят голову?.. Это красиво! Я видел, как в городе казнили революционеров... Вот это зрелище!» Нет, нет, только не надо думать, что эти люди кровожадны. Горячая, мечущаяся, любопытная улица,

нарисованная Лу Синем в рассказе «Напоказ толпе», холодна и равнодушна, и упавший рикша отвлек уже безразличное, бездумное ее внимание от приговоренного к казни. Таков А-кью во множестве сложнейших его проявлений, уловленных Лу Синем.

«Моление о счастье» и «Напоказ толпе» принадлежат сборнику «Блуждания», по преимуществу «городскому», с рассказами об интеллигенции. Даже неловко уверять в том, что Лу Синь представлял себе особую значительность роли интеллигенции в движении Китая вперед: произведения его, о которых пойдет у нас речь, свидетельствуют об обеспокоенности состоянием духа и возможностями китайской интеллигенции. Но писать о ней он стал несколько позже, чем о деревне. Создается такое впечатление, что писатель поспешил высказаться о самом главном для того, чтобы потом уже обратиться к детальному рассмотрению всех доступных ему частей и элементов этого главного.

Правда, и в сборнике «Клич» Лу Синь не оставляет интеллигенцию без своего, хотя и кратковременного, внимания. Это она, ненадолго появившись в рассказе «Волнение», поэтически восклицает: «О свободная от мыслей и забот радость деревенской жизни!» Нас настораживает эта мимолетная встреча. Наше знакомство со сравнительно молодым, вошедшим в жизнь поколением сверстников Лу Синя начинается «в кабачке». Оно не слишком обнадеживающе. «В кабачке» монолог Люй Вэй-фу, когда-то вместе с автором споривший о будущем Китая, а теперь равнодушного ко всему на свете. Он учительствует, вернулся к тому, что отвергал,—преподает детям старую конфуцианскую науку и ничего уже не ждет от жизни. Он сдался без борьбы, и это уже навсегда. Есть здесь печальный намек на несостоявшуюся любовь, может быть не осознанный самим Люй Вэй-фу, рассказывающим о погибшей от чахотки девушке. И на печальнейшем этом фоне полной безнадежности почему-то пылает среди южного мягкого снега куст ярко-красных цветов, не раз привлекающий взгляд обоих собеседников. Что хочет этим сказать Лу Синь?

Много грусти в «смешном» рассказе «Счастливая семья», герой которого тоже не нашел себя. Он пытается писать, но голова его пуста, как пуст его желудок. Беда в том, что он не приспособлен ни к чему, что мещанские идеалы симпатичного этого человека расплывчаты и ему самому неясны. Так о чем же писать? «Произведение, которое повествует лишь о черных днях жизни, могут, пожалуй, и не принять...» Лу Синь же повествует о черных днях жизни (когда на последние деньги покупаются дрова и капуста), а о светлых днях напоминает вдруг улыбка маленькой дочери, так похожая на улыбку жены героя пять лет тому назад (когда «она слушала, как он говорил ей, что одолеет все препятствия...»). Безгрешная улыбка маленькой девочки сгустила трагизм рассказа и к неуверенности в настоящем добавила угрозу будущего.

Беспокоящийся о состоянии общественных нравов «почтенный учитель Гао» в отличие от героя «Счастливой семьи» — откровенный невежда и бездельник и вдобавок еще игрок. Но он тоже относится к «интеллигенции», поскольку читает лекции в женской школе и придерживается «передовых» взглядов, что засвидетельствовано его статьей об исправлении отечественной истории, как о долге китайских граждан. Эта накипь, это карикатурное отражение благородных стремлений передовой китайской интеллигенции разнообразится у Лу Синя еще одной семьей. Глава ее Сы-мин, герой рассказа «Мыло», тоже обеспокоен падением нравов. Он видел двух нищенок — старуху и девушку, ее внучку, которая всю полученную ею милостыню отдавала бабушке, что говорит о воспитанности ее в духе почитания старших. Огорчен Сы-мин лишь тем, что за все долгое время, пока он наблюдал за нищими, им подали всего один раз. Сы-мин же ничего не дал, потому что девушка, по-видимому, «не простая попрошайка» и подавать мелочь казалось ему неудобным. Перед нами снова все тот же бессмертный А-кью, не покидающий душу китайского «просвещенного» гражданина. К цивилизации всю семью приобщает один кусок душистого мыла, которого достаточно на полгода.

Одинок в злом этом мире тот, кто все еще надеется на осуществление своих идеалов. И потому рассказ так и назван: «Одинокий». Герой его не такой, как все, он вмешивается в чужие дела, и его не хотят терпеть и увольняют из школы, где он, зоолог по образованию, преподает историю. Человек резких суждений, он становится мягким и нежным, когда говорит о детях. Дети — вера самого Лу Синя в будущее Китая. Поэтому так меняется пугливо-злобный Кун И-цзи в своих ласковых беседах с детьми, поэтому так привлекательны дети всюду, где бы ни появились они в произведениях Лу Синя. Одинокий не выдержал голодного одиночества, но и не пополнил собою серые ряды обывателей, потерпев поражение иного рода. Он сделал крутой поворот и стал советником у дивизионного генерала... Спасением для него была смерть.

Следующая смерть — в «Скорби по ушедшей». «Скорбь по ушедшей» — это скорбь самого Лу Синя по еще одной жертве жестокого равнодушия. Он и она — представители самого молодого поколения, вставшего на самостоятельный путь. Этот рассказ — исповедь и покаяние героя... Вначале были возвышенные мечты, разговоры о женском равноправии, об Ибсене, Тагоре и Шелли и бесстрашие в решении пойти наперекор запрету ее родных. Вечный сюжет непокоряющейся любви, но, увы, в новых условиях и уже с непоправимой гибелью, потому что под напором людского осуждения и «бесконечных как поток» забот о пропитании слишком хрупким оказалось чувство. Он говорит ей, что больше не любит ее, а его любовь была единственной силой, поддерживавшей ее в той заброшенности, на какую обрекли они себя своим решением.

Он не приспособлен к затяжным, изнуряющим битвам, и ему представляется, что он стал бы сильнее, будь она человеком более смелых суждений, не погрязни она в домашних заботах. «Если же только и знать, что цепляться за полы идущего человека и виснуть на нем, то тут даже самому отважному бойцу будет трудно сражаться, и гибель обоих неизбежна». Так уговаривает он себя, искренне притворяясь, что «нужно большое мужество, чтобы сказать правду». Как эта бессовестная философия, рожденная отчаянием, возвращает нас немедленно к питающему ее источнику — наивно-лукавым рассуждениям А-кью. Он убил ее своею правдой. Так враждебное общество, само расправившееся с «одиноким», на этот раз наносит своей жертве удар рукой близкого человека, для которого тоже не уготовлено спасения. Он остается один, навсегда уже сломленный... Гибнущая Сян-линь из «Моления о счастье» боится ада, если он существует; искупление принесет ей сделанный для храма подарок — порог, по которому, как по ее телу, пройдут тысячи людей. Герой «Скорби по ушедшей» хочет ада, который был бы еще страшнее переживаемых им душевных мук и где он мог бы вымолить прощение...

Наряду же с этим, спустя семь лет после «Записок сумасшедшего», читатель Лу Синя, пораженный и взволнованный всем, что гений писателя открыл миру,— читатель этот вновь слышит неустрашимый голос безумца, поднятый против несправедливости. «Погасите его!» — кричит герой «Светильника». Он погасит светильник храма, и не будет больше ни саранчи, ни болезней. Не слишком ли легок, однако, этот способ избавления от бедствий? И исчезнут ли они? Ограничивает ли себя безумец только тем, что он погасит светильник? Нам предоставляется самим задуматься над его ответом охранителям огня: пока только это и в состоянии он сделать, он должен погасить светильник — и сам погасит его! Но светильник, по преданию зажженный лянским государем У-ди, горит неугасимо тысячу четыреста лет, и все те, чью темноту, чьи тысячечетырехсотлетние несчастья и беды символизирует этот светильник, все они, они-то сами и не дадут сумасшедшему дотронуться до него. «Подожгу!» — грозится тот из-за решетки, к страху и забаве ребятишек.

Сравнивая между собою два рассказа Лу Синя — «Записки сумасшедшего» и «Светильник», мы замечаем и разницу между двумя их героями. Герой «Записок сумасшедшего» — открыватель истины и обличитель зла, герой же «Светильника» — уже борец со злом, которое все сосредоточено для него в неугасимом светильнике. Если говорить об утилитарной пользе, то обличение подлинного зла даже в той иносказательной форме, какую оно принимает в «Записках сумасшедшего», конечно же важнее, чем посягательство на безобидный огонь, горящий в светильнике. Но мы имеем дело не с единичным жизненным фактом, а с художественной литературой, ее обобщениями и символами. И в этом случае герой «Светильника» при его страстном желании уничтожить зло

мира далеко впереди своего предшественника, указавшего на зло мира. Герой «Записок сумасшедшего» вернулся к исконному состоянию боязливого добропорядочного китайского обывателя. Этот же безумец неизлечим, и он опасен, потому что ничего и никого не боится. Не уверит ли он и других в своей правоте?

Безумцы Лу Синя — более поздних годов рождения, чем хорошо известные ему безумцы русской литературы. Советские исследователи указывали на близость «Светильника» к гаршинскому «Красному цветку». Но герой «Светильника» впереди и трагического героя русского писателя Гаршина. Герой Гаршина ощутил себя властелином своего духа. Тело предает он в руки святого великомученика Георгия — «А дух — нет, о нет!..» Он видит свою задачу в уничтожении зла на земле. И потому, что ему удалось выполнить задачу, так спокойным и светлым было его мертвое лицо; «истощенные черты с тонкими губами и глубоко впавшими закрытыми глазами выражали какое-то горделивое счастье». И вот тут-то приходит черед поставить рядом с ним героя «Светильника». Безумец Гаршина умер за людей, но знает об этом он один, потому что символ зла произвольно придуман им, герой же Лу Синя в своем безумии нашел безошибочный символ бед и отсталости народной. И в «Красном цветке» люди борются с болезнью безумца, оставшегося наедине с великим и, увы, бесполезным подвигом, в «Светильнике» же идет борьба с самим безумцем, представляющим собою заметную опасность для старых установлений старого, завещанного предками мира. Взгляд Гаршина сосредоточен на безумце, все же те, кто вокруг него — и доктор, и надзиратели,— служат лишь заботливым фоном, на котором развертывается призрачная, но и смертельная схватка героя со злом. Враги лусиневского безумца едва ли не важнее для Лу Синя, чем безумец сам: в них мысль писателя и страдание писателя о тысячелетнем мраке (огонь светильника как символ тьмы), в который погрузили народ, в них ужас писателя перед акьюизмом, свято берегущим собственные несчастья.

Ну, хорошо, скажут нам. Вот прочитаны «Клич» и «Блуждания». Где же среди множества волею художника населяющих эти сборники лиц, где они, молодые энтузиасты, бодрые духом и исполненные решимости перестроить несправедливый мир? Разве достаточно одного Ся Юя, так и не выведенного на авансцену, и венка на его могиле?

Лу Синь, как и всякий большой художник, не нуждается в оправданиях. Может быть — в объяснениях. Лу Синь принадлежит к писателям, художественное воображение которых неотделимо от непосредственного жизненного опыта. Все, о чем пишет Лу Синь, произошло с ним самим или было им увидено. Герой его рассказов от первого лица часто даже не прикрыт вымышленным именем. В других же произведениях автор иной раз вторгается в текст, причем делает это не в знакомой нам

классической манере («А теперь, читатель...» и т. п.), а именно подчеркивая собственное свое вмешательство, как это мы наблюдаем, например, в «Подлинной истории А-кью». В этом смысле Лу Синь намного автобиографичнее даже Горького или Лондона. Убедительными комментариями к художественным произведениям Лу Синя — как бы параллельными текстами — могут служить его статьи приблизительно тех же годов. «Болезнь отца» намекнет нам на то, что мальчик в винной лавке из «Кун И-цзи» очень близок писателю, а врач из рассказа «Завтра» — любой из лечивших его отца. Воспоминания о Фань Ай-нуне обращают нас к друзьям Лу Синя — персонажам его художественных произведений. Люди, знавшие писателя, находят в его творениях множество примет знакомой им жизни. Лу Синь пишет о *своем* поколении. Поэтому и печальна нарисованная им действительность: она живет в его памяти и в его сердце. Таков характер творчества Лу Синя, характер, безусловно рожденный временем писателя, требовавшим прямого раскрытия и обличения общественных пороков, произраставших на тысячелетней почве разнообразного угнетения китайского народа. И это было главным, ибо без этого не могли бы действовать те энтузиасты, о которых не написал Лу Синь в своих художественных произведениях. Собственная его практическая деятельность была революционной, а художественные произведения его звали на решительную борьбу. Они причиняли боль и рождали гнев. Как, впрочем, и в настоящее время, потому что имеют отношение они ко всему человечеству. В апреле 1926 года Лу Синь написал статью «Памяти Лю Хэ-чжэнь». Там есть слова, способные выразить испытываемые нами чувства при чтении его произведений, в которых отсутствует образ, но над которыми витает дух революционного героя: «Подлинный герой смело встречается лицом к лицу с жестокой и равнодушной жизнью, смело взирает на льющуюся потоками кровь. Сколько в этом страданий и сколько счастья! Обывателю же всегда потворствует сам естественный ход вещей: пролетает время и смывает прошлое, оставляя лишь розовый след от крови да легкую грусть. В этом розовом цвете крови и в легкой грусти дано человеку влачить существование, сохранять этот как будто человеческий, а скорее нечеловеческий мир. Я не знаю, когда же наступит ему конец!.. Если живые в розовых следах крови увидят хоть проблеск надежды, то подлинные герои пойдут вперед с еще большей отвагой».

Вслед за «Блужданиями» вышли в свет «Дикие травы» — стихотворения в прозе, запечатлевшие настроения Лу Синя на протяжении 1924—1926 годов. Годы усиления национально-освободительного движения, борьбы с империализмом были неспокойными и для личной судьбы Лу Синя, преследуемого реакционерами. После статьи «Памяти Лю Хэ-чжэнь» и других статей, также вызванных расстрелом студенческой демонстрации 18 марта 1926 года, ему угрожало тюремное заключение.

Приходится только удивляться интенсивной внутренней жизни писателя, которая позволяла ему находить время и силы для творчества в эту тяжелую для него пору, подарившую нам и «Блуждания» и «Дикие травы»: «Дикие травы» — тот драгоценный для него самого дневник писателя («Я люблю мои дикие травы, но я ненавижу землю, которую они украшают»), где вместо событий указаны душевные тревоги, и боль, и, реже, радости, но они же и свидетельства очевидца и участника событий тех лет, и пусть вдумчивый читатель сопоставляет их с событиями: «На грани света и тьмы, жизни и смерти, прошлого и будущего я приношу эти дикие травы в дар другу и врагу, человеку и зверю, любимым и нелюбимым — как мое свидетельство».

В «Диких травах» двадцать четыре стихотворения в прозе. Этот жанр далеко не нов для китайской литературы: у Лу Синя были такие предшественники, как танский Лю Цзун-юань (773—819), как сунский Су Ши (1036—1101) или Оуян Сю (1007—1072). Но были они и в западной, в частности в русской литературе. Пока обратимся к самим «Диким травам». Есть несколько стихотворений, прежде всего привлекающих наше внимание. Из них едва ли не самое замечательное — «Умный, дурак и раб». Невыносимо существование раба. И он жалуется умному, готовому заплакать вместе с ним и вселяющему в раба надежду на то, что станет же ему когда-нибудь лучше. И раб полон благодарности и уже понимает, что есть справедливость на свете. Но жизнь его от этого не становится лучше, и в отчаянии своем он обращается к дураку. Дурак называет хозяина раба негодяем и тут же принимается пробивать окно в темной и душной каморке раба. Испуганный самоуправством раб зовет людей: «Разбойник ломает наш дом!» Дурака прогнали, и обрадованный раб удостоился похвалы хозяина. Так стало лучше рабу, так прав оказался умный. Не помог ли Лу Синю покров притчи для того, чтобы под именем дурака придать больше действенности уже знакомому нам безумцу, который хочет погасить светильник. Сумасшедшие и дураки. Как еще иначе могут называть их умные и рабы. «Светильник» написан Лу Синем 1 марта 1925 года, «Умный, дурак и раб» — 26 декабря того же года. Писателя не покидала мысль о борьбе с тиранией и о тех, кто должен привести к концу «этот как будто человеческий, а скорее нечеловеческий мир». Меньше чем через год об этом же напишет он рассказ «Меч».

До Лу Синя в мировой литературе были «Стихотворения в прозе» Тургенева. Китайский писатель читал их и, более того, находился под их впечатлением. Его несколько стихотворений о снах построены так, как у Тургенева «Конец света» («Чудилось мне...» и «...Едва переводя дыхание, я проснулся»), «Насекомое» («Снилось мне...»), «Природа» («Мне снилось...» и «...и я проснулся»). Вспомним тургеневское стихотворение «Чернорабочий и белоручка» в сопоставлении с «Умным, дураком и рабом». Руки белоручки пахнут железом: он шесть лет носил на них кан-

далы. «А за что же это?» — спрашивает чернорабочий. «А за то, что я о вашем же добре заботился, хотел освободить вас, серых, темных людей, восставал против притеснителей ваших, бунтовал... Ну, меня и засадили». И чернорабочий отвечает на это: «Засадили? Вольно ж тебе было бунтовать!» А два года спустя казнят белоручку, который «все бунтовал». «Ну, вот что, брат Митрий,— говорит один из чернорабочих,— нельзя ли нам той самой веревочки раздобыть, на которой его вешать будут? говорят, ба-альшое счастье от этого в дому бывает!» Все очень похоже и на «Умного, дурака и раба», и на «Снадобье». Здесь очень заманчиво определить влияние. Но мешает этому разительная похожесть на стихотворение Тургенева именно «Снадобья», национальная особенность которого при этом безусловна, мешает и близость «Умного, дурака и раба» к многолетним, упорным и самостоятельным раздумьям Лу Синя. И хотелось бы здесь сказать не о влиянии — это слово, в данном случае, как видим, слишком неточно,— а скорее о веянии Тургенева в лусиневских стихотворениях в прозе.

Тревогой о нравственности дышат «Дикие травы». И в свете этой тревоги понятно неожиданное обращение китайца Лу Синя в стихотворении «Месть» к теме распятия Христа, привлекшей в мировой литературе таких художников, как Андреев, Франс, Булгаков. «Бен-Товита» Андреева Лу Синь читал, как читал он, возможно, и «Прокуратора Иудеи» Франса. У Франса безумец, изгоняющий торгующих из храма (Понтий Пилат так и говорит — «какой-то безумец»), не так уж далек от безумцев и дураков китайского писателя. Равнодушие и жестокость прокуратора, начисто забывшего о посланном им на казнь Иисусе, вновь оживают в современном Лу Синю Китае. Как и равнодушие Бен-Товита. В тот страшный день, когда распинают Христа, у торговца Бен-Товита болят зубы, и это настолько портит его радость от удачной мены старого осла на молодого и сильного, что его с трудом развлекает зрелище несущих кресты преступников. «Рассказывают, что он исцелял слепых»,— сказала жена, не отходившая от парапета, и бросила камешек в то место, где медленно двигался поднятый бичами Иисус». У Лу Синя: «Прохожие злословят о нем, первосвященники и книжники насмехаются над ним, двое разбойников, распятые с ним вместе, и те поносят его...» В гибелях и казнях лусиневских героев повторяется старая жестокость неустроенного, равнодушного мира, в котором был Христос, были «семь повешенных», был «белоручка». Не об этом ли думает Лу Синь в своей надежде вызвать в людях гнев, который приведет к революционной переделке общества.

Жанр «Диких трав» — то ли притчи, то ли эссе — позволяет Лу Синю быть публицистически прямым. У него герой стихотворения «Такой боец» единоборствует с ложью, выступающей в виде рядов бесплотных существ. Они прикрываются стягами и мантиями, расшитыми красивы-

ми словами — чистотой национального духа, волей народа, моралью... Он бьется с ними, они делают вид, что падают, и он становится преступником, поднявшим руку на мораль, дух нации, волю народа, убийцей святых этих слов. Привычная игра выдуманными чувствами, потерявшими свой благородный смысл словами — та выгода лжи, против которой выступает «такой боец». Он снова и снова поднимает копье. Лу Синь поднимает копье на ложь в любом ее виде — возвышенную и бытовую. Он не хочет трусливых умствований так называемой житейской мудрости «Суждения», он не хочет спасения облегчающей ложью «Бумажного змея» («Простить, не зная, за что,— значило бы солгать, и только!»). Он хочет, чтобы видели, что ложью питается утвердившееся в обществе лицемерие. Не легко поднимается копье. «Дикие травы» рассказали нам и об уверенности, и о сомнениях, и о надежде, и об отчаянии. Страшен сон, в котором нет сил сдвинуть с груди ставшие до ужаса тяжелыми руки («Дрожь в предчувствии гибели»), печален сон о смерти на дороге («После смерти»). И все-таки путник идет вперед («Путник»). А что впереди? «Впереди — могила»,— говорит старик. Девочка же видит там «много диких лилий и диких роз». Скорее всего — там и розы и могила. Как и его путник, писатель не вернется назад, туда, «где всюду помещики, где всюду гонения и тюрьмы, где всюду ухмыляющиеся физиономии и полные слез глаза».

«Дикие травы» — подлинная поэзия. В «Осенней ночи», «Снеге», «Прекрасной сказке» затаена лирическая и философская традиция предшествующих им прозо-поэтических сочинений китайской классики, и наряду с этим в них свежесть сиюминутного волнующего и нас переживания. Читатель европейский не найдет в них ничего, что показалось бы важным и благородным, но национально чуждым ему. Так все просто и так все близко. Как, кстати, проста и близка китайская старина, послужившая далеким истоком актуальной поэзии Лу Синя. И когда мы читаем «Засушенный лист», стихотворение «о поздней осени прошлого года», и доходим до сетования писателя о нынешнем годе («...жаль только, что в нынешнем году у меня не нашлось времени, чтобы полюбоваться осенними деревьями»), на память нам охотно является подобное же настроение Бо Цзюй-и: «Я постарел, но все к вину пристрастен. // Весна придет, мне дома не сидится. // А в том году я вышел слишком поздно // И не видал лоянского цветенья». Не осень, а весна, и год не нынешний, а «тот». И все-таки какое совпадение случайностей — той, что такое настроение было и у Бо Цзюй-и, той, что и Бо Цзюй-и — китаец. И никуда от подобных совпадений не уйдешь, если хочешь понять литературу китайцев.

Само название «Старые легенды в новой редакции» предполагает наличие старой сюжетной основы, досконально известной китайскому читателю с детских лет. Но что означает «новая редакция»? «Новая редак-

ция» — это взгляд писателя на эти легенды, извлечение на свет их нравственной сущности. Легенды писались Лу Синем с перерывами на протяжении тринадцати лет. Если мы обратимся к публицистике Лу Синя или даже ограничимся примечаниями к последнему собранию его сочинений, нам очень нетрудно будет заметить, сколь злободневны эти легенды, как полемизирует в них Лу Синь со своими противниками, делая ситуации аналогичными современным ему или цитируя известные полемические произведения устами героев. По-видимому, тщательный анализ способен привести и к дальнейшему уточнению всяких иносказаний и нарочитых заимствований. Но в этом ли дело? То время ушло, и для нас важно, чему служит художественное произведение сейчас, насколько актуально оно и вне сенсационной злободневности.

Лу Синь старается освободить легенды от ритуальной пышности. Все буднично в той жизни, которую он описывает, все приближено к обывательской каждодневности. Как может ждать читатель чудес в заурядно-бытовом прибытии домой усталого Стрелка И («Побег на луну») после неудачной охоты, принесшей ему трех ворон и одного воробья. Знаменитый герой, некогда спасший мир, теперь никому не известен, бывший его ученик украл его славу и пытается убить его, и, наконец, от него уходит жена. Она (Лу Синь верен легенде) улетает на луну, похитив лекарство бессмертья, и тем нелепее эта архаизованная современная ситуация, в нелепости которой сохраняется благородство Стрелка.

Романтическая история мести за отца в легенде «Меч» также окружена бытовыми подробностями. Но в ней они отходят на второй план, уступая место великой идее борьбы с тиранией. От одной даже сцены выезда царя можем мы получить впечатление о моральном состоянии общества, в котором, «по общему мнению, того, кто ниже всех склонился перед царем, следовало бы объявить образцом для народа». И вот среди этих рабов поднимается мститель, мальчик, готовый убить царя. В другой легенде Лу Синь вкладывает в уста философа Мо-цзы слова о том, что смертью своей надо принести пользу народу. Мальчик же одинок, и мир враждебен ему — его убьют до того, как он успеет отомстить. И в помощь ему Лу Синь (уже не в первый раз) выбирает странного, для этого мира безумного человека с горящими глазами и непонятными песнями. Выбирает такого сознательно, о чем есть свидетельство самого писателя. Черный этот человек не хочет, чтобы его называли заступником вдов и сирот: слишком много раз произносились эти слова лицемерно. Он отделяет себя от высокопарной болтовни: «Люди, да и я сам, так изранили мою душу, что я возненавидел себя». Он убил царя и погиб сам, но выше него для нас мальчик, который не раздумывая пожертвовал жизнью, без чего не удалась бы месть. Легенда написана Лу Синем в октябре 1926 года, того самого, в марте которого была расстреляна студентка Лю Хэ-чжэнь. Легенда заканчивается похоронами трех черепов:

поскольку невозможно было угадать, какой из них царский, высшие почести пришлось оказать убитому, жертве и убийце. «Некоторые верноподданные сдерживали слезы справедливого гнева, думая о том, что души двух ужасных преступников в этот момент вместе с царем вкушают жертвоприношения. Но ничего нельзя было сделать». Что изменилось за десятки веков? — спрашивал себя китайский читатель. И не пора ли уже всем понять то, что оказалось ясным на этих похоронах? То есть то, что, как мы помним, сказал Гоголь о равенстве личности Акакия Акакиевича с любою самой высокой другой в несчастье, которое так же нетерпимо обрушилось на него, «как обрушивалось на царей и повелителей мира». Тем более, что в данном случае воля подданных сама обрушила несчастье на царя.

По-разному связаны с современностью написанные одна за другой легенды «Покорение потопа» и «За папоротником». В первой из них мифический покоритель стихии, спасающий людей от потопа — неутомимый работник, повадками своими неожиданно напоминающий Петра Первого. Вся легенда причудливо опрокинута в современное Лу Синю китайское общество. Оторванные от жизни ученые, спасающиеся на горе Культура, занимаются знакомой китайскому читателю болтовней, регулярно получая провизию, и если бы не сверху на летающих колесницах доставлялась она, можно было бы заподозрить Лу Синя в заимствовании первого из «Двух желаний» Саши Черного: «Жить на вершине голой, // Писать простые сонеты... // И брать от людей из дола // Хлеб, вино и котлеты». В потопе ученые пытаются обвинить «простолюдинов»: «До потопа они ленились укреплять плотины, а сейчас ленятся черпать воду». Сановники, прибывшие для обследования, уверены, что неграмотен народ исключительно потому, что не стремится к развитию. Юю — покорителю стихии — один из сановников докладывает: «Народ у нас смирный, ко всему привычный. Он, ваша милость, славится во всем мире своим умением переносить трудности». А тот пришел во главе грубых мужиков, босой и загорелый, забывающий даже заглянуть на минуту домой (по преданию, не откликающийся на плач маленького сына). Он бьется с рутиной. Ему хотят помешать отвести воды в море только потому, что отец его устраивал запруды, а почтительный сын должен во всем следовать примеру отца, а кроме того (здесь мы слышим наиболее популярный, едва ли относящийся только к древности аргумент), «устройство запруд — метод, признанный всем миром...» Победитель стихии, наконец, возвращается постаревший, с седою бородой. Он победил, он все сделал для народа, но что-то беспокоящее нас есть в излишней мирности его возвращения, в том, что он «стал вести себя несколько иначе». Лу Синь хотя и не говорит об этом, но дает понять, что победитель стихий от народа вернулся ко двору, так вызывая у читателя желание увидеть тех, кто сам принадлежит к народу и уже и неотделим от него.

Как сказано в книге суждений Конфуция «Луньюй»: «Циский гун владел тысячей четверок коней; в день, когда он умер, народ не увидел ни одной добродетели, за которую можно было бы воздать ему хвалу. Бо-и и Шу-ци умерли голодной смертью у подножия горы Шоуян, народ же и поныне прославляет их». Прикосновением к легенде о наследниках престола страны Гучжу, отказавшихся есть хлеб узурпатора («За папоротником»), Лу Синь снял высокую романтику подвига, переведя все события в нарочито приниженный бытовой план и поставив перед читателем все те же требующие разрешения нравственные вопросы. Они возникают с самого начала. Нам непривычно узнать, что сановные братья, оказывается, всего лишь бедные старики, живущие в богадельне. У них, значит, и иная, неожиданная для нас психология зависимого человека, не защищенного от многих бед, никогда не минующих сыновей народа. Их приютили из милости, и что бы ни произошло, говорит один из них, следует помалкивать. «Выходит, мы живем только ради пропитания?» — отвечает другой. Смешные, наивные старики доказали, что только ради пропитания жить они не хотят. Чжоуский царь пошел войной на шанского, найдя для этого причину в неблаговидном поведении последнего («...отрекся от предков, расстроил жертвоприношения, в ослеплении забросил дела семейные и государственные»). Старики пытаются отговорить чжоуского царя от войны и еле уносят ноги, но хлеб его больше есть не хотят и отправляются на далекую гору. Они так долго, и в таких мытарствах, и с такими смешными иной раз приключениями идут, что с каждым их шагом тускнеет блеск заранее заданного преданием подвига. Фантастичность предыдущей легенды «Покорение потопа» здесь уступает бытовой обстоятельности. Трудная жизнь на горе в сборах папоротника, стряпня, надоедное посещение деревенскими, в том числе неким стихотворцем, разочаровавшимся в стариках из-за их «тенденциозности», и, наконец, голодная смерть представили нам подвиг в ином его, трудовом до мучительности виде, а наследников престола страны Гучжу как не часто встречающихся смешных чудаков, наивность которых есть благородство простой души, вызывающее восхищение и слезы на глазах. Мы прощаем голодным старикам (если только правдивы эти слухи) даже и то, что они попытались убить самку оленя, кормившую их молоком. Лу Синь ввел один необязательный для предания, но далеко не случайный для самого писателя эпизод. Старики умирают голодной смертью не просто потому, что папоротником невозможно было поддерживать существование, а потому, что и от папоротника, и от чего бы то ни было вынуждены они были отказаться: им напомнили, что чжоускому государю принадлежит все на его земле и милость его не в одном лишь хлебе. А в напоминании этом спрятана боязнь того, что поведение стариков в конце концов покажется нормальным, войдет в обиход и перестанет быть недоступным другим людям посягательством на навеки установ-

ленное. Кто знает, проживи эти старики дольше, не увлек ли бы их пример и других, и не послужило ли бы это безобидное на первый взгляд чудачество началом всеобщего отрицания небесной власти государя? Но старики умерли, оставив в окружающих странное чувство недоумения.

«Старые легенды в новой редакции» — и упомянутые нами, и остальные — оказались не столь уж далекими от первых десятилетий китайского XX века, да и только ли китайского! Лу Синь в предисловии к ним так и надеялся, что нечто живое еще в них сохранилось. Может быть, таковы вообще все легенды? Но не забудем и то, что эти Лу Синь выбирал сам. «Сказка ложь, да в ней намек! Добрым молодцам урок».

Со «Старыми легендами в новой редакции» в общем приходит к концу и путь Лу Синя. Он умер 19 октября 1936 года. Китайская и мировая литература потеряли великого писателя нашего времени.

В истории китайской литературы, в смене поколений замечательнейших мастеров ее, место Лу Синя кажется нам самым выдающимся. И не потому или не только потому, что он лучше других величайших своих предшественников. Но если они стали известны остальному миру лишь спустя многие века после того, как шумела и волновала сердца и умы их поэзия, то есть потеряв уже какую-то часть животворных сил, то Лу Синь, как и его Китай, всем революционным творчеством своим — и сюжетной прозой, и публицистикой — почти немедленно вошел в жизнь человечества.

И сама литература Лу Синя, если удалось это нам в какой-то степени показать, близка и доступна всем людям: впитав в себя мировую традицию, соединив в себе достижения национальные и западные, она по силе мысли и по средствам изображения поднялась до вершин реализма.

Это обусловлено, конечно, личностью писателя — традиционностью ее и широтой. Лу Синь унаследовал искренность и бескомпромиссность китайских поэтов, «бедных ученых», предпочитавших голодную правду любой сытой лжи. С той лишь разницей, что правда во времена Лу Синя доставалась неизмеримо тяжелее, чем в далекой древности. Приняв прекрасную эту традицию и развив ее действенность, Лу Синь сближается в ней с подобными ему борцами за истину во всей мировой литературе.

Последний по времени в традиционном ряду китайских поэтов-мыслителей, Лу Синь открыл своей стране и миру нравственное состояние китайского общества в критическую пору его существования, чем оказал неоценимую услугу революционному движению всего человечества. Таково величие Лу Синя.

Л. ЭЙДЛИН

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

БЫЛОЕ

За воротами нашего дома росла высокая, около трех саженей, дреандрия. Каждый год на ней созревали плоды, их было так много, словно звезд на небе. Когда мальчишки сбивали плоды, камни то и дело залетали через окно в классную, нередко попадая и на мой столик. И всякий раз Лысый — так я прозвал моего учителя — выходил и отчитывал ребятишек. Листья у дреандрии широкие, почти аршин в диаметре; днем, под лучами жаркого солнца, они слегка свертывались, но вечерняя прохлада оживляла их, и они распрямлялись, словно ладонь.

Из окна мне видно, как наш старый слуга Ван то поливает двор, чтобы не было жарко, то чинит столы и стулья, то, попыхивая трубкой, рассказывает няньке Ли разные истории. Бывало, месяц скроется за горизонтом, а они все беседуют, и огонек его трубки мерцает во тьме.

И вот однажды, как раз когда они наслаждались вечерней прохладой, Лысый вызвал меня и велел подыскивать параллельные выражения к словам «алый цветок». «Зеленая дреандрия»,— выпалил я. Учитель безнадежно махнул рукой.

— Тон не соответствует,— произнес он, велел идти на место и подумать еще.

Хотя мне шел уже девятый год, я не знал, что такое ровные и ломаные тона, а учитель не объяснил. Я сел на место, думал, думал, но так ничего и не придумал. Потом мне надоело, и я стал изо всей силы хлопать себя по бедру,— вдруг Лысый об-

ратит внимание и сжалится надо мной. Однако тот по-прежнему не обращал на меня внимания. Наконец, после длительного молчания, он произнес, растягивая первое слово:

— Поди сюда.

Я подошел. Лысый написал «зеленая трава» и объяснил:

— Слово «алый» произносится ровным тоном, «цветок» — тоже ровным, «зеленый» — входящим, а «трава» — восходящим. Ступай.

Пропустив его слова мимо ушей, я вприпрыжку бросился к двери.

— Не прыгай! — так же нудно и противно сказал Лысый, и я степенно вышел из классной.

Идти играть под дерево я не посмел. Раньше, бывало, я подходил к Вану, садился с ним рядом, обнимал его колени и просил рассказать сказку. Но неизменно выходил Лысый и сердито кричал:

— Не балуйся! Ты уже ел? Тогда садись за уроки.

Стоило хоть немного задержаться, как на следующий день он хлопал меня линейкой по голове, приговаривая:

— Зачем озорничаешь, почему ленишься?

Так, превратив классную в место воздаяния за грехи, Лысый постепенно отбил у меня охоту бегать во двор. А сегодня у меня вообще не было желания играть — вот если бы завтра был праздник, тогда другое дело. «Хорошо бы утром слегка прихворнуть,— мечтал я,— а к полудню выздороветь, тогда можно было бы отлично провести целые полдня... Или пусть Лысый заболеет, а еще лучше — умрет. Не придется, по крайней мере, зубрить «Луньюй».

На следующий день Лысый действительно усадил меня за «Луньюй» и, покачивая головой, принялся толковать смысл иероглифов. Был он близорук и книгу держал возле самого носа, будто собирался съесть ее. Меня часто бранили за неаккуратность, говорили, что не успею я дойти до середины, а из книги уже листы вываливаются. Но почему-то никому не приходила в голову самая простая мысль: не оттого ли портятся книги, что Лысый каждый день дышит на них. Пусть я баловник, пусть неаккуратный, но не до такой же степени! Между тем Лысый продолжал:

— Мудрец Кун сказал: «Когда мне минуло шестьдесят, слух мой стал мне повиноваться». Повиноваться — значит подчиняться. «В семьдесят лет я стал следовать стремлениям сердца, не преступая установлений...»

Я ни слова не понимал из того, что говорил Лысый, а иеро-

глифов не видел — потому, что их загораживал его нос. Вместо книги передо мной была сияющая лысина; в нее можно было смотреться, как в зеркало, только отражение получалось бледным и расплывчатым, не то что в прозрачной воде нашего старого пруда.

Лысый объяснял, объяснял и никак не мог кончить. Вообще, конечно, было очень интересно наблюдать, как трясутся у него колени и раскачивается из стороны в сторону голова, но мне уже становилось невтерпеж. Даже его забавная лысина мне изрядно надоела. И тут, на мое счастье, с улицы вдруг донесся вопль:

— Господин Ян-шэн! Господин Ян-шэн!

Можно было подумать, что кто-то зовет на помощь.

— Брат Яо-цзун? Прошу вас, входите.— Лысый отложил «Луньюй», открыл дверь и почтительно поклонился.

Я недоумевал: с какой стати учитель с таким почтением приветствует Яо-цзуна. Этот Яо-цзун, носивший фамилию Цзинь, жил с нами по соседству. Он был очень богат, но всегда ходил в рваном халате и дырявых туфлях, ел он одни овощи и сам был похож на осенний баклажан, желтый и дряблый. Даже наш слуга Ван относился к Яо-цзуну с презрением: «У него золота кучи, а медяка никому не даст! За что же его уважать?» Однако презрение старика ничуть не трогало Яо-цзуна. Он часто заходил послушать рассказы Вана, но мало что понимал в них, так как умом не отличался, и лишь кивал головой. Нянька Ли говорила, будто Яо-цзуна всю жизнь опекали отец с матерью. Он ни с кем не общался и потому вырос таким бестолковым. И действительно, он ни о чем не имел понятия, не знал даже, что существуют клейкие и неклейкие сорта риса, не мог отличить леща от карпа. Когда ему хотели что-либо втолковать, приходилось долго и пространно говорить, но в конце концов и это оказывалось бесполезным. Тогда следовали дополнительные объяснения, но и в них для Яо-цзуна оставались темные места. Да, разговаривать с ним было делом нелегким. Тем более изумляла Вана и всех остальных та почтительность, с какой относился к нему Лысый. Я тоже долго искал причину этого и наконец сообразил: Яо-цзун, хотя ему шел уже двадцать второй год, не имел сына, и потому, надеясь продолжить свой род, он взял себе трех наложниц, а Лысый, памятуя, что из трех видов сыновней непочтительности худшим является отсутствие потомства, в свое время тоже взял наложницу, уплатив за нее тридцать одну меру серебра. Значит, учитель так уважает Яо-цзуна за его сыновнюю почтительность. При всем

его уме Ван не был настолько образован, чтобы постичь сокровенные помыслы учителя. В этом нет ничего удивительного — ведь и я пришел к своему открытию лишь после длительных раздумий.

— Учитель, вы слышали новость? — спросил Яо-цзун.

— Новость?.. Нет, не слыхал... А что?

— Длинноволосые идут!

— Длинноволосые?.. Ха-ха, быть этого не может!

Длинноволосых, о которых говорил Яо-цзун, учитель Яншэн именовал «волосатыми мятежниками». Старый Ван тоже называл их «длинноволосыми» и добавлял, что в их время ему было ровно тридцать лет. Сейчас Вану шел уже восьмой десяток, значит, со времени длинноволосых прошло более сорока лет. Даже я понимал, что Яо-цзун выдумывает.

— Как не может быть? Сам Третий господин из Хэсюя сказал, что надо ожидать их со дня на день.

— Третий господин?.. Предостережением, исходящим от столь почтенного лица, нельзя пренебречь.— Учитель, который почитал Третьего господина больше, чем Мудреца, побледнел и поспешно вышел из-за стола.

— Говорит, их человек восемьсот; я уже послал слугу в Хэсюй разузнать все подробно. Важно выяснить, в какой день они появятся...

— Восемьсот?.. Может ли быть такое? Наверно, это горные бандиты или шайка «Красных платков».

Лысый, с его незаурядным умом, сразу почувствовал несообразность слов Яо-цзуна. Но все дело было в том, что для Яо-цзуна и горные разбойники, и морские пираты, и «Белые шапки», и «Красные платки» — все были «длинноволосыми». Поэтому он и не понял, о чем говорил учитель.

— Надо приготовить угощение. Но в моем доме места для всех не хватит, придется еще угощать их в храме Суйянского Чжана. Может, они наедятся и в награду отнесут нас к числу «верноподданных».— Яо-цзун, человек от природы недалекий, еще в детстве усвоил истину, что встречать любые войска надо яствами и напитками. Старик Ван рассказывал, что, когда отец Яо-цзуна наткнулся на длинноволосых, он повалился им в ноги и стал просить пощады; при этом он так колотил лбом о землю, что набил шишку, красную, как клюв у гуся. Так он сохранил себе жизнь, стал поваром у длинноволосых и даже снискал себе особое благоволение и порядком разбогател. Когда длинноволосых разбили, он ухитрился бежать и со временем обзавелся богатым домом в городе У. Яо-цзун же, мечтавший одним угоще-

нием заслужить прозвание «верноподданного», был, конечно, далеко не так умен, как его отец.

— У таких смутьянов век всегда короток; попробуйте перелистать всю «Ганцзянь ичжилу» — получилось у них хоть раз что-нибудь? Хотя временами кое-что получалось... Угостить их, конечно, можно. Только вот что, брат Яо-цзун! Вы сами ни в коем случае не составляйте списка приглашенных, поручите это старосте.

— Верно. А вы, учитель, напишете для меня иероглифы «шунь минь»?

— Что вы, что вы, как можно торопиться с такими вещами! Написать всегда успеем, если даже они и заявятся. К тому же, брат Яо-цзун, есть у меня еще одно соображение: вызывать гнев этих людей, разумеется, нельзя, но и сближаться с ними не следует. В прошлый раз, когда бунтовали «волосатые мятежники», из тех, кто наклеил на дверях иероглифы «шунь минь», многие ничего не выгадали, зато потом, когда разбойники отступили, пострадали от правительственных войск. Надо подождать, пока мятежники дойдут до У. Вашим же почтенным родственникам лучше пораньше уехать куда-нибудь не слишком далеко.

— Совершенно верно, совершенно верно. Пойду предупрежу даоса из храма Суйянского Чжана.

Яо-цзун ушел, так ничего и не поняв толком, но преисполненный почтения к учителю. Недаром люди говорили, что второго такого умницу, как наш Лысый, во всем городе не сыщешь. Учитель мог бы отлично ужиться в любую эпоху, не понеся при этом ни малейшего ущерба. Хотя с той поры, как Паньгу сотворил небо и землю, бессчетной чередой сменялись войны и кровавые походы, периоды порядка и смут, возвышения и упадка государств, тем не менее род Лысого не погиб в борьбе, защищая законную власть, и не был истреблен за то, что присоединялся к мятежникам. Он продолжает существовать по сей день — вот ведь и сейчас Лысый величественно восседает на «тигровой шкуре» и втолковывает нам, сорванцам, что Конфуций в семьдесят лет научился следовать стремлениям сердца, не преступая при этом установлений. Современный сторонник эволюционизма сказал бы, что здесь дело в наследственности; по нашему же суждению, Лысый наверняка познал это искусство самосохранения из книг. А как же иначе? Ведь и я, и Ван, и нянюшка Ли — все мы тоже подвластны закону наследственности, а такой глубиной ума не наделены.

Когда Яо-цзун удалился, Лысый отложил книгу и, изобразив на лице великую скорбь, сообщил, что должен вернуться в город домой и что я свободен. Я возликовал и помчался играть под мое любимое дерево. Меня не смущало даже то, что солнце пекло голову — ведь редко выпадали минуты, когда клочок земли под деревом переходил в мое владение. Вскоре я увидел Лысого: он торопливо шагал, неся под мышкой большой узел с вещами. Прежде учитель уезжал домой лишь по праздникам и в конце года, причем непременно брал с собой несколько томиков «Баминшучао». Сегодня же книги преспокойно лежали на столе, зато всю одежду и обувь, что хранились в старом разбитом сундуке, учитель унес с собой.

Мне было видно, как по дороге, словно муравьи, ползут толпы людей, испуганных и чем-то озабоченных,— одни несли вещи, другие шли с пустыми руками. Старый Ван объяснил мне, что это беженцы. Из Хэсюя люди торопились в У, а горожане мчались в обратном направлении. Ван, сам побывавший в подобных передрягах, убеждал нашу семью не спешить. Няня отправилась на разведку в усадьбу Цзпня; оказалось, что его слуга еще не вернулся из Хэсюя, но все наложницы укладывают в дорожные баулы пудру, помаду, ароматичные масла, веера, шелковые платья и разные принадлежности туалета, словно собираются на гулянье. Им, привыкшим жить в довольстве, казалось невозможным обойтись без косметики. Меня длинноволосые мало беспокоили, поэтому я стал ловить мух, приманивал ими муравьев и давил их, а потом стал лить воду в муравейник, чтобы доконать его обитателей. Вскоре солнце стало задевать верхушки деревьев, и няня позвала меня ужинать. Я никак не мог понять, отчего так быстро прошел сегодняшний день; ведь обычно в это время я еще пыхтел, подбирая параллельные выражения и пытаясь своим несчастным видом разжалобить учителя. После ужина няня вывела меня на улицу. Ван тоже вышел и, как обычно, сел у ворот, наслаждаясь прохладой. Однако на сей раз вокруг него собралось множество слушателей; они стояли разинув рты, как будто только что видели привидение или чудовище; при свете луны редкие зубы этих людей напоминали куски искрошившейся яшмы. Ван закурил и медленно начал:

— В те времена привратником здесь служил дядюшка Чжао, человек очень бестолковый. Хозяин как услышал, что длинноволосые идут, так велел ему убегать, а тот и отвечает: «Хозяин уйдет, кто же будет охранять усадьбу от разбойников?..»

— Вот дурень! — пронзительно вскрикнула нянька, осудив этим возгласом — как говорится в книгах — «прегрешенья мудрецов ушедших поколений».

— Повариха У, старуха лет семидесяти, тоже осталась; она спряталась на кухне и даже нос боялась высунуть. Прошло несколько дней, а она так и не выходит. Все слышит: и как люди ходят, и как собаки лают, а выйти боится. И загрустила. Потом не стало слышно ни шагов, ни собак; темно и страшно, как в преисподней. Но вот однажды вдалеке послышался топот. Большой отряд прошел за оградой. Немного погодя на кухню врываются с полсотни разбойников с мечами, вытаскивают старуху и говорят ей скороговоркой что-то вроде: «Старуха, куда делись хозяева? Неси сюда деньги!» Стряпуха бухнулась им в ноги и говорит: «Великие государи! Хозяин-то сбежал. Я уж сколько дней голодная, смилостивьтесь, покормите меня! А деньги — где мне их взять?» Один из длинноволосых тут засмеялся: «Поесть захотелось? Могу накормить»,— и швырнул ей в руки что-то круглое, все залитое кровью. Глядь, а это голова привратника Чжао.

— Ой, повариха небось умерла со страху? — закричала перепуганная нянька.

Слушатели еще шире раскрыли глаза и разинули рты.

— Оказывается, длинноволосые постучались в ворота, а Чжао ни в какую не хочет открывать, да еще ругается: «Хозяин в отъезде, а вы хотите грабить!» Длинново...

— Есть достоверные сведения? — Это вернулся Лысый. Я смутился было, но, заметив, что выражение лица у него не такое строгое, как обычно, решил не убегать. Тут мне подумалось, что, если придут длинноволосые и швырнут голову Лысого в руки няньке, я смогу каждый день лить воду в муравейник и не нужно будет зубрить Конфуция.

— Нет еще... Длинноволосые разбили ворота; дядюшка Чжао бросился им навстречу, а как увидел — перепугался. Тут длинноволосые...

— Учитель Ян-шэн! Мой человек вернулся,— заорал во всю глотку Яо-цзун.

— Ну и что? — Лысый выскочил из дома, тараща свои близорукие глаза. Мы тоже бросились к Яо-цзуну.

— Третий господин сказал, что про длинноволосых все выдумали. На самом деле через Хэсюй прошло несколько десятков беженцев — только и всего. Беженцы — это те, кто ходит по дворам и просит милостыню.—Яо-цзун, опасаясь, что не поймут, что такое «беженцы», решил дать пояснения,

причем все свои познания по этому вопросу вложил в одну фразу.

— Ха-ха! Беженцы...— расхохотался Лысый, как бы иронизируя над поднявшимся было переполохом и одновременно показывая, что беженцев нечего бояться. Глядя на учителя, рассмеялись и остальные.

Получив столь достоверные сведения от Третьего господина, все разошлись, вернулся к себе и Яо-цзун. Под деревом остались лишь старик Ван и еще три-четыре человека. Лысый долго прогуливался по двору, потом сказал:

— Пойду успокою своих домашних. Утром вернусь.

Он ушел с «Баминшучао» в руках, успев, однако, сделать мне замечание:

— Сегодня весь день не занимался, завтра наверняка не сможешь ответить ни одного урока. Садись-ка за книжку, живо, нечего озорничать!

Опечаленный, я уставился на огонек в трубке Вана, не в силах вымолвить ни слова. Ван все курил и курил. Мне было видно, как вспыхивал и снова гас огонек в трубке, напоминая светлячка в густой траве. Тут мне вспомнилось, как прошлой осенью, гоняясь за светлячками, я заблудился, попал в заросшее камышом озерко и так напугался, что даже забыл о Лысом.

— Хе, все твердят: длинноволосые, длинноволосые,— снова заговорил Ван, вынув трубку изо рта.— Поначалу они и впрямь страшны, а потом, глядишь, ничего особенного.

— Так ты, значит, видел их? Ну, рассказывай, какие они, эти длинноволосые? — сгорая от любопытства, спросила няня.

Не иначе как дедушка Ван сам был длинноволосым. Я решил, что, если приход длинноволосых избавит меня от Лысого, значит, они добрые, поэтому Ван, который хорошо ко мне относится, тоже должен быть длинноволосым.

— Ха-ха! Нет, не довелось... Няня, а сколько тебе в ту пору лет было?

— Мне одиннадцатый шел. Мать тогда увела меня в Пинтянь, потому я их не видела.

— А я прятался в горах Хуаншань. Как длинноволосые подошли к деревне, так я и убежал. Зато два двоюродных брата и сосед мой, Ню Сы, замешкались, вот молоденький длинноволосый их и поймал. Вывел он их на мост Тайпинцяо, принялся им головы рубить, а у него не получается; тогда он столкнул их в воду, они и потонули. А каким здоровенным был этот Ню Сы — мог взвалить на плечи два даня и еще пять шэнов риса и

пронести добрую половину ли. Сейчас таких не сыщешь... Дошел я до Хуаншаня уже к вечеру, на верхушке горы в кустах еще солнце, а внизу уже вечер, и колосья на полях темные-темные, не то что днем... Подошел я к подножью, вижу: никто за мной не гонится,— от сердца немножко отлегло. Потом оглядеался — никого из односельчан не видно, и опять загрустил. Уже когда совсем завечерело, успокоился. Вокруг безлюдье, тишина, только и слышно: дзи-дзи, уа-уа-уа...

— А что это «уа-уа»? — с удивлением спросил я. Но нянька испуганно схватила меня за руку, словно дальнейшие расспросы могли навлечь беду лично на нее.

— Это лягушки. А еще рогатая сова кричала жалобно-прежалобно. Да, няня, знаешь, дерево в темноте легко можно за человека принять... А потом присмотрелись к длинноволосым — ничего особенного. Когда они отступали, наши деревенские бросились за ними с лопатами да мотыгами. Наших и было-то человек десять, тех же добрая сотня, а они бежали, боялись остановиться и дать сдачи. После каждый день ходили добывать сокровища. Вот и Третий господин из Хэсюя в ту пору разбогател.

— Как это — добывать сокровища?

— Добывать сокровища? Э-э... Когда наши кинулись догонять длинноволосых, те нарочно бросали на дорогу золото, серебро, жемчуг. Наши стали подбирать все это, спорили за каждую монетку, за каждую жемчужину и отставали. Мне тоже досталась жемчужина, да такая крупная, с фасоль. Пока я удивлялся да радовался, Ню-эр подкрался и огрел меня палкой по голове, а жемчужину забрал. Если бы не он, и я стал бы богачом — ну, не таким, как Третий господин, конечно... Отец Третьего господина, Хэ Го-бао, как раз в то время вернулся в Хэсюй. Смотрит, а у него дома в старом шкафу молоденький длинноволосый прячется, с длинной косой на голове...

— Ну вот, дождь начинается. Пора и на покой,— заторопилась няня.

— Нет, нет, погодите! — Я чувствовал себя, как читатель, который дошел до самого интересного места в романе и вдруг натолкнулся на фразу: «если хотите знать, что случилось дальше, прочтите следующую главу»; мне хотелось, не отрываясь, читать дальше и дальше, до самого конца. Но няня не разделяла моего нетерпения.

— Иди, иди в постель, а то завтра проспишь, опять отведаешь учительской линейки.

Дождь усиливался; капли с шумом падали на огромные листья банана перед окном — казалось, это крабы ползают по песку. Лежа на подушке и вслушиваясь в этот шум, я скоро уснул.

— Ой, учитель! В следующий раз я буду лучше учить.

— Что с тобой? Приснилось что-нибудь? Я тоже видела страшный сон, а теперь ты напугал... Что привиделось-то? — Няня поспешила к моей постели и начала легонько хлопать меня по спине.

— Приснилось?.. Ничего особенного... А ты что видела?

— Длинноволосых... Завтра расскажу, а сейчас уже ночь. Спи, спи...

ПРЕДИСЛОВИЕ К СБОРНИКУ «КЛИЧ»

Воспоминания бывают радостные, бывают печальные. Стоит ли тянуть нить печальных воспоминаний? Без сожаления позабыл я многие мечты моей юности. Но забыть все — невозможно, и то, что мучительно врезалось в память, вошло в сборник «Клич».

Четыре с лишним года подряд я чуть ли не ежедневно ходил в ломбард и в аптеку. Не помню, сколько мне было лет,— в аптеке я едва доставал до прилавка, а до прилавка в ломбарде не мог дотянуться — он был раза в два выше меня. Осыпаемый насмешками и оскорблениями, я получал деньги за платья или драгоценности, затем шел за лекарствами для отца и возвращался домой, где меня ждало множество дел.

Лечил отца знаменитый врач, который выписывал какие-то диковинные лекарства. Найти, например, зимние корни камыша, трехлетнее растение, тронутое заморозками, спаренных сверчков, пиндиму с плодами было очень нелегко. А отцу становилось все хуже, и он умер.

Я понял тогда, что лишь тот разглядел истинное лицо людей, кто, неожиданно разорившись, встретился с нуждой. Я мечтал бежать из родных мест, найти иные пути, иных людей и стал собираться в N., чтобы поступить там в училище К. Мать раздобыла мне где-то восемь юаней на дорогу, которые я мог тратить по собственному усмотрению. Она плакала, но не только потому, что расставалась с сыном. Вместо того чтобы готовиться к сдаче экзаменов, как было принято в то время,

я, лишая себя будущего, собирался поступать в училище, где преподавание велось на иностранный манер. Таких, как я, встречали насмешками и укорами, им оставалось лишь продать душу заморскому дьяволу. Но я все равно отправился в N. поступать в училище, где узнал, наконец, о существовании физики, математики, географии, истории, рисования и гимнастики. Физиологию нам не преподавали, зато мы читали «Новый трактат о теле человека» и «Статьи по химии и гигиене» в ксилографическом издании. Несколько позже, вспоминая диагнозы и рецепты китайских врачей, я понял, что все они обманщики, намеренные или невольные, и проникся сочувствием ко всем обманутым больным и их родственникам. Тогда же, из истории Японии, переведенной на китайский язык, я узнал, что реформы там были проведены главным образом под влиянием западной медицины.

Мои первые познания, собственно, и привели меня со временем в медицинский институт в одной из провинций Японии.

Мечты мои были прекрасны: окончу институт, вернусь на родину и буду облегчать муки таких больных, как мой отец, страдавших от невежественных докторов, а в случае войны — пойду служить военным врачом. И еще я мечтал распространить среди соотечественников веру в прогресс.

Не знаю, каковы сейчас достижения в преподавании микробиологии, но в бытность мою в училище эти занятия сопровождались демонстрацией фильмов, которые кончались задолго до следующей лекции, и, чтобы занять время, студентам показывали еще видовую картину либо хронику. В то время шла русско-японская война, фильмов о ней было много, и мне часто доводилось слышать аплодисменты и одобрительные возгласы моих японских коллег. Но однажды я вдруг увидел на экране давно покинутых мною китайцев. Один из них, связанный, стоял в окружении соотечественников, крепких телом, но павших духом. Судя по надписи, связанному — разведчику русской армии, японцы готовились снести голову и выставить ее на позор. Остальные же собрались, чтобы поглазеть на это поучительное зрелище.

Тут я понял, что медицина не так уж важна, а смерть от болезни — не самая страшная участь.

Если в массе своей народ невежествен, любой человек, самый рослый и самый сильный, может либо оказаться в числе бездумных зевак, либо быть выставлен на позор. Первой необходимостью я стал считать тогда духовное возрождение и лучшим средством для него — литературу.

Не дождавшись окончания учебного года, я уехал в Токио с намерением провозгласить новое движение в художественной литературе. В те годы многие китайские студенты изучали в Японии право, политику, физику, химию, даже полицейское дело и промышленность, и только литературой и искусством никто не интересовался.

В этой атмосфере общего равнодушия я, к счастью, отыскал нескольких единомышленников. Мы пригласили нужных людей и решили, что первым нашим шагом будет издание журнала под названием «Новая жизнь», которое мы писали кратко — не четырьмя, а двумя иероглифами, так как многие из нас еще питали склонность к архаическому книжному языку.

Но с приближением срока выпуска первого номера вдруг исчезло несколько наших сотрудников, а с ними и капитал. В конце концов нас осталось всего трое, у которых за душой не было ни гроша. Выход в свет журнала уже опоздал. О своем поражении нам даже нечего было сказать! Вскоре и мы трое, гонимые судьбой, не могли больше свободно мечтать о будущем. Так и закончилась наша еще не успевшая родиться «Новая жизнь».

Никогда не одолевала меня такая тоска. Но только со временем я понял ее причину. Когда борцы за идею находят сочувствующих, они смело идут вперед, встречая противников — вступают в бой, если же нет ни поддержки, ни протеста, они чувствуют себя одинокими, словно заблудившимися в бескрайней пустыне.

Все острее я ощущал одиночество, оно обвивало душу, словно огромная змея. В моей безысходной тоске не было гнева, ибо это испытание заставило меня критически взглянуть на самого себя. Я понял, что мне далеко до героя, которому стоит лишь взмахнуть рукой и кликнуть клич, чтобы собрать вокруг себя тучи соратников.

Но надо было как-то справиться со своей тоской, ибо она причиняла сильную боль. Я пытался усыпить себя, раствориться в массе обывателей, уйти в старину. Я гнал от себя воспоминания о множестве других, случившихся позднее, еще более печальных, даже трагичных событий, которые наблюдал или пережил сам. Я старался утопить эти воспоминания вместе со своими думами в той же тине одиночества. И мне как будто удалось усыпить свой мозг, ибо я утратил юношескую восторженность и пылкость.

Я поселился в одном из флигелей Шаосинского землячества, который долго пустовал,— говорили, что когда-то на ака-

ции, росшей рядом с ним, повесилась женщина,— правда, с тех пор дерево успело вырасти, на него теперь не залезешь. Здесь я и прожил много лет, занимаясь перепиской древних надписей. Волнующих вопросов и теорий в старинных надписях не встречалось. У меня почти никто не бывал. Единственное, чего я хотел, это жить в покое и неизвестности. Летними ночами я сидел под акацией, отмахиваясь плетеным веером от комаров, и глядел сквозь густую листву на темное небо, а с акации на шею мне холодными каплями изредка падали гусеницы. Случалось, что ко мне заходил поболтать старый друг Цзинь Синь-и. Положив на покосившийся стол большой кожаный портфель и сняв верхний халат, он усаживался напротив меня, но сердце его долго еще колотилось — он боялся собаки.

— Для чего ты это переписываешь? — стал он допытываться, придя как-то вечером и перелистывая мою рукопись.

— Просто так.

— Какой же смысл?

— Никакого.

— Думаю, ты сам мог бы кое-что написать...

Я его понял. Журнал «Новая молодежь», который он выпускал тогда вместе с друзьями, не встречал ни поддержки, ни протеста.

«Они, видимо, страдают от одиночества»,— подумал я и сказал:

— Представь себе, что в железной камере нет ни окон, ни дверей, в камере, которую невозможно сломать, люди спят крепким сном. Их много. Они скоро погибнут, но расстанутся с жизнью в забытьи. Так стоит ли поднимать шум, чтобы немногие, самые чуткие, проснулись и испытали все муки неизбежного конца?

— Но ведь некоторые уже проснулись — значит, появилась надежда сломать камеру.

Это была правда. Как ни отговаривал я себя, а отказаться от своих надежд не смог — ведь они были связаны с будущим. Словом, никакими доводами я не сумел его переубедить и наконец согласился писать. Так появилось мое первое произведение «Записки сумасшедшего». Стоило только начать, а там уже трудно было остановиться. Но каждый раз, думая лишь, как бы отвязаться от просьбы друзей, я создавал нечто вроде рассказа. Так собралось их у меня больше десятка. Однако писал я лишь под нажимом, так казалось мне теперь.

И все же незабываемая тоска прежних лет заставляла меня время от времени бросать клич — в поддержку героев-одино-

чек, ободрять их в движении вперед. Я не успевал даже прислушаться к тому, что звучало в моих призывах — отвага или печаль, ненависть или насмешка. Я следовал указаниям и порой не стеснялся покривить душой: например, добавил эпизод с венком на могиле Юй-эра в «Снадобье», а в рассказе «Завтра» не сказал, что вдова Шань так и не увидела во сне сына. Нашим тогдашним командирам не нравилась пассивность, да и сам я не захотел заражать молодых людей горьким чувством своего одиночества. Ведь они, как и я в юности, видели счастливые сны.

Произведения мои, разумеется, далеки от совершенства. Но до сих пор они числятся под рубрикой «Рассказы» и скоро выйдут отдельной книжкой. Это — большая удача. Она волнует меня и очень радует — значит, есть еще в мире читатели.

Так составил я сборник своих рассказов и отдал в печать, а по причинам, изложенным выше, назвал его «Клич».

Декабрь 1922 г.

ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО

Братья Х — сейчас я не называю их фамилии — в прошлом, когда мы учились в средней школе, были моими хорошими друзьями. С тех пор как мы расстались, прошло много лет, и связь между нами мало-помалу прекратилась. Недавно я случайно узнал, что один из них тяжело болен: когда я ездил на родину, то по пути завернул к ним и застал лишь одного из братьев, он и рассказал мне, что его младший брат был болен.

«Вы напрасно проделали такой длинный путь только ради того, чтобы навестить нас. Ведь он давно уже поправился и сейчас уехал в N за назначением на казенную должность». Затем, громко рассмеявшись, он достал две тетради дневника и сказал, что не мешает познакомить старых друзей с состоянием брата во время болезни. Захватив с собой дневник, я вернулся домой и по просмотре записей пришел к заключению, что больной страдал «манией преследования». Повествование было весьма путаное, отсутствовала последовательность в изложении, встречалось множество бессвязных слов; не были проставлены ни месяц, ни число, и только по разнице в цвете туши, по почерку можно было заключить, что дневник написан не в один раз. Отобрав из дневника все более или менее связное, я объединил

это в одну книгу, чтобы представить ее врачам для изучения. Я не исправил ни одного слова, лишь изменил фамилии людей, хотя это не имеет никакого значения, ибо все они являются деревенскими жителями и мало кому известны. Что же касается заглавия книги, то оно было дано самим автором дневника после его выздоровления и не менялось.

I

Второй день четвертого месяца седьмого года.

Сегодня вечером замечательно светит луна.

Тридцать с лишним лет я не видел ее, и сегодня, когда я ее увидел, настроение необычайно поднялось. Только сейчас я понял, что эти тридцать лет были покрыты мраком. Однако надо быть исключительно осторожным. Не то собака со двора Чжао... Почему она смотрит на меня во все глаза?

Мой страх не лишен оснований...

II

Сегодня совсем не светила луна; я понял, что это не к добру. Утром осторожно вышел за ворота. Выражение глаз Чжао Гуй-вэня было странным: то ли он боялся меня, то ли собирался меня погубить. Еще человек семь-восемь шептались между собою обо мне. Но в то же время все они боялись, как бы я не заметил этого. И все, кого только я встречал по дороге, вели себя подобным образом. Один из них был особенно злым; увидев меня, он рассмеялся во весь рот. Меня с головы до пят пронизала холодная дрожь, и я понял, что их приготовления уже закончены.

Однако я не испугался и по-прежнему продолжал свой путь. Ребятишки, шедшие толпой впереди, тоже говорили обо мне. Выражение их глаз было таким же, как у Чжао Гуй-вэня, лица — темны, как чугун. Я подумал: чем я обидел этих детей, что и они так ненавидят меня? Я не выдержал и крикнул им: «Эй, чего вы хотите?», но они убежали.

Я думал: чем обидел я Чжао Гуй-вэня, чем обидел людей, которых встретил по дороге; разве тем только, что двадцать лет тому назад растоптал старую приходо-расходную книгу Гу Цзю. Господин Гу Цзю был этим весьма недоволен. Хотя Чжао Гуй-вэнь и незнаком с ним, но до него наверняка дошли слухи

об этом, и он принял сторону Гу Цзю; это он подговорил прохожих ненавидеть меня. Но дети? Ведь их тогда еще на свете не было; почему же сегодня они так странно, в упор на меня смотрели? Не то боялись меня, не то собирались меня погубить. Все это меня страшит, удивляет, а вместе с тем и огорчает.

Понимаю. Вероятно, родители научили их этому!

III

Всю ночь не смог уснуть. Любое дело начинаешь понимать, лишь когда его всесторонне изучишь!

Этим людям надевал на шею колодки уездный начальник, их били по лицу помещики, у них отнимали жен стражники из уездного управления, их родители умирали от гнета ростовщиков; но и тогда выражение их лиц не было таким испуганным и таким свирепым, как вчера.

Особенно странно вела себя женщина, встретившаяся мне на улице; она била своего сына и кричала: «Я те дам! Не успокоюсь, пока не искусаю тебя!» Но глаза ее при этом в упор смотрели на меня. Я не смог скрыть своего испуга. Толпа людей с оскаленными клыками громко хохотала. Ко мне подбежал Чэнь Пятый и потащил меня домой.

Притащил меня домой... Домашние делают вид, что не знают меня; выражение глаз такое же, как и у тех, других... Вошел в кабинет, а тут заперли дверь, словно клетку с курицей или уткой. Никак не могу разгадать, в чем тут дело.

Несколько дней тому назад из деревни Волчьей пришел арендатор сообщить о неурожае, он рассказал моему старшему брату, что жители этой деревни сообща убили одного злодея из своей же деревни; потом вынули у него сердце и печень, зажарили и съели, чтобы стать более храбрыми. Я вмешался было в разговор, но тут арендатор и брат несколько раз взглянули на меня. Только сегодня я понял, что их взгляды были точно такими же, как и у тех людей на улице.

При мысли об этом меня всего, с головы до пят, бросило в дрожь.

Раз они могут есть людей, значит, могут съесть и меня.

Подумайте только! Крик женщины «искусаю тебя», хохот людей с темными лицами и оскаленными клыками, разговор арендатора с братом — неспроста все это. Слова женщины — яд, хохот людей — ножи, зубы у них белые, острые, хищно оскаленные, будто нарочно приспособленные, чтобы есть людей.

Мне кажется, что я не злодей, хотя после того, как я растоптал приходо-расходную книгу Гу Цзю, это, пожалуй, трудно утверждать. Наверно, они что-то замышляют, но что — я не могу разгадать. Кроме того, стоит лишь им рассердиться на человека, как они назовут его злодеем. Помню, брат однажды наставлял меня: самый лучший человек, если ему перечить, непременно станет возражать; но самый плохой человек, если пропустить мимо ушей его возражения, будет всячески тебя восхвалять: «Ах, какой умный и знающий человек, не чета остальным». В общем, я не могу разгадать их подлинные намерения, тем более когда речь идет о людоедстве.

Любое дело начинаешь понимать, лишь когда его всесторонне изучить. В старину часто ели людей: это я помнил из истории, правда, смутно. Чтобы справиться, раскрыл книгу по истории, в книге не было дат, зато каждая страница изобиловала словами «гуманность», «справедливость», «мораль» и «добродетель». Уснуть я все равно не мог и глубоко за полночь очень внимательно читал книгу, как вдруг увидел, что между строками вся она испещрена одним словом — «людоедство».

Это слово, хихикая, уставилось на меня в упор и с укоризной.

Я тоже человек, они хотят меня съесть!

IV

Утром, только было я спокойно уселся, как вошел Чэнь Пятый. Он принес вареную рыбу; глаза у рыбы белые, жестокие, рот хищно разинут, совсем как у тех людей, помышлявших о людоедстве. Съел несколько кусочков: скользкие, не разберешь, не то рыба, не то человечина, меня стошнило.

«Старина Чэнь,— сказал я,— передай брату, что мне очень скучно, хочу пройтись по саду». Чэнь ничего не ответил и ушел. Но вскоре вернулся и отпер дверь.

Я не двинулся с места и следил за ними: что они собираются со мной сделать? Знаю, что меня не выпустят. Вот оно! Ко мне медленно приближался брат, ведя за собой какого-то старика. Глаза у старика свирепые, и, чтобы я не заметил этого, он идет, потупившись, лишь из-под очков тайком бросает на меня косые взгляды. Брат спросил: «Сегодня ты, кажется, хорошо себя чувствуешь?» Я ответил: «Да». Брат продолжал: «Я пригласил доктора Хэ осмотреть тебя». «Ладно!» — ответил я, хотя знал, что старик этот — переодетый палач! Притворив-

шись, что проверяет у меня пульс, он определит, насколько я жирен, и за это ему тоже перепадет кусок мяса. А мне не страшно. Я хоть и не ем человечины, а куда храбрее их. Я протянул старику руки, сжав их в кулак, и стал наблюдать, как он приступит к делу. Старик сел, закрыл глаза, долго щупал пульс, долго размышлял, а затем, открыв свои дьявольские глаза, сказал: «Пусть ни о чем не думает, подержите его несколько дней в полном покое, тогда все будет хорошо».

«Пусть ни о чем не думает, подержите в полном покое!» Понятно: выдержать, пока не нагуляется жир, тогда им больше достанется; но что значит «все будет хорошо»? Эти люди необыкновенно хитры, они хотят съесть человека и в то же время придумывают, как бы это скрыть, боятся прямо приступить к делу — вот потеха! Я не мог сдержаться и расхохотался. Я был очень доволен. В моем смехе была смелость и прямота. Подавленные этой смелостью и прямотой, старик и брат изменились в лице. Но чем смелее я становился, тем больше они желали сожрать меня,— они заразились моей смелостью. Старик вышел из комнаты и, немного отойдя от дверей, тихонько сказал моему брату: «Давайте скорее сожрем». Брат согласно кивнул головой. «Значит, и ты тоже!» Это открытие как будто бы неожиданно, но вполне логично. В шайке, которая собирается меня съесть, оказался и мой брат!

Мой брат — людоед!

А я — брат людоеда!

Меня самого съедят, и все же я останусь братом людоеда.

V

За последние несколько дней мои первоначальные предположения несколько изменились: допустим, что старик не переодетый палач, а настоящий доктор, но все равно он людоед. Основатель их науки Ли Ши-чжэнь в своей книге, которая, кажется, называется «Корни и травы», ясно говорит, что человеческое мясо можно есть жареным. Как же посмеет старик после этого утверждать, что не занимается людоедством?

Да и на родного брата я не возвожу напраслины. Объясняя мне смысл древних текстов, он сам говорил, что можно «обмениваться детьми и съедать их». Еще помню, как-то речь зашла об одном дурном человеке, и брат сказал, «его следовало не только убить, но и съесть его мясо и спать на его шкуре». Я был тогда маленьким, и от страха сердце у меня долго колотилось.

Брат нисколько не был удивлен рассказом арендатора из деревни Волчьей, который приходил к нам несколько дней тому назад и рассказывал, как «съели сердце и печень убитого». Наоборот, брат все время согласно кивал головой. Очевидно, сейчас он так же жесток, как и раньше. Раз он считает, что можно обмениваться детьми и съедать их, то можно обменяться чем угодно и съесть кого угодно. Прежде, слушая его рассуждения о справедливости, я, по простоте душевной, верил ему, теперь же знаю, что брат хотя и рассуждает о справедливости, у него не только губы вымазаны человеческим салом, но и сердце полно мыслями о людоедстве.

VI

Глубокая тьма, не знаю: день или ночь. Снова лает собака со двора Чжао.

Жестокость, как у льва, трусость, как у заяца, хитрость, как у лисицы.

VII

Я разгадал их приемы, убить прямо они не желают, да и не смеют, опасаясь злого наваждения. Поэтому все они связались друг с другом, везде понаставили силки и сети, чтобы я сам в них попался. Вспомните мужчин и женщин, которые несколько дней тому назад стояли на улице, проанализируйте поведение брата, и вы почти на все сто процентов удостоверитесь в этом. Самое лучшее для меня — снять пояс, перекинуть его через балку, затянуть потуже и — удавиться, тогда они не будут виноваты и, радуясь исполнению своего заветного желания, станут хохотать. А еще лучше умереть от страха или с тоски; в этом случае я окажусь менее жирным, но и тут они смогут выразить свое одобрение, несколько раз кивнув головой.

Они только и знают, что есть человечину! Помню, в книгах говорится, что существует такая тварь, гиена. Тварь мерзкая, особенно — глаза. Питается мертвечиной: мелко разгрызает и проглатывает даже самые большие кости. Подумать о ней — и то страшно. Гиена — из породы волков, а волк — из семейства собак. Третьего дня собака со двора Чжао взглянула на меня несколько раз, ясно, что и она с ними в заговоре. Тебе не удастся обмануть меня, старик, потупивший глаза в землю.

Особенно жаль мне брата. Он ведь тоже человек, почему же он ни чуточки не боится? Мало того: вступил в эту шайку, чтобы съесть меня? Что же это — стародавняя привычка не считать людоедство за грех или же полная утрата совести, когда человек способен сознательно совершить преступление? Я проклинаю людоедов, прежде всего, брата: я хочу отговорить их от людоедства, и начну с брата.

VIII

Собственно говоря, эти доводы должны быть и для них совершенно понятны.

Вдруг пришел человек: на вид ему лет двадцать, не больше. Не мог его рассмотреть как следует. Расплывшись в улыбке, он кивнул мне. Улыбка у него притворная. Я спросил:

— Людоедство — правильное ли это дело?

Он, по-прежнему улыбаясь, ответил:

— Нынче не голодный год, зачем же есть людей?

Я тотчас же понял, что и он в этой шайке, и тоже любит есть людей. Тут храбрость моя увеличилась во сто крат, и я стал допытываться: «Правильно ли?»

— Зачем об этом спрашивать? Шутник ты, право... Сегодня отличная погода.

Погода действительно была хорошая, ярко светила луна.

— Нет, ты все же ответь: «Правильно ли?»

Он помялся. И наконец, запинаясь, ответил:

— Не...

— Неправильно? Почему же тогда они едят?

— Этого не может быть...

— Не может быть? В открытую едят в деревне Волчьей; вдобавок в книгах об этом везде написано.

Он изменился в лице, оно стало совсем темным, как чугун. В упор уставившись на меня, он сказал:

— Впрочем, может быть. Ведь так повелось испокон веков.

— Раз повелось испокон веков, значит, правильно?

— Не буду с тобой спорить. Но лучше не говори так; не то сам же и окажешься виноватым!

Я вскочил, раскрыв глаза от удивления, но человека того и след простыл. Меня даже в пот бросило. Он гораздо моложе брата, и я никак не ожидал, что он тоже в их шайке. Конечно, этому его научили родители. Боюсь, что он в свою очередь научил этому своего сына; вот почему даже дети смотрят на меня со злобой.

IX

Едят людей и сами боятся, как бы их не сожрали, с подозрением глядят друг на друга...

Как было бы спокойно, если бы они отказались от этих мыслей, занимались своим делом, гуляли, ели, спали. Для этого нужно перешагнуть всего лишь небольшое препятствие. Однако они организовали шайку, и все: отцы, дети, братья, супруги, друзья, учителя, враги и совсем незнакомые люди — подбадривают друг друга и даже под страхом смерти не желают перешагнуть это препятствие.

X

Рано утром пошел искать брата: он стоял во дворе и любовался природой; я остановился позади него и с исключительным спокойствием, чрезвычайно вежливо обратился к нему:

— Брат, я должен тебе что-то сказать.

— Говори, пожалуйста,— ответил он, быстро обернувшись, и кивнул головой.

— Я должен сказать всего несколько слов, но не могу их произнести. Брат! Наверное, вначале все дикари хоть немножечко да лакомились человеческим мясом. Впоследствии, ввиду различия в убеждениях, некоторые отказались от людоедства, все свои помыслы устремили на самоусовершенствование и превратились в людей, в настоящих людей, другие же по-прежнему занимались людоедством. Все равно как черви: одни из них эволюционировали в рыб, птиц, обезьян, наконец в человека, другие же не стремились к самоусовершенствованию и по сей день так и остались червями. Но даже черви по сравнению с обезьянками не столь низки, как людоеды по сравнению с нелюдоедами.

И Я сварил своего сына и отдал на съедение Цзе и Чжоу, потому что так повелось с давних времен. Кто знает, сколько было съедено людей с того момента, как Паньгу отделил небо от земли, и до тех пор, когда съели сына И Я; а от случая с сыном И Я до Сюй Си-линя; а от Сюй Си-линя вплоть до того, как в деревне Волчьей съели человека? В прошлом году, когда в городе казнили преступника, какой-то чахоточный макал пампушку в кровь казненного и облизывал ее.

Они хотят меня съесть, и ты один, конечно, бессилен что-либо предпринять. Но зачем ты вошел в их шайку? От людо-

едов добра не жди! Раз они могут съесть меня, значит, могут съесть и тебя, а потом пожрут друг друга. Но ведь достаточно исправиться, как среди людей сразу воцарится спокойствие. Пусть до последнего времени ничего нельзя было сделать, но разве мы не можем всеми силами стремиться к самоусовершенствованию; скажи, неужели это невозможно? Брат, я уверен, что по-твоему это невозможно; когда несколько дней тому назад арендатор просил снизить арендную плату, ты ему отказал.

Сначала брат холодно улыбался, но, по мере того как я говорил, взгляд его становился все более свирепым, когда же я стал разоблачать их тайные замыслы, лицо его потемнело.

За воротами стоит толпа людей: среди них и Чжао Гуйвэнь со своей собакой. Они теснятся у входа, с любопытством вытягивая шеи. У одних совсем нельзя различить черты лица, словно они закрыты покрывалами; у других, как и тогда, темные лица с оскаленными клыками. Они ухмыляются, не разжимая губ. Я знаю, что все они из одной шайки, что все они людоеды. Однако мыслят они, я это тоже понял, по-разному; одни считают, что нужно пожирать людей, как это было заведено издавна; другим, хотя они и понимают, что есть людей нельзя, все же хочется этого. Только они боятся, как бы не разгадали их тайного желания, и потому, услышав мои слова, все более раздражаясь, продолжают холодно усмехаться, не разжимая при этом губ.

— Пошли вон! Чего хорошего смотреть на сумасшедшего!

Тут я распознал еще одну их уловку. Они не только не желали исправиться, но намеревались упрятать меня куда-нибудь как сумасшедшего. И когда они съедят меня, все будет шито-крыто, да к тому же найдутся люди, которые посочувствуют им. Как раз о таком случае и рассказывал арендатор. Все идет как по-писаному.

Чэнь Пятый, тоже очень возмущенный, подбежал ко мне. Но как ни пытаются эти люди заткнуть мне рот, мне все же хочется сказать им: «Еще не поздно раскаяться, так сделайте же это чистосердечно! Знайте, что в будущем на земном шаре не потерпят людоедов. Если же вы не исправитесь, вас самих съедят, всех, до последнего. Сколько бы вас ни народилось, вас уничтожат настоящие люди, так, как уничтожают охотники волков. Как уничтожают червей!»

Чэнь Пятый прогнал шайку. Брат тоже куда-то ушел. Чэнь Пятый уговорил меня вернуться в комнату. В комнате — непроглядная тьма. Балки и стропила закачались прямо над моей

головой; покачались немного и стали увеличиваться... Навалились на меня...

Невыносимая тяжесть, не могу шевельнуться: они хотят моей смерти. Я понял, что эта тяжесть не настоящая, и, обливаясь потом, выкарабкался. Однако я во что бы то ни стало хочу им сказать: «Немедленно раскайтесь, раскайтесь чистосердечно! Знайте, что в будущем не потерпят людоедов...»

XI

И солнце не всходит, и двери не отворяются: кормят два раза в день. Я беру палочки для еды и вдруг вспоминаю брата: я знаю, что он один — причина смерти маленькой сестры. До сих пор образ сестры стоит у меня перед глазами. Такой милый и печальный образ. Ведь ей было тогда пять лет. Мать непрестанно рыдала, он уговаривал ее не плакать; наверное, потому, что сам съел сестру, а слезы матери вызывали в нем угрызения совести. Но если он еще может испытывать угрызения совести...

Сестру съел брат: я не знаю, известно ли об этом матери?

Думаю, что известно, но она ничего не сказала, только плакала,— видимо, считала, что так и следует. Припоминаю, когда мне было лет пять или меньше, я как-то сидел перед домом, наслаждаясь прохладой, брат сказал тогда, что, если отец или мать заболеют, сын должен вырезать у себя кусок мяса, сварить и предложить родителям съесть: только в этом случае его можно назвать хорошим сыном. Мать не возражала. Но раз можно съесть кусок, значит, можно съесть и человека целиком. Но до сих пор, стоит мне вспомнить, как она плакала, у меня разрывается сердце. Право, это очень странно!

XII

Нет больше сил думать. Только сегодня я понял, что живу в мире, где на протяжении четырех тысяч лет едят людей; когда умерла сестренка, старший брат как раз вел хозяйство, и кто знает, не накормил ли он нас тайком ее мясом.

Может быть, и я по неведению съел несколько кусочков мяса сестренки, а теперь очередь дошла до меня самого...

Я, у которого за спиной четыре тысячи лет людоедства, только сейчас понял, как трудно встретить настоящего человека.

XIII

Может, есть еще дети, не евшие людей?
Спасите детей!

Апрель 1918 г.

КУН И-ЦЗИ

Кабачки в местечке Лу особые, не такие как везде. Здесь прямо на улицу выходит огромный, в форме наугольника прилавок, где обычно держат наготове кипяток, чтобы подогревать желтое рисовое вино. Около полудня, а то и к вечеру, после трудового дня, рабочие заходят в кабачок выпить чарочку-другую; лет двадцать назад она стоила всего четыре медяка, а теперь — все десять. Опершись на прилавок, посетители отдыхают, попивая теплое вино. Еще за один медяк можно взять на закуску блюдечко побегов бамбука, сваренных в соленой воде, или бобов с укропом, а за десять медяков — заказать что-нибудь мясное. Впрочем, у посетителей в простых куртках таких денег не бывает. Ну а те, что в длинных халатах, проходят в комнатку за перегородкой и, заказав там вино с закусками, выпивают сидя, не спеша.

Двенадцати лет я поступил мальчиком в кабачок «Всеобщее благополучие», стоявший при въезде в город. Помнится, как хозяин мне сказал:

— Какой-то ты придурковатый! Пожалуй, не сумеешь угодить посетителям в халатах. Поработай-ка за прилавком.

С посетителями в куртках можно было не церемониться, только они много болтали, шумели и надоедали своими придирками. Зачастую лезли смотреть, как переливаешь вино из кувшина в чайник, не подливаешь ли заранее воды, и успокаивались, лишь проследив за тем, как греется чайник, опущенный в кипяток. Разбавлять вино при столь неотступном наблюдении было, разумеется, невозможно, и спустя несколько дней хозяин решил, что я с этим делом не справился. Не выгнали меня лишь благодаря моему поручителю, лицу весьма влиятельному, но теперь я должен был выполнять скучнейшую обязанность — подогревать вино.

С тех пор я только этим и занимался, целыми днями стоя за прилавком. Промахов я больше не допускал, но меня мучили однообразие и скука. При виде сурового лица хозяина и хмурых посетителей, редко бывавших в хорошем настроении, пропадала всякая охота веселиться. Некоторое оживление вносил лишь Кун, изредка заходивший в кабачок. Вот почему он мне и запомнился.

Единственный из всех посетителей в халатах, Кун И-цзи пил вино, стоя у прилавка. Это был человек высокого роста, с всклокоченной седоватой бородой и иссиня-белым морщинистым лицом, покрытым рубцами. Халат он носил такой грязный и рваный, будто его не стирали и не чинили лет десять. Он так обильно уснащал свою речь архаизмами, вроде дабы и паки, что его почти никто не понимал. Фамилия его была Кун, и прозвали его Кун И-цзи, по трем лишенным смысла иероглифам «кун и цзи», с которых начинаются школьные прописи.

Стоило Куну подойти к кабачку, как его тотчас же поднимали на смех.

— Эй ты,— кричал кто-нибудь,— опять тебе рожу поцарапали?

Но Кун, будто не слыша, молча подходил к прилавку.

— Подогрей две чарки вина и порцию бобов! — И тут же выкладывал девять медяков.

— Опять небось что-нибудь украл? — дразнили его завсегдатаи.

— Ну, как это можно ни с того ни с сего возводить на честного человека напраслину? — отвечал Кун, широко раскрыв глаза.

— Какая уж там честность! Позавчера я собственными глазами видел, как тебя лупили за то, что ты украл книгу у Хэ.

Кун багровел, на лбу у него вздувались жилы, и начинал с жаром доказывать:

— Взять книгу не значит воровать... Взять книгу... Для образованного человека дело обычное... Разве это воровство?

Затем следовало нечто непонятное, вроде «Совершенный муж тверд в бедности», «дабы», «паки», и все в таком духе. Раздавался дружный хохот, и кабачок наполнялся весельем.

Про Куна говорили, что когда-то он учился, но всякий раз проваливался на первом же экзамене и так и не нашел себе другого дела. Он беднел, опускался все ниже и докатился до того, что стал попрошайкой. Счастье еще, что у него был красивый почерк и он мог заработать на чашку риса перепиской

книг. Но у него, увы, были дурные наклонности: он отличался леностью и к тому же еще любил выпить. Поработает несколько дней, а потом исчезает вместе с книгами, кистями, бумагой и тушечницей. После нескольких таких случаев его перестали приглашать на работу, и ему не оставалось ничего другого, как воровать. Зато у нас в кабачке он вел себя даже лучше других и почти никогда не брал в долг. Изредка, правда, у него не оказывалось наличных и его фамилия появлялась на доске должников; но обычно не проходило и месяца, как он расплачивался, и имя его с доски исчезало.

Выпив полчашки вина, Кун успокаивался и становился таким же бледным, как всегда.

Но тогда его снова кто-нибудь начинал донимать:

— Верно, Кун, что ты грамотный?

Однако Кун смотрел на спрашивающего с пренебрежением, не удостаивая его ответом.

— Что же ты и до полсюцая не дотянул?

Тут Кун сразу же сникал, становился серым и в волнении начинал сыпать своими «дабы» и «паки». Опять раздавался взрыв хохота, и бурное веселье охватывало кабачок.

Мне тоже разрешалось посмеяться вместе со всеми — за это хозяин меня не ругал. Более того, завидев Куна, хозяин сам задавал ему вопросы, чтобы позабавить завсегдатаев. Понимая, что разговаривать с ними невозможно, Кун начинал болтать с детьми. И однажды обратился ко мне.

— Ты учился грамоте?

Я небрежно кивнул головой.

— Учился?.. Ладно, сейчас я тебя проэкзаменую. Как пишется знак «аниса» из названия блюда «бобы с анисом»?

«Попрошайка, а еще экзаменовать меня собирается!» — подумал я и отвернулся, не обращая больше на него внимания. Так и не дождавшись ответа, Кун ласково проговорил:

— Может быть, не умеешь писать?.. Я научу. Запомнишь? Эти иероглифы нужно знать. Станешь хозяином, пригодятся, чтобы написать счет.

Подумав про себя, что до хозяина мне еще далеко и что на бобы с анисом даже хозяин никогда не выписывает счетов, я не знал, смеяться мне или сердиться, и лениво протянул:

— Без тебя знаю. В этом иероглифе два знака — наверху знак «трава», а внизу — «возвращаться».

Кун И-цзи очень обрадовался, постучал по прилавку своими длинными ногтями двух пальцев и одобрительно кивнул головой:

— Верно, верно!.. А знаешь ли ты, что для иероглифа «возвращаться» существуют четыре начертания?

Я не вытерпел и, надув губы, отошел. Кун обмакнул было ноготь в вино, чтобы написать иероглифы на прилавке, но, заметив мое равнодушие, огорченно вздохнул.

Случалось, соседские мальчишки, заслышав смех, сбегались к кабачку и окружали Куна. Каждому из них он давал по одному бобу. Но, быстро проглотив их, дети продолжали с жадностью смотреть на оставшиеся. А Кун, в волнении, склонялся над блюдцем и, прикрывая его ладонью, говорил:

— Больше нет, нет у меня больше...— Затем выпрямлялся и, глядя на бобы, качал головой, бормоча: — Немного, немного! Разве здесь много?

Тут мальчишки с веселым смехом разбегались.

Так развлекал посетителей Кун И-цзи. Но если он не появлялся, никто этого не замечал.

Как-то раз, дня за два или за три до осеннего праздника, хозяин, не торопясь, подводил счет. Сняв доску с записью должников, он сказал:

— Что-то Куна давно не видно. За ним ведь девятнадцать медяков!

Тогда и я вспомнил, что Кун давно уже не показывался.

Один из выпивавших заметил:

— Как же он придет?.. Ему ведь ноги перебили!

— О! — вырвалось у хозяина.

— Совсем он одурел. Воровал, воровал и вздумал обокрасть самого цзюйжэня Дина. Да разве у Дина украдешь?

— И что же?

— Что же? Сперва его заставили написать повинную, а потом принялись бить. Чуть не всю ночь избивали, а под конец ноги перебили.

— А потом?

— Что потом? Ноги перебили...

— Как же это?

— Как же? Кто знает. Его уж, наверно, и в живых нет.

Хозяин умолк и, не торопясь, продолжал свои подсчеты.

Осенний праздник прошел. Ветер становился с каждым днем все холоднее, чувствовалось приближение зимы. Даже стоя целыми днями у огня, я не снимал ватной куртки.

Однажды после полудня, когда в кабачке не было посетителей, я присел и задремал.

— Эй! Подогрей-ка чарку вина! — вдруг почудилось мне.

Едва слышный голос показался очень знакомым. Я огля-

делся — нигде ни души. Встал и посмотрел за прилавок. За ним у порога оказался Кун в изодранном в клочья халате. Он так почернел и исхудал, что смотреть было страшно. Он сидел, подобрав под себя ноги, на свернутой камышовой циновке, подвязанной к плечам соломенными жгутами.

— Подогрей-ка чарку вина,— повторил он.

Тут выглянул и хозяин.

— Кун? — воскликнул он.— Так ведь за тобой еще девятнадцать медяков!

Подняв голову, Кун, теряя последние силы, чуть слышно произнес:

— Это... в другой раз. А сейчас заплачу наличными... Только вина получше.

— Опять что-нибудь стащил? — спросил хозяин с обычным смешком.

— Не смейтесь надо мной,— только и сказал Кун, на этот раз даже не пытаясь защищаться.

— Не смейтесь над ним! Не воровал бы, не перебили бы тебе ноги!

— Оступился и сломал, оступился, оступился...— зашептал Кун, взглядом умоляя больше об этом не вспоминать.

Тут подошли еще посетители и принялись смеяться вместе с хозяином.

Я подогрел вино, вынес чашку и поставил ее на порог. Кун вытащил из рваного кармана четыре медяка и дал мне. Его пальцы были в грязи — ведь он передвигался на руках. Осушив чашку, он медленно пополз, сопровождаемый взрывами смеха.

После этого Кун не показывался, и в канун Нового года хозяин, сняв доску, сказал:

— А за Куном все еще должок в девятнадцать медяков.

В следующем году перед летним праздником хозяин опять вспомнил:

— А за Куном все еще девятнадцать монет!

Но в осенние праздники хозяин его уже не вспоминал.

Не появился он и в канун Нового года.

Так я больше его и не видел. Наверно, Кун И-цзи и в самом деле умер.

Март 1919 г.

СНАДОБЬЕ

I

Осенью, далеко за полночь, когда луна заходит, а солнце еще не показывается, небо нависает над городком темным покровом.

Все погружено в сон, не спят только ночные гуляки.

Хуа Лао-шуань вдруг проснулся и сел в постели. Он чиркнул спичкой, поднес ее к фитилю в промасленной плошке, и обе комнаты чайной озарились голубоватым светом.

— Уже уходишь, отец? — раздался старушечий голос.

Из соседней комнаты донесся надрывный кашель.

— У-гу,— прислушиваясь к кашлю, ответил старый Хуа.

Застегнув халат, он подошел к жене и протянул руку:

— Давай!

Старуха Хуа долго шарила под подушкой, наконец, вытащила большой сверток с серебряными юанями и вручила его мужу.

Дрожащими руками старик положил деньги во внутренний карман и дважды примял его снаружи. Потом зажег фонарь, погасил светильник и прошел в другую комнату, ту самую, из которой доносились хрипы и мучительный кашель. Как только приступ закончился, старый Хуа тихо проговорил:

— Не вставай, сынок!.. Чайная? Ничего, мать одна управится.

Не получив больше ответа, отец решил, что сын уснул, и вышел за ворота.

На затихшей улице не было ни души, только отчетливо выделялась в темноте пепельно-белая полоска мостовой.

Кружок света от фонаря падал попеременно то на одну, то на другую ногу Хуа. Изредка ему попадались собаки, но они почему-то не тявкали. Было много холоднее, чем в комнате, но Хуа этого не ощущал и чувствовал себя помолодевшим, будто принял какое-то чудесное животворное снадобье. Он шел все дальше, широко шагая, а небо между тем слегка порозовело, дорога стала светлее.

Неожиданно старый Хуа вздрогнул. Он внимательно следил за дорогой и вдруг заметил перекресток. В нескольких шагах от него старик зашел под стреху и прислонился к запертым дверям лавки.

Отъезд Лу Синя в Нанкин
Чжао Янь-нянь

Теперь он наконец ощутил холод.

— Ишь-ты, старик!

— Видать, навеселе!

Лао-шуань опять вздрогнул и вгляделся в проходивших мимо. Один из них, подозрительного вида, обернулся, и в его глазах сверкнул тот хищный огонек, который вспыхивает у голодного при виде пищи.

Фонарь у старого Хуа погас, он потрогал карман — деньги были на месте. Тогда он огляделся — везде сновали по двое, по трое какие-то странные тени, подобные бесплотным душам. Ничего больше старик не заметил.

Вскоре, правда, появилось несколько солдат. Они расхаживали в своей форме с четко выделявшимися на ней большими белыми кругами. А у тех, кто подходил ближе, можно было различить на куртках темно-красные канты.

Но вот послышался тяжелый топот, и все, кто был здесь, в мгновение ока слились в огромную толпу, которая, точно прибой, хлынула вперед. На площади, у самого перекрестка, все остановились и выстроились полукругом. Теперь старому Хуа видны были одни только спины.

Люди так сильно вытягивали шеи, что стали походить на уток, которых дергала за голову чья-то невидимая рука.

На какую-то минуту толпа замирала, но малейший шум снова приводил ее в движение.

Но вот раздался страшный удар, и все отпрянули назад. Разбегаясь, люди кинулись к тому месту, где стоял старый Хуа, и чуть не сбили его с ног.

— Эй! Давай деньги, бери товар.

Перед старым Хуа остановился человек весь в черном, глаза его сверкали, как кинжалы.

От его пронизывающего взгляда старый Хуа весь съежился.

А тот протянул к нему свою огромную руку с раскрытой ладонью, держа на другой пропитанную свежей кровью круглую пампушку, с которой стекали красные капли.

Трясясь от страха, старик поспешно нашарил деньги и хотел передать их человеку в черном, но никак не решался взять у него красную пампушку.

Черный, вспылив, заорал:

— Ну, чего испугался? Почему не берешь?

Пока старый Хуа колебался, черный отобрал у него фонарь, сорвал с него бумагу, завернул в нее пампушку и сунул ему в руку.

Затем, схватив деньги, перещупал их и, уходя, проворчал:

— Вот старый дурак...

— Кого это ты будешь лечить? — вдруг послышалось старому Хуа, но мог ли он сейчас отвечать? Все свое внимание он сосредоточил на свертке со снадобьем, точно это был младенец, от которого зависело продолжение его рода на десяток поколений. Отрешившись ото всего, он собирался перенести в свой дом эту новую жизнь в надежде обрести счастье.

Взошло солнце и осветило перед стариком широкую дорогу, которая вела прямо к его дому. А позади него, на облупленной вывеске, висевшей на перекрестке, сияли позолотой иероглифы «древний... павильон...»

II

Когда старик Хуа пришел домой, в чайной уже было прибрано. Расставленные в порядке столы сверкали чистотой. Посетители еще не появлялись; только сын старика — Сяо-шуань сидел за столом и ел. Со лба у него скатывались крупные капли пота. Под теплым халатом, прилипшим к спине, резко обозначались лопатки.

Глядя на сына, старик то и дело хмурил брови. Из кухни поспешно вышла жена и, не сводя с мужа глаз, прошептала дрожащими губами:

— Достал?

— Достал.

Они пошли на кухню советоваться. Затем старуха вышла и вскоре вернулась с листом старого лотоса. Она положила лист на стол и расправила, а старый Хуа завернул в него красную пампушку, сняв прежнюю обертку.

Сяо-шуань уже покончил с завтраком, и мать, волнуясь, сказала ему:

— Посиди там, сынок, не ходи к нам.

Раздув огонь в печке, старый Хуа засунул туда зеленый сверток и бумагу от фонаря, всю в кровавых пятнах. Когда вспыхнувшие было темно-красные языки обожгли ее, по чайной распространился какой-то странный запах.

— Как вкусно пахнет! Что за печенье вы там едите? — послышался голос Горбуна, который, прихрамывая, вошел и сел за угловой столик, поближе к выходу. Он обычно коротал свои дни в чайной старого Хуа: приходил раньше всех, а уходил последним. Не получив ответа, он снова спросил:

— Вареный рис поджариваете?

Старый Хуа, не откликаясь, торопливо вышел заварить для него чай.

— Пойди сюда, сынок! — крикнула старуха из маленькой комнаты. Она поставила скамейку, усадила сына и подала ему на блюдце что-то круглое и черное.

— Съешь, и вся хворь пройдет,— прошептала она.

Молодой Хуа взял почерневшую пампушку, оглядел ее со всех сторон с таким удивлением, будто держал в руке собственную жизнь, а потом осторожно разломил. За струей пара, обдавшей лицо, показались половинки круглой пампушки, испеченной из белой муки. Вскоре на блюдце не осталось ни крошки, снадобье оказалось у больного в желудке, и он даже забыл, каково оно на вкус.

Стоя подле сына, отец с одной стороны, мать — с другой, следили за ним, будто надеялись, что вот сейчас, у них на глазах, из его тела выйдет что-то страшное, и он сразу переменится. От волнения сердце у них громко стучало, они ласково гладили сына по груди, но тут его снова потряс приступ кашля.

— Поспи, и вся хворь пройдет.

Сын послушно лег, но еще долго кашлял, пока наконец не уснул.

Дождавшись, когда дыхание у него стало ровнее, мать осторожно накрыла его ветхим, сплошь заплатанным одеялом.

III

В чайную теперь набилось много посетителей. Старый Хуа суетился, обходя гостей с большим медным чайником и разливая чай. Под глазами у него легли черные круги.

— Захворал, неможется тебе? — спросил его посетитель с седой бородой.

— Да нет, ничего.

— Ничего? А ты и вправду не похож на больного, улыбаешься...— постарался замять неловкость посетитель.

— Дел у него невпроворот. Вот если бы его сын...

Не успел Горбун договорить, как в чайную влетел человек с грубым, мясистым лицом. Черная холщовая рубаха на нем была расстегнута, а концы небрежно повязанного широкого черного пояса свободно болтались. Едва переступив порог, он закричал:

— Ну, как? Принял снадобье? Выздоровел? Счастливая у тебя судьба, старый Хуа! Удача тебе привалила! Но если бы не я первый узнавал новости...

Старый Хуа слушал с довольной улыбкой, почтительно вытянув руки. С таким же почтением прислушивались к разговору и посетители.

Старуха Хуа тоже с синевой под глазами, улыбаясь, подала человеку в черном чашку с сухим чаем и положила в нее маслину, а старый Хуа налил ему кипятку.

— Ручаюсь, что выздоровеет. Снадобье на этот раз особой силы. Подумай только, кровь я взял еще тепленькую, да и принял он ее еще теплой,— продолжал кричать посетитель в черном.

— Верно, верно! Спасибо дядюшке Кану за заботу. Что бы мы без него делали...— растроганно приговаривала старуха.

— Ручаюсь, ручаюсь! Съесть еще тепленькой... Да от такой пампушки с человеческой кровью любая чахотка пройдет!

При слове «чахотка» старуха сразу изменилась в лице. Она натянуто улыбнулась и, расстроенная, поспешно ушла. Но дядя Кан ничего не заметил и продолжал орать во все горло. От его крика проснулся спавший в другой комнате молодой Хуа, и у него снова начался приступ кашля.

— Счастливая у твоего сына судьба. Уж теперь наверняка выздоровеет. Не удивительно, что старый Хуа целый день так и сияет улыбкой,— сказал седобородый, а сам подошел к дяде Кану и тихо спросил: — Говорят, что преступник, казненный сегодня, из рода Ся. Чей же он сын, дядя Кан? В чем там дело?

— Чей сын? Четвертой госпожи Ся. Ну и паршивец...— Заметив, что все внимательно его слушают, дядя Кан обрадовался. Его грубое мясистое лицо расплылось в улыбке, а голос загремел еще громче: — Этот негодяй просто не хотел жить, не хотел, вот и все. А мне на сей раз ничего не досталось. Даже одежду, которую я с него сорвал, и ту забрал тюремный надзиратель, Красноглазый А-и. Зато уж кому повезло, так это старому Хуа и Ся Третьему. Хуа получил снадобье, а Ся Третий — награду — двадцать пять лянов серебром чистыми! И ни с кем даже грошом не поделился.

В это время, держась обеими руками за грудь и захлебываясь от кашля, из своей комнаты медленно вышел Хуа-младший. Подойдя к очагу, он наполнил чашку холодным рисом, залил его кипятком, сел и принялся есть.

Мать шла за ним и тихонько спрашивала:

— Лучше тебе, ну хоть чуточку? Или все так же есть хочется?..

— Дело верное! — глянув на юношу, сказал дядя Кан и снова обратился к посетителям.

— Господин Ся Третий — настоящий ловкач. Не донеси он заблаговременно начальству, казнили бы и его со всем родом. А теперь что? Серебро! Ну а мальчишка, негодяй из негодяев! Ведь в тюрьму посадили, так он и там подговаривал надзирателя бунтовать.

— Ну, это уже слишком! — возмутился посетитель лет двадцати, сидевший в дальнем углу.

— Я вам точно говорю. Стал его допрашивать Красноглазый, выведывать подробности, а он давай его с толку сбивать. «Поднебесная, говорит, которой владеет Цинская династия,— принадлежит нам всем». Подумать только! Да разве порядочный человек такое скажет!.. Красноглазый-то знал, что у него дома только мать-старуха, по что он — нищий, никак не ожидал. А как только смекнул, что из него, как говорится, капли масла не выжмешь, так и рассвирепел, а тот еще вздумал, как говорится, почесать тигру морду. Ну, Красноглазый и отвесил ему пару оплеух.

— А ведь брат Красноглазый мастер бить. Пары оплеух тому наверняка хватило,— неожиданно развеселился Горбун.

— Да его, подлую кость, разве застращаешь? Бей не бей, а он свое: «Жаль мне тебя, очень жаль!»

— А что жалеть такого негодяя? Бить его нужно! — заметил седобородый.

Дядя Кан бросил на него презрительный взгляд:

— Оглох ты, что ли? Ведь он что сказал: «Жаль мне тебя, Красноглазый!»

Лица слушателей вдруг застыли, разговоры оборвались.

Молодой Хуа между тем покончил с рисом. Он наелся так, что весь вспотел, а от головы даже пар шел.

— Он жалел Красноглазого? Рехнулся он, вот что! — воскликнул седобородый, словно его осенило.

— Рехнулся! — повторил молодой человек в углу, как будто тоже вдруг прозрел.

Снова все оживились, заговорили, засмеялись. Раздирающий кашель молодого Хуа слился с общим шумом.

Дядя Кан подошел к нему, похлопал его по плечу и сказал:

— Дело верное! Ты не будешь так кашлять. Ручаюсь!

А Горбун все повторял, кивая головой:

— Рехнулся!

IV

Земля у городской стены за западными воротами была казенной. Здесь вилась тропинка, протоптанная теми, кто выбирал кратчайший путь. Она образовала естественную границу: по левую сторону от нее хоронили казненных и умерших в тюрьме, по правую — бедняков. Могилки стояли так тесно, что едва не громоздились одна на другую, как круглые пампушки, которые пекут в богатых семьях ко дню рождения.

День Поминовения в том году выдался на редкость холодным. На тополях и ивах появились крохотные, в половину рисового зернышка, листики.

Только рассвело, а старуха Хуа уже стояла над свежей могилой справа от тропинки. Она успела принести жертву: четыре блюдечка с овощами и чашку с рисом, и всплакнуть. Сожгла жертвенные деньги из фольги, села на землю и застыла, будто в ожидании чего-то, а чего, она и сама не знала. Слабый ветер трепал ее короткие волосы, ставшие совсем белыми с прошлого года.

На тропинке показалась женщина, тоже седая, в рубище. С измятой круглой корзинки, когда-то, видимо, покрытой красным лаком, которую она держала в руках, свисала нитка с нанизанными жертвенными деньгами. Женщина делала два-три шага, потом отдыхала. Почувствовав на себе взгляд старухи Хуа, она остановилась и начала переминаться с ноги на ногу. На ее мертвенно-бледном лице отразился мучительный стыд. Наконец, решительно сдвинув брови, она подошла к могиле по левую сторону тропинки и опустила корзинку на землю. Эта могила была почти рядом с могилой молодого Хуа, их разделяла только тропинка.

Глядя, как женщина расставляла четыре блюдечка с овощами и чашку с рисом, как, плача, сжигала жертвенные деньги, старуха подумала:

«Значит, и у нее здесь похоронен сын».

Но вдруг женщина испуганно оглянулась, руки и ноги у нее задрожали. Шатаясь, она попятилась, с ужасом уставившись на могилу. Боясь, как бы она не сошла с ума от горя, старуха Хуа не выдержала, поднялась и шагнула через тропинку.

— Не надо так убиваться. Пойдем отсюда,— тихо сказала она.

Женщина кивнула головой, не в силах оторвать глаз от вершины могилы, и почти шепотом, запинаясь, проговорила:

— Погляди, погляди, что это там?

Старуха Хуа посмотрела в указанном направлении, но не увидела ничего, кроме жалкого холмика из комков желтой земли, еще не заросшей травой. Но вот она перевела взгляд повыше и тоже испугалась: там лежал венок из красных и белых цветов. И хотя зрение у женщин ослабело с годами, обе ясно разглядели цветы. Их было немного, красных и белых, сплетенных в круг, не пышный, но очень ровный.

Старуха Хуа оглядела могилу сына и другие могилы — лишь кое-где, несмотря на холод, распустились мелкие голубые цветочки. Какое-то безотчетное чувство пустоты и неудовлетворенности овладело ею.

Та, другая мать, подошла совсем близко к могиле и, пристально вглядываясь в цветы, заговорила сама с собой:

— Откуда же они взялись? Сами расцвести не могли — у них нет корней. Кто же был здесь? Дети сюда играть не прибегают. Родственники давно уже перестали ходить.

Она постояла в раздумье, и вдруг из глаз у нее покатились слезы.

— Сын мой, Юй-эр,— произнесла она во весь голос,— ведь тебя казнили невинного, несправедливо. Тебе этого не забыть, не одолеть свою скорбь. Ты сегодня и подал мне знак? Явил чудо?

Но, оглянувшись вокруг, она увидела только черного ворона на голой ветке.

— Я все поняла! Сын мой! Сжалься над теми, кто тебя загубил. Небу ведомо все, и рано или поздно их ждет возмездие. Спи спокойно. Если же ты здесь и слышишь меня, подай мне знак, пусть этот ворон слетит на твою могилу.

Ветерок стих. Прошлогодняя трава выпрямилась, точно натянутая струна. Каждая травинка, казалось, стонала, и слабый этот стон становился все тише, пока наконец не смолк совсем. Наступила мертвая тишина. Обе матери стояли среди высохшей травы и смотрели на ворона, который сидел на голой ветке нахохлившись, неподвижный, будто отлитый из чугуна.

Прошло немало времени. Народу на кладбище все прибывало. Старые и молодые проходили между могил.

Старуха Хуа вдруг почувствовала облегчение, будто сбросила с себя тяжелую ношу.

— Не пойти ли нам по домам? — предложила она.

Другая мать вздохнула, собрала посуду с жертвенной пищей, помедлила еще немного и наконец потихоньку пошла, не переставая бормотать:

— Откуда же они взялись?..

Не прошли матери и нескольких шагов, как вдруг послышалось громкое «карр». Они с благоговением обернулись и увидели, как ворон, расправив крылья, снялся с места и стрелой взмыл в небеса.

Апрель 1919 г.

ЗАВТРА

— Что-то тихо совсем. Как там малыш? — пробормотал Лао Гун, по прозвищу Красноносый, поднимая чарку с желтым вином и указывая на стену.

А-у, Синяя Шкура, отставил свою чарку и, что было силы, хлопнув Красноносого по спине, протянул:

— Опять... ты... затосковал?..

В Лучжэне, захолустном городке, еще жили по старинке: не позже первой стражи запирали двери и укладывались спать. Бодрствовали до полуночи лишь в кабачке «Всеобщее благополучие», где собутыльники веселились у стойки за едой и вином, да рядом за стеной: потеряв в позапрошлом году мужа, вдова Шань допоздна засиживалась над пряжей, чтобы прокормить себя и своего двухлетнего сына.

Но вот уже несколько дней, как смолкла прялка вдовы Шань. Поскольку же до поздней ночи бодрствовали только в двух домах, то лишь Красноносый с приятелями мог знать, когда прялка за стеной шумела, а когда умолкала.

Дружеский удар не помешал Красноносому с удовольствием отхлебнуть здоровый глоток вина и замурлыкать песенку.

Вдова Шань тем временем сидела на краю кровати, обняв своего сына, а прялка неподвижно стояла в стороне. Тусклый огонек светильника падал на синяя-багровое лицо ребенка. «Что еще сделать? — думала молодая мать.— В храме жребий тянула, обет принесла, домашними снадобьями напоила... ничего не помогло... Осталось лишь сходить с ним к лекарю — Хэ Сяо-сяню. Но, может быть, Бао-эру днем полегчает? С восходом солнца жар спадет и дыхание станет ровнее? У больных так часто бывает».

Вдова Шань была женщиной простой, темной. Она не понимала всей опасности словечка «но», из-за которого плохое нередко оборачивалось счастьем, а хорошее — бедой.

Летние ночи коротки. Будто немного времени прошло с тех пор, как Красноносый перестал мурлыкать свою песенку, а на востоке уже посветлело, и вскоре в оконную щель проник серебристый луч утренней зари.

Молодая мать с трудом дождалась рассвета. Ей казалось, что наступал он слишком медленно, а каждый вздох сынка тянулся чуть ли не год. Огонек светильника наконец поблек перед светом зари, и она увидела, что ноздри мальчика трепещут, словно крылья бабочки.

Она поняла, что ребенку плохо, и тихонько вскрикнула:

— Ах! Что же делать? Придется нести его к лекарю Хэ, другого выхода нет.

Вдова Шань была женщиной простой и темной, но решительной. Она достала из деревянного шкафчика все свои сбережения — тринадцать серебряных и сто восемьдесят медных монет,— положила их в карман, заперла двери и с ребенком на руках быстрым шагом направилась к лекарю.

Несмотря на ранний час, у Хэ уже сидели четыре пациента. Вдова Шань отсчитала четыре серебряных монетки и купила номерок — ее сын оказался пятым.

Когда подошла ее очередь, лекарь стал проверять у ребенка пульс, вытянув два пальца с длинными, более четырех дюймов, ногтями. Подивившись на них, она поверила, что ее сокровище будет жить, но все же не смогла одолеть тревогу и, не вытерпев, робко спросила:

— Скажите, господин доктор, что с моим сынком?

— У него засорение желудка.

— А это не опасно? Он...

— Сначала пусть два раза примет лекарство.

— Он не может дышать, у него ноздри трепещут.

— Это огонь побеждает металл...

Не договорив, Хэ закрыл глаза, и вдова Шань не решилась больше его расспрашивать. Человек лет тридцати, сидевший напротив лекаря, тем временем успел выписать рецепт. Тыча в иероглифы в углу бумажки, он сказал:

— Это пилюли — лучшее лекарство для сохранения жизни младенца. Они имеются только у Цзя, в Американо-азиатской аптеке.

Взяв рецепт, вдова Шань вышла и остановилась в раздумье. Хотя она была женщиной простой и темной, но понимала, что от лекаря Хэ ей ближе пройти к аптеке, чем домой, а потом уже вернуться с лекарством. И она поспешила прямо в аптеку. Молодая мать с ребенком на руках стоя ждала, пока

приказчик, тоже любовавшийся своими длинными ногтями, долго, не торопясь, читал рецепт, долго, не торопясь, завертывал лекарство.

Вдруг сынок вскипул ручонку и дернул ее за выбившуюся прядь спутанных волос. Этого прежде никогда не случалось, и мать замерла от испуга.

Солнце стояло уже высоко, когда вдова Шань возвращалась домой. Бао-эр непрестанно метался, нести его становилось все тяжелее, а дорога казалась бесконечно длинной. Измученная, она присела на пороге у двери какого-то дома. Немного отдышалась и тут почувствовала, что мокрая от пота одежда прилипла к телу. Ребенок притих: видно, заснул. С трудом удерживая его, она встала и поплелась дальше, как вдруг над самым ее ухом кто-то произнес:

— Дай-ка я его понесу, Шань!

Это был голос Синей Шкуры. Подняв голову, вдова Шань увидела рядом с собой его сонные, мутные глаза.

Хотя вдова Шань и мечтала сейчас о добром духе, который спустился бы с небес и помог, но ей не хотелось, чтобы это был Синяя Шкура. И все же именно он с истинным благородством захотел во что бы то ни стало ей помочь. Вначале отнекиваясь, она в конце концов согласилась. Синяя Шкура взял ребенка, коснувшись ее груди. От его прикосновения вдову Шань бросило в жар, и она почувствовала, что краска залила все лицо до самых ушей.

Они пошли дальше, держась на расстоянии двух шагов друг от друга. Синяя Шкура что-то ей говорил, но вдова Шань ему почти не отвечала. Вскоре он остановился и отдал ей ребенка, сказав, что именно на этот час еще вчера договорился пообедать с друзьями. Она взяла ребенка, но до дома, к счастью, было уже недалеко. Еще издали она заметила у своих ворот бабушку Ван Цзю.

— Как сынок, Шань? Была ты у доктора? — крикнула та.

— Была-то была... Но лучше бы ты взглянула, бабушка Ван! Ты уже в годах, многое повидала на своем веку. Что с ним?

— Гм...

— Ну, как?

— Гм...— Бабушка Ван внимательно посмотрела на ребенка, вздохнула и покачала головой.

Когда Бао-эр принял лекарство, было уже далеко за полдень. Мать пристально вглядывалась в его личико. Ему вроде бы стало легче. Но вечером он вдруг широко открыл глаза,

крикнул: «Ма!», потом снова их закрыл, как будто уснул. Однако уже через четверть часа на лбу и на носу у него выступили бусинки пота. Тихонько их отирая, мать чувствовала, как пот, словно клей, липнет к пальцам. В тревоге она потрогала грудь сына и, не стерпев, стала всхлипывать. Едва слышное дыхание ребенка все слабело, и плач матери наконец перешел в рыдания.

У дома уже собрался народ. Бабушка Ван и Синяя Шкура вошли в комнату, за дверями остались хозяин кабачка «Всеобщее благополучие», Красноносый и другие. Бабушка Ван сожгла связку жертвенных денег из серебряной фольги, заложив две скамейки и пять платьев, раздобыла два юаня, чтобы приготовить угощение для помощников. Словом, распоряжалась всем.

Прежде всего надо было раздобыть гроб. Серебряные сережки и позолоченную шпильку, единственное богатство у вдовы Шань, отдали хозяину кабачка, чтобы при его поручительстве, наполовину за наличные, наполовину в долг приобрести гроб. Синяя Шкура предложил свою помощь; но бабушка Ван отстранила его, поручив ему, правда, на следующий день отнести гроб на кладбище.

— Старая тварь,— выругался Синяя Шкура и, обиженно надувшись, не двинулся больше с места. Хозяин кабачка отправился сам, а вечером вернулся, сообщив, что гроб уже начали сколачивать, но готов он будет лишь после полуночи.

К тому времени все помощники уже отужинали. Но поскольку в Лучжэне еще жили по старинке, то сразу после первой стражи все разошлись по домам и легли спать. Лишь в кабачке «Всеобщее благополучие» у прилавка тянул вино Синяя Шкура да старый бездельник Красноносый мурлыкал свою песенку.

А вдова Шань сидела на краю кровати, оплакивая своего сыночка. Он лежал рядом, а прялка неподвижно стояла в стороне. Долго плакала вдова Шань, пока у нее не распухли глаза и не иссякли слезы. Потом осмотрелась с каким-то странным чувством: происшедшее казалось ей невозможным.

«Нет, это сон,— думала она.— Это только сон... Завтра проснусь и увижу, что Бао-эр спокойно спит рядом. Он тоже проснется, крикнет «ма» и, спрыгнув на пол, побежит играть, живой и ловкий, как тигренок.

Давно уже смолкли песни Красноносого, и в кабачке «Всеобщее благополучие» погасили огни. А вдова Шань все сидела, широко открыв глаза, не в силах поверить случившемуся.

Прокричал петух. На востоке посветлело, и вскоре в оконную щель проник серебристый утренний луч.

Наливаясь пурпуром, солнечные лучи легли на потолок. А вдова Шань все сидела в оцепенении, широко раскрыв глаза.

В дверь постучали, вдова вздрогнула от испуга и бросилась отпирать. На пороге стоял незнакомый человек, который что-то держал на спине, а позади него — бабушка Ван.

— Ах!.. Он принес гроб.

Накрыть гроб крышкой удалось лишь к концу дня.

Плача над сыном, вдова Шань никак не могла на него насмотреться и не давала закрыть гроб. Наконец бабушка Ван, потеряв терпение, в сердцах оттащила ее. И тогда наконец прибили крышку.

Провожая сыночка, вдова Шань отдала ему свое сердце. Чего только она не сделала! Вчера сожгли связку жертвенных денег, сегодня — сорок девять свитков заклинаний «Великой скорби». Обрядили мальчика во все новое. Его любимые игрушки — глиняную куколку, две деревянные чашечки и две стеклянные бутылочки — положили у изголовья. Не обнаружила упущений даже бабушка Ван, старательно пересчитав все на пальцах.

А Синяя Шкура в тот день совсем не явился. Пришлось хозяину кабачка нанять для вдовы Шань двух носильщиков и дать каждому по двести десять медяков за то, что они отнесли гроб на кладбище для бедных. Бабушка Ван снова помогла вдове Шань приготовить угощение для всех, кто здесь толкался целый день и болтал. Когда солнце начало опускаться за горы, насытившихся людей невольно потянуло домой, и все они в конце концов разошлись.

У вдовы Шань кружилась голова. Немного погодя она пришла в себя, постепенно успокоилась. Но затем у нее появилось какое-то непонятное ощущение: случилось невероятное, то, что не могло и не должно было произойти — и все же произошло. Чем больше она думала, тем больше удивлялась, пока наконец ей не открылось нечто странное: в комнате вдруг стало слишком тихо.

Вдова Шань зажгла светильник, но стало еще тише. Будто во сне, она встала, заперла двери, снова вернулась и села на край кровати. Прялка неподвижно стояла в стороне. Вдова Шань собралась с мыслями, осмотрелась — она не в силах была ни сидеть, ни стоять. Комната стала не только слишком тихой, слишком большой, но и пустой. Все вокруг превратилось в пустоту, пустота сдавила ее, не давала дышать.

Только теперь она поняла, что сын ее умер. Не желая больше смотреть на свою комнату, вдова задула светильник и легла. Она плакала и предавалась воспоминаниям о том времени, когда пряла пряжу, а Бао-эр, сидя подле нее, ел бобы с анисом. Однажды, широко раскрыв свои черные глазенки, он задумался и сказал:

— Ма! Отец торговал пельменями. Я вырасту и тоже стану торговать пельменями, заработаю много-много монет и все отдам тебе.

В то время даже пряжа, каждый ее дюйм, имел значение, будто был живым. А теперь?

На вопрос о том, что будет теперь, она не могла найти ответа.

Я говорил уже, женщиной она была простой и темной, что же она могла придумать? Она чувствовала лишь, что комната стала слишком большой, слишком тихой и слишком пустой.

И все же эта простая, темная женщина понимала, что мертвые не возвращаются, что сынка ей больше не увидеть. Вздохнув, она сказала:

— Ты должен вернуться сюда, Бао-эр! Приди же ко мне, когда я усну.

И она закрыла глаза, чтобы поскорее уснуть и увидеть сына. Она явственно слышала, как ее тяжелое дыхание заполнило тихое, большое и пустое пространство.

Наконец вдова Шань забылась и отошла в царство сна, а комната погрузилась в тишину.

Смолкла и песенка Красноносого за стеной. Пошатываясь, он вышел из кабачка «Всеобщее благополучие» и запел фальцетом:

— Мучительница моя, как жаль тебя, одинокую...

Синяя Шкура обхватил Красноносого за плечи, и оба они, смеясь, спотыкаясь и подталкивая друг друга, побрели прочь.

Вдова Шань заснула. Красноносый с приятелем ушел. В кабачке «Всеобщее благополучие» заперли двери, и в местечке Лу воцарилась тишина.

Лишь где-то во мраке еле слышно завывали псы да мчалась сквозь тишину темная ночь, будто стремясь поскорее превратиться в ясный день.

Июнь 1920 г.

МАЛЕНЬКОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

В мгновение ока пролетело шесть лет со дня моего переезда из деревни в столицу. За это время на моих глазах произошло немало и так называемых великих событий государственного масштаба, но ни одно из них не оставило какого-либо следа в моем сердце, и если мне случается иногда подумать о влиянии, какое могли эти события оказать на меня, я нахожу лишь ухудшение моего и без того дурного характера,— по правде говоря, они заставляли меня все с большим презрением относиться к людям.

Но вот маленькое одно происшествие стало полным значения для меня, вывело меня из мрачного состояния духа, и я до сих пор не могу забыть его.

Это случилось зимой тысяча девятьсот семнадцатого года. Бушевал северный ветер, но дела вынудили меня с утра выйти из дому. На улице почти не встречалось прохожих. Я с трудом отыскал рикшу и велел отвезти меня к воротам С. Прошло немного времени, утих ветер, улеглась пыль, передо мною расстилалась чистая белая полоса дороги, и рикша побежал быстрее. Я уже приближался к концу пути, когда вдруг оглобля коляски задела какого-то человека, и он медленно опустился на мостовую.

Это оказалась женщина с сединой в волосах, одетая в лохмотья. Она неожиданно возникла у края дороги и бросилась наперерез коляске. Рикша успел повернуть, но ее незастегнутая ватная безрукавка распахнулась от ветра и полой зацепилась за оглоблю. К счастью, рикша уже замедлял бег, в противном случае, он бы с силой налетел на женщину и она бы неминуемо расшиблась до крови.

Она лежала лицом вниз. Рикша остановился. Мне казалось, что серьезно пострадать она не могла, да вдобавок никто и не видел случившегося, и я негодовал на то, что рикша вмешивается не в свое дело, нарывается на неприятности и задерживает меня.

— Ладно,— сказал я ему,— поехали!

Рикша не обратил на мои слова никакого внимания,— может быть, он не слышал,— оставил коляску и бережно поднял женщину. Держа ее за локоть, он спросил:

— Что с тобой?

— Я очень ушиблась.

Я подумал: «Я видел, как медленно ты падала. Как могла ты ушибиться? Ты просто-напросто притворяешься, и это отвратительно. Рикша же лезет не в свое дело и доставляет себе ненужные хлопоты. Пусть сам и выпутывается».

Услышав ответ женщины и ни на мгновение не заколебавшись, рикша, все так же бережно поддерживая ее под локоть, шаг за шагом повел ее. Меня это удивило, я взглянул в том направлении, куда они пошли, и увидел здание полицейского участка, возле которого после только что утихшей бури никого еще не было. Туда-то рикша и вел женщину.

Меня внезапно охватило странное ощущение: мне показалось, что густо покрытая дорожной пылью фигура рикши сразу выросла, и чем дальше он уходил от меня, тем все больше становился, и вот мне нужно уже было закидывать голову для того, чтобы смотреть на него. И какая-то огромная сила, исходившая от рикши, все сильнее давила меня и вытесняла то «мелкое», что глубоко было спрятано во мне.

Меня как будто покинула жизнь,— я сидел неподвижно и бездумно, и сошел с коляски лишь тогда, когда увидел направляющегося ко мне от ворот участка полицейского.

Полицейский подошел ко мне и сказал:

— Наймите другого рикшу, этот вас не повезет.

Я машинально опустил руку в карман, вынул полную горсть медяков и протянул их полицейскому:

— Передайте ему это, пожалуйста.

Ветер прекратился, но на дороге было по-прежнему безлюдно. Я шел и думал, и я боялся думать о себе. Я старался отвлечься от мыслей о том, что произошло, но все-таки для чего была эта горсть медяков? Чтобы вознаградить его? Да смею ли я быть судьей этому рикше? Я не умел ответить себе.

До сих пор память об этом происшествии живет во мне. Оно терзает меня и заставляет задумываться над самим собой.

Все примеры чиновничьей мудрости и воинской доблести, проявленной за эти несколько лет, так же полузабыты мною, как заучивавшееся в детстве: «Учитель сказал... Стихи гласят». И только маленькое это происшествие так и стоит перед моими глазами, иногда приобретая особую отчетливость, и стыдит меня, и призывает к обновлению; оно укрепляет мое мужество и усиливает мою надежду.

Июль 1919 г.

РАССКАЗ О ВОЛОСАХ

В воскресенье утром я оторвал листок календаря, взглянул на дату и воскликнул:

— Ба! Да ведь сегодня десятое октября. Праздник двойной десятки, а в календаре о нем ни слова!

— Ну и пусть ни слова! Может быть, они и правы,— услышал я недовольный голос моего приятеля, господина N., который как раз зашел ко мне поболтать.— Ты вот вспомнил, а что толку?

Господин N. был человеком со странностями; он вечно ворчал и говорил не то, что принято. Я обычно не перебивал его. А он, выговорившись, умолкал.

— С особым почтением я отношусь к празднованию этого дня в Пекине,— продолжал он.— С самого утра к воротам подходит полицейский и командует: «Вывесить флаг!» — «Есть, вывесить флаг!» Чаще всего из ворот выходит вразвалку какой-нибудь гражданин республики и цепляет на палку кусок выцветшей, измятой заморской материи. Поздно вечером, когда запирают ворота, флаги снимают, а если кто забыл, флаг так и висит до утра.

— Люди забыли все, и о людях тоже забыли.

— Да ведь и я не вспомнил об этом дне. А когда вспоминаю, что было накануне революции и после нее, то не нахожу себе покоя.

— Сколько дорогих лиц встает перед моими глазами! Юноши — одни из них многие годы скитались по свету и пали, сраженные пулей из-за угла; другие после неудачного покушения терпели жестокие пытки в тюрьме; третьи — просто мечтатели — вдруг исчезали бесследно, и даже тел их нельзя было отыскать.

— Всю жизнь гонимые обществом, они повсюду встречали оскорбления, холодные насмешки и злую брань. Теперь могилы их забыты и сровнялись с землей.

— Невыносимо вспоминать обо всем этом.

— Что же, давай вспомним о чем-нибудь более приятном...— Господин N. улыбнулся, провел рукой по волосам и неожиданно громко произнес: — А знаешь, что радует меня больше всего? Что с первого же дня революции я могу смело ходить по улицам, не слыша больше ни насмешек, ни ругани.

— Ты ведь знаешь, друг мой, что значат для нас, китайцев, волосы! В них все наше счастье и все наши беды. Сколько

людей пострадало из-за них во все времена. Наши далекие предки, судя по их законам, как будто не придавали прическе особого значения. Для них важнее была голова, и ее отсечение считалось тяжким наказанием, не менее тяжелым считалась и кастрация. А такое легкое наказание, как бритье головы, почти не упоминалось. Между тем скольких людей растоптало общество лишь из-за бритой головы!

— Как только речь заходит о революции, мы по привычке вспоминаем резню в Цзядине и десять дней в Янчжоу, хотя даже завоевание страны в то время не вызвало в китайцах протеста столь сильного, как указ носить косу.

— Неблагонадежных всех вырезали, приверженцы старых порядков сами поумирали, косы вошли в обычай, но тут восстали Хун Сю-цюань и Ян Сю-цин. Народу тогда, по рассказам бабушки, приходилось туго: обреешь лоб и заплетешь косу — убьют повстанцы, не заплетешь косы — убьют каратели.

— Сколько людей помучилось да погибло из-за этих кос, а ведь от них ни холодно, ни жарко. Кто бы подумал, что и до меня дойдет очередь...— добавил господин N., глядя вверх, будто что-то припоминая.

— Я отрезал себе косу за границей, как только приехал туда учиться, и ни по какой другой причине, а только из-за неудобства. Но некоторые сокурсники, те, что прятали свои косы под фуражкой, закручивая их на макушке, к моему удивлению, сразу меня возненавидели. А надзиратель, тот просто пришел в ярость и даже пригрозил лишить меня стипендии и отправить обратно в Китай.

— А помнишь, вскоре у самого надзирателя срезали косу, и ему пришлось скрыться. В этом был замешан Цзоу Жун, тот самый, который написал «Революционную армию». За это ему даже не дали доучиться. Он вернулся в Шанхай, а потом умер в тюрьме. Но ты, пожалуй, об этом уже забыл?

— Через несколько лет родные мои обеднели, и я стал искать работу, чтобы не голодать. В конце концов мне пришлось вернуться в Китай. В Шанхае я сразу купил себе фальшивую косу, стоила она тогда два юаня, кое-как приладил ее и вернулся домой. Мать меня не упрекала, зато соседи мою косу так и сверлили взглядом. Дознавшись же, что она фальшивая, заклеймили презрением, как преступника, осужденного на плаху. Один родственник собрался было донести на меня властям, да передумал — ведь революционеры могли и победить.

— А я решил, что без фальшивой косы куда лучше, забросил ее и завел себе европейский костюм.

— Но ведь идешь по улице, а тебя ругают прямо в лицо, смеются, некоторые даже бегут следом и кричат: «Эй ты, чучело!», «Поддельный заморский черт!»

— А я тогда сменил европейский костюм на наш обычный халат, так меня начали поносить еще пуще. И вот, когда стало невмоготу, я обзавелся палкой и несколько раз пустил ее в ход. Мало-помалу от меня отстали. Но стоило мне забрести в другой район, как на меня снова накидывались с бранью... Я до сих пор помню, как однажды, еще живя в Японии, я узнал из газет о докторе Хонда, который путешествовал по Китаю и по странам южных морей. Ни китайского, ни малайского он не знал. «Как же вы путешествовали?» — спросили его. Он поднял стек и ответил: «Вот язык, который они отлично понимают!» Помню, я тогда кипел от негодования и никак не думал, что когда-нибудь сам стану изъясняться подобным образом...

— В первый год Сюань-туна я служил инспектором средней школы в моем родном городе. Коллеги старались держаться от меня подальше, начальство поблажек не давало,— словом, я всегда чувствовал себя не то как на льдине, не то как на эшафоте, и все оттого, что не носил косы.

Однажды ко мне явились мои ученики.

— Мы решили отрезать себе косы, учитель! — заявили они.

— Не стоит...— ответил я.

— А разве не лучше — без косы?

— Лучше...

— Почему же вы сказали: не стоит?

— Рисковать не стоит... Так будет разумнее... Погодите пока.

Они ничего больше не сказали, надулись и ушли. Но косы все же остригли.

Ох, какой тут поднялся скандал! Сколько было пересудов! Я же, делая вид, будто ничего не произошло, по-прежнему пускал этих стриженых в класс.

Стрижка кос распространялась, как эпидемия. На третий день остриглись шестеро студентов педагогического училища, за что в тот же вечер были исключены. Вернуться домой они не посмели. Лишь месяц спустя вспыхнувшая революция сняла с них клеймо преступников.

— Я ведь тоже смог приехать в Пекин только зимой того года, и там меня еще не раз ругали. Потом ругателям полицейские отрезали косы, и они присмирели. Но съездить в деревню я все же не решился.— Тут успокоившийся было господин вдруг снова помрачнел: — А теперь вы, идеологи, подбиваете еще и

девушек стричься. Хотите умножить число напрасных жертв?.. Скольких стриженых девушек исключили из школы, скольких не допустили к экзаменам? Вы шумите о революции, а где взять оружие? Вы призываете совмещать учебу с работой, а где заводы?.. Пусть девушки по-прежнему ходят с косами, пусть их выдают замуж! Забыть обо всем — это тоже счастье. Но горе им, если они запомнят хоть что-нибудь о равенстве и свободе!.. Я спрошу вас сейчас словами Арцыбашева: «Что вы дадите «этим» людям взамен того золотого будущего, которое обещают их потомкам?..» Да! Пока творец вселенной своим кнутом не подстегнет Китай, Китай будет все таким же и не изменится ни на волос! Ведь у вас нет ядовитых зубов, зачем же вешать на себя табличку с надписью: «Гадюка»? Чтобы на вас натравливали нищих? Чтобы вас убивали?..

Неизвестно, до чего бы он договорился, но я слушал его без особого интереса. Он заметил это, сразу умолк, встал и взялся за шляпу.

— Уходите? — спросил я.

— Пойду, собирается дождь...

Не сказав больше ни слова, я проводил его до ворот.

Надевая шляпу, он сказал:

— До свидания! Простите, что потревожил. Какое счастье, что праздник годовщины революции скоро окончится и завтра можно будет обо всем забыть.

Октябрь 1920 г.

ВОЛНЕНИЕ

Солнце понемногу собирало свои золотые нити с полей, раскинувшихся у реки. Засохшая было листва на посаженных вдоль берега деревьях уцзю начала дышать; под нею, жужжа, затанцевал рой пестроногих москитов. Перестал виться дымок из труб крестьянских домов, обращенных к реке, а женщины и дети, побрызгав водой землю у ворот, принялись расставлять столики и низенькие скамейки: каждый знал, что близилось время ужина.

Старики и взрослые мужчины усаживались на скамьи и, обмахиваясь веерами, сплетенными из банановых листьев, заводили разговоры. Мальчики бегали вприпрыжку или, сидя на корточках под деревьями, играли в камешки. Женщины несли окутанные облаком горячего пара черные сушеные овощи и желтоватый рис.

Любуясь на деревню из прогулочной лодки вместе с дру-

гими литераторами, некое светило в порыве поэтического вдохновения воскликнуло:

— О, свободное от мыслей и забот счастье сельской жизни!

Однако его возглас не вполне отвечал действительности — светило не слышало, что в этот самый момент произнесла старуха Цзю-цзинь:

— Я прожила на свете семьдесят девять лет, хватит с меня! — твердила она, сердито колотя сломанным веером из банановых листьев по ножке скамейки.— Глаза бы не глядели на такое разорение! Уж лучше умереть! На ужин только рис да еще жареные бобы. Семью по миру пустить хотят!

Бежавшая к ней с полной пригоршней бобов правнучка Лю-цзинь, почуяв неладное, бросилась к реке и спряталась за деревом.

— И смерть ее не берет! — крикнула девочка, высунув головку с двумя торчащими косичками.

— Вот уж правда! От поколения к поколению все хуже и хуже! — продолжала бормотать прабабка, не расслышав, что крикнула ей девочка, хотя не совсем еще оглохла в своем столь почтенном возрасте.

Уже с пятидесяти лет Цзю-цзинь стала ворчливой. Она без конца повторяла, что в дни ее молодости и погода была не такой жаркой, и бобы были не такими твердыми, а сейчас вообще все плохо. Вот, например, правнучка Лю-цзинь родилась на цзинь [1] легче, чем ее отец Ци-цзинь, и на три цзиня легче, чем она сама, ее прабабка. Все это служило для старухи неопровержимыми фактами, и она упорно твердила:

— Вот уж правда! От поколения к поколению все хуже и хуже!

Здесь надо сказать об особом обычае, полюбившемся жителям этой деревни: давать ребенку детское имя по количеству цзиней, которое он весил при рождении.

Жена внука, Ци-цзиня, подошла к столику и швырнула на него корзинку, в которой принесла ужин.

— Опять ты, старая, за свое? — раздраженно сказала она.— Да разве Лю-цзинь при рождении не весила шесть цзиней и пять лян? [2] Весы-то у вас дома были неверные, всегда показывали больше, чем надо: поставь на них шестнадцать лян, а они покажут восемнадцать. На них и наша Лю-цзинь, пожалуй, весила бы семь цзиней. Не думаю, что прадед весил точно де-

[1] Цзинь — 0,6 килограмма. Цзю-цзинь — девять цзиней. Лю-цзинь — шесть цзиней. Ци-цзинь — семь цзиней.

[2] Лян — одна шестнадцатая цзиня.

вять цзиней, а свекор — восемь. Верно, и тогда на тех весах цзинь был в четырнадцать лян.

— От поколения к поколению все хуже и хуже! — не унималась старуха.

Не успела жена Ци-цзиня ей ответить, как вдруг увидела своего мужа, выходящего из переулка, и накинулась на него:

— Эй ты, дохлятина! — заорала она.— Где это тебя носит до сих пор? Тебя только за смертью посылать! Или тебе нет дела, что мы ужинать хотим?

Живя в деревне, Ци-цзинь тем не менее мечтал о резвом галопе Фэйхуана. Он принадлежал уже к третьему поколению семьи, в которой, начиная с его деда, никто из мужчин не брался за мотыгу. Ци-цзинь работал лодочником на джонке — утром перевозил пассажиров из местечка Лу в город, а к вечеру — обратно в Лу. Поэтому он всегда был в курсе всех событий, знал, где именно бог грома поразил оборотня сколопендры, какая девушка родила черта, и все прочие новости. В деревне он слыл человеком выдающимся, но это не освобождало его от соблюдения обычаев. А поскольку летом ужинали, не зажигая лампы, то ругань жены он вполне заслужил.

Ци-цзинь, опустив голову, медленно подошел и сел на скамейку, держа в руке свою длинную, больше шести чи, трубку из пятнистого бамбука фэй с реки Сян с латунным чубуком и мундштуком из слоновой кости. В ту же минуту выскочила Люцзинь и уселась рядом с отцом.

— Папа! — позвала она.

Но отец не отозвался.

— От поколения к поколению все хуже и хуже! — твердила свое старуха.

Ци-цзинь поднял голову и, тяжело вздохнув, сказал:

— Император взошел на трон.

Жена на мгновенье застыла, а затем, будто ее осенило, воскликнула:

— Вот хорошо-то! Теперь, значит, опять будут высочайшие благодеяния и всеобщее помилование!

— А я без косы...— снова вздохнув, заметил Ци-цзинь.

— Разве император потребует, чтобы все носили косу?

— Императору нужна коса.

— Откуда ты знаешь? — забеспокоившись, быстро спросила она.

— В кабачке «Всеобщее благополучие» только об этом и говорят.

Тут жена поняла, что дело и впрямь может обернуться

скверно. Кабачок «Всеобщее благополучие» был верным источником всех новостей. Бросив взгляд на бритую голову мужа, она пришла в ярость: и корила его, и досадовала, и проклинала, а вконец отчаявшись, вдруг наполнила чашку и со стуком поставила перед ним.

— Ешь скорее свой рис! Все одно коса не отрастет, хоть оплакивай ее, как покойника.

Солнце собрало свои последние лучи, и от воды потянуло прохладой. Отовсюду раздавался звон чашек да стук палочек. На спинах выступили капельки пота. Покончив с третьей чашкой риса, жена Ци-цзиня подняла голову, и сердце у нее вдруг заколотилось: из-за деревьев показалась коротенькая толстая фигура господина Чжао Седьмого, который в длинном небесно-голубом халате переходил через мостик из одной доски.

Чжао Седьмой был хозяином кабачка «Прекрасный источник» в соседней деревне, а также единственным на тридцать ли в округе выдающимся и ученым человеком. Ученость его, правда, была с душком — он являлся приверженцем старины. Так, например, он обычно сидел и вслух, иероглиф за иероглифом, читал роман «Троецарствие», который был у него в десяти тетрадях с комментариями Цзинь Шэн-таня. Чжао Седьмой мог перечислить не только имена и фамилии «пяти тигров», но и прозвания всех этих полководцев. Он знал, например, что Хуан Чжун и Ма Чао назывались еще Хань-шэн и Мын-ци. После революции он закрутил свою косу на макушке, точно даосский монах, и часто со вздохом твердил: будь жив сейчас Чжао Цзылун, в Поднебесной не поднялась бы такая смута.

От зорких глаз жены Ци-цзиня не укрылось, что сегодня Чжао Седьмой уже не походил на даосского монаха: передняя часть головы у него была чисто выбрита, а на макушке торчала коса. Теперь она знала точно, что император взошел на трон, что у всех мужчин должны быть косы и что ее мужу грозит страшная опасность. Ведь свой небесно-голубой халат Чжао Седьмой просто так не надевал. За последние три года он появлялся в этом халате только дважды. Когда заболел скандаливший с ним рябой А-сы и когда умер Лу Да-е, перебивший все в его кабачке. Нынче — третий раз, и это, конечно, означало торжество Чжао Седьмого и гибель его врагов.

Вспомнив, как два года тому назад ее муж спьяну обругал Чжао подлым отродьем, жена сразу почувствовала надвигающуюся угрозу, и сердце ее заколотилось еще сильнее.

Чжао проходил по улице, и сидевшие за каждым столом поднимались.

— Просим отужинать с нами,— говорили они, указывая палочками на чашки.

— Прошу извинить, прошу извинить,— отвечал Чжао с улыбкой, кивая головой, и прошел прямо к столу Ци-цзиня. Здесь тоже все повскакали со своих мест, приветствуя его.

— Прошу извинить, прошу извинить,— произнес Чжао, чуть улыбаясь и пристально разглядывая стоявшую на столе еду.

— Какие ароматные овощи!.. А новость слыхали? — вдруг спросил он, остановившись за спиной Ци-цзиня, но обращаясь к его жене.

— Император взошел на престол,— ответил Ци-цзинь.

Его жена, глядя в лицо Чжао с натянутой улыбкой, ответила:

— Император уже взошел на престол. Когда же ждать высочайших благодеяний и всеобщего помилования?

— Высочайшие благодеяния и всеобщее помилование? Помилование-то когда-нибудь, конечно, объявят. Ну, а коса? — В голосе у него появилась суровость.— А где коса вашего мужа? Это дело серьезное. Ведь вам известно, что было во времена длинноволосых: кто не сберег косы, потерял голову, а кто сберег косу — сберег и голову.

Ци-цзинь и его жена не обучались грамоте и не могли понять всей глубины подобных изречений, но они твердо знали: уж если так говорит господин Чжао, значит, дело это чрезвычайной важности. Беда была неотвратимой, и они почувствовали себя, как приговоренные к казни. В ушах у них продолжал гудеть его голос, и они не смогли больше вымолвить ни слова.

— От поколения к поколению все хуже и хуже! — воспользовавшись моментом, вставила бабушка и обратилась к Чжао: — Теперешние длинноволосые остригают всем косы, и мужчины становятся похожими на монахов, не то буддийских, не то даосских. А прежние длинноволосые разве так делали? Я прожила на свете семьдесят девять лет, хватит с меня. Прежние длинноволосые повязывали голову длинным куском красного шелка, который свисал донизу, до самых пят. А у князя ихнего был желтый шелк и тоже свисал донизу, и красный шелк, и желтый шелк... О! Хватит с меня! Я прожила на свете семьдесят девять лет!

— Как же быть? Что станется со всей нашей семьей, со старыми да малыми? Ведь он наш кормилец!..— будто сама с собой заговорила жена Ци-цзиня, вскочив с места.

— Тут ничего не поделаешь! — покачав головой, сказал Чжао.— Какое наказание ждет того, у кого нет косы, в книгах написано совершенно ясно, пункт за пунктом. А вот насчет семьи преступника там указаний нет.

Услыхав, что об этом даже в книгах написано, жена Ци-цзиня потеряла всякую надежду. В припадке отчаяния она излила всю свою злость на мужа и, тыча палочками прямо ему в нос, закричала:

— И поделом тебе, дохлятина! Как только начался переворот, я сразу сказала: «Не гоняй лодку, не суйся в город!» Так нет, ему, видите ли, до смерти понадобилось в город! Вот и доездился — там ему косу и остригли! А коса-то была какая — черная, как смоль, словно шелк блестела! Доигрался! На кого стал похож? На монаха? Не поймешь, не то на буддийского, не то на даосского! И поделом тебе, каторжнику! А насто зачем впутал? У-у, дохлятина! Каторжник!

После прихода Чжао Седьмого крестьяне быстро покончили с едой и собрались вокруг стола Ци-цзиня. Почувствовав себя как на сцене, да еще участником такого отнюдь не блестящего зрелища, когда жена позорила его перед всеми, Ци-цзинь поднял голову и медленно произнес:

— Сейчас-то ты вот как заговорила, а тогда...

— Ах ты, дохлятина! Каторжник!..

Отзывчивее всех оказалось сердце у вдовы Ба-и. Она стояла рядом с женой Ци-цзиня, держа на руках годовалого ребенка, родившегося после смерти отца, и наблюдала за общим оживлением.

— Да уж будет тебе, тетушка Ци-цзинь,— вступилась Ба-и.— Человек ведь он! Не бог, не бессмертный. Как же мог он знать все наперед? Разве ты сама тогда не говорила, что и без косы он не так уж безобразен. Да притом никаких указаний от почтенного начальника еще не было...

Даже не дослушав, жена Ци-цзиня, которая давно уже пылала до самых ушей, обернулась к вдове и, тыча палочками в нос ей, завопила:

— Ай-я! Вот ты какая, оказывается! Разве могла я сказать такую глупость? Да я тогда целых три дня проплакала! Все видели! Даже Лю-цзинь, этот чертенок, и та плакала!..

Лю-цзинь тем временем доела рис и, хныча, протянула большую чашку за добавкой. Мать, потеряв терпение, сунула палочки в косичку дочери, дернула и закричала:

— Чего ноешь? Быть тебе с детства вдовой-потаскушкой!

Раздался звон — пустая чашка, выскользнув из рук Люцзинь, ударилась о кирпич и разбилась. Отец вскочил, подобрал чашку, приложил к ней отбитый кусок и, крикнув: «Мать твою!..», отвесил дочери такую затрещину, что она упала и заревела. Прабабка потащила ее за руку и увела, приговаривая:

— От поколения к поколению все хуже и хуже!

— Ты в сердцах и убить можешь, тетушка Ци-цзинь,— в гневе крикнула вдова.

Чжао Седьмой вначале, посмеиваясь, слушал перебранку. Но слова вдовы — «никаких указаний от почтенного начальника еще не было» — привели его в ярость. Он обошел столик и вмешался в разговор:

— «В сердцах и убить можешь» — это пустяки! Вот-вот придут императорские солдаты. И знайте, на этот раз командовать будет сам генерал Чжан — потомок Чжан И-дэ, из удела Янь! Копье у него — в один чжан и восемь чи с острием, как жало змеи, а храбрость такая, что десять тысяч мужей против него не устоят. Кто сумеет с ним справиться?

Он потряс кулаками, будто держал копье с острием, как жало змеи, и, шагнув к вдове, крикнул:

— Ты бы против него устояла?!

Вдова, задыхаясь от гнева, дрожала всем телом, прижимая к груди ребенка. Увидев же надвигавшиеся на нее вытаращенные глаза и потное лицо Чжао Седьмого, она вдруг испугалась и, не посмев ничего ответить, повернулась и пошла прочь. Чжао последовал за ней. Толпа безмолвно расступилась, удивленная тем, что вдова посмела возразить. Несколько человек, только начавших снова отпускать косу, боясь, как бы Чжао их не заметил, поспешили укрыться за чужими спинами. Но Чжао, не обратив на них внимания, прошел мимо и только у самых деревьев обернулся.

— Устоите ли вы против него?! — крикнул он и, перейдя мостик из одной доски, с победоносным видом удалился.

Оторопевшие крестьяне про себя прикидывали: кто же из них смог бы устоять против Чжан И-дэ. Ци-цзиню больше не жить, ведь он преступил императорский закон. Некоторые злорадствовали: вспомнить только, с каким высокомерием, посасывая свою длинную трубку, он обычно передавал городские новости. Им хотелось еще посудачить, но толковать, оказалось, не о чем.

Собираясь под деревьями, москиты с тонким жужжанием налетали на полуголых людей. Постепенно все разошлись по домам и, заперев двери, улеглись спать. Жена Ци-цзиня, не пе-

реставая ворчать, прибрала посуду, внесла в дом столик и скамейки, закрыла двери и тоже отправилась спать.

Ци-цзинь с разбитой чашкой в руках сел на пороге покурить, но был так подавлен, что давно забыл о своей длинной трубке из пятнистого бамбука, с мундштуком из слоновой кости и латунным чубуком,— она погасла. Сознавая всю опасность положения, он старался что-то придумать, найти какой-то выход, но мысли путались: «Коса! Как быть с косой? Копье в один чжан и восемь чи с острием, как жало змеи, в один чжан и восемь чи... С каждым поколением все хуже и хуже!.. Император взошел на престол... Чашку-то придется отвезти в город, чтобы склепали... Кто против него устоит?.. В книгах написано... статья за статьей. Эх, мать твою!..»

На другой день, с утра, Ци-цзинь, как обычно, повел джонку из Лучжэня в город, а к вечеру вернулся домой со своей длинной трубкой из пятнистого бамбука и починенной чашкой. Во время ужина он рассказал прабабке, что чашку в городе склепали, но на такой большой осколок потребовалось шестнадцать медных заклепок, по три медяка каждая, а всего пришлось истратить сорок восемь медяков.

— От поколения к поколению все хуже и хуже...— заворчала старуха.— Хватит с меня!.. По три медяка за заклепку! Да разве раньше такие были заклепки? Прежние заклепки... Я прожила на свете семьдесят девять лет...

Ци-цзинь продолжал ежедневно ездить в город, но в семье у него дела не ладились; избегали его и деревенские — никто не подходил разузнать о городских новостях. Жена была в мрачном настроении и иначе, как каторжником, его не величала.

Но дней через десять, вернувшись домой, Ци-цзинь застал жену в прекрасном настроении.

— Ну, что нового в городе? — спросила она.

— Ничего.

— Взошел император на престол?

— Никто об этом не говорит.

— А в кабачке «Всеобщее благополучие» тоже не говорят?

— И там не говорят!

— Ни на какой престол, я думаю, император и не всходил. Иду это я сегодня мимо кабачка, смотрю, господин Чжао опять со своей книгой сидит, только он уже не в голубом халате, да и косу свернул на макушке.

— . . . . . .

— Думаешь, император так и не всходил на престол?

— Думаю, не всходил.

Цп-цзинь давно уже вернул себе уважение жены и деревенских, снова все обращаются к нему с подобающим почтением. Летом он, как всегда, ужинает у ворот своего дома, и все весело его приветствуют. Прабабке Цзю-цзиня перевалило за восемьдесят, она здорова, но по-прежнему ворчит. Две косички Лю-цзинь теперь заплетены в одну толстую косу. Хотя ей недавно забинтовали ноги, она помогает матери по хозяйству и ковыляет по двору, держа в руках чашку с шестнадцатью медными заклепками.

Октябрь 1920 г.

РОДИНА

В родное село, от которого меня отделяло более двух тысяч ли пути и двадцать с лишним лет разлуки, я возвращался в сильные холода.

Зима была в разгаре, и чем ближе я подъезжал к родным местам, тем угрюмее становилась погода: ледяной ветер с воем врывался в каюту, сквозь щели в навесе, под желто-серым небом, виднелись разбросанные по берегам пустынные деревушки без малейшего признака жизни. Сердце невольно сжималось от тоски.

Неужели это и есть моя родина, о которой я вспоминал все эти двадцать лет?

В моих воспоминаниях родина была совсем не такой — она была несравненно прекрасней. Но если бы я захотел сейчас припомнить ее красоту, рассказать об ее достопримечательностях, у меня уже не нашлось бы ни образов, ни слов. Казалось, что она всегда была такой, как теперь. И я подумал: село, конечно, осталось, каким было — не изменилось к лучшему, но и не такое уж оно унылое, как кажется, все дело в том, что настроение у меня другое: домой я возвращался с тяжелым сердцем.

Я возвращался в родные места только для того, чтобы навсегда расстаться с ними. Старый наш дом, где прошла жизнь стольких поколений нашего рода, был продан, срок передачи новому владельцу истекал в этом году, и до нового года нашей семье предстояло, простившись с родным домом и с родным селом, переехать на чужбину, где я теперь зарабатывал себе на хлеб.

На следующий день рано утром я подходил к знакомым воротам. На гребне крыши болтались на ветру высохшие стебли травы, словно напоминая, что дому предстоит сменить хозяев. Почти вся родня, видимо, уже выехала — в доме было тихо. Навстречу мне вышла мать, а за ней, как я сразу же догадался, выбежал мой восьмилетний племянник Хун-эр.

Мать обрадовалась моему приезду, хотя и у нее на душе было совсем невесело, она усадила меня, предложила отдохнуть, выпить чаю и не говорить пока о делах. Хун-эр, с которым мы увиделись впервые, почтительно держался поодаль и не сводил с меня глаз.

Наконец мы все же заговорили о переезде. Я сказал, что снял квартиру и купил кое-что из мебели, что здешнюю мебель надо продать и на эти деньги купить на месте все необходимое. Мать не возражала; она уже собрала почти все вещи, негодную для перевозки мебель частично распродала — только никак не могла получить за нее деньги.

— Отдохни денек-другой,— сказала она,— навести родных, а там можно и в дорогу.

— Верно.

— Да, чуть не забыла: Жунь-ту каждый раз, как бывает у нас, справляется о тебе, очень хочет тебя повидать. Я сообщила ему, что ты приедешь; наверно, скоро придет.

И в моей памяти вдруг мелькнула чудная картина: золотое колесо полной луны на темно-синем небе, песчаный морской берег, поле, сплошь засаженное бесчисленными изумрудно-зелеными арбузами, и среди них мальчик лет двенадцати, с серебряным обручем на шее; в руке у него стальная рогатина, он что есть силы замахивается ею на *чà,* а зверек удирает, проскользнув у него между ног.

Этот мальчик — Жунь-ту. Когда я с ним познакомился, мне тоже было немногим больше десяти, а случилось это лет тридцать тому назад. Отец еще был жив, наша семья жила в достатке, и я рос барчуком. В тот год в доме у нас готовились к большому жертвоприношению. Говорили, что такое событие бывает раз в тридцать лет, а то и реже, поэтому церемония была особенно торжественной. В первый месяц года приносились жертвы перед изображениями предков; приношения были обильные, посуда богатая и разнообразная, участвующих в церемонии было множество, так что за утварью приходилось присматривать. Мы держали только одного работника (их здесь у нас было три разновидности: одни работали постоянно в течение всего года, другие — поденно, а некоторые семьи, как наша,

трудились на земле сами и нанимали человека только для встречи Нового года и на другие праздники, а также на время сбора урожая). Он сказал отцу, что один не управится, и попросил разрешения привести на подмогу своего сына Жунь-ту, чтобы тот стерег утварь.

Отец разрешил, а я был в восторге, потому что давно уже слышал про Жунь-ту и знал, что мы с ним почти ровесники. Родился он в високосный год, из пяти стихий в его гороскопе не хватало лишь земли, поэтому отец и дал ему имя — Жунь-ту. Он умел расставлять силки и ловить птиц.

Теперь я каждый день с нетерпением ждал наступления Нового года; настанет Новый год, и к нам придет Жунь-ту. И вот однажды, когда старый год наконец-то кончился, мать сказала, что Жунь-ту пришел, и я помчался на кухню. У него было круглое загорелое лицо; на голове он носил войлочную шапочку, а на шее блестел серебряный обруч: это означало, что отец очень его любил и, боясь, как бы он не умер, дал обет перед изображением Будды и скрепил этот обет серебряным обручем, который надел сыну на шею. Жунь-ту был застенчив, он не боялся только одного меня и, когда рядом не было посторонних, разговаривал со мной; в тот же день мы стали друзьями.

Забыл, о чем мы с ним тогда говорили, помню только, что перед этим он побывал в городе, повидал там много всяких диковин и был очень доволен.

На другой день я уже собрался ловить с ним птиц, но он сказал:

— Сейчас нельзя. Нужно, чтоб выпало много снега. Когда у нас на берегу выпадает снег, я расчищаю площадку, ставлю на колышки большую корзинку из бамбука и насыпаю под нее отрубей. А когда птицы прилетят, надо слегка дернуть за веревку, которую привязал к колышкам,— и птицы уже под корзинкой. Всякие попадаются: перепела, куропатки, синицы...

Теперь мне уже не терпелось, чтоб поскорее выпал снег. А Жунь-ту продолжал:

— Сейчас очень холодно, ты летом к нам приходи. Днем мы раковины собираем на берегу; каких только нет: и красные, и зеленые, и «страшилы», и «руки Гуаньинь». А ночью сторожим с отцом арбузы — и ты приходи сторожить.

— От воров?

— Нет. Если какой прохожий пить захотел и сорвал арбуз, это у нас за воровство не считается. Сторожим от ежей, барсуков и от *ча*. Ты только прислушайся в лунную ночь: как будто

кто чавкает — это *ча* ест арбузы. Тогда хватай вилы и тихонько подкрадывайся...

Я понятия не имел, что за зверь этот *ча,* да и теперь не знаю,— мне только почему-то казалось, что он похож на маленькую собачонку и очень злой.

— Он не кусается?

— А вилы на что? Подошел, увидел — и коли! Только он хитрый: побежит прямо на тебя — да и проскользнет между ног. Шерсть у него скользкая, будто намасленная...

Я и не подозревал, что на свете бывает столько чудес: разноцветные ракушки на морском берегу и такие опасности из-за арбузов. Прежде я знал про арбузы только одно: что их продают в овощной лавке.

— А еще у нас перед приливом на берегу бывает много летучих рыбок: так и прыгают, и у каждой рыбки — по две лягушиных ножки...

Ах! Этот Жунь-ту был просто переполнен всевозможными диковинами, о которых остальные мои друзья даже не догадывались! Да и откуда им было знать: Жунь-ту жил на побережье — они же, как и я, видели только квадрат неба над высокими стенами двора.

К несчастью, новогодний месяц кончился, и Жунь-ту надо было возвращаться домой. Я от огорчения расплакался, он спрятался на кухне, тоже расплакался и не хотел уходить. В конце концов отец увел его.

Потом он переслал мне через отца раковинки и несколько красивых перышек, я тоже раз-другой что-то посылал ему, но больше мы не виделись.

Теперь, когда мать сказала о Жунь-ту, все эти воспоминания мгновенно ожили во мне — я будто наяву увидел свою прекрасную родину.

— Чудесно! А... как он теперь?..— спросил я.

— Он-то?.. У него дела тоже обстоят неважно...— Мать взглянула в окно.

— Опять пришли. Будто бы за мебелью, а чуть что попадет под руку, того и гляди, стащат. Пойду посмотрю.

Мать вышла. За дверью послышались женские голоса, а я завел разговор с Хун-эром: спросил, умеет ли он писать и хочется ли ему уезжать отсюда.

— А мы на поезде поедем?

— На поезде.

— А на джонке?

— Сначала на джонке...

— Ха! Вон ты какой стал! Усищи-то какие! — раздался вдруг резкий, пронзительный голос.

Вздрогнув, я вскинул голову и увидел перед собой женщину лет пятидесяти, скуластую и тонкогубую; она была в штанах и стояла, широко раздвинув ноги и сложив руки на животе — ни дать ни взять тонконогий циркуль из готовальни.

Я оторопел.

— Не узнал? А ведь я тебя на руках носила!

Я совсем растерялся. К счастью, вошла мать и сказала:

— Он столько лет не был дома, все перезабыл. А тебе бы следовало вспомнить,— продолжала она, обращаясь ко мне,— ведь это тетка Ян, что живет через улицу, наискосок от нас... доуфу торгует.

Теперь я вспомнил. Когда я был мальчишкой, то в лавке, что наискосок от нас, и в самом деле торговала доуфу некая тетка Ян — все называли ее «Творожной красавицей». Правда, тогда под белилами ее скулы не выпирали так сильно и губы не казались такими тонкими; кроме того, в лавке она обычно сидела, поэтому мне и в голову не могло прийти, что она похожа на циркуль. Говорили, что благодаря ей торговля процветала. Я же не испытывал к Творожной красавице никаких чувств, потому что был еще слишком мал, и начисто забыл ее. Но тетка Ян была явно недовольна и скорчила презрительную мину: так взглянули бы на француза, не знающего о Наполеоне, или на американца, не слыхавшего про Вашингтона. Холодно усмехнувшись, она сказала:

— Забыл? Ну что ж, недаром говорят, что знать поверх голов смотрит...

— Да нет же...— Я растерянно приподнялся.

— Знаешь что, брат Синь, ты теперь богатый, а вещи перевозить тяжело — да и на что тебе эта рухлядь — отдай мне. Нам, беднякам, все сгодится.

— Да вовсе я не богатый. И прежде чем ехать, мне надо все это распродать.

— Ай-яй-яй! Ведь окружным начальником стал, а говоришь, что небогатый? Ведь трех наложниц имеешь, в паланкине разъезжаешь, восемь носильщиков тебя таскают, а говоришь, что небогатый? Хе, уж меня-то не обдуришь!

Я понял, что возражать бесполезно, и стоял, не произнося ни слова.

— Ай-яй-яй, вот уж правду говорят: чем больше у человека денег, тем он скупее, а чем скупее — тем больше денег...

Тетка отвернулась в негодовании и, не переставая ворчать, направилась к выходу; по дороге она стянула перчатки моей матери и, сунув их за пазуху, удалилась.

Потом приходили с визитами жившие поблизости родственники. Я принимал гостей и в свободные минуты понемногу укладывался. Так прошло дня три-четыре.

Один из дней выдался особенно холодным. Я сидел после обеда и пил чай. Вдруг кто-то вошел. Я обернулся и почувствовал невольное волнение. Это был Жунь-ту. Я поспешно вскочил и пошел ему навстречу.

Я узнал его с первого взгляда, хотя это был уже не тот Жунь-ту, которого я помнил. Он был вдвое выше; лицо, когда-то круглое и загорелое, стало землисто-желтым и покрылось глубокими морщинами; глаза опухли и покраснели, как у отца,— я знал, что так обычно бывает у тех, кто постоянно работает на берегу, обдуваемый морскими ветрами. В своей рваной войлочной шапке и очень тонкой ватной куртке он совсем закоченел. В руках он держал сверток и длинную трубку, и эти руки тоже не походили на те нежные округлые руки, которые я помнил: они загрубели, одеревенели и потрескались, как сосновая кора.

Я очень ему обрадовался, но не знал, с чего начать, и сказал только:

— А, брат Жунь-ту!.. Пришел?..

Поговорить хотелось о многом, и казалось, что слова вот-вот посыплются сами, как жемчужины с разорвавшейся нити: перепела, ракушки, летучие рыбки, *ча*... Но они только кружились у меня в голове, не находя выхода, что-то им мешало.

Лицо Жунь-ту выражало и радость и печаль; его губы беззвучно шевелились. Но вот он принял почтительную позу и отчетливо произнес:

— Господин!..

Я весь похолодел и не мог произнести ни слова. Я понял, что нас разделяет стена.

Он сказал, обернувшись: «Шуй-шэн, поклонись господину», и подтолкнул вперед мальчика, который прятался у него за спиной. Это был Жунь-ту — точно такой, как тридцать лет назад, только худенький и без серебряного обруча на шее.

— Это мой пятый, людей еще не видал, стесняется...

Видимо, услышав наши голоса, пришла мать с Хун-эром.

— Госпожа,— сказал Жунь-ту,— вашу весточку я давно получил. Я так обрадовался, когда узнал, что господин приедет...

Жунь-ту и Шуй-шэн («Родина»)
Гу Юань

— А что это ты вдруг стал таким церемонным? — шутливо спросила мать.— Раньше ведь вы друг друга братьями называли. Зови-ка его лучше, как прежде: брат Синь.

— Что вы, что вы, госпожа... разве это прилично? Мы ведь детьми были, ничего не понимали...— И Жунь-ту снова приказал Шуй-шэну подойти к нам и поздороваться, но тот продолжал прятаться у него за спиной.

— Так это Шуй-шэн? — спросила мать,— твой пятый? Не удивительно, что дичится: здесь все незнакомые. Пусть лучше поïдут погуляют с Хун-эром.

Хун-эр позвал Шуй-шэна, и тот, вздохнув облегченно и радостно, побежал вслед за ним. Мать предложила Жунь-ту присесть, он помедлил в нерешительности, наконец сел, прислонил свою длинную трубку к столу и сказал, передавая мне сверток:

— Зимой и не найдешь ничего. Вот здесь немного сушеных бобов, сам сушил, прошу вас, господин...

Я спросил, как ему живется. Он покачал головой.

— Тяжело. Вот и мой шестой стал мне помогать, а все равно голодно... и покою нет... всюду деньги давай, и берут, сколько хотят... а урожаи плохие. Соберешь, понесешь продавать — а тут налог за налогом, себе же в убыток получается; а не понесешь — так сгниет...

Он качал головой, а лицо его, изрезанное многочисленными морщинами, оставалось неподвижным — как у каменного истукана. Видно, он привык носить свое горе в себе и не умел его выразить. Он помолчал, потом взял трубку и так же молча закурил.

Мать стала его расспрашивать, и он сказал, что у него много дел по хозяйству и что завтра он должен вернуться домой. Он еще не обедал, и мать отправила его на кухню, чтобы он разогрел себе еду.

Жунь-ту вышел, а мы с матерью принялись горевать об его судьбе: куча детей, нищета, жестокие поборы, солдаты, бандиты, начальство, помещики — от всех этих напастей он стал похож на изваяние. Мать предложила отдать ему все вещи, без которых мы сможем обойтись при переезде,— пусть сам отберет, что ему нужно.

После обеда он кое-что отобрал: два длинных стола, четыре стула, безмен, набор курильниц и подсвечников. Еще он попросил отдать ему всю золу (топили мы рисовой соломой, а золу от нее используют для удобрения песчаных почв). Мы договорились, что в день нашего отъезда он отвезет все это к себе на джонке.

Вечером мы с ним еще поговорили, но все о пустяках; на другой день рано утром он ушел вместе с Шуй-шэном.

Еще через девять дней настал срок нашего отъезда. Жунь-ту пришел с утра, но Шуй-шэна с ним не было; вместо него он привел с собой пятилетнюю дочь — присмотреть за джонкой. Весь день прошел в беготне, и поговорить нам больше так и не удалось. К тому же было много гостей: кто пришел провожать, кто — за вещами, кто — и за тем и за другим. Когда, уже под вечер, мы усаживались в джонку, в нашем старом доме не осталось ни мелких, ни громоздких, ни целых, ни ломаных вещей — все было выметено как метлой.

Джонка плыла вперед; зеленые горы по берегам становились в сумерках густо-черными и одна за другой отступали за корму.

Мы с Хун-эром смотрели в окно на расплывавшиеся в темноте пейзажи. Вдруг он спросил:

— Дядя! А мы когда вернемся?

— Вернемся? Вот тебе раз, не успел уехать, а уже думаешь о возвращении.

— Шуй-шэн звал меня к себе играть...— И Хун-эр задумался, широко раскрыв большие черные глаза.

Нам с матерью тоже было как-то не по себе. Мы вспоминали о Жунь-ту, и мать рассказала, что с тех пор, как мы начали укладываться, тетка Ян, эта Творожная красавица, стала каждый день наведываться к нам. На днях она извлекла из-под кучи золы больше десятка чашек и блюдечек и с уверенностью заявила, что их припрятал Жунь-ту, чтобы потом увезти к себе вместе с золой. Тетка Ян считала, что оказала нам большую услугу, и, прихватив с собой «собачью досаду» [1], упеслась, как на крыльях,— мы только диву дались, как это она ухитряется так быстро бегать при таких маленьких ножках и таких высоких подошвах.

Мы уплывали все дальше и дальше от родного дома, постепенно оставались позади картины родной природы, но мне не жалко было расставаться с ними. Я только чувствовал, что незримая высокая стена окружила меня со всех сторон, наглухо отгородив от мира, и от этого мне стало тоскливо. А образ маленького героя арбузных полей с его серебряным обручем на

---

[1] Так у нас называют кормушку для кур; на деревянное корыто накладывается решетка, в корыто засыпается корм; куры могут клевать, просовывая шеи, а собакам остается только смотреть и беситься от злости. *(Прим. автора.)*

шее, прежде такой отчетливый, вдруг расплылся и потускнел, и это причиняло мне боль.

Мать и Хун-эр уснули.

Я лежал, прислушиваясь к журчанию воды под днищем джонки, чувствовал, что еду, и думал: да, нас с Жунь-ту жизнь в конце концов разлучила, но дети наши будут вместе — разве Хун-эр не думает уже о Шуй-шэне? И я надеялся, что, в отличие от нас, они, став взрослыми, не пойдут разными путями... Только мне не хотелось, чтобы ради этого они беспричинно мыкались — как я, или отупели от горя — как Жунь-ту, или ожесточились — как другие. У них должна быть новая жизнь, какой не довелось прожить нам.

Я задумался о будущем, и вдруг мне стало страшно. Когда Жунь-ту попросил у меня курильницы и подсвечники, я усмехнулся про себя и подумал, что он все еще поклоняется идолам, все не может с ними расстаться. А разве то, что я называю надеждой,— это не идол, которого я сам сотворил своими руками? Только Жунь-ту молит своих идолов о чем-то насущном и осязаемом, я же своего — о чем-то далеком и туманном.

Засыпая, я видел перед собой изумрудно-зеленый берег и золотую луну на темно-синем небе. И я думал: надежда — это не то, что уже есть, но и не то, чего не бывает. Она — как дорога: сейчас ее нет, а люди пройдут — и протопчут.

Январь 1921 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА К РУССКОМУ ПЕРЕВОДУ «ПОДЛИННОЙ ИСТОРИИ А-КЬЮ»

Я очень благодарен Б. А. Васильеву, знатоку китайской литературы, за перевод моей небольшой повести и очень рад тому, что она предстанет перед русским читателем.

Сумел ли я отобразить душу современного китайца? Несмотря на мои попытки, это мне в конце концов не очень удалось. Не знаю, что скажут другие, но мне кажется, будто каждый из нас окружен высокой стеной, будто стены отделяют нас друг от друга и мешают нам общаться. Когда-то наши древние умники, так называемые мудрецы, установив отличие высших от низших, разделили все население на десять сословий. И хотя старым разделением теперь не пользуются, но дух его все жи-

вет, да притом еще доведен до крайней остроты — различия появились даже в теле каждого человека, так что руки стали презирать ноги, как нечто низменное.

Природа породила человека чрезвычайно искусно — ни один не может почувствовать физических мук другого. Но наши мудрецы и их последователи поспешили еще увеличить пробел, оставленный природой, чтобы ни один не смог понять и душевных мук другого.

Кроме того, наши древние изобрели очень сложную письменность, высекая знаки, точно глыбу за глыбой. Я, впрочем, не особенно обижался на них, у них не было злого умысла. Однако многие были лишены возможности говорить, не смели даже думать, вследствие высоких стен, возведенных из древних поучений. То, что теперь доступно нашему слуху,— это всего лишь взгляды и «истины» последователей немногих мудрецов, созданные ими для самих себя. Простой народ, хилый и увядший, словно пробивающаяся из-под огромного камня трава, четыре тысячи лет жил в молчании...

Обрисовать глубоко молчаливую душу китайского народа — дело трудное. Мы в конце концов все же очень древний народ и еще не дошли до реформ. Вот почему все у нас друг с другом разобщены, и даже собственные руки не понимают собственных ног. Но как ни стремлюсь я добраться до этой души, я постоянно натыкаюсь на какую-то отчужденность. Окруженный высокой стеной народ когда-нибудь должен очнуться, вырваться из-за этой стены и заговорить. А пока этого не случилось, я могу писать о жизни китайцев, основываясь лишь на собственных отдельных наблюдениях.

Мою повесть, едва вышедшую в свет, сначала подверг осуждению некий молодой критик. Затем одни объявили ее порочной, другие — шутовской, третьи — сатирой, а некто даже нашел в ней холодное издевательство. Тут я и сам стал в страхе подозревать, что вместо сердца у меня лед. Но все же я подумал, что каждый писатель видит человеческую жизнь по-своему, да и каждый читатель воспринимает произведение по-своему. Для меня будет иметь огромное значение, если русские читатели, не зараженные нашей «традиционной мыслью», увидят в моей повести нечто иное.

Май 1925 г.

ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ А-КЬЮ

I

ВВЕДЕНИЕ

Вот уже не один год я собираюсь написать подлинную историю А-кью, но все колеблюсь, и уж одно это доказывает, что я не из числа тех, кто «оставляет поучение в слове». Всегда так бывает: кисти бессмертных пишут о бессмертных; люди становятся бессмертными благодаря бессмертным произведениям, произведения становятся бессмертными благодаря бессмертным людям, и теперь уже совершенно непонятно, что от чего зависит. И все же дернул меня черт взяться писать биографию А-кью.

Но едва я взялся за кисть, чтобы написать это недолговечное сочинение, как передо мной сразу же возникли непреодолимые трудности.

Первая — как назвать сочинение. Еще Конфуций сказал: «Если название неправильно, то и слова не повинуются». На это следует обратить особое внимание. Названий для подобных биографических трудов очень много: биография, официальная биография, автобиография, частная биография, неофициальная биография, дополнительная биография, семейная биография, краткая биография... жаль только, что все они не подходят для моего сочинения. «Биография»? Но мое сочинение недостойно того, чтобы его ставить в один ряд с биографиями великих людей, и оно не войдет в «династийную» историю. «Автобиография»? Но ведь я не А-кью. «Неофициальная биография», «Официальная биография» — тоже не годится. Ведь «Неофициальная биография» обычно пишется о святом, а А-кью вовсе не святой. Просто «Официальная биография»? Но А-кью никогда не удостаивался правительственной награды в виде указа президента республики, предписывающего департаменту геральдии составить его генеалогию. Хотя и утверждают, что в исторических анналах Англии нет «биографий игроков», но знаменитый писатель Диккенс все же написал «Частную биографию игрока». Однако то, что дозволено прославленному писателю, совершенно непозволительно такому, как я. Затем идет «Семейная биография». Но я не знаю, есть ли у меня с А-кью общие предки, а его потомки никогда не просили меня написать его биографию. Может быть, озаглавить мое сочинение «Краткая биография»? Так ведь у А-кью не было другой, «Полной биографии». Скорее всего это, пожалуй, будет «Генеалогия». Но само содержание,

грубый стиль и язык, как у «возчиков и уличных торговцев соей», не позволяют мне назвать так свое сочинение. Писатели, не принадлежащие ни к трем религиозным школам, ни к девяти философским течениям, обычно пишут: «Довольно праздных слов, перейдем к подлинной истории!» И вот я решил озаглавить мое сочинение двумя словами: «Подлинная история». Если же кто-нибудь спутает его с теми названиями, которые в древности присваивались сочинениям других жанров (например, «Подлинная история каллиграфического искусства»), то здесь уж ничего не поделаешь.

Вторая трудность состояла в том, что, по установленному порядку, каждая биография должна начинаться словами: «Такой-то, по прозвищу такой-то, родом оттуда-то...» А я не знал даже фамилии А-кью! Однажды я подумал было, что его фамилия Чжао, но уже на следующий день усомнился в этом. А дело было вот как: сын почтенного Чжао добился, наконец, ученой степени сюцая, и об этом, под удары гонгов, официально оповестили всю деревню. А-кью, который только что влил в себя две чашки желтого вина, размахивая руками, заявил, что это и для него почет, так как он, в сущности, принадлежит к одной фамилии с почтенным Чжао, и если тщательнее разобраться в родстве, так он на три степени старше, чем сюцай. После этого заявления все присутствующие сразу же прониклись уважением к А-кью. Ведь никто не знал, что на следующий день староста деревни позовет А-кью в дом почтенного Чжао и что почтенный Чжао, едва увидев его, покраснеет и закричит:

— А-кью, тварь ты этакая!.. Ты хвастал, что принадлежишь к нашей фамилии?

А-кью молчал.

Тут почтенный Чжао так разъярился, что подскочил к нему и заорал:

— Как ты смеешь нести такой вздор? Разве могу я быть одного с тобой рода? И разве твоя фамилия Чжао?

А-кью продолжал молчать, придумывая, как бы улизнуть, но тут почтенный Чжао вплотную подошел к нему и дал пощечину:

— Воображает, что он из рода Чжао! Да разве достоин ты такой фамилии?..

А-кью и не пытался настаивать на том, что его фамилия действительно Чжао, и лишь молча потирал щеку. Наконец, в сопровождении старосты, А-кью выбрался на улицу. Тут он получил от старосты должное внушение и отблагодарил его двумястами медяков на вино. Узнавшие об этом происшествии ре-

шили, что взбалмошный А-кью сам напросился на пощечину и что вряд ли его фамилия Чжао; но даже окажись его слова правдой — все равно было бы глупо болтать об этом, раз уж в деревне живет почтенный Чжао. После этого случая никто больше не интересовался фамилией А-кью. Так она и осталась неизвестной.

Третья трудность — я не знал, как пишется имя А-кью. При жизни все звали его А-кью, а после смерти его имени вообще никто не поминал. Где уж тут быть «древним записям на бамбуке и шелке»!

Это сочинение можно считать первым сочинением об А-кью, и потому естественно, что передо мной сразу же возникла означенная трудность. Я долго думал, как пишется это самое «А-кью»: «А-гуй» — через иероглиф «гуй», обозначающий «лунный цветок», или «А-гуй» — через «гуй», обозначающий «знатность». Если бы его звали «Юэ-тин» — «лунный павильон», или если бы он родился в августе, когда цветет «гуй», «лунное дерево», тогда я, конечно, написал бы «А-гуй» в значении «лунный цветок». Но ведь у него не было даже прозвища (а может быть, и было, но никто его не знал). Неизвестен был также день его рождения, поскольку писателям никогда не рассылались извещения с просьбой сочинить что-нибудь в честь этого дня, так что писать «А-кью» иероглифом «гуй» в значении «лунный цветок» значило бы допустить вольность. Вот если бы у него был старший или младший брат, по прозвищу «А-фу» — «богатство», тогда по аналогии можно было бы написать его имя иероглифом «гуй», означающим «знатность». Однако родни он не имел, значит, писать так тоже не было оснований. Как-то я заговорил об этом с господином сюцаем, сыном почтенного Чжао. Но кто бы мог подумать, что такой высокообразованный человек окажется несведущим?

Правда, он заметил, что исследовать интересующий меня вопрос невозможно, потому что издаваемый Чэнь Ду-сю журнал «Новая молодежь» стал ратовать за иностранные буквы, отчего наша культура утратила свою самобытность. Тогда я прибег к последнему средству — поручил одному моему земляку исследовать судебные документы, связанные с делом А-кью. Восемь месяцев спустя он ответил мне, что в этих документах не упоминается человек с таким именем. Не знаю, действительно ли там нет такого имени или он не сумел найти его,— во всяком случае, у меня не оказалось других способов узнать об этом. Мне очень совестно, но если даже господин сюцай не знает, какой нужно писать иероглиф, то чего же тре-

бовать от меня? Боюсь, что китайский фонетический алфавит еще не приобрел у нас широкой популярности, поэтому мне приходится прибегнуть к «заморским буквам»: A-Quei, сокращенно же — A-Q [1]. Пытаясь написать это имя, я прибег к распространенной английской транскрипции. Это, безусловно, может показаться слепым подражанием журналу «Новая молодежь», о чем очень сожалею, но если даже господин сюцай несведущ, то могу ли я успешно выйти из положения?

Четвертая трудность — вопрос о родине А-кью. Носи он фамилию Чжао, можно было бы, опираясь на старый обычай, согласовывать фамилии с названиями провинций, справиться по «Фамильным записям провинций», где говорится, например: «родом из Тяньшуя провинции Ганьсу». К сожалению, фамилия А-кью неизвестна, поэтому и нельзя выяснить, где его родина. Он чаще жил в деревне Вэйчжуан, но часто бывал и в других местах, так что вэйчжуанцем его назвать нельзя. Если же написать «родом из Вэйчжуана», то это будет противоречить точному историческому методу.

Меня утешает лишь то обстоятельство, что, по крайней мере, приставка «А» вполне достоверна, в ней нет никакой ошибки, ее можно рекомендовать вниманию знатоков. Что же касается всех остальных затруднений, то при моей невысокой эрудиции одолеть их невозможно. Остается лишь одна надежда, что «любители истории и текстологии», такие, как ученики господина Ху Ши, смогут, пожалуй, представить много новых данных по этому вопросу, но к тому времени, боюсь, моя «Подлинная история А-кью» будет предана забвению.

Все вышесказанное можно считать введением.

II

ВКРАТЦЕ О БЛЕСТЯЩИХ ПОБЕДАХ

Не только фамилия и место рождения А-кью, но даже его прошлые «деяния» были покрыты мраком неизвестности. Жители деревни Вэйчжуан требовали от него только поденной работы да насмехались над ним; его «деяниями» никто не интересовался. Сам А-кью никогда о них не рассказывал; только, поругавшись с кем-нибудь, он таращил глаза и орал:

— Мои предки намного знатнее твоих! А ты что собой представляешь?

---

[1] В данном издании A-Q обозначено русскими буквами.

В Вэйчжуане А-кью жил в храме Бога земли, он не имел ни семьи, ни определенных занятий — был простым поденщиком. Нужно было жать пшеницу — он жал; нужно было очищать рис — очищал; нужно было грести — греб. Если работа затягивалась, он переселялся в дом хозяина, к которому нанялся, но, закончив работу, сразу же уходил. Поэтому во время страды, когда А-кью был нужен, о нем вспоминали — вернее, вспоминали о его руках, способных выполнять ту или иную работу, а после страды о нем быстро забывали. Что же тут было говорить о «деяниях»? Никто о них и не думал. Только однажды какой-то старик, глядя на А-кью, обнаженного до пояса, тощего и усталого, одобрительно заметил: «А-кью — настоящий мастер». Никто не знал, всерьез это было сказано или в насмешку, но А-кью остался очень доволен.

Вообще-то А-кью был о себе весьма высокого мнения, а всех остальных жителей Вэйчжуана ни во что не ставил, особенно двух местных «грамотеев». По его мнению, они не стоили даже насмешки. Однако в будущем они могли, пожалуй, стать сюцаями. Один из них был сыном почтенного Чжао, другой — сыном почтенного Цяня; и Чжао и Цянь пользовались уважением односельчан не только за свое богатство, но и благодаря таким ученым сыновьям. Один лишь А-кью не выказывал грамотеям особого уважения и думал про себя: «Мой сын мог быть познатнее их». К тому же А-кью несколько раз бывал в городе и от этого еще больше вырос в собственных глазах. Однако горожан он презирал за их чудачества. Деревянное сиденье в три чи длиной и три цуня шириной вэйчжуанцы называли просто «лавкой», как и сам А-кью, а горожане говорили «скамья»,— и он думал: «Неправильно говорят... вот чудаки!» Рыбью голову, поджаренную в масле, вэйчжуанцы приправляли зеленым луком в полцуня длиной, а горожане лук нарезали мелко, и А-кью опять думал: «Неправильно делают... вот чудаки!» Однако вэйчжуанцы в его глазах были просто неотесанной деревенщиной, не знающей света: ведь они понятия не имели, как жарят рыбу в городе!

А-кью, с его «именитыми предками», высокими званиями, да притом еще «настоящий мастер», был бы, в сущности, почти «совершенным человеком», если бы не кое-какие физические недостатки. Особенно неприятно выглядели плешины — след неизвестно когда появившихся лишаев. Хотя плешины и были его собственные, но они, по-видимому, ничего не прибавляли к его достоинствам, потому что он запрещал произносить при нем слово «плешь», а также и другие слова, в которых содер-

жался какой-либо неприятный намек. Постепенно он увеличил число запрещенных слов. «Свет», «блеск», а потом даже «лампа» и «свечка» стали запретными. Когда этот запрет умышленно или случайно нарушали, А-кью приходил в ярость, краснел до самой плеши и, смотря по тому, кто был его оскорбителем, либо ругал его, либо, если тот был слабее, избивал. Впрочем, избитым почему-то чаще всего оказывался сам А-кью. Поэтому он постепенно изменил тактику и стал разить своих противников только гневными взглядами.

Кто бы мог подумать, что из-за этой системы гневных взглядов вэйчжуанские бездельники будут еще больше насмехаться над ним?

— Хэ! Смотрите, свет появился! — в притворном изумлении восклицали они, завидев А-кью.

А-кью приходил в ярость и окидывал их гневным взглядом.

— Да ведь это же карманный фонарь,— продолжали они бесстрашно.

— А ты недостоин и такой...— презрительно отвечал А-кью, словно у него была не простая, а какая-то необыкновенная, благородная плешь. Выше уже упоминалось, что А-кью был чрезвычайно мудр: он мгновенно соображал, что произнести слово «плешь» — значит нарушить собственный запрет, и потому не заканчивал фразы.

Но бездельники не унимались, они продолжали дразнить его, и дело, как правило, кончалось дракой. Со стороны могло показаться, что А-кью терпит поражение: противники, ухватив его за тусклую косу и стукнув несколько раз головой о стенку, уходили, довольные собой. А-кью стоял еще с минуту, размышляя: «Будем считать, что меня побил мой недостойный сын... Нынешний век ни на что не похож». И, преисполненный сознанием одержанной победы, он с достоинством удалялся.

Все, что было у А-кью на уме, он в конце концов выбалтывал. Поэтому бездельники, дразнившие его, очень скоро узнали о его «победах». С этого времени, дергая его за косу, они внушали ему:

— А-кью, это не сын бьет отца, а человек скотину. Повтори-ка, человек бьет скотину.

А-кью, ухватившись обеими руками за свою косу у самых корней волос, говорил:

— По-твоему, хорошо бить козявку? А ведь я — козявка. Ну что, теперь отпустишь?

Хотя он и признавал себя козявкой, бездельники не сразу отпускали его, а поровили на прощанье еще раз стукнуть го-

ловой обо что попало. После этого они уходили, торжествуя победу, ибо считали, что наконец-то оставят А-кью посрамленным. Но не проходило и десяти секунд, как А-кью снова преисполнялся сознанием, что победа осталась за ним. В душе считая себя первым среди униженных, он даже мысленно не произносил слово «униженный» — и таким образом оказывался просто «первым». «Разве чжуанъюань — не первый среди лучших. А вы что такое?» — кричал он вдогонку своим обидчикам.

Одержав таким великолепным способом новую победу над ненавистными врагами, А-кью на радостях спешил в винную лавку: там он пропускал несколько чарок вина, шутил, ругался, одерживал еще одну победу, навеселе возвращался в храм Бога земли и погружался в сон. Когда у А-кью появлялись деньги, он отправлялся играть в кости. Игроки тесным кружком сидели на корточках на земле. А-кью, весь потный, протискивался в середину. Голос его бывал особенно пронзителен, когда он кричал:

— На «Зеленого дракона» четыреста медяков!

— Эй!.. Ну, открывай!

Сдающий, такой же разгоряченный, открывал ящик с костями и возглашал:

— «Небесные ворота» и «Углы»! «Человек» и «Сквозняк» — пусто! Ну-ка, А-кью, выкладывай денежки!

— Ставлю на «Сквозняк» сто!.. Нет, сто пятьдесят! — кричал А-кью.

И под эти возгласы его деньги постепенно переходили за пояса других, таких же азартных игроков, у которых от волнения лица покрывались потом. А-кью оттесняли и, стоя позади и волнуясь за других, он смотрел на игру, пока все не расходились по домам. Тогда и он неохотно возвращался в храм, а на следующий день с заспанными глазами отправлялся на работу.

Правильно говорят: «Старик потерял лошадь, но как знать — может быть, это к счастью». Однажды А-кью выиграл, но это чуть не привело его к поражению. Это случилось вечером, в праздник местного божества. По обычаю, в этот вечер в деревне были построены театральные подмостки, а рядом с ними, тоже по обычаю, расставлены игральные столы. Но гонги и барабаны, гремевшие в театре, доносились до А-кью словно издалека: он слышал только выкрики банкомета. Он все выигрывал и выигрывал. Медяки превращались в серебряную мелочь, серебро — в юани, и вскоре перед ним выросла целая куча денег. Радости А-кью не было предела; в азарте он кричал:

— Два юаня на «Небесные ворота»!

Он не понял, кто с кем и из-за чего затеял драку. Ругань, удары, топот ног — все смешалось у него в голове, а когда он очнулся, вокруг не было ни столов, ни людей; во всем теле он чувствовал боль, точно его долго топтали ногами. У него было смутное ощущение какой-то потери, и он немедленно отправился в храм. Только там он окончательно пришел в себя и вспомнил, что куча юаней исчезла. Почти все собравшиеся на праздник игроки пришли из других деревень. Где уж там было их искать!..

Светлая, блестящая куча денег, его собственных денег, безвозвратно исчезла! Сказать, что ее украл недостойный сын,— это не утешение; сказать, что сам он, А-кью, козявка,— столь же малое утешение... На этот раз А-кью испытал горечь поражения.

Однако А-кью тотчас же превратил поражение в победу: правой рукой он с силой дал себе две пощечины, лицо его запылало, и в душе воцарилось спокойствие, точно в себе он избил кого-то другого и этот «другой», отделавшись от него, стал просто чужим человеком. Лицо А-кью все еще горело, но, удовлетворенный своей победой, он спокойно улегся и заснул.

III

ПРОДОЛЖЕНИЕ СПИСКА БЛЕСТЯЩИХ ПОБЕД

Хотя А-кью постоянно одерживал победы, вэйчжуанцы узнали об этом лишь после того, как он получил пощечину от почтенного Чжао.

Отсчитав старосте двести вэней на вино, А-кью, очень злой, улегся спать, но тотчас же успокоил себя, подумав: «Теперешний век ни на что не похож... Мальчишки бьют стариков...» Он подумал о внушающей страх репутации почтенного Чжао и мгновенно поставил его на место своего недостойного сына. Этого было достаточно, чтобы к А-кью вернулось хорошее настроение. Он встал веселый и, напевая «Молодая вдова на могиле», отправился в винную лавку; но по дороге он почему-то подумал, что почтенный Чжао все же стоит ступенькой выше других людей.

Странно сказать, с тех пор как А-кью получил от почтенного Чжао пощечину, вэйчжуанцы почувствовали к нему осо-

бое уважение. Сам А-кью объяснял это тем, что он стал как бы отцом почтенного Чжао. На самом деле причина была иная. В Вэйчжуане никогда не считалось событием, если А-седьмой колотил А-восьмого или Ли-четвертый бил Чжана-третьего, и только когда дело касалось таких именитых особ, как почтенный Чжао, о драке говорила вся деревня. Тогда благодаря известности бившего и побитый приобщался к славе.

Вряд ли нужно говорить, что виноват был А-кью. Почему? Да просто потому, что почтенный Чжао не мог быть ни в чем виноват. Почему же тогда все стали выказывать А-кью особое уважение? Объяснить это трудно. Может быть, потому, что он заявил о своей принадлежности к фамилии Чжао. Хотя за это его и побили, у всех, однако, осталось сомнение: а вдруг в его словах есть доля правды? Лучше уж, на всякий случай, оказывать ему некоторое почтение. А может быть, с А-кью случилось то же, что с жертвенной коровой в храме Конфуция: после того как священномудрый прикоснулся к ней своими обеденными палочками, никто из конфуцианцев не смеет больше дотрагиваться до нее, хотя она ничем не отличается от простых свиней и баранов.

После того как почтенный Чжао дал ему пощечину, А-кью наслаждался своей победой много лет.

И наступил такой год, когда в ясный весенний день А-кью, совершенно пьяный, шел по улице и на солнечной стороне около стены увидел Бородатого Вана. Тот сидел, обнаженный по пояс, и ловил вшей. В ту же минуту и А-кью почувствовал зуд во всем теле. Ван был плешив и бородат, и все называли его «Плешивый и Бородатый Ван». А-кью, как известно, не произносил слова «плешивый» и в то же время глубоко презирал Бородатого Вана. С точки зрения А-кью, плешь Вана не вызывала никакого удивления, а вот его большая борода — это вещь невероятная, поразительная и совершенно нетерпимая для человеческого глаза. А-кью сел рядом с Ваном. Будь это какой-нибудь другой бездельник, А-кью не решился бы так свободно подсесть к нему. Но Бородатый Ван!.. Чего тут опасаться? В сущности, то, что А-кью присел рядом, только делало Вану честь.

А-кью тоже снял свою рваную куртку и принялся осматривать ее, но потому ли, что она была свежевыстиранная, или потому, что А-кью был невнимателен, он выловил всего три-четыре вши, а Бородатый Ван так и хватал одну за другой.

Сначала А-кью почувствовал разочарование, а потом рассердился. У Вана, с его нетерпимой для человеческого глаза

бородой, так много вшей, а у него так мало! Что за неприличное положение! Ему очень хотелось найти несколько больших, но нашлась только одна, и то среднего размера. Он со злостью раздавил ее — раздался треск, но не такой громкий, как у Бородатого Вана.

Вся плешь А-кью покраснела, он швырнул куртку на землю, сплюнул и сказал:

— Волосатый червяк!

— Плешивая собака! Кого это ты ругаешь? — презрительно взглянув на него, отозвался Ван.

Хотя в последнее время вэйчжуанцы относились к А-кью довольно почтительно (поэтому он и преисполнился высокомерия), все же он побаивался постоянно нападавших на него бездельников. Но на этот раз он стал необычайно храбрым. Что еще смеет болтать эта заросшая волосами тварь?

— Кто откликается — того и ругаю! — он встал, подбоченясь.

— У тебя что, кости чешутся? — спросил Бородатый Ван, тоже вставая и надевая рубашку.

Вообразив, что Ван хочет убежать, А-кью замахнулся и бросился к нему, но не успел еще он опустить кулак, как Ван схватил его за руку, рванул к себе, и А-кью чуть не упал. В ту же минуту Бородатый Ван ухватил его за косу и потащил, чтобы по установившемуся порядку стукнуть головой об стенку.

— Благородный муж рассуждает ртом, а не руками,— повернув голову, сказал А-кью, но Бородатый Ван, как видно, не был «благородным мужем». Не обращая внимания на слова А-кью, он стукнул его раз пять головой об стенку, потом толкнул так, что А-кью отлетел на несколько шагов, и лишь тогда, удовлетворенный, ушел.

А-кью не помнил, чтобы когда-либо в жизни он был так осрамлен. Ван с его нестерпимой бородой являл собою предмет насмешек для А-кью, и, уж конечно, речи не могло быть о том, чтобы Ван посмел его бить. И вдруг — посмел! Прямо невероятно! Видно, правду говорят на базаре, будто император отменил экзамены и не желает больше иметь ни сюцаев, ни цзюйжэней; наверно, поэтому так пало уважение к семье Чжао. Может быть, потому и на него, А-кью, стали теперь смотреть с пренебрежением.

А-кью стоял в полной растерянности, не зная, что делать.

Вдали показался человек. Это приближался еще один его враг, презираемый им старший сын почтенного Цяня. Раньше он учился в иностранной школе в городе, а затем неизвестно

как попал в Японию; спустя полгода он вернулся домой без косы и стал ходить на прямых ногах. Мать его долго плакала, а жена с горя трижды прыгала в колодец. Потом его мать всюду рассказывала:

— Какие-то негодяи напоили моего сына пьяным и отрезали ему косу. Он мог бы стать большим чиновником, а теперь придется ждать, пока коса отрастет.

Но А-кью не верил этой истории и за глаза называл молодого Цяня «Поддельным заморским чертом» или «Тайным иностранным агентом» и обычно, завидев его издали, сразу же начинал ругаться про себя.

А-кью, пользуясь изречением Конфуция, «глубоко презирал и ненавидел» поддельную косу сына почтенного Цяня. Ведь если даже коса поддельная, значит, в человеке нет ничего человеческого; а то, что его жена не прыгнула в колодец в четвертый раз, доказывает лишь, что она нехорошая женщина.

Поддельный заморский черт подошел ближе.

— Плешивый осел! — вырвалось у А-кью ругательство, которое он обычно произносил только про себя, так сильно он был расстроен и жаждал мести. Поддельный заморский черт неожиданно поднял желтую лакированную палку, ту самую, которую А-кью называл «похоронным посохом», и большими шагами направился к нему. Смекнув, что его собираются бить, А-кью втянул голову в плечи и стал ждать нападения. И в самом деле вскоре на его голову посыпались удары.

— Это я его так ругал! — запротестовал А-кью, показывая на ребенка, стоявшего поодаль. Но удары продолжали сыпаться.

Можно считать, что в памяти А-кью это был второй случай, когда он оказался посрамленным. К счастью, удары лакированной палки словно завершили какой-то процесс, происходящий в А-кью: он почувствовал облегчение, а потом и «забвение» — драгоценное наследие, завещанное нам предками. И А-кью не спеша направился в винную лавку. Ко входу он подошел веселый и беззаботный.

Но тут он заметил проходившую мимо маленькую монашку из монастыря «Спокойствие и Очищение». Обычно, встретив на пути монашку, А-кью ругался и плевался, но что же он должен был делать теперь, будучи посрамлен второй раз в своей жизни?

«А я-то не знал, почему мне сегодня так не везло. Оказывается, это ты шла мне навстречу!» — подумал А-кью.

Он шагнул к монашке и в сердцах плюнул.

Когда же монашка, опустив голову, поравнялась с ним, А-кью неожиданно протянул руку и притронулся к ее бритой голове.

— Бритая! Торопись, монах тебя ждет! — нахально крикнул он и захохотал.

— Ты рукам воли не давай! — покраснев, отгрызнулась монашка и ускорила шаг.

Завсегдатаи винной лавки расхохотались. Это подзадорило А-кью, и он совсем разошелся.

— Монаху можно, а мне нельзя? — И он ущипнул ее за щеку.

В лавке еще громче захохотали. А-кью, восхищенный собой и желая еще больше угодить публике, ущипнул монашку сильнее и только после этого дал ей возможность уйти.

В этом сражении он совсем забыл и Бородатого Вана и Поддельного заморского черта, словно все его поражения были разом отомщены. И, странно, его тело вдруг стало легким, ему показалось, что он вот-вот взлетит.

— Эх ты... бездетный А-кью! — донесся до него издалека плачущий голос убегающей монашки.

— Ха! Ха! Ха! — хохотал А-кью, очень довольный собой.

— Ха! Ха! Ха! — вторили ему завсегдатаи лавки, хоть и не так восторженно.

IV

ТРАГЕДИЯ ЛЮБВИ

Кто-то сказал: иным хочется, чтобы их противники были подобны тиграм или соколам,— только тогда они ощущают радость победы; если же противник подобен барану или цыпленку, победа не приносит радости. Есть победители, которые, одолев всех и видя, что умирающие умерли, а терпящие поражение сдались, скромно повторяют: «Слуга ваш поистине трепещет, воистину устрашен. Моя вина достойна смерти». Для них нет ни врагов, ни соперников, ни друзей, они возвышаются надо всеми. В молчаливом и холодном одиночестве они переживают горечь победы. Наш А-кью не страдал такими недостатками, он всегда был доволен собой. Это, пожалуй, одно из доказательств того, что духовная цивилизация Китая занимает первое место в мире.

— Смотрите! Упоенный победами, он вот-вот взлетит к облакам!

Однако на этот раз победа А-кью оказалась несколько необычной. Он потерял душевное равновесие. Почти весь день, как на крыльях, носился в упоении и, счастливый, впорхнул в храм Бога земли. Оставалось только, как обычно, лечь и захрапеть... Но кто бы мог подумать, что в эту ночь он долго не сомкнет глаз? У него было странное ощущение, словно большой и указательный пальцы правой руки стали нежными. Быть может, это произошло оттого, что он прикоснулся к напомаженной щеке маленькой монашки?

В ушах у него все еще звучали ее слова: «Бездетный А-кью». И он подумал: «Правильно... человеку нужна жена. Кто принесет бездетному после смерти чашку риса в жертву? Человеку нужна жена! Кроме того, сказано, что «из трех видов непочитания родителей наихудший — не иметь потомства». Известно также изречение: «Дух Жо Ао будет голодать». Да бездетность — большое горе для человека». Таким образом, мысли А-кью совпадали с заветами мудрецов. Жаль только, что он, как оказалось впоследствии, не сумел сдержать себя.

«Женщина... женщина...— думал он.— Монаху можно... Женщина, женщина... О женщина!..»

Мы не можем сказать точно, когда в этот вечер захрапел А-кью. Но с той минуты, как он ущипнул за щеку маленькую монашку, он постоянно ощущал в пальцах что-то нежное и в упоении мечтал о женщине.

Этот случай доказывает, что женщина — существо пагубное.

В Китае добрая половина мужчин могла бы стать праведниками, если бы их не портили женщины. Династия Шан погибла из-за Да Цзи, династия Чжоу рухнула из-за Бао Сы, династия Цинь... хотя в истории и нет тому бесспорных доказательств, но едва ли будет ошибочным предположение, что и она погибла из-за женщины; во всяком случае, Дун Чжо был убит по милости Дяо Чань.

А-кью по натуре был весьма нравственным человеком, и хотя нам неизвестно, у какого просвещенного наставника он учился, но в отношении принципа «разделения полов» всегда был необычайно строг и неизменно проявлял суровую твердость в осуждении разной, не соответствующей конфуцианству, ереси, вроде маленькой монашки или Поддельного заморского черта.

Его учение было таково: всякая монахиня непременно состоит в любовной связи с монахом; всякая женщина, выходящая из дому, безусловно стремится залучить себе любовника, и

если женщина где бы то ни было разговаривает с мужчиной, то, разумеется, дело не чисто. В знак осуждения он бросал на женщин гневные взгляды, или преследовал их едкими словами, или же исподтишка швырял в них камешки.

Кто бы мог подумать, что А-кью способен потерять душевное равновесие из-за какой-то маленькой монашки, да еще в тот период, когда человек «устанавливается». Ведь мораль древних учит нас сохранять душевное равновесие. Женщин поистине следует ненавидеть! Будь лицо монашки не напомажено, А-кью, разумеется, не впал бы в грех; будь оно хоть чем-нибудь прикрыто, он тем более избежал бы искушения. За пять или шесть лет до этого случая А-кью оказался однажды в толпе зрителей, собравшихся перед открытой сценой, и ущипнул за ногу какую-то женщину, но она была в чулках, и это спасло его от потери душевного равновесия. А на лице маленькой монашки, разумеется, не могло быть одежды — и все получилось иначе... Разве не доказывает это, что женщина — существо пагубное?

«Женщина!» — думал А-кью.

И вот он стал засматриваться на женщин, которые, по его мнению, «всегда стремятся залучить любовника», но они даже не улыбались ему в ответ. А-кью внимательно прислушивался к тому, что ему говорили женщины, но в их словах не было ничего распутного. Эх! Вот еще за что следует ненавидеть женщин: все они прикрываются «ложной добродетелью».

Однажды А-кью очищал рис в доме почтенного Чжао и после ужина сидел на кухне, покуривая трубку. Если бы это происходило в каком-нибудь другом доме, то после ужина, собственно говоря, можно было бы уйти. В семье Чжао ужинали рано, но здесь, по установленному порядку, зажигать лампу не позволялось: поужинал — и спать! Только в редких случаях допускались исключения. Во-первых, сын почтенного Чжао, когда у него еще не было степени сюцая, иногда зажигал лампу, чтобы читать сочинения; и, во-вторых, лампу зажигали, когда А-кью приходил на поденную работу, чтобы он мог очищать рис и после ужина. Пользуясь этим исключением, А-кью сидел на кухне и курил трубку.

У-ма была единственной служанкой в доме почтенного Чжао. Вымыв посуду, она тоже уселась на скамейку и стала болтать с А-кью.

— Хозяйка два дня ничего не ела, потому что наш господин хочет купить еще одну молодую...

«Женщина... У-ма — этакая вдовушка»,— думал А-кью, глядя на нее.

— ...А наша молодая хозяйка в августе собирается родить...

«Ох, эти женщины!» — размышлял А-кью. Он вынул изо рта трубку и встал.

— Наша молодая хозяйка...— не умолкая, трещала У-ма.

А-кью вдруг бросился перед ней на колени.

— Давай спать вместе! Давай спать вместе!

На мгновение стало совсем тихо. У-ма оцепенела от удивления, потом с криком «ай-я» выбежала из кухни. Она бежала, кричала, кажется, даже плакала.

А-кью в растерянности обнимал пустую скамейку. Наконец он медленно поднялся с колен и понял, что произошло что-то неладное. Сердце его сильно билось. В смущении он сунул трубку за пояс и уже хотел было взяться за работу, как вдруг кто-то ударил его по голове. Он быстро обернулся. Перед ним стоял сюцай с бамбуковой палкой в руке.

— Ты что, взбесился?.. Ах ты!..

Палка опять опустилась на голову А-кью, но удар пришелся по пальцам, так как голову А-кью прикрыл руками. Это было еще больнее. Выскакивая за дверь, А-кью получил еще один удар по спине.

— Ах ты, забывший восьмое правило,— по-ученому выругался вслед ему сюцай.

А-кью прибежал на ток и остановился, все еще чувствуя боль в пальцах. Он мысленно повторял: «забывший восьмое правило» — совсем новое для него ругательство. К такому ругательству вэйчжуанские крестьяне отродясь не прибегали. Им пользовались только важные лица, знавшиеся с чиновниками, поэтому ругательство прозвучало особенно страшно и произвело исключительно глубокое впечатление. Сейчас ему было уже не до вздохов о женщине. После ругани и побоев ему даже показалось, что с этим вопросом вообще покончено. Вскоре А-кью успокоился и снова почувствовал себя беззаботным. Как ни в чем не бывало он вернулся на кухню очищать рис. Проработав некоторое время, он вспотел и снял рубашку.

В это время он услышал громкие голоса. А-кью, большой любитель скандалов, поспешил на шум и незаметно пробрался на женскую половину дома почтенного Чжао. Хотя наступили сумерки, он разглядел всех, кто был в комнате: два дня ничего не евшую хозяйку, соседку — тетушку Цзоу Седьмую и близких родственников — Чжао Бай-яня и Чжао Сы-чэня.

Молодая хозяйка старалась вытащить У-ма из другой комнаты.

— Ну, выходи! Нечего прятаться...

— Все знают, что ты честная... С какой же стати убивать себя! — приговаривала тетушка Цзоу Седьмая.

У-ма плакала и что-то бормотала, но ее плохо было слышно.

«Гм, интересно, с чего эта маленькая вдовушка подняла такой шум?» — подумал А-кью.

Он решил все разузнать у Чжао Сы-чэня.

Вдруг А-кью увидел почтенного Чжао, который направлялся к нему с большой бамбуковой палкой в руке. А-кью быстро смекнул, что побои на кухне, полученные им от сюцая, и этот переполох связаны между собой, и метнулся было к выходу, но путь ему преградила бамбуковая палка. Тогда он повернул в другую сторону, выбежал через задние ворота и спустя некоторое время очутился в храме Бога земли.

Отдышавшись, он почувствовал, что продрог, по телу у него побежали мурашки,— хоть уже наступила весна, вечера еще стояли холодные, и ходить раздетым было рано. А-кью вспомнил, что его рубашка осталась в доме Чжао, и хотел было пойти за ней, но при мысли о палке сюцая раздумал.

Неожиданно у него в каморке появился староста.

— А-кью, ах ты... Ты посмел приставать даже к служанке почтенного Чжао! Вот безобразие! Покоя от тебя нет. Ты и мне по ночам спать не даешь. Ах ты!..— Староста крепко выругался и еще долго продолжал в таком же духе свое поучение.

А-кью нечего было возразить.

В конце концов ввиду позднего времени пришлось посулить старосте на вино вдвое больше обычного — целых четыреста медяков. Денег у А-кью не было, и он отдал в залог свою войлочную шляпу. Кроме того, он должен был принять следующие пять условий.

Первое: завтра же он пойдет в дом Чжао с извинениями и отвесит положенное число поклонов, да еще прихватит с собой пару красных свечей, каждая весом около цзиня, и пачку ароматических курительных палочек.

Второе: семейство Чжао пригласит за счет А-кью даосского монаха для изгнания демона самоубийства.

Третье: А-кью запрещено отныне переступать порог дома почтенного Чжао.

Четвертое: что бы ни случилось с У-ма, отвечать будет А-кью.

Пятое: А-кью обязуется не требовать денег ни за работу, ни за рубашку.

А-кью, разумеется, принял все эти условия. Вот только денег у него не было. К счастью, наступила весна — и можно было обойтись без ватного одеяла, которое он заложил за две тысячи медяков, чтобы выполнить свои обязательства. После того как он потерял рубашку и преподнес семейству почтенного Чжао свечи, отвесив при этом положенное число поклонов, у него осталось всего несколько медяков, но выкупить свою войлочную шляпу он и не подумал, а деньги пропил.

Свечи и курительные палочки семейство почтенного Чжао решило оставить про запас: отправляясь на ежегодное богомолье, хозяйка могла взять их с собой; из целого куска рубашки А-кью сшили пеленку для новорожденного, которого должна была произвести на свет в августе молодая хозяйка, а рваные куски отдали У-ма, чтобы она сделала себе из них подошвы к туфлям.

V

ВОПРОС О СРЕДСТВАХ К ЖИЗНИ

Совершив все положенные церемонии в доме Чжао, А-кью, как обычно, возвратился в храм Бога земли. Солнце зашло, и ему вдруг показалось, что вокруг происходит нечто странное. Поразмыслив, он догадался, что причиной тому — его голая спина. Он вспомнил, что у него еще осталась потрепанная куртка, накинул ее на плечи и улегся, а когда открыл глаза, увидел, что солнце озаряет край западной стены. Он вскочил и крепко выругался.

Потом он встал и, как всегда, отправился шататься по улицам. И хотя теперь его спина была прикрыта курткой, ему снова стало казаться, что вокруг происходит что-то странное. Как будто с этого дня все женщины в Вэйчжуане стали избегать его. Завидев А-кью, они поспешно прятались за ворота. Даже тетушка Цзоу Седьмая, которой было под пятьдесят, тоже спешила укрыться от него, да еще уводила с собой свою одиннадцатилетнюю дочку. А-кью все это чрезвычайно удивляло. «С чего вдруг все эти твари стали изображать благородных девиц? — думал он.— Потаскухи этакие!»

События, которые произошли много дней спустя, заставили его еще острее ощутить, что в мире творится что-то странное. Во-первых, в винной лавке ему перестали отпускать в долг;

во-вторых, старик, сторож в храме Бога земли, стал ворчать, как бы намекая, что А-кью пора уйти из храма; и, в-третьих, никто не звал его на работу,— правда, он не помнил, сколько именно дней, но, во всяком случае, уже давно. Что в винной лавке не дают в долг — это еще ладно, что старик ворчит — это тоже можно стерпеть. А вот сидеть без работы и голодать,— такое уже ни к черту не годится!

А-кью не вытерпел и решил узнать, в чем дело, у своих старых хозяев; ему было запрещено появляться только в доме почтенного Чжао. Но, странное дело! Повсюду к нему выходили исключительно мужчины и с раздраженным видом, словно отказывая нищему, махали рукой:

— Нет! Нет! Уходи!

А-кью недоумевал. Люди, постоянно нуждавшиеся в его помощи, теперь вдруг не могут найти для него работы. «Тут что-то неладно»,— думал А-кью. Он знал, что вместо него нанимают Маленького Дэна, этого худого и слабосильного бедняка. В глазах А-кью он был еще хуже Бородатого Вана. Кто мог подумать, что такое ничтожество посмеет отбить у него, А-кью, чашку риса? Никогда еще А-кью так не злился. В ярости шагал он по дороге и, размахивая руками, орал:

В руке держу стальную плеть,
хочу тебя сразить!

Спустя несколько дней А-кью встретил наконец Маленького Дэна возле дома Цяня, у стены, ограждающей от злых духов. «Когда встречаешь врага, глаз становится зорким». А-кью устремился прямо на Маленького Дэна. Тот остановился.

— Скотина! — крикнул А-кью, окинув своего врага гневным взглядом.

— Но ведь я козявка... Верно? — отозвался Маленький Дэн.

Такое смирение лишь распалило А-кью, но поскольку в руке у него не было стальной плети, он ринулся вперед и схватил Дэна за косу. Маленький Дэн, одной рукой защищая свою косу, другой схватил косу А-кью, которую тот прикрывал свободной рукой. Прежде А-кью считал, что у Маленького Дэна еще не все зубы прорезались, но теперь он сам так исхудал и ослаб от голода, что никак не мог справиться с Маленьким Дэном, который неожиданно превратился в серьезного противника. Четырьмя руками ухватившись за две косы, они добрых

полчаса стояли друг против друга, изогнувшись дугой и отбрасывая темно-синюю тень на белую стену дома почтенного Цяня.

— Будет вам! Хватит! — кричали одни, уговаривая их разойтись.

— Здорово! Здорово! — перекрикивали их другие, не то одобряя, не то подстрекая.

Но они ничего не слышали. То А-кью наступал на три шага, и тогда Маленький Дэн на три шага отступал, после чего оба останавливались; потом на три шага наступал Дэн, а А-кью на три шага отступал, и опять оба застывали на месте. Так прошло еще около получаса, а может быть, всего минут двадцать — в Вэйчжуане редко встретишь часы с боем, поэтому точно сказать трудно. От их волос, казалось, шел пар, по лицам катились крупные капли пота... Наконец руки А-кью разжались, и в ту же секунду разжались руки Маленького Дэна. Они одновременно выпрямились, одновременно попятились назад и выбрались из толпы зрителей.

— Запомнишь ты у меня!..— через плечо крикнул А-кью.

— Запомнишь ты у меня! — тоже через плечо отозвался Маленький Дэн.

В этой «битве дракона с тигром» как будто не было ни победы, ни поражения. Неизвестно, остались ли довольны зрители,— они не высказали своего мнения на этот счет. Известно только, что и после этого случая по-прежнему никто не звал А-кью на работу.

Однажды, в теплый день, когда легкий ветерок принес дыхание наступающего лета, А-кью вдруг почувствовал сильный озноб. Но с этим еще можно было мириться, гораздо хуже, что в животе было пусто! С ватным одеялом, войлочной шляпой и рубашкой А-кью давно расстался. Затем была продана и ватная куртка. Оставались только штаны — их-то уж никак нельзя было снять — да рваная рубаха, за которую ничего нельзя было выручить, разве что подарить ее кому-нибудь на подошвы для туфель. Его давнишняя мечта найти кем-нибудь оброненные деньги оставалась мечтой. Даже в его убогой каморке ему чудились деньги, но сколько он ни искал, все напрасно. И вот А-кью решил отправиться «на поиски пропитания».

Шагая по дороге «в поисках пропитания», он увидел знакомую винную лавку, знакомые круглые пампушки, но прошел мимо, не останавливаясь. Он хотел найти пропитание совсем в другом месте, хотя сам еще не знал, где именно.

Вэйчжуан — деревня небольшая, и очень скоро А-кью очутился на самом ее краю. За деревней начинались заливные ри-

совые поля, глаз радовала зелень свежих побегов; вдали двигались темные точки — это крестьяне пахали землю. А-кью, не разделявший радостей земледельцев, поскольку эти радости были весьма далеки от его способа «искать пропитание», все шел вперед и в конце концов очутился у ограды монастыря Спокойствия и Очищения.

Вокруг простирались те же рисовые поля; за белой стеной монастыря, резко выделявшейся среди свежей зелени, находился огород. А-кью оглянулся по сторонам, увидел, что вокруг никого нет, и стал карабкаться на стену, хватаясь за какое-то ползучее растение; глина осыпалась, он то и дело срывался вниз, но, наконец, ухватился за сук тутового дерева и прыгнул в огород. Грядки сплошь заросли зеленью, но на них не было ни вина, ни пампушек — ничего съедобного. У западной стены росли бамбуки, на них было много побегов, но, увы, невареных. В огороде росло много овощей, но горчица цвела, турнепс только еще закруглялся, а капуста уже перезрела.

В унынии, словно он провалился на императорских экзаменах, А-кью побрел к воротам и вдруг от радости замер на месте: он наткнулся на грядку репы. Но когда, присев на корточки, он собирался одну выдернуть, в ворота просунулась круглая голова и тотчас же снова исчезла. Это, несомненно, была маленькая монашка. А-кью смотрел на монашек как на сорную траву. Но в жизни следует быть осмотрительным; он быстро вырвал четыре репы, оторвал ботву и спрятал добычу в подол рубахи. В эту минуту появилась старая монахиня.

— Амитофо, амитофо... Ты зачем это залез в наш огород? Репу воровать? Ай-я! И не грех тебе?

— Когда это я лазил в твой огород воровать репу? — пятясь к выходу, спросил А-кью.

— Да вот сейчас...— Старуха показала на завернутый подол рубахи.

— А разве это твои? Ну-ка позови их, отзовутся они? Эх ты!..

Не договорив, А-кью большими прыжками помчался к выходу. Но на него кинулся огромный жирный черный пес, который обычно находился на переднем дворе, а теперь неведомо как очутился в огороде. Пес погнался за А-кью, но, к счастью, из подола рубахи выпала одна репа. Пес в испуге остановился... В одно мгновение А-кью взобрался на тутовое дерево, с дерева перебрался на стену, а затем вместе с репой скатился вниз... За оградой остался черный пес, лаявший на тутовое дерево, да старая монахиня, призывавшая Будду.

Все еще боясь черного пса, А-кью прихватил репу и побежал. По дороге он подобрал на всякий случай несколько камней, но пес больше не появлялся. Тогда А-кью выбросил камни и пошел не торопясь, на ходу жуя репу. Тут у него мелькнула мысль, что в Вэйчжуане ему делать больше нечего и лучше перебраться в город.

Доедая третью репу, он окончательно утвердился в своем решении.

VI

ОТ ВОЗРОЖДЕНИЯ К ЗАКАТУ

В Вэйчжуане А-кью появился только после праздника осени. Все были изумлены, узнав, что он вернулся, и стали припоминать, куда же это он уходил? Прежде, собираясь в город, А-кью радостно оповещал об этом всех заранее, но в этот раз он ничего не сказал, и потому никто не заметил его исчезновения. Возможно, старику в храме он что-нибудь и говорил, но вэйчжуанцы считали событием только поездку в город таких важных лиц, как почтенный Чжао, почтенный Цянь или господин сюцай, так уж у них повелось. Даже Поддельного заморского черта не принимали в расчет. А уж об А-кью и говорить нечего. Поэтому старик-сторож не стал распространять новость, и вэйчжуанское общество так и пребывало в неведении.

На этот раз, однако, возвращение А-кью было совсем особым и повергло всех в изумление. Уже темнело, когда он, сонный, вошел в винную лавку, вытащил из-за пояса пригоршню серебра и меди и швырнул на прилавок: «Давай вина! Плачу наличными!» Он был в новой куртке, и на поясе, сильно оттягивая его, висел большой, туго набитый кошелек. К человеку, хоть чем-то привлекавшему к себе внимание, вэйчжуанцы обычно относились подозрительно, хотя и с почтением. А-кью, конечно, все узнали, но сразу же заметили, что это не прежний А-кью в рваной куртке. Древние говорили: «Когда ученый удалился из родных мест хотя бы на три дня, встречать его надо с особым почетом». Поэтому все — и хозяин, и слуги, и посетители винной лавки, и прохожие — отнеслись к А-кью с почтением, но, разумеется, не без подозрительности. Хозяин приветствовал его кивком головы, а затем завел с ним разговор:

— Здорово, А-кью! Вернулся?

— Вернулся.

— Видать, разбогател! Разбогател! Где это ты?..

— В городе.

На другой же день новость облетела весь Вэйчжуан. Каждый заинтересовался «возрождением» А-кью. Ведь он вернулся с деньгами и в новой куртке! Об этом приходили справляться и в винную лавку, и в чайную, и к воротам храма. В результате А-кью снискал безграничное уважение. Когда стало известно, что он прислуживал в доме самого господина цзюйжэня, вэйчжуанцы преисполнились к А-кью буквально благоговением. Фамилия господина цзюйжэня была Бай; но так как во всем городе был всего один цзюйжэнь, то и без фамилии было ясно, о ком идет речь. И не только в Вэйчжуане, но и на сто ли вокруг. Многие даже считали, что его так и зовут цзюйжэнем. Прислуживать в семье такого человека! Да за одно это А-кью был достоин уважения.

Сам А-кью, однако, не был в восторге от своего пребывания в доме цзюйжэня, поскольку тот оказался слишком, словом, «черт бы его...». Такое его заявление вызывало и сокрушенные вздохи, и радость: жаль, конечно, что А-кью ушел из такого дома, но, с другой стороны, там ему, конечно, не место.

По словам А-кью, он вернулся в Вэйчжуан еще и потому, что горожане его разочаровали. Кроме знакомых ему чудачеств, ну, к примеру, называть лавку скамьей и жареную рыбу приправлять мелко нарезанным луком, он вдобавок обнаружил, что городские женщины не так уж красиво ходят. Нельзя сказать, однако, что А-кью не признавал за горожанами и некоторых достоинств. Вэйчжуанцы умели играть только тридцатью двумя бамбуковыми картами, и во всей деревне один лишь Поддельный заморский черт знал, как играют в «мацзян», а вот в городе каждый уличный мальчишка был мастером этого дела. И даже Поддельный заморский черт не смог бы с ними тягаться. Попадись он только этим десятилетним мальчишкам — в одну секунду уподобился бы «ничтожному маленькому чертенку перед лицом князя ада»! Слушая А-кью, вэйчжуанцы краснели от стыда.

— А видели вы, как рубят голову? — неожиданно спросил А-кью.— Ох, красиво революционеров... Вот это зрелище! — Он тряс головой и брызгал слюной прямо в лицо стоявшему перед ним Чжао Сы-чэню. Все содрогнулись при этих словах. Оглядевшись по сторонам, А-кью вдруг взмахнул правой рукой и стукнул по затылку Бородатого Вана, который слушал, вытянув шею.

— Ш-ша...— прошипел А-кью, подражая свисту меча.

Бородатый Ван мгновенно втянул голову в плечи и в ис-

пуге отскочил, словно его ударило током. Это всех и развеселило и взволновало. А Бородатый Ван потом несколько дней бродил как в тумане и даже не смел близко подойти к А-кью. Да и все теперь предпочитали держаться от него на почтительном расстоянии. С этого времени, страшно даже сказать, А-кью пользовался у вэйчжуанцев таким же почетом, как и господин Чжао, и в этом нет никакого преувеличения.

Спустя некоторое время слава об А-кью дошла даже до женских половин домов Вэйчжуана. Хотя, собственно, во всей деревне только в больших домах почтенного Чжао и почтенного Цяня были женские половины, а во всех прочих домах вообще никаких половин не было, но женская половина все же остается женской половиной, и то, что слава об А-кью дошла и туда, поистине удивительно. При встрече женщины спешили рассказать друг другу, что тетушка Цзоу Седьмая купила у А-кью синюю шелковую юбку, конечно, подержанную, но заплатила за нее всего девять мао. Кроме того, мать Чжао Байяня (по словам же других, мать Чжао Сы-чэня,— это нуждается в проверке) купила у него детскую рубашку из красного заграничного полотна, почти новую, всего за триста медяков, да к тому же еще в каждой связке вместо ста медяков было девяносто два. Поэтому все вэйчжуанки только и мечтали о том, как бы встретиться с А-кью; одни хотели купить у него шелковую юбку, другие — рубашку из заморского полотна. Теперь они не только не прятались, завидев А-кью, а сами останавливали его, когда он проходил мимо. Они бежали за ним, останавливали его и спрашивали:

— Нет ли у тебя шелковой юбки, А-кью? Нет? Так, может быть, есть полотняная рубашка?

Вскоре весть о покупке тетушки Цзоу Седьмой дошла и до богатых домов. Тетушка Цзоу Седьмая на радостях попросила жену почтенного Чжао оценить шелковую юбку, а та сообщила об этом своему супругу и очень расхваливала покупку. Почтенный Чжао за ужином в беседе с сюцаем заметил, что с А-кью дело неладно и что следует получше запирать двери и окна. Что же касается его товаров, то, пожалуй, кое-что можно было бы купить, если у него еще остались хорошие вещи. Жена почтенного Чжао пожелала приобрести дешевую, но хорошую меховую безрукавку. На семейном совете решили поручить тетушке Цзоу Седьмой немедленно разыскать А-кью. Ради такого случая даже нарушили обычай и в этот вечер зажгли лампу!

Масла выгорело уже немало. Членов семейства Чжао одолевала зевота, но они с нетерпением ждали А-кью, который так

и не появлялся. Ругали его, бранили тетушку Цзоу Седьмую за то, что она так долго его не приводит. Жена почтенного Чжао опасалась, что А-кью побоится прийти из-за истории с У-ма, когда ему запретили переступать порог их дома. Но почтенный Чжао считал эти опасения необоснованными: «Ведь я сам его позвал...» И действительно, почтенный Чжао оказался прав. А-кью в конце концов явился в сопровождении тетушки Цзоу Седьмой.

— Он только и говорит: «У меня нет, у меня нет»,— а я говорю: «Ты должен сам пойти и сказать»,— а он еще хотел сказать, а я сказала...— задыхаясь, еще с порога затараторила тетушка Цзоу Седьмая.

— Почтенный...— с неопределенной улыбкой начал А-кью и остановился у входа.

— Говорят, ты разбогател, А-кью,— перебил его почтенный Чжао, подойдя к нему и смерив его взглядом.— Ну что же, это хорошо... Очень хорошо... Да... говорят, у тебя есть кое-какие вещицы... Принес бы да показал... Не потому, что... а просто я хотел бы...

— Я ведь уже сказал тетушке Цзоу... Кончилось...

— Как это «кончилось»?! — вырвалось у почтенного Чжао.— Не может быть. Так скоро?

— Это были вещи моего приятеля. Совсем немного... Раскупили...

— А может, что-нибудь осталось?

— Только занавеска на дверь.

— Неси занавеску... Посмотрим...— поспешно сказала жена почтенного Чжао.

— Ладно, принесешь завтра. А вот в другой раз,— равнодушно добавил почтенный Чжао,— если у тебя заведутся какие-нибудь вещички, ты первым делом покажи их нам.

— Цену дадим не меньшую, чем другие,— вставил сюцай. При этом молодая жена сюцая испытующе взглянула на А-кью: подействовало ли обещание?

— Мне нужна меховая безрукавка,— заявила жена почтенного Чжао.

А-кью обещал, но таким безразличным тоном, что трудно было понять, всерьез ли он принял весь этот разговор. Жена почтенного Чжао потеряла всякую надежду. Она так разозлилась и разволновалась, что даже перестала зевать. Сюцай тоже остался недоволен поведением А-кью и сказал, что следует остерегаться этого негодяя, «забывшего восьмое правило», а еще лучше сейчас же попросить старосту деревни, чтобы он запре-

тил А-кью жить в Вэйчжуане. Почтенный Чжао, однако, возразил, сказав, что такая мера может вызвать недовольство, кроме того, люди этой профессии подобны «старому орлу, который никогда не ест около своего гнезда». В своей деревне можно не бояться — только по ночам надо быть настороже. Выслушав это «домашнее поучение», сюцай тут же отказался от своего плана изгнать А-кью из деревни и попросил тетушку Цзоу Седьмую сохранить их разговор в тайне.

На следующий же день тетушка Цзоу Седьмая, не мешкая, перекрасила синюю шелковую юбку и теперь рассказывала каждому встречному о подозрениях относительно А-кью. Правда, о том, что сюцай хотел изгнать его из деревни, она умолчала. С этого времени и начались несчастья А-кью. Прежде всего к нему явился староста и отобрал занавеску. А-кью заявил было, что ее хотела посмотреть жена почтенного Чжао, но староста занавеску не отдал да еще потребовал, в знак почтения к своей особе, ежемесячное подношение. После этого отношение вэйчжуанцев к А-кью резко изменилось. Выказывать ему явное пренебрежение они не решались, но старались держаться от него на почтительном расстоянии. У вэйчжуанцев было весьма туманное представление о том, что значит «почитать, но держаться на расстоянии». Теперь их поведение не имело ничего общего с тем опасливым уважением, какое они проявляли по отношению к А-кью после его рассказа о казни в городе, когда он показывал, как рубят головы: «Ш-ша!»

Одни лишь бездельники продолжали интересоваться подробностями его жизни. А-кью ничего не скрывал: он с гордостью рассказывал о своем опыте. Они узнали, что его роль была очень скромная: он не умел забираться на стены и не умел даже пролезать через подкоп под стеной, он лишь стоял на страже и принимал вещи. Как-то ночью, едва он принял первый мешок, а главарь полез за вторым,— вдруг послышался шум, и А-кью поспешил удрать. В ту же ночь он тайком перелез через городскую стену и убежал в Вэйчжуан. С тех пор он больше не осмеливался приниматься за подобные дела. Откровенный рассказ А-кью еще больше навредил ему. Ведь в последнее время вэйчжуанцы старались держаться от него «на почтительном расстоянии», чтобы не прогневать его. Кто бы мог подумать, что он всего-навсего мелкий воришка, не осмеливавшийся украсть вторично! Напрасно они его боялись. А-кью поистине недостоин боязни! Вот уж действительно верно сказано: «Спе тело не заслуживает страха».

VII

РЕВОЛЮЦИЯ

На четырнадцатый день девятого месяца в третий год правления Сюань-туна — в тот самый день, когда А-кью продал свой кошелек Чжао Бай-яню,— к пристани у поместья Чжао причалила большая джонка под черным навесом. Джонка приплыла в полном мраке после полуночи, когда в деревне все крепко спали, и об этом никто не узнал. Ушла джонка перед рассветом, и тут ее кое-кто заметил, а любители новостей сумели разведать, что это джонка самого господина цзюйжэня.

Появление джонки заронило тревогу в сердца вэйчжуанцев, и еще до полудня все заколебались. В доме Чжао тайну сохраняли строго, но в чайной и в кабачке уже заговорили о том, что революционеры вступили в город, а господин цзюйжэнь оттуда сбежал, чтобы найти пристанище в Вэйчжуане. Одна только тетушка Цзоу Седьмая отрицала это, говоря, что в джонке господин цзюйжэнь прислал на хранение всего лишь несколько старых сундуков, но почтенный Чжао вернул их обратно. Она, вероятно, была права, ведь, будучи самой близкой соседкой Чжао, она все видела и все слышала лучше других. Господин цзюйжэнь и почтенный Чжао прежде терпеть не могли друг друга и теперь не сочувствовали друг другу в беде.

Однако слухи разрастались. Поговаривали, что хотя господин цзюйжэнь сам и не приезжал, но будто прислал длинное письмо, в котором предлагал покончить с раздорами и перейти к дружбе; а почтенный Чжао, рассудив, решил будто, что в этом нет ничего дурного. Говорили, что он оставил у себя сундуки и спрятал их под кровать своей супруги. О революционерах же некоторые сообщали, будто они в ту ночь захватили город, и в знак траура по императору Чун-чжэну надели белые панцири и белые шлемы.

До слуха А-кью еще раньше дошло слово «революционеры», а в этом году он собственными глазами видел, как их казнили. Правда, у него откуда-то взялось представление о том, что революционеры — то же самое, что мятежники, а мятежники были ему не по нутру, и поэтому он «глубоко их ненавидел и презирал». Но когда этих революционеров так неожиданно испугался известный во всей округе господин цзюйжэнь, к ним неизбежно потянулась душа А-кью. Еще больше радости ему доставила паника, охватившая всех мужчин и женщин Вэйчжуана.

«Революция — тоже неплохо...— думал он.— Лишить бы жизни всех этих проклятых... мать их!.. Я и сам не прочь переметнуться к революционерам!»

В последнее время А-кью здорово поиздержался, и в нем бродило недовольство. Выпив в полдень две чарки вина на пустой желудок, он сразу захмелел. Он шел, ощущая удивительную легкость во всем теле, и о чем-то думал. Вдруг он вообразил себя революционером, а всех жителей Вэйчжуана — своими пленниками и, не сдержав радости, закричал:

— Мятеж! Мятеж!

Вэйчжуанцы в страхе смотрели на него. Таких жалких глаз А-кью еще не видел, и ему стало так приятно, словно он в жару выпил ледяной воды. Еще больше воодушевившись, он шагал по улице и орал:

— Хорошо!.. Что захочу, то и будет! Какая мне понравится — та и будет! Тра-та-та! Не стану каяться!.. Напившись, казнил по ошибке младшего брата Чжэна... Вот досада! Тра-та-та!.. «В руке держу стальную плеть, хочу тебя сразить!..»

Двое мужчин из семьи Чжао с двумя своими близкими родственниками у ворот своего дома тоже рассуждали о революции.

Не заметив их, А-кью прошел мимо, задрав голову и горланя:

— Тра-та-та...

— Почтенный А-кью,— тихонько окликнул его, с опаской подходя, почтенный Чжао.

— Тра-та...— А-кью и подумать не мог, что это его назвали «почтенным», и, решив, что он ослышался, прошел мимо, продолжая кричать.

— Почтенный А-кью!

— Не раскаюсь...

— А-кью! — Сюцаю пришлось окликнуть его просто по имени.

А-кью остановился и, обернувшись, спросил:

— Что?

— Почтенный А-кью! Теперь вы,— у почтенного Чжао не хватало слов,— вы теперь... разбогатели?

— Разбогател? Конечно! Что захочу, то и будет.

— Старший брат А-кью... ведь для таких, как мы, бедных друзей, неважно, если...— со страхом заговорил Чжао Бай-янь, видимо, пытаясь выведать намерения революционной партии.

— Бедные друзья? Денег-то у тебя побольше, чем у меня,— ответил А-кью и пошел дальше.

Все у ворот разочарованно замолчали. Потом Чжао-отец с сыном вошли в дом и совещались до тех пор, пока в доме не зажгли лампу.

А Чжао Бай-янь, вернувшись домой, вытащил из-за пояса кошелек и велел жене спрятать его на самое дно сундука.

А-кью же весь день носился, не чуя ног под собой, и, лишь протрезвившись, вернулся в храм Бога земли. В этот вечер и старик-сторож оказался необычно приветливым и даже предложил А-кью чаю. А-кью спросил у него пару лепешек, а проглотив их, потребовал и свечу в четверть фунта весом с подсвечником. Он зажег свечу и улегся один в своей каморке. Насколько все казалось ему новым и радостным, он не сумел бы высказать. Свеча горела, будто фонари в новогоднюю ночь, пламя прыгало, как и мысли А-кью.

«Мятеж? Интересно... Придут революционеры рядами, в белых шлемах и белых панцирях... в руках у них стальные мечи и стальные плети, бомбы, заморские пушки, трезубцы, пики с крюками. Они подойдут к храму и позовут: «Идем с нами, А-кью! Идем с нами!» И он пойдет... Вот когда можно будет посмеяться над вэйчжуанцами. Все мужчины и женщины толпой станут на колени и начнут молить: «Пощади, А-кью!» Но кто их будет слушать! Первым делом надо уничтожить Маленького Дэна и почтенного Чжао, а еще сюцая с Поддельным заморским чертом... Кого же оставить в живых? Пожалуй, Бородатого Вана... Впрочем, и его жалеть нечего...

А вещи? Прямо пойти и открыть сундуки!.. Драгоценности, деньги, заморские ткани... Перетащить в храм сначала кровать жены сюцая, отличную кровать нинбоского образца, потом столы и стулья из дома Цяня... можно и от Чжао!.. Сам он и пальцем не шевельнет — пусть все перетащит Маленький Дэн, да попроворнее, не то получит оплеуху...

Сестра Чжао Сы-чэна — уродина... А вот дочка тетушки Цзоу Седьмой... подрастет — тогда и поговорим! Жена Поддельного заморского черта? Тьфу, дрянь, спит с бескосым мужчиной!.. У жены сюцая — на веке шрам... У-ма что-то давно не видно, куда это она запропастилась?.. Жаль, ноги у нее чересчур велики...» Так и не обдумав все до конца, А-кью захрапел. Свеча весом в четверть фунта успела обгореть лишь на полвершка и теперь освещала ровным красным пламенем его открытый рот.

— Хо-хо! — вдруг вскрикнул А-кью и, приподнявшись, быстро посмотрел по сторонам. Но, увидев горящую свечу, снова лег и уснул.

На другой день А-кью встал очень поздно. Выйдя на улицу, он увидел, что вокруг ничего не изменилось. В желудке у него по-прежнему было пусто. Попытался что-то придумать, но безуспешно. Потом вдруг, то ли с умыслом, то ли просто так, зашагал к обители «Спокойствие и Очищение».

У монастыря с его белой стеной и черными лакированными воротами царила такая же тишина, как и в прошлый раз, весною. Подумав, А-кью подошел к воротам и постучал. Залаял пес. Тогда А-кью быстро собрал обломки кирпича и стал стучать сильнее. И лишь когда черный лак покрылся царапинами, за воротами послышались шаги.

Зажав в руке кирпич и расставив ноги, А-кью приготовился к сражению с большим черным псом, но пес не выскочил. Сквозь приоткрывшиеся ворота А-кью увидел старую монахиню.

— Ты зачем опять пришел? — испуганно спросила она.

— Теперь революция... ты знаешь? — пробормотал А-кью.

— Революция! У нас уже совершили революцию... Что еще вы хотите здесь изменить? — Глаза у монахини покраснели.

— Как так? — удивился А-кью.

— Разве ты не знаешь, что к нам уже приходили и все изменили?

— Кто приходил? — Он еще больше удивился.

— Сюцай с Поддельным заморским чертом.

От неожиданности А-кью опешил, монахиня же, заметив, что пыл его несколько поостыл, быстро захлопнула ворота. А-кью снова налег на ворота, но они не поддавались, постучал — никто не отозвался.

Все события, как оказалось, произошли здесь еще утром. Сюцай был в курсе всех новостей и, проведав, что революционеры ночью заняли город, поспешил закрутить на макушке косу и спозаранку отправился к заморскому черту — Цяню. Прежде они не ладили, но с наступлением эпохи «всеобщего обновления» быстро поняли друг друга, приспособились и договорились заняться революцией сообща.

Они долго думали и, наконец, сообразили, что в первую очередь надо уничтожить драконову таблицу с надписью: «Десять тысяч лет и еще десять тысяч по десять тысяч лет императору!», хранившуюся в обители «Спокойствие и Очищение». И тут же отправились в монастырь совершать революцию.

Вздумавшую было сопротивляться и протестовать старую монахиню они сочли маньчжурским правительством и порядком поколотили. Придя в себя после их ухода, она увидела на полу сломанную драконову таблицу, а также обнаружила, что

исчезла бронзовая курильница времен Сюань-дэ, стоявшая перед алтарем богини Гуаньинь.

Обо всем этом А-кью узнал слишком поздно. Он очень жалел, что проспал, и возмущался тем, что его не позвали.

«Неужели,— думал он,— они еще не знают, что я решил переметнуться к революционерам?»

VIII

К РЕВОЛЮЦИИ НЕ ДОПУСТИЛИ!

Жители Вэйчжуана постепенно успокоились. Судя по доходившим до них новостям после захвата города революционерами, ничего особенного там не произошло. Над солдатами стоял все тот же командир. Начальник уезда тоже был прежний, изменилось только его звание. Кем-то пошел служить и господин цзюйжэнь. В новых чинах вэйчжуанцы не разбирались. Пугало только одно: несколько плохих революционеров на другой же день стали отрезать мужчинам косы. Говорили, что от них пострадал лодочник Ци-цзинь из соседней деревни — остался без косы и потерял человеческий облик. И все же это нельзя было счесть жестоким террором, так как вэйчжуанцы редко ездили в город, а кто собрался туда, сразу же отменил свое решение, чтобы не подвергать себя опасности. Например, А-кью, узнав такую новость, сразу же оставил мысль проведать в городе старых друзей.

Тем не менее нельзя утверждать, что в Вэйчжуане ничего не изменилось. Через несколько дней возросло число вэйчжуанцев, закрутивших косы на макушке; причем, как уже говорилось выше, первым сделал это, конечно, сюцай; за ним последовали Чжао Сы-чэнь, Чжао Бай-янь, а потом уже и А-кью. В летний зной и раньше все закручивали косы или связывали их узлом, но никому это не казалось странным. Однако теперь, когда стояла глубокая осень, такое несвоевременное выполнение летних правил следовало считать настоящим героизмом. Словом, было бы несправедливым утверждать, что революция никак не отразилась на Вэйчжуане.

И когда Чжао Сы-чэнь шествовал по улице с голым затылком, прохожие громко кричали:

— Смотрите! Революционер идет!..

Эти возгласы вызывали у А-кью острую зависть. Узнав потрясающую новость, что сюцай закрутил косу на макушке, А-кью и подумать не мог, что последует его примеру. Но после

встречи с Чжао Сы-чэнем он решил, что такое нововведение достойно подражания. С помощью бамбуковой палочки для еды он закрутил свою косу на макушке и после долгих колебаний собрался наконец с духом и храбро вышел на улицу.

Но прохожие ничего не кричали, лишь молча на него смотрели. А-кью сперва был огорчен, потом рассердился. В последнее время он легко выходил из себя, хотя жизнь его не стала хуже, чем была до революции. Все держались с ним почтительно, хозяин винной лавки не требовал наличных денег. И все же А-кью испытывал разочарование: он ждал от революции гораздо больше! В довершение всего он встретил Маленького Дэна и чуть не лопнул от злости.

Маленький Дэн тоже закрутил косу на макушке и, представьте себе, тоже с помощью бамбуковой палочки. А-кью никак не ожидал от Маленького Дэна такой наглости и решил его проучить. Да что он такое, этот Маленький Дэн? А-кью так и подмывало наброситься на него, сломать его бамбуковую палочку, спустить косу и надавать пощечин за то, что он забыл о своем ничтожном происхождении и посмел сделаться революционером. Но, поразмыслив немного, А-кью простил Маленькому Дэну его дерзость, только смерил его гневным взглядом и сплюнул.

За последние дни в городе побывал только один Поддельный заморский черт. Сюцай, помня о сундуках, оставленных у него в доме на хранение, тоже хотел нанести визит господину цзюйжэню, но побоялся лишиться своей закрученной косы и не поехал. Он написал письмо в форме «желтого зонтика» и поручил Поддельному заморскому черту передать его цзюйжэню. Еще он попросил у Поддельного заморского черта личную рекомендацию для вступления в партию свободы. Когда Поддельный заморский черт вернулся, он взял с сюцая четыре юаня, а сюцай получил серебряный значок в виде персика и нацепил его себе на грудь. Все вэйчжуанцы были потрясены и говорили, что значок партии «кунжутного масла», пожалуй, не менее почетен, чем звание ханьлиня. На этот раз почтенный Чжао удостоился еще большего уважения, чем когда его сын стал сюцаем. Он сильно возгордился, стал всех презирать, а А-кью вообще не замечал.

А-кью все это раздражало. Он давно чувствовал себя одиноким, а когда услышал о «серебряном персике» сюцая, сразу понял: чтобы стать революционером, мало заявить, что присоединяешься к революции и закрутить косу. Самое главное — завести знакомство с революционерами, а он за всю свою жизнь

видел только двух: того, которому в городе — ш-ша! — отрубили голову, и этого Поддельного заморского черта. У А-кью не было выбора, и он решил немедленно пойти к Поддельному заморскому черту посоветоваться.

Ворота в доме семьи Цянь были открыты. А-кью осторожно вошел и сразу испугался. Посреди двора, весь в черном, вероятно в заморском костюме, стоял Поддельный заморский черт. На груди у него красовался «серебряный персик», в руке была палка, которую А-кью когда-то испробовал на себе. Успевшие подрасти распущенные волосы Поддельного заморского черта делали его похожим на праведника Лю Хая. Против него стояли Чжао Бай-янь и три бездельника, которые со вниманием, очень почтительно слушали его речь.

А-кью незаметно подошел и стал позади Чжао Бай-яня; он хотел окликнуть хозяина, но не знал, как это лучше сделать. Сказать: «Поддельный заморский черт»? Нет, не годится. «Иностранец» — нельзя, «революционер» — тоже. Может быть, назвать его «господин иностранец»?

Между тем «господин иностранец» не замечал А-кью и, закатив глаза, вдохновенно разглагольствовал:

— ...Я человек нетерпеливый. И каждый раз при встрече с ним прямо ему говорил: «Братец Хун! Надо действовать!» Но он твердил свое: «No» [1]. Это иностранное слово; вам его, конечно, не понять! Если бы не это слово, мы давно победили бы... Но он оказался чересчур нерешительным... Не раз просил меня поехать в Хубэй, но я не согласился. Кому охота работать в таком захолустье?

Выждав, пока «господин иностранец» умолкнет, А-кью храбро произнес: «Ага!.. Вот что...» — но и на этот раз почему-то не назвал его «господин иностранец». Присутствующие испуганно обернулись, и тут только «господин иностранец» заметил А-кью.

— Что тебе?

— Я...

— Пошел вон!

— Я хочу присоединиться...

— Убирайся!..— И «господин иностранец» замахнулся своим «похоронным посохом».

Чжао Бай-янь и бездельники закричали:

— Господин приказал тебе убраться! Почему ты ослушался?

---

[1] Нет *(англ.)*.

А-кью прикрыл голову руками и, не помня себя, бросился за ворота, но «господин иностранец» не преследовал его. Пробежав несколько десятков шагов, А-кью пошел медленнее. Сердце его сжимала тоска. «Господин иностранец» не допустил его к революции, а другого пути у него нет. Отныне А-кью уже не мог надеяться, что придут люди в белых шлемах и в белых панцирях и позовут его. Все его чаяния, надежды, стремления, планы были уничтожены одним взмахом палки. Теперь его уже не волновало, что бездельники разнесут эту новость и Маленький Дэн или Бородатый Ван станут насмехаться над ним.

Кажется, никогда еще А-кью не пребывал в таком унынии. Он утратил всякий интерес к своей закрученной на макушке косе, даже почувствовал презрение к ней. Всем назло он решил сейчас же раскрутить косу, но почему-то не сделал этого. Прошатавшись до ночи, он выпил в долг две чашки вина и вновь пришел в хорошее настроение. В его сознании снова возникли смутные образы людей в белых панцирях и белых шлемах.

Однажды, досидев, как обычно, до закрытия винной лавки, А-кью вернулся в храм Бога земли.

«Бум!» — вдруг донеслось с улицы. Любитель всяких происшествий, А-кью тотчас же устремился в темноту. Впереди послышались шаги нескольких человек, потом кто-то пробежал мимо. А-кью повернулся и помчался вслед за бегущим. Человек свернул в сторону — А-кью тоже. Неизвестный остановился, и А-кью остановился. Подойдя к неизвестному, А-кью обнаружил, что это всего-навсего Маленький Дэн.

— В чем дело? — сердито спросил А-кью.

— Чжао... Грабят дом почтенного Чжао...— задыхаясь, ответил Дэн.

Сердце А-кью учащенно забилось. Маленький Дэн скрылся в темноте. А-кью побежал дальше, то и дело останавливаясь. Как человек бывалый, имевший дело с людьми «подобной профессии», он, осмелев, добрался до угла улицы и внимательно прислушался — там вроде бы кто-то разговаривал. Потом увидел людей, выносивших сундуки, домашнюю утварь и кровать нинбоского образца. Кажется, они были в белых шлемах и белых панцирях, но все это произошло как в тумане. Надо бы подойти ближе, однако ноги не слушались А-кью.

Ночь выдалась безлунная, и стояла такая тишина, будто вернулись времена великого покоя, царившего при императоре Фу Си. А-кью оставался на углу, пока у него хватило сил, а мимо него все тащили и тащили сундуки, домашнюю утварь, нинбоскую кровать, на которой спала жена сюцая. Он просто

не верил собственным глазам, но твердо решил остаться незамеченным и в конце концов вернулся в свой храм.

В храме была черная, как лак, тьма. А-кью тщательно запер ворота и ощупью пробрался в свою каморку. Лег и постепенно успокоился. Итак, люди в белых шлемах и белых панцирях действительно пришли, но его не позвали. Они унесли много хороших вещей, а на его долю ничего не досталось...

«И все потому, что Поддельный заморский черт — будь он проклят! — не допустил меня к революции. Иначе разве я не получил бы своей доли?» — негодовал А-кью.

Чем больше он думал об этом, тем больше злился, и под конец душа его переполнилась горечью. В гневе он тряхнул головой и прошептал:

— Не допустили. Только вам можно. Ну, погоди, Поддельный заморский черт! Ты — мятежник, а мятежникам — ш-ша! — рубят головы... Вот возьму и донесу... Посмотрим тогда, как тебя заберут в ямынь и отрубят тебе голову... А добро отберут. Всей твоей семье отрубят... ш-ша... ш-ша...

IX

ВЕЛИКОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ

Ограблением дома Чжао вэйчжуанцы были и обрадованы и напуганы. Те же чувства испытывал и А-кью. Однако спустя четыре дня, ровно в полночь, А-кью схватили и отправили в город. В эту, тоже темную, ночь отряд солдат, отряд самообороны, отряд полиции и еще пять сыщиков незаметно подошли к Вэйчжуану, воспользовавшись темнотой, окружили храм Бога земли и выставили пулемет прямо против входа. А-кью не показывался. Долгое время вообще не было никакого движения. Наконец начальник потерял терпение и назначил награду в двадцать тысяч медяков тому, кто первым проникнет к А-кью. Тогда два солдата из отряда самообороны, пренебрегая опасностью, отважились перелезть через стену. Вслед за ними отряды объединенными усилиями проникли в храм и схватили сонного А-кью, который пришел в себя, лишь когда его проволокли мимо пулемета.

В город А-кью привели только в полдень. В старом полуразрушенном ямыне солдаты, миновав пять или шесть тесных проходов, втолкнули его в какую-то каморку. Он споткнулся, и не успел еще выпрямиться, как сбитая из неотесанных бревен

дверь захлопнулась, ударив его по пятке. В каморке были глухие стены без окон. Привыкнув к темноте и оглядевшись, А-кью заметил в углу двух человек.

Сердце А-кью билось тревожно, но он не унывал, потому что его каморка в храме Бога земли была не выше и не светлее этой. Его соседями оказались двое деревенских парней. А-кью постепенно разговорился с ними. Один из них сообщил, что господин цзюйжэнь требует с него долг, который не уплатил его дедушка; другой сам не знал, за что его взяли... Когда они, в свою очередь, стали расспрашивать А-кью, тот бойко ответил:

— За то, что я захотел присоединиться к революции.

В этот же день, к вечеру, его выволокли из каморки и втолкнули в большой зал, где прямо против входа восседал старик с начисто выбритой, блестящей головой. А-кью подумал, что это монах, но тут же заметил, что старика охраняют солдаты, а по обеим сторонам от него стоят еще человек десять в длинных халатах. У некоторых были бритые головы, как у старика, у других волосы, длиной в целый чи, спускались на плечи, как у Поддельного заморского черта. У всех были злые, бандитские физиономии, и все они снисходительно рассматривали А-кью. Он сразу же сообразил, что сидящий перед ним старик — важная птица. Ноги у А-кью сами собой подогнулись, и он опустился на колени.

— Говори стоя! Поднимись с колен! — хором закричали люди в длинных халатах.

А-кью, конечно, их понял, но чувствовал, что не удержится на ногах. Тело непроизвольно клонилось вниз, и в конце концов он снова опустился на колени.

— Рабская душа! — с презрением сказали люди в длинных халатах, но вставать его больше не заставляли.

— Говори всю правду, как было дело! Этим ты облегчишь свою участь. Мне все известно. Признаешься — отпустим! — глядя в лицо А-кью, тихо и отчетливо произнес старик с блестящей головой.

— Сознавайся! — закричали люди в длинных халатах.

— Вначале... я хотел... сам присоединиться!..— запинаясь, ответил сбитый с толку А-кью.

— Почему же ты не пошел? — ласково спросил старик.

— Поддельный заморский черт не позволил...

— Глупости! Теперь поздно выкручиваться... Где твои сообщники?

— Чего?

— Люди, которые в тот вечер ограбили дом Чжао?

— Они не позвали меня. Они сами все унесли! — возмущенно заявил А-кью.

— А куда они ушли? Скажи, и мы тебя отпустим,— добавил старик еще ласковей.

— Я не знаю... Они не позвали меня...

Тут старик глазами подал знак, и через минуту А-кью снова очутился за решеткой в каморке.

На следующее утро его опять вытащили и отвели в большой зал. Там все было, как накануне. На возвышении сидел тот же старик с блестящей головой, и А-кью опять стал на колени.

— Хочешь что-нибудь еще сказать? — ласково спросил старик.

А-кью подумал, но сказать ему было нечего, и он ответил:

— Нет.

Человек в халате принес бумагу и сунул в руку А-кью кисточку. Но А-кью так перепугался, что душа его едва не вылетела вон: ведь он впервые в жизни держал кисточку. Он просто не знал, как ее держать. Человек указал ему место на бумаге и приказал расписаться.

— Я... я... не умею писать,— смущенно сказал А-кью, неумело сжимая кисточку в кулаке.

— Нарисуй круг — и все.

А-кью хотел нарисовать круг, но рука, сжимавшая кисть, дрожала; тогда человек разложил бумагу на полу. А-кью наклонился и, собрав все силы, начал выводить круг. Он боялся, что над ним будут смеяться. И изо всех сил старался, чтобы круг получился ровным, но проклятая кисточка оказалась не только тяжелой, но и непослушной. Дрожа от напряжения, он почти уже соединил линии круга, но вдруг кисточка поехала в сторону, и круг оказался похожим на тыквенное семечко.

А-кью было стыдно, что он не умеет рисовать круги, но человек, не обратив на это внимания, отобрал у него бумагу и кисточку; потом его увели из зала и опять втолкнули в каморку. А-кью не очень обеспокоился. Он считал, что так и надо, что в этом мире человека иногда должны куда-то вталкивать и откуда-то выталкивать. Но вот, что круг вышел неровный, — это, пожалуй, может лечь темным пятном на все его «деяния». Немного погодя А-кью все же успокоился и подумал: «Только дурачки рисуют круги совсем ровными...» Тут он и уснул.

А господин цзюйжэнь в эту ночь никак не мог уснуть: он повздорил с командиром батальона. Господин цзюйжэнь требовал, чтобы прежде всего нашли его украденные сундуки, а командир батальона главной своей задачей считал устраше-

ние — чтобы другим неповадно было. В последнее время он совершенно ни во что не ставил господина цзюйжэня; разговаривая с ним, стучал кулаком по столу и, наконец, заявил:

— Расправиться с одним — значит устрашить сотню! Сам посуди: я всего дней двадцать как стал революционером, а уже произошло больше десяти ограблений, и ни одно из них до сих пор не раскрыто... Каково это для моей репутации? Когда же удалось наконец поймать преступника, ты мне мешаешь... Не суйся! Этими делами распоряжаюсь я...

Господину цзюйжэню трудно было спорить, но он держался твердо и сказал, что, если не будут найдены его сундуки, он немедленно откажется от своей новой должности помощника по гражданскому управлению, на что командир батальона ответил:

— Сделай одолжение!

По этой причине господин цзюйжэнь и не мог уснуть всю ночь. К счастью, он все же не отказался от своей должности.

На следующее утро, после бессонной ночи господина цзюйжэня, А-кью еще раз выволокли из каморки. В большом зале на возвышении сидел все тот же старик с блестящей головой, и А-кью опять опустился на колени.

— Хочешь что-нибудь еще сказать? — ласково спросил старик.

А-кью подумал, но сказать ему было нечего, и он опять ответил:

— Нет.

Сразу же какие-то люди — кто в халате, кто в куртке — подошли и надели на него белую безрукавку из заморской материи с черными иероглифами. А-кью очень огорчился, потому что это напоминало траур. Ему скрутили руки за спину и выволокли из ямыня.

Затем А-кью втащили на открытую повозку, и несколько человек в коротких куртках сели вместе с ним. Повозка сейчас же тронулась. Впереди шли солдаты с заморскими ружьями и отряд самообороны; по обеим сторонам улицы толпились бесчисленные зеваки, а что делалось позади, А-кью не видел. Вдруг у него мелькнула мысль: «Уж не собираются ли ему отрубить голову?» В глазах у него потемнело, в ушах зазвенело, и он как будто потерял сознание. Но, придя в себя, подумал, что в этом мире у человека, вероятно, бывают и такие минуты, когда ему отсекают голову.

А-кью знал дорогу и не мог понять, почему они не направляются к месту казни. Он просто не догадывался, что его возят по улицам напоказ для устрашения других. А если бы и

догадался, то все равно подумал бы, что в этом мире у человека бывают и такие минуты.

Наконец он понял, что этот извилистый путь ведет на площадь, где совершаются казни, а там... ш-ша! — и голову долой. Он растерянно глядел по сторонам. Всюду, как муравьи, суетились люди. Вдруг в толпе на краю дороги он заметил У-ма. Давно они не виделись... Значит, она работает в городе? А-кью стало стыдно, что он не проявил своей храбрости: не спел ни одной песни. Мысли вихрем закружились в его голове. «Молодая вдова на могиле» — нет, это недостаточно величественно. «Мне жаль» из «Битвы тигра с драконом» — тоже слабо. «В руке держу стальную плеть» — вот это, пожалуй, годится... А-кью хотел взмахнуть рукой, но вспомнил, что руки связаны, и не запел.

— Пройдет двадцать лет, и снова появится такой же!..— возбужденно крикнул он, но так и не докончил фразы. Он произносил слова, которым его не учили, которые сами родились.

— Хао! Хао! [1] — донеслось из толпы, как волчий вой. Повозка продолжала двигаться вперед под одобрительные возгласы толпы. А-кью взглянул на У-ма, но она, не замечая его, с увлечением глазела на солдат с заморскими ружьями за плечами.

Тогда А-кью перевел взгляд на толпу, провожавшую его криками.

Мысли снова беспорядочным вихрем закружились у него в голове. Четыре года назад у подножия горы он повстречался с голодным волком; волк неотступно шел за ним по пятам и хотел сожрать его. А-кью тогда очень испугался. К счастью, в руках у него был топор; это придало ему храбрости, и он добрался до Вэйчжуана. А-кью навсегда запомнились злые и трусливые волчьи глаза — они сверкали, как два дьявольских огонька, и словно впивались в его тело... И теперь, глядя в толпу, А-кью увидел никогда не виданные им прежде страшные глаза: пронизывающие, сверлящие. Они неотступно следили за ним, они уже поглотили его слова и хотели пожрать его самого. Не приближаясь и не отступая, они следовали за ним.

Эти глаза словно слились в один глаз и грызли душу А-кью. «Спасите!»

Но А-кью не выкрикнул этого слова. В глазах у него потемнело, в ушах зазвенело, и ему показалось, будто все его тело разлетелось мелкой пылью...

---

[1] Хао — браво, хорошо *(кит.)*.

А теперь о последствиях этого события. Самая крупная неприятность выпала на долю господина цзюйжэня: похищенные сундуки так и не нашлись, и все его семейство лило горькие слезы. Случилась неприятность и в семействе почтенного Чжао: во время поездки сюцая в город,— где он хотел пожаловаться властям,— безбожные революционеры не только срезали у него косу, но еще вытребовали у него подношение в двадцать тысяч медяков; и вся его семья тоже горько плакала. С этого дня потерпевшие стали ощущать все большее влечение к завещанной веками старине.

Что касается общественного мнения, то в Вэйчжуане все сходились на одном,— что А-кью был негодяем. Бесспорным доказательством тому служила его казнь. Не будь он негодяем, разве расстреляли бы его? Общественное мнение в городе тоже не склонялось на его сторону. Почти все остались недовольны, считая, что расстрел не такое интересное зрелище, как отсечение головы. И потом, что за странный смертник! Его так долго возили по улицам, а он не спел ни одной песни! Зря за ним ходили, только время потеряли...

Декабрь 1921 г.

ПРАЗДНИК ЛЕТА

В последнее время Фан Сюань-чо полюбилось выражение «разница невелика». Оно стало у него чем-то вроде присловья, и он без конца повторял его не только вслух, но и мысленно. Прежде он то и дело говорил «все равно», но, видимо, решив, что это недостаточно солидно, заменил «все равно» на «разница невелика» и уже не расставался с этим выражением.

Эта обычная формула, открытая Фаном, порой наводила его на грустные размышления, но гораздо чаще успокаивала. Прежде он возмущался, видя, как старики подавляют молодежь, но теперь стал рассуждать иначе: ведь наступит время, когда эта молодежь будет также чваниться перед своими детьми и внуками,— вот и выходит, что никакой несправедливости тут нет. Прежде он возмущался, видя, что солдат бьет рикшу, теперь же стал рассуждать иначе: если бы рикша стал солдатом, а солдат тащил коляску, то бывший рикша, вероятно, так же бил бы бывшего солдата. Значит, не стоит об этом беспокоиться.

Однако с появлением новой идеи Фана изредка стали му-

чить сомнения. «А не самообман ли это — намеренно открыть себе путь к отступлению только потому, что не хватает мужества бороться с нашим испорченным обществом? — думал он.— Ведь так недолго стать равнодушным к добру и ко злу. Пожалуй, лучше отказаться от этой идеи». Но как бы вопреки его воле новая идея все прочнее укреплялась в его мозгу.

Впервые Фан обнародовал свою новую идею на лекции в пекинской школе «Изначальное добро». Коснувшись исторических фактов, он упомянул, что «современные люди недалеко ушли от древних», что все люди «по своей природе близки друг другу», а в конце стал рассуждать о современных студентах и чиновниках:

«Нынче в обществе стало модным ругать чиновников, особенно крепко поносят их студенты. Однако чиновники не есть какое-то особо созданное природой племя. Они обыкновенные люди. Среди них немало бывших студентов, но разве они чем-нибудь отличаются от старых чиновников? «Место меняется, а все остается по-прежнему». В их мыслях, речах, поступках и манерах не найдешь и капли различия... Кстати, и в студенческих организациях часто не обходится без злоупотреблений! Но разве же стараются при этом, как говорится, загасить огонь и развеять дым? Разница невелика... Но именно это и вызывает тревогу за будущее Китая...»

Двадцать с лишним учащихся, сидевших в разных концах аудитории, восприняли его слова по-разному. Одни в нем разочаровались, другие решили, что он прав, третьи возмутились, приняв его слова за святотатство по отношению к современной молодежи, а некоторые многозначительно улыбались, считая, что Фан выгораживает самого себя: ведь он был по совместительству и преподавателем, и чиновником.

На самом же деле все они ошибались. Попросту Фан Сюаньчо сегодня опять ощутил недовольство. А пустые рассуждения о недовольстве помогали ему довольствоваться своей судьбой. Не сознавая собственной лени и никчемности, он, в общем, чувствовал себя человеком, не склонным к каким-либо действиям, и был вполне доволен своей участью. Когда директор школы несправедливо заподозрил в нем нервнобольного, Фан и пикнуть не посмел, думая лишь о том, как бы под ним не закачалось кресло. Когда учителям свыше полугода не выплачивали жалованье, для Фана стало особенно важным его жалованье чиновника, и на службе он тоже не открывал рта. Причем он не просто молчал. Когда учителя потребовали уплаты жалованья, он втайне считал, что слишком уж громко они кричат, не сообра-

зуясь с обстановкой. И возмутился, лишь услышав, как чиновники, его сослуживцы, издеваются над учителями. Правда, возмущение его быстро прошло, стоило ему подумать: «Возможно, самим чиновникам не хватает жалованья, они ведь не учительствуют, как я».

Нуждаясь в деньгах, Фан все же не вступил в учительскую организацию, хотя во время объявленной учителями забастовки на лекции не ходил.

«Выйдете на занятия — выдадим деньги»,— такое заявление правительства раздосадовало Фана: учителей приманивают, будто обезьяну бананом. Какой-то великий педагог сказал: «Учителю, который в одной руке держит книгу, неблагородно другую руку протягивать за деньгами».— И он по всей форме излил свое недовольство на жену.

— Эй! Это что же, у нас только два блюда? — сказал он, поглядев на рис и овощи за ужином в тот день, когда услышал это «неблагородно».

Фан и его жена не получили современного образования. У жены даже не было школьного имени или изящного прозвища, поэтому он не знал, как ее называть. По-старому, ее, конечно, можно было звать госпожой, но ему не хотелось быть слишком консервативным. Тут он и придумал оклик «Эй!». А у жены для обращения к нему не было даже этого «Эй!». И он привык принимать в свой адрес ее слова, если она говорила, обернувшись к нему лицом.

— Пятнадцать процентов, полученных в прошлом месяце, вышли... Рис — вчера... Легко ли было достать его в долг! — сказала она, стоя напротив него у стола.

Он ответил:

— А еще говорят, что неблагородно со стороны учителя требовать жалованье. Эти твари как будто не понимают, что человеку нужна еда, а для еды нужен рис, а чтобы купить рис, нужны деньги. Даже такими простейшими знаниями не обладают...

— Верно. Как купить рис без денег, как приготовить еду без риса...

Фан надулся, видно, рассердился на жену за то, что она повторила его слова и таким образом ее ответ совпал с его рассуждениями на тему «разница невелика». Он отвернулся и этим, как всегда, дал ей понять, что беседа закончена.

Учителям выдали немного денег лишь после того, как они под пронизывающим ветром и холодным дождем пошли к зданию правительства требовать выплаты жалованья.

У ворот Синьхуа полиция оттеснила демонстрантов в липкую грязь, у некоторых были в кровь разбиты головы. Не шевельнув даже пальцем, Фан тоже получил деньги. Он собирался погасить часть старых долгов, но оказалось, что ему не хватает довольно крупной суммы,— дело в том, что чиновникам тоже задержали выплату жалованья. Тут даже самые бескорыстные, ничем не запятнанные служащие поняли, что необходимо требовать выдачи денег. Тогда Фан, как преподаватель, стал сочувственнее относиться к учителям. И хотя, по обыкновению, не присутствовал на собрании, где было принято решение продолжать забастовку, но добровольно ему подчинился и на занятия не ходил.

Правительство снова выдало деньги — и в школах возобновились уроки. Однако несколькими днями ранее студенческий союз подал правительству петицию с просьбой «Не выплачивать задержанного жалованья, если учителя не приступят к занятиям». Петиция осталась без последствий, но Фану сразу вспомнилось прежнее заявление правительства: «Выйдете на занятия — выдадим деньги». Идея «разница невелика» снова возникла перед ним, как тень, и больше не исчезала. Тогда-то он и обнародовал ее на своей лекции.

Если, как говорится, переплавить, словно металл, выражение «разница невелика», точнее опутать его сетями закона, разумеется, можно прийти к выводу, что недовольство Фана вызвано его тайными эгоистическими побуждениями. Но было бы несправедливым утверждать, будто он создал свою теорию с целью выгородить себя, как чиновника. Фан с особым удовольствием муссировал теперь вопрос о будущем Китая и даже рисковал изображать из себя патриота, болеющего душой за родину. «Люди,— говорил Фан,— всегда страдали из-за отсутствия у них самосознания».

Фан каждый раз убеждался на фактах в справедливости теории «разница невелика». Правительство, не заботившееся об этих надоевших всем до головной боли учителях, перестало затем заботиться и о чиновниках, не имевших с учителями ничего общего. Чиновникам по-прежнему не выплачивали жалованья. И дело дошло до того, что даже среди самых добропорядочных чиновников, которые еще недавно презирали клянчивших деньги учителей, нашлись смельчаки. Они созвали собрание и выступили с требованием выплаты жалованья. Их, правда, презрительно высмеяли некоторые газеты, однако Фан по этому поводу не проявил ни беспокойства, ни удивления. Основываясь на своей теории «разница невелика», он знал, что газетным пи-

сакам пока еще хватает гонорара; но если бы паче чаяния правительство или богачи перестали их субсидировать, они немедленно созвали бы собрание.

Фан сочувствовал сейчас чиновникам, так же как в свое время учителям, требовавшим уплаты жалованья. Но сам он по-прежнему спокойно сидел в канцелярии и, по своему обыкновению, не пошел вместе со всеми требовать от правительства уплаты жалованья. Когда же его заподозрили в высокомерии, он счел это простым недоразумением и заявил, что всю жизнь только с него спрашивали долги, сам же он ни с кого долгов не требовал,— на это он-де совершенно не способен. К тому же, заявил Фан, у него не хватит смелости встретиться с лицами, которые держат в своих руках экономическую власть.

Вот если бы они утратили свою власть и с «Трактатом о началах веры Махаяны» в руках стали проповедовать буддизм, он охотно встретился бы с ними. Но пока они на троне, они смотрят на остальных, как Владыка ада на своих рабов, считая, что только им дано распоряжаться жизнью и смертью всех мелких людишек. По этой-то причине Фан не смел, да и не хотел встречаться с ними. Иногда ему казалось, что эта черта характера возвышает его над другими, но чаще он просто сомневался в таких своих способностях.

Со всех сторон раздавались требования об уплате жалованья, они, как говорится, наступали со всех позиций. Никогда еще Фан не был в таком тяжелом положении. Не говоря уже о мальчишке-слуге или о лавочниках, с которыми приходилось сталкиваться, даже госпожа Фан проявляла неуважение к нему. В последнее время она не только ему не поддакивала, но даже высказывала собственное мнение, более того, иногда она становилась попросту бесцеремонной. Так, утром четвертого числа пятой луны по старому календарю не успел он вернуться домой, как она сунула ему прямо под нос пачку счетов. Такого еще не бывало.

— Деньги выдали? — спросила она, даже не взглянув на него.— У нас целых сто восемьдесят юаней долгу...

— Гм, с завтрашнего дня я перестаю служить. Чеки получили, но члены комитета держат их у себя. Сначала они заявили, что не выдадут чеков тем, кто вместе со всеми не ходил их требовать, а затем велели каждому являться за чеком лично. Стоило им только завладеть чеками, чтобы сразу уподобиться Владыке ада. А я, по правде говоря, боюсь встречи с ним... И денег мне не надо, и служить не стану, не хочу унижаться...

Госпожа Фан, не так уж часто видевшая столь благородный гнев, вначале даже испугалась, но очень скоро успокоилась и, глядя мужу в лицо, сказала:

— По-моему, лучше получить лично, ничего особенного в этом нет.

— Не пойду. Это не подачка, а жалованье чиновника, и по правилам его должны выдавать через бухгалтерию.

— А если не дают, как быть?.. Ох, совсем забыла. Дети вчера сказали, что надо платить за обучение. Уже несколько раз требовали, а теперь предупредили, что если не внесем...

— Вздор! Отцу ни на службе, ни в школе не дают денег, а за сына плати, когда он и заучил-то всего несколько фраз.

Жена умолкла, почувствовав, что вести разговор дальше опасно: ему все было нипочем и он так разозлился, будто перед ним был сам директор школы.

За обедом оба не проронили ни слова. Поев, он задумался на минуту и в раздражении вышел.

Все последние годы, в канун праздника лета или Нового года, Фан, как того требовал обычай, непременно возвращался домой около полуночи и, вынимая на ходу из-за пазухи свертоk, кричал:

— Эй! Получай! — И тут же с довольным видом вручал жене пачку новеньких банкнот Китайского банка и Банка путей сообщения. Кто же мог предвидеть, что на этот раз, в четвертый день пятой луны, он вернется домой еще до семи вечера. Госпожа Фан встревожилась, решив, что он уже подал в отставку, но, сколько ни вглядывалась, в лице у него не заметила ничего особенного.

— Что случилось?.. Почему так рано? — спросила она.

— Выдать не успели, не получил. Банк уже закрыт. Теперь придется ждать до восьмого.

— Может, надо было лично пойти попросить? — боязливо спросила жена.

— Нет, личное получение отменили, говорят, будут выдавать, как и раньше, через бухгалтерию. Но банк закрыли на три дня по случаю праздника, придется ждать до восьмого.

Он сел, отхлебнул чаю и медленно заговорил:

— К счастью, деньги уже в учреждении, и теперь это не проблема... Их выдадут восьмого числа, не позднее... Гораздо сложнее занять деньги у родственника или знакомого, с которыми не поддерживал отношений. После обеда я решил непременно разыскать Цзинь Юн-шэна. Разговорились. Сначала он похвалил меня за то, что я не ходил требовать жалованья и не

согласился лично получать, что это очень благородно и что именно так и должен был поступить порядочный человек. Однако стоило мне попросить у него взаймы пятьдесят юаней, как он сразу поморщился, будто я запихнул ему в рот горсть соли. Потом стал жаловаться, что никак не может собрать с жильцов квартирную плату и в торговле терпит убытки... А напоследок заявил, что ничего, мол, нет особенного в том, чтобы лично получить деньги у товарищей по службе, после чего сразу же меня выпроводил.

— Кто же даст взаймы перед самым праздником? — безразличным тоном заметила жена, не проявив никакого участия.

Фан опустил голову, он понимал, что в этом нет ничего удивительного,— не так уж он был близок с Цзинь Юн-шэном. Тут он вспомнил, как в канун прошлого Нового года к нему явился земляк и попросил у него взаймы десять юаней. Фан тогда уже получил чек на жалованье, но дать взаймы побоялся и соврал, что сам находится в затруднительном положении, что не получил жалованья ни на службе, ни в школе, что рад бы, да не в силах помочь, и выпроводил земляка. Выражение собственного лица при этом Фан, естественно, не видел, однако почувствовал неловкость, губы у него дрогнули, и он покачал головой.

Спустя некоторое время Фан велел мальчишке-слуге сходить в лавку и взять в долг бутылку «Лотосовой». Лавочник же не посмеет отказать, надеясь, что перед праздником ему заплатят все долги. А если откажет, Фан в наказание не уплатит ему завтра ни гроша.

«Лотосовую» удалось получить в долг. Фан выпил две чашки, и лицо его порозовело. После ужина он развеселился, закурил сигарету известной марки «Хадэмын», взял со стола сборник стихов «Опыты» и улегся на кровать.

Подошла госпожа Фан и, в упор глядя на него, спросила:

— Как же мы завтра расплатимся с лавочниками?

— С лавочниками?.. Пусть придут восьмого во второй половине дня.

— Я не могу им этого сказать. Они не поверят.

— Как это не поверят! Пусть спросят,— во всем учреждении никто не получил, ждут восьмого!..

Он ткнул указательным пальцем в полог, а потом очертил в воздухе полукруг. Жена внимательно проследила за его пальцем, который тут же перевернул страницу. Это значило, что от мужа сейчас больше не добьешься ни слова...

— Я думаю, так дальше продолжаться не может... Надо что-то придумать, заняться каким-нибудь иным делом,— перевела она разговор на другую тему.

— Что придумать? Чем заняться? Ведь «чиновнику в писцах не ходить, а военному пожаров не тушить».

— А разве ты не писал сочинений для шанхайской книжной лавки?

— Для шанхайской книжной лавки? Так ведь они платят за рукопись, считая каждый иероглиф в отдельности, пробелы у них в счет не идут. А ты видела современные стихи, которые я для них написал? Сколько там пустого места? За всю книгу заплатят, пожалуй, не больше трехсот юаней. Да и об оплате за авторское право от них уже шесть месяцев нет никаких известий. Кто вытерпит такое? «Далекой водой не спасешься от близкого пожара».

— Ну, а если отдать в редакцию здешней газеты?..

— Газеты? Даже в самой крупной газете за тысячу иероглифов платят несколько медяков. Мне говорил об этом один студент, который там сотрудничает. На это вас не прокормишь, если даже писать с утра до ночи. Да и где я наберу темы для стольких статей?

— Что же нам делать после праздников?

— После праздников? Буду по-прежнему служить... Явятся завтра лавочники, скажи, что получат деньги восьмого после обеда.— И он снова взялся за книгу.

Госпожа Фан, боясь упустить подходящий случай, торопливо заговорила:

— Я думаю, после праздников... восьмого числа... не купить ли нам... выигрышный билет в лотерею?

— Вздор! И скажет же такое, точно необразованная...

Но тут Фан вдруг вспомнил, как он, растерянный, забрел в магазин под вывеской «Таосянцунь» после того, как его выпроводил Цзинь Юн-шэн. При виде объявлений у входа с огромными иероглифами «Главный выигрыш — десять тысяч юаней» сердце у него дрогнуло, и он замедлил шаг. Но потом решительно прошел мимо, поскольку не мог расстаться с последними шестьюдесятью фэнями, лежавшими в кошельке.

По его изменившемуся лицу госпожа Фан предположила, что он рассердился на ее необразованность, и, оборвав разговор, поспешно отошла. А Фан, так и не закончив фразы, снова улегся и принялся читать нараспев стихи из сборника «Опыты».

Июнь 1922 г.

БЛЕСК

Было уже за полдень, когда Чэнь Ши-чэнь вернулся домой. А ведь ушел он очень рано, чтобы просмотреть списки выдержавших уездные экзамены.

Иероглифов «Чэнь» там было немало, и они прыгали перед его глазами, словно торопясь опередить друг друга. Но среди иероглифов, которые следовали за этой фамилией, не оказалось тех двух, что обозначали имя Ши-чэнь.

Снова и снова просматривал он двенадцать листов с черными кругами. В каждый круг было очень мелко вписано по пятьдесят фамилий. Все, приходившие взглянуть на списки, давно разошлись, и только он один, так и не отыскав своего имени, продолжал стоять перед стеной, загораживающей вход в экзаменационное здание.

Холодный ветер шевелил короткие с проседью волосы Чэня, но солнце, хотя уже наступила зима, еще припекало. Голова у Чэня закружилась, лицо приобрело землистый оттенок, а в припухших и красных от усталости глазах появился какой-то странный блеск. Он не различал уже ни стены, ни списков. Перед ним плыли лишь бесконечные черные круги...

«Вот он — победитель на экзамене на первую ученую степень, едет в столицу провинции, где сдает следующий экзамен, дальше — выше, победа следует за победой... Влиятельные лица всячески стараются залучить его к себе в зятья, окружающие преклоняются перед ним, как перед гением, и глубоко раскаиваются в том, что прежде, по глупости, им пренебрегали...

Вот он выгоняет людишек, снимающих комнатушки в его развалившемся доме. Нет! Чего там выгоняет, они сами уступают ему... Дом большой, совсем как новый. Перед воротами на шесте — флаг, на стене — парадная табличка с надписью... Если стремиться к бескорыстной славе, то следует занять должность в столице, а нет, тогда лучше устроиться где-нибудь подальше...»

Но тут все воздвигавшееся им изо дня в день блестящее будущее развалилось, точно сахарная башня от удара волны прибоя,— осталась лишь кучка обломков.

Он машинально повернулся и, ничего не видя, совершенно разбитый поплелся домой.

Едва он переступил порог, как семеро учеников принялись хором громко твердить урок. Чэнь вздрогнул, будто у него над ухом прозвенел гонг. Головы мальчишек с торчащими косич-

ками замелькали перед ним, расплылись по комнате и принялись танцевать вместе с черными кругами. Чэнь присел, а ученики, которых привели на вечерние занятия, исподтишка за ним наблюдали. Тогда, немного помедлив, он с тоскою сказал:

— Ступайте!

Дети кое-как сложили свои книги и, сунув свертки под мышку, выскользнули, будто струйки дыма. А перед Чэнем все еще танцевали мальчишечьи головы и черные круги, они то сливались так, что их уже нельзя было различить, то выстраивались причудливыми рядами и, постепенно уменьшаясь, обволакивались каким-то туманом.

— Ну вот! И на этот раз все кончено! — Эти слова так отчетливо прозвучали над ухом, что Чэнь даже подскочил от испуга. Он обернулся, но никого не обнаружил. Снова ему послышался удар гонга, но теперь он уже сам прошептал:

— Ну вот! И на этот раз все кончено!

Резким движением вскинув руку, он принялся считать, загибая пальцы... одиннадцать, двенадцать... считая с нынешним годом — шестнадцать раз. Но в конце концов так и не нашлось экзаменатора, который разбирался бы в сочинениях. Слепые они, все равно что глаза без зрачков. И жалкие! Чэнь невольно хихикнул. Но тут же возмутился и, рывком вытащив из свертка переписанное набело сочинение с экзаменационным билетом, пошел к выходу. Однако у самых дверей в лицо ему ударил яркий дневной свет, и он вдруг подумал, что все станут над ним смеяться, даже куры. В висках у него бешено застучало, и он, весь съежившись, вернулся в комнату.

Чэнь снова сел, глаза его лихорадочно блестели. Перед ним, словно в тумане, мелькали какие-то предметы,— то были обломки его развалившегося, как сахарная башня, будущего. И эти обломки загораживали перед ним все пути.

В других семьях давно уже погасили очаги, перемыли чашки и палочки, а Чэнь даже не подумал приготовить себе ужин. Живший здесь мелкий люд по опыту прежних лет знал, что с окончанием ежегодных экзаменов, после того как вывесят списки, в глазах у Чэня появляется особый блеск, и тогда лучше поменьше судачить о чужих делах и пораньше запереть двери.

Сначала смолкли голоса, затем погасли огни. Осталась только луна, которая медленно всходила на холодном ночном небе. Чэнь отпер двери и вышел.

На темно-синем, точно море, своде, появились легкие облака, такие же расплывчатые, как след на воде, когда в ней полощут меловую кисть. Луна, облившая Чэня волнами холод-

ных лучей, казалась только что отполированным металлическим зеркалом, она пронизала все его тело загадочным светом и отбросила на него свою тень.

Чэнь походил по двору. Все кругом уже стихло, и в глазах у него прояснилось. Но тут покой его был нарушен. У самого уха отчетливо прозвучал торопливый шепот:

— Нагнись вправо, нагнись влево...

Встревоженный, он прислушался, склонив голову.

— Нагнись вправо! — повторил тот же голос, уже громче.

Тут он вспомнил летние ночи, которые проводил с бабушкой в этом дворе, полном прохлады. В те времена дом еще не пришел в упадок. Он, тогда десятилетний мальчик, укладывался на плетеный из бамбука диван, а бабушка садилась рядом, рассказывала ему интересные сказки и предания. Как-то она поведала ему о том, что слышала еще от своей бабушки.

Предки рода Чэнь, говорила та, были очень богаты, и именно из этой комнаты пошло начало их рода.

Деды и прадеды закопали несметное количество серебра, и какому-нибудь удачливому потомку, может быть, посчастливится его отыскать. Но пока такой еще не появился. Место, где закопан клад, было обозначено в следующей загадке:

Вперед, назад, вперед, назад.
Нагнись вправо, нагнись влево.
Черпай злато, серебро
Какой угодно мерою.

Над этой-то загадкой и ломал себе голову Чэнь. Но, увы, каждый раз, когда ему казалось, что он нашел разгадку, обнаруживалась ошибка.

Однажды Чэнь с полной уверенностью определил, что клад зарыт под тем домом, который снимала семья Тан, но не осмелился начать там раскопки. А некоторое время спустя решил, что снова ошибся.

Следы раскопок в доме, где жил он сам, говорили о припадках раздражения, случавшихся с ним после провалов на экзаменах. Раскаиваясь, он сам потом стыдился на них смотреть.

Вот и сегодня металлический блеск искушал Чэня и что-то нежно ему внушал: не то поторопиться, не то подождать, пока случайно не найдутся точные приметы. Чэнь не выдержал и, обернувшись, заглянул в дом.

Там, колеблясь, словно круглый шелковый веер, мерцал металлический блеск.

— И все же он здесь! — воскликнул Чэнь и, точно лев, прыгнул в комнату. Но стоило ему перешагнуть порог, как блеск исчез. Позеленевшие стены запущенного дома да несколько покосившихся столов для занятий скрылись в темноте. Разочарованный, Чэнь продолжал стоять, стараясь сосредоточиться. Но тут из-под письменного стола у восточной стены снова появился металлический блеск. Он стал светлее и чище горящей серы, нежнее утренней дымки.

Чэнь выскочил за дверь. В поисках заступа он наткнулся на какую-то черную тень, испугался и в смятении зажег светильник. Заступ стоял на своем обычном месте. Отодвинув стол, Чэнь одним духом поднял четыре больших квадратных кирпича и присел на корточки — внизу, как всегда, оказался чисто-желтый мелкий песок. Засучив рукава, Чэнь стал его выгребать, пока не показалась земля. Рыл он с большой осторожностью, стараясь не шуметь. Но кого он мог обмануть? Глухие удары тяжелого заступа гулко разносились в ночной тишине.

Чэнь уже выкопал глубокую яму, а кувшины все не показывались. От волнения он даже тихонько вскрикивал, руки нестерпимо ныли. Вдруг он наткнулся на что-то твердое, поспешно отбросил заступ и принялся ощупывать, но это оказался большой квадратный кирпич. Напрягши последние силы, с сильно бьющимся сердцем, он вырыл кирпич, но под ним обнаружил все ту же землю. Ползая на четвереньках, он рыхлил ее, рыхлил, но земле, казалось, не будет конца. Вдруг он снова наткнулся на что-то твердое, маленькое, круглое — это была изъеденная медная монета. Тут же лежало несколько фарфоровых черепков.

Голова у Чэня как будто совсем опустела. Обливаясь потом, он продолжал ползать и судорожно перебирать землю. Вдруг сердце у него упало. Он снова наткнулся на какой-то странный небольшой предмет, похожий на подкову, но на ощупь хрупкий. Чэнь опять собрался с духом, выкопал его, осторожно поднял и поднес к светильнику. Это была истлевшая кость, на которой кое-где еще сохранились зубы. Он понял, что это — нижняя челюсть, как вдруг челюсть в его руках задрожала, зашелестела, улыбнувшись, захихикала. В конце концов он явственно расслышал, как она произнесла:

— Ну вот! И на этот раз все кончено!

Чэнь похолодел от ужаса. Пальцы его разжались, и челюсть бесшумно скатилась в яму. Он выбежал во двор, а затем с опаской заглянул в открытую дверь. Там по-прежнему теплился

огонек светильника и насмешливо скалила зубы челюсть. Охваченный страхом, Чэнь не посмел больше заглядывать в дом и лег под стрехой подальше — там, казалось ему, будет спокойнее. Но тут над его ухом снова прозвучал глухой шепот:

— Здесь нет... ступай в горы...

Эти слова он как будто слышал еще днем, на улице. Чэнь словно прозрел и не стал больше прислушиваться. Запрокинув голову, он увидел, что луна уходит за вершину Западного пика, и этот пик, в тридцати пяти ли от города, оказался у него прямо перед глазами: темная зубчатая вершина, похожая на гребень чиновника, вздымалась к небу, а вокруг разлился мерцающий свет луны. И этот мерцающий вдали свет тоже оказался у него прямо перед глазами.

«Да! Пойду в горы!» — решил он и, не помня себя, сорвался с места и побежал.

Хлопнули двери, затем все стихло. Ярко вспыхнувший огонек осветил опустевшую комнату и вырытую в ней яму, фитиль зашипел и тихонько погас. В светильнике догорели остатки масла.

— Откройте ворота...— послышался на рассвете крик у западных ворот. В этом дрожащем, как паутина на ветру, голосе звучали и надежда, и отчаяние.

На другой день в озере Ванмо, в пятнадцати ли от западных ворот, кто-то заметил утонувшего. Эта новость быстро распространилась и наконец дошла до местного старосты, который и велел деревенским вытащить утопленника,— это был мужчина лет пятидесяти, среднего роста, белолицый, без бороды. Одежды на нем не оказалось. Кто-то признал в нем Чэнь Шичэня, но соседям было лень пойти взглянуть, а родственников не нашлось. Так и пришлось старосте самому схоронить утопленника после осмотра, произведенного уездным начальством.

Причина смерти не вызывала сомнений. Это не было убийство с целью грабежа — раздеть мертвого считалось делом обычным. К тому же следователь установил, что в воде человек был живым — под ногти ему набился ил. Очевидно, даже на дне, он все еще барахтался, пытаясь спастись.

Июнь 1922 г.

КРОЛИКИ И КОШКА

Как-то летом Третья госпожа, жившая у нас на заднем дворе, купила своим ребятишкам пару белых кроликов. Их, видимо, совсем недавно разлучили с матерью. Зверьки с наивным простодушием шевелили носом, навострив длинные розовые ушки, а в глазах у них стояло испуганно-недоверчивое выражение. От перемены места и хозяев они чувствовали себя не так спокойно, как прежде.

Третья госпожа заплатила за пару целый юань только потому, что послала за ними слугу в лавку. А ведь если самой сходить в храм, когда там по праздникам устраивается базар, можно купить кролика за две связки медяков, не дороже.

Дети, конечно, очень обрадовались, с криком обступили крольчат и принялись их рассматривать. Окружили их и взрослые, даже собака S прибежала. Она бросилась к кроликам, понюхала воздух, чихнула и отскочила. Третья госпожа на нее прикрикнула:

— S, не смей кусать! — и шлепнула ее ладонью по голове.

Собака убежала.

Держать кроликов в доме было невозможно: они рвали обои и грызли ножки мебели. Их заперли на заднем дворе, где росло тутовое дерево. Кролики пристрастились к опадавшим плодам тута и отказывались даже от шпината, которым их кормили. Когда на ягоды слетались сороки и вороны, кролики принимались изо всех сил бить по земле задними ногами и даже с шумом подпрыгивали, взлетая, будто снежки. Птицы пугались и улетали, а потом и вовсе перестали прилетать.

— Сороки и вороны — не страшны,— говорила Третья госпожа,— они утащат немного корма — и все. Остерегаться надо большой черной кошки, которая всегда сидит на низенькой стене и не сводит с кроликов хищного взгляда. К счастью, S враждует с кошкой,— может быть, и обойдется.

Дети часто играли с кроликами, брали их на руки. А те, дружелюбно подняв ушки, шевелили носом и очень смирно сидели. Однако при первой же возможности соскакивали и убегали. Спали они в деревянном ящичке, устланном рисовой соломой, который стоял под стрехой у заднего окна.

Через несколько месяцев кролики вдруг принялись рыть землю. Рыли быстро — передними лапками копали, задними отбрасывали. Меньше чем за день выкопали глубокую норку. Зачем она им понадобилась? Все сначала недоумевали, но потом

обнаружили, что у крольчихи выросло брюшко. Трудились кролики и на другой день — натаскали в норку сухой травы и листьев.

Все очень радовались тому, что скоро опять увидят маленьких крольчат. Третья госпожа строго запретила детям брать зверьков на руки. Моя мать была тоже очень довольна и собиралась попросить у Третьей госпожи парочку крольчат, как только подрастут.

— Пусть живут и под нашими окнами,— говорила она.

Переселившись в норку, кролики лишь изредка выходили поесть, а потом дней десять совсем не показывались. Был ли у них запас корма или они совсем не ели, неизвестно.

— Наконец-то наша парочка опять появилась,— сообщила мне Третья госпожа,— маленькие у них, наверно, подохли: у крольчихи столько молока, а кормить детенышей она не ходит.

В ее словах звучала тревога, но мы ничем не могли ей помочь.

Однажды в солнечный безветренный день, когда не шевелился ни один листик на дереве, я услышал во дворе смех и вышел посмотреть, что случилось. Оказалось, что у заднего окна собрались соседи и смотрели, как по двору скачет маленький кролик. Он был еще меньше, чем его родители, когда их купили, но уже умел бить задними ногами по земле и прыгать. Детишки наперебой рассказывали мне, что видели, как еще один крольчонок выглянул из норки и сразу же спрятался.

— Это, наверно, его младший брат...

Крольчонок подобрал травинку и принялся ее грызть. Но кролик-отец вырвал у него травинку изо рта — не смей, мол, есть, и выбросил ее. Ребятишки стали громко смеяться, крольчонок испугался и ускакал в норку, кролик-отец — за ним. Передними лапками он подталкивал своего детеныша, а потом подгреб земли и закрыл отверстие.

Двор оживился, из окон то и дело выглядывали жильцы. Потом кролики снова исчезли — и маленькие, и большие,— не вылезали из норки. Третья госпожа беспокоилась, как бы злая черная кошка не сожрала кроликов, я же говорил, что этого не случится. Погода стояла пасмурная.

— Похолодало, вот они и попрятались,— высказал я предположение.— Выглянет солнце, и они снова покажутся.

Но солнце выглянуло, а кроликов все не было. Понемногу все стали о них забывать. Только Третья госпожа, вероятно, потому, что она их кормила, часто вспоминала кроличью семью.

Однажды она вышла во двор и вдруг увидела в углу у стены еще одну норку, а около старой норки разглядела едва заметные многочисленные следы чьих-то лапок. Даже самый большой кролик не мог оставить таких глубоких следов, и подозрения снова пали на большую черную кошку, обычно сидевшую на стене. Тут Третья госпожа решила раскопать норку и сразу взялась за мотыгу. Несмотря на все сомнения, она все же не теряла надежды увидеть крольчат. Однако в норке оказалось лишь пустое гнездо из мятой травы, выложенное кроличьим пухом. Его, видимо, приготовили для новорожденных, но ни белоснежного кролика, ни его младшего братца, выглядывавшего из норки, там и в помине не было. В гневе и отчаянье Третья госпожа стала раскапывать и новую норку в углу у стены. И тотчас же оттуда выскочили два больших кролика. Значит, они переселились. Вне себя от радости Третья госпожа продолжала копать и наконец среди травы, листьев и белого пуха увидела семь крошечных зверьков с розовыми тельцами и закрытыми глазками.

Теперь все стало ясно. Догадка Третьей госпожи оказалась верной: кролики боялись кошки и переселились на новое место. Чтобы оградить их от опасности, она переложила семерых крольчат в деревянный ящик и поставила его у себя дома. Больших тоже сунула в ящик, чтобы они кормили детенышей.

Третья госпожа ненавидела черную кошку и в то же время сердилась на взрослых кроликов, уверяя, что погибли не только те два крольчонка, которых мы видели, но и еще несколько. Не бывало, чтобы крольчиха родила всего двоих, просто она кормила не всех одинаково, и те, что были послабее, умерли с голоду. Она, пожалуй, была права. Ведь из семи новорожденных двое были совсем тощими, и Третья госпожа, как только у нее находилось свободное время, брала крольчиху и поочередно прикладывала к ней крольчат, чтобы все поровну сосали.

Мать говорила мне, что никогда не слыхала о таком хлопотливом способе кормления кроликов. Так что за свой подвиг Третья госпожа вполне заслуживала, чтобы ее имя занесли в «Книгу несравненных».

Кроличья семья процветала, и все жильцы радовались.

А мне стало грустно. В полночь, сидя у лампы, я думал о гибели двух первых кроликов, и никто — ни люди, ни черти — не знали даже, как и когда это случилось. От живых существ не осталось и следа. Даже собака не залаяла. И тут мне вспомнилось прошлое. Прежде, когда я еще жил в землячестве, мне приходилось на рассвете под большой акацией видеть перья голубя,

который, несомненно, стал добычей коршуна. В полдень приходил дворник, выметал перья, и никто не мог потом узнать, что здесь погибла чья-то жизнь.

Проходя однажды по улице Четырех западных арок, я видел, как извозчик задавил собачонку. А когда я возвращался, ее уже убрали и следа не осталось. Равнодушно шли люди, и никто не знал, что здесь погибла чья-то жизнь... В летние ночи я часто слышал за окном протяжное жужжание: это паук пожирал муху. Но меня это не трогало, а другие не слышали...

Если можно винить творца, то, по-моему, в том, что он создает слишком много жизней и слишком много жизней губит.

Из-за окна донеслось мяуканье — это опять подрались две кошки...

— Сань-эр, ты опять бьешь кошек? — спрашивала мать.

— Нет, они сами дерутся... Как же, дадут они себя бить! — отвечал я.

Мать часто упрекала меня в жестоком обращении с кошками. А теперь даже следила за мной, подозревая, что, мстя за крольчат, я буду беспощадным. По всему дому обо мне ходила слава как о враге кошек. Когда-то я загубил кошку, постоянно их бил, а особенно во время кошачьих свадеб. Это за то, что орали и не давали спать. Я полагал, что и во время свадьбы совсем не обязательно так громко, так невыносимо выть.

Когда же черная кошка загубила крольчат, у меня появился предлог, чтобы «выступить в поход». Мать была чересчур доброй, и бывало, что на ее упреки я невольно отвечал грубостью.

— Слишком уж необдуманно поступает творец. Я не могу смириться с этим, хотя в чем-то, быть может, и помогаю ему...

«Черной кошке теперь недолго осталось важно разгуливать по нашей стене»,— решительно подумал я, взглянув на ящик с книгами, где была спрятана склянка с цианистым калием.

Октябрь 1922 г.

УТИНАЯ КОМЕДИЯ

Слепой русский поэт Ерошенко, недавно приехавший в Пекин со своей шестиструнной гитарой, как-то мне пожаловался:

— Как тихо, как тихо, точно в пустыне!

Он, пожалуй, был прав, однако я, старый житель Пекина, этого не замечал. «В комнате с орхидеями не ощущаешь их аро-

мата». Иногда я даже считал, что здесь шумно. Возможно, то, что казалось мне шумом, для него было тишиной.

У меня было совсем другое ощущение: мне казалось, будто в Пекине нет ни весны, ни осени. Коренные пекинцы утверждали, что климат на севере изменился, прежде здесь не бывало так жарко. И все же мне казалось, что здесь нет ни весны, ни осени: после зимы сразу наступает лето, а после лета — зима.

Как-то поздним вечером, как раз когда кончилась зима и началось лето, у меня случайно нашлось свободное время, и я зашел к Ерошенко, который жил в семье Чжун Ми. Там все уже спали, и кругом царила тишина. Ерошенко сидел, развалившись на кушетке, хмуря густые золотистые брови. Он думал о Бирме, по которой когда-то путешествовал, и вспоминал бирманские летние ночи...

— Там в такую ночь,— сказал он,— повсюду звучит музыка: в домах, в траве, на деревьях стрекочут насекомые. Самые разнообразные звуки сливаются в один общий чудесный хор. Иногда к нему присоединяется змея, но даже ее шипение прекрасно гармонирует со стрекотом насекомых.— Он глубоко задумался, как бы восстанавливая в памяти прошлое.

Мне нечего было сказать. В Пекине я никогда не слышал такой удивительной музыки. И как ни любил я свою страну, не мог ее защитить. Поэт был слепым, но он не был глухим.

— В Пекине даже лягушки не квакают...— вздыхая, проговорил он.

— Нет, квакают! — Его вздох придал мне смелости, и я запротестовал: — Летом, после больших дождей, здесь можно услышать кваканье лягушек. Они водятся в каждой канаве, а канав в Пекине много.

— Вот как!..— произнес он.

Через несколько дней мои слова неожиданно подтвердились. Ерошенко где-то купил с десяток головастиков и пустил их в небольшой бассейн — всего три чи в длину и два в ширину — посреди двора, на который выходили его окна. Когда-то Чжун Ми выкопал этот бассейн, чтобы разводить в нем лотосы, но никто так и не увидел ни одного цветка. Зато для разведения лягушек это оказалось самым подходящим местом.

Головастики стайкой резвились в воде, и Ерошенко часто приходил их навещать.

— Господин Ерошенко, а у них уже лапки выросли,— сообщали ему ребятишки.

— Вот как!..— радостно улыбался поэт.

Выращивание болотных музыкантов оказалось лишь одним из многих занятий Ерошенко. Он считал, что каждый должен доставать себе пищу собственным трудом; и всегда утверждал, что женщины должны разводить домашний скот, а мужчины — обрабатывать землю. Когда ему случалось встретить знакомого, он уговаривал его сажать во дворе капусту. Жене Чжун Ми советовал разводить пчел, кур, свиней, коров, верблюдов... Советы возымели действие. Вскоре в доме Чжун Ми действительно появилось много цыплят. Они носились по двору и выщипали там всю молодую травку.

С тех пор во дворе частенько появлялись крестьяне, продавцы живых цыплят. И каждый раз у них покупали по нескольку штук, потому что цыплят нелегко вырастить — они часто объедаются и болеют холерой. Один из них даже стал героем рассказа «Трагедия цыпленка», единственного, написанного Ерошенко в Пекине.

Однажды утром крестьянин вместо цыплят неожиданно принес пищавших утят. Но жена Чжун Ми сказала, что утята ей не нужны. Ерошенко тоже вышел во двор, и ему дали подержать одного утенка, который и на руках продолжал пищать. Утенок так понравился Ерошенко, что он не мог его не купить — а заодно купил еще трех утят по восемьдесят медяков за штуку.

Утята в самом деле были славные. Их желтый пух напоминал цвет сосны. Они ходили вразвалку, перекликались друг с другом и держались все вместе. Решено было на следующий день накупить им корму — рыбешек, но Ерошенко заметил:

— Эти расходы я возьму на себя.

Затем он ушел на занятия, остальные тоже разошлись. Немного погодя жена Чжун Ми понесла утятам холодного риса и издали услышала всплески воды. Оказалось, что все четверо уже купаются в бассейне — кувыркаются и что-то едят. Утят выгнали на берег, но вода еще долго оставалась мутной. Когда же тина улеглась, можно было увидеть несколько торчавших корешков лотоса, а головастиков, у которых уже выросли лапки, нигде не было.

Вечером, завидев возвращающегося Ерошенко, самый маленький из ребятишек залепетал:

— Илосике, плопали... лягуськины детки.

— Что?! Лягушки?

Жена Чжун Ми вышла во двор и рассказала ему, как утята съели головастиков.

— Ах!..— только и воскликнул он.

Когда с утят сошел желтый пух, Ерошенко, затосковав по «матушке-России», поспешно уехал в Читу.

А когда повсюду начали квакать лягушки, выросли и утята: два белых, два пестрых. Они уже не пищали, а крякали. Им стало тесно в бассейне для лотосов, но, к счастью, дом Чжун Ми стоял в низине и после летнего дождя там набиралось много воды. Утки с восторгом плавали в лужах, ныряли, хлопали крыльями и крякали.

Скоро зима, а от Ерошенко нет вестей. Где-то он теперь, я так и не знаю...

Остались только его четыре утки, они крякают, как в пустыне: «Я!.. Я!»

Октябрь 1922 г.

ДЕРЕВЕНСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

За последние двадцать лет я всего лишь два раза побывал в традиционном китайском театре. Первые годы я совсем не ходил в театр: и случая не представлялось, и интереса он во мне не вызывал. Оба посещения пришлись на последний десяток лет, но и из них я ничего не вынес.

Первый раз это случилось в год провозглашения Республики, когда я приехал в Пекин. Один приятель сказал, что пекинская музыкальная драма — лучшая в стране.

— Неужели ты не сходишь посмотреть? — спросил он.

«Спектакль и в самом деле может оказаться интересным, тем более в Пекине!» — подумал я. В приподнятом настроении мы с ним сразу же отправились в театр. Гром барабанов разносился по всей округе — представление уже началось.

Мы с трудом протиснулись к двери. Перед глазами замелькали фигуры в красном и зеленом, затем предстала масса голов, заполнивших все пространство, вплоть до самой сцены. Всмотревшись, мы заметили несколько свободных мест в середине зала, но когда до них добрались, сесть нам не удалось: какой-то зритель вступил в нами в перепалку.

— Нельзя! Занято...— с трудом расслышал я сквозь грохот барабанов.

Мы пошли обратно, и шли до тех пор, пока другой зритель с лоснящейся косой не показал нам на пустую длинную скамью,

стоявшую сбоку. Она была уже моего бедра и очень высокая, так что ноги мои на добрую треть не достали бы до полу. Взобраться на нее у меня не хватило духу. Вдобавок я еще вспомнил скамью, на которой бьют палками, учиняя самосуд. Волосы у меня встали дыбом, и я бросился вон.

Отбежав довольно далеко, я вдруг услышал голос приятеля:

— Что случилось?

Оглянулся и только сейчас заметил, что тащу его за собой.

— Куда это ты несешься? И почему молчишь?

— Извини, дружище,— ответил я.— В ушах у меня такой гул, что я буквально ничего не слышу.

Вспоминая об этом случае, я каждый раз недоумевал. То ли спектакль был слишком плох, то ли в последние годы мне вообще не нравилось быть зрителем в подобных театрах.

В другой раз это случилось, точно не помню, в каком году, но, в общем, во время наводнения в провинции Хубэй и еще до смерти Тань Цзяо-тяня. Билет в Первый театр, ценой в два юаня, давал право на посещение спектакля в пользу жертв. Среди знаменитостей, принимавших в нем участие, был и Цзяо-тянь. Говоря по правде, я купил билет, чтобы отделаться от сборщика пожертвований и еще под влиянием театралов, которые, пользуясь случаем, убедили меня в том, что просто немыслимо не видеть игры Тань Цзяо-тяня.

И вот, позабыв, с каким ужасом я несколько лет назад бежал от шума и грохота, я отправился в Первый театр,— жаль все же было выбросить билет, который так дорого обошелся. Разузнав, что Тань будет выступать поздно, что Первый театр — современное здание и там не придется занимать место с боя, я успокоился и только в девять часов вечера вышел из дому. Надежды мои, однако, не оправдались: зрительный зал, как всегда, оказался переполненным — ступить некуда. Втиснувшись в толпу зрителей, я издали слушал пение артиста на амплуа благородной старухи. Изо рта у старухи торчали две свернутые фитилем бумажки, рядом с ней стоял черт — служитель ада. Я все думал, кто бы это мог быть, но когда на сцене появился буддийский монах, стал догадываться, что это, возможно, мать Му Ляня. Не зная, что за знаменитость исполняет эту роль, я обратился с вопросом к толстяку, прижатому ко мне слева.

— Гун Юнь-фу! — буркнул тот, бросив на меня презрительный взгляд.

Я покраснел, стыдясь своего невежества, решил никого ни о чем больше не спрашивать и продолжал слушать пение арти-

стов, исполнявших роли благородных девиц, субреток, добродетельных старцев и еще уйму каких-то ролей, о которых я и понятия не имел. Я смотрел, как разыгрывали на сцене большую общую драку, потом, как сражались герои по двое и по трое. Вот уже десять часов, одиннадцать, половина двенадцатого: наступила полночь, а Тань Цзяо-тянь все не появлялся. Впервые в жизни ждал я так терпеливо, хотя рядом со мной сопел толстяк, со сцены неслся оглушающий звон гонгов и грохот барабанов, а перед глазами без конца мелькали зеленые и красные фигуры. К тому же было уже двенадцать часов ночи, и я вдруг понял, что мне не нравится быть зрителем в подобном театре. Я повернулся, чтобы протиснуться к выходу, и тут же почувствовал, что место за моей спиной уже занято: видимо, толстяк сумел перевалить половину своей эластичной туши на освободившееся пространство. Пути к возвращению были отрезаны, и мне пришлось проталкиваться все дальше и дальше, пока, наконец, я не выбрался из главного входа на улицу.

За исключением рикш, ожидавших разъезда, здесь почти никого не было. У входа человек десять все еще глазели на афиши, да поодаль стояло несколько мужчин. «Вероятно, ждут женщин, чтобы проводить их после спектакля домой»,— подумал я.

А Тань Цзяо-тянь так и не появился...

Чистый и бодрящий ночной воздух освежил голову. Впервые после приезда в Пекин дышалось так легко.

Этой ночью я распрощался с китайским театром и с тех пор больше не думал о нем. Даже если мне случалось проходить мимо парка, в котором он находился, между нами не возникало контакта. Духовно же мы давно разошлись в противоположные стороны: один к южному полюсу, другой — к северному.

Но вот несколько дней тому назад я от нечего делать перелистывал какую-то японскую книжку. К сожалению, не запомнил ни ее названия, ни автора. Написана она о китайском театре. В одной из глав говорится, что от китайских представлений с их оглушительной музыкой, пронзительным пением и акробатическими прыжками голова идет кругом. Их нельзя ставить в помещении. Зато, когда смотришь спектакль на открытом воздухе, где звук рассеивается, да еще издали, начинаешь ощущать его особую прелесть. Японский автор высказал именно то, что я подсознательно чувствовал, но не сумел выразить. Тут я вспомнил, что самый лучший спектакль мне удалось однажды увидеть на открытом воздухе. Быть может, то далекое впечатление и повлияло на мое восприятие театра в Пе-

кине. Жаль, что я, сам не знаю почему, никак не могу вспомнить названия той книги.

А великолепный спектакль, о котором я сейчас упомянул, я увидел, как говорится, в далекие времена, когда мне, пожалуй, едва исполнилось лет десять — одиннадцать.

В моем родном городке Лучжэне женщина, по обычаю, может уехать на лето к своей матери, если ей не надо оставаться за старшую в доме мужа. Бабушка со стороны отца тогда была еще крепка, но почти все хозяйство уже перешло к моей матери, и она не могла подолгу гостить у родителей. Вырваться на несколько дней ей удавалось только после уборки могил. Так мне и довелось несколько раз побывать у другой бабушки.

Маленькая глухая деревушка Пинцяо, где жила бабушка, состояла из двух-трех десятков домов на берегу реки, недалеко от моря. Здесь жили крестьяне и рыбаки и только в одном хозяйстве держали мелочную лавку. Но мне эта деревушка казалась раем: здесь я получал всяческие поблажки и даже не зубрил таких строк:

Вьется, кружится берег реки,
И пустынно на юге в горах...

Все жители деревушки носили одну фамилию, принадлежали к одному роду, и гость любой семьи считался гостем чуть ли не всей деревни. Чтобы развлечь такого редкого гостя, как я, родители даже освобождали мальчишек от домашней работы. Товарищей для игр находилось много. Они были мне ровесниками, но, если говорить о старшинстве по родству, некоторые приходились мне дядями или же считались «старшими в роду». Это не мешало нам крепко сдружиться, и, если случалось побить «старшего в роду», ни старым, ни малым даже в голову не приходила мысль о двух страшных иероглифах «фань шан» («оскорбление высшего»), поскольку девяносто девять процентов жителей деревни были неграмотны.

Почти каждый день мы копали червей, насаживали их на крючки из медной проволоки и, лежа на животе, на берегу, удили чилимсов. Чилимс — водяной дурачок, бесстрашно хватает клешнями крючок и отправляет его себе в рот. Меньше чем за полдня нам удавалось наловить большую чашку. Весь улов, как гостю, отдавали мне. Затем мы все вместе отправля-

лись пасти буйволов. Как животные высшего порядка, и коровы и буйволы обижали учащихся и, возможно, потому нападали и на меня. Я же не решался к ним приближаться — либо стоял на месте, либо следовал за стадом в почтительном отдалении. И тут уж меня не спасало от насмешек товарищей даже уменье читать наизусть —

Вьется, кружится берег реки,
И пустынно на юге в горах...

Больше всего мне хотелось побывать в большом селе Чжао, всего в пяти ли от Пинцяо, на деревенском представлении. Наша деревушка была слишком мала, чтобы собственными силами устроить такое представление. Поэтому жители ежегодно вносили часть денег на этот общий праздник. Тогда я не думал, зачем там каждый год устраивали спектакли. Теперь полагаю, что это, видимо, было связано с весенними обрядовыми празднествами и принесением жертв Богу земли.

В том году мне исполнилось не то десять, не то одиннадцать лет. Наконец я дождался этого дня. Но, увы! Уже с утра нельзя было достать лодки. В нашей деревушке была только одна большая плоскодонка, которая уходила по утрам и возвращалась к вечеру. Занимать ее для отдельной семьи не полагалось. Другие лодки не годились, были слишком малы. Послали в соседнюю деревню, но и там не достали лодки. Бабушка огорчилась и ворчала, что никто, дескать, не позаботился заранее заказать лодку. Мать ее успокаивала, говорила, что это пустяки, что у нас в Лучжэне играют даже лучше и что мы бываем в театре и так несколько раз в году.

Но я чуть не плакал от досады. Мать запретила мне капризничать и сердить бабушку и, чтобы не волновать ее, не разрешила мне поехать в Чжао ни с кем другим.

Миновал полдень, и все кончено. Мои друзья давно уехали, а представление уже началось. Даже здесь мне мерещился звон гонгов и грохот барабанов и казалось, что я вижу мальчишек, которые пьют под сценой соевое молоко.

В тот день я не пошел удить чилимсов и отказался есть. Мать очень рассердилась, но ничего не могла со мной поделать. Бабушка же мне сочувствовала и за ужином сказала, что так за гостем не ухаживают, что в доме все обленились и внук вправе сердиться.

После ужина съехалась молодежь, весело обмениваясь впечатлениями о спектакле. Но я, надувшись, молчал, и все стали

вздыхать. Самому смекалистому из мальчишек, Шуан-си, пришла в голову блестящая идея, и он воскликнул:

— Нет большой лодки? Да ведь плоскодонка дядюшки Ба уже вернулась!

Мальчики с радостью подхватили предложение взять меня и поехать на этой лодке. Я обрадовался, но бабушка забеспокоилась — как полагаться на детей, да и мать вмешалась: послать с ними взрослых нельзя, днем все работают и не могут провести ночь без сна.

Но Шуан-си и тут нашелся.

— Со мной не страшно! — крикнул он.— Лодка большая. На реке мы чувствуем себя будто дома, а брат Синь никогда не балуется!

И верно! Все мальчишки плавали, словно утки, а двое или трое даже славились как пловцы во время прибоя.

Бабушка с матерью, наконец, согласились, заулыбались и больше не возражали. Мне стало легко и радостно, словно тяжесть спала с моего сердца. Тотчас же шумной гурьбой мы выбежали из дому.

За воротами мы увидели залитую лунным светом деревушку и покачивавшуюся на волнах плоскодонку со светлым навесом. Все попрыгали в лодку, Шуан-си взялся за передний шест, А-фа — за кормовой, младшие уселись вместе со мной под навесом, остальные, постарше, собрались на корме. Когда мать крикнула нам: «Будьте осторожны»,— мы уже отчалили. Стукнулись о камень, отошли чуть назад и поплыли под мост. В уключины вставили весла, на каждое весло посадили по паре гребцов и уговорились через каждое ли меняться. Смех и шум сливались с плеском рассекаемых носом волн. Мы быстро плыли к селу Чжао.

От полей на берегах, засеянных бобами и пшеницей, и от водорослей с реки шел приятный свежий аромат, речная прохлада обвевала лицо. Мягкий свет луны пронизывал легкий туман, стлавшийся над водой. Темные цепи гор, похожие на хребты приготовившихся к прыжку чудовищ, словно бежали за кормой. Мне все казалось, что лодка идет слишком медленно, гребцы сменились уже четвертый раз. Наконец показались редкие дома села Чжао, послышались песни и музыка, замелькали огоньки. Я подумал было, что это фонарики на сцене, но, пожалуй, это были просто рыбачьи огни. Звуки флейты лились и замирали, вселяя в душу покой,— я как бы растворялся в ночном воздухе, напоенном запахами пшеницы, бобов и водорослей.

Огоньки приблизились — это и в самом деле оказались рыбачьи лодки. Я понял, что принял за село рощу, с которой поравнялась сейчас наша лодка. В прошлом году мы ездили в эту рощу гулять и видели там валявшихся на земле разбитых каменных коней и каменного барана, будто присевшего в густой траве.

Миновав рощу, лодка зашла в залив, и перед нами открылось село Чжао.

Моим вниманием завладели подмостки, возвышавшиеся на пустыре, недалеко от берега. При лунном свете смутно угадывались их очертания. Мне чудилось, будто предо мной открылась страна бессмертных, которую мне приходилось видеть на картинах.

Тут лодка пошла быстрее, и вскоре можно было различить актеров — двигавшиеся по сцене красные и зеленые фигуры. На реке вдоль берега зачернели навесы лодок, в которых приехали зрители.

— Близко к сцене места не найти. Придется смотреть издали,— сказал А-фа.

Лодка замедлила ход, мы подъехали, но причалить к берегу было уже невозможно. Пришлось сложить шесты и остановиться еще дальше алтаря духов, находившегося прямо напротив подмостков. Нам очень не хотелось ставить свою плоскодонку со светлым навесом рядом с лодками, у которых были черные навесы, да и места свободного не оказалось. Пока мальчики суетились, причаливая к берегу, я разглядывал сцену. Там, против целой толпы полуобнаженных воинов, сражался, размахивая огромным копьем, актер с длинной черной бородой, за спиной у которого высились четыре флага.

— Это знаменитый актер на амплуа героя с «железным лицом»,— сказал Шуан-си,— он может перекувырнуться через голову восемьдесят четыре раза подряд. Я как-то сам считал!

Сбившись в кучу на носу лодки, мы наблюдали за сражением. Но актер ни разу не перекувырнулся, кувыркались лишь полуголые воины. Вскоре на смену им вышел актер в роли молодой героини и проникновенно запел.

— Ночью зрителей гораздо меньше, вот «железное лицо» и разленился. Кому охота показывать свое уменье, когда народу нет! — объяснил Шуан-си.

И верно. У сцены в этот час оставалось уже немного народу. Деревенские ушли спать. На следующий день им надо было работать, и они не могли всю ночь смотреть спектакль.

У сцены стояло всего несколько десятков человек — бездельники, местные и из окрестных деревень. В больших джонках с черными навесами приехали богатеи и их семьи. Представление, однако, почти никого из них не интересовало. Они приехали в основном посидеть под сценой, поесть печенья, фруктов да пощелкать семечки. Так что и они, в сущности, были пустым местом.

Но меня не столько интересовало кувырканье, сколько поединок змеи с тигром, когда один актер в белом, держа над головой палку, изображал змею-оборотня, а другой, в желтом, прыгал, словно тигр. Но этой пьесы я не дождался. Молодая героиня спела и ушла. После нее появился очень старый актер в роли благородного юноши.

Я устал и попросил Гуй-шэна купить мне соевого молока. Он пошел, но быстро вернулся и сказал:

— Молока нет. Глухой продавец уже ушел. А днем он торговал, я выпил у него две чашки. Придется принести тебе воды.

Воды мне не хотелось, и я, опершись о борт лодки, продолжал смотреть на сцену. Никак не могу припомнить, что еще я тогда видел. Лица актеров расплывались у меня перед глазами, сливаясь в одно пятно. Мальчики помоложе зевали, постарше — болтали о своих делах. Но вдруг на сцене появился комик в красном. Его привязали к столбу, а старик с седой бородой принялся хлестать его извозчичьим кнутом. Тут все снова оживились и захохотали. По-моему, эта сценка была лучшей за весь вечер.

Но вот на сцену вышел актер в роли благородной старухи. По правде сказать, я больше всего боялся такой благородной старухи. Главным образом того, что она усядется и начнет петь. Все остальные тоже приуныли, и я понял, что не одинок в своем мнении. Сначала старуха пела, прохаживаясь взад и вперед, а потом все же села на стул в самой середине подмостков. Я забеспокоился, Шуан-си, а вместе с ним и остальные мальчишки стали тихонько ругаться. Я же набрался терпения и ждал. Вдруг старуха подняла руку, и я подумал было, что она наконец встанет, но она снова села, продолжая петь свою арию. У нас в лодке одни зевали, другие вздыхали. Шуан-си в конце концов не выдержал:

— Старуха, пожалуй, и до завтра не кончит. Лучше уехать.

Все сразу же с ним согласились. Трое или четверо мальчишек так же быстро, как при отправлении сюда, бросились на

корму, вытащили шесты и оттолкнулись от берега, прошли немного назад, затем повернули лодку, вставили весла в уключины и, ругая благородную старуху, поплыли к роще.

Казалось, мы пробыли в театре совсем недолго. Луна еще не зашла, и стоило нам отойти от села Чжао, как свет ее стал особенно ярким. Я оглянулся на сцену, окутанную красным светом фонарей, и, как перед приездом сюда, мне снова почудилась башня с бессмертными и звуки флейты, которые лились и замирали где-то далеко в горах. «Старуха, наверно, уже ушла»,— подумал я, но проситься обратно постеснялся.

Вскоре роща осталась позади. Лодка шла довольно быстро. Тьма вокруг нас сгущалась; видимо, наступила полночь. Ругаясь и смеясь, все болтали об актерах, но гребли изо всех сил. Громче стали всплески воды, рассекаемой плоскодонкой, которая неслась в пене волн, точно большая белая рыба с кучкой ребят на спине. Вышедшие на ночной лов старые рыбаки останавливали свои суденышки, чтобы полюбоваться на нас и крикнуть нам что-то одобрительное.

До деревни Пинцяо оставалось всего одно ли, лодка теперь шла тише. Гребцы перестарались и жаловались на усталость, к тому же всем захотелось есть.

— Бобы как раз созрели, а хворост в лодке есть. Давайте нарвем бобов и сварим,— предложил Гуй-шэн.

Предложение было принято, и мы сразу же причалили к берегу. Поле буквально усеяли маслено-черные спелые бобы.

— Эй, А-фа, с какого поля брать? Здесь — ваши, а там — дедушки Лю-и,— крикнул Шуан-си, первым спрыгнув на берег. Вслед за ним и мы все попрыгали с лодки.

— Погодите, я сейчас посмотрю! — на ходу ответил А-фа, нагнулся, потрогал бобы и сказал: — Лучше с нашего поля! У нас бобы гораздо крупнее.

Мы быстро рассыпались по полю, мигом набрали полные горсти стручков и побросали их в лодку. Тут Шуан-си смекнул, что надо переходить на другое поле, не то мать А-фа заметит, начнет плакать и браниться. Тогда все принесли еще по горсти с поля дедушки Лю-и.

Старшие принялись потихоньку грести. Несколько человек развели огонь в каюте, а младшие вместе со мною стали лущить бобы. Скоро бобы сварились. Мы собрались вокруг котла и начали есть прямо руками. Покончив с едой, одни снова налегли на весла, предоставив лодке плыть по течению, другие стали мыть котел, выбрасывать за борт шелуху и ботву, чтобы не осталось следов.

Больше всего Шуан-си боялся, как бы хозяин лодки, аккуратный старик Ба, не заметил пропажи соли и дров и не стал нас ругать. Но мы решили, что бояться старика нечего. Пусть только подымет шум, мы потребуем у него то высохшее бревно сального дерева, которое он подобрал на берегу в прошлом году, да еще обзовем его прямо в лицо Паршивый Ба.

— Вот мы и вернулись! Все в порядке! Я же говорил! — вдруг закричал Шуан-си, стоя на носу лодки.

Перед нами лежала деревня Пинцяо. На берегу кто-то стоял. Это была моя мать. Ей и кричал Шуан-си. Я перебрался на переднюю палубу. Лодка прошла под мостом. Мы причалили и спрыгнули на берег. Мать сердилась, что мы так поздно вернулись — уже прошла третья стража, но радовалась, что все обошлось благополучно, и звала всех к нам съесть поджаренного риса. Но ребята отказались — поели, мол, печенья, очень хотят спать, и разошлись по домам.

На другой день я встал чуть ли не в полдень. О хворосте и соли дедушки Ба никто не вспоминал, и после обеда я, как всегда, пошел с ребятами удить чилимсов.

— Это вы, чертенята, воровали вчера у меня бобы? Собрать толком не сумели, только потоптали.

Я поднял голову — это был дедушка Лю-и, ездивший на маленькой лодке продавать бобы. На дне у него еще осталась их целая куча.

— Да... Сперва мы не хотели рвать твои... Но надо было гостя накормить... Смотри-ка, всех чилимсов распугал,— ответил Шуан-си.

Заметив меня, дедушка Лю-и перестал грести и засмеялся:

— Гостя кормили? Это дело нужное...— Потом спросил: — Понравилось тебе вчера в театре, брат Синь?

— Понравилось,— ответил я, кивнув головой.

— А бобы вкусные?

— Очень.— Я снова кивнул.

Старик вдруг расчувствовался, подняв кверху большой палец, с довольным видом произнес:

— Вот уж верно! Человек ученый, да к тому же из большого города, знает толк в хороших вещах. Перед посевом я отбираю бобы по зернышку. А наши деревенские не отличают хорошего от плохого, вот и болтают, будто у меня бобы хуже, чем у других. Я сегодня же отнесу бобов твоей матушке. Пусть отведает!..— И, взмахнув веслом, он отправился дальше.

Когда мать позвала меня ужинать, на столе стояла большая чашка вареных бобов — подарок дедушки Лю-и. Говорили, что он вовсю меня расхваливал.

— Годков немного, а знает вон сколько! Вырастет — непременно выдержит экзамены первым. Можно поручиться за твое счастье, тетушка,— говорил он моей матери.

Но бобы показались мне уже не такими вкусными, как вчера.

И правда, с тех пор я ни разу не ел таких вкусных бобов и не видел такого чудесного театра, как той ночью.

Октябрь 1922 г.

Цаньу покинув при восходе солнца,
Я в час вечерний прилетел в Сюаньпу.
Я погостить хотел в краю священном,
Но солнце уходило на покой.

Бег солнца я велел Сихэ замедлить
И не спешить в пещеру на ночлег.
Путь предо мной просторный и далекий,
Взлечу и вновь спущусь — к своей судьбе.

(Цюй Юань, «Лисао».
Перевод А. Ахматовой)

МОЛЕНИЕ О СЧАСТЬЕ

В последние дни года по старому лунному календарю все было так, как обычно бывает в канун Нового года.

Не только на земле, но даже в небе чувствовалось приближение праздника. В пепельно-серых, тяжело нависших к вечеру облаках то и дело рассыпались огни фейерверка, и тут же раздавался оглушительный грохот. Это провожали Бога очага. Грохот все приближался, воздух пропитался порохом, но разрывы не прекращались.

В ту ночь я как раз приехал в мой родной Лучжэнь. Своего дома к тому времени у нас уже не было, и пришлось остановиться у Лу Четвертого, моего родственника, которого мне, как младшему, полагалось величать дядей. Кстати, этот наш родственник еще во времена монархии был слушателем императорской школы и занимался неоконфуцианской философией.

Он почти не изменился, только чуть-чуть постарел и даже еще не отпускал бороды. Мы поздоровались, поговорили о погоде, он заметил, что я «пополнел...», и тут же принялся ругать «новую партию». Я знал, что бранит он не меня, а Кан Ю-вэя, однако разговор у нас не клеился, и вскоре он оставил меня одного в своем кабинете.

На следующий день я встал поздно и после обеда отправился с визитами. Третий день тоже прошел в визитах к родственникам и друзьям. Как и дядя, все они чуть-чуть постарели.

Повсюду шла предпраздничная суета, все готовились к Моленню о счастье, знаменующему собой окончание года. В Лучжэне обряд этот отличался особой торжественностью: Богу сча-

стья устраивали пышную встречу, приносили ему жертвы и молили ниспослать удачу в следующем году. В каждом доме резали кур, били гусей, запасались свининой. Женщины все это тщательно перемывали, и от воды руки у них становились красными по самые локти. И все же некоторые из них не снимали своих витых серебряных браслетов. Во всевозможные кушанья, и вареные, и приготовленные на пару, втыкали палочки для еды, что называлось — «церемонией счастья». На рассвете кушанья расставляли, зажигали свечи и благовония и просили Бога счастья отведать дары. В церемонии участвовали только мужчины; после этого снова пускали фейерверк. Так бывало из года в год в каждом доме — если только хватало денег на «счастливые» дары, хлопушки и другие необходимые для церемонии предметы. Так было и в этом году.

После полудня повалил снег и стало быстро темнеть. Крупные хлопья, величиной с цветок мэй, порхали в воздухе, застилая небо, и вскоре городок окутала непроглядная мгла. Когда я вошел в дядюшкин кабинет, черепица на крыше побелела от снега, в комнате стало светлее и на стене четко обозначился красный эстампаж с большим иероглифом «тоу», начертанным еще Чэнь Туанем. Рядом висел свиток с надписью: «Постигнешь суть дела — успокоишь душу». Второй свиток, видимо, свалился со стены и теперь, свернувшись трубочкой, лежал на столе.

Томясь от скуки, я перебрал стопку книг на столике у окна: несколько разрозненных томиков «Словаря Канси», «Комментарии к «Записям современных мыслей» и «Замечания к «Четверокнижию».

Завтра во что бы то ни стало уеду, решил я, все еще находясь под впечатлением вчерашней встречи с тетушкой Сянлинь. Я увидел ее на берегу реки, возвращаясь от приятеля из восточной части городка, и по ее пристальному взгляду сразу понял, что она направляется ко мне. В отличие от остальных, она сильно изменилась. Пять лет назад она только начинала седеть, а сейчас стала белой как лунь. Кто бы мог подумать, что ей всего сорок? На ее изможденном лице с землистым оттенком не было даже скорби, как прежде. Оно казалось вырезанным из дерева. Только глаза говорили, что это живой человек. Бамбуковая корзинка с пустой расколотой чашей в одной руке и длинный бамбуковый посох, расщепленный внизу, в другой, не оставляли сомнений в том, что она стала нищенкой.

Я остановился, подумав, что она попросит у меня денег, но она только спросила:

— Приехал?

— Приехал.

— Вот и хорошо. Ты ведь грамотный, да к тому же поездил, многое повидал. Мне хотелось спросить тебя кое о чем...— В ее угасших глазах вдруг появился блеск.

Я стоял изумленный. Таких слов я от нее совсем не ожидал.

— Вот о чем,— она подошла совсем близко и шепотом, будто это было тайной, спросила: — А остается после смерти душа? — Ее глаза меня буквально сверлили.

Я вздрогнул, по спине побежали мурашки. Я растерялся больше, чем, бывало, в школе, когда учитель, вдруг оказавшись рядом, вызывал меня, не подготовившего урок. Есть ли у человека душа? Над этим я никогда не задумывался. Что же ответить?

Находясь в затруднительном положении, я подумал, что здешние жители все еще верят в души предков. Так неужто у нее возникли сомнения? Или, быть может, надежда? Но какая, на что? На бессмертие души или же на то, что душа смертна?.. Стоит ли усугублять страдания человека, которому не так уж долго осталось жить. Скажу ей, пожалуй, что душа остается.

— Может быть, душа и остается... Во всяком случае, мне так кажется,— ответил я, запинаясь.

— Значит, и ад существует?

— Что? Ад? — переспросил я в замешательстве.— Ад?.. Рассуждая логически, вроде бы существует... А может, и нет... Кто это знает?..

— А встретятся после смерти муж с женой?

— После смерти?..— Я почувствовал себя круглым дураком. Сколько ни размышляй, как ни прикидывай, а ни на один из этих вопросов мне не ответить. Я совсем упал духом и решил отказаться от своих слов.— Ну вот... Право же, точно сказать не могу... Не знаю, остается душа или нет.

Я не стал больше дожидаться вопросов и поспешил уйти. Взволнованный, вернулся я в дом дяди и никак не мог избавиться от мысли, что своими словами невольно причинил ей вред. Может быть, именно сейчас, когда все молились о счастье, она особенно остро ощущала свое одиночество. Или ее тревожило совсем другое? Возможно, какое-то предчувствие. И если с ней что-нибудь случится, не падет ли на меня доля вины?

Тут я улыбнулся своим опасениям. Все это случайность, ничего серьезного. Напрасно я придаю этому такое значение. Найди у меня сейчас какой-нибудь психолог нервное расстрой-

ство, я не удивился бы. Тем более что я полностью обезопасил себя словами: «Точно сказать не могу». Так что, если что-нибудь и случится, это не будет иметь ко мне никакого отношения. Кстати, это весьма удобное выражение. Некоторые юнцы, неопытные, но самонадеянные, зачастую берут на себя смелость разрешать любые сомнения, в то время как врач, даже признанное светило, если один из тысячи больных умрет, может испортить себе репутацию. Так не лучше ли прибегнуть к спасительному «точно сказать не могу» и блаженствовать, наслаждаясь покоем. А уж в разговоре с нищенкой без такой фразы просто не обойтись.

Успокаивая себя, я все же ощущал тревогу. Уже миновала ночь, а я, мучимый недобрым предчувствием, то и дело вспоминал о встрече. Мою тревогу усиливали пасмурная погода и унылый вид кабинета. «Нет! Лучше уехать отсюда,— думал я.— Завтра же уеду!»

Тут я вспомнил, что когда-то в ресторанчике «Счастье и процветание» за один юань можно было съесть большую чашку акульих плавников — и вкусно и дешево. Интересно, подорожали они сейчас или нет? И хотя никого из моих прежних приятелей в Лучжэне не осталось,— они разбрелись по свету,— я не мог отказать себе в удовольствии, пусть даже в одиночестве, полакомиться плавниками акулы... Ведь завтра все равно уеду.

Когда боишься предчувствия, оно, как назло, непременно сбудется. Я знал это по опыту. Так случилось и на этот раз.

Вернувшись под вечер, я услышал, что в зале что-то оживленно обсуждают, и понял: произошло нечто необычное. Но вскоре голоса смолкли, и я отчетливо услышал громкую речь дяди, его шаги — он, видимо, расхаживал по зале:

— Угораздило же ее ни раньше, ни позже, а именно в этот день! Просто наваждение какое-то!

Я удивился, затем ощутил беспокойство, как будто случившееся имело какое-то отношение ко мне. Выглянул за дверь, но там никого не оказалось. С трудом дождался вечера, когда, наконец, явился слуга, чтобы заварить чай, и мне представилась возможность узнать, что случилось.

— На кого это сердился господин Лу?

— На кого же, как не на Сян-линь,— коротко ответил слуга.

— На Сян-линь? А за что? — поспешно спросил я.

— Приказала долго жить.

— Умерла? — Я едва не подскочил и, вероятно, изменился в лице. Сердце больно сжалось. Но слуга ничего не заметил, потому что говорил, не поднимая головы.

— Когда же это случилось? — немного успокоившись, спросил я.

— Когда? Вчера ночью, а может, сегодня. Точно не знаю.

— А отчего?

— Отчего? С голоду, конечно,— по-прежнему равнодушно ответил слуга и вышел из комнаты, так и не взглянув на меня.

Постепенно я пришел в себя, меня больше не мучили предчувствия. И уже не нужно было искать успокоения ни в собственных словах «точно не скажу», ни в словах слуги «с голоду, конечно». Тревога как будто исчезла, но сердце все еще ныло...

За ужином дядюшка сидел с суровым лицом. Я собрался было расспросить его о Сян-линь, но тут же отказался от этой мысли. Дядя, хотя и читал о том, что «злые и добрые духи всего лишь естественное проявление положительного и отрицательного начал природы», во многом был суеверен, и в дни моления о счастье в его доме было строго запрещено произносить такие зловещие слова, как «смерть», «гибель», «болезнь», «мор». На худой конец разрешалось говорить обо всем этом иносказательно, намеками, чего я, к сожалению, не умел.

Суровый вид дяди меня насторожил.

«А не сочтет ли он наваждением и мой приезд, если я влезу со своим вопросом ни раньше, ни позже, а именно сейчас»,— подумал я и, чтобы поскорее его успокоить, тут же сообщил, что завтра покидаю Лучжэнь. Он не очень-то меня удерживал. Ужин тянулся нестерпимо долго.

Зимний день короток, особенно когда валит снег. Совсем рано местечко погрузилось во мглу. В домах при тусклых светильниках все еще суетились люди, но на улице воцарилась такая тишина, что казалось, будто слышен шелест хлопьев снега, которые ложились на толстое белое покрывало, укутавшее землю. И от этого становилось еще тоскливее.

Я сидел один при светильнике и думал о трагедии тетушки Сян-линь. Еще при жизни ее выбросили в мусорную кучу, словно старую истрепанную куклу. И когда она вдруг снова попадалась на глаза веселым и беспечным людям, те просто не верили, что она еще жива. Но теперь ее прибрал навечно посланец ада. Не знаю, осталась ли после смерти ее душа, знаю лишь, что в современном обществе неудачнику нет места и ему лучше умереть, чтобы не быть в тягость ни себе, ни людям. Мне по-прежнему чудился шелест снежинок за окном, я продолжал размышлять и постепенно успокаивался.

Я вспомнил все, что сам знал о Сян-линь, все, что узнал

о ней от других, и передо мной как бы встала законченная картина ее жизни.

Когда-то в семье дядюшки решили сменить служанку, и вот в начале зимы старуха Вэй привела к ним женщину лет двадцати шести — двадцати семи, очень румяную, несмотря на темный цвет кожи. На ней была черная юбка, поверх синей кофты — голубая безрукавка, волосы повязаны белым шнурком. Старуха Вэй сказала, что женщину зовут Сян-линь, что она из одной деревни с ее матерью, недавно овдовела и ищет работу. Дядюшка нахмурился, и тетушка сразу поняла, в чем дело: он не хотел нанимать в служанки вдову, но вопреки его желанию тетушка оставила Сян-линь у себя: крепкие руки и ноги, скромный вид, покорный взгляд и молчаливость — она не проронила ни слова — говорили о том, что она нетребовательна и трудолюбива.

Сян-линь работала не покладая рук, безделье, казалось, гнетет ее. По силе она не уступала мужчине, и на третий день испытательного срока ее решили оставить, положив жалованье пятьсот медяков в месяц.

Все звали ее Сян-линь. А поскольку в горной деревушке Вэй жили только семьи Вэй, то фамилии ее никто не спрашивал. Была она неразговорчива, отвечала только на вопросы, да и то очень кратко. Лишь через десять с лишним дней выяснилось, что дома у нее остались суровая свекровь и младший деверь, еще подросток, работавший дровосеком. Муж ее, тоже дровосек, умерший прошлой весной, был моложе ее на десять лет. Вот все, что удалось о ней узнать.

Время бежало быстро. Сян-линь работала без отдыха, была неприхотлива в еде. Все говорили, что семье Лу Четвертого повезло со служанкой. В усердии и проворстве она могла поспорить с любым мужчиной. Для проводов старого года даже не пришлось нанимать работника — она одна управилась: обмела пыль, перемыла полы, сама резала кур и гусей, всю ночь варила и парила жертвенные яства. И, казалось, была очень довольна, в уголках губ у нее даже появилась улыбка, лицо будто посветлело и стало полнее.

Но вскоре после Нового года Сян-линь пошла на реку мыть рис и вернулась оттуда бледная, вне себя от страха. Она рассказала, что на другом берегу видела мужчину, похожего на дядю ее мужа. Она боится, что он приехал за ней. Тетушка очень встревожилась, но, несмотря на все расспросы, ничего больше от нее не добилась. Дядюшка же, как обычно, нахмурил брови:

— Дело неладно. Боюсь, что она беглая...

Догадка его вскоре подтвердилась.

Дней через десять, когда это происшествие уже стало забываться, старуха Вэй вдруг привела в дом какую-то женщину лет тридцати с лишним и сказала, что это свекровь Сян-линь. Держалась она слишком свободно для жительницы горного захолустья и умело вела разговор. Поболтав о погоде, она извинилась за беспокойство и сообщила, что приехала за невесткой. Начались весенние полевые работы, а в доме остались старые да малые, не хватает рабочих рук.

— Раз свекровь зовет невестку домой, так и говорить не о чем,— заявил Лу Четвертый.

Оказалось, что Сян-линь уже причитается тысяча семьсот пятьдесят медяков. Весь заработок она отдавала на хранение хозяину и не потратила из него ни единой монетки. Деньги взяла свекровь, а заодно и невесткину одежду. Около полудня, поблагодарив хозяев, свекровь и старуха Вэй ушли.

Прошло довольно много времени. Тетушка проголодалась, вспомнила, что пора обедать, и закричала:

— Ай-я! Где же рис? Разве Сян-линь не пошла мыть его на реку?..

Тут все принялись искать решето с рисом. Тетушка заглядывала в каждый угол на кухне, в зале и даже в спальне,— все напрасно. Дядюшка же вышел за ворота и отправился к реке. Тут он и увидел, что решето преспокойно стоит на берегу, а рядом лежит вилок капусты.

Очевидцы рассказали, что утром к берегу пристала лодка с белым навесом. Кто в ней приехал, не знали, да никого это, собственно, и не интересовало. Когда Сян-линь пришла к речке и опустилась на колени, чтобы промыть рис, из лодки выскочило двое, с виду деревенские. Они схватили ее и потащили в лодку. Она закричала, заплакала, а потом вдруг стихла: видно, ей заткнули рот. Вскоре в лодку вошли старуха Вэй и еще какая-то незнакомая женщина. Кто-то заглянул под навес и в темноте вроде бы разглядел связанную Линь.

— Вот подлая! — проворчал дядюшка.— Но...

В тот день тетушка сама готовила обед, а печку растапливал их сынишка.

К вечеру снова явилась старуха Вэй.

— Вот подлая,— снова проворчал дядюшка.

— Да как ты посмела на глаза мне явиться? — выговаривала старухе тетушка, перемывая чашки. Сначала привела ее к нам, а теперь помогла выкрасть. Скандал на весь город! Хочешь нас превратить в посмешище?

— Ох-ох! Я и сама попалась. Затем и пришла, чтобы все объяснить. Не знала я, что Сян-линь без спросу ушла от свекрови, вот и нашла ей место. Вы уж простите меня, хозяин и хозяйка! Сама я кругом виновата. Совсем, старая, из ума выжила. Будьте великодушны, будьте милостивы, как всегда. Человек я маленький, не корите меня. Уже это я почту за счастье. А чтобы загладить свою вину, я найду вам другую хорошую служанку, непременно найду...

— Однако,— начал было Лу Четвертый.

На том все кончилось, и вскоре все забыли о Сян-линь. Только тетушка о ней вспоминала. Она никак не могла выбрать себе служанку: одна оказывалась ленивой, другая — прожорливой, а то все вместе — и лентяйка и обжора. Сян-линь просто не шла у нее из головы. «Как-то она теперь живет?» — думала тетушка, все еще надеясь на ее возвращение. Но к концу года даже тетушка перестала о ней вспоминать.

Праздник уже был на исходе, когда к тетушке с новогодним визитом явилась старуха Вэй, уже где-то изрядно выпившая. С поздравлением она опоздала, так как только сейчас вернулась в Лучжэнь из деревни Вэй, где несколько дней гостила у матери. Тут речь, разумеется, зашла о Сян-линь.

— Сян-линь? — оживилась старуха.— Ей повезло! Ведь свекровь утащила ее, чтобы выдать за Хо Шестого из пустоши Хо. Уже через несколько дней ее отправили к жениху в красных свадебных носилках.

— Ну и свекровь! — возмутилась тетушка.

— Ах, госпожа! Для вас, богатых да благородных, это — грех, а у нас, людей маленьких, такое не редкость. Надо же было свекрови женить своего младшего сына. А не выдай она старшую невестку, откуда бы ей взять денег на свадебный подарок? Она женщина деловая, разумная и очень расчетливая. Выдай она Сян-линь за односельчанина, ни за что бы не получила столько. Ведь ей дали за невестку восемьдесят связок по тысяче медяков, потому что не часто найдешь охотника выдать дочь в горное селенье. Теперь она уже женила своего младшего. На свадебный подарок пошло пятьдесят связок, остальное на свадьбу да еще больше десяти связок осталось. Ха! Вот до чего она расчетлива!

— А как же Сян-линь? Согласилась?

— Да кто ее спрашивал... Пошумела — это верно. Так ведь все шумят! Тут надо только связать покрепче, а потом затолкать в красные носилки, отнести к жениху, надеть венец, заставить поклониться перед алтарем предков, запереть дверь —

и делу конец. Но Сян-линь устроила целый скандал. Это уж чересчур. Говорят, будто оттого, что она служила у людей грамотных и там невесть чему научилась. Эх, госпожа! Чего только мы не насмотрелись. Все бывает, когда выдают замуж вдову: и плачет, и руки готова на себя наложить. А то в доме новобрачного все свадебные свечи переломает, и никак не заставишь ее поклониться алтарю предков. Но Сян-линь просто всех удивила. Так выла, говорят, и бранилась всю дорогу, что даже голоса лишилась. Еле из носилок вытащили. Ее держали двое здоровенных мужчин и еще мальчишка-деверь, когда надо было алтарю поклониться. И только они зазевались, о Будда! Она как кинется на жертвенный стол да как стукнется об угол, голову всю себе разбила, кровь так и хлынула. Два раза пеплом от благовоний присыпали, целыми горстями, одним куском красного холста перевязали, потом другим, а кровь все хлещет. Насилу заперли ее с мужем в спальне, так она и там давай браниться... Ай-яй-яй! Вот уж...— тут старуха Вэй скромно потупилась и, покачав головой, умолкла.

— А потом? — спросила тетушка.

— Даже на другой день, сказывают, не поднималась,— ответила старуха.

— Ну, а потом?

— Потом?.. Встала. А к концу года родила мальчишку. На Новый год ему, почитай, уже два годка сровнялось. Пока я у матери гостила, наши деревенские к ней съездили, туда, в пустошь. И мать и сынок — оба полненькие. Свекрови над ней нет. Муж здоровый, работать горазд. Дом у них свой... Вот ей как повезло!

С тех пор тетушка и думать перестала о Сян-линь.

Но прошло два года после известия о счастливом повороте в судьбе Сян-линь, и как-то осенью она вдруг снова появилась в доме дядюшки. Поставила на стол свою небольшую, круглую, как водяной каштан, корзинку, узел с постелью положила у стены. Как и в тот раз, в волосах у нее был белый шнурок. И одета она была так же: черная юбка и голубая безрукавка поверх синей кофты. Только лицом она как будто потемнела и румянец пропал. Взгляд остался таким же покорным, но глаза, видимо, оттого, что она часто плакала, утратили прежнюю живость. Привела ее все та же старуха Вэй.

— Вот уж поистине не узнаешь, когда Небо накажет,— печально произнесла она.— Ведь муж у нее был такой молодой, здоровый. Кто бы подумал, что он помрет. Надо же было ему схватить простуду. И дело-то уже на поправку пошло, а он

возьми да съешь чашку холодного риса. Ну и опять свалился. Одно утешенье осталось — сынок. Ведь Сян-линь работящая,— и дров нарубить, и чай собрать, и шелковичного червя развести — со всем управится. И себя и ребенка прокормит. Так что бы вы думали? Сынка волк утащил. Виданное ли это дело, чтобы в конце весны волки в деревню забегали!

Вот и осталась она одна-одинешенька. Дом забрал деверь, а ее выгнал. Куда ей было податься, как не к старым хозяевам? Теперь она уже ничем не связана. А вы, госпожа, все равно хотели сменить служанку. Так уж лучше та, что все ваши порядки знает, чем новая, неумелая... Вот я ее к вам и привела.

— Глупая я стала, совсем глупая, правда,— вдруг заговорила Сян-линь, глядя в пространство своими потускневшими глазами.— Слыхала я, что голодные волки забегают в деревню только зимой, когда под снегом они не могут найти еды. А что они и весной могут забежать — не подумала. Открыла с утра пораньше двери, положила в корзиночку бобов и велела моему А-мао сесть на порожек и перебрать их. Он был такой послушный, все делал, что ни скажу. Вышел он, а я за домом дров нарубила, рис помыла, в котел засыпала. Дай, думаю, бобы сварю. Кликнула я сыночка — молчит. Пошла посмотреть — нет его, только бобы кругом рассыпаны.

Я всех обегала — думала, он к кому-нибудь играть пошел,— никто его не видал. Людей на помощь с отчаянья позвала. Весь день искали и только к вечеру увидели далеко в горах, на кустике, его башмачок. Сразу догадались: беда, волк унес. И правда. Чуть подальше нашли его, сердечного, в логове, лежит разорванный, а в ручке корзиночка...— Дальше уже нельзя было разобрать слов, Сян-линь зарыдала.

Глаза у тетушки покраснели, теперь она больше не колебалась и велела Сян-линь отнести корзинку и узел с постелью в комнату для служанки. Старуха Вэй облегченно вздохнула, будто сбросила с плеч тяжелую ношу. Сян-линь немного оживилась и, не дожидаясь указаний, по старой привычке прибрала свою постель. Она снова стала служанкой в Лучжэне, и все по-прежнему звали ее Сян-линь.

Но от всего пережитого она сильно изменилась. Дня через три стало ясно, что она уже не так проворна, что память у нее ослабела, на безжизненном лице ни разу не появилась улыбка, и в голосе тетушки часто слышались недовольные нотки.

Увидев Сян-линь, дядюшка, по обыкновению, нахмурился, но возражать не стал, зная по опыту, как трудно найти хорошую служанку.

— Жаль ее, конечно, пусть работает в обычные дни, но она нарушила обычай, и к приготовлению жертвоприношения ее допускать нельзя, не то предки отвергнут нечистые дары. Так что все будем готовить сами,— предупредил он тетушку.

Не было в доме дядюшки события важнее, чем жертвоприношение, и в прежние времена все хлопоты выпадали на долю Сян-линь. Теперь же она оказалась не у дел.

Вот выдвинули на середину зала стол, укрепили над ним занавес, и Сян-линь вдруг вспомнила, что расставляла прежде чарки и раскладывала палочки.

— Не прикасайся! Я сама все сделаю,— поспешно остановила ее тетушка.

Сян-линь в страхе отдернула руки и кинулась за подсвечниками.

— Не трогай! Не надо! Я сама принесу!

Покружив по залу и так и не найдя для себя дела, Сян-линь, мучимая сомнениями, больше не предлагала своих услуг.

Поддерживать огонь в печи — вот все, что ей доверили в тот день.

В городе ее по-прежнему звали тетушкой Сян-линь [1], но звучало это сейчас совсем по-другому. С ней, правда, разговаривали, но всегда с холодной усмешкой. Она этого не замечала и, уставившись своими потускневшими глазами в пространство, всем и каждому рассказывала свою трагедию, о которой не могла забыть ни днем, ни ночью.

— Глупая я стала, совсем глупая, правда,— говорила она.— Слыхала я, что голодные волки забегают в деревню только зимой, когда под снегом не могут найти еды. А что они и весной могут забежать — не подумала. Открыла двери с утра пораньше, положила в корзиночку бобов и велела моему А-мао сесть на порожек и их перебрать. Он был такой послушный мальчик, все делал, что ни скажу. Вышел он, а я за домом дров нарубила, рис помыла, в котел засыпала. Дай, думаю, бобы сварю. Кликнула я сыночка — молчит. Пошла посмотреть — нет его, только бобы кругом рассыпаны. У кого я только не спрашивала! Никто его не видел. Людей на помощь с отчаянья позвала. Весь день искали и только к вечеру увидели далеко в горах, на кустике, его башмачок. Сразу догадались: беда; волк унес. И правда, чуть подальше нашли его, сердечного, в логове, лежит разорванный, а в ручке корзиночка...— Тут рассказ ее прерывался рыданиями.

---

[1] С я н — счастье *(кит.)*.

История Сян-линь производила сильное впечатление. Перестав улыбаться, мужчины смущенно отходили прочь; женщины не только переставали презирать ее, но готовы были простить ей ее грех и вместе с ней поплакать. Старушки, упустившие Линь на улице, специально приходили к ней послушать ее печальную историю, а когда она начинала рыдать, роняли застывшие на глазах слезы и, повздыхав, вполне удовлетворенные, расходились, продолжая обсуждать подробности.

Сян-линь не уставала рассказывать о своем горе и всегда находила слушателей. Но вскоре ее история наскучила всем, даже сердобольным старушкам, то и дело поминавшим Будду. Чуть ли не каждый знал ее наизусть, и ничего, кроме головной боли, она теперь не вызывала.

Стоило ей начать:

— Глупая я стала, совсем глупая, правда...

Как ее тотчас же прерывали:

— Да, да! Ты слыхала, что голодные волки забегают в деревню только зимой, когда под снегом не могут найти еды...— и отходили подальше.

Застыв на месте, с раскрытым ртом, Сян-линь провожала остановившимся взглядом тех, кто ее покинул, а потом и сама уходила, потеряв интерес ко всему.

И все же она не могла отказаться от своей страсти и по-прежнему рассказывала о своем сыночке, стоило ей только увидеть корзиночку, бобы или какого-нибудь ребенка. Заметив мальчика двух-трех лет, она тут же начинала причитать:

— Ах! Был бы жив мой А-мао, вырос бы таким же большим...

Ребятишки пугались ее взгляда и, ухватив подол матери, тащили ее прочь. А Сян-линь, оставшись одна, огорченная, уходила. Вскоре все об этом узнали. И как только она оказывалась рядом с малышом, кто-нибудь, то смеясь, то с серьезным видом, спешил опередить ее вопросом:

— Был бы жив твой А-мао, он вырос бы таким же большим, Сян-линь?

Вряд ли она понимала, что ее печальная история, повторявшаяся столько раз, превратилась для всех в жвачку, от которой хотелось избавиться. Но холодные усмешки и колкие замечания подсказали ей, что лучше молчать. На насмешниках она лишь останавливала долгий взгляд и ни слова им не отвечала.

В Лучжэне всегда отмечают Новый год, и подготовка к празднику начинается уже после двадцатого числа последней луны. На этот раз в дом дядюшки наняли поденщика, но он не

сумел со всем справиться, и в помощь ему позвали старуху Лю. Однако резать кур и гусей она отказалась, потому что верила в Будду, постилась и не могла убивать живые существа. Сян-линь поддерживала огонь в печи и от нечего делать смотрела, как старуха моет жертвенные сосуды. Это было единственное, что та согласилась делать. Пошел снег.

— Ах! Глупая я стала, совсем глупая...— с тяжелым вздохом поглядев на небо, забормотала Сян-линь.

— Опять ты за свое? — старуха Лю с досадой поглядела на Сян-линь.— Скажи лучше, отчего у тебя шрам на лбу. Небось об алтарь стукнулась?

— У-гу.

— Так как же ты, в конце концов, уступила, а?

— Я?!

— Ты, конечно. Самой, наверно, захотелось, не иначе...

— О!.. Не знаешь ты, какой он был сильный.

— Ни за что не поверю. Чтобы ты да с твоей силищей его не одолела. Уж конечно, сама согласилась, а потом на него все свалила.

— Эх ты!.. Сама бы попробовала,— усмехнулась Сян-линь.

Старуха Лю тоже улыбнулась, и лицо ее еще больше сморщилось, совсем как грецкий орех. Своими выцветшими глазками она впилась в шрам Сян-линь, а потом посмотрела ей прямо в глаза. Сян-линь стало не по себе, улыбка исчезла с ее лица, и она стала смотреть на падающий снег.

— А ведь ты просчиталась,— злорадствовала старуха.— Стукнулась бы еще разок, да посильнее, чтобы живой не остаться, и ладно. А теперь что? Приняла на себя такой страшный грех, а со вторым мужем прожила чуть больше года. Сама подумай! Попадешь в ад, кому достанешься? Ведь за тебя станут драться души твоих мужей! Придется Владыке ада распилить тебя пополам и дать каждому по половинке. Вот уж воистину...

Ужас охватил Сян-линь, такого ей еще не доводилось слышать в ее горной деревушке.

— Надо бы тебе заранее об искуплении позаботиться, денег пожертвовать на доску для порога в храме Бога земли. Эта доска будет как бы твоим телом. Истопчут ее тысячи, десятки тысяч ног, ты и спасешься от адских мук.

Сян-линь хоть и промолчала, но на другой день от переживаний под глазами у нее появились черные круги. После завтрака она отправилась на западный конец городка, в храм Бога земли. Сян-линь долго плакала, прежде чем хранитель кумирни

согласился на ее просьбу и установил размер пожертвования на доску для порога — двенадцать тысяч больших медяков.

Сян-линь давно перестала рассказывать о своем сыночке — ее история уже всем надоела. Но после того, как прошел слух о ее разговоре со старухой Лю, все снова стали проявлять к ней интерес — вернее, к ее шраму.

— Скажи, Сян-линь, как же ты, в конце концов, согласилась? — начинал кто-нибудь.

— Только напрасно разбила голову, вот досада! — подхватывал другой, разглядывая шрам.

По улыбкам и по тону, которым с ней разговаривали, Линь понимала, что над ней смеются, но молчала. Посмотрит на обидчика — и ничего не скажет. А потом и смотреть перестала. Стиснув зубы, ходила она по улицам с меткой позора на лбу, дома молча мыла полы, чистила овощи, мыла рис. А к концу года, получив из рук госпожи все заработанные деньги, выменяла медяки на двенадцать серебряных юаней и попросила разрешения отлучиться, сходить на западный конец городка. Вернулась она еще до обеда, умиротворенная, радостная, и, блестя глазами, сообщила хозяйке, что пожертвовала деньги на доску для порога в храме.

Во время жертвоприношения предкам в день зимнего солнцестояния Сян-линь трудилась с удвоенной энергией. Увидев, что хозяйка, приготовив все жертвенные дары, вместе с сыном переставляет стол на середину зала, она спокойно направилась за чарками и палочками.

— Не прикасайся, Сян-линь! — крикнула тетушка.

Линь отдернула руки, будто обожглась, и как-то сразу почернела вся. За подсвечниками она не пошла и стояла растерянная, пока дядюшка не приказал ей уйти, прежде чем зажечь благовония. После этого Сян-линь окончательно переменилась. На следующий день глаза ее глубоко запали. Она боялась темноты, боялась любой тени. Боялась людей, даже хозяина. При виде человека она дрожала от страха, точно мышка, днем выбежавшая из норы. Она могла подолгу сидеть не двигаясь, будто деревянная. Не прошло и полугода, как у нее появилась седина, а память совсем пропала. Теперь она уже нередко забывала вымыть рис.

— Что это творится с Сян-линь? — нарочно при ней замечала тетушка.— Лучше бы ее не нанимать.

Но это не помогало. Нечего было и думать, что к Линь вернется былое проворство. Тогда решили отправить ее к старухе Вэй, но, пока я жил в Лучжэне, все оставалось по-прежнему. По-

том ее как будто все же спровадили. Но когда именно Сяо-линь превратилась в нищенку,— сразу ли после ухода от дядюшки или после переезда к старухе Вэй,— я не знал.

Оглушительный треск фейерверка, взвившегося над самым домом, заставил меня очнуться. Я увидел, что светильник угасает — пламя стало крохотным, как горошина. Вслед за фейерверком послышались взрывы хлопушек — в доме дядюшки началось «моление о счастье», и я понял, что наступило утро.

Еще не придя в себя окончательно, я невольно прислушался к треску и грохоту, непрерывно доносившимся издалека, и мне показалось, будто этот грохот, слившись с тяжелыми облаками и порхавшими в воздухе снежными хлопьями, окутал весь городок и меня самого. Я почувствовал некоторое облегчение. Моление о счастье рассеяло тревоги и сомнения, мучившие меня накануне, и мне показалось, будто там, в вышине, шатаются толпы захмелевших богов и мудрецов и Неба и Земли, насладившихся жертвенными яствами, вином и ароматными куреньями и готовых одарить жителей Лучжэня беспредельным счастьем.

Февраль 1924 г.

В КАБАЧКЕ

Проездом с севера на юго-восток я завернул в родные места, а затем в город S., где когда-то целый год преподавал в школе. От моей деревни до городка всего тридцать ли, меньше чем полдня пути на небольшой лодке.

Дело было зимой. Недавно прошел снег, и все кругом будто застыло от холода. Охваченный какой-то беспечностью и вдруг нахлынувшими воспоминаниями, я решил остановиться на несколько дней в гостинице «Лосы», которой здесь раньше не было. Городок был небольшой, и я сразу отправился на поиски своих прежних коллег, с которыми рассчитывал встретиться. Но никого не застал: все разъехались. Школа, мимо ворот которой я прошел, показалась мне какой-то чужой — переменились и ее внешний вид, и название. Словом, не прошло и двух часов, как настроение у меня испортилось и я пожалел, что, движимый любопытством, пришел сюда.

При гостинице не было ресторана, и обед приходилось заказывать в другом месте. Но приносили все настолько безвкусное, что казалось, будто жуешь глину. Из окна виднелась лишь стена, покрытая пятнами сырости и высохшим мхом, и нависс-

шее над ней матово-свинцовое небо без малейшего просвета. В воздухе снова запорхали снежинки. За обедом я не наелся, развлечься было нечем, и мне, естественно, вспомнился кабачок «Ишицзюй», столь знакомый по старым временам. Он должен был находиться где-то неподалеку от гостиницы. Не долго думая, я запер свой номер и отправился в кабачок. Мне совсем не хотелось напиться, просто я пытался хоть ненадолго развеять дорожную скуку.

Кабачок стоял на прежнем месте, да и с виду ничуть не изменился: тот же узкий, темный, сырой фасад, та же ветхая вывеска — только я не нашел там ни одного знакомого лица, начиная от хозяина и кончая последним официантом. В кабачке я тоже оказался чужим.

По хорошо известной мне лестнице в углу зала я все же поднялся на второй этаж. Здесь, как и раньше, стояло пять дощатых столиков; только в деревянной решетке окна вместо бумаги теперь было стекло.

— Чайник шаосинского... На закуску? Порцию жареного соевого творога да побольше сои с перцем!

Переговариваясь со слугой, поднявшимся за мной наверх, я занял столик у окна. Наверху было пусто — ни одного посетителя, и я выбрал лучшее место, откуда виден был запущенный сад. Сад этот, видимо, не принадлежал кабатчику; прежде, бывало, я часто им любовался, особенно вот в такие снежные дни. Но сейчас моим глазам, уже привыкшим к северу, было на что удивляться. Несколько старых кустов мэй, словно споря со снегом, стояли в полном цвету, будто и не было для них зимы. Рядом с обвалившейся беседкой росла камелия, в ее густой темно-зеленой листве, покрытой снегом, алели цветы. Их было чуть больше десятка. Они пылали, словно огонь, гневно и горделиво и, казалось, презирали путника, стремящегося в далекие края.

Я вдруг сравнил здешний снег — влажный, окутывающий растения сверху донизу, сверкающий кристаллами, с северным — сухим, точно пудра. Подхваченный сильным порывом ветра, он образует в воздухе пелену.

— Пожалуйте, вино...— лениво протянул слуга, поставил чарку, чайник с вином и блюдечки, положил палочки для еды.

Вот и вино. Я оторвался от окна, расставил прибор поудобнее и наполнил чарку. Конечно, не север был моей родиной, но и здесь — на юге, я чувствовал себя только гостем. Мне не было дела ни до северных метелей, ни до здешнего мягкого снега, который так манил к себе!

Охваченный грустью, я с наслаждением отпил глоток вина. Вино оказалось очень хорошим, да и соевый творог приготовлен отлично; вот только соус был пресным: в городке не знали толку в острых приправах.

Потому, вероятно, что время едва перевалило за полдень, здесь было тихо — все столики, кроме моего, пустовали. Выпив три чарки, я снова стал смотреть в окно на запущенный сад и все острее ощущал одиночество. Но мне не хотелось, чтобы в кабачке появились посетители. Заслышав шаги на лестнице, я испытывал раздражение и успокаивался, лишь убедившись, что это слуга. Выпил еще две чарки.

Снова послышались шаги, но для слуги слишком медленные, и я невольно насторожился. Выждав, когда посетитель покажется наверху, я с опаской поднял голову, чтобы взглянуть на непрошеного гостя, и тут же в изумлении привстал: встреча с другом здесь — если только он еще разрешит мне называть себя другом — казалась совершенно невероятной. Вошедший был старым школьным товарищем, а потом коллегой, когда я учительствовал. И хотя он сильно изменился, я узнал его с первого взгляда. Своими движениями, вялыми и неуверенными, он ничем не напоминал прежнего, живого и энергичного Люй Вэй-фу.

— О! Вэй-фу! Ты ли это? Вот уж не думал встретить тебя здесь!

— А-а! Это ты? И я никак не думал...

Я пригласил его к своему столу. Но он почему-то колебался. Это меня удивило, опечалило, я даже почувствовал к нему жалость. Всмотрелся повнимательнее: те же всклокоченные волосы, то же длинное, с землистым оттенком лицо, только сильно осунувшееся. Он был слишком спокоен, скорее даже подавлен. Глаза под густыми черными бровями утратили былой блеск. Но когда он, медленно оглядев комнату, посмотрел в окно, на запущенный сад, взгляд его на миг стал лучистым, как в прежние школьные времена.

— Уже лет десять, пожалуй, как мы расстались,— заговорил я с деланной веселостью.— Я знал, что ты в Цзинани, но не писал. Говоря по правде, я слишком ленив...

— Я тоже. Но теперь-то я уже больше двух лет в Тайюани вместе с матерью. Как раз когда я приезжал за ней, то узнал, что ты переселился со всей семьей.

— Что же ты делаешь в Тайюани? — спросил я.

— Преподаю в семье одного земляка.

— А до этого чем занимался?

— До этого? — Он вытащил из кармана сигарету, сунул в рот и зажег, потом, словно задумавшись, долго разглядывал облачко дыма и, наконец, произнес:

— Можно сказать ничем, так, разными скучными делами.

В свою очередь он спросил, как жил я все это время. Отвечая ему в общих чертах, я между тем велел слуге принести второй прибор, решив, что, справившись с начатым чайником вина, мы закажем еще два. Выбирая закуску, мы почему-то очень церемонились друг с другом, чего прежде никогда не бывало. Кто из нас что заказал, я уже не помню, но, судя по тому, что повторил слуга, мы выбрали четыре блюда: бобы с укропом, холодец, сушеную макрель и еще порцию соевого творога.

— Только вернувшись сюда, я понял, как я смешон,— то ли в шутку, то ли всерьез сказал Люй, держа в одной руке сигарету, в другой рюмку.— С детства помню, как взлетает вспугнутая пчела или муха и, описав маленький круг, садится на прежнее место. И смешно на нее смотреть, и жалко. А теперь, описав маленький круг, я сам прилетел обратно. Но кто мог подумать, что и ты вернешься? Неужели не сумел улететь подальше?

— Да как тебе сказать. Я ведь тоже облетел всего лишь маленький круг,— в тон ему ответил я.— Но объясни — зачем ты прилетел обратно?

— Да все из-за тех же скучных дел.— Одним глотком он осушил чарку, с жадностью несколько раз затянулся, зрачки его расширились.— Скучных... Но давай поговорим.

Слуга принес новый заказ и заставил чайниками и блюдами весь стол. Зал наполнился табачным дымом и паром, стало оживленнее; снег за окном повалил сильнее.

— Наверно, ты знал,— продолжал Люй,— что у меня был брат; он умер трехлетним ребенком; здесь, в деревне, его и похоронили. Я его почти не помню, но, по словам матери, он был очень милый, и мы с ним хорошо дружили. Мать до сих пор его оплакивает. Нынешней весной один родственник в письме сообщил нам, что могилку брата вот-вот размоет и унесет водой и надо срочно принять какие-то меры. Известие так взволновало мать, что она сна лишилась — ведь она сама умеет читать. Что было делать? Я тогда ничем не мог помочь. Ни денег, ни свободного времени... И только сейчас, воспользовавшись новогодними каникулами, приехал сюда, чтобы перенести его прах.

В каком краю, где еще так бывает, чтобы, не замерзнув под заснеженной землею, в сугробах распускались цветы?..—

произнес он, осушив еще чарку и глядя в окно.— Так вот. Позавчера в городе я купил гробик,— тот, что в земле, должно быть, давно сгнил. Захватил с собой одеяло, ваты, нанял четырех землекопов и отправился в деревню, на кладбище.

Тут меня вдруг охватило волнение — захотелось поскорее увидеть останки когда-то любившего меня брата. Ничего подобного в своей жизни я еще не испытывал. Оказалось, что река действительно подмыла почву: еще два фута — и вода подберется к могилке. Жалкий холмик почти совсем сровнялся с землей,— ведь уже два года за могилой никто не ухаживал.

— Ройте тут! — скомандовал я решительно, стоя в снегу, и удивился собственному голосу; ведь это был самый важный приказ, который я, такой незначительный человек, когда-либо отдавал в своей жизни. Но рабочих это не потрясло, они спокойно приступили к делу.

Когда могилу наконец раскопали, я подошел поглядеть, но ничего не увидел, кроме нескольких полусгнивших дощечек и кучки древесной трухи. С замиранием сердца, очень осторожно я принялся сам все перебирать. Мне так хотелось хоть что-то найти, но увы! Там не оказалось ничего — ни одеяла, ни одежды, ни скелета. «Все уже истлело,— подумал я.— Но волосы? Может быть, хоть они сохранились?» Ведь слышал же я, что волосы разлагаются последними. Я лег на край ямы и стал, как мог, пристально вглядываться в то место, где было изголовье. Нет, ничего! Ни малейшего следа!

Я заметил, что глаза у Люя покраснели. «От вина»,— подумал я.

Опрокидывая чарку за чаркой, почти не закусывая, он после второго чайника вина оживился и стал напоминать прежнего Люя. Заказав еще два, я обернулся к нему и поднял чарку, продолжая молча его слушать.

— Переносить, собственно говоря, было нечего. Осталось лишь закидать яму и продать гроб. Я, правда, никогда не продавал гробов, но думаю, что гробовщик взял бы его обратно по дешевке, а я вернул бы хоть несколько медяков на вино. Однако я поступил иначе. Собрал в вату землю с того места, где когда-то лежало тело, завернул в одеяло и положил в гроб, который потом зарыли рядом с могилой отца. Еще вчера почти весь день я следил за тем, как обкладывали кирпичом новую могилу. Теперь с этим покончено. Сделано все, чтобы обмануть мать, хоть немного ее успокоить.

Ах! Что ты на меня так смотришь? Удивляешься происшедшей во мне перемене? Да, я еще помню те времена, когда

мы вместе выдергивали бороды у статуй в храме Бога-покровителя города и по целым дням спорили о том, как перестроить Китай. Случалось, что и до драки доходило. Но теперь я стал иным, ко всему отношусь безразлично, делаю все кое-как. Увидев меня, прежние друзья, пожалуй, не признали бы во мне друга. Да, я стал иным.— Он снова вытащил сигарету и закурил.— Но ты, кажется, еще ждешь от меня чего-то. Я тронут этим, но и встревожен. Кое-что я еще способен понять, хотя, конечно, сильно отупел. Боюсь оказаться неблагодарным, не оправдав надежд старых друзей.

Он умолк, сделал несколько затяжек и тихо продолжал:

— Вот и сегодня, перед тем, как прийти сюда, в кабачок, я выполнил еще одно скучное поручение, и тоже по собственному желанию. Был у меня прежде сосед-лодочник Чан Фу, а у него дочь — А-шунь. Ты, наверно, ее видел, когда приходил к нам, но не обратил внимания, тогда она была еще маленькой. Да и выросла она не красавицей: личико худенькое, с желтой кожей — только глаза большие, с длинными ресницами и белками синеватыми, словно вечернее небо, ясное и прозрачное, какое бывает только на севере, в безветренную погоду. Ей исполнилось всего десять лет, когда умерла ее мать, и на нее легли заботы о братике с сестрой и об отце. И она везде поспевала и была бережливой, так что хозяйство у них постепенно наладилось. Все соседи ее хвалили, а отец даже частенько благодарил. Перед самым моим отъездом мать о ней вспомнила, ведь у стариков память хорошая. Мать рассказала мне, как захотела однажды А-шунь достать красный бархатный цветок для прически, который она видела у кого-то, и как она плакала, когда такого цветка не нашла. Проплакала она до ночи, и отец за это ее даже побил. Еще целых два, а то и три дня ходила она с красными опухшими глазами. О таком цветке А-шунь нечего было и мечтать, ведь они — вещь привозная, их не найдешь даже в городке S. Вот мать и велела мне купить два бархатных цветка и подарить их А-шунь во время моей поездки на юг.

Поручение это меня не обременило, напротив, даже порадовало. Признаться, мне хотелось что-нибудь сделать для А-шунь. К ее отцу я заходил в позапрошлом году, когда приезжал за матерью, и мы с ним разговорились. Он угостил меня печеньем и киселем из гречневой муки, сказав, что кисель с сахаром. Подумай: лодочник, у которого в доме водится сахар!.. Это, конечно, не бедняк, еды у него хватает. Отказываться было неловко, но я попросил дать мне маленькую чашку. Как человек, знающий толк в приличиях, он сказал дочери:

«Они — люди ученые, есть как следует не умеют. Ты подай им в маленькой чашке да положи побольше сахару!»

Когда передо мной поставили кисель, я испугался — такой большой чашки мне хватило бы на день. Но в сравнении с чашкой хозяина она и в самом деле была маленькой. Мне ни разу не приходилось есть гречневый кисель с сахаром. Он оказался приторным и мне не понравился. Сделав несколько глотков, я решил было больше не есть. Но тут нечаянно взглянул на А-шунь, стоявшую в углу, и не посмел отставить чашку. На лице у нее страх сменялся надеждой, надежда — страхом. Она, верно, боялась, что не сумела как следует сготовить, а ей так хотелось, чтобы кисель мне понравился. «Если я его не съем, то крепко ее обижу, она будет чувствовать себя виноватой»,— подумал я и принялся лить кисель прямо в горло, покончив с ним почти так же быстро, как и сам хозяин. Тут я понял, как тяжело есть через силу. Нечто подобное со мной случилось в детстве, когда меня заставили принять целую чашку глистогонного снадобья с сахарным песком. Но сейчас я совсем не рассердился. А-шунь так счастливо улыбалась, когда подошла собирать посуду, что с лихвой вознаградила меня за все муки. И хотя в ту ночь переполненный желудок долго не давал мне спать, а потом во сне меня мучили кошмары, я все же молился за А-шунь и желал ей добрых перемен в жизни. Но все это были мечты. Потом я посмеялся над самим собой и обо всем забыл.

Когда мать заговорила о бархатном цветке,— я ведь не знал, что А-шунь из-за него побили,— мне вспомнился случай с киселем и захотелось порадовать девушку. Но, обойдя весь Тайюань я не нашел таких цветов, и только в Цзинани...

За окном послышался шелест. С ветки камелии свалился пласт снега, и она выпрямилась. Среди показавшейся темной глянцевитой листвы еще ярче запылали кроваво-красные цветы. Свинцовое небо, казалось, нависло еще ниже, неумолчно чирикали воробьи и, не находя себе пищи под заснеженной землей, спешили в свои гнезда. Надвигались сумерки.

— Только в Цзинани...— Люй посмотрел в окно, осушил чарку и опять, несколько раз затянувшись, продолжал,— мне удалось купить бархатные цветы. Такие, как она хотела, или нет, я не знал... но они были бархатные. Не знал я также, какой цвет ей нравится, поэтому выбрал один темно-красный, а другой — розовый.

Сегодня после обеда я пошел к Чан Фу; ради этого пришлось задержаться на день. Дом его стоял как и прежде, только

выглядел как-то сумрачно, а может быть, это мне только показалось! У ворот я увидел его сына и вторую дочь, А-чжао. Они подросли. А-чжао нисколько не напоминала старшую сестру и была настоящим чертенком. Заметив меня, она стремглав бросилась в дом. На мой вопрос мальчуган ответил, что отца нет дома.

— А старшая сестра?

Вытаращив глаза, он несколько раз спросил, зачем она мне, да с такой злостью, точно хотел меня ударить или укусить. Я что-то промямлил и отступил, ведь сейчас я ко всему отношусь безразлично... Ты не знаешь, что теперь я еще больше, чем прежде, стал бояться людей. Им тягостно мое присутствие, я хорошо это понял, потому что надоел даже самому себе. Зачем же причинять другим неприятности, заставлять их скучать, не показывая вида? Но поручения матери я не мог не выполнить и, поразмыслив, зашел к торговцу дровами, который жил наискосок от дома лодочника. Мать хозяина, бабушка Фа, была еще жива. Она меня узнала и пригласила в лавку посидеть. После обычных фраз о погоде я рассказал ей, зачем приехал и почему мне нужен Чан Фу. Но бабушка только вздохнула:

— Увы! Не выпало счастья А-шунь, не носить ей эти цветы!

Вот что она мне рассказала: «С прошлой весны А-шунь стала худеть и желтеть, часто плакала, а на расспросы, что с ней, не отвечала. Иногда она плакала целыми ночами, выводя из терпения отца, который принимался ее бранить: «Выросла большая, вот и бесишься!»

В начале осени она слегка простудилась, а потом слегла и больше не вставала. За несколько дней перед смертью она призналась отцу, что уже давно, как и мать, харкает кровью и потеет по ночам, но все скрывала, чтобы его не волновать.

Однажды, поздно вечером, к ней явился дядя Чан Гэн и стал, как это часто бывало, требовать денег взаймы. А-шунь ему отказала, тогда дядюшка зло над ней подшутил: «Не гордись,— сказал он,— твой будущий муженек еще почище меня!»

С этого-то времени на нее и нашла тоска: она все время плакала, жениха стыдилась. Когда же отец, узнав об этом, стал его хвалить — какой он, мол, работящий, было уже поздно. Она не поверила и все твердила: «Теперь мне уже все равно. Хорошо, что я умру».

Окажись жених и вправду хуже Чан Гэна, беда была бы,— продолжала свой рассказ бабушка.— Кто может быть хуже курокрада? Но на похоронах я видела его собственными глазами:

«Подлинная история А-кью»
Цзян Чжао-хэ

одет чисто, с виду вполне приличный. Заливаясь слезами, он говорил: «Полжизни проработал гребцом, столько трудов положил, во всем нужду терпел, чтобы скопить денег на подарок невесте, а она умерла». Видно, он и впрямь хороший человек, а Чан Гэп все наврал. Жаль, что А-шунь умерла, зря поверив этому разбойнику. Но кого же в этом винить? Только судьбу — не дала ей и капли счастья».

Вот и все. Делать мне здесь больше было нечего. Я не знал, куда девать цветы из бархата, и попросил бабушку Фа передать их А-чжао, той самой девушке, что стремглав убежала от меня, будто от волка или какого-нибудь чудища. Мне, право, не хотелось самому относить ей цветы. И все же я подарил их ей, а матери скажу, что А-шунь очень обрадовалась цветам. Что толку во всех этих скучных делах? Лишь бы как-нибудь время убить... Пройдет Новый год, а там опять пойду твердить ученикам: «Учитель сказал... Стихи гласят...»

— Разве ты обучаешь конфуцианским канонам? — удивился я.

— Конечно! А ты думал, по-европейски, азбуке? Сначала у меня было два ученика: один зубрил «Книгу песен», а другой — «Мэн-цзы», недавно прибавилась еще девочка, с ней мы читаем «Канон для женщин». Не преподаю им даже арифметику — не потому, что сам не хочу, родители не велят.

— Никогда бы не подумал, что ты станешь обучать по конфуцианским книгам...

— Именно этого требуют родители, а я человек подневольный, от меня ничего не зависит. Да и какой смысл во всех этих скучных вещах? Лишь бы как-нибудь время прошло...

Он, видимо, изрядно захмелел, лицо его стало красным, а глаза снова потускнели. Не найдя, что сказать, я тихо вздохнул. На лестнице застучали шаги, и в зал ввалились посетители: впереди шел коротышка, с опухшим круглым лицом, за ним — высокий, с вызывающе красным носом, и еще несколько человек; от их топота весь кабачок заходил ходуном. Мы с Люем переглянулись, и я подозвал слугу, чтобы расплатиться.

— И на это ты можешь прожить? — спросил я Люя, поднимаясь из-за стола.

— Да... в месяц двадцать юаней, не очень-то густо.

— Что же ты собираешься делать дальше?

— Дальше? Не знаю. Подумай, разве сбылось хоть что-нибудь, о чем мы когда-то мечтали? Сейчас я ничего не знаю, не знаю даже, что будет завтра или через минуту...

Слуга подал счет мне. Я расплатился, а Люй продолжал курить, забыв о прежней церемонности.

Мы вместе вышли из кабачка и у дверей распрощались — наши гостиницы находились в противоположных концах городка. Холодный ветер и хлопья снега били прямо в лицо, но они несли с собой какую-то приятную свежесть. Наступили сумерки, дома и улицы заволокла густая снежная мгла.

Февраль 1924 г.

СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ

Подражание Сюй Цинь-вэню.

«...Подлинное произведение искусства может быть создано лишь по воле автора. Такое произведение подобно не искре, высекаемой огнивом из кресала, а лучу солнца, вырывающемуся из неисчерпаемого источника света. И тогда автора можно назвать истинным художником. А я?.. Кто же я такой?»

При этой мысли он соскочил с кровати. Она и прежде приходила ему в голову, когда нужно было раздобыть гонорар в несколько медяков, необходимых для поддержания жизни. Где публиковать, он определил сразу — ежемесячный журнал «Счастье», там как будто больше платили.

«Но произведение должно касаться какой-то определенной сферы, иначе, пожалуй, его не примут... Сфера так сфера. Какие же вопросы волнуют умы современной молодежи?.. Их, наверно, немало. Это, главным образом, вопросы любви, брака, семьи и тому подобные... Да, эти проблемы тревожат действительно многих и широко обсуждаются. Итак, следует писать о семье... Но как это подать?.. М-да... Иначе, пожалуй, не примут. К чему говорить о черных днях, но...»

Его кровать от письменного стола отделяли всего пять-шесть шагов. Усевшись, он достал бумагу в зеленую клетку и решительно, как бы отрезая себе все пути к отступлению, написал первую строчку: «Счастливая семья». Это было название.

И тут кисть застыла. Он уставился в потолок, придумывая, где бы ему поселить эту счастливую семью.

«В Пекине? Нет, не годится! Там мертвящая атмосфера, даже воздух какой-то безжизненный. И от этой атмосферы семью, пожалуй, не отгородишь самыми высокими стенами.

Нет, Пекин отпадает. В провинциях Цзянсу и Чжэцзян со дня на день начнется война. О провинции Фуцзянь и говорить нечего. В Сычуани или Гуандуне? Война там уже идет. В Шаньдуне или Хэнани? О! О! Там похищают людей, а если похитят одного из героев, счастливой семью уже не назовешь. В иностранных сеттльментах Шанхая или Тяньцзиня чересчур высока квартирная плата... Поселить их за границей? Смешно!.. Не знаю, как обстоят дела в провинциях Юньань или Гуйчжоу, но уж очень неудобны там пути сообщения.

Он долго размышлял, но так и не смог придумать подходящего для своего семейства места и решил пока условно обозначить его буквой А. Тут он снова принялся размышлять: «Ведь сейчас много противников европейского алфавита, которые утверждают, что написанные буквами имена и географические названия ослабляют интерес читателя. Лучше бы и мне не прибегать к алфавиту, скорее примут рукопись... Где же, наконец, будут жить мои герои? В Хунани? Там тоже война, в Даляне? Опять-таки высока квартирная плата. Чахар, Цзилинь, Хэйлунцзян? Нет, тоже не годится. Говорят, там появились бандиты, даже конные...»

Он думал, думал, но так и не смог придумать ничего подходящего и в конце концов остановился на месте, обозначенном буквой А., где и поселил свою счастливую семью.

«В общем, вопрос исчерпан; счастливая семья будет жить в А.

В этой семье, разумеется, есть супруги — хозяин и хозяйка дома, вступившие в брак по любви. Они заключили брачный договор, на удивление подробный, из сорока с лишним пунктов, а потому на удивление равноправный и свободный. Оба они люди утонченные, возвышенные, с высшим образованием... Учиться в Японии теперь не в моде; допустим, следовательно, что наши герои учились на Западе. Муж всегда в европейском костюме и в накрахмаленном белоснежном воротничке, у жены очень пышные, завитые волосы, возвышающиеся надо лбом, подобно воробьиному гнезду. Она все улыбается, показывая свои белоснежные зубы, но платье носит китайское...»

— Нет, нет! Так не пойдет! Здесь двадцать пять фунтов!

Услышав за окном мужской голос, он невольно обернулся. Но занавески на окне были опущены — от пробившихся сквозь них ослепительных лучей солнца рябило в глазах. Тут раздался стук: очевидно, на землю сбрасывали мелкие поленья.

«Меня это не касается... Что за двадцать пять фунтов?» — подумал он и снова повернулся к столу.

«Герои — люди утонченные, возвышенные, очень любят художественную литературу, но не русскую, так как с детских лет росли в счастливой обстановке. Русские же в своих романах большей частью описывают жизнь низших слоев, которая не гармонирует с жизнью такой семьи... Двадцать пять фунтов?.. Не мое дело!

...Что же они читают? Стихи Байрона? Китса? Нет, это как-то несолидно. Ага! Нашел! Им очень нравится «Идеальный муж». Хотя сам я его и не читал, но раз его хвалят университетские профессора, значит, моим героям он должен нравиться. Он читает, она читает... У каждого свой экземпляр. Значит, всего в этой семье два экземпляра...»

Тут автор почувствовал, что живот у него подвело от голода, бросил кисточку и обеими руками подпер голову — она повисла, будто глобус между двумя подпорками.

«...Вот теперь они обедают. Стол накрыт белоснежной скатертью; повар подает блюда — китайские... Что же за двадцать пять фунтов? Неважно!.. Почему же все-таки китайские? Да ведь европейцы утверждают, что китайская кухня — самая передовая, самая вкусная и наиболее гигиеничная. Потому-то она им и нравится. Подано первое блюдо. Какое же именно?»

— Дрова...

Он испуганно оглянулся. За спиной стояла его собственная жена, уставившись на него темными, печальными глазами.

— Ты что? — спросил он сердито, раздраженный тем, что жена помешала творчеству.

— Дрова все вышли... сегодня купила немножко... В прошлый раз десять фунтов стоили двадцать четыре фэня, а сейчас он просит двадцать шесть. Я думаю, дать ему двадцать пять фэней, можно?

— Можно. Дай ему двадцать пять.

— Безмен у него неправильный. Он твердит, что связка весит двадцать четыре с половиной фунта, а по-моему, двадцать три с половиной. Можно?

— Можно! Двадцать три с половиной.

— Значит, пятью пять — двадцать пять; трижды пять — пятнадцать...

— Да, да, пятью пять — двадцать пять, а трижды пять — пятнадцать.— Он помолчал, потом рывком схватил кисточку и стал подсчитывать на бумаге в зеленую клеточку, на которой было написано — «Счастливая семья». Через минуту он поднял голову и сказал:

— Пятьдесят восемь фэней!

— Тогда у меня не хватает восьми или девяти...

Он выдвинул ящик письменного стола, собрал все медяки, монет двадцать, и сунул деньги ей в руку. Жена вышла, а он снова склонился над столом. Ему казалось, что голова у него распухла, будто наполнилась корявыми поленьями... Пятью пять — двадцать пять... В его мозг точно врезались, перепутавшись, арабские цифры. Он набрал в легкие воздуху и с силой его выдохнул, словно хотел выбросить из головы застрявшие там поленья и цифры. И верно, ему как будто стало легче, но тут им снова овладели неясные мысли.

«...Что же за блюдо? Пусть будет какое-нибудь необыкновенное. Филе с подливкой, креветки с трепангами — все это слишком обычно. Хорошо бы написать, что они ели, например, «битву дракона с тигром». Но что это за блюдо? Некоторые говорят, что этот деликатес кантонской кухни, который подается только на больших банкетах, готовят из мяса змеи и дикой кошки. Но я как-то видел это блюдо в меню ресторанов провинции Цзянсу, а ведь жители Цзянсу не едят как будто ни змей, ни кошек, у них это, пожалуй, угри и зеленые лягушки.

Тогда надо решить, откуда родом мои супруги? Нет, не буду! Не все ли равно, будут они есть змею с кошкой или угря с лягушками. На счастье семьи это не повлияет.

Итак, на первое у них будет «битва дракона с тигром».

И вот в центре стола ставится блюдо «битва дракона с тигром». Супруги одновременно поднимают палочки и, указывая на блюдо, друг другу улыбаются.

— My dear, please.

— Please you eat first, my dear.

— Oh no, please, you! [1]

И тут они одновременно протягивают палочки и одновременно берут по кусочку змеиного мяса... Нет, нет, змеиное — это уж слишком! Пусть лучше будет угорь. Итак, «битва дракона с тигром» приготовлена из угря и лягушек. Они одновременно захватывают по кусочку угря, одинаковой величины... пятью пять — двадцать пять... трижды пять... не мое дело... и одновременно подносят ко рту...»

---

[1] — Прошу, моя дорогая.

— Нет дорогой мой, сперва отведай ты.

— Ах, нет, пожалуйста, ты! *(англ.)*

Он никак не мог заставить себя сосредоточиться: кто-то суетился за его спиной — то входил, то выходил из комнаты. Ему хотелось оглянуться, но, продолжая терпеть этот шум, он подумал:

«Это, пожалуй, противно... Где найдешь такую семью? Ах, ах, мысли у меня как-то перепутались! Боюсь, не закончу рассказ. А такая прекрасная тема... Может быть, не стоит им получать высшее образование за границей? Ведь можно и у себя в стране? Оба они кончили университет, утонченны, возвышенны... Муж — писатель, она тоже писательница или почитательница литературы. Или, наоборот, она — поэтесса, а он — почитатель поэзии и женского пола. Или же...»

Тут он, наконец, потерял терпение и оглянулся.

Позади него рядом с книжным шкафом появилась куча капусты: внизу три кочана, в середине два и наверху один, все вместе они образовали огромную букву А.

— Ох! — испуганно воскликнул он и почувствовал, как кровь бросилась ему в лицо, а по спине побежали мурашки.— Ах!..— Он испустил долгий вздох, пытаясь избавиться от мурашек и сосредоточиться.

«Дом у счастливой семьи должен быть просторным. В нем кладовая, куда складывается все, в том числе и капуста. У хозяина отдельный кабинет с книжными шкафами вдоль стен, возле которых, само собой разумеется, нет никакой капусты. На полках книги — китайские, иностранные и среди них, конечно, «Идеальный муж» в двух экземплярах. Для спальни тоже отведена отдельная комната, в ней — медные кровати, а можно и попроще — деревянные, из вяза, которые делают в мастерской Первой тюрьмы. Под кроватями чистота...» Он взглянул под собственную кровать — хотя дрова кончились, там все еще валялась похожая на дохлую змею веревка.

«Двадцать три с половиной фунта!» — И он представил себе, как дрова «беспрерывно, будто река, плывут» под кровать. В голову опять стали лезть корявые поленья, тогда он поспешно встал и пошел запирать двери. Но тут спохватился, что это было бы слишком грубо, и ограничился тем, что опустил пыльную штору.

«По крайней мере, сохранил выдержку,— подумал он,— не изолировался полностью и в то же время избавился от заботы все время бегать открывать дверь. Словом, поступил согласно «учению о середине»...

«...Итак, дверь в кабинет мужа всегда закрыта.— Он снова сел за стол.— Если жене нужно о чем-нибудь посоветоваться,

она стучится и, только дождавшись разрешения, входит; это очень хорошее правило! Сидит, например, муж в кабинете, а жена хочет поговорить с ним о литературе, приходит и непременно стучит в дверь. Тут уж можно быть спокойным, что она не принесет капусту.

— Come in, please, my dear [1].

Но как быть, если у мужа нет времени рассуждать о литературе? Не обращать внимания? Пусть стоит за дверью и стучит? Нет, так, пожалуй, не годится... Не написано ли об этом в «Идеальном муже»? Это, наверно, прекрасная книга! Если получу гонорар, непременно куплю и прочту...»

— Шлеп!

Он сразу выпрямился, как палка, зная по опыту, что это жена хлопнула трехлетнюю дочку по затылку.

Счастливая семья!.. Прислушиваясь к плачу девочки, он думал:

«Ребенок у них будет позже, будет позже. А может быть, лучше, чтобы детей вообще не было? У бездетных всегда так чисто... Или лучше супругам жить в гостинице на всем готовом. А у одинокого еще чище...»

Плач все усиливался. Он встал и прислушался сквозь штору.

«Не помешали же Марксу детские крики написать «Капитал»,— продолжал он размышлять,— но Маркс был великим человеком...»

Он вышел из комнаты и открыл наружную дверь. В нос ему ударил запах керосина. У самой двери, справа, лежала дочка, уткнувшись лицом в землю. Заметив отца, она заплакала еще громче.

— Ладно, ладно, не плачь, моя хорошая, ну не плачь же.— Он взял ее на руки.

Потом повернулся и слева от двери увидел жену. Она стояла сердитая, выпятив грудь и подбоченившись, словно приготовилась делать гимнастику:

— Издеваешься ты надо мной, что ли? Нет чтобы помочь, только мешаешь. Ведь она опрокинула лампу с керосином. Что будем делать вечером?..

— Ну ладно, ладно, не плачь, не плачь,— будто не слыша дрожащего голоса жены, он ласково погладил дочку по голове и понес ее в дом.

---

[1] Пожалуйста, войди, дорогая *(англ.)*.

— Моя хорошая.— Он спустил ее на пол и, сев на стул, поставил дочку между колен.— Не плачь, хорошая моя. Сейчас папа покажет тебе, как умывается кошка.— Он вытянул шею, высунул язык и, будто лизнув ладони, стал тереть ими лицо, вертя головой.

— Ха-ха-ха, как наша Хуа-эр,— рассмеялась девочка.

— Да, да, как Хуа-эр.

Он еще раз мотнул головой и опустил руки. Дочка улыбалась, хотя слезы все еще дрожали в ее глазах. И тут он вдруг заметил, что у нее прелестное наивное личико, как было у ее матери пять лет назад. Особенно похожи губы, тоже алые, только рот меньше, чем у матери. В такой же ясный зимний день, когда он говорил ей, что одолеет все препятствия и всем пожертвует ради нее, она так же улыбалась, глядя на него сквозь слезы. Растерянный, будто чем-то опьяненный, он сидел и думал.

«О, любимые губы!..»

Штора вдруг поднялась, и в комнату внесли дрова.

Он вздрогнул и увидел, что девочка продолжает смотреть на него заплаканными глазами, чуть-чуть приоткрыв свои алые губки. «Губы...» — Он посмотрел в ту сторону, откуда в комнату таскали дрова.

«...Боюсь,— подумал он,— что и в дальнейшем у нас будет все то же: пятью пять — двадцать пять, девятью девять — восемьдесят один!.. И те же печальные глаза!..» Тут он схватил со стола лист бумаги в зеленую клетку, со строкой «Счастливая семья» и подсчетом платы за дрова, смял его, затем развернул и вытер дочке глаза и нос.

— Иди, моя хорошая, поиграй одна,— сказал он, слегка подтолкнув ее, и швырнул скомканную бумагу в корзинку.

Чувствуя себя виноватым перед дочкой, он обернулся и смотрел, как она спротливо бредет к двери. В ушах у него стоял стук падающих поленьев. Пытаясь сосредоточиться, он отвернулся и закрыл глаза, чтобы избавиться от всей этой путаницы, обрести, наконец, тишину и покой. Перед глазами возник круглый темный цветок с оранжевой сердцевиной, проплыл от левого глаза к правому и растаял. За ним проплыл зеленый цветок с темной сердцевиной, а следом — шесть кочанов капусты, которые вдруг выросли перед ним в огромную букву А.

Март 1924 г.

МЫЛО

Повернувшись спиной к северному окну, откуда падали косые лучи вечернего солнца, жена Сы-мина и ее восьмилетняя дочь Сю-эр клеили из бумаги серебряные слитки. Послышалось грузное, медлительное шарканье — госпожа Сы-мин сразу узнала, что это идет в своих матерчатых туфлях муж, но не обернулась и продолжала клеить. И лишь когда подошвы, шаркая все ближе и громче, остановились совсем рядом, она не вытерпела и взглянула: Сы-мин, весь изогнувшись, силился что-то достать из внутреннего кармана, спрятанного под полой халата, поверх которого была еще полотняная кофта.

Наконец, извернувшись, он с трудом вытащил руку, в которой лежал маленький продолговатый бледно-зеленый сверток, и протянул его жене. Взяв сверток, она тут же почувствовала неуловимый аромат, похожий на оливковый, а на бледно-зеленой обертке увидела сверкающую золотом печать и множество тончайших узоров. Сю-эр подбежала к матери и хотела вырвать сверток — та поспешно ее оттолкнула.

— В магазин заходил?..— спросила она, разглядывая сверток.

— Ага,— сказал Сы-мин, не сводя глаз с обертки.

Под зеленоватой оберткой оказалась еще одна — из тонкой бумаги и тоже зеленоватая: в нее был завернут плотный, глянцевитый зеленоватый предмет, покрытый мельчайшими узорами; тонкая бумага, когда ее сняли, оказалась рисового цвета, а неуловимый, похожий на оливковый, запах стал сильнее.

— Какое прекрасное мыло,— сказала жена, бережно, как ребенка, поднося зеленоватый кусок к самому носу.

— Ага, будешь теперь мыться этим...

Она видела, что при этом он смотрит на ее шею, и почувствовала, как у нее запылало лицо. Она и сама знала, когда порой, дотронувшись до шеи, особенно за ушами, ощущала под пальцами шероховатость, что это многолетняя грязь, но даже не думала обращать на нее внимание. Теперь же, под пристальным взглядом мужа, да еще держа у самого лица это зеленоватое, странно пахнущее заморское мыло, она почувствовала, что неудержимо краснеет до самых ушей. И тут же решила после ужина помыться этим мылом как следует.

«Не все отмоешь мыльным корнем»,— подумала она.

— Ма, а это дай мне! — И Сю-эр потянулась за бледно-зеленой бумажкой; прибежала и младшая дочь — Чжао-эр, которая

играла во дворе. Быстро их оттолкнув, госпожа Сы-мин завернула мыло сначала в тонкую бумагу, потом опять в зеленоватую, привстала, положила на самую верхнюю полку над умывальником, полюбовалась и снова принялась за слитки.

— Сюэ-чэ-эн! — вдруг, будто вспомнив что-то, крикнул Сы-мин и уселся рядом с женой на стул с высокой спинкой.

— Сюэ-чэн! — закричала жена, вторя мужу.

Она перестала клеить и прислушалась: никто не откликался. Видя, что муж поднял голову и нетерпеливо ждет, она, чувствуя неловкость, пронзительно, что есть мочи, крикнула:

— Цюар! [1]

На этот раз крик подействовал: послышался скрип ботинок, и через секунду перед ней стоял Цюар. Он был в трусиках; его круглое, полное лицо лоснилось от пота.

— Куда ты пропал? Почему тебя отец никак не дозовется? — строго спросила мать.

— Гимнастикой занимался...— Он тут же повернулся к Сы-мину и, вытянувшись в струнку, вопросительно посмотрел на отца.

— Сюэ-чэн, я хотел у тебя спросить: что значит «одуфу»?

— «Одуфу»?.. Это, наверное,— «очень злая женщина»?..

— Вздор! Чушь! — внезапно вспылил Сы-мин.— Это я-то «женщина»?!

Сюэ-чэн испуганно попятился и вытянулся еще сильнее. Хотя ему казалось иногда, что у отца походка — как у актера на амплуа старика, но на женщину он вовсе не был похож. Сюэ-чэн понял, что ответил не так.

— Будто я и сам не знаю, что «одуфу» — это «очень злая женщина»! Говорю же тебе: это не по-китайски было сказано, а по-чертовски! Так вот, ты понимаешь или нет, что это значит?

— Не... не понимаю,— ответил окончательно растерявшийся Сюэ-чэн.

— Зря я деньги трачу на твое ученье, если даже такого пустяка ты не понимаешь. Учителя твои только бахвалятся, что-де в их школе «равномерно развивают речь и слух», а сами ничему научить не могут. А ведь мальчишке, который сказал мне это по-чертовски, было не больше пятнадцати — моложе тебя, а так и чешет вовсю. А ты даже не знаешь, что это значит. «Не понимаю»! Как только стыда хватает такое сказать! Сейчас же ступай и отыщи мне это слово в словаре!

---

[1] Цюар — у Сюэ-чэна, как это принято в Китае, было еще и детское имя — Цюар.

Сюэ-чэн еле слышно ответил «хорошо» и почтительно удалился.

— Это черт знает что такое,— возмущенно продолжал Сы-мин.— Я говорю о нынешней молодежи. Да, при Гуансюе я первый ратовал за школы. Но кто мог знать, что они докатятся до такого безобразия: все какие-то «свободы» да «освобождения», а вместо знаний — шиш! Вот и Сюэ-чэн. Сколько я на него потратил — все пошло прахом. С таким трудом устроил его в смешанную англо-китайскую школу: английский язык, «равномерное развитие речи и слуха» — ну, думал, будет толк. И что же? Год проучился — не знает даже, что такое «одуфу», сидит, наверное, как и раньше, на мертвых книгах. Чему могут научить в таких школах? Скажу откровенно: я позакрывал бы их все до одной!

— И то верно, лучше закрыть,— сочувственно поддакнула госпожа Сы-мин, продолжая клеить.

— Сю-эр и нашу младшую отдавать в школу не стоит. «К чему девочкам учиться?» — говаривал, бывало, тесть — противник женского образования. А я еще на него нападал! Теперь вижу, что старик был прав. Подумать только: мало того, что бабы стадами начали разгуливать по улицам — уже на одно это смотреть противно, так они еще стригутся! А всего противней стриженые студентки — по мне уж простительней быть солдатом или бандитом. Это от стриженых все и пошло вверх ногами, нужны строжайшие меры...

— Правильно. Мало, что мужики на монахов стали похожи, так теперь и бабы полезли в монашки.

— Сюэ-чэн!

Сюэ-чэн быстро вошел, держа в руках небольшую, толстую книжку с золотым обрезом. Протянув ее отцу, он показал на раскрытую страницу:

— Вот здесь как будто похоже...

Сы-мин взял книгу — это был словарь. Но печать была слишком мелкой, а строчки горизонтальными. Он наморщил брови, подошел к окну и, щурясь, прочел вслух строчку, на которую указал Сюэ-чэн:

— «Название филантропического общества, основанного в XVIII веке». Нет, не то. А как это читается? — спросил он, показывая на стоящие впереди «чертовы» буквы.

— Отэфулосы (Oddfellows).

— Не то, не то, совсем не то,— сказал Сы-мин, снова закипая,— я же тебе говорю: это нехорошее слово, бранное слово, которым меня можно обругать. Понял? Иди ищи!

Но Сюэ-чэн смотрел на отца и не двигался с места.

— Как же он так вот, с бухты-барахты, решит тебе такую головоломку? Ты бы ему сперва объяснил толком, что и как, чтобы он знал, где искать,— сказала мать с легкой укоризной. Ей стало жаль сына.

— Это случилось в магазине Гуан Жунь-сяна, на главной улице, когда я покупал мыло,— сказал Сы-мин. Он перевел дух и повернулся к жене.— Там было еще трое школьников — тоже что-то покупали. Возможно, я им показался слишком придирчивым. Перебрал подряд шесть-семь кусков — по четыре мао каждый — и ничего не взял. Потом посмотрел те, что по одному мао за штуку,— они оказались слишком плохого качества, совсем без запаха. Тогда я решил взять что-нибудь по средней цене и выбрал это зеленое — за два мао четыре фэня. А приказчик все на меня кривился — видно, привык важничать и глаза задирать выше лба. А тут еще эти сопляки все чего-то перемигивались да пересмеивались и болтали на чертовом языке. Прежде чем платить, я хотел развернуть обертку — обертка-то не наша, как узнаешь, хороший товар или нет. Так этот хам не только не разрешил мне, но еще и нагрубил. А сопляки поддакивали и перебрасывались шуточками. И вот тут-то самый из них младший и сказал то самое слово,— при этом он смотрел на меня,— и все так и прыснули: ясно, это было какое-то ругательство.

И, повернувшись к Сюэ-чэну, он сказал:

— Искать надо в разделе бранных слов — только там!

Сюэ-чэн опять еле слышно сказал «хорошо» и смиренно удалился.

— А еще кричат о какой-то там «новой культуре»,— продолжал Сы-мин, уставившись в потолок.— И так уже «окультурились» — дальше некуда! Ни в школах, ни в обществе не стало морали; если не примут спасительных мер — страна погибнет. Но представь, до чего же мне грустно было видеть...

— Что? — равнодушно спросила жена.

— Почтительную дочь,— торжественно сказал Сы-мин и посмотрел на супругу.— Там, на улице, были две нищенки. Одна — девушка лет восемнадцати,— по правде сказать, в ее возрасте неудобно просить милостыню, но она просит. И с ней старуха лет шестидесяти или семидесяти, седая и слепая. Они сидели под навесом возле мануфактурной лавки и просили подаяния. Все говорили, что это почтительная дочь, а старуха — ее бабушка. Стоит девушке что-нибудь выпросить — тут же отдает бабушке, а сама сидит голодная. И много ли ей подают — этой почтительной дочери? — Он впился в жену глазами, как бы желая вытянуть из нее ответ.

Но она не отвечала и тоже не сводила с него глаз, будто ждала, пока он все разъяснит сам.

— Нет,— ответил он наконец самому себе.— Я долго наблюдал и видел только, как кто-то подал ей медный грош. Все остальные столпились вокруг — устроили себе развлечение. А два каких-то лоботряса, так те и вовсе распоясались. Один говорит другому: «Ты, А-фа, не смотри, что она такая замараха. Купить пару кусков мыла да всю ее как следует надраить и отмыть — будет девочка что надо!» Каково? Ты подумай только, что говорят!

Хмыкнув, она опустила голову, о чем-то задумалась, потом безучастно спросила:

— А ты-то ей подал что-нибудь?

— Я? Нет. Подать медяк-другой было бы не совсем удобно: она ведь не простая попрошайка, а...

— Ну-ну.— И, не дослушав, жена неторопливо поднялась и пошла на кухню. Уже сгущались сумерки, пора было ужинать.

Сы-мин тоже поднялся и вышел во двор. Там было светлее, чем в доме. В углу, у стены, Сюэ-чэн занимался гимнастикой: таков был отцовский наказ, и Сюэ-чэн уже более полугода исполнял повеление, используя для этого, в целях экономии времени, сумерки. Сы-мин одобрительно кивнул и, заложив руки за спину, стал не спеша прохаживаться по пустынному двору. Вскоре единственный во дворе горшок с вечнозеленым растением исчез в темноте, среди белых облаков, похожих на клочья ваты, засверкали звезды, и стало совсем темно. Сы-мин почувствовал внезапное возбуждение, как перед подвигом: сейчас он бросит вызов всему окружающему — и негодяям-школьникам, и этому порочному обществу. Воодушевившись, он зашагал решительней и тверже, все сильнее топая подошвами своих матерчатых туфель. Потревоженная наседка и ее цыплята всполошились в курятнике.

В столовой зажгли лампу: это был сигнал к ужину; вся семья собралась за столом, стоявшим посреди комнаты. Лампа стояла на столе; на почетном месте, в центре, занимая один целый край стола, восседал Сы-мин. Лицо у него было полное и круглое, точь-в-точь как у Сюэ-чэна, если не считать торчащих тонких усиков; в горячих парах капустного супа он походил на бога богатства в кумирне. Слева сидела жена, держа на руках Чжао-эр; справа — Сюэ-чэн и Сю-эр. Ужин проходил в молчании, только палочки стучали, как частые капли дождя.

Чжао-эр опрокинула чашку, суп разлился по столу. Сымин, выпучив узкие глазки, так на нее вытаращился, что она чуть не заплакала,— лишь тогда он отвел взгляд и потянулся палочками за кочерыжкой, которую перед этим успел себе присмотреть. Но кочерыжка исчезла. Он покосился по сторонам и увидел, что Сюэ-чэн запихивает ее себе в рот. Пришлось Сымину удовольствоваться пожелтелыми капустными листьями.

— Ну, что, Сюэ-чэн,— спросил он, глядя на сына,— нашел ты в словаре это слово?

— Какое? Ах, это... Нет еще.

— Эх ты! И невежда, и невежа — только и умеешь лопать! Поучился бы у той почтительной девушки: нищая, а как угождает бабушке! Ради нее и голодать готова. Да разве вам, теперешней молодежи, это понять? Распустились, обнаглели — такими же балбесами растете, как те двое...

— Я вроде бы вспомнил одно слово, да только не знаю — то ли. Я думаю — может, они сказали «артэфур»?

— Во-во, точно! Оно самое! Так и сказали: «одуфуле»[1]. А что это значит? Ведь ты из той же шайки — должен знать!

— Я... я не совсем понимаю, что это значит.

— Вздор! Обмануть меня хочешь. Все вы — одного поля ягода!

— Небо — и то за едой не карает,— вдруг вмешалась жена.— Чего ты так злишься сегодня — даже за столом скандалишь? Откуда ребенку знать?

— Что т-такое? — Сы-мин уже хотел взорваться, но, увидев, что ее ввалившиеся щеки напряглись и побагровели, а треугольные глазки зловеще блеснули, поспешил сменить тон:

— Я вовсе не злюсь, а только хочу, чтобы Сюэ-чэн стал сообразительнее.

— Да где же ему сообразить, что у тебя на уме! — распалилась жена.— Будь он сообразительнее — давно бы с фонарями побежал искать для тебя эту почтительную девицу. Ты уже купил для нее кусок мыла, осталось теперь купить другой...

— Что за чушь! Это же тот шалопай сказал.

— Не знаю! Осталось купить еще кусок, да всю ее надрать и отмыть, да тебе преподнести — тогда только и мир настанет на земле.

— Что ты мелешь! При чем здесь я? Я просто вспомнил, что у тебя нет мыла, и...

— Как это — при чем здесь ты? Ты же его для нее купил —

---

[1] «О д у ф у л е» — искаж. англ. old fool — старый дурак.

можешь теперь мыть ее и драить. А мне его не надо, я его не стою и не желаю примазываться к чужой славе.

— Ну что ты мелешь! Уж вы, женщины...— Сы-мин запнулся, по взмокшему лицу текли ручьи, как у Сюэ-чэна после гимнастики,— впрочем, возможно, виноват был слишком горячий суп.

— Что — мы, женщины? Да уж гораздо лучше вас, мужчин. То вы поносите молоденьких студенток, то молодых побирушек расхваливаете — а на уме всегда одно. «Надраить»... Бесстыдники!

— Сколько можно повторять! Это тот шалопай...

— Сы-мин! — раздался вдруг громкий оклик со двора.

— Это ты, Дао-тун? Иду! — крикнул Сы-мин, узнав известного своим зычным голосом Хэ Дао-туна и обрадовавшись, как преступник, которому вдруг объявили помилование.— Сюэ-чэн, живей посвети дяде Хэ и проводи его в кабинет.

Сюэ-чэн зажег свечу и провел Дао-туна в западную пристройку. Следом шел Бу Вэй-юань.

— Прошу извинить, что не встретил сам.— Сы-мин, дожевывая пищу, вышел к гостям и сложил руки в приветствии: — Не угодно ли разделить нашу скромную трапезу?

— Спасибо, только что из-за стола,— сказал Вэй-юань, выступая вперед и тоже приветственно сложив руки.— Даже вечером не даем вам покоя: необходимо срочно представить темы конкурсных сочинений для восемнадцатого заседания литературного общества «Переменный ветер» — завтра уже семнадцатое число.

— Как! Значит, сегодня — шестнадцатое? — спросил Сы-мин, с трудом соображая.

— Ты посмотри — какой у него обалделый вид! — закричал Дао-тун.

— Так вот, их сегодня же надо доставить в редакцию, чтобы завтра они наверняка появились в газете.

— Тему для статьи я придумал. Вот, погляди: подойдет? — Дао-тун вынул из носового платка листок бумаги и протянул Сы-мину.

Сы-мин подошел поближе к свету, развернул лист и стал медленно читать:

— «Проект всенародной петиции на Высочайшее Имя Президента с мольбою об издании Особого Указа о сугубом почитании священных канонов и о поклонении матери Мэн-цзы, дабы пресечь упадок нравов и сохранить чистоту национального духа». Превосходно. Только не длинновато ли?

— Это ничего! — закричал Дао-тун.— Я уже подсчитал: обойдется не дороже объявления. А вот как насчет темы для стихов?

— Для стихов? — Сы-мин принял торжественный вид.— У меня есть одна тема: почтительная дочь. Случай из жизни, который непременно следует отметить как пример для подражания. Сегодня на главной улице...

— Э, нет, не годится,— прервал его Вэй-юань, замахав руками.— Я ее видел. Она, вероятно, из пришлых: я с трудом ее понимал, да и она меня тоже, так я и не узнал, откуда она. Впрочем, все уверяют, что это почтительная дочь; но, когда я спросил, умеет ли она писать стихи, замотала головой. Вот если бы умела — тогда другой разговор.

— Но почтительность и преданность — разве не великие женские добродетели! Так что можно на худой конец и без стихов...

— Ты сам отлично знаешь, что это уже не то! — энергично запротестовал Вэй-юань, подбегая к Сы-мину и тыча в него растопыренными пальцами,— надо, чтоб сочиняла,— тогда интереснее.

— Мы дадим в газете название этой темы вместе с пояснением,— сказал Сы-мин, отбиваясь.— Этим мы, во-первых, воздадим должное почтительной дочери и, во-вторых, пользуясь случаем, подпустим шпильку обществу. Ведь до чего дошло: я долго стоял и наблюдал со стороны — хоть бы один подал ей медяк, вот как все очерствели!..

— Эге, старина,— опять подбежал к нему Вэй-юань,— да это ты, никак, в мой огород? «Перед лысым монахом поносишь бандита за лысину»? У меня, как назло, не было ничего при себе — вот и не подал.

— Только не принимай это в свой адрес,— сказал Сы-мин, отмахиваясь от него,— ты, разумеется, не в счет и речь не о тебе. Дай мне досказать: этих нищенок окружила целая толпа — и все только отпускали шуточки, причем без всякого стеснения. А два каких-то лоботряса и вовсе распоясались — один другому говорит: «А что, А-фа, купить пару кусков мыла да всю ее как следует надраить и отмыть — и будет что надо». Подумай только, этакое...

— Ха-ха-ха! Пару кусков! — раздался вдруг громоподобный хохот Дао-туна.— Мыла купить, ха-ха-ха-ха!

— Дао-тун, Дао-тун, да не кричи же так,— испуганно забормотал Сы-мин.

— Надраить!.. Ха-ха-ха!

— Дао-тун! — Лицо Сы-мина потемнело.— Мы говорим о деле, а ты гогочешь так, что в голове звенит. Послушай: эти две темы мы сейчас же отошлем в редакцию, чтобы их завтра же напечатали. Очень прошу вас обоих взять это дело на себя.

— Конечно, конечно, разумеется,— с готовностью откликнулся Вэй-юань.

— Ха-ха-ха, отмыть, надраить... хи-хи-хи...

— Дао-тун!! — рявкнул Сы-мин в исступлении.

Дао-тун осекся и перестал смеяться. Они составили пояснение. Вэй-юань переписал его на почтовую бумагу и вместе с Дао-туном помчался в редакцию. Сы-мин проводил их со свечой до ворот. Возвращаясь в дом, он был слегка обеспокоен и, прежде чем войти, постоял в нерешительности у порога. А когда вошел, ему сразу бросился в глаза маленький зеленоватый прямоугольник мыла, лежавший посреди обеденного стола; золотая печать на обертке ярко блестела при свете лампы; вокруг печати вились тонкие узоры.

Сю-эр и Чжао-эр играли, забившись под стол; Сюэ-чэн рылся в словаре. Позади, в самом удаленном от лампы, полузатененном углу комнаты, на стуле с высокой спинкой, Сы-мин увидел жену: на ее безжизненном, одеревеневшем лице с невидящими глазами не было никакого выражения.

— Надраить..., Бесстыдники...

Едва слышно прозвучал у него за спиной голос Сю-эр, однако, обернувшись, он не заметил ни малейшего движения — только Чжао-эр терла пальчиками лицо.

Не зная, куда деваться, Сы-мин потушил свечу и вышел во двор. Прохаживаясь взад-вперед, он опять, забывшись, разбудил курицу с цыплятами — пришлось ступать осторожнее и держаться подальше от курятника. Наконец из столовой лампу унесли в спальню. Он видел, как лег на землю лунный свет, укрыв ее белым покрывалом без единого шва, а среди облаков — как нефритовое блюдо без малейшей щербинки — показалась луна.

На душе было тоскливо: он чувствовал себя таким же горьким, беспризорным сиротой, как та почтительная девушка. В эту ночь он заснул поздно.

Однако наутро мыло пошло в дело. Поднявшись позже обычного, Сы-мин увидел, как жена, склонившись над умывальником, трет себе шею; за ушами вздымалась высокая, плотная пена — никакого сравнения с жиденькой, белесой пеной от мыльного корня, которым она до этого пользовалась. С той поры

от жены Сы-мина постоянно исходил неуловимый запах, похожий на оливковый. Полгода спустя он сменился другим. Этот, по словам свидетелей, напоминал уже аромат сандалового дерева.

Март 1924 г.

СВЕТИЛЬНИК

Атмосфера в чайной, единственной на всю Цзигуантунь, сгущалась; посетителям казалось, что в ушах у них все еще стоит слабый, приглушенный крик:

— Погасите же его, погасите!..

Разумеется, испуганы были далеко не все. Жители этой деревни вообще неохотно оставляли свои дома, и всякий раз, когда им нужно было куда-либо пойти, заглядывали в «желтый календарь»: уж в нем-то, знали они, наверняка найдется точный ответ. Но даже если в календаре и не было сказано, как поступить в том или ином случае, сперва следовало умилостивить чудодейственные силы, убедиться в том, что благоприятное стечение обстоятельств налицо, и лишь тогда отправляться по своим делам. Собравшиеся в чайной в этот хмурый весенний полдень молодые гуляки, чуждые такого рода запретам, всегда вели себя независимо, поэтому жители деревни, в своей замкнутости словно погруженные в зимнюю спячку, имели достаточно оснований считать их бездельниками, проматывающими состояние родителей.

Но сегодня атмосфера в чайной была действительно накалена.

— Ты уверен, что не ослышался? — придвинув к себе чашку с чаем, спросил юнец с клинообразным, наподобие треугольника, лицом, из-за чего приятели прозвали его Сань Цзяо-лянем, Треугольнолицым.

— Еще раз повторить? — ответил Фан Тоу.— Об одном лишь просил: погасите же, погасите! Глаза блестят, молнии мечут. Страх!.. Тебе плевать, а для деревни — беда. В конце концов надо придумать, как от него избавиться.

— Избавиться? Велика важность. Он ведь... Ну и тварь! Когда храм начали строить, его пращур деньги жертвовал, а у этого сейчас одно на уме — светильник погасить. Хорош от-

прыск! Никакого почтения к предкам. Вот что, давайте пойдем в уезд и сдадим его родичам,— предложил Ко Тин, распаляясь, и так стукнул кулаком по столу, что фарфоровая крышечка на чашке звякнула и перевернулась.

— Еще чего! Выпроваживать из деревни за непочитание родителей могут только сами родители, на худой конец дядя со стороны матери,— заметил Фан Тоу.

— Дядя-то у него есть,— уныло проговорил Ко Тин.— Жаль только, со стороны отца...

— Да, Ко Тин! — вдруг спохватился Фан Тоу.— Чем закончилась вчера игра? Повезло тебе?

Ко Тин тупо уставился на него, но ответить не успел. Заговорил Чжуан Ци-гуан:

— Чего захотел, светильник погасить! Что тогда станется с нашей Цзигуантунь? Ведь от этого светильника идет ее название. Подумал он об этом? Цзи гуан — Свет счастья. Погасите светильник, и всему конец. Старики знают, что говорят: зажег светильник лянский У-ди, с тех пор он и горит, не гаснет. Даже когда длинноволосые взбунтовались, он не погас... Драгоценным камнем сверкает. Верно я говорю? Кто ни пройдет мимо, непременно завернет в храм.— Чжуан Ци-гуан восхищенно прищелкнул языком.— А до чего красиво! Смотреть любо-дорого... С чего вдруг ему вздумалось всех взбаламутить?

— Не догадываешься? Спятил он, ума лишился,— презрительно бросил Фан Тоу.

— Гм! Зато ты при уме! — осклабился Чжуан Ци-гуан. Его круглое лицо лоснилось от пота.

— А я вот думаю, хорошо бы его обмануть разок, как уже сделали однажды,— подала голос прислушивавшаяся к разговору хозяйка чайной Хуэй У-шэнь, она же и прислуга. Вовремя уловив, что спор может уклониться в сторону от предмета, который ее заинтриговал, она поспешила вернуть ему нужное направление.

— Как же это удалось? — с сомнением спросил Чжуан Ци-гуан.

— А с ним уже случалось раз такое, еще при жизни отца. Обманули его, вот он и поправился.

— Обманули? Почему я об этом не знаю? — спросил Чжуан Ци-гуан, еще больше удивляясь.

— Где вам было знать! Мальчиками вы были, молокососами, только и знали, что под себя ходить... И я была тогда совсем другой. Видели бы вы мои руки! Правду говорю, красавицей слыла...

— Да ты и сейчас красотка! — ухмыльнулся Фан Тоу.

— Иди ты, знаешь куда! — прикидываясь рассерженной, взглянула на него хозяйка и засмеялась.— Не трепи языком, когда дело говорят. Он тогда был еще совсем зеленый. А старика его тоже считали малость тронутым. Помню, рассказывали, повел он его в храм. Надо же было выучить, как бить поклоны! Богу земли, Генералу Главному, что ведает моровыми болезнями, владыке Неба, много их там всяких. А он перепугался и бежать, ни за что не хотел кланяться. Вот с той поры он и с придурью. С первым встречным советуется, как бы ему погасить светильник у алтаря в главном зале. Сто́ит, уверяет, погасить, и всем бедам конец: саранче, мору... Видно, опять нечистая сила в него вселилась и боится, как бы он там, на праведном пути, взаправду не свиделся с духами. Кто теперь из нас боится бога земли?! Чай у вас не остыл? Я подбавлю кипятку... Ну, хорошо. Один раз он сам пробрался в храм, чтобы погасить светильник. А отец его — так он любил, так любил сыночка, ни за что не согласился, чтобы его посадили под замок. Что тогда было! Деревня ропщет, все переругались, ничего с ним поделать не могут. Счастье еще, мой смертный дух [1] жил тогда, он и придумал. Обернул светильник одеялом — темно в храме, хоть глаз выколи! — и привел его туда. Ну, говорит, гляди, видишь, погасили!..

— Да-а, теперь с ним хлопот не оберешься! — сказал Ко Тин.— Ну и тварь! Убить его, и дело с концом.

— Что ты, в своем ли уме? — замахала руками хозяйка, испуганно взглянув на него.— Куда это годится? Да его дед печать держал! [2] Он и сейчас следит за нами оттуда!..

Приятели Ко Тина понимающе переглянулись,— вряд ли они могли бы предложить какое-либо другое средство, кроме повторения хитрости «смертного духа» хозяйки.

— Ну, а потом он поправился,— весело заключила та свой рассказ, вытерев тыльной стороной ладони пену у рта.— Совсем было выздоровел. Ни разу даже не заглянул в храм с той поры, много лет и не вспоминал о нем. Не знаю, что это с ним теперь стряслось. Может, из-за храмового праздника? Увидел, как выносили идолов, и опять рехнулся. Нынче сюда наведался, не иначе, как надумал в храм идти. Вы бы посоветовались с господином Сы, что ни говорите, дядя он ему. Почему бы и сейчас не

---

[1] Так в этой деревне женщины из простонародья называют своих покойных мужей.

[2] То есть служил чиновником по сбору недоимок.

обмануть? Разве не пятый из братьев Лянов[1] зажег этот светильник? Все только и говорят: стóит ему погаснуть, и у нас тут море разольется, а мы рыбами станем. Вы, правда, сходите к господину Сы и посоветуйтесь с ним. Не ровен час...

— Сперва нужно пойти посмотреть, что в храме делается,— сказал Фан Тоу и с важным видом направился к выходу.

За ним вышли Ко Тин и Чжуан Ци-гуан. Последним встал из-за стола Сань Цзяо-лянь. Уже в дверях он обернулся и пренебрежительно бросил хозяйке:

— На этот раз запишешь за мной. Подсчитай, сколько мы должны...

Та ничего не имела против; она подошла к стене на восточной стороне чайной и в том месте, где уже был нарисован маленький треугольничек, к длинному ряду палочек дописала углем еще две.

Они увидели его издали. Он стоял в нескольких шагах от кучки зевак, толпившихся возле храма, среди которых были дети.

Ворота храма оказались запертыми.

— Вот это — дело! — обрадованно сказал Ко Тин.— Все же догадались закрыть.

Когда они подошли ближе, дети, несколько осмелев, обступили их полукольцом. Помешанный тоже повернулся лицом к ним.

Он был таким же, каким они видели его всегда. Желтое, квадратное лицо, синий поношенный халат без подкладки. Лишь в прищуренных, узких глазах под густыми бровями сверкал безумный огонь. Он смотрел на них долгим немигающим взглядом, вмещавшим в себя одновременно и страх, и какую-то досаду. В его коротких волосах застряли две рисовые соломинки, очевидно, дети воткнули их ему украдкой из-за спины, об этом нетрудно было догадаться по их лукавым взглядам и высунутым языкам.

Приятели остановились, переглянулись.

— Ты чего здесь? — бесцеремонно спросил Сань Цзяо-лянь, шагнув к нему.

— Я просил Лао Хэя открыть мне,— кротко ответил тот тихим голосом.— Понимаете, там светильник, который нужно

---

[1] Хозяйка чайной повторяет сказанное Чжуан Ци-гуаном, не зная, кто такой Лянский император У-ди, поэтому воспринимает его имя по созвучию со словами «Лян у ди», то есть «пятый младший брат Лянов».

погасить... Вы ведь видели это страшилище о трех головах и шести руках? Лицо синее, три глáза под высоким тюрбаном. Половина головы бычья, зубы кабаньи... Нужно погасить. Погасим, и тогда ни саранчи не будет, ни мора. Столько людей болеют сейчас ящуром!..

— Хи-хи! — злорадно хихикнул Ко Тин.— Вздор! Погасишь светильник, и саранчи налетит еще больше. Вот тогда ящуром и заболеешь.

Мальчишка-голыш поднес ко рту трубочку из тростника, прицелился и, дунув вишневыми губами, выстрелил:

«Бах!..»

— Иди, иди отсюда, слышишь? — громко сказал Ко Тин, обращаясь к помешанному.— Если не уйдешь, достанется тебе от дяди, все кости переломает. А светильник я за тебя погашу. Придешь денька через два — убедишься...

— Ты? Погасишь? — насмешливо спросил тот и сам же ответил: — Не сможешь! Да и не нужны вы здесь, я сам погашу. Сейчас погашу!

Его сверкающий молниями взгляд словно пригвоздил Ко Тина к месту. Тот сразу скис под этим взглядом и поспешил отвести глаза. Зато Фан Тоу не растерялся. Он встал между ними и внятно произнес:

— Ты что, соображать разучился? Бестолковый какой! Сейчас я объясню. Ну, допустим, погасим светильник. Неужели ты думаешь, что вся эта пакость мигом исчезнет? Как бы не так! Чем морочить себе мозги, шел бы ты отсюда. Отоспаться тебе надо...

— Я знаю, ничего не изменится, даже если и погасим,— ответил тот неожиданно для всех вполне разумно и загадочно улыбнулся, но тут же снова стал подозрительным и, уйдя в себя, сказал: — Нет, только это я и могу сделать. Я уже однажды был здесь, и тогда мне полегчало... Я должен его погасить сам!

Он резко повернулся и с силой толкнул ворота.

— Эй, ты! — взорвался Ко Тин.— Ты что, не из нашей деревни? Хочешь, чтобы все мы в рыбешек превратились?! А ну, проваливай отсюда! Тебе все равно не открыть ворот, сил не хватит. И светильник не погасить. Пошел домой!

— Не пойду, я должен погасить!

— Не выйдет, ворот не откроешь!

— . . . . . .

— Говорят тебе, не откроешь!

— Что ж, тогда найду другое средство,— глухо сказал он, повернувшись к ним лицом.

— Гм! Хотел бы я знать, что это за средство?

— . . . . . .

— Молчишь? Тебя спрашивают, что ты еще надумал?

— Я подожгу!

— Что? — оторопев от неожиданности, переспросил Ко Тин. То ли он не понял, то ли не расслышал сказанное.

— Подожгу.

На миг воцарилась тишина, какая бывает после удара в каменный гонг, звук которого как бы растворяется в воздухе. В этой звенящей тишине застыло все живое. Но уже в следующее мгновение люди зашушукались, еще через мгновение они разом подались назад и бросились врассыпную. Двое или трое нерешительно остановились поодаль. Из-за стены, со стороны противоположного входа в храм, послышался предостерегающий крик Чжуан Ци-гуана:

— Лао Хэй, беда! Запри ворота покрепче! Ты слышишь меня, Лао Хэй? Покрепче запри! Мы пошли. Будем думать, как управиться с ним. Скоро вернемся.

Но помешанный уже не замечал их. Его безумные, метавшие молнии глаза шарили по земле, по небу, по разбегающимся фигурам людей, словно он надеялся найти так нужное ему сейчас горючее.

Не успели Фан Тоу и Ко Тин, снуя, словно челноки в ткацком станке, обегать и нескольких дворов, как вся деревня пришла в возбуждение. Грозный крик: «Подожгу!» — проник в уши и сердца людей. Таких, кто еще глубже погрузился бы в состояние спячки, зажав уши, не оказалось вовсе. Атмосфера накалилась во всей деревне, и каждый, кому передалось это напряжение, уже не мог оставаться спокойным, предчувствуя, что вот-вот превратится в жалкую рыбешку, а Поднебесная рухнет. Люди смутно догадывались, что гибель грозит не только их Цзигуантуни, но всему миру, ведь Цзигуантунь была для них целым миром, Поднебесной.

Вскоре центр событий переместился в гостиную почтенного господина Сы. На главном месте восседал прекрасный своими добродетелями, внавший с годами в детство старец Го Лао-ва, морщинистый, словно высушенный на ветру померанец; редкие седые усы, свисавшие на подбородок, он подкручивал с такой яростью, будто собирался их выдернуть.

— Еще утром,— медленно заговорил он, оставив наконец в покое усы,— старший сын Лао Фу, которого хватил удар... ну,

тот, что на западном краю деревни... верно сказал. Причина есть... беспокойство пошло среди духов общины... Так вот... случись, помилуй бог, это самое... петухи и собаки всполошатся... тогда вашему уважаемому дому... э-э... не избежать... этого самого... Все хлопоты на вас лягут...

— Да? — спокойно, словно сказанное не заслуживало внимания, переспросил его господин Сы, продолжая поглаживать седые сомовьи усы, свисавшие ниточками с верхней губы.— Это ведь возмездие его отцу. Разве при жизни он верил в Будду?.. Мы с братом никогда не ладили, да с ним, кажется, никто столковаться не мог. Чего же вы сейчас хотите от меня? Есть какое-нибудь средство помочь беде?

— Думаю, есть... разумеется, есть... Свяжем его завтра и отправим в город... А ночь продержим в храме... у городского рва... Да-да, только одну ночь... изгнать надо наваждение...

Ко Тин и Фан Тоу, уже успевшие проникнуться сознанием своего долга, долга стражей деревни, не только оказались впервые в этой гостиной, куда раньше и не мечтали попасть, но еще удостоились чести сидеть здесь — ниже старца Лао-ва и выше господина Сы, даже пить с ними чай. Они вошли сюда следом за старцем и всецело отдались чаепитию, как только доложили о случившемся. Но, осушив свои чашки, они уже не решались раскрыть рта. И вдруг Ко Тин заявил во всеуслышание:

— Это не средство. Вам двоим вряд ли с ним управиться. Нужно что-то сделать сейчас, немедленно. А если, правда, он подожжет?..

Го Лао-ва в испуге вскочил, подбородок у него трясся от негодования. Но Фан Тоу не дал ему сказать.

— Если правда подожжет, тогда...— начал он, но и его тут же перебил Ко Тин, заявив безапелляционно:

— Тогда плохи дела!

Подошла рыжеволосая девочка-служанка подлить гостям чаю. Ко Тин потянулся было за чашкой, но тут же отдернул руку. Проведя по губам кончиком языка, он осторожно снял с чашечки крышку и стал дуть.

— Да-а, тогда хлопот, в самом деле, не оберешься,— хлопнул ладонью по столу господин Сы.— Хорош сынок! Такого убить мало!

— Точно, убить мало! — оторвался от чая Ко Тин.— В прошлом году в Лянгэчжуане пристукнули одного такого же. Все в один голос назвали одно время, минута в минуту. Сказали, что вместе пустили в ход руки, и выяснить, кто первым ударил, так и не смогли. А ведь дело состряпать хотели!

— Там было одно, тут другое,— сказал Фан Тоу.— Но ты прав, не управятся они с ним. Мы сами должны решить. Я так думаю...

Теперь Лао-ва и господин Сы смотрели ему в лицо со смирением. А он продолжал:

— Думаю, запереть его надо, пока суть да дело.

— Что ж, в конце концов средство подходящее,— незаметно кивнул головой господин Сы.

— Точно, подходящее! — повторил Ко Тин.

— Пожалуй, подходящее... средство,— сказал Лао-ва.— Так мы сейчас... э-э... возьмем и приведем его сюда... в ваш уважаемый дом... Приготовьте... это самое... комнату... Ну и замок, конечно...

— Комнату? — протянул господин Сы, обведя всех испытующим взглядом, и, с минуту подумав, ответил: — Это бы можно, только вот свободной нет. Кроме того, кто знает, когда он поправится!

— В таком случае... э-э... воспользуйтесь комнатой, которую должны будете передать ему,— резонно заметил Лао-ва.

— Лю-шунь,— надменно сказал вдруг господин Сы с заметной дрожью в голосе,— осенью должен привести в дом невесту... А этот, сами видите, не мальчик, пора бы и ему остепениться. Ведет себя как шальной, ни семьей обзавестись не хочет, ни делом заняться... Что правда, то правда, брат мой тоже был какой-то ненормальный. Но не могу же я из-за этого прекратить исполнение обрядов...

— Само собой! — в один голос согласились трое.

— Придет время, и родит Лю-шунь сына. Думаю, что второй дом отдам ему в наследство. С какой стати делать наследником чужого сына? Может быть такое?

— Ясно, не может! — в один голос подтвердили трое.

— Мне эта жалкая комната ни к чему, да и Лю-шуню тоже. Но взять родное дитя и так, запросто, отдать посторонним? Какая мать согласится? Легко ей это?

— Самой собой! — в один голос согласились трое.

Господин Сы умолк, и тогда трое обменялись выразительными взглядами.

— Я все надеюсь, что ему когда-нибудь станет лучше,— ласково заговорил господин Сы после минутного молчания.— А он ну никак не поправляется. Не то чтобы очень уж был плох, просто не хочет лечиться. Чем тут поможешь? Кто-то из вас посоветовал запереть его, чтобы людям беды не было и что-

бы память отца не срамил. Может, и правда, выздоровеет, станет достойным отца?

— Само собой! — нетерпеливо сказал Ко Тин.— Но... комната...

— Что комната, разве нет свободной в храме? — с искрой надежды в голосе спросил господин Сы.

Ко Тина вдруг осенило.

— Есть! Конечно, есть! — воскликнул он.— Западнее главных ворот стоит совсем пустая. Окно в ней одно, к тому же забрано деревянной решеткой. Ему ни за что ее не сломать. Здорово!

Лао-ва и господин Сы тоже не скрывали своей радости. Ко Тин с облегчением сплюнул и потянулся за чаем. Теперь можно было пить, не боясь обжечься.

Великое умиротворение воцарилось в Поднебесной еще до наступления сумерек. Все было забыто. С лиц исчезло выражение озабоченности, не стало заметно и недавнего оживления. Правда, перед храмом толпилось куда больше людей, чем в обычные дни, но скоро толпа стала редеть, и наконец остались одни дети. По их лицам было видно, что они испытывают сейчас к храму особый интерес, поскольку объявили, что несколько дней храм будет закрыт и играть в нем запрещено. Поэтому после ужина кое-кто не утерпел и снова прибежал сюда. Началось, как всегда, с загадок.

— А ну,— крикнул самый старший,— кто угадает?

Бе-елый кораблик, кра-асное весло...
К тому берегу пристал, потому что устал,
Сладостей поел,
Песенку запел! [1]

— А почему весла красные? — спросила одна девочка.

— Я скажу. Это...

— Не лезь! — крикнул мальчик со струпьями от лишаев на голове.— Я первый отгадал: рейсовый пароход.

— Да, да, рейсовый пароход! — обрадовался тот самый голыш, который вертелся здесь еще днем.

— Рейсовый пароход? Ха-ха! — рассмеялся старший мальчик.— Разве пароходы бывают с веслами? И петь умеют? Никто не отгадал. Это...

---

[1] Здесь и дальше стихи в переводе И. Лисевича.

— Опять вперед лезешь! — снова перебил его мальчик со струпьями от лишаев.

— Все равно не отгадаешь. Это — гусь.

— Гусь! Гусь! — радостно засмеялась девочка.— Гусь! Красные лапки — весла!

— А почему белый парус? — не унимался голыш.

— *Подожгу!..*

Дети вздрогнули. Все сразу вспомнили о запертом в храме сумасшедшем и в испуге повернулись к ограде. В обращенном на запад окне они увидели две руки: одна вцепилась в деревянную решетку, пальцы другой судорожно пытались отодрать кору от жерди. В просвете между руками метались безумные глаза.

Неловкое молчание длилось недолго. Первым опомнился мальчик со струпьями от лишаев. Он вскрикнул и бросился бежать со всех ног. За ним, крича и смеясь, побежали остальные. Голыш оглянулся, изловчился на ходу и, надув вишневые губки, выстрелил из своей трубочки:

«Бах!..»

Наступила тишина. Закат догорел. В сгустившихся сумерках еще ярче засиял драгоценным камнем трепетный огонек светильника, освещая зал в храме, алтарь, часть двора и забранное решеткой окно.

Отбежав от храма на порядочное расстояние, дети остановились и, взявшись за руки, медленно пошли по домам. Они смеялись, хихикали, распевая сложенную ими только что песенку:

Бе-елый кораблик
К тому берегу пристал,
Потому что устал,
И запел: «Шу-шу-шу,
Я свет погашу,
Я спалю старый храм,
Я все сладости съем сам!..»

Март 1925 г.

НАПОКАЗ ТОЛПЕ

На одной из улиц самого лучшего района в западной части города в это время дня было совсем тихо. Пылающее солнце стояло еще невысоко, но песок на дороге уже ярко сверкал; томительный зной наполнял воздух; лето было в самом разгаре. Собаки брели, высунув языки, и даже старые вороны на де-

ревьях разевали клювы, с трудом дыша. Правда, издалека доносился резкий стук медных чарок друг о друга, напоминая о компоте из чернослива и вызывая даже иллюзорное ощущение прохлады. Промежутки между этими ленивыми металлическими звуками делали тишину еще более глубокой. Слышен был только топот ног,— это безмолвные рикши словно стремились поскорее убежать от жгучего солнца над их головами.

— Горячие пирожки с начинкой! Только что с пару...— кричал толстый мальчишка лет одиннадцати — двенадцати, стоявший перед лавкой у дороги, сощурив глаза и скривив рот. Голос его, уже охрипший, был словно усыплен этим длинным летним днем. На старом поломанном столе, подле которого стоял мальчишка, лежало двадцать — тридцать круглых пирожков с начинкой, совершенно холодных.

— Ээ-й! Пирожки с начинкой, горячие...

Вдруг, словно мяч, брошенный с силой об стенку и отскочивший от нее, он перелетел на другую сторону улицы. У телеграфного столба, как раз через дорогу, остановились двое. Один был полицейский в светло-желтой форме, с шашкой на боку, лицо у него было желтое и худое. В руках он держал веревку, второй конец которой был пропущен под мышками человека в голубом холщовом халате, поверх которого была накинута белая безрукавка. Новенькая соломенная шляпа с опущенными полями затеняла ему глаза. Толстый мальчишка был маленького роста, и когда он поднял голову, то как раз встретился взглядом с этим человеком, но ему показалось, что тот смотрит на его голову. Мальчишка отвел в испуге глаза и стал смотреть на белую безрукавку с большими и маленькими иероглифами, написанными в ряд.

Тотчас же образовался полукруг зрителей. А когда к ним подошел еще лысый старик, то пустого места оставалось уже немного, и его тотчас же занял наполовину обнаженный высокий толстяк с красным носом, после чего образовался круг.

Этот толстяк так раздался в ширину, что занимал место двоих, поэтому вновь подходившим оставалось довольствоваться вторым рядом и просовывать голову между шеями стоявших впереди.

Лысый стоял почти напротив человека в белой безрукавке; нагнувшись, он изучал надпись на его спине и в конце концов начал читать вслух: «В-в-в...вос...хм-хм...восемь...и...»

Толстый мальчишка заметил, что тот, в белой безрукавке, внимательно разглядывает сияющую лысину, и вслед за ним посмотрел на нее, но увидел только блеск во всю голову и серо-

вато-белый клочок волос, сохранившийся подле левого уха. Больше ничего примечательного он не заметил. Пользуясь моментом, сзади протиснулась вперед старая нянька с ребенком на руках. Лысый тотчас же испуганно выпрямился, так и не дочитав до конца надписи. Что поделаешь? Он боялся потерять свое место; ему видна была лишь часть лица человека в белой безрукавке: половина носа, видневшегося из-под полей соломенной шляпы, рот и острый подбородок.

Опять, словно мяч, брошенный с силой об стенку и отскочивший от нее, примчался какой-то школьник; придерживая рукой свою белоснежную холщовую шапочку, он протискивался прямо в толпу. Но, протиснувшись до третьего, а может быть, до четвертого ряда, он натолкнулся на какой-то неподвижный огромный предмет; когда он поднял голову, то это оказалась голая широченная спина, торчавшая из голубых штанов, по спине ручьями струился пот. Школьник понял, что руками здесь не справишься и остается только обойти эти штаны справа, но в последний момент он, к счастью, увидел просвет.

Когда же он поспешно пригнул голову, собираясь ринуться туда, послышалось одно только слово: «Куда?» Зад под голубыми штанами сдвинулся вправо, пустое место тотчас же было загорожено, и просвет исчез.

Вскоре школьник все же протиснулся к шашке полицейского и удивленно поглядел по сторонам: его окружала целая толпа, в центре которой стоял человек, одетый в белую безрукавку, подле него толстый полуобнаженный мальчишка, а за мальчишкой здоровенный полуголый толстяк с красным носом. Тогда только школьник смекнул, что это и был предмет, загораживавший ему раньше дорогу, и с удивлением и как будто даже с уважением стал смотреть на его красный нос. Толстый мальчишка уставился в лицо школьнику, тогда последний, не выдержав его пристального взгляда, повернул голову — перед ним оказалась чья-то очень жирная грудь с сосками, вокруг которых росло несколько длинных волосков.

— В чем его преступление?...— тихо спросил у лысого старика какой-то простой человек, видимо рабочий. Все удивленно на него взглянули. Лысый не издал ни звука и лишь сердито уставился на него.

Рабочий опустил глаза; когда же через минуту он поднял их, лысый все еще зло сверлил его взглядом, да и другие люди, казалось, тоже сердито уставились на него. Тогда он смутился, словно сам совершил какое-то преступление, стал медленно пятиться и в конце концов выскользнул из толпы. Какой-то вер-

зила с заграничным зонтиком тотчас же занял его место; лысый повернулся, чтобы снова заняться разглядыванием белой безрукавки.

Долговязый согнулся, желая определить выражение лица человека в белой безрукавке, наполовину скрытого полями соломенной шляпы, но неизвестно почему внезапно снова выпрямился. Тотчас же стоявшие за его спиной люди вынуждены были снова вытянуть шеи, а какой-то тощий человек даже вовсю разинул рот, совсем как дохлый морской окунь.

Внезапно полицейский шевельнул ногой; все заволновались и поспешили посмотреть на его ногу; но он снова застыл на месте, и тогда все стали смотреть на белую безрукавку. Вдруг верзила снова согнулся, желая все-таки выяснить, что было под нависшими полями шляпы, но тотчас же выпрямился, поднял руку и ожесточенно заскреб голову.

Лысый был недоволен, так как уже довольно долго чувствовал какое-то движение за своей спиной, затем рядом с его ухом послышалось чавканье. Когда он, подняв брови, повернулся, то заметил справа от себя черную руку, державшую половину большого пирожка и отправлявшую ее в этот момент в рот человеку с кошачьим лицом. Лысый ничего не сказал и снова стал рассматривать соломенную шляпу человека в белой безрукавке.

Внезапно послышался такой треск, что даже раздавшийся в ширину толстяк не удержался и подался вперед. В тот же момент из-за его плеча показалась чья-то здоровенная ручища, удар растопыренной пятерней пришелся по щеке толстого мальчишки.

— Живее! Твою...— И тотчас же из-за спины здоровяка вынырнуло еще более толстое, как у Будды Майтреи, жирное лицо человека, произнесшего эти слова.

Толстый мальчишка отлетел на несколько шагов в сторону, но не упал и, держась рукой за щеку, изогнулся, собираясь протиснуться в проход у ног толстяка. Тот поспешно встал на свое место, причем так, что загородил проход, и сердито сказал:

— Куда?

Толстый мальчишка, словно мышонок, очутившийся в западне, метнулся в сторону, но внезапно бросился к школьнику, толкнул его и пустился наутек. Школьник погнался за ним.

— Вот черти эти мальчишки...— в один голос произнесли пять-шесть человек.

Когда воцарилась тишина, толстяк снова стал разглядывать лицо человека в белой безрукавке и увидел, что тот поднял голову и глядит прямо на его грудь. Он поспешно опустил го-

лову, но, поглядев на свою грудь, увидел только каплю пота в глубокой ложбине между сосками и тотчас же стер ее рукой.

Однако не все было так спокойно и безмятежно. Старая нянька с ребенком на руках глазела по сторонам и не заметила, как своей сучжоуской прической, похожей на хвост сороки, заехала в нос рикше, стоявшему рядом. Рикша метнулся в сторону и налетел прямо на ребенка; ребенок увернулся, стал вырываться у няньки из рук, кричал, что он хочет домой. Старуха-нянька сначала было побрела за ним, но тут же остановилась, повернула ребенка так, что он оказался прямо против человека в белой безрукавке, и, тыча пальцем, сказала:

— А-а, посмотри! Как красиво!

В проход внезапно просунулась голова в шляпе из жесткой соломы, видимо, принадлежащая студенту, с чем-то очень похожим на семечко тыквы во рту. Щелкнув челюстями, голова раскусила семечко и отодвинулась назад. Место ее было заполнено очень потным и пыльным эллипсовидным лицом.

Верзила с заграничным зонтиком стал уже злиться и, скосив плечо, хмуро поглядывал на дохлого окуня за спиной. От горячего дыхания, выходившего из такой огромной пасти, при любых обстоятельствах не легко было бы укрыться, а тем более в разгар лета.

Лысый, подняв голову, глядел на четыре белых иероглифа на красной доске, прибитой к телеграфному столбу, словно был очень заинтересован ими.

Толстяк и полицейский, скосив глаза, изучали загнутые крючком кончики туфель старой няньки.

— Здорово! — восхищенно закричали вдруг где-то несколько человек разом. Все поняли, что произошло что-то новое, и головы, как по команде, повернулись туда. Даже полицейский и преступник, которого он держал на веревке, зашевелились.

— Только что с нару шпрожки! Ээ-й, горячие...— свесив голову и кивая, словно во сне, протяжно кричал толстый мальчишка на противоположной стороне улицы; по улице молча бежали вперед рикши, словно стремились поскорее убежать от жгучего солнца над их головами.

Все почти уже потеряли надежду, но, к счастью, прочесывая глазами все вокруг, в конце концов увидели, что на дороге, домов за десять с лишним вдали, остановилась заграничная коляска рикши, который упал и, поднявшись, начал растирать ушибленные места.

Круг немедленно распался; все в беспорядке направились туда.

Толстяк, не пройдя и шага, остановился отдохнуть под акацией на краю дороги. Верзила опередил лысого и того с эллипсовидным лицом и подошел к рикше. Седок по-прежнему сидел в коляске, рикша уже стоял на ногах, но все еще растирал колени. Окружившие их пять-шесть человек, хихикая, смотрели на них.

— Готов? — спросил седок, когда рикша собирался уже тронуться с места.

Тот только кивнул головой и потащил коляску.

Все разочарованно провожали его глазами.

Сначала еще можно было различить коляску рикши, а затем она смешалась с другими и разглядеть ее было уже невозможно.

На улице снова воцарилось спокойствие; несколько собак, высунув языки, прерывисто дышали; толстяк в тени акации глядел, как быстро поднимались и опускались их животы. Проковыляла из-под тени навеса старая нянька с ребенком на руках. Свесив голову и сощурив глаза, толстый мальчишка протяжно и сонно кричал:

— Горячие пирожки! Ээ-й... Только что с пару...

Март 1925 г.

ПОЧТЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ ГАО

Весь день, с самого утра, он хватался то за зеркало, то за «Учебник истории Китая», то за «Сокращенное зерцало» Юань Яо-фаня. И вдруг почувствовал, что недоволен всем на свете. Такое он испытал впервые. Значит, верно говорят — «все беды от грамоты».

Сначала он подумал, что отец и мать обычно не очень-то заботятся о своих детях. Его родителей нисколько не беспокоило, что он мальчишкой больше всего любил лазить по тутовнику и воровать ягоды. А когда, свалившись с дерева, он разбил себе голову, и не подумали его лечить. Так и остался у него на всю жизнь глубокий шрам над левой бровью. Чтобы хоть как-то скрыть его, он отрастил волосы подлиннее и начесывал их на лоб, делая прямой пробор. Но кончик шрама все же виднелся. И очень портил его наружность. Только бы школьницы не заметили, а то, пожалуй, станут его презирать. Он огорченно вздохнул и отложил зеркало.

«Подлинная история А-кью»
Ку Бин-син

Затем он стал досадовать на составителя «Истории Китая», который совершенно не подумал о преподавателе. Этот учебник мало в чем совпадал с «Сокращенным зерцалом», и он не знал, как свести воедино то общее и разное, что было в них. Когда же он увидел листок, вложенный в учебник, то перенес свое негодование на преподавателя истории, который в середине учебного года отказался вести курс. На листке было написано: «Начинать с восьмой главы — «Расцвет и гибель династии Восточная Цзинь».

Это и поставило его в затруднительное положение, ибо его предшественник как раз закончил лекции по эпохе Троецарствия, эпохе, которую он знал лучше всего остального. Голова у него была буквально набита такими историческими фактами, как заключение союза о братстве в персиковом саду, убийство Сяхоу Юаня Хуан Чжуном на горе Динцзюнь, а также рассказами о хитроумных приемах, с помощью которых Чжугэ Лян запасал стрелы, трижды приводил в бешенство Чжоу Юя, и многими другими. Для лекций о Троецарствии ему не хватило бы семестра. Да и эпоха Тан ему лучше известна, хотя бы по таким эпизодам, как продажа Цинь Цзюнем своего коня. Так нет, он, видите ли, как назло, должен начинать с Восточной Цзинь! Кто бы мог подумать? Он злобно фыркнул и придвинул к себе «Сокращенное зерцало».

— Эй! Мало тебе издали на девушек засматриваться, так решил в самый цветник забраться?

С этими словами кто-то протянул руку из-за его плеча и потрепал его по подбородку. Но он даже не шевельнулся, сразу узнав по голосу и повадкам подкравшегося сзади Хуана Третьего, старого его приятеля и партнера по азартным играм. Еще неделю назад они вместе пили, играли в мацзян, ходили по театрам, волочились за девушками. Но, опубликовав в один прекрасный день в газете «Дачжун жибао» свою статью «Систематизация истории — долг китайского гражданина», он вдруг понял, что Хуан Третий — человек низшего сорта, попросту говоря пустое место. Ведь эта нашумевшая статья многим пришлась по вкусу и повлекла за собой приглашение преподавать в школе для талантливых благородных девиц. Поэтому сейчас, даже не обернувшись, он весьма сухо ответил:

— Не болтай чепухи! Я готовлюсь к занятиям...

— А разве не ты говорил Лао-бо, что хорошо бы стать преподавателем и полюбоваться на школьниц?

— Да все он врет, этот пес, Лао-бо!

Хуан Третий подсел к столу и тотчас же заметил между

зеркалом и стопкой книг красную бумагу с приглашением. Схватив листок и тараща глаза, он принялся читать слово за словом:

«Почтительно приглашаем

Почтенного учителя Гао Эр-чу преподавать историю в нашей гимназии по четыре часа в неделю. Оплата — тридцать фэней в час.

С чистосердечным уважением

Директриса школы для талантливых,
благородных девиц Хэ Вань-шу.
13-й год Китайской Республики,
9-й месяц, 3-й день».

— Почтенный учитель Гао Эр-чу? Это кто же? Ты? Да разве ты переменил имя? — забросал его вопросами Хуан Третий.

Но Гао лишь высокомерно улыбнулся в ответ. Он действительно переменил имя. А что знал этот Хуан, кроме азартных игр? Ведь и по сей день его не интересовали ни новейшая наука, ни последнее слово в искусстве. Где было ему понять глубокий смысл, заложенный в новом имени, если он ничего не знал о великом русском писателе Горьком. Вот почему Гао Эр-чу лишь высокомерно улыбнулся, даже не удостоив его ответом.

— Ты смотри, Гань! Брось эту дурацкую игру,— сказал Хуан Третий, откладывая приглашение.— Наша мужская школа уже привела к падению нравов. Так теперь еще вздумали открыть женскую! Трудно даже представить, чем все это кончится. Зачем же тебе впутываться? Не стоит того...

— Ну, ты не совсем прав. К тому же госпожа Хэ так просила, что я не посмел отказаться...— ответил Гао, злясь на Хуана Третьего за клевету на школы, а главное, за то, что он отнимает время — ведь до начала урока оставалось всего тридцать минут — часы показывали половину третьего.

— Ладно! Не будем пока говорить об этом,— догадался переменить тему Хуан Третий.— Потолкуем лучше о более важных вещах. Сегодня вечером у нас наклевывается одно дельце. Сюда приехал старший сын Мао Цзы-фу из деревни Маоцзя, чтобы пригласить геоманта выбрать место для могилы, и привез с собой двести серебряных долларов наличными. Мы с ним уже договорились сегодня вечером составить партию: я, Лао-бо и ты. Приходи непременно! Не прозевай. Втроем мы его как следует обчистим.

Гань, он же почтенный учитель Гао, вздохнул, но рта не раскрыл.

— Приходи обязательно, слышишь! Ну а я пошел, надо еще условиться с Лао-бо. Играть будем, как всегда, у меня. Этот дурак в кои-то веки вырвался из своей норы, и мы точнехонько его разделаем. Кстати, дай-ка свой мацзян, на нем знаки более четкие.

Почтенный учитель Гао медленно поднялся из-за стола, достал из-под изголовья кровати ящичек с мацзяном и передал его Хуану Третьему. Потом взглянул на часы и, увидев, что уже без двадцати три, подумал: «Знает ведь, что я теперь преподаватель, а школу при мне ругает и к занятиям не дает готовиться. А вроде бы не глупый человек».

— Вечером об этом потолкуем,— сказал он холодно,— а сейчас мне пора.

С досадой посмотрев на «Сокращенное зерцало» Юань Ляофаня, он положил учебник в свой новый портфель, с большой тщательностью надел новую шляпу и вышел за ворота вместе с Хуаном Третьим. Здесь он прибавил шагу, и его плечи задвигались, как плотничье сверло — вверх вниз, вверх вниз. Хуан Третий вскоре потерял его из виду.

Войдя в школу для талантливых и благородных девиц, почтенный учитель Гао передал свою только что отпечатанную визитную карточку старому горбатому привратнику, но «прошу» услышал не сразу. Следуя за горбуном, Гао сделал два поворота, пока не оказался перед учительской, служившей также и приемной. Директрисы не было, и его встретил седобородый заведующий учебной частью, знаменитый Вань Яо-фу, который был известен под прозвищем Хранитель фимиама Яшмового владыки. Совсем недавно в газете «Дачжун жибао» печаталась с продолжением его переписка с небожительницами — сборник «Состязания в стихах перед алтарем бессмертных».

— А! Почтенный учитель Гао! Давно мечтал, давно мечтал познакомиться...— Вань Яо-фу сложил руки и, приседая так, будто собирался сесть на корточки, отвесил пять, а то и шесть поклонов.

— А! Почтенный Вань! Давно мечтал, давно мечтал познакомиться...— Сунув портфель под мышку, почтенный учитель Гао отвечал ему такими же поклонами.

Они уселись, и похожий на мертвеца служитель подал им по чашке кипятку. Взглянув на настенные часы, почтенный Гао отметил про себя, что они отстают ровно на полчаса — на них было только без двадцати три.

— О! Ваш шедевр, почтенный учитель Гао. Э... э... ваш труд «Систематизация истории — долг китайского гражданина», сколько о нем ни говори — поистине не наскучит, хоть сто раз перечитывай — не надоест... Он весьма поучителен для молодых людей и достоин быть высечен на камне, на камне!.. Ваш покорный слуга тоже большой охотник до литературы. Но я лишь балуюсь кистью. С вами, учитель Гао, мне никак не сравниться! — Он опять сложил руки, поклонился и, понизив голос, продолжал: — А мы здесь каждый день устраиваем сеансы — вызываем к алтарю бессмертную великой добродетели. Я — постоянный автор переписки с ней в стихах. Надеюсь, что и вы удостоите нас своим присутствием, удостоите. Мы обращаемся к богине Жемчужной орхидеи. По ее ответам нетрудно догадаться, что она — богиня цветка, изгнанная с небес за пристрастие к земной суете. Она любит отвечать стихами на стихи известных людей и одобрительно относится к новым течениям. К такому ученому, как вы, почтенный Гао, она, несомненно, будет благосклонна. Ха-ха-ха-ха!

Но почтенный учитель Гао совсем не был готов к разглагольствованиям на подобные высокие темы. Он так и не успел подготовиться к лекции «Расцвет и гибель династии Восточная Цзинь», и теперь даже то немногое, что он помнил, вылетело из головы. От мучительного волнения он все перепутал. В памяти всплывали какие-то обрывки мыслей: «В классе держать себя величественно, шрам на лбу прикрыть; учебник читать не спеша; на учениц смотреть снисходительно...» И снова, будто сквозь туман, прорывалась речь Вань Яо-фу:

— ...пожаловала водяной каштан... Опьянев, взлетел в лазурное небо на синем фениксе... ах, как возвышенно!.. А Дэн, Почтительный сын, бил челом пять раз, пока не вымолил в награду четверостишие: «Красным рукавом смахнул пыль с Небесной реки». Не говоря... «Бессмертная Жемчужной орхидеи сказала...» Вы здесь впервые... А вот это наш школьный ботанический сад!

— Ах, вот как! — ответил почтенный Гао, отвлекшись внезапно от своих беспорядочных мыслей. Проследив за рукой собеседника, он взглянул за окно, увидел небольшой дворик, где росло несколько деревьев, и дом, состоявший примерно из трех комнат.

— Это наши классы,— продолжал Вань, не опуская руки.

— Ах, вот как!

— Ученицы у нас очень послушные. Они ходят на лекции, а специализируются по шитью...

— Ах, вот как! — произнес Гао, чувствуя себя на краю гибели и тщетно надеясь на то, что Вань, наконец, умолкнет и даст ему возможность сосредоточиться, припомнить хоть что-нибудь из темы «Расцвет и гибель династии Восточная Цзинь».

— К сожалению, некоторые из них хотят писать стихи, а это не годится. Реформы, конечно, возможны, но нельзя же в конце концов допустить, чтобы все девицы писали стихи. Даже богиня Жемчужной орхидеи не очень одобрительно относится к женскому образованию, считая, что оно противно Небу и вносит разлад в отношения между мужчинами и женщинами. Об этом мы с ней неоднократно беседовали...

Раздался звонок, и почтенный Гао вскочил со стула.

— Нет, нет! Сидите, пожалуйста. Это звонок с урока.

— Вы, наверно, очень заняты, уважаемый Вань, прошу вас со мной не церемониться...

— Нет! Нет! Не занят, не занят. Так вот я полагаю, что развитие женского образования отвечает духу времени. Однако малейшая оплошность может легко привести к эксцессам. Возможно, слова «противно Небу» означают именно необходимость принять меры предосторожности, пока все это, так сказать, еще в зародыше. Следует поручить это лицам беспристрастным, придерживающимся золотой середины, стремящимся лишь к одному — нашему национальному наследию. Вот тогда и не будет злоупотреблений. Прав ли я, как вы полагаете? Даже бессмертная находит эти слова достойными внимания. Ха-ха-ха-ха!

Школьный служитель подал им еще по чашке кипятку, но тут снова прозвенел звонок. Вань попросил почтенного Гао отпить хотя бы два глотка, затем поднялся и повел его в класс через ботанический сад.

С сильно бьющимся сердцем Гао вытянулся, как шест, рядом с кафедрой и увидел перед собой всклокоченные головы. Заведующий Вань достал из нагрудного кармана листок почтовой бумаги и, то и дело заглядывая в него, стал объяснять:

— Вот наш новый учитель Гао, Гао Эр-чу. Он — видный ученый. Всем известна его статья «Систематизация истории — долг китайского гражданина». Газета «Дачжун жибао» сообщила также, что почтенный учитель Гао, как почитатель великого русского писателя по фамилии Гао, а по имени Эр-цзи, из уважения к нему переменил свое имя на Эр-чу. Появление почтенного Гао — поистине великое счастье для нашей литературы! И вот сейчас он, уступив настоятельным просьбам нашей директрисы, госпожи Хэ, любезно согласился преподавать вам историю...

Господин Вань исчез, и почтенный учитель Гао вдруг почувствовал себя очень одиноким. Поклонившись, он поднялся на кафедру и вспомнил о своем решении держаться как можно величественнее. Собравшись с духом, он медленно раскрыл книгу и начал пересказывать историю «Расцвета и гибели династии Восточная Цзинь».

Вдруг кто-то хихикнул.

Почтенного учителя Гао бросило в жар. Он быстро посмотрел в книгу и убедился, что ошибки не допустил — там стояло: «Установление власти династии Восточная Цзинь». Взглянув поверх книги, он ничего, кроме всклокоченных голов, не обнаружил. Решив, что никто не смеялся и это ему просто показалось, он снова собрался с духом и продолжал медленно говорить, не отрываясь от книги. Вначале он внимательно прислушивался к собственной речи, но постепенно стал сбиваться, путаться и в конце концов перестал понимать, что говорит. Когда же он дошел до грандиозных планов полководца Ши Лэ, то уже явственно услышал приглушенные смешки.

Не удержавшись, учитель поднял голову и увидел совершенно иную картину. Теперь класс был заполнен глазами и множеством маленьких треугольников с носиками посередине. Все они как бы сливались в одно целое и напоминали таинственно волнующееся море, ослепившее его своей искрившейся поверхностью. Но в следующий миг картина снова изменилась, и перед ним по-прежнему оказались всклокоченные головы.

Он быстро опустил глаза и не решался больше отрываться от учебника. Когда же становилось невмоготу, устремлял взгляд кверху. Там, в самой середине пожелтевшего цементного потолка, был резко очерченный круг. И этот круг то расширялся, то суживался — и в конце концов завертелся так, что у почтенного Гао в глазах зарябило. «Стоит опустить глаза,— думал он,— и на меня снова нахлынет это страшное море любопытных глаз и носов... Уж лучше смотреть в книгу». И тут, перескочив через полсотни лет, он принялся рассказывать о том, как Фу Цзянь, разбитый в сражении на реке Фэйшуй, в страхе принял деревья на горе за вражеских воинов.

Гао не сомневался, что многие ученицы исподтишка насмехаются над ним, но продолжал читать, хотя это было очень мучительно. Читал он, казалось ему, чуть ли не полдня, а звонка все не было. Однако взглянуть на часы Гао не решался, опасаясь, как бы школьницы не стали презирать его еще больше. Он сообщил о «внезапном возвышении государства Тоба» и дошел уже до «таблицы расцвета и гибели Шести государств».

К этой теме он вообще не готовился, полагая, что сегодня очередь до нее вряд ли дойдет. И вдруг неожиданно для самого себя он осекся.

Помолчал в нерешительности и страхе, а потом, запинаясь, сказал:

— Сегодня первый раз, вот так...— Он кивнул головой, сошел с кафедры и вылетел из класса.

«Ха-ха-ха!..» — звенело у него в ушах.

А перед глазами волновалось все то же таинственное море носов. В полном отчаянии Гао шел через ботанический сад в учительскую, как вдруг его что-то с силой ударило по голове. От испуга он выронил «Учебник истории Китая» и, попятившись, увидел сломанную ветку с еще дрожавшими листьями, на которую наткнулся. Гао быстро наклонился, чтобы поднять книгу, и тут заметил колышек с дощечкой:

«Тутовое дерево. Семейство тутовника».

Почтенному учителю Гао все еще мерещился звонкий хохот и таинственное море носов. Он даже не решился потереть царапину на голове, которая саднила. Скорее бы добраться до учительской — это было единственное, чего он сейчас желал.

Там по-прежнему стояли две чашки с остывшим кипятком, но школьного служителя, похожего на мертвеца, не было. Исчез куда-то и господин Вань Яо-фу. Лишь поблескивали в полумраке новый портфель и новая шляпа Гао. Стенные часы показывали всего без двадцати минут четыре.

Дома почтенного учителя Гао то и дело бросало в жар, а время от времени на него находила злоба. Теперь и он понял, что школы приводят к падению нравов, что лучше бы их закрыть совсем, в особенности школы женские. Что в них проку? Так только, пустозвонство одно!

Хи-хи...— Этот приглушенный смех преследовал его, вызывая неукротимую злобу, и укреплял в нем решимость отказаться от преподавания. Он вечером напишет директрисе Хэ и сошлется на болезнь ног. «Но как быть, если его станут удерживать? Нет! Все равно он туда больше не пойдет. Поистине, трудно представить, к чему это может привести. Так стоит ли впутываться в темное дело? Разумеется, нет».

И почтенный учитель Гао решительно отодвинул в одну сторону «Сокращеное зерцало», в другую — зеркало и спрятал приглашение директрисы Хэ. Но только было собрался сесть, как почувствовал новый прилив раздражения, вызванный этим листком красного цвета. Он схватил злополучный листок и вместе с «Учебником истории Китая» сунул подальше в ящик.

Наконец-то все убрано. Только зеркало осталось на столе. Хоть глазам легче. Правда, ему все еще было не по себе, чего-то вроде бы не хватало. Но тут он сразу понял, в чем дело, надел осеннюю шляпу с красным бантом и отправился прямо к Хуану Третьему.

— А вот и почтенный учитель Гао Эр-чу! — провозгласил Лао-бо.

— Не бреши, пес!...— огрызнулся Гао, нахмурив брови и стукнув приятеля по макушке.

— Ну, как прошел урок? Удачно? Есть ли хорошенькие? — полюбопытствовал Хуан Третий.

— Я не намерен продолжать преподавание. Поистине, трудно представить, до чего могут довести эти женские школы. Порядочному человеку не стоит впутываться в это дело...

В комнату вошел старший сын Мао Цзы-фу — толстый и круглый, словно пирожок с мясом.

— А! Давно мечтал, давно мечтал познакомиться!..

Все зашумели. Складывали руки в приветствии и приседали, будто собираясь опуститься на корточки, отвешивали друг другу поклоны — кто два, а кто и три.

— Это Гао Гань-тин, о котором я вам говорил,— указывая на почтенного учителя Гао, сказал Лао-бо старшему сыну Мао.

— А-а! Давно мечтал, давно мечтал!..— произнес Мао, кивая головой и кланяясь с особым почтением.

В левом углу комнаты стоял квадратный стол из потемневшего сандалового дерева. Приветствуя гостей, Хуан Третий помогал служанке расставлять стулья и готовил фишки. На столе, в каждом углу, зажгли тонкие стеариновые свечи, и четверо игроков заняли свои места.

Наконец все смолкли. Слышен был лишь стук игральных костей, казавшийся особенно громким в тишине наступавшей ночи.

Почтенному Гао, надо сказать, везло, хотя он все еще не мог оправиться от беспокойства. Его, который обычно все легко забывал, на сей раз почему-то очень встревожило состояние нравов. Кучка фишек рядом с ним росла, но все еще не приносила ему ни покоя, ни радости.

И все же менялись времена, менялись и нравы, и он уже чувствовал, что нравы в конце концов меняются к лучшему. Правда, было уже поздно, они доигрывали второй круг, а у Гао собрались сплошные козыри — вся масть.

Май 1925 г.

ОДИНОКИЙ

I

История моего знакомства с Вэй Лянь-шу кажется мне теперь не совсем обычной: она началась с похорон и кончилась похоронами.

Тогда я жил в городе S., и мне часто приходилось слышать, как люди упоминали его имя и говорили при этом, что он какой-то странный: изучал зоологию, а пошел в среднюю школу преподавателем истории; к людям относится высокомерно, но часто вмешивается в чужие дела; то и дело говорит, что семью необходимо разрушить, а сам из каждой получки непременно в тот же день отсылает деньги своей бабушке.

Говорили и многое другое; одним словом, он давал немало пищи для пересудов в S. Однажды осенью я гостил у своих свойственников в Ханьшишани; их фамилия была Вэй, и они приходились родичами Лянь-шу. Но они еще меньше понимали его, чем все остальные, смотрели на него почти как на иностранца и говорили, что он «совсем не такой, как мы».

Удивляться этому не приходилось: хотя новое образование существовало в Китае уже двадцать лет, в Ханьшишани не было даже начальной школы. Из всей этой горной деревни один Лянь-шу уехал учиться и стал студентом, так что односельчане смотрели на него как на чужака. В то же время ему завидовали — дескать, он зарабатывает большие деньги.

Когда осень шла к концу, в деревне вспыхнула дизентерия; опасаясь заболеть, я решил вернуться в город. В это время прошел слух, что бабушка Лянь-шу захворала и что вследствие ее преклонного возраста болезнь протекает очень тяжело, врача же в горах не было. У Вэй Лянь-шу из близких родственников только и оставалась эта бабушка, жившая тихо и незаметно со своей служанкой; она же его и вырастила, когда он в младенчестве лишился отца и матери. Говорили, что в свое время ей пришлось хлебнуть горя, но сейчас она жила в покое и довольстве. Только очень уж тихо и одиноко было в их доме — ведь у Лянь-шу не было ни жены, ни детей, и это, по-видимому, составляло одну из тех его странностей, о которых все говорили.

От Ханьшишани до города было сто ли по суше или семьдесят ли по воде, так что, если посылать за Лянь-шу человека, на дорогу ушло бы не меньше четырех дней. В глухой горной деревне, где любое происшествие становится важной новостью,

на второй день все знали, что больной очень плохо и что посыльный уже отправился в путь; под утро она, однако, испустила дух, и последние ее слова были: «Почему же мне не дали повидаться с Лянь-шу?..»

Старейшины рода, представители разных его ветвей, родичи бабушки по линии матери, просто любопытные — все набились в дом; предполагалось, что Лянь-шу должен поспеть как раз к тому времени, как покойницу будут класть в гроб. О гробе и погребальном одеянии заботиться не приходилось, они были давно готовы; главной проблемой, беспокоившей всех, было противодействие этому «внуку-наследнику», так как опасались, что он захочет переиначить на новый лад все похоронные обряды. После обсуждения было достигнуто общее согласие относительно трех главных условий, выполнения которых потребуют от Лянь-шу: во-первых, носить траур; во-вторых, совершить коленопреклонение и поклон; в-третьих, пригласить на отпевание буддийских и даосских монахов. Одним словом, чтобы все было по-старому.

Договорившись обо всем этом, они порешили в самый день приезда Лянь-шу собраться всем вместе перед его домом, развернуть боевые порядки и, взаимодействуя друг с другом, провести самые серьезные переговоры. Односельчане, глотая слюну, с любопытством ожидали новостей; им было известно, что Лянь-шу принадлежит к «обновленцам», которые «вкусили заморской науки», и никаких резонов не признает. Борьба двух сторон неминуемо должна была начаться и могла вылиться в совершенно неожиданное представление.

Передавали, что Лянь-шу вернулся домой после полудня; войдя в комнату, он лишь слегка поклонился в сторону гроба бабушки. Согласно заранее составленному плану, старейшины рода сразу же пригласили его в большой зал, где после долгого предисловия перешли к основной теме, причем говорили дружно и безостановочно, не давая ему возможности вступить в пререкания. В конце концов все слова были сказаны, и в зале воцарилось тягостное молчание. Все с трепетом смотрели ему в рот, но он, нимало не изменившись в лице, ответил просто:

— Как вам угодно.

Это было сверх всяких ожиданий; у людей вроде бы и отлегло от сердца, но вроде бы стало и тяжелее, это казалось настолько «чудным», что наводило на разные мысли. Любители новостей в деревне были весьма разочарованы.

— Удивительно! — переговаривались они друг с другом.— Он сказал: «Как вам угодно». Пойдемте-ка посмотрим!

Раз «как угодно», значит, по-старому, и смотреть было не на что, но им все-таки хотелось поглазеть, и к вечеру все в приподнятом настроении собрались во дворе.

Послав предварительно ароматную свечу, я тоже отправился посмотреть; подойдя к дому Лянь-шу, я увидел, что он уже обряжает покойницу. Оказалось, что он низкого роста, худой, с вытянутым лицом и всклокоченными волосами: густые черные брови и усы занимали чуть ли не половину лица, черные глаза сверкали. Обряжал усопшую он ловко, по всем правилам — ни дать ни взять, похоронных дел мастер. Окружавшие следили за ним с молчаливым одобрением. Согласно старому обычаю Ханьшишани, родственники со стороны матери в такой момент непременно должны придраться к чему-нибудь, но он молча, с неподвижным лицом, выслушивал все придирки и вносил требуемые изменения.

Потом были поклоны, потом плач по умершей, дружные причитания женщин. Потом положили в гроб, потом опять кланялись и опять плакали до той минуты, пока не заколотили крышку. Наступила короткая пауза, но затем началось общее движение, в котором явно ощущались удивление и недовольство. Мне тоже вдруг подумалось: ведь Лянь-шу за все время не проронил ни слезинки, а лишь сидел на травяной подстилке, сверкая черными глазами.

Похоронный обряд так и завершился в атмосфере удивления и недовольства. Неудовлетворенная публика хотела было разойтись, но Лянь-шу все сидел на подстилке, погруженный в свои мысли. Вдруг он заплакал, сначала тихо, потом в голос, и тут же громко завыл, как раненый волк в ночной степи, и в его крике боль смешалась с гневом и печалью. Старый обычай такого не предусматривал, никто не был к этому готов, никто не знал, что делать; после некоторого замешательства к нему стали подходить с уговорами, скоро собралась целая толпа, но он сидел неподвижный, как железная пагода, и рыдал.

Заскучавшие гости начали расходиться, а он все плакал и плакал, но примерно через полчаса вдруг замолк и, ни с кем не попрощавшись, пошел прямо домой. Через некоторое время любопытные сообщили, что он вошел в комнату бабушки, лег на кровать и, по-видимому, сразу же заснул.

Спустя два дня, то есть накануне моего отъезда в город, я услышал, что вся деревня, будто зачарованная, говорит только об одном: о том, что Лянь-шу собирается большую часть домашней утвари сжечь в честь бабушки, а оставшееся подарить служанке, которая ухаживала за ней при жизни и проводила

в последний путь. Ей же он хочет оставить в бессрочное пользование весь дом. Родственники отговаривали его, так что язык заболел, но сделать ничего не смогли.

Движимый скорее всего любопытством, я по пути в город, проходя мимо его дома, зашел к нему с выражением соболезнования. Он встретил меня в белой неподрубленной одежде, с прежним холодным выражением на лице. Я всячески старался выразить сочувствие, но он, кроме вежливых междометий, произнес лишь:

— Благодарю за участие.

II

Третий раз мы повстречались в начале зимы того же года в одной из книжных лавок города S. Мы одновременно кивнули друг другу, подтвердив тем самым свое знакомство. Однако толчком к нашему сближению послужило то, что в конце года я потерял работу. С этого времени я часто заходил к Лянь-шу; во-первых, естественно, от нечего делать, а во-вторых, потому, что, по рассказам, он, несмотря на свою неизменную холодность, с участием относился к неудачникам. Но в житейском море нет ничего постоянного, неудачников тоже порой посещает удача, так что у него было очень мало постоянных друзей. Рассказы эти оказались правдивыми; не успел я передать визитную карточку, как он принял меня. Его гостиная, состоявшая из двух разгороженных комнат, не отличалась особым убранством — помимо стола и стульев, в ней находились лишь книжные полки; вопреки общепринятому мнению о нем, как об ужасном «обновленце», новых книг на полках было немного. Он уже знал, что я остался без работы, но как только подобающие случаю слова были произнесены, хозяин и гость замолчали и сидели друг против друга, ощущая все большую неловкость. Я видел, как быстро он выкурил сигарету, причем бросил окурок на пол лишь тогда, когда обжёг пальцы.

— Закуривайте! — вдруг произнес он, доставая вторую сигарету.

Я тоже взял сигарету, прикурил и стал говорить что-то о преподавании и о книгах, но ощущение неловкости не проходило. Я уже собрался прощаться, как вдруг за дверью послышались громкие голоса и шум шагов, и в комнату ворвались четверо ребятишек. Старшему было лет восемь, младшему — года четыре; чумазые, в грязной одежде, они были не очень при-

влекательны. Но при виде их глаза Лянь-шу засветились радостью, он вскочил и направился в соседнюю с гостиной комнату, говоря на ходу:

— Да-лян, Эр-лян, идите сюда! Я купил губные гармошки, которые вчера обещал!

Ребятишки устремились вслед за ним и тут же выскочили из комнаты, дуя каждый в свою гармошку. В дверях гостиной между ними почему-то вспыхнула ссора, и один из ребят заревел.

— Не нужно спорить, гармошки одинаковые, всем поровну,— уговаривал Лянь-шу, провожая детей.

— Чьи это ребятишки? — поинтересовался я.

— Хозяйские. Матери у них нет, одна бабушка.

— Хозяин дома живет один?

— Да. Жена его умерла года три-четыре назад, а новую он не взял. В противном случае он не стал бы сдавать пустующие комнаты одинокому мужчине,— холодно усмехнулся он.

Мне очень хотелось спросить Лянь-шу, почему сам он до сих пор не женился, но не хватило духу — мы были еще недостаточно знакомы.

Стоило сойтись с Лянь-шу поближе, как выяснилось, что он интересный собеседник. В рассуждениях он был многоречив и часто весьма оригинален. Но вызывали раздражение некоторые из его посетителей, в основном из числа читателей «Омута», часто именовавшие себя «несчастной молодежью» или «лишними людьми»; горделиво и лениво, словно крабы, развалившись в креслах, они вздыхали и охали, хмурили брови и курили. Да еще хозяйские дети шумели так, что болела голова,— вечно ссорились между собой, опрокидывали чашки и тарелки, клянчили сладости. Но, завидев их, Лянь-шу терял свою всегдашнюю холодность — он дорожил ими больше собственной жизни.

Рассказывают, что, когда однажды Сань-лян подхватил скарлатину, Лянь-шу буквально почернел от страха. Однако болезнь протекала легко, и потом бабушка говорила об этом случае со смехом.

— Все дети хорошие. Они такие невинные,— сказал он мне однажды при случае, почувствовав, что я начинаю понемногу раздражаться.

— Ну, это не совсем так,— ответил я, не задумываясь.

— Нет, у детей не бывает пороков, как у взрослых. То плохое, что приходит потом и что всегда критикуешь, есть следствие влияния дурной обстановки. А поначалу все неплохие, невинные... По-моему, дети — единственная надежда Китая.

— Ну, нет. Не будь у ребенка дурных корней, откуда бы взялись дурные плоды у взрослого? Ведь ветви и листья, цветы и плоды развиваются лишь потому, что они уже были заложены в виде эмбриона в семени. Беспричинно ничего не возникает...— От безделья я в то время как раз читал буддийские сутры, подобно вельможе, который, уйдя на покой, начинает поститься и рассуждать об учении чань. Буддийских догматов, конечно, я не постиг, но иногда позволял себе порассуждать на подобные темы.

Однако Лянь-шу рассердился, смерил меня взглядом и более не открывал рта. Я же не мог понять,— то ли ему нечего возразить, то ли он не считает нужным спорить. Во всяком случае, он опять принял давно позабытую им высокомерную позу и молча выкурил две сигареты подряд. Когда он взялся за третью, мне пришлось ретироваться.

Эта враждебность исчезла до конца лишь спустя три месяца. Отчасти вследствие забывчивости, отчасти же потому, что он на себе испытал вражду этих «невинных» детей и решил, что мои оскорбительные для детей слова в какой-то мере можно извинить. Но это лишь предположения. В ту пору, сидя однажды за вином в моем доме, он поделился своей печалью. Говорил он, слегка запрокинув голову:

— Странные бывают вещи, если подумать. Когда я только приехал сюда, мне попался на улице один карапуз. Он наставил на меня тростинку и закричал: убью! А ведь он еще учился ходить...

— Это влияние дурной обстановки,— сказал я и тут же пожалел о сказанном. Но он, казалось, не придал моим словам значения и лишь налегал на вино, не забывая в промежутках и о куреве.

— Да, я все хочу тебя спросить,— перевел я разговор на другую тему,— ты ведь не большой любитель ходить по гостям, с чего это сегодня вдруг возникло такое желание? Мы знакомы больше года, но пришел ты ко мне в первый раз.

— А я хотел предупредить тебя, чтобы в ближайшие дни ты ко мне не заходил. Там сейчас один большой и один малый, оба такие противные, дальше некуда!

— Один большой, один малый? — удивился я.

— Да, мой двоюродный брат с сынком. Ха, сынок вполне под стать папаше.

— Небось братец поехал к тебе в город и захватил его с собой поразвлечься?

— Да нет, просит, чтобы я его усыновил.

— Как усыновил? — не сдержал я восклицания.— Ведь ты еще не женат?

— Они знают, что я и не собираюсь жениться. Но это ничего не значит. Это усыновление им нужно для того, чтобы завладеть старым домом в Ханьшишани. Ты же знаешь, что у меня больше ничего нет, заработанные деньги сразу же уплывают. Только этот обветшалый дом. А отец с сынком цель своей жизни в том и видят, чтобы изгнать из этого дома старую служанку.

У меня мурашки побежали по телу от этих жестоких слов. Но я все же попытался возразить:

— По-моему, твои родичи не настолько плохи. Просто они мыслят по-старинке. Вспомни, когда ты рыдал, как искренне они тебя утешали...

— Когда умер мой отец, они требовали от меня подписи на каком-то документе, чтобы со временем отнять у меня дом. Тогда они с такой же искренностью обступили меня и утешали, пока я плакал...

Он устремил взгляд вверх, будто стараясь отыскать там картины прошлого.

— В общем, все дело в том, что у тебя нет детей. Кстати, почему ты все не женишься? — Наконец-то я нашел подходящий повод повернуть течение беседы и задать давно интересовавший меня вопрос.

Он смотрел на меня долго и удивленно, потом перевел взгляд на свои колени и закурил, так ничего и не ответив.

III

Жилось Лянь-шу тяжело, однако ему не давали ни минуты покоя. В местных газетках стали появляться анонимные нападки на него; в кругу преподавателей все чаще распространялись о нем слухи, причем не безобидные анекдоты, как прежде, а явно злонамеренные. Тем не менее я не придал им значения, считая, что все дело в газетных заметках. Лянь-шу знал, что в S. не любят людей, откровенно высказывающих свое мнение, и ежели таковые появляются, их начинают преследовать. Весной вдруг стало известно, что директор школы уволил Лянь-шу. Для меня это оказалось неожиданностью; на самом же деле в S. так поступали всегда, и на этот раз никакой особой жестокости допущено не было — просто я надеялся, что сия чаша минует моих знакомых, и потому это и явилось для меня неожиданностью.

В то время я был занят устройством собственных дел, вел переговоры относительно места преподавателя в Шаньяне на следующий учебный год и не мог зайти к Лянь-шу. Когда у меня нашлось немного свободного времени, со дня его увольнения прошло уже без малого три месяца, но у меня все еще не возникло желания его навестить. Проходя однажды по главной улице, я случайно задержался у лотка букиниста, и вдруг меня передернуло: продавалась одна из книг Лянь-шу — «Указатель к «Историческим запискам» в первопечатном издании «Цзигугэ». Он любил книги, хотя и не был коллекционером, и ни за что не расстался бы с этим ценным раритетом, если бы не оказался в безвыходном положении. Неужели за каких-то два-три месяца он настолько обеднел? Правда, он обычно тратил все, что зарабатывал, и не имел сбережений. Я решил отправиться к Лянь-шу и купил по дороге бутылку водки, пару пакетов арахиса и две копченые рыбьи головы.

Дверь его дома оказалась запертой: я окликнул его дважды, но ответа не было. Подумав, что он спит, я крикнул громче и постучал в дверь.

— Нет его! — громко и как будто раздраженно ответила бабушка хозяйских ребятишек, толстая женщина с маленькими глазками, высунув седую голову из окна напротив.

— А куда он пошел? — спросил я.

— Куда пошел? Кто ж его знает!.. Да куда он может пойти! Посидите, небось скоро вернется!

Я толкнул дверь и вошел в его гостиную. Воистину, «не виделись один день, а словно прошло три осени»: на всем лежала печать грусти и запустения, мебели почти не осталось, и даже из книг сохранилось лишь несколько томов, изданных на европейский манер, которые не могли понадобиться никому из жителей S. Посреди комнаты еще стоял круглый стол; раньше вокруг него постоянно собиралась мрачная и восторженная молодежь, не встретившие понимания оригиналы, чумазые и шумные ребятишки, сейчас же от него веяло праздностью и покоем, а на поверхности лежал тонкий слой пыли. Я положил на стол бутылку и пакеты, придвинул стул и уселся напротив входной двери.

И вправду, очень скоро дверь открылась, и в комнату тихо, как тень, вошел Лянь-шу. Может быть, потому, что время близилось к вечеру, он показался чернее обычного, но выражение его лица было прежним.

— А! Ты здесь! Давно пришел? — Он вроде бы обрадовался.

— Совсем недавно,— ответил я.— А ты куда ходил?

— Да никуда. Просто так прошелся.

Он тоже пододвинул стул и уселся; мы принялись за водку, ведя разговор о том, как он лишился работы. Но вдаваться в подробности он не хотел, считал, что об этом событии много говорить не стоит, так как его следовало ожидать, и что ничего особенного в нем нет, поскольку с ним такое случалось не раз. Как обычно, он пил рюмку за рюмкой и рассуждал об обществе и об истории. В это время я бросил случайный взгляд на пустые книжные полки, вспомнил о редком издании «Указателя к «Историческим запискам», и во мне шевельнулось смутное ощущение одиночества и тоски.

— Какое запустение у тебя в гостиной... Гости редко приходят?

— Совсем не приходят. По их мнению, ходить ко мне не стоит потому, что у меня мрачное настроение. Действительно, от мрачного настроения окружающим может стать не по себе. Ведь никто не ходит в парк зимой...— Он сделал два глотка подряд и задумался, а потом вдруг поднял на меня глаза и спросил: — А у тебя с работой тоже ничего еще не определилось?

Я видел, что он слегка захмелел, и все же обиделся, хотел было возразить, но он уже не слушал, схватил горсть арахиса и вышел: за дверью шумно смеялись хозяйские дети.

Стоило ему выйти, как дети сразу замолкли и, судя по всему, убежали. Он хотел догнать их, что-то говорил, но ответа не было слышно. Он опять вошел тихо, как тень, и положил орехи обратно в пакет.

— Даже угощения от меня не берут,— сказал он негромко, с насмешкой в голосе.

Мне стало совсем грустно, но я сказал, изображая улыбку:

— По-моему, ты сам усложняешь себе жизнь, Лянь-шу. Люди кажутся тебе хуже, чем они есть...

Он холодно усмехнулся.

— Я еще не кончил. Ты, видимо, считаешь, что мы ходим к тебе от безделья, ходим, чтобы развеять скуку?

— Отнюдь нет. Впрочем, иногда я думаю, что вы приходите затем, чтобы потом было о чем поболтать.

— Ты не прав. Люди на самом деле совсем не такие. Ты сам свил для себя кокон и спрятался в нем. Нельзя видеть мир в таком мрачном свете,— промолвил я с сожалением.

— Может быть, и так. Но скажи мне: откуда взялся шелк для кокона? Конечно, на свете есть и такие люди, как моя бабушка. Во мне не течет ее кровь, но, быть может, я унаследую

ее судьбу... Впрочем, это не имеет никакого значения — плача по ней, я заранее оплакал себя...

Перед моими глазами сразу встала картина похорон его бабушки.

— Никак не пойму, отчего ты так рыдал тогда...— задал я нелепый вопрос.

— На бабушкиных похоронах? Да, тебе этого не понять,— с ледяным спокойствием ответил он, зажигая лампу.— Я думаю, что, не разрыдайся я тогда, мы с тобой так и не познакомились бы. Видишь ли, дело в том, что эта бабушка — мачеха моего отца, его родная мать умерла, когда ему шел третий год.

Он задумался, молча выпил и доел копченую рыбу.

— Раньше я ничего этого не знал, но с малых лет чувствовал, что есть какая-то тайна. Отец был еще жив, дома всего было в достатке, и в начале года обязательно устраивались пышные жертвоприношения перед портретами предков. Тогда мне казалось, что ничего не может быть приятнее, чем любоваться этими богато разукрашенными портретами. И вот моя нянька каждый раз указывала на один из них и говорила: «Это твоя собственная бабушка. Поклонись ей, пусть она поможет тебе подрасти поскорее, стать сильным и храбрым, как дракон и тигр». Я никак не мог понять, откуда взялась какая-то собственная бабушка, раз у меня уже есть одна. Но эта собственная бабушка мне нравилась, она была не такая старая, как домашняя бабушка; она была молодая и красивая, носила отделанный золотом красный халат и шапочку с жемчугом — почти такие, как на портрете моей матери. Когда я смотрел на нее, ее глаза были устремлены на меня, а в уголках губ собиралась улыбка; я был уверен, что она тоже очень любит меня.

Но я любил и свою домашнюю бабушку, целыми днями просиживавшую под окном со своим рукоделием. Как ни веселился я подле нее, как ни тормошил ее, мне никогда не удавалось ее рассмешить, она часто казалась мне холодной, немного непохожей на чужих бабушек. И все-таки я ее любил. И если позднее я постепенно отдалился от нее, то не потому, что повзрослел и узнал, что она приходится неродной матерью моему отцу, а потому, что мне, естественно, стало надоедать день за днем и год за годом видеть, как она шьет, словно машина. Но она, как и прежде, работала, следила за мной, заботилась обо мне; улыбалась она редко, зато никогда не бранилась. Ничего не изменилось и после смерти моего отца. Потом мы жили почти исключительно на то, что она зарабатывала своим рукоделием, особенно когда я пошел в школу...

В лампе кончался керосин, пламя стало меркнуть. Он поднялся, достал из-под книжной полки жестянку с керосином и заправил лампу.

— За один этот месяц цена на керосин поднималась дважды...— Он подкрутил фитиль и медленно продолжал: — Жить становится день ото дня труднее...

Бабушка не изменилась и потом, когда я окончил учебу, получил работу и жизнь стала более обеспеченной. И лишь когда болезнь вконец ее измучила, она слегла...

Последние ее годы были, на мой взгляд, не слишком тяжелыми, да и прожила она немало, так что плакать мне вроде бы не стоило. Тем более что плакальщиков как будто хватало? Плакали даже те, кто всячески измывался над ней; во всяком случае, они изображали на лицах глубокую скорбь. Ха-ха!.. Но в тот момент перед моим взором вдруг предстала вся ее жизнь — жизнь человека, который сам создал свое одиночество и потом постоянно пережевывал его. И еще мне подумалось, что таких людей очень много. Вот о них-то я и плакал, хотя главная причина все же в том, что я тогда был слишком чувствителен...

Ты сейчас осуждаешь меня за то же, за что я тогда ее упрекал. Но оказалось, что я был несправедлив. И не удивительно, с тех пор, как я начал узнавать жизнь, я стал постепенно отдаляться от нее...

Не выпуская из пальцев сигарету, он погрузился в молчание, опустил голову и задумался. Огонь в лампе еле заметно дрожал.

— Да, нелегко человеку, если некому его оплакать после смерти,— заговорил он как бы сам с собой, потом умолк, поднял голову и обратился ко мне: — Значит, ты ничем не можешь мне помочь. А мне надо поскорее найти какую-нибудь работу...

— У тебя нет каких-нибудь надежных друзей? — В ту пору я не мог ничем помочь даже самому себе.

— Да есть несколько, только все они примерно в том же положении, что и я...

Когда, распростившись с Лянь-шу, я выходил из дому, полная луна уже поднялась на середину неба, ночь была на редкость тихая.

IV

С народным образованием в Шаньяне дело обстояло из рук вон плохо. Уже два месяца я работал в школе, но из зарплаты не получил ни гроша, так что пришлось экономить даже на сигаретах. Но весь персонал школы, включая получавших но

пятнадцать — шестнадцать юаней в месяц мелких служащих, был полон стоического оптимизма. Тяготы жизни выработали в этих людях редкую выносливость: желтые и тощие, они работали с утра до ночи, да еще каждый раз при виде лица, занимающего хоть какое-нибудь положение, почтительно вскакивали, опровергая изречение «правила приличия познаются, когда еды и одежды вдосталь». В подобных ситуациях я неизменно вспоминал просьбу, с которой обратился ко мне Лянь-шу при нашей последней встрече. Жилось ему уже совсем скверно, бедность сквозила во всем, он как будто стал утрачивать былую сдержанность. В ночь перед моим отъездом он зашел ко мне, долго мялся, а затем проговорил, запинаясь:

— Не знаешь, как там — ничего нельзя сделать?.. Хотя бы найти переписку бумаг, юаней за двадцать — тридцать в месяц. Я...

От удивления я не сразу нашелся, что ответить,— не верилось, что он вдруг стал так скромен в своих желаниях.

— Я... Я должен пожить еще хоть немного...

— Доберусь до места, осмотрюсь и все, что в моих силах, сделаю.

Это мое тогдашнее обещание часто всплывало в моей памяти, и каждый раз перед глазами возникал облик Лянь-шу с его запинающейся речью: «Я должен пожить еще хоть немного». Я рекомендовал его всюду, где только мог, да что толку — работы мало, а людей много; в итоге я получил с извинениями несколько отказов и отправил ему несколько писем, тоже с извинениями. К концу семестра дела пошли еще хуже. В еженедельнике «Научные принципы», издававшемся несколькими местными джентри, стали появляться нападки на меня; разумеется, имя мое не называлось, но из ловко составленных фраз читателям сразу становилось ясно, что именно я провоцирую студенческие волнения, причем даже мои ходатайства за Лянь-шу изображались как стремление собрать вокруг себя сообщников.

Мне пришлось затаиться, просиживать за закрытой дверью все свободное от занятий время; порой я даже опасался, что выходящий сквозь оконную щель дым от сигареты навлечет на меня подозрение в подстрекательстве студентов. Об устройстве Лянь-шу нечего было и думать. Так продолжалось до середины зимы.

Длившийся весь день снегопад не прекратился и к ночи, за стенами дома стояла такая тишина, что ее, казалось, можно было слышать. При свете крошечной лампы я сидел неподвижно, закрыв глаза; мне мерещилось, что я вижу, как кружатся

и падают снежные хлопья, увеличивая и без того бескрайнюю гору снега; в моих родных местах люди тоже хлопочут, готовясь к встрече Нового года, а я, еще мальчишка, вместе с приятелями на заднем дворе леплю снежного архата. Глаза у архата сделаны из угольков, они сверкают черным блеском и вдруг превращаются в глаза Лянь-шу.

«Я должен пожить еще хоть немного!» — снова раздается все тот же голос.

— Но зачем? — ни с того ни с сего спросил я и сразу же понял нелепость моего вопроса.

Тут я очнулся, выпрямился и закурил сигарету; распахнув окно, я видел, что снегопад и вправду усилился. Послышался стук в ворота, и вскоре кто-то вошел, но то были знакомые шаги работника, обслуживавшего постояльцев. Он открыл мою дверь и передал мне большой конверт, надписанный небрежным почерком: по подписи «Вэй» я сразу понял, что он от Лянь-шу.

Это было его первое письмо со времени моего отъезда из города S. Я не удивлялся его молчанию, зная его неаккуратность в переписке, но иногда все же обижался, что он не дает о себе знать. Полученный конверт почему-то поразил меня, и я поспешил его распечатать. В письме, написанном тем же небрежным почерком, говорилось следующее:

«Шэнь-фэй, мой...

Как же мне обратиться к тебе? Не подыщу слова. Можешь проставить любое обращение, какое хочешь. Я на все согласен.

После отъезда ты прислал три письма, на которые я не ответил. Причина очень проста — у меня не было денег даже на марки. Возможно, тебя интересует, что со мной. Скажу тебе откровенно: я потерпел поражение. Я всегда считал, что меня преследуют неудачи, но теперь понял, что настоящее поражение я потерпел только сейчас. Раньше еще был человек, которому хотелось, чтобы я жил подольше, я и сам хотел этого, но жить было невозможно; теперь моя жизнь никому не нужна, но она продолжается...

Что ж, значит, так и жить?

Тот, кто желал мне жить подольше, сам не выжил. Враги заманили и погубили его. Какие именно? Этого никто не знает.

Как изменчива человеческая судьба! За последние полгода я едва не докатился до нищенства, а если говорить честно, то попросту нищенствовал. Но тогда у меня была цель, ради нее я готов был попрошайничать, голодать и холодать, сносить одиночество, терпеть лишения. Я не хотел погибать! Видишь, ка-

кую силу придает то, что есть человек, желающий продления твоей жизни. И вот этого единственного человека теперь не стало. Более того, я теперь сам считаю, что недостоин долее жить, впрочем, и окружающие тоже. Но в то же время я должен жить назло тем, кто не хочет, чтобы я жил; ведь это никому не причинит боли, раз нет того, кто желал, чтобы я жил по-хорошему. Причинить ему боль мне бы не хотелось. Но сейчас и этого единственного не стало. Какая радость, как легко на душе: я могу теперь делать все, что я раньше ненавидел, против чего выступал, я поношу все, чему поклонялся, что отстаивал. Я потерпел настоящее поражение — и в то же время победил.

Думаешь, я сошел с ума? Или стал героем, человеком выдающимся? Ничего подобного. Все гораздо проще: недавно я занял должность советника при комдиве Ду с окладом в восемьдесят серебряных долларов в месяц.

Шэнь-фэй...

Отругай меня любым словом, какое сочтешь подходящим, я на все согласен.

Ты, наверное, еще помнишь мою гостиную, где мы впервые встретились в этом городе и где распрощались. Я занимаю ее и сейчас. В ней новые гости, новые угощения, новые восхваления, новые интриги, новые поклоны и приветственные церемонии, новые игры в карты и в угадывание пальцев, новые холодные взгляды и недобрые мысли, новая бессонница и кровохарканье...

В предыдущем письме ты говорил, что очень недоволен своей работой. Не хочешь ли тоже стать советником? Скажи только, я все устрою. А по правде говоря, можно даже занять место привратника — все равно будут новые гости, новые угощения, новые восхваления...

У нас выпало много снега. А как там у вас? Сейчас уже глубокая ночь, но я не сплю, потому что дважды шла горлом кровь. Подумав о том, что за одну осень ты нежданно-негаданно прислал мне подряд три письма, я решил обязательно написать о себе — может быть, мое письмо не вызовет в тебе вздоха разочарования.

Скорее всего, я больше писать не буду, ты знаешь эту черту моего характера. Когда ты вернешься? Если скоро, мы, возможно, еще увидимся. Только я думаю, что у нас с тобой совсем разные дороги, в таком случае забудь обо мне. От всей души благодарю за хлопоты о моем устройстве. Но сейчас забудь обо мне; мне ведь теперь «хорошо».

Лянь-шу.

14 декабря».

Я пробежал письмо глазами, потом внимательно перечел его снова, и, хоть оно не «вызвало во мне вздоха разочарования», я все же ощутил какое-то беспокойство, к которому примешивались, однако, удовлетворение и радость; поскольку он так или иначе устроился, я могу о нем больше не заботиться, тем более, что мне так и не удалось хоть что-нибудь сделать. Я собрался было ответить ему, но писать было не о чем, и желание сразу пропало.

Действительно, я стал постепенно его забывать. Его облик все реже возникал в моей памяти. Однако не прошло и десяти дней после его письма, как вдруг редакция газеты «Научная неделя» из города S. стала присылать мне свое издание. Я не большой охотник до подобных вещей, но, раз уж присылают, пришлось полистать. И тут мне сразу вспомнился Лянь-шу, потому что сплошь и рядом я наталкивался на посвященные ему стихи и прозу, вроде «Снежной ночью навещаю господина Лянь-шу» или «Достойное сборище в резиденции советника Лянь-шу». Однажды в разделе «Ученые на досуге» были с явным удовольствием воспроизведены рассказы о нем, ходившие ранее в качестве анекдотов, но теперь они именовались «занимательными случаями», причем подтекст был такой: «у исключительных людей и поступки исключительные».

Но, несмотря на эти напоминания, облик его в моей памяти все тускнел, зато он сам как будто становился все ближе; часто я без видимой причины испытывал какое-то непонятное беспокойство, меня пробирала легкая дрожь. К счастью, с наступлением осени «Научная неделя» перестала приходить, а в шаньянском еженедельнике «Научные принципы» начали печатать с продолжениями большую статью под названием «Об истинах, содержащихся в слухах». Там говорилось, что среди известных своей беспристрастностью именитых людей широко распространились слухи о некоторых господах. Среди людей, на которых намекали, был и я; мне пришлось стать еще более осторожным и снова бояться дыма собственных сигарет. Осторожность — штука хлопотная, из-за нее пришлось забросить дела, и, уж конечно, мне было не до Лянь-шу. Одним словом, я в самом деле забыл о нем.

И все-таки мне не удалось дотянуть до летних каникул: в конце мая я покинул Шаньян.

V

Из Шаньяна я поехал в Личэн, а оттуда в Тайгу; так в скитаниях прошла большая часть года, но работы я не нашел и почел за благо вернуться в S. Приехал я туда в начале весны, под вечер, когда все вокруг было окутано серой пеленой и собирался идти дождь. В доме, где я жил раньше, оказалась свободная комната, в которой я и поселился. Еще по дороге я вспомнил о Лянь-шу, а когда обосновался, то решил навестить его после ужина. Чтобы добраться до Лянь-шу, мне пришлось долго плутать по мокрым улицам, обходя разлегшихся на дороге собак и сжимая в руке два пакета знаменитых вэньсийских лепешек с кунжутом. В доме было как будто светлее, чем обычно. «Не успел стать советником, как и в доме посветлело»,— подумал я и невольно усмехнулся про себя. Но тут мне бросилось в глаза белое пятно возле дверей — косо приклеенная полоса бумаги. «Наверное, умерла бабушка Да-ляна»,— снова подумал я и вошел в дом.

В слабо освещенном внутреннем дворе стоял гроб, а рядом с гробом кто-то в военной форме — не то строевой солдат, не то ординарец. Он разговаривал с женщиной; приглядевшись, я узнал в ней бабушку Да-ляна. Неподалеку праздно стояло еще несколько бедно одетых людей. Сердце у меня заколотилось; женщина обернулась и тоже пристально посмотрела на меня.

— А! Вернулись? Ну что бы на несколько дней раньше! — вдруг воскликнула она.

— А что? Кто-нибудь умер? — спросил я, хотя уже догадался о случившемся.

— Его превосходительство Вэй позавчера скончался.

Я огляделся вокруг: в гостиной было мрачно, видимо, ее освещала только одна лампа, зато в передней комнате висел белый траурный полог, а у входа в нее сидели ребятишки — Даляп, Эр-ляп и остальные.

— Он лежит там,— сказала бабушка, ведя меня за собой.— Когда его превосходительство получил назначение, я сдала ему еще и переднюю комнату. В ней он и лежит.

На траурном пологе не было никаких надписей, но перед ним стояло два столика — продолговатый и квадратный, на котором располагалось около дюжины чашек с угощениями. Едва я переступил порог, как вдруг мне преградили путь двое в длинных белых халатах; их широко раскрытые, как у мертвой рыбы, глаза подозрительно на меня уставились. Я торопливо рассказал о своих отношениях с Лянь-шу, а подоспевшая бабушка под-

твердила мои слова. Лишь после этого они перестали смотреть на меня с таким недоверием и молча пропустили совершить обряд поклона.

Не успел я поклониться, как откуда-то снизу донесся плач. Я присмотрелся: на соломенной циновке лежал мальчик лет десяти с небольшим, тоже в белой одежде, с коротко остриженными волосами, только на макушке у него торчал перевязанный ленькой пучок.

Разговорившись, я узнал, что один из двоих, преградивших мне путь, троюродный брат Лянь-шу, а второй — еще более дальний родственник. Никого ближе у Лянь-шу не было. Я попросил разрешения взглянуть на покойника, они изо всех сил удерживали меня, говорили, что для них это «слишком большая честь», но в конце концов уступили и приподняли траурный полог.

Так я встретился с мертвым Лянь-шу. Но удивительное дело! Хотя на нем были надеты помятые штаны и куртка с пятнами крови на поле́ и хотя лицо его стало невообразимо худым, выражение его оставалось прежним, рот был спокойно закрыт, веки сомкнуты; казалось, будто он спит, и я едва удержался, чтобы не протянуть руку и не проверить — не дышит ли он.

Надо всем, над умершим и над живыми, царила мертвая тишина. Я вернулся в комнату, троюродный брат опять подошел ко мне с разговорами насчет того, что «почтенный братец» в самом расцвете сил, в ожидании блестящего будущего, внезапно «ушел в другой мир» и что это не только несчастье для нашего «захудалого рода», но и слишком горькая утрата для друзей. Его речь звучала как извинение за Лянь-шу. Мало кто в горных деревушках умел говорить так красиво; но потом и он замолчал, и надо всем, над мертвым и над живыми, воцарилась мертвая тишина.

Не испытывая никакой печали, одну лишь скуку, я вышел во двор и разговорился с бабушкой Да-ляна. Я узнал, что покойника скоро будут класть в гроб, ждут лишь погребальную одежду и что при заколачивании гроба ни в коем случае нельзя присутствовать тем, кто родился под созвездиями «Мыши», «Коня», «Зайца» и «Курицы». Говорила она очень охотно, как вода из родника лились слова о его болезни, его образе жизни, причем порой в них слышалось неодобрение.

— Вы знаете, с тех пор, как дела его превосходительства пошли в гору, он стал совсем другим, голову начал держать высоко, загордился. Да и с людьми стал не так робок, как раньше. Вы же знаете, прежде он молчал, будто немой, а меня при встре-

че величал «старой госпожой». Зато потом стал звать «старой песочницей». Смешно, право. Раз ему прислали лекарство, столистник, так он сам есть не стал, вышвырнул во двор — вот сюда — и кричит: «Эй, старая песочница, можешь есть». Когда ему привалила удача, от гостей отбоя не было; тут я и сдала ему переднюю комнату, а сама перебралась во флигель. Мы между собой частенько посмеивались: вот, мол, как дела пошли на лад, так он совсем переменился. Приехали бы на месяц раньше, застали бы здесь всю эту кутерьму. Что ни день — вино, застольные игры; кто болтает, кто смеется, кто поет, кто сочиняет стихи, кто режется в карты... Раньше он боялся детей больше, чем дети боятся отца, всегда был с ними тихий и уступчивый. А потом будто его подменили: стал разговорчивым, возится с ребятишками, и они рады с ним поиграть! Как выдастся минутка, сразу бегут к нему в комнату. Шутил он над ними по-всякому: они попросят чего-нибудь купить, а он заставляет их лаять по-собачьему или стукнуться головой об пол. Ха-ха, вот уж было шуму! Месяца два назад Эр-лян попросил его купить туфли, так он заставил его три раза стукнуться головой об пол. А туфли Эр-лян все еще носит, не порвал.

Тут вошел один из родственников в белом халате, и она замолкла. Я спросил, чем болел Лянь-шу; она ответила неопределенно: мол, он давно уже стал худеть, да никто не обратил внимания, потому что он всегда был такой веселый, живой. И только месяц с лишним назад узнали, что у него были кровохаркания, но к врачу он как будто не обращался. Потом он слег, а за три дня до смерти уже не мог говорить. Господин Тринадцатый брат из такой дали, из Ханьшишани, приехал сюда, чтобы спросить, есть ли у него деньги в банке, а он молчит. Тринадцатый господин даже подумал, что он притворяется, но люди сказали, что иные чахоточные перед смертью лишаются языка; может, так оно и было...

— Только у его превосходительства нрав был уж больно чудной,— вдруг сказала она негромко.— Ничего-то он не откладывал, деньги текли рекой, Тринадцатый господин думает, что мы поднажились на нем. А на чем тут разживешься? Все он тратил по-глупому, даже досадно. Сегодня купит вещь, назавтра продаст или сломает, зачем — непонятно. Как пришло время помирать, так ничего не осталось, все спустил. А то разве было бы так пусто на похоронах...

Все-то он куролесил, не хотел заняться настоящим делом. Сколько я его уговаривала. Дескать, годы уже немолодые, пора бы жениться, при нынешнем достатке найти жену легко, а не

найдется подходящей семьи, так можно сначала купить несколько наложниц — должен же человек жить, как положено. А он услышит — и ну смеяться: «Опять ты, старая песочница, лезешь с этими разговорами». Вот видите, какой он стал несерьезный, не хотел доброго совета послушать. А внял бы он моим словам, так не бродил бы сейчас на том свете один-одинешенек, слышал бы, как по нем родные плачут...

Приказчик из лавки принес сверток с погребальной одеждой, родственники развязали его и вошли за полог. Вскоре полог раздвинулся; нижнюю одежду уже сменили и принялись за верхнюю. Тут я невольно удивился. Сначала на него надели офицерские брюки цвета хаки с очень широкими красными лампасами, затем воинский китель со сверкающими золотом погонами. Не знаю, какое у него было звание и когда он успел его получить. В гробу Лянь-шу выглядел более чем странно: в ногах у него лежала пара желтых ботинок, возле пояса — сабля из папье-маше, а рядом с исхудавшим, серо-черным лицом — армейская фуражка с золотым околышком.

Родственники поплакали возле гроба, потом замолчали и вытерли слезы; мальчик с пучком на макушке ушел, скрылся и Сан-лян; как видно, оба они родились под созвездиями «Мыши», «Коня», «Зайца» или «Курицы».

Прислужники вынесли крышку гроба, а я подошел ближе, чтобы перед вечной разлукой бросить последний взгляд на Лянь-шу.

Он спокойно лежал в одеянии, которое так не шло к нему, с закрытыми глазами и сомкнутым ртом, в углах губ, казалось, притаилась насмешливая улыбка, словно он издевался над собственным комичным нарядом.

Послышались удары молотка, и одновременно раздался плач. Не в силах слушать рыданий, я вышел во двор, а затем незаметно для себя оказался за воротами. Мокрая дорога вырисовывалась очень четко; я взглянул на небосвод — тучи рассеялись, полная луна лила холодный и спокойный свет.

Я шел быстро, словно старался вырваться из чего-то, стеснявшего меня, но не мог. В ушах у меня долго стоял какой-то шум, но в этом шуме я наконец различил протяжный звук, напоминавший вой раненого волка в ночной степи. В этом вое боль смешивалась с гневом и печалью.

У меня отлегло от сердца, и я спокойно зашагал при свете луны по мокрой мостовой.

Октябрь 1925 г.

СКОРБЬ ПО УШЕДШЕЙ

(Записки Цзюань-шэна)

Если бы я мог, то описал бы все свое раскаянье и всю скорбь — ради Цзы-цзюнь, ради самого себя.

Тоскливо и пусто в убогой, заброшенной, всеми забытой комнатушке землячества. А как быстро летит время! Вот уже год прошел с тех пор, как я полюбил Цзы-цзюнь, как благодаря ей избавился от этой тоски и пустоты. Но все сложилось так печально, что я снова вернулся в ту же, будто назло пустовавшую комнату. Там по-прежнему разбитое окно, за окном — полузасохшая акация и старая глициния. У окна на том же месте стоит квадратный стол. У той же облезлой стены та же деревянная кровать. Поздней ночью, когда я лежу один на этой кровати, мне кажется, будто никогда я не был вместе с Цзы-цзюнь, будто прошедший год весь вычеркнут из жизни, будто его и не было и я не уезжал из этой комнатушки и не создавал, полный надежд, маленького семейного очага в переулке «Предвестник счастья».

Только год назад и тоска и пустота были совсем другими, ибо в них таилось ожидание — ожидание Цзы-цзюнь. Как поспешно я вскакивал тогда, едва заслышав легкий стук каблучков по выложенной кирпичом дорожке! И вот уже я видел ее круглое бледное личико с ямочками на щеках, белые худенькие руки, полотняную в полоску блузку и темную юбку. С приходом Цзы-цзюнь на полузасохшей акации за окном я замечал молодые листочки — она их мне показывала, так же как и бледно-фиолетовые цветы глицинии, гроздьями свисавшие со старой, будто железной лианы.

А теперь? Теперь остались только тишина да пустота.

Цзы-цзюнь больше не придет — не придет, никогда, никогда!..

Когда Цзы-цзюнь не было в моей комнатушке, я ничего не замечал. Полный тоски, я хватался за любую книгу, все равно какую — научную или художественную. И вдруг сознавал, что не помню, о чем шла речь на десятке перевернутых страниц. Зато слух у меня стал очень чутким — я различал шаги Цзы-цзюнь среди множества других, за воротами, слышал, как они приближались, чуть поскрипывая, но, увы, зачастую они затихали, словно растворяясь в топоте чужих ног.

Я возненавидел сына дворника, носившего туфли на матерчатой подошве, за то, что его шаги нисколько не походили

на шаги Цзы-цзюнь. Возненавидел намалеванную белилами дрянь из соседнего двора, часто разгуливавшую в новых кожаных туфлях, за то, что ее шаги слишком походили на шаги Цзы-цзюнь!

А вдруг рикша, который вез Цзы-цзюнь, опрокинул коляску? Или моя любимая попала под трамвай?

Меня так и подмывало схватить шапку и бежать к ней, хотя ее дядя однажды уже отругал меня прямо в лицо.

Но вот, наконец, раздаются ее шаги, все ближе, четче. Спешу навстречу, а она уже проходит под свесившимися гроздьями глицинии. Лицо ее с ямочками улыбается. Значит, ее не бранили в доме дяди. Я успокаиваюсь, мы молча смотрим друг на друга. А потом комнатушка оглашается моим собственным голосом. Я объясняю ей деспотизм семьи, необходимость уничтожения старых обычаев, рассказываю о равноправии женщин, об Ибсене, Тагоре, Шелли... Она улыбается и кивает головой... А в глазах у нее светится чисто детское любопытство.

На стене висел литографированный портрет Шелли — самый удачный из его портретов, вырезанный мною из какого-то журнала. Когда я показал ей поэта, она лишь мельком на него взглянула и, как будто смутившись, опустила голову. Цзы-цзюнь, видимо, не совсем еще освободилась от предрассудков. Тогда я решил заменить этот портрет картиной, изображавшей гибель Шелли в море, или портретом Ибсена, но так и не сменил. А теперь не знаю даже, куда делся тот, единственный.

«Я принадлежу самой себе, и никто не вправе вмешиваться в мою жизнь!» — так четко, твердо и спокойно заявила она после минутного раздумья, когда однажды, через полгода после нашего знакомства, мы заговорили о дяде, жившем здесь, и об отце, оставшемся в ее родных местах. К тому времени я уже рассказал ей, ничего не утаив, о своих убеждениях, о своей жизни и обо всех своих недостатках. Она все поняла. Ее слова глубоко меня потрясли и долго звучали в моих ушах. Я испытывал несказанную радость при мысли о том, что китайские женщины не так безнадежны, как это утверждали пессимисты, что в самом недалеком будущем и для них взойдет чудесная заря.

Когда я провожал ее до ворот, мы шли, по обычаю, на расстоянии нескольких шагов друг от друга. В это время в грязном окне обычно появлялась физиономия старого хрыча с усами, как у сома, он прилипал к оконному стеклу так, что кончик его носа сплющивался в пятачок... А на другом дворе, за окном с чисто протертыми стеклами, мелькало лицо той дряни с тол-

стым слоем белил. Но Цзы-цзюнь, ничего не замечая, не глядя по сторонам, гордо проходила мимо, а я с такой же гордостью возвращался к себе.

Что значили для нее этот сплющенный нос, эта тварь, вымазанная белилами? «Я принадлежу самой себе, и никто не вправе вмешиваться в мою жизнь!» — эта мысль овладела Цзы-цзюнь еще прочнее, чем мной.

Не помню точно, когда и как я признался в своей искренней и горячей любви. Не только теперь, но и тогда, сразу после объяснения, я представлял себе все очень смутно. И когда ночью захотел вспомнить, как это произошло, всплыли лишь какие-то отдельные моменты, которые после первых двух месяцев нашей совместной жизни совсем стерлись из памяти. Знаю только, что дней за десять до объяснения я очень тщательно все обдумывал, подбирал слова, сочиняя речь, готовился даже к отказу. Но это оказалось ненужным. Я растерялся, и все получилось, как в кинофильме. Потом я без стыда не мог подумать о происшедшем, которое, как нарочно, врезалось в память. Еще сейчас я отчетливо вижу, как в полутемной комнате при свете сиротливой лампы со слезами на глазах держу ее за руку, преклонив колено...

Я забыл, что сам говорил, забыл, что говорила, как держалась Цзы-цзюнь, помнил лишь, что она дала согласие. Лицо у нее при этом как будто побледнело, затем покраснело, такой пунцовой я ее больше никогда не видел,— ни раньше, ни позднее. В ее совсем еще детских глазах были и печаль, и радость, и страх. Она избегала моего взгляда и от смущения, казалось, готова была выпорхнуть в окно. Не помню, что она сказала, сказала ли вообще что-нибудь, только я понял, что она согласна.

Зато Цзы-цзюнь помнила все. Мои слова она могла без запинки декламировать наизусть, а мои жесты воспроизвести во всех подробностях, очень живо, будто смотрела фильм, которого я не видел. Поздней ночью в полной тишине мы снова и снова разыгрывали ту промелькнувшую, как в кино, сцену, о которой мне не хотелось вспоминать. Мы как бы устраивали повторение пройденного: она меня экзаменовала, заставляя слово в слово повторять сказанные мною тогда слова, но всякий раз ей приходилось дополнять и поправлять своего великовозрастного ученика.

И хотя эти экзамены мы устраивали все реже, мне всегда приятно было видеть, как она в глубокой задумчивости устрем-

ляла взгляд в пространство. В такие минуты ее лицо станóвилось еще нежнее, а ямочки на щеках — глубже. И я знал, что она мысленно повторяет мои слова, точно заученный урок. Одного я боялся, как бы она не заметила вдруг весь комизм того эпизода, похожего на кинофильм. Но я знал, что ей необходимо было воспроизводить его в памяти, она не могла иначе и, в отличие от меня, ничего смешного и пошлого в нем не находила. В этом я был твердо уверен, потому что любила она меня так горячо, так искренне.

Конец прошлой весны был для меня самой счастливой порой, хотя и самой хлопотливой. Я обрел душевный покой, однако прибавились новые заботы. Как раз тогда мы стали появляться на улице вдвоем и несколько раз даже побывали в парке. Очень много времени отнимали поиски квартиры. На улицах, казалось мне, нас постоянно преследовали то любопытные и насмешливые, то непристойные и презрительные взгляды. От этих бесцеремонных взглядов становилось не по себе. Я весь съеживался, но затем сразу же прибегал к спасительному средству — принимал гордый и протестующий вид. Цзы-цзюнь же совсем осмелела и ни на что не обращала внимания. Шла спокойно, неторопливо, будто вокруг никого не было.

Найти квартиру оказалось не легко. В большинстве случаев под различными предлогами нам отказывали, гораздо реже мы сами решали, что квартира не подходит. Сначала мы придирались — да еще как,— везде казалось нам недостаточно уютно. А потом были готовы на все, лишь бы пустили. Мы обошли два с лишним десятка домов, прежде чем нам удалось наконец отыскать сносное пристанище. Это были две обращенные на юг комнаты в маленьком домике в переулке «Предвестник счастья». Хозяин — мелкий чиновник, видимо, нам посочувствовал.

Сам он с женой и ребенком занимал передний дом и боковой флигель. Дочке не было еще года, и для нее держали няньку из деревни. Тишину здесь нарушал только детский плач.

Утварью мы обзавелись совсем простой, но и на нее ушла большая часть моих сбережений. Цзы-цзюнь продала свое единственное золотое кольцо и серьги. Как я ее ни отговаривал, она стояла на своем, и мне пришлось уступить: не внеси Цзы-цзюнь своей доли, она не чувствовала бы себя как дома.

С дядей они давно поссорились. Он даже перестал считать ее своей племянницей. Я постепенно порвал с приятелями, которые совались ко мне с искренними предостережениями; одни боялись за меня, другие просто завидовали. После этого у нас стало еще тише и спокойнее.

Работал я в канцелярии почти до вечера, рикша обычно вез не спеша, и только в сумерках наступал, наконец, момент нашей встречи. Сначала мы в волнении молча смотрели друг на друга, затем, успокоившись, вели задушевные беседы, потом снова умолкали. Иногда сидели, опустив голову, будто погрузившись в глубокое раздумье, хотя ни о чем не думали. Понемногу я научился смотреть на Цзы-цзюнь более трезво, понимать и тело ее, и душу. А недели через три разгадал многое из того, что прежде казалось понятным, а теперь стало нас разобщать,— почувствовал какую-то отчужденность.

Цзы-цзюнь день ото дня становилась все веселее. К цветам она была равнодушна. Два горшка с цветами, которые я купил ей во время храмового праздника, так и засохли в углу. Четыре дня она их не поливала, а у меня на все это не хватало времени. Зато она очень любила птиц и животных — заразилась этим, возможно, от нашей квартирной хозяйки. Не прошло и месяца, как наше хозяйство увеличилось: четыре цыпленка бегали теперь по маленькому двору вместе с десятком хозяйских. Женщины знали каждого своего питомца и никогда их не путали. Потом завелась у нас белая с черными пятнами болонка, тоже купленная на храмовой ярмарке. Помнится мне, что у песика была кличка; но Цзы-цзюнь дала ему новую — А-суй. Я тоже стал звать его А-суй, хотя эта кличка мне не нравилась.

— Как верно, что любовь надо растить, обновлять и творить,— говорил я Цзы-цзюнь, и она понимающе кивала головой.

Ах! Какие это были спокойные и счастливые ночи!

Если бы покой и счастье могли застыть, могли остаться навечно!

Еще в землячестве мы, случалось, расходились во мнениях. Но после переезда на новую квартиру наши ссоры прекратились. Мы забыли о них. И, сидя у лампы друг против друга, вспоминали только о том, как мирились после размолвки, и снова испытывали радость, чувствуя себя обновленными.

Цзы-цзюнь пополнела, порозовела, но, к моему огорчению, была всегда занята. Домашние хлопоты поглощали все время, и ей некогда было даже поболтать, не то что почитать или прогуляться. Мы стали поговаривать о том, чтобы нанять прислугу.

Меня удручало, когда, возвращаясь по вечерам, я замечал, что Цзы-цзюнь пытается скрыть от меня свою печаль. Но еще тяжелее было смотреть, как она притворяется, стараясь изобразить на лице улыбку. К счастью, мне удалось выведать, что причина всему — тайные стычки с хозяйкой из-за цыплят. Но почему она так упорно их от меня скрывала?

Надо было менять жилье: собственно, каждой семье следует занимать отдельный дом.

Я жил по твердо установленному распорядку: шесть дней в неделю ходил на службу, со службы возвращался домой. В канцелярии за конторским столом переписывал официальные бумаги и корреспонденции. Дома либо усаживался напротив Цзы-цзюнь, либо помогал ей топить печку, готовить еду и делать пампушки. В то время я и научился стряпать.

Питались мы теперь значительно лучше, чем в землячестве. Хотя стряпня и не была призванием Цзы-цзюнь, она вкладывала в нее всю душу, хлопотала с утра до вечера, и я вынужден был ей помогать, делить с ней и радость и горе. Весь день ее лицо не просыхало от пота, челка прилипала ко лбу, руки огрубели. А тут еще нужно было кормить цыплят, собаку... и все это лежало на ней.

Как-то раз я сказал, что впредь не буду обедать дома — ради этого не стоит тратить столько сил. Она ничего не ответила, только взглянула на меня так печально! Больше я не заговаривал об этом, и все осталось по-прежнему.

Но тут нам был нанесен удар, которого я давно опасался. Случилось это в канун годовщины революции. Вечером, когда я сидел дома без дела, а Цзы-цзюнь мыла посуду, вдруг раздался стук. Открыв дверь, я увидел посыльного из канцелярии, который вручил мне бумагу, отпечатанную на гектографе. Догадываясь, в чем дело, я подошел к лампе и прочитал:

«По приказу начальника канцелярии, извещаем Ши Цзюань-шэна, что он может больше не утруждать себя явкой на службу.

9 октября

Секретариат».

Я предвидел это, еще когда жил в землячестве. Та самая тварь с толстым слоем белил была партнершей по азартным играм сына начальника канцелярии. Она ему и донесла. Но до начальника ее клевета дошла, видимо, только сейчас. Для меня, собственно, это не должно было явиться ударом, ведь я давно решил устроиться переписчиком где-нибудь в другом месте, либо стать преподавателем, а может быть — хотя это и тяжелый труд, заняться переводами, тем более что был знаком с главным редактором журнала «Друг свободы». Мы виделись с ним несколько раз, а еще месяца два тому назад переписывались. И все же при виде извещения сердце у меня дрогнуло. Даже Цзы-цзюнь, такая бесстрашная, и та изменилась в лице.

Правда, последнее время она постоянно чего-то боялась, и это меня особенно тревожило.

Она начала было:

— Ну и что ж! Начнем новую жизнь. Мы...

Слова ее почему-то показались мне легковесными, а свет лампы — чересчур тусклым. До чего же забавное существо — человек! Любая мелочь, любой пустяк могут вывести его из равновесия. В первую минуту мы молча смотрели друг на друга, потом стали советоваться и, наконец, решили всемерно экономить оставшиеся деньги, через газету искать место переписчика или учителя, а также написать главному редактору «Друга свободы». Рассказать ему обо всем, что со мной случилось, просить принять мои переводы и хоть немного помочь нам в трудное время.

Сказано — сделано! Проложим себе новую дорогу!

Я тут же сел за письменный стол, сдвинул в сторону бутылку с кунжутным маслом и блюдце с уксусом. Цзы-цзюнь поставила передо мной тусклую лампу. Набросав объявление в газету, я занялся выбором книги для перевода. Оказалось, что после переезда на эту квартиру я не прикасался к книгам, и они успели покрыться густым слоем пыли. Тогда я принялся за письмо, колеблясь, не зная, как писать. Я задумался, отложил было перо и тут взглянул на Цзы-цзюнь. В тусклом свете она казалась очень печальной. Я не ожидал, что подобный пустяк может так сильно подействовать на нее, всегда решительную и стойкую. Но, как я уже говорил, в последнее время она стала боязливой. И эта перемена произошла в ней не сегодня. Я пришел в смятение. Перед моими глазами промелькнула комнатушка в землячестве, спокойная жизнь, тишина и уединение. Мне хотелось удержать это видение, но его сменил тусклый свет лампы.

Я долго сидел над письмом. Оно получилось слишком длинным, отняло у меня много сил, и мне показалось, будто я и сам начинаю трусить. И объявление и письмо мы решили отправить на следующий же день. Не сговариваясь, мы оба потянулись, распрямили спину, и все это молча, с непреклонной решимостью, будто увидели вдруг ростки надежды.

Нанесенный мне удар вызвал прилив энергии. Работая в канцелярии, я походил на птицу в руках бродячего торговца — ведь от щепотки зерна сыт не будешь, разве что с голоду не пропадешь. А крылья у птицы постепенно слабеют, и если выпустить ее на волю — она не взлетит. Я же вырвался из клетки вовремя, еще не разучившись летать, и вновь ощутил желание парить в небесных просторах.

Маленькое объявление, опубликованное всего раз, не могло,

естественно, принести результата. Переводы оказались делом нелегким. Когда читаешь, все понятно, а возьмешься за перо — появляются сотни трудностей, и работа подвигается крайне медленно. Но я решил трудиться изо всех сил! О том, как добросовестно я работал, свидетельствовали страницы моего почти нового словаря: не прошло и полмесяца, как они покрылись темными отпечатками пальцев. Главный редактор «Друга свободы» как-то сказал мне, что хорошие рукописи не залеживаются в его журнале.

К сожалению, я не имел отдельной комнаты. А Цзы-цзюнь уже не была такой тихой и чуткой, как прежде. Везде стояла в беспорядке неубранная посуда, дым и чад не выветривались,— словом, места для работы у меня не было, и в этом я мог винить только самого себя. А тут еще собака и цыплята! Цыплята подросли, и Цзы-цзюнь все чаще ссорилась из-за них с хозяйкой.

Ко всему этому прибавились «текущие беспрестанно, как река», ежедневные заботы о пропитании, которым Цзы-цзюнь всецело себя посвятила. Всякий раз, садясь за стол, мы подсчитывали, сколько проели сбережений. А еще приходилось кормить собаку и цыплят. Цзы-цзюнь, казалось, забыла обо всем, чем интересовалась раньше. Будто не замечая, как напряженно я думаю, она часто прерывала мои мысли, торопя с обедом. Не помогали даже сердитые взгляды, которые я на нее бросал. Мое раздражение ее словно не трогало — она громко чавкала.

Я не всегда мог оторваться от работы, чтобы поесть. Но Цзы-цзюнь пришлось это втолковывать целых пять недель. Наконец она поняла, ничего не сказала и радости особой не выказала.

После этого работа пошла быстрее, и вскоре у меня уже было переведено пятьдесят тысяч знаков. Осталось только подредактировать и отослать рукопись «Другу свободы» вместе с двумя небольшими собственными произведениями. С таким положением можно бы смириться, если бы не постоянные мучения с едой. Ели все холодным, но и это еще полбеды, главное, что жили впроголодь. Порою не хватало даже риса. А ведь ел я гораздо меньше с тех пор, как почти перестал выходить из дому. Первым делом мы кормили собаку, иногда даже бараниной, в которой себе отказывали. Но Цзы-цзюнь ее жалела, говорила, что собака совсем отощала, и жаловалась на хозяйку, которая из-за этой собачонки над нами смеялась.

Прошло немало времени, прежде чем мы заметили, что нас объедают даже цыплята. Тогда я понял «место человека во все-

ленной» — почти по Гексли,— мое место оказалось где-то между собакой и цыплятами.

Но после долгих споров и уговоров цыплята один за другим превращались в изысканную пищу — дней десять, а то и больше, мы и А-суй лакомились свежей курятиной. Цыплята, правда, оказались тощими: они съедали за день всего несколько зернышек гаоляна.

Теперь у нас стало тише. Цзы-цзюнь все время что-то тревожило и страшило. Она была так подавлена, что не хотела даже разговаривать. «Как легко может измениться человек!» — думал я. Мы уже отчаялись получить когда-нибудь ответ на мое письмо.

Кормить собаку мы больше не могли. Цзы-цзюнь давно не бросала А-сую лакомых кусочков, за которыми он тянулся, становясь на задние лапы. Собака стала для нас тяжелым бременем. Неумолимо надвигалась зима. Топка печи становилась проблемой.

Но отвести А-суя на базар возле храма, сунув ему за ошейник пучок соломы — в знак продажи, и выручить за него хоть несколько медяков мы не хотели. Я отнес его на западную окраину города и оставил там, замотав ему голову тряпкой. Но он все пытался меня догнать, и я столкнул его в неглубокую канаву.

Вернувшись, я сразу заметил, насколько тише стало в доме. Но меня испугал скорбный вид Цзы-цзюнь. Такого выражения у нее на лице я никогда еще не видел. И все из-за собаки. А из-за чего же еще? Я не сказал ей, что столкнул его в канаву. К ночи я увидел на лице Цзы-цзюнь какую-то отчужденность.

— Не пойму, что с тобой? — не вытерпев, спросил я.

— Что? — Она даже не взглянула на меня.

— У тебя на лице...

— Ничего... ничего особенного.

Она, видимо, считала меня черствым, бессердечным. А ведь одному мне было бы легче.

Прежде из гордости я не поддерживал светских знакомств, а после переезда на эту квартиру отдалился даже от старых друзей. Но ведь стоило только почувствовать в себе силы преодолеть и дальние дороги, и высоты, чтобы снова открылся широкий жизненный путь. Почти все мои беды случились из-за Цзы-цзюнь. Даже от собаки я избавился ради нее. Но Цзы-цзюнь этого не замечала. Кругозор ее, видно, все больше сужался. Я намекнул ей на это при первом же удобном случае. Она кивнула головой, но, судя по всему, либо не поверила мне, либо ничего не поняла.

Холод в квартире и холодность в наших отношениях гнали меня из дома. Но куда идти? На улице, в парке меня не преследовали холодные взгляды, зато так пронизывал ледяной ветер, что кожа, казалось, готова была растрескаться. В конце концов я нашел пристанище в Публичной библиотеке.

Вход туда был бесплатный, а главное — в читальном зале стояли две железные печки. И хотя угольки едва тлели, при одном взгляде на них становилось теплее. Читать здесь было нечего. Старые книги совершенно истрепались, а новые почти не появлялись.

Но я ходил туда не для занятий. Там обычно собиралось еще человек десять, не больше, одетых, как и я, по-летнему. Чтение было лишь предлогом — ходили туда погреться. Для меня библиотека оказалась самым подходящим местом. На улице можно наткнуться на знакомых, встретить презрительный взгляд. Здесь же я был вне опасности, поскольку все мои знакомые могли греться возле других печек или у себя дома, прислонившись к белым изразцам.

Хотя книг в библиотеке для меня не нашлось, там можно было, по крайней мере, спокойно думать. Обычно я усаживался на свое место и в полном одиночестве предавался воспоминаниям. Тогда-то я и начал сознавать, что за последние полгода — ради любви, слепой любви — совершенно пренебрег самым важным для человека — самой жизнью. Ведь чтобы любить, надо жить. Для того, кто борется, открыты дороги жизни. Я еще не разучился летать, только крылья мои стали намного слабее...

И зал и читатели постепенно исчезали, и мне чудились рыбаки среди разъяренных волн океана, солдаты в окопах, богачи в автомобилях, спекулянты на иностранных биржах, смельчаки в далеких горах и дремучих лесах, профессора на кафедрах, любители похождений и воры под покровом ночи...

Цзы-цзюнь! Ее нет рядом. Утратив все свое мужество, она горюет из-за песика и изводит себя стряпней. Удивительно, что она почти не похудела...

Уголь в печке догорает, становится зябко. Скоро закроют читальню. И снова придется, напустив на себя холодность, возвращаться в переулок «Предвестник счастья».

Случалось, что Цзы-цзюнь встречала меня тепло и ласково, но от этого я страдал еще больше. Помню, как однажды вечером глаза ее вдруг снова по-детски вспыхнули, и, улыбаясь, она стала вспоминать нашу жизнь в землячестве. Но время от времени на ее лице появлялось выражение испуга. Я превзошел ее

холодностью и безразличием и посеял в ней сомнения. Чтобы хоть немного успокоить ее, приходилось болтать и смеяться. Но улыбка и слова, казалось, тонули в пустоте, которую я физически ощущал. Эта пустота была невыносима, как злая насмешка.

Цзы-цзюнь тоже это почувствовала. С того времени она не впадала в оцепенение, ставшее для нее обычным, однако скрыть тревогу и сомнения, как ни старалась, не могла — они нет-нет да и прорывались наружу. Но ко мне она стала относиться гораздо мягче...

Я все собирался с ней объясниться, но не хватало смелости. Как-то решился было, но, встретив ее по-детски наивный взгляд, раздумал и снова притворился веселым. В следующий же момент все снова обернулось насмешкой против меня самого, лишило меня твердости и равнодушия.

Цзы-цзюнь снова начала вспоминать прошлое — устраивала «повторение пройденного», по-новому меня экзаменовала, заставляла себя утешать, сама сочиняла многие притворно-ласковые ответы, хороня в своем сердце фальшь этих приготовленных заранее объяснений. Я же задыхался от притворства и фальши, мучился и часто думал о том, что для правды нужно большое мужество. А если мужества нет и человек прибегает к спасительной лжи, он никогда не найдет нового пути в жизни, не станет он и настоящим человеком!

Однажды утром, очень холодным утром, я увидел на лице у Цзы-цзюнь выражение злобы. Это было впервые, а может быть, я просто не замечал. Заметив же, холодно и зло усмехнулся про себя. Все ее остроумие, широта и смелость суждений оказались сплошной пустотой, но сама она этого не сознавала. К книгам она давно уже не притрагивалась. Она не могла понять, что самое главное для человека — это стремление жить, что необходимо либо идти вдвоем рука об руку, либо однажды резко остановиться и продолжать путь одному. Если же цепляться за полу другого и виснуть на нем, то, будь это самый отважный боец, ему все равно не пробиться, и погибнут оба.

Я чувствовал, что спасение только в разрыве: Цзы-цзюнь должна на него решиться. На мгновенье я даже пожелал ее смерти, но тут же раскаялся и осудил себя. Хорошо, что впереди целый день, я все ей объясню. От этого зависит начало нашего нового пути.

Я принялся болтать с нею, нарочно вспомнил о прошлом, затем перешел к литературе, коснулся иностранных писателей, их произведений — «Норы» и «Женщины с моря». Стал восхвалять решимость Норы... Обо всем этом я уже не раз говорил с ней еще в прошлом году, в землячестве, но теперь мои слова будто проваливались в пустоту. Какой-то скверный мальчишка, казалось, стоял за спиной и злобно меня передразнивал.

Цзы-цзюнь слушала, поддакивала, кивала головой, но потом замолкла. Я говорил, говорил, а когда перестал — мой голос растворился в той же пустоте.

— Все это верно...— сказала она, нарушив наконец молчание,— но вот что, Цзюань-шэн, за последнее время ты сильно изменился. Разве ты сам этого не чувствуешь?.. Скажи правду!

Это был лобовой удар, но я сразу же овладел собой и повторил все сначала — о том, как проложить новый путь, как начать новую жизнь, чтобы не погибнуть обоим.

Собрав всю свою решимость, я добавил:

— Но тебя ничто не должно заботить, иди смело вперед. Ты хотела, чтобы я сказал правду. Да, верно, человек не должен кривить душой... Так вот, скажу правду: я стал другим потому... потому, что разлюбил тебя! Но это даже лучше. Ты можешь больше не тревожиться и идти работать...

Я ожидал взрыва, а ответом было лишь молчание. Лицо у Цзы-цзюнь вдруг стало пепельно-серым, как-то помертвело, но через какой-то миг она очнулась, глаза ее по-детски вспыхнули, заметались, совсем как у ребенка, который, изнывая от голода, ищет мать. Она же взывала к пустоте, страшась встретиться со мной взглядом.

Смотреть на нее было невыносимо. Хорошо еще, что это было утром, и, не обращая внимания на холодный ветер, я опрометью бросился из дому и пошел в библиотеку.

В последнем номере «Друга свободы», я увидел собственные произведения. Я даже вздрогнул от неожиданности, почувствовав прилив сил. Есть, конечно, немало и других дорог, но жить так, как сейчас, невозможно.

Раз или два я навестил своих прежних знакомых, о которых давно ничего не слышал. В их домах было тепло, но меня до мозга костей пронизывал холод. По ночам я свертывался клубком в нашей комнате, которая казалась мне холоднее льда.

Холод колючими иглами пронизывал все мое существо, парализованное хронической болью. Сколько в жизни путей, а ведь я еще не разучился летать. И я снова пожелал ее смерти, но тут же снова раскаялся, осудив себя.

Сидя в библиотеке, я часто видел перед собой этот новый, светлый путь. Все осознав и набравшись мужества, Цзы-цзюнь уходит из нашего холодного дома, уходит без обиды, без ненависти. И я сразу ощущаю легкость, будто становлюсь облачком в небесных просторах: надо мной — синее небо, подо мной — высокие горы, безбрежные моря, громады дворцов, поля сражений, автомобили, иностранные биржи, особняки, светлые и шумные города, темная ночь...

Я жил предчувствием этой новой жизни.

Окончилась невыносимо тяжкая для нас зима, пекинская зима. Она мучила нас так, как мучает стрекозу балованный, злой мальчишка, привязав ее ниткой. Пусть он не до смерти ее истерзает, она все равно больше не взлетит и будет беспомощно биться о землю.

Трижды написав главному редактору «Друга свободы», я получил наконец ответ. В конверте было всего два чека — один на двадцать, другой — на тридцать фэней. А ведь я, чтобы его поторопить, истратил только на марки девять фэней — дневную норму полуголодного существования. Опять все оказалось напрасным, ушло в безвозвратную пустоту.

Но вот, наконец, свершилось то, что должно было свершиться.

Зима уступала место весне. Ветер уже не был таким холодным, и я целыми днями бродил по городу, возвращаясь лишь в сумерки. В один из таких вечеров я шел домой, как обычно, в мрачном настроении. А дойдя до дверей, совсем пал духом и невольно замедлил шаг. В комнате было темно. Я чиркнул спичкой, зажег лампу — как тихо и пусто было вокруг!

Ошеломленный, я услышал за окном голос хозяйки.

— За вашей Цзы-цзюнь приезжал отец,— сказала она очень просто.

Это не было неожиданностью, но я почувствовал себя так, будто меня стукнули по голове.

— И она ушла? — только и мог я спросить немного спустя.

— Да, ушла.

— Она... она что-нибудь сказала?

— Нет, ничего. Только просила передать вам, когда вернетесь, что она ушла.

Я не мог этому поверить, хотя вокруг было необычно тихо и пусто. Стал искать Цзы-цзюнь, заглядывал во все углы, но на глаза попадалась только ветхая и мрачная утварь, среди ко-

торой никто, пожалуй, не спрятался бы, так ее было мало. Я не нашел даже письма или записки. Только соль, сушеный перец, мука, полкочана капусты были собраны в одно место, да рядом лежало несколько десятков медяков — все, что оставалось у нас на жизнь. Она торжественно, без слов, передала их мне, как бы наказав поддерживать свое существование.

Мне хотелось бежать из дому, но там, за стенами, со всех сторон обступал мрак. Сквозь бумагу в окне хозяйской комнаты пробивался яркий свет лампы: там играли с ребенком, слышен был смех. Постепенно я овладел собой. Сквозь угнетавшую меня тяжесть стал смутно вырисовываться путь освобождения: высокие горы, безбрежные моря, иностранные биржи, пиршества при электрическом свете, окопы и траншеи, темная, беспросветная ночь, беззвучные шаги, удар острого меча...

Я ощутил внутреннюю свободу, из груди вырвался вздох облегчения. Я стал думать о расходах по переезду.

Лежа с закрытыми глазами, я представлял себе долгожданное будущее. Но к полуночи видение исчезло. Во мраке мне вдруг представилась целая груда съестного, потом выплыло нежно-серое лицо Цзы-цзюнь. Умоляюще, по-детски смотрели на меня ее глаза. Я очнулся, и все исчезло.

На сердце снова стало тяжело. Почему я не потерпел еще хоть несколько дней? Зачем так резко и поспешно объяснился с ней? Теперь Цзы-цзюнь знала правду. Все, что ей отныне осталось,— это нещадная, как палящее солнце, власть отца — ростовщика для своих детей, презрительные взгляды посторонних и в довершение ко всему — пустота. Как страшно пройти всю жизнь в одиночестве, под суровыми и презрительными взглядами окружающих, сгибаясь под бременем пустоты! А в конце пути — могила, и то без надгробия.

Не надо было открывать ей правду. Мы ведь любили друг друга, и ради этого я должен был лгать, если действительно дорожил правдой, чтобы Цзы-цзюнь никогда не ощущала этой давящей пустоты. Ложь, разумеется, та же пустота, но ведь и перед концом — также тяжело.

«Если сказать Цзы-цзюнь правду,— думал я,— она найдет в себе силы без оглядки решительно и мужественно пойти по своему пути, как однажды решилась начать жизнь со мной». Но тут я, пожалуй, ошибся. Ведь смелость и бесстрашие ей придала в то время любовь.

У меня не хватило мужества нести бремя лжи, и я предпочел взвалить на плечи Цзы-цзюнь бремя правды. А она, сгибаясь под тяжестью этого бремени, должна была идти по жизни, преследуемая суровым отцом и презрительными взглядами всех остальных. И все потому, что полюбила меня. Я дошел до того, что желал ее смерти... Я вдруг увидел засевшего во мне подлого труса. Неважно, правдив он или лжив, но его должны изгнать сильные духом. А она, уходя, все еще надеялась, что я смогу жить...

Надо было уезжать из переулка «Предвестник счастья», где стало необычно тихо и пусто. Стоит только уехать, казалось мне, и Цзы-цзюнь вернется. Мы ведь в одном городе, и настанет день, когда она вдруг придет, как приходила прежде, в домик землячества.

Но все письма и обращения к Цзы-цзюнь, которые я передавал через других, оставались без ответа. Пришлось пойти к одному из старых знакомых, которого я давно не навещал. Это был однокашник моего дяди. Он выдвинулся еще студентом как большой знаток конфуцианских канонов, и был послан из провинции в столицу. Старожил Пекина, он имел большие связи и знакомства.

Привратник у ворот окинул презрительным взглядом мой заношенный до дыр халат. С большим трудом мне удалось добиться приема. Хозяин едва меня узнал и встретил весьма холодно: все, что со мной случилось, ему было известно.

— Тебе, разумеется, нельзя здесь оставаться,— равнодушно ответил он на мою просьбу устроить меня на работу куда-нибудь в отъезд.— Но куда тебе податься? Мда... это трудно... Твоя эта... как ее... твоя подруга — Цзы-цзюнь. Ты, наверное, знаешь... умерла.

Потрясенный, я не мог вымолвить ни слова.

— Это правда? — прошептал я наконец, почти в беспамятстве.

— Ха-ха! Конечно, правда. Мой родственник Ван-шэн из одной с ней деревни.

— Но все же... как она умерла?

— А кто ее знает! Умерла — и все!

Он не стал бы лгать.

Я не помнил, как простился с ним, как добрался до дому. Цзы-цзюнь не придет, как, бывало, в прошлом году, она не будет больше идти, сгибаясь под тяжким бременем пустоты, преследуемая суровым отцом и презрительными взглядами всех

остальных. Ее судьбу решила правда, которую я ей открыл, и она погибла среди чужих — без любви.

Оставаться здесь, я, конечно, не мог, но «куда мне было податься»?

Со всех сторон и пустота, без конца и без края, и могильная тишина. Я понял, как страшно умереть без любви, среди чужих. Я отчетливо услышал стон тоски и отчаяния.

Я все еще чего-то ждал — нового, неизвестного, неожиданного. Но дни шли за днями, а ничто не нарушало могильной тишины.

Я почти не выходил из дому, сидел или лежал, окруженный бескрайней пустотой, не противясь могильной тишине, которая, казалось, поглощала мою душу. Лишь иногда тишина, дрогнув, отступала перед ожиданием неизвестного, неожиданного, нового.

Но вот однажды пасмурным утром, когда солнечные лучи не могли пробиться сквозь тяжелые облака и сам воздух словно был напоен усталостью, мне послышалось, будто кто-то царапается и повизгивает. Открыв глаза, я осмотрелся. Та же пустота царила в комнате, но на полу я вдруг увидел крошечное существо — тощее, полумертвое, грязное...

Вгляделся — сердце у меня замерло, но тут же неистово забилось.

Это был А-суй. Он вернулся.

Отъезд из переулка «Предвестник счастья» был вызван не столько презрением ко мне со стороны хозяев и их прислуги, сколько возвращением собаки. Но вопрос «куда податься?» все еще оставался нерешенным. Путей в жизни, разумеется, много,— это я понимал, а иногда даже смутно их себе представлял. Но как сделать первый шаг, куда идти — этого я пока не знал.

После долгих размышлений и сопоставлений отыскалось лишь одно место, где меня могли принять,— землячество. Все та же убогая комнатка, та же деревянная кровать, та же полузасохшая акация с глицинией. Но то, что когда-то давало мне надежду, радость и любовь, теперь ушло безвозвратно. Осталась только пустота, существование в пустоте, которое я получил взамен правды.

Путей было много, и поскольку я жил, то должен был выбрать один из них. Но как сделать первый шаг, не знал. Вре-

менами я как будто видел этот неизведанный путь — словно огромная белая змея, он, извиваясь, стремительно ко мне приближался, а я все ждал и ждал, но он вдруг исчезал во мраке.

Какие длинные ночи ранней весной! Я долго сидел, вспоминая похоронную процессию, которая мне встретилась утром. Впереди несли вырезанных из бумаги людей и лошадей, в конце процессии слышался плач, похожий на пение. Сейчас я понял всю эту мудрость — насколько облегчен и упрощен такой конец!

И тут я представил себе похороны Цзы-цзюнь: ее, придавленную бременем пустоты, везут по длинной белой дороге, а потом она исчезает среди окруживших ее суровых и презрительных взглядов.

О, как мне захотелось, чтобы и в самом деле существовали ад и души грешников! Как бы яростно ни выл ураган возмездия, я отыскал бы Цзы-цзюнь, покаялся, поведал ей о своем горе и вымолил бы прощение. А если бы не вымолил, то пусть сгорел бы в жестоком пламени ада и вместе с моим раскаянием и горем превратился в пепел.

В урагане возмездия и жестокого адского пламени я сжал бы Цзы-цзюнь в объятиях, я доставил бы ей хоть немного радости, вымаливая у нее прощение...

Однако эти мечты еще более беспочвенны, чем мысли о новом пути. А сейчас у меня ничего нет, кроме этой долгой весенней ночи. Но я должен, пока жив, сделать, наконец, первый шаг по новому пути — написать о своем раскаянии и горе ради Цзы-цзюнь, ради самого себя.

Только похожим на пение плачем я могу проводить Цзы-цзюнь в могилу, предать ее забвению.

Мне нужно забвение. Ради себя, ради того, чтобы не думать больше о похоронах преданной забвению Цзы-цзюнь.

Мне нужно отважиться на первый шаг по неизведанному пути, а для этого придется схоронить в глубине израненного сердца всю правду и вслед за забвением и ложью молча пойти вперед...

Октябрь 1925 г.

БРАТЬЯ

Неотложных дел в канцелярии департамента коммунального благоустройства не было, и чиновники вели, как всегда, разговор, обычный в кругу семьи. Цинь И-тан, не выпускавший

из рук кальяна, закашлялся, остальные выжидающе молчали. Когда же наконец он, багровый от натуги, снова заговорил, то долго не мог отдышаться.

— Вчера опять сцепились. От гостиной до самых ворот колотили друг друга. Сколько я ни упрашивал, все без толку.— На его дрожащих губах выступила пена.— Раз ты, требует старший, сам потерял на облигациях займа, изволь сам же покрыть недостачу, деньги общие...

— Видите, опять из-за денег! — Чжан Пэй-цзюнь, возмущенный, поднялся в кресле; его глубоко запавшие, добрые глаза лихорадочно блестели.— Не понимаю, как могут родные братья ссориться по пустякам. Не все ли равно, кто из них возместит недостачу!..

— Ну да, где найдешь таких братьев, как вы? — вздохнул И-тан.

— Мы, например, никогда не ссоримся, у нас все на взаимности. А к деньгам, честное слово, оба равнодушны. Не помню, чтобы между нами бывали склоки. Когда в какой-нибудь семье начинают скандалить из-за раздела, я рассказываю, как мы поступаем... А крохоборничать — это, знаете, никуда не годится. Вам, дорогой И-тан, следовало бы почаще внушать это своим сыновьям...

— Внушишь им, как же!..— покачал тот головой.

— А он, пожалуй, и не сможет,— заговорил Ван Юэ-шэн, с уважением посмотрев на Пэй-цзюня.— Такие братья, как вы, редкость. Я, право же, ни разу не встречал таких. В вас нет ни капли корысти, а это самое главное!..

— От гостиной до самых ворот...— И-тан сокрушенно вздохнул.

— Брат ваш по-прежнему очень занят? — спросил Юэ-шэн, обращаясь к Чжан Пэй-цзюню.

— Судите сами, уроки отнимают у него восемнадцать часов в неделю. Да еще девяносто три тетради с сочинениями. Дел по горло. Но на днях ему пришлось просить отпуск, простудился, наверно. Жар у него...

— Сейчас надо быть очень осторожным,— веско заметил Юэ-шэн.— Сегодня в газете я что-то читал об эпидемии. Распространяется...

— Эпидемия? — быстро переспросил Пэй-цзюнь, испугавшись.— Какой болезни?

— Я в этом плохо разбираюсь. Помнится, как будто сопровождается высокой температурой...

Пэй-цзюнь опрометью бросился в читальный зал.

— Да, таких встречаешь редко,— провожая его восхищенным взглядом, сказал Юэ-шэн Цинь И-тану.— Что один, что другой. Если бы все братья были такими, разве происходили бы в семьях скандалы? Вот, кому надо подражать...

— Сам, орет, потерял на этих облигациях, сам же и изволь покрыть недостачу...— И-тан принялся с ожесточением тыкать трутом в головку трубки.

Установившаяся на время в канцелярии тишина была нарушена торопливыми шагами Пэй-цзюня, звавшего посыльного. Заикаясь, дрожащим голосом, словно на него навалилось большое горе, он просил посыльного позвонить доктору Путису, чтобы тот сейчас же приехал к нему, Чжан Пэй-цзюню, в пансион «Тун син» и осмотрел больного.

Юэ-шэн понял, что коллега встревожен не на шутку: хотя Пэй-цзюнь верил лишь западной медицине, его заработки были невелики, чтобы позволить себе пригласить такое светило, самого дорогого в городе врача,— братья, он это знал, экономили на всем. Выглянув в коридор, он увидел Пэй-цзюня, бледного, как полотно, возле телефона: посыльный уже передавал его просьбу.

— Что с вами? — спросил он с участием.

— С-с-скарлатина... В га-газете пишут, свирепствует. Когда я уходил с-с-сегодня на службу, у Цзинь-пу все лицо было красным... Ушел? По-по-проси, чтобы его немедленно разыскали. Скажи, что его ждут в пансионе «Тун син». Па-па-пансион «Тун син», запомнишь?

Убедившись, что посыльный ничего не забыл сказать, он влетел в канцелярию и схватил свою шляпу. Ван Юэ-шэн, встревоженный, вышел за ним.

— Придет начальник департамента, пожалуйста, попросите его за меня, скажите, что я вызвал врача к больному,— растерянно проговорил Пэй-цзюнь.

— Конечно, идите. Еще неизвестно, будет ли сегодня начальник,— успокоил его Юэ-шэн.

Но тот, кажется, уже не слышал этого, с такой поспешностью он бежал к выходу.

Заранее договариваться с рикшей на улице, как он это делал обычно, Пэй-цзюнь не стал. Первого, на которого можно было положиться, что тот не подведет, он лишь спросил о цене и тут же сел в коляску.

— Хорошо, только поскорей вези!

В пансионе было тихо, спокойно; на обычном месте у входа сидел привратник и пиликал на хуцине. Войдя в спальню брата, Пэй-цзюнь схватился за сердце: лицо у Цзинь-пу покраснело еще больше, дыхание стало хриплым. Он дотронулся до его лба и тотчас отдернул руку, словно обжегся.

— Не знаешь, что у меня? Как ты думаешь, это не серьезно? — спросил Цзинь-пу. По его тоскливому взгляду Пэй-цзюнь понял, что брату действительно плохо.

— Да нет, несерьезно... Простуда, наверно,— выдавил он из себя через силу.

Любивший обычно подтрунивать над теми, кто верит приметам, Пэй-цзюнь вдруг почувствовал, что сам говорит совсем не то и что брат наверняка об этом догадывается. От этой мысли ему стало не по себе. Он выскочил из спальни и тихонько подозвал привратника, велев ему позвонить по телефону в больницу: возможно, доктора уже разыскали.

— Так... так...— Привратник не отнимал трубку от уха.— Не нашли еще.

Пэй-цзюнь не мог ни сидеть спокойно, ни стоять на месте, так он волновался. И вдруг его осенило: еще не все потеряно, очень может быть, что это вовсе не скарлатина, и доктор Пу... Но «доктора Пу», знаменитого Путиса, самого дорогого в городе врача, так и не нашли. Что делать? Пригласить Бай Вэнь-шаня, жившего в этом же пансионе? Диагноз он, конечно, поставит верный. Но как его пригласить, если он практикует в китайской медицине и не раз был свидетелем нападок Пэй-цзюня на нее, больше того, он вполне мог слышать, как по телефону разыскивали Путиса?..

И все же он решил пойти за ним.

Вопреки всем его опасениям, Бай Вэнь-шань, как ни в чем не бывало, не сказал ни слова, надел толстые очки в роговой оправе, и они вместе направились к Цзинь-пу. Бай Вэнь-шань прощупал у больного пульс, мельком взглянул на его лицо, приподнял рубаху и осмотрел грудь, после чего в благодушном настроении стал прощаться. Пэй-цзюнь вышел его проводить.

У себя в комнате Бай Вэнь-шань молча предложил ему стул.

— Что же все-таки у моего брата, дорогой Вэнь-шань? — не выдержал, нарушив молчание, Пэй-цзюнь.

— Краснуха. Вы ведь видели, у него высыпала сыпь.

— Значит, не скарлатина? — с облегчением вздохнул Пэй-цзюнь.

— Скарлатиной называют эту болезнь они, западные медики. Мы, китайские врачи, называем ее краснухой.

Пэй-цзюнь почувствовал, как леденеют у него руки и ноги.

— А можно... вылечить? — робея, спросил он.

— Можно, почему же нет. Нужно только посмотреть гороскоп вашей семьи.

Пэй-цзюнь так растерялся, что уже не знал, стоит ли напоминать Бай Вэнь-шаню о рецепте. Проходя мимо телефона, он вспомнил о Путисе и, на всякий случай, решил сам позвонить еще раз в больницу. Ему ответили, что доктора нашли, но тот очень занят, а кроме того, уже поздно и скорее всего он приедет утром, хотя тоже не обещает. Пришлось снова настойчиво убеждать, чтобы доктор Пу непременно заехал сегодня.

Вернувшись в спальню, он зажег лампу и поднес ее к лицу брата. Оно действительно было все в красных пятнах, веки опухли. Он присел на стул, но сидел как на иголках: в сгустившейся тишине ночи его обостренный слух отчетливо улавливал каждый автомобильный гудок. Один раз он решил, что это наверняка Путис, и сломя голову помчался во двор, но не успел добежать до ворот, как автомобиль, которого он ждал с таким нетерпением, пронесся мимо, и ему ничего не оставалось, как вернуться к брату. От полной луны на западе во дворе было совсем светло. Старый ясень, росший по соседству с их домом, отбрасывал на землю густую тень, при виде которой на душе у Пэй-цзюня стало еще сумрачней.

Его остановило карканье вороны. Он никогда не придавал ему значения — в ветвях старого ясеня было три или четыре гнезда. Но сегодня карканье заставило его вздрогнуть. С бьющимся сердцем он неслышно вошел в комнату. Ему показалось, что лицо брата еще больше опухло. Цзинь-пу лежал с закрытыми глазами, но не спал: он, очевидно, слышал шаги и открыл глаза, грустно блеснувшие при тусклом свете лампы.

— Письмо? — спросил Цзинь-пу.

— Нет, нет, это я,— растерялся Пэй-цзюнь, которого испугал голос брата.— Знаешь, я пригласил другого врача, специалиста западной медицины, он скорее вылечит. Думал, это он...

Цзинь-пу не ответил и закрыл глаза, а он сел к письменному столу, стоявшему у окна. В тишине было слышно лишь прерывистое дыхание больного и мерное тиканье будильника. Вдруг издалека послышался автомобильный сигнал. Затаив дыхание, он прислушался. Автомобиль все ближе, ближе. Вот он уже почти у ворот, вот должен остановиться, но почему-то не останав-

ливается и едет дальше. И так много раз. Пэй-цзюнь научился различать автомобильные гудки. Они свистели, рявкали, хрипло лаяли, крякали по-утиному, мычали, кудахтали, всхлипывали... Теперь он злился на себя: почему он, в самом деле, не задумывался об этом раньше, тогда бы, конечно, знал, как звучит клаксон автомобиля доктора Пу!

Сосед, снимавший комнату напротив, еще не пришел, он, как всегда, был или в театре, или в чайном домике, хотя была уже глубокая ночь и даже автомобили стали появляться реже. Вот и серебристый свет луны проник белым сиянием сквозь оклеенное бумагой окно.

Он устал ждать, постепенно напряжение притупилось, и он уже не прислушивался к автомобильным гудкам. Мысли путались. Пэй-цзюнь был теперь почти уверен, что у брата скарлатина и спасти его нет никакой возможности. Как теперь жить? Надеяться на самого себя? Правда, городишко их маленький, но жизнь и там с каждым днем дорожает... У самого трое детей, а теперь от брата останется двое, трудно будет прокормить всех. А ведь нужно их еще в школу отдать, учить сколько лет! Своих он, конечно, пошлет, Кан-эра обязательно, он у него самый умный. Но тогда все станут его осуждать, скажут, что он плохо обращается с детьми младшего брата, не заботится о них...

А с братом как быть? Ведь у него даже на гроб денег не хватит, не то чтобы отвезти на родину! Остается одно, кланяться, унижаться, просить, чтобы гроб временно взяли на казенное кладбище, где платить не надо...

Приближающиеся шаги заставили его вздрогнуть, он поспешно вышел из комнаты, но тут же понял, что это возвращается из театра сосед.

Покойный государь пребывал в Байдичэне...

Веселое мурлыкание вывело его из себя, он уже был готов наброситься с руганью на соседа, как вдруг увидел привратника, который шел с фонарем по двору. В свете фонаря он увидел кожаные ботинки, важно ступавшие за привратником, а выше — крупного мужчину с белым лицом и черными бакенбардами. Это был доктор Путис.

Он выбежал к нему с таким видом, словно набрел на бесценное сокровище, и сразу же повел к брату. Доктор подошел к постели больного, попросил принести лампу.

— У него жар, доктор...— Пэй-цзюнь с трудом перевел дыхание.

— Давно это с ним? — медленно спросил Путис, засунув руки в карманы брюк, и посмотрел больному в лицо.

— Началось позавчера, нет... т-т-третьего дня.

Доктор нащупал пульс, затем велел Пэй-цзюню поднять лампу выше и стал внимательно рассматривать лицо больного. Потом попросил откинуть одеяло, чтобы можно было осмотреть грудь. Заканчивая осмотр, он провел пальцем по животу Цзинь-пу.

— Measles...— негромко, как бы самому себе, сказал он.

— Корь? — дрожащим от волнения и радости голосом воскликнул Пэй-цзюнь.

— Корь.

— Правда, корь?

— Корь.

— Цзинь-пу, ты разве никогда не болел корью?..

Пэй-цзюнь был вне себя от счастья, а Путис уже направлялся к письменному столу, поэтому пришлось идти за ним. Найдя на столе листок бумаги, доктор достал из кармана крохотный карандашик и стал писать рецепт. Писал он стоя, поставив одну ногу на стул, размашистым неразборчивым почерком.

— Аптека, видимо, уже закрыта? — робко напомнил доктору Пэй-цзюнь, принимая рецепт.

— Завтра сходите. Ничего особенного, утром примет.

— А завтра вас ждать?

— Зачем? Этого не потребуется. Кислого, острого и очень соленого пусть не ест. Когда спадет жар, возьмите мочу и принесите мне в больницу на анализ. Вот, кажется, и все. Наберете в чистую сухую бутылочку, имя напишете на ней.

С этими словами Путис вышел, по пути небрежно сунув в карман пятиюаневую ассигнацию. Пэй-цзюнь вышел его проводить.

Домой он вернулся лишь после того, как машина с доктором отъехала от ворот. Закрывая за собой дверь, он услышал протяжный гудок, напоминающий мычание коровы. Наконец-то он узнал, как звучит клаксон у доктора Пу. «Но теперь это уже ни к чему»,— подумал он.

Даже лампа в комнате светила веселей. Пэй-цзюнь чувствовал себя так, словно освободился от какой-то тяжкой обузы, вокруг все спокойно, и никаких забот нет на душе... Он передал рецепт и деньги привратнику и велел ему рано утром пойти в Американо-азиатскую аптеку, которую назвал Путис, намекнув при этом, что там самые надежные медикаменты.

— Пойдешь в Восточный город и спросишь Американо-азиатскую аптеку. В другую не ходи. Запомни хорошенько: Американо-азиатская аптека! — без конца повторял он привратнику.

Двор был залит белым, как серебро, лунным светом. Сосед «из Байдичэна» уже спал, дом был погружен в безмолвие, лишь на столе весело и мерно тикал будильник, и было слышно, как дышит больной. Прислушавшись к его ровному дыханию, Пэй-цзюнь ощутил вдруг душевный подъем.

— Ты не спишь?.. Вырос, дай бог каждому, и ни разу не болел корью? — спросил он, не веря самому себе.

— . . . . . .

— Ты можешь и не помнить, мать спросить бы надо, она-то сказала бы.

— . . . . . .

— Спит. А матери нет... Ха-ха-ха! Не болел корью!

Разбудило Пэй-цзюня утреннее солнце, проникшее сквозь оклеенное бумагой окно и ударившее в глаза. Однако встать у него не было сил, руки и ноги словно отнялись. Вдруг он почувствовал, как покрывается весь холодным потом. Возле его кровати все еще стояла девочка с залитым кровью лицом, которую он хотел ударить.

Огромным напряжением воли ему удалось отогнать сон, и в тот же миг видение пропало. Он спал в своей комнате один, никого вокруг не было. Он снял пижаму, вытер пот на груди и на спине, оделся. Направляясь к брату, он увидел во дворе соседа «из Байдичэна»: тот шумно прополаскивал рот. «Ого! — подумал он,— уже не рано».

Цзинь-пу не спал и лежал с открытыми глазами.

— Ну, как сегодня? — осведомился Пэй-цзюнь.

— Немного лучше...

— Лекарство не приносили?

— Нет.

Он сел к столу напротив кровати и внимательно посмотрел на брата — лицо у Цзинь-пу уже не было таким пугающе красным, как вчера. Но сам он чувствовал себя совсем разбитым, перед глазами все время мелькали обрывки каких-то сновидений:

...Цзинь-пу лежит, как сейчас, в своей кровати, но это уже труп. Он, Пэй-цзюнь, торопится поскорей обрядить покойника, взваливает гроб на спину и идет с ним прямо в гостиную. Все это происходит как будто дома. Кругом знакомые лица, и все наперебой превозносят его до небес.

...Он велит Кан-эру и двум младшим детям, брату и сестре, идти в школу, но еще двое с плачем бегут за ним. Этот плач выводит его из себя. Но в то же время он чувствует, что в руках у него высшая власть, огромная, ни с чем не сравнимая сила. Он видит свою ладонь, которая в три — нет! — в четыре раза больше обычной. Ладонь словно литая. Он размашисто бьет ею Хэ-шэн по лицу...

Испуганный, застигнутый врасплох обрывками сна, он хотел было встать и уйти, но даже не шевельнулся. Еще чего! Надо выбросить все из головы, забыть... Но видения, как гусиный пух на воде, кружились, тонули в водовороте, снова всплывали на поверхность.

...Лицо Хэ-шэн залито кровью, она входит, громко плача, а он бежит от нее в домашний храм... За девочкой следует толпа. Знакомые, незнакомые лица. Он знает, они идут его бить...

...Он слышит собственный голос: «Я не вхожу в сделку с совестью! Не верьте вздорным выдумкам этой девочки!..»

...Хэ-шэн совсем рядом, возле его кровати. Он уже занес над ней ладонь...

И тут он окончательно проснулся, весь в поту, чувствуя невероятную усталость; спину ломило от холода. Цзинь-пу лежал спокойно, дышал хотя и часто, но ровно, и лишь будильник на столе тикал, как ему показалось, громче обычного.

Он повернулся к столу, но ничего не заметил на нем, кроме налета пыли. Посмотрел на оклеенное бумагой окно. Рассеянный взгляд задержался на двух четких, черных иероглифах листка отрывного календаря: 27.

Вошел привратник с лекарством и какой-то книгой, обернутой в бумагу.

— Что это? — спросил Цзинь-пу, открывая глаза.

— Лекарство,— ответил Пэй-цзюнь, придя наконец в себя после вызванного сном замешательства.

— Я не о нем, а...

— Об этом потом, а сейчас прими лекарство.— Он уговорил брата выпить микстуру, после чего взял в руки книгу.— Это от господина Со. Ты, наверно, просил у него? «Sesame and Lilies».

Цзинь-пу посмотрел на тисненную золотом обложку, подержал книгу в руках и, спрятав ее под подушку, закрыл глаза. Спустя некоторое время он сказал, оживляясь:

— Вот поправлюсь и переведу какой-нибудь отрывок. Предложу издательству «Культура». Не знаю только, возьмут ли они...

В этот день Пэй-цзюнь пришел в департамент куда позднее обычного, около полудня: в канцелярии уже висело облако дыма от кальяна Цинь И-тана. Ван Юэ-шэн еще издали заметил его и пошел навстречу.

— О, это вы! Ну, что, лучше вашему брату? Я так и думал, что ничего серьезного. Эпидемия. Они каждый год бывают... Мы тут с господином И-таном только что о вас говорили: куда это вы запропастились? А вы тут как тут, легок на помине. Это хорошо, что вы пришли. Однако на вас лица нет. Что случилось? Так измениться за один день!

Пэй-цзюнь подумал, что со вчерашнего дня изменились и канцелярия, и его сослуживцы, они стали ему какими-то чужими, хотя все вокруг было давно знакомо, привычно: сломанная вешалка, треснутый чайник, сложенные в беспорядке и покрытые пылью дела, дырявое кресло без одной ножки и даже Цинь И-тан, сидевший в нем с неизменным кальяном в руках. Цинь И-тан закашлялся и, тряся головой, заговорил:

— От гостиной до самых ворот колотили друг друга...

— Вот поэтому-то,— сказал Юэ-шэн, отвечая ему,— я и советую рассказать им все, что вы знаете о нашем Пэй-цзюне, пусть поучатся у него. Иначе доведут они вас, старика, до могилы...

— Раз ты, требует старший, сам потерял на этих облигациях, сам же изволь покрыть недостачу... сам...— Цинь И-тан снова закашлялся, скорчившись в три погибели.

— Верно говорят, человеческие сердца несходны,— буркнул Юэ-шэн, цитируя какого-то классика, и повернулся к Пэй-цзюню.— Значит, у вашего брата ничего серьезного?

— Ничего. Доктор сказал, что корь.

— Корь? Ну конечно, сейчас эпидемия. Вот и у нас во дворе трое детей больны. Ничего страшного. Но вы так вчера нервничали, что, право, глядя на вас, нельзя было оставаться безучастным. Истинно «братское согласие», так, кажется, учит мудрец?

— А начальник совсем не появлялся вчера в департаменте?

— Вот именно, исчез. «Исчез, как желтый аист». Вы проставьте в табеле, что были на работе, и дело с концом.

— Требует, чтобы сам покрыл! — не переставал твердить свое Цинь И-тан.— Беда с этими облигациями. Стоит обзавестись ими, и непременно попадешь впросак. Вчера вечером снова началось. Опять ведь сцепились. От гостиной до самых ворот. У старшего двумя детьми больше, всех пора определить в

школу. А младший обвиняет его в том, что он тратит больше общих денег, не может сдержаться...

— Это правда. Чем больше скандалят, тем труднее разобраться, кто же прав,— заметил Юэ-шэн.— Гляжу я на вас, как вы с братом живете, дорогой Пэй-цзюнь, и не могу не поклониться вам в ноги. Поверьте, это не лесть.

Пэй-цзюнь не ответил. Заметив посыльного, который направлялся в канцелярию с какой-то официальной бумагой, он поднялся к нему навстречу. Подошел Юэ-шэн, взял у него бумагу и стал читать вслух:

— «Обывателя Хэ Шан-шаня. Прошение. Настоящим сообщаю. В районе Восточного города обнаружен труп неизвестного мужчины. Департаменту коммунального благоустройства надлежит принять срочные меры, отпустить средства на захоронение и гигиену для общественной пользы... «Знаете что,— оторвавшись от бумаги, предложил он Пэй-цзюню,— я оформлю это прошение, а вы возвращайтесь пораньше домой. Ведь все ваши мысли сейчас о больном брате. Ей-ей, о вас можно говорить только стихами «Трясогузки в чистом поле...».

— Нет-нет,— смутился Пэй-цзюнь, не выпуская бумаги из рук.— Я оформлю.

Юэ-шэн не настаивал. А Пэй-цзюнь, совсем успокоившись, молча направился к своему столу, еще раз прочитал прошение и потянулся рукой к позеленевшей от ржавчины крышке тушечницы.

Ноябрь 1925 г.

РАЗВОД

— А-а, дядюшка Му, с Новым годом! Счастья вам и богатства! Желаю богатства!

— Здравствуй, Ба Третий! Желаю счастья, желаю счастья!..

— А! Желаю счастья! И Ай-гу тоже здесь...

— А-а, мое почтение, дедушка Му!..

Целый хор приветственных возгласов встретил Чжуан Му Третьего и его дочь Ай-гу на рейсовой джонке у моста Мулянь. Некоторые пассажиры, сложив руки, поклонились прибывшим. И сразу же на боковых скамьях освободились четыре места.

Отвечая на приветствия, Чжуан Му Третий опустился на скамью и прислонил к борту свою длинную трубку. Ай-гу села слева от отца, выставив свои туфельки с загнутым, как серп, носком, прямо перед Ба Третьим.

— В город, дедушка Му? — спросил один из пассажиров с лицом, напоминавшим панцирь краба.

— Нет, не в город!

Дядюшка Му был расстроен, чего, впрочем, нельзя было определить по его испещренному морщинами лицу цвета темного сахара.

— На этот раз едем в Панчжуан,— добавил он.

Все смолкли и принялись внимательно разглядывать новых пассажиров.

— Опять по делу Ай-гу? — после долгого молчания спросил Ба Третий.

— Да, все из-за нее... Надоело до смерти. Целых три года уже тянется ссора. Сколько раз дрались, сколько раз мирились! А конца все не видно...

— Теперь к господину Вэю едете?..

— К нему. Он давно предлагал закончить все миром, да я не соглашался. Впрочем, это неважно. А вот нынче на Новый год у него соберется вся родня. Будет даже сам Седьмой господин из города...

— Седьмой господин? — У Ба Третьего глаза широко раскрылись.— Неужто и такой достопочтенный старец решил вмешаться в это дело?..

— Так ведь... в общем-то, говоря по правде, мы еще в прошлом году за свою обиду отомстили — разнесли их очаг. Да и что толку, если дочь к ним вернется...— Отец опустил глаза.

— Я совсем не желаю к ним возвращаться, брат Ба Третий,— подняв голову, раздраженно заговорила Ай-гу.— Просто делаю все назло. Сам посуди! Этот «молодой скот» связался со вдовушкой и думает, что так легко от меня отделаться! А «старый скот» только и знает, что потакать сыну, и тоже против меня. Все очень просто! А что Седьмой господин? Думаешь, раз он побратался с начальником уезда, так и говорить по-человечески разучился? Нет, Седьмой господин не может быть таким бестолковым, как господин Вэй. Тот заладил одно: «Лучше разойтись, лучше разойтись». Вот я и расскажу Седьмому господину про свои мучения за эти годы! Пусть он нас рассудит!

Убежденный ее словами, Ба Третий больше не открывал рта.

Воцарилась тишина, нарушаемая лишь плеском воды, рассекаемой лодкой. Чжуан Му Третий взял трубку и набил табаком. Толстяк, сидевший напротив, рядом с Ба Третьим, достал из внутреннего кармана кремень, высек огонь и поднес старику.

— Спасибо,— невнятно произнес Чжуан Му Третий, кивнув головой.

— Мы с вами встречаемся впервые, дядюшка Му Третий, но я давно уже о вас слышал,— почтительно произнес толстяк.— Да и в какой из деревень на всем морском побережье вас не знают! Всем также давно известно, что сын Ши спутался со вдовушкой. Разве хоть кто-нибудь осудил вас, когда вы со своими шестью сыновьями разорили их домашний очаг?.. Вы сами, уважаемый, вхожи в знатные дома, как говорится, широко шагаете, чего вам их бояться!..

— Как хорошо вы, дядюшка, все понимаете,— обрадовалась Аи-гу.— Жаль вот, не знаю, почтеннейший, вашего имени.

— Меня зовут Ван Дэ-гуй,— поспешно сообщил толстяк.

— Ни за что не допущу, чтобы он меня бросил. Не посмотрю ни на Седьмого господина, ни на Восьмого. Буду скандалить и не успокоюсь, пока всех их не погублю. Господин Вэй уже четыре раза меня уговаривал! На отступные, что они предлагали, даже у моего отца глаза разгорелись...

— Мать твою...— тихо выругался Му Третий.

— А я слышал, дедушка, что к Новому году эти Ши послали господину Вэю вино и закуски,— заметил человек с лицом, напоминавшим панцирь краба.

— Это делу не помеха,— сказал Ван Дэ-гуй.— Разве смутишь порядочного человека вином? А если к вину еще и угощение поднести? Что тогда? Нет, господа — люди грамотные, порядочные, только они и могут рассудить по справедливости чужое дело. Начнут, к примеру, все одного кого-нибудь обижать, так они беспременно с речью о справедливости выступят. А поднесли им угощение или не поднесли — это неважно. В конце прошлого года к нам в деревню вернулся из Пекина почтенный Жун. Он повидал большой мир, не то что мы, деревенские. Так вот, по его словам, самым первым лицом там считается госпожа Гуан. Она и непреклонная, и...

— Кому до торговой пристани семейства Ван — сходите! — крикнул лодочник.

Джонка уже приставала к берегу.

— Мне, мне! — Толстяк поспешно схватил свою трубку и со средней палубы, вперед по ходу лодки, спрыгнул на берег.

— Прошу извинить... извинить! — крикнул он вслед, кивая головой.

В джонке снова воцарилось молчание, нарушаемое лишь плеском воды. Ба Третий задремал, и рот его раскрывался все шире, будто он хотел проглотить туфли с загнутыми носками. На палубе две старушки тихо бормотали, поминая имя Будды и перебирая четки. Поджимая губы и покачивая головой, они то и дело посматривали на Ай-гу, а затем переглядывались друг с другом.

Уставившись на навес из бамбуковой циновки, Ай-гу все время прикидывала, что бы ей такое устроить, чтобы всех их разорить, погубить, чтобы завести в тупик и «старого скота», и «молодого». Господин Вэй, которого она видела всего два раза, в расчет не принимался. Какой-то коротышка, голова и лицо круглые, словно два шара. Таких у них в деревне сколько хочешь, только деревенские, пожалуй, почернее, вот и вся разница.

Му Третий продолжал потягивать трубку, в которой будто что-то посапывало,— табака там не оставалось, и огонь добрался уже до пагара на дне чубука. «После торговой пристани семейства Ван,— думал Му Третий,— будет остановка в селе Панчжуан». Вдали уже виднелся храм Бога — покровителя литературы, стоявший в начале деревни. В селе Панчжуан Му Третий бывал не раз и, что там говорить, захаживал к господину Вэю. Он вспомнил еще, как его дочь вся в слезах вернулась домой, какими злыми оказались его зять и сват и как он их посрамил. Перед его глазами развертывались сцены прошлых столкновений и самая последняя, когда они проучили всю семью Ши, неизменно вызывавшая у него довольную усмешку. Но на этот раз все было по-другому. Он никак не мог привести в порядок свои мысли — их словно вытеснила внушительная фигура Седьмого господина.

Джонка продолжала идти вперед в полной тишине. Только громче звучали голоса старушек, поминавших Будду. Остальные как будто погрузились в раздумье вместе с дядюшкой Му и Ай-гу.

— Высаживайся, дядюшка Му. Село Панчжуан.

Голос лодочника заставил очнуться дядюшку Му и остальных пассажиров. Прямо перед ними высился храм Бога — покровителя литературы.

Дядюшка Му Третий спрыгнул на берег, за ним сошла Ай-гу. Миновав храм, они направились на юг. Через три десятка домов свернули в переулок и оказались у поместья господина Вэя. Неподалеку от его ворот отец с дочерью заметили прича-

лившие к берегу четыре лодки под черными бамбуковыми навесами.

Они шагнули через высокий порог ворот, покрытых черным лаком, и их тотчас пригласили в привратницкую. Здесь, в тесноте, за двумя столами, уже расположились лодочники и старики. Не решаясь разглядывать присутствующих, Ай-гу лишь скользнула по ним взглядом, но не заметила ни «старого скота», ни «молодого скота».

Когда работник подал новогодний суп со сладкими пельменями из клейкого риса, беспокойство Ай-гу усилилось, она и сама не знала почему.

«Неужто тот, кто побратался с начальником уезда, уже разучился говорить по-человечески? — думала Ай-гу.— Ведь господа — люди грамотные, порядочные, только они и понимают справедливость. Надо поподробнее рассказать Седьмому господину, как меня выдали в пятнадцать лет, как стала я женой...»

Покончив с новогодним супом, Ай-гу почувствовала, что близится решающий момент. И правда, вскоре Ай-гу, следом за каким-то старцем и отцом, прошла через большую залу и, после поворота, перешагнула порог гостиной. Здесь было много вещей, которых она не успела рассмотреть, и полно гостей — в глазах у нее зарябило от красных и синих атласных одежд. Но среди всех особенно выделялся только один человек — это, несомненно, был Седьмой господин. Хотя голова и лицо у него тоже были круглые, словно два шара, выглядел он гораздо величественнее господина Вэя.

Глаза у него были как щелочки, бороденка редкая и очень черная, будто налакированная. Совершенно лысая макушка, такая же красная, как лицо, блестела, словно масленая. Ай-гу подивилась было, но сразу же смекнула, что она натерта свиным салом.

— Это и есть затычка, та самая, которой древние затыкали покойнику отверстия,— разглагольствовал Седьмой господин, почесывая себе нос чем-то вроде выветрившегося камня.— Купить ее, разумеется, стоит. Хотя,— продолжал он,— она из новых раскопок, не позднее Ханьской эпохи. Вот посмотрите, она вся пропитана ртутью.

Над затычкой, «пропитанной ртутью», мгновенно склонилось несколько голов. Одна из них, несомненно, принадлежала господину Вэю, другие — молодым господам, которых Ай-гу сразу и не приметила. Подавленные блеском и величием Седьмого господина, они облепили его, словно высохшие клопы.

Ай-гу не поняла последних слов Седьмого господина, а подойти и посмотреть на нечто, «пропитанное ртутью», не хотела, да и не смела. Оглядевшись украдкой, она увидела у стены, возле самых дверей, «старого скота» и «молодого скота». В какой-то миг она успела заметить, что за полгода оба они сильно постарели.

Круг любопытных, привлеченных редкостью, «пропитанной ртутью», распался. Господин Вэй взял затычку, уселся и, поглаживая ее пальцами, обернулся к Чжуан Му Третьему.

— Вы вдвоем?

— Да!

— А из сыновей никто не приехал?

— Недосуг им.

— В день Нового года, собственно, не следовало вас утруждать,— сказал господин Вэй.— И опять все тем же старым делом... Я думаю, хватит шуметь, это тянется уже два с лишним года? А врагов, по-моему, следует не подстрекать, а разнимать. Перед Ай-гу муж виноват, а свекру со свекровью она не понравилась... Лучше всего сделать так, как я уже говорил: разойтись. Уговорить вас я не сумел, мой авторитет не слишком велик. Но вот Седьмой господин, как вам известно, больше всего любит справедливость, и мнение у него на этот счет совпадает с моим. «Пусть обе стороны признают, что им не повезло,— говорит Седьмой господин,— и пусть семья Ши добавит еще десять юаней, чтобы всего было девяносто!» Девяносто юаней! — продолжал господин Вэй.— Более выгодного решения вы нигде не добьетесь, даже если станете судиться и дойдете до самого императора. Такое мог предложить только самый старший — наш Седьмой господин.

Седьмой господин приоткрыл глазки-щелочки и, глядя на Чжуан Му Третьего, утвердительно закивал головой.

Ай-гу почувствовала, что дело принимает опасный оборот. Особенно удивил ее отец — почему он не сказал ни слова? Ведь его побаивались чуть ли не все жители побережья. Где, где, а здесь молчать не следовало. И хотя она не совсем поняла суждения Седьмого господина, но он показался ей почему-то человеком доброжелательным, симпатичным и совсем не таким страшным, каким она себе его представляла.

— Седьмой господин — человек грамотный, порядочный,— смело заговорила она.— Не то что наши деревенские. Если меня обидели и пожаловаться некому, так, верно, следует искать защиты у Седьмого господина. Ведь с тех пор, как выдали меня замуж, я ни в чем против обряда не погрешила, входила, как

и полагается, опустив голову, и, не поднимая головы, выходила. Они же делали все мне наперекор, каждый старался позлить, хотели, чтобы меня «хватил удар, как Чжун Куя». В том году хорек загрыз петуха! Так разве оттого, что я не заперла курятника? Это паршивая собака открыла дверцу, чтобы сожрать месиво для кур. А «молодой скот», не отличив белого от черного, отвесил мне пощечину...

Тут Седьмой господин посмотрел на Ай-гу.

— Я-то знаю, в чем причина,— продолжала Ай-гу,— она не укроется и от зорких глаз Седьмого господина. Люди грамотные, порядочные все знают. Закружила ему голову та шлюха-вдовушка, вот и решил выгнать меня из дому. Но не так-то это легко! Ведь меня просватали как полагается, со всеми подарками, выдали согласно шести брачным церемониям, принесли в дом мужа на свадебных красных носилках... Я им еще покажу!.. Пусть даже до суда дойдет! Не выйдет в уезде, обратимся в округ...

— Все это Седьмому господину известно,— сказал господин Вэй, подняв голову.— Ничего ты не добьешься, одумайся лучше. Зачем артачишься? Посмотри на своего отца — он человек разумный, не в пример тебе и твоим братьям. Будешь судиться, дойдешь до округа? А начальник округа разве не станет советоваться с Седьмым господином? И тогда это будет официальное дело, и решится оно по-официальному... И тогда... Нет, ты просто...

— Ну, тогда я буду драться не на жизнь, а на смерть, всех разорю, всех погублю!

— Не такое это дело, чтобы рисковать жизнью,— медленно произнес Седьмой господин.— Ты еще молода, очень молода. Надо бы тебе быть покладистее. Не правда ли? Ведь недаром говорят: «покладистый богатеет». Прибавлю еще десять юаней, но это уж сверх всяких законов. Ведь все равно тебе придется уйти, когда свекор и свекровь скажут: «Уходи!» То же самое ты услышишь не только в округе, но и в Шанхае, Пекине и даже в заморских странах. Не веришь мне, спроси сама вон у того — он только что вернулся из Пекина, из иностранной школы.— И Седьмой господин повернулся к молодому человеку с острым подбородком: — Верно я говорю?

— Совершенно точно! — торопливо вытянувшись, подобострастным шепотом ответил молодой человек с острым подбородком.

Ай-гу почувствовала, что все ее оставили. Отец молчит, братья приехать не посмели, господин Вэй, как всегда, на сто-

роне ее врагов. И на Седьмого господина, оказывается, нельзя положиться. Даже молодой человек с острым подбородком, похожий на высохшего клопа, и тот держит нос по ветру, шепчет угодливо. В голове Ай-гу все перепуталось, но она все же решилась на последний отчаянный шаг.

— Как же так, даже Седьмой господин...— Глаза ее были полны тревоги и разочарования.— Правда... Мы люди простые, грубые, ничего не понимаем. Обидно, что отец даже в житейских делах не может разобраться. У него, старика, голова кругом пошла. Вот все и разыгрывается так, как подстроили «старый скот» да «молодой скот». Быстрые, как вестники смерти, они околпачивают людей и пролезают в любую собачью нору...

— Видите, Седьмой господин, как она себя ведет, даже почтенных людей не стыдится,— вдруг раздался голос «молодого скота», молча стоявшего до тех пор у нее за спиной.— А уж дома и подавно не дает никому покоя. Отца моего зовет «старым скотом», меня не иначе как «молодым скотом» или «ублюдком»!

— Уж не та ли дочь потаскухи зовет тебя ублюдком? — крикнула ему Ай-гу, а затем снова обратилась к Седьмому господину: — Я вот скажу сейчас здесь, перед всеми... Откуда может у него быть хорошая слава, доброе имя? Как разинет пасть, только и слышно, что «подлое семя» да «чертова баба». А когда с этой шлюхой связался, так даже всех наших предков перебрал. Вы сами, господин, рассудите нас...

Но тут она вздрогнула и сразу смолкла: у Седьмого господина вдруг поднялась голова, глаза закатились, и с его губ, обрамленных жиденькой бородкой, сорвался резкий, дребезжащий крик:

— Эй!.. Принеси!

Сердце у Ай-гу замерло, а потом бешено заколотилось. Теперь все пропало, изменить ничего нельзя. Ей показалось, будто она оступилась и упала в воду. Она поняла, что сама во всем виновата.

В комнату вбежал слуга в синем халате и черной безрукавке. Опустив руки и вытянувшись, точно жердь, он замер перед Седьмым господином.

В гостиной смолкло даже щебетанье птиц. Седьмой господин шевельнул губами. Никто ничего не слышал, но слуга все понял. Приказ пронзил его до мозга костей — он дернулся два раза, и волосы у него, казалось, стали дыбом от ужаса.

— Есть! — сказал он и попятился к дверям.

Вот сейчас произойдет что-то неожиданное и неотвратимое, от чего ей не защититься, поняла Ай-гу. Лишь теперь она осознала все могущество Седьмого господина. Она в нем ошиблась, поэтому и вела себя слишком свободно, даже грубо. И у нее, охваченной раскаяньем, невольно вырвалось:

— Я же слушаюсь Седьмого господина...

Произнесла она это чуть слышно, но в гостиной, где стояла тишина, слова ее прозвучали будто гром. Господин Вэй едва не подпрыгнул.

— Правильно! — похвалил он ее.— Поистине справедлив Седьмой господин. И теперь Ай-гу все поняла! — И, обернувшись к ее отцу, продолжал: — Раз она сама согласилась, ты, почтенный Му, конечно, возражать не станешь. Надеюсь, ты захватил с собой договор о браке на красно-зеленой бумаге? Я ведь тебе сообщал. Так пусть каждая сторона достанет... обменяем...

Ай-гу видела, как отец вынул что-то из кошелька, висевшего на поясе. Но тут вернулся похожий на жердь слуга и передал Седьмому господину какую-то плоскую, покрытую лаком вещицу, похожую на маленькую черепаху. Боясь новой беды, Ай-гу бросила взгляд на отца, но тот уже вынимал серебряные монеты из синей матерчатой обертки.

Сняв голову с маленькой черепахи, Седьмой господин высыпал из нее что-то себе на ладонь, а черепаху отдал похожему на жердь слуге, который ее унес. Сам же господин пальцами другой руки взял щепоть с ладони и сунул в каждую ноздрю, измазав себе лицо чем-то темным. Нос у него сморщился, будто он собирался чихнуть.

Отец пересчитывал серебряные юани. Господин Вэй взял несколько монет из еще не сосчитанной стопки и возвратил их свекру, а затем, обменяв красно-зеленые бумаги, отдал их свекру и отцу.

— Ну, теперь вы получили все сполна,— сказал он.— Хорошенько пересчитай деньги, почтенный Му. Это не игрушки.

— А-пчхи! — раздалось в тот же момент, и Ай-гу поняла, что это чихнул Седьмой господин. Невольно переведя на него взгляд, она увидела все еще открытый рот и сморщенный нос. И этот нос господин почесывал той самой штукой, которой древние затыкали покойнику отверстия.

С большим трудом Чжуан Му Третий пересчитал, наконец, деньги. Каждый из сватов спрятал свой договор. Напряженное выражение на лицах сменилось благодушным, все будто даже распрямились. В гостиной сразу же воцарились мир и покой.

— Отлично! С этим делом покончено! — воскликнул господин Вэй, облегченно вздохнув, видя, что обе стороны готовы распрощаться.— Итак,— продолжал он,— с делами покончено. Узел, можно сказать, распутали. Поздравляю, желаю счастья, великого счастья! Как, уже уезжаете? Оставайтесь! Выпейте с нами счастливого вина в честь Нового года. Ведь это такой редкий случай!

— Нет, спасибо, не хочется. Сберегите вино. На другой год еще пригодится,— сказала Ай-гу.

— Благодарим вас, господин Вэй, пить мы не будем,— произнес ее отец.— У нас еще другие дела...

Чжуан Му Третий, «старый скот» и «молодой скот» попятились к выходу, почтительно кланяясь.

— Ну, как же так? Выпейте хоть немного! — твердил господин Вэй, внимательно следя за шедшей позади всех Ай-гу.

— Да нет уж,— отвечала та,— не хочется, спасибо, господин Вэй.

Ноябрь 1925 г.

ДИКИЕ ТРАВЫ

КРАТКОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ

Когда я молчу, я чувствую полноту жизни; собираюсь заговорить — и меня сразу же охватывает ощущение пустоты.

Прошлая жизнь умерла. Я рад этой смерти, потому что знаю теперь, что жизнь существовала. Умершая жизнь истлела. Я рад этому тлению, потому что знаю теперь, что жизнь не была пустой.

Прах жизни разбросан по земле. На ней не растут высокие деревья — пробиваются лишь дикие травы, и в этом повинен я.

Дикие травы. Корни у них неглубокие, цветы и листья некрасивые, но они впитывают росу, впитывают воду, впитывают прах мертвецов, и каждая травинка борется за свое существование. Их будут топтать, будут косить, пока они живы, пока не умрут, пока не сгниют.

Но я спокоен, мне радостно. Я готов смеяться, готов петь.

Я люблю мои дикие травы, но я ненавижу землю, которую они украшают.

Движется, стремительно мчится подземный огонь. Стоит извергнуться лаве, как она сожжет все дикие травы и даже огромные деревья. И тогда нечему будет гнить.

Но я спокоен, мне радостно. Я готов громко смеяться, готов петь.

Пока небо и земля так безмятежны, я не могу петь и смеяться. А когда небо и земля утратят покой, я, быть может, уже не смогу ни смеяться, ни петь. На грани света и тьмы, жизни и смерти, прошлого и будущего я приношу эти дикие травы в

дар другу и врагу, человеку и зверю, любимым и нелюбимым — как мое свидетельство.

Во имя себя самого, во имя друга и врага, человека и зверя, во имя любимых и нелюбимых я мечтаю о том, чтобы дикие травы умерли и истлели, чтобы как можно скорее пришел огонь. Если же этого не случится, значит, я будто и не жил на свете, а это еще большее несчастье, чем смерть и тление.

Идите же, дикие травы, вслед за моим кратким предисловием!

Апрель 1927 г.

ОСЕННЯЯ НОЧЬ

Из моего сада видны растущие за стеной деревья — два финиковых дерева.

Это ночное небо надо мной — удивительное и высокое; я в жизни своей не видел такого удивительного и высокого неба. Кажется, оно покинет людей, уйдет от них; люди поднимут головы, но больше не увидят его. А сейчас оно невообразимо синее и мерцает переливчатым светом бесчисленных звездных глаз, холодных глаз. В углах его рта играет усмешка, словно ему кажется, что оно таит в себе глубокую мысль; обильным инеем усыпало оно дикие травы, полевые цветы в моем саду.

Я не знаю, как по-настоящему называются эти цветы, как называют их люди. Я помню, что среди них были крошечные, розовые; они цветут и сейчас, но они еще мельче, чем всегда, они сжались от ночного холода и видят сны. И снится им, что приходит весна, и снится им, что приходит осень, и снится им, что изможденный поэт осторожной рукой утирает слезы, выступившие на последних их лепестках, и, утешая их, говорит: «Вот наступит осень, а за нею зима, но после них снова придет весна, и бабочки будут порхать над вами, и пчелы затянут весенние песни». И цветы, покрасневшие, сжавшиеся от жгучего холода, радостной улыбкой отвечают поэту.

Финиковые деревья... С них осыпались листья. Совсем недавно приходили дети и сбили с них случайно уцелевшие последние плоды, и теперь стоят они оголенные, потерявшие даже листву. Они тоже знают о снах розовых цветов — о весне, что придет после осени, и они знают о снах опавших листьев — об осени, что неизбежно сменяет весну. Они потеряли всю листву и стоят оголенные, но прямые и стройные, не отягощенные

плодами и листьями, пригибавшими их прежде к земле. Только несколько веток склонилось и прикрывает раны, нанесенные коре деревьев шестами для сбивания плодов; другие же, прямые и длинные, безмолвно и неподвижно, словно железные прутья, вонзились в небо, удивительное и высокое, и небо мигает колдовскими глазами; они вонзились в полную луну посреди этого неба, и луна побелела от боли.

Все невообразимее синева неба, освещенного колдовскими глазами. Оно неспокойно и, кажется, хочет покинуть человеческий мир, уйти от финиковых деревьев, оставив одну лишь луну. Но и луна украдкой убегает на восток, и только голые деревья по-прежнему безмолвно и неподвижно, словно железные прутья, пронзают небо, удивительное и высокое, и, равнодушные к тревожащему блеску его мерцающих глаз, готовят ему смертную участь.

Протяжный крик... Пронеслась зловещая ночная птица.

И вдруг я слышу смех в полуночной тьме, приглушенный, словно тот, кто смеется, боится разбудить спящих. Но воздух наполняется отголосками смеха. Уже полночь, и, кроме меня, здесь нет никого. Я слышу этот смех — он во мне самом, он гонит меня из сада. Я возвращаюсь в дом, прибавляю огня в лампе.

Зазвенели стекла в моем окне, о них бьются ночные мотыльки. Вот несколько мотыльков влетело в комнату — должно быть, сквозь прорванную бумагу другого окна; влетели и стали биться о зазвеневшее стекло лампы. Один устремился вниз и налетел на огонь — на настоящий огонь. Другие, утомленные, опустились на бумажный абажур. Я вчера только переменил его. Он сделан из собранной в складки белоснежной бумаги, и с одной стороны на нем нарисована ветка кроваво-красной гардении.

Когда расцветет кроваво-красная гардения, тогда и финиковые деревья будут охвачены снами розовых цветов и изогнутся под бременем зеленой листвы... Я снова слышу смех в полуночной тьме, я обрываю нить моих мыслей и смотрю на зеленые создания, сидящие на белой бумаге. У них большие головы и маленькие хвостики; они напоминают семечко подсолнечника, но величиной они не больше половины пшеничного зерна, и тельца у них прелестного изумрудного цвета с голубым отливом.

Я зеваю, закуриваю сигарету, выпускаю дым и в почтительном молчании созерцаю этих великолепных изумрудно-голубых героев.

Сентябрь 1924 г.

ПРОЩАНИЕ ТЕНИ

Когда человек спит так, что теряет чувство времени, может случиться, что его тень придет с ним прощаться и скажет ему такие слова:

Если в раю есть то, что мне не по душе, я не хочу туда идти; если в аду есть то, что мне не по душе, я не хочу туда идти; если в вашем золотом мире будущего есть то, что мне не по душе, я не хочу туда идти.

Но ведь и ты — совсем не по душе мне.

Друг мой, отныне я не намерена плестись за тобою следом, я не хочу оставаться подле тебя.

Не хочу!

Увы, не хочу. Лучше стану блуждать, не зная пристанища.

Я всего лишь тень. Расставшись с тобою, я погружусь во тьму. Да, тьма может меня поглотить, а свет — рассеять.

Но я не хочу блуждать между светом и тьмою — уж лучше погрузиться во тьму.

И все-таки я блуждаю между светом и тьмою. Я не знаю, что сейчас — сумерки или рассвет. Я подымаю свою пепельно-серую руку, будто осушаю чару с вином. А когда утрачу чувство времени, то одна отправлюсь в далекий путь.

Увы! Если сейчас сумерки, то за ними настанет черная ночь и поглотит меня. Или я буду рассеяна светом, если сейчас занимается день.

Друг мой, близок час.

Я уйду блуждать во тьму, не зная пристанища.

Ты еще ждешь от меня какого-то дара. Но что могу я тебе поднести? Ничего — со мною все те же тьма и пустота. Да, пусть будет только тьма — или светлый день, который меня рассеет. Пусть будет только пустота, чтобы не занять и уголка в твоем сердце.

Я хочу, мой друг, чтобы было так...

Я отправлюсь в далекий путь одна, уйду во тьму и без тебя, и без других теней. И как только тьма поглотит меня, весь мир будет принадлежать мне.

Сентябрь 1924 г.

НИЩИЕ

Я иду вдоль высокой, выщербленной стены, я ступаю по серой, пыльной земле. Здесь есть еще люди, и каждый идет своим путем. Поднялся легкий ветер, над моей головой зашевелились еще не засохшие листья высоких деревьев за стеной.

Дует легкий ветер, и всюду серая пыль.

Ребенок просит у меня милостыню. На нем халат на подкладке, и незаметно, чтобы он был печален, но он преграждает мне путь низким поклоном и преследует меня жалобным криком.

Мне противен звук его голоса, его манеры. Меня злит, что в нем нет печали, что это скорее детская забава; мне надоел этот неотвязный жалобный крик.

Я иду по дороге. Здесь есть еще люди, и каждый идет своим путем. Дует легкий ветер, и всюду серая пыль.

Еще какой-то ребенок просит у меня милостыню, и на этом тоже халат на подкладке, и незаметно, чтобы и он был печален, но он немой, он просит жестами, протягивая ко мне руки.

Меня злят эти жесты. И к тому же, может быть, он вовсе не немой, и это лишь способ просить милостыню?

Я не подаю милостыни, во мне нет милосердия, я стою выше тех, кто подает ее, я даю раздражение, сомнение, презрение.

Я иду вдоль полуразрушенной глиняной стены, груда кирпичей лежит в проломе, и за стеной ничего нет. Дует легкий ветер, и принесенный им осенний холод проникает сквозь мою одежду, и всюду серая пыль.

Я думаю — какой способ выберу я, когда стану просить милостыню? Если стану говорить, то каким голосом? Если буду притворяться немым, то при помощи каких жестов?..

Здесь есть еще люди, и каждый идет своим путем.

Я не получу милостыни, не получу милосердия. Но я получу раздражение, сомнение, презрение тех, кто стоит выше людей, подающих милостыню.

Я буду просить молча, без жестов!..

Ничто — будет самым щедрым подаянием для меня.

Дует легкий ветер, и всюду серая пыль. Здесь есть еще люди, и каждый идет своим путем...

Серая пыль, серая пыль...

. . . . . .

Серая пыль...

Сентябрь 1924 г.

МОЯ ПОТЕРЯННАЯ ЛЮБОВЬ
НОВАЯ ПАРОДИЯ В КЛАССИЧЕСКОЙ МАНЕРЕ

Моя любимая — на склоне горном.
Пойти искать ее? Нет, высока гора.
Повесив голову, лью слезы на халат.
Она мне подарила полотенце.
Чем одарить ее? Дам ей сову!
Она с тех пор не смотрит на меня.
С чего бы это? На душе тревога.

Моя любимая — средь шума улиц.
Пойти искать ее? Нет, велика толпа.
Закинув голову, я за уши лью слезы.
Она картину подарила мне.
Чем отдарить ее? Дам леденцов!
Она с тех пор не смотрит на меня.
С чего бы это? Я совсем балдею.

Моя любимая — на берегу реки.
Пойти искать ее? Нет, глубока вода!
Я, голову склонив, лью слезы на халат.
Цепочку для часов она мне подарила.
Чем отдарить ее? Лекарством потогонным!
Она с тех пор не смотрит на меня.
С чего бы это? Я — в расстройстве нервном.

Моя любимая — в богатом доме.
Пойти искать ее? Автомобиля нет.
Качаю головой, и ливнем слезы льются.

Она мне розу поднесла в подарок.
Чем отдарить ее? Дам ей ужа!
Она с тех пор не смотрит на меня.
С чего бы это? Впрочем, как угодно!

МЕСТЬ (1)

Кожа у человека тонка — пожалуй, всего полфэня. Циркулируя под нею, ярко-красная горячая кровь стремительно течет по кровеносным сосудам, которые переплетаются между собой, как шелковичные черви, плотными рядами ползущие по стене. Кровь разносит тепло. Этим теплом один смущает другого, подстрекает, влечет к себе, пусть с риском для жизни, ищет прикосновения, поцелуя, объятий, желая обрести великую пьянящую радость жизни.

Но стоит ударить острым ножом и пробить эту тонкую розовую кожу, как струя ярко-красной горячей крови стремительно, как стрела, вырвется из раны и своим теплом обдаст убийцу. Леденеет дыхание, белеют губы, человек теряет ясность чувств и обретает величайшую, парящую в высях радость жизни; он навеки погружается в нее, в эту величайшую, парящую в высях радость жизни.

Вот почему эти двое, совершенно нагие, сжимая в руках острые кинжалы, встали друг против друга в широком и диком поле.

Оба они готовы обняться, оба готовы убить друг друга...

Прохожие спешат отовсюду, плотными рядами, как шелковичные черви, ползущие по стене, или муравьи, которые тащат на себе голову сушеной рыбешки. Все они нарядно одеты, но ничего не тащат. Они спешат отовсюду и что есть мочи вытягивают шеи, желая поглазеть на объятия или убийство. Они уже сейчас чувствуют свежий вкус пота или крови.

Но те двое стоят друг против друга в широком и диком поле, совершенно нагие, сжимая острые кинжалы. Они не обнимаются и не убивают друг друга, да и вряд ли помышляют об этом.

Так они стоят очень долго. Упругие тела их скоро иссохнут, но они не собираются ни обнимать, ни убивать друг друга.

Прохожим, наконец, становится скучно. Они чувствуют, как скука проникает к ним в поры, как просачивается из их сер-

дец, расползается по всему полю и проникает в поры всех остальных людей. Они чувствуют, что у них пересохли язык и горло, устала шея; в конце концов, переглядываясь, они не спеша расходятся; при этом кажется, будто они высохли так, что утратили всякий интерес к жизни.

Потом остается только широкое и дикое поле, и в нем стоят те двое, совершенно нагие, с острыми кинжалами в руках, тоже совсем иссохшие; взгляд у них, как у мертвецов, они любуются иссохшими путниками, великим бескровным убийством и навеки растворяются в величайшей, парящей в высях радости жизни.

Декабрь 1924 г.

МЕСТЬ (2)

За то, что он считает себя сыном божьим, правитель Израиля предал его на распятье.

Воины одели его в багряницу, возложили на голову ему терновый венец, поздравляли его; потом били по голове тростью, плевали в него, становились перед ним на колени; когда же насмеялись над ним, сняли с него багряницу и надели на него его одежды.

Вот, глядите, они бьют его по голове, плюют в него, кланяются ему...

Он не соглашается выпить вино со смирною, он готов в полной мере принять те муки, которые уготовили люди Израиля сыну своего бога, при этом он еще сильнее скорбит об их будущем, но ненавидит их настоящее.

Кругом одни враги, достойные жалости, достойные проклятий.

Звенят удары, гвозди пронзают ладони. Они — о, эти жалкие люди! — хотят распять сына своего бога, чтобы от боли он смирился. Звенят удары, гвозди пронзают ступни. Раздроблены кости, и нестерпимая боль проникает в самое сердце. Они — о, эти проклятые люди! — распинают на кресте сына своего бога, чтобы от боли он покорился.

Прямо высится крест, а он висит на кресте.

Он не выпил вино со смирною. Он готов в полной мере принять те муки, которые люди Израиля уготовили сыну своего

бога, и при этом он еще сильнее скорбит об их будущем и ненавидит их настоящее.

Прохожие злословят о нем, первосвященники и книжники насмехаются над ним, двое разбойников, распятые с ним вместе, и те поносят его...

Вот, глядите, даже распятые с ним вместе...

Кругом одни враги, достойные жалости, достойные проклятий...

Превозмогая острую боль в руках и ногах, он испытывает скорбь — оттого, что эти жалкие люди убивают сына божьего, и упивается радостью — оттого, что эти проклятые люди распяли сына божьего и что сын божий ими распят. Внезапно жгучая боль от раздробленных костей проникает в самое сердце, и тогда он навеки погружается в великую радость и великую скорбь.

Вздымается чрево его, это волны боли, жалости, проклятий.

Тьма окутывает землю.

«Элои, элои! Лама савахфани?!» (Это значит: «Боже мой, боже мой! Для чего ты меня оставил?!») Бог покинул его, он так и остался «сыном человеческим». Но люди Израиля все же распяли его, хотя он и «сын человеческий». Эти люди, распявшие «сына человеческого», запятнали себя кровью больше, чем если бы распяли «сына божьего». От них еще сильнее пахнет кровью.

Декабрь 1924 г.

НАДЕЖДА

Мое сердце очень одиноко.

Но оно спокойно: в нем нет ни любви, ни ненависти, нет ни горя, ни радости, нет ни красок, ни звуков.

Наверное, я состарился. Волосы у меня стали седыми — разве в этом есть что-то непонятное? Руки мои дрожат — разве и в этом есть что-то непонятное? Значит, у моей души тоже дрожат руки и волосы тоже поседели.

Но случилось это уже много лет тому назад.

А до этого и мое сердце переполняли кровавые песни: кровь и железо, пламя и яд, возрождение и месть. Вдруг все смени-

лось пустотой. Лишь иногда, чтобы обмануть самого себя, я заполнял эту пустоту напрасной надеждой. Надежда, надежда! Щитом надежды я отражал натиск темной ночи в пустоте, хотя позади щита была все та же темная ночь, все та же пустота. Вот так постепенно я растранжирил свою юность.

Разве я не знал, что юность моя давно умерла? Просто я считал, что вокруг меня тоже непременно существует юность: звезды, лунный свет, гибнущие бабочки, ночные цветы, зловещие стенания совы, надсадный крик кукушки, неуловимая игра улыбок, пляски любви... Пусть это унылая туманная юность, но все-таки юность...

Отчего же теперь мне так одиноко? Неужто и вокруг меня юность погибла и чуть ли не вся молодежь одряхлела?

Мне остается лишь одно — вступить в схватку с этой царящей в пустоте темной ночью. Отложив щит надежды, я слушаю песню Шандора Петефи (1823—1849) о «надежде»:

Что есть надежда? Дева наслажденья,
Чудовище, что нас ласкает не любя!
Ты все ей отдаешь, но без благодаренья
Она бросает, молодость, тебя [1].

Вот уже семьдесят пять лет прошло с тех пор, как этот великий поэт-лирик и венгерский патриот погиб за родину на острие казачьей пики. Как трагична его смерть. Но еще трагичнее то, что его стихи не умерли до сих пор.

Да, жестокая жизнь! Даже такой гордый и смелый человек, как Петефи, остановился, столкнувшись один на один с темной ночью, и обернулся к безбрежному Востоку. Он говорил:

Как и надежда, отчаянье лжет.

Если я еще смогу влачить свои дни в этом беспросветном «обмане», я все-таки буду искать загубленную унылую и туманную юность, хотя бы вокруг себя. Потому что если и она погибнет, то моя собственная старость совсем захиреет.

Но сейчас нет ни звезд, ни лунного света, нет гибнущих бабочек, неуловимой игры улыбок, нет плясок любви. Да, молодежь безмятежна.

Мне остается только одно — вступить в схватку с этой темной ночью, царящей в пустоте. Если даже я не найду юность вокруг себя, то, во всяком случае, отброшу свою старость. Но

[1] Перевод Д. Самойлова.

где же эта темная ночь? Теперь нет ни звезд, ни лунного света, нет даже неуловимой игры улыбок и плясок любви; молодежь безмятежна, а передо мной, оказывается, вовсе нет настоящей темной ночи.

Как и надежда, отчаянье лжет!

Январь 1925 г.

СНЕГ

В теплых странах капли дождя никогда не превращаются в холодные и блестящие снежинки. Людям многоопытным дождь кажется однообразным, но как знать, считает ли он для себя это несчастьем?

К югу от Цзяна снег выпадает очень мокрый и очень красивый. Это предвестник ранней, еще затаившейся весны, здоровый девственный покров. В заснеженных полях уже видны кроваво-красные жемчужины горного чая, белые в темно-зеленой чашечке цветы зимней сливы, темно-желтые каликанты, формой цветка чем-то напоминающие древний цинь. А под снегом еще прячутся замерзшие травы. Бабочек нет, конечно, но вот летают ли пчелы собирать нектар с цветов горного чая и зимней сливы, этого я точно не помню. Просто мне кажется, будто я вижу, как в заснеженных полях распускаются зимние цветы, как пчелы хлопотливо летают над ними, и мне слышится их жужжание.

Дети дуют на покрасневшие от холода ручонки, похожие на лиловые бутоны имбиря. Несколько ребят лепят из снега архата. Дело у них не ладится, и чей-то отец приходит на помощь. Архат получается гораздо выше самих детей. Пусть это всего-навсего комья снега, наверху ком поменьше, внизу побольше, пусть не вполне ясно, архат ли это или тыква-горлянка, но он, ослепительно-белый, красивый, слепленный собственной влагой, весь искрясь, излучает сияние. Из косточек лонгана — «драконова гла́за» — дети делают архату глаза́. Кто-то стащил у матери румяна из туалетной коробки и сделал архату губы. Теперь это настоящий большой архат, с яркими красными губами. Он сидит на снегу и таращит глаза.

На другой день дети приходят его навестить. Они хлопают в ладоши, кивают ему, смеются. Но в конце концов архат остается один. В ясные дни он подтаивает, холодными ночами вновь

покрывается тонкой ледяной коркой, похожей на тусклый, непрозрачный кристалл. Ясные дни следуют один за другим, и архат превращается невесть во что, да и румян на его губах совсем не остается.

А на севере, в обильные снегопады, снег всегда сух, как пудра или песок. Он никогда не падает хлопьями, а рассыпается по крышам домов, по земле, по засохшей траве. На крышах снег тает быстро из-за тепла домашних очагов. А иной раз в ясную погоду вдруг налетает вихрь, подхватывает снежинки, и тогда они сверкают, искрясь и переливаясь в солнечных лучах,— кажется, будто это густой туман, окутывающий пламя, кружится и поднимается ввысь, заволакивает небо, отчего и само оно кружится и, искрясь, устремляется вверх.

Над бескрайними полями, под замерзшим куполом неба, искрясь и сверкая, кружится и устремляется ввысь душа дождя.

Да, это одинокий снег, это мертвый дождь, это душа дождя.

Январь 1925 г.

БУМАЖНЫЙ ЗМЕЙ

В Пекине зима, на земле еще плотным слоем лежит снег, черные ветви голых деревьев вырисовываются на чистом небе, и я с удивлением и печалью гляжу на бумажных змеев, плывущих вдали.

У меня на родине время бумажных змеев — второй месяц весны. Услышишь шум ветряного колеса, поднимешь голову — и видишь, как летит темно-серый краб или стоножка нежно-голубого цвета. А то еще бывает бесшумный змей-черепица. На нем нет ветряных колес, его пускают очень низко, и он кажется жалким и отверженным в своем одиночестве. На земле в это время уже появляются побеги на иве, ранний горный персик раскрывает цветы, и вместе с небом, украшенным бумажными змеями, приносят они ласку весеннего дня. Где же я теперь? Вокруг меня жестокий холод суровой зимы, и в этом воздухе проносится безвозвратно ушедшая весна моей родины, с которой я давным-давно расстался.

Но я никогда не любил пускать бумажных змеев; больше того, я ненавидел это занятие: я считал его забавой дурных детей. Не так смотрел на это мой младший брат. Ему было тогда лет десять, и змеи были страстью этого болезненного, худень-

кого мальчика. У него не было денег на покупку змея, да я и не позволял ему пускать их, и он иногда часами простаивал, в восторге раскрыв рот и самозабвенно следя за небом. Вот неожиданно опустился паривший в высоте краб, и брат в испуге вскрикивает; разъединились две спутавшиеся в воздухе нитками черепицы, и он радостно прыгает. Мне все это казалось смешным и нелепым.

Как-то я заметил, что вот уже несколько дней брат где-то прячется; в последний раз я видел его в саду, где он подбирал сухие стебли бамбука. Мне словно подсказало что-то, и я побежал в маленькую, заваленную старыми вещами комнатку, в которой почти никто не бывал, толкнул дверь и, конечно, среди пыльной рухляди увидел брата. Он сидел на табурете перед большой скамьей и, когда я вошел, испуганно вскочил, побледнел и весь как-то сжался. К скамье был прислонен бамбуковый остов бабочки. Бумага еще не была наклеена, на скамье лежали два ветряных колеса, которые должны были изображать глаза. Он украшал их полосками красной бумаги, и они были почти готовы. Упоенный раскрытием тайны и возмущенный тем, что он, скрываясь от меня, украдкой отдавался этой забаве дурных детей, я протянул руку, схватил крыло бабочки, сломал его, сбросил на пол и растоптал ветряные колеса. Я был старше и сильнее его, и он не мог помешать мне. Я, конечно, одержал полную победу и гордо удалился, оставив его стоящим в отчаянии посреди комнаты. Меня вовсе не интересовало, что станет он делать дальше.

Но час возмездия наступил. Это произошло через много лет после того, как мы расстались. Я был уже немолодым человеком. На мое несчастье, мне в руки попала иностранная книга о детях, и я узнал из нее, что в играх и заключается детство, что игрушки — это ангелы-хранители детства. И тогда перед моими глазами вдруг встала эта забытая за двадцать прошедших лет картина совершенного мною в детские годы насилия над человеческой душой, и мне показалось, что сердце мое превратилось в кусочек свинца и, тяжелое-тяжелое, стало падать вниз.

Оно не оборвалось, оно только становилось все тяжелее и тяжелее и все продолжало падать и падать.

Я знал, как загладить свою вину: подарить брату змея, позволить ему пускать его, просить его об этом, пускать его вместе с ним. Мы бы кричали, бегали, смеялись... Но он был такой же взрослый, как я, и у него давно уже выросли усы.

Я знал еще один способ, как загладить свою вину: попро-

сить у него прощения, дождаться, пока он скажет: «Я ни капельки не сержусь на тебя»,— после чего на сердце у меня станет спокойно,— и способ этот осуществим.

Когда мы, наконец, встретились, лица наши были уже изборождены морщинами, оставленными на них горечью жизни, а на сердце моем лежала тяжесть. Мы заговорили о далеких годах нашего детства, и я напомнил ему об этом случае, о том, как я был тогда глуп. И я ждал: «Но я ни капельки не сержусь на тебя»,— скажет он, я получу прощение, и с сердца моего спадет тяжесть.

— Да разве было такое? — удивленно смеясь, спросил он так, как спрашивают, когда слушают интересную, но чужую историю. Он решительно ничего не помнил.

Он забыл все, и он не сердился, так за что же просить прощения? Простить, не зная, за что,— значило бы солгать, и только!

На что мог я надеяться? На сердце моем по-прежнему тяжесть.

И теперь снова весна моей родины в воздухе этой северной стороны принесла мне воспоминания безвозвратно ушедшего детства и наполнила меня безудержной печалью. Мне бы от нее укрыться там, где стоит морозная зима с ее жестокими холодами, но и так суровая зима вокруг меня, и от нее веет холодным дыханием стужи.

Январь 1925 г.

ПРЕКРАСНАЯ СКАЗКА

Огонь в лампе постепенно сникает, как бы предупреждая о том, что керосина осталось немного. Да и керосин не первого сорта — абажур давно уже почернел от копоти. Снаружи отовсюду доносится треск хлопушек, вокруг меня — пелена табачного дыма: глухая темная ночь.

Я закрываю глаза, откидываюсь на спинку стула, а руки с «Азами учения» кладу на колени.

Забывшись, я вижу в полусне прекрасную сказку.

Эта сказка и красива, и изящна, и увлекательна. Красивые люди и красивые видения переплетаются, словно парча облаков в небе, они летят, как мириады падающих звезд, снова рассеиваются и исчезают где-то в бесконечности.

Я, кажется, вспоминаю, как плыл когда-то в маленькой лодке по шаньиньскому пути. Сальные деревья по обоим берегам, молодые хлеба, полевые цветы, куры, собаки, кусты и засохшие деревья, тростниковые хижины, пагоды, кумирни, крестьяне и крестьянки, развешанная для просушки одежда, деревенские девушки, буддийские монахи, камышовые дождевые накидки и шляпы, небо, облака, бамбуки — все это отражается в лазоревой речушке. С каждым ударом весла отражения расплескиваются вместе со сверкающими солнечными бликами, вместе с яркой и резвящимися в воде рыбками. У каждого предмета свое отражение. Все они то расплываются в разные стороны и покачиваются на воде, то разрастаются вширь и сливаются друг с другом. Но стоит им слиться, как они тут же сжимаются и вновь принимают свою первоначальную форму. С неровными, как у летних облаков, краями, обрамленные солнцем, они светятся пламенем ртутного цвета. И так на всем пути, по которому я плыву.

Вот и теперь я вижу такую же сказку. На фоне синего неба, отраженного в реке, все перемешалось, сплелось в одно целое, все беспрестанно движется, рассыпается, и я никак не могу досмотреть до конца эту сказку.

Несколько чахлых кустов алтайской розы под засохшими прибрежными ивами посажены, наверное, деревенскими девушками. Большие красные цветы и еще другие, черно-красные, плывут по воде. Они вдруг рассыпаются, вытягиваются, румянят воду, но она от этого ничуть не мутнеет. Тростниковые хижины, собаки, пагоды, деревенские девушки, облака... тоже плывут по воде. Большие красные цветы вытягиваются, превращаясь в трепещущую красную парчовую ленту. Лента вплетается в собаку, собака вплетается в облако, облако — в деревенскую девушку. Мгновенье, и все снова сжимается. Отражения черно-красных цветов тоже распались и вытянулись и вот-вот вплетутся в пагоду, в деревенскую девушку, в собаку, в хижину, в облака...

Теперь сказка, которую я вижу, вырисовывается совсем ясно, она такая красивая, изящная, увлекательная. В синем небе нет числа красивым людям и прекрасным видениям. Я смотрю на них и узнаю — одно за другим.

Мне хочется повнимательнее разглядеть их.

Но в тот самый момент, когда я собираюсь сделать это, я вдруг открываю глаза. Парча облаков сморщилась, измялась, будто кто-то бросил большой камень, отчего тотчас пошли круги и на куски разбили отражение всей картины. Я невольно снешу

подхватить «Азы учения», которые чуть было не свалились на пол. Перед глазами остается лишь несколько радужных бликов.

Я в самом деле люблю эту прекрасную сказку. Пока последние блики еще не исчезли, я хочу настигнуть их, досмотреть до конца, удержать. Отшвырнув книгу, я тянусь за кистью, но вот уже и последние блики пропали, виден лишь тусклый свет лампы. И сам я уже не в маленькой лодке.

Но я всегда помню эту прекрасную сказку, пригрезившуюся мне глухой темной ночью.

Февраль 1925 г.

ПУТНИК

Время действия: любой вечер.

Место действия: любое место.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Старик — лет 70-ти, с седой головой и седыми усами, в длинном черном халате.

Девочка — лет 10-ти, волосы каштановые, глаза черные, белое в черную клетку платье.

Путник — лет 30—40, усталый, но полный решимости, взгляд хмурый; усы черные, волосы растрепанные; изодранные черная куртка и черные штаны; на босу ногу, рваные матерчатые туфли; переброшенная через плечо сума; опирается на длинный, в рост человека, бамбуковый посох.

Справа — несколько деревьев и битая черепица; слева — дикие заросли трав, в которых едва заметна тропинка. Тропинка ведет прямо к маленькой глинобитной хижине; у входа в хижину — сухое корневище.

Девочка подходит к старику, чтобы помочь ему подняться с корневища.

Старик. Дитя! Эй, дитя! Что ж ты застыла?

Девочка *(глядит направо)*. Смотри, там кто-то идет.

Старик. Нечего тебе смотреть. Помоги лучше мне зайти в дом. Солнце уже садится.

Девочка. А я посмотрю.

Старик. Ах, дитя! Каждый день ты любуешься и землей, и небом, и ветром. Неужели тебе этого мало? Ведь нет ничего прекраснее природы. А тебе хочется еще на кого-то смотреть. Все, что появляется в час захода солнца, ничего хорошего не предвещает... Пойдем-ка в дом.

Девочка. Но он уже совсем близко. А-а, это нищий.

Старик. Нищий? Вряд ли.

Справа, из-за деревьев выходит путник; немного помедлив, он не спеша направляется к старику.

Путник. Вечер добрый, старец. Как поживаешь?

Старик. Прекрасно. Твоими заботами. А ты как?

Путник. Прости мне, старец, мою бесцеремонность, но я бы хотел попросить у тебя чашку воды. В пути меня измучила жажда. А в здешних местах не найдешь ни пруда, ни даже лужи.

Старик. О, это можно, это можно. Присядь. *(К девочке.)* Принеси воды, дитя. Да чашку вымой почище.

Девочка молча уходит в дом.

Присядь, прохожий. Как звать тебя?

Путник. Как звать? Не знаю. С тех пор как я себя помню, я всегда был просто человеком, но никогда не знал, как меня зовут. Случается, дорóгой меня называют разными именами, но какими, я не помню. Тем более, что ни одно имя мне не довелось услышать дважды.

Старик. А-а... Ну, а откуда ты идешь?

Путник *(чуть помедлив)*. Не знаю. С тех пор как себя помню, я всегда в дороге.

Старик. Так. Ну, а могу я у тебя спросить, куда ты держишь путь?

Путник. Конечно, можешь. Только я и этого не знаю. С тех пор как помню себя, я всегда иду и буду идти к одним и тем же местам, они — там впереди. Помню лишь, что прошел очень много, а теперь вот добрался сюда. Потом снова пойду вон туда *(показывает рукой на запад)*, вперед.

Девочка осторожно выносит деревянную чашку, подает гостю.

Путник *(берет чашку)*. Спасибо, девочка. *(Выпивает всю воду в два глотка, возвращает чашку.)* Большое тебе спасибо. Воистину, редко встретишь подобную доброту. Не знаю даже, как я должен благодарить!

Старик. Не благодари так. Ведь это тебе не поможет.

Путник. Да, не поможет. Но теперь я хоть немного восстановил свои силы. Я должен идти дальше. Ты, старец, наверное, давно живешь тут. Не знаешь ли, что там, впереди?

Старик. Впереди? Впереди — могила.

Путник *(изумленно)*. Могила?

Девочка. Нет, нет, нет. Там много-много диких лилий и диких роз. Я всегда хожу туда играть, хожу любоваться ими.

Путник *(смотрит на запад и как будто улыбается)*. Да, верно. В тех местах много-много диких лилий и диких роз, и я всегда ходил туда играть, ходил любоваться ими. Но там — могила. *(Старику.)* Ну, а дальше, старец, что, когда пройдешь могилу?

Старик. Когда пройдешь могилу? Не знаю. Там я не был.

Путник. Не знаешь?!

Девочка. И я не знаю.

Старик. Я знаю только то, что на юге, на севере и на востоке — там, откуда ты идешь. Там все мне хорошо знакомо. Быть может, это лучшие места и для тебя, и для таких, как ты. Не посетуй на меня за мою болтовню, но ты так устал, что тебе лучше вернуться. Потому что вряд ли ты дойдешь до цели.

Путник. Вряд ли дойду? *(Задумывается и вдруг спохватывается.)* Нет, нельзя! Я должен идти. Вернуться — это значит снова оказаться в тех краях, где всюду имена и ранги, где всюду помещики, где всюду гонения и тюрьмы, где всюду ухмыляющиеся физиономии и полные слез глаза. Я ненавижу все это и не вернусь назад!

Старик. Ты не прав. Там можно встретить и искренние слезы, и сострадание.

Путник. Нет, я не желаю видеть ни их искренних слез, ни их сострадания.

Старик. Тогда *(качает головой)* ты должен идти.

Путник. Да, должен. К тому же какой-то голос — там, впереди, все время торопит, зовет меня, не дает отдохнуть. Как досадно, что потеряно так много крови, что ноги у меня стерты и изранены *(показывает старику ногу)*. Мне не хватает крови. Надо бы выпить крови, хоть немного. Но где ее взять? И потом ведь не безразлично, чья это будет кровь. Вода в пути всегда найдется, я не испытываю в ней недостатка. И сейчас совсем растерял свои силы, потому что в крови у меня слишком много воды. Но сегодня мне не встретилось даже маленькой лужи, вот почему я так мало прошел.

Старик. Пожалуй, не поэтому. Вот и солнце село. Отдохни немного, как отдыхаю я.

Путник. Но голос — там, впереди,— зовет меня.

Старик. Знаю.

Путник. Знаешь? Ты знаешь этот голос?

Старик. Да. Сдается мне, что и меня он звал когда-то.

Путник. Тот самый голос, что теперь зовет меня?

Старик. Точно не знаю. Но какой-то голос не раз звал меня, а я не отозвался, вот он и перестал звать. Теперь я уже плохо помню его.

Путник. О-о! Не отозвался... *(Задумывается, но вдруг, спохватившись, прислушивается.)* Нет, нельзя! Надо идти. Я не могу отдыхать. Досадно только, что ноги у меня стерты. *(Собирается уходить.)*

Девочка. Вот, возьми! *(Подает ему лоскут.)* Перевяжи свои раны.

Путник *(берет лоскут)*. Спасибо, девочка. Воистину... воистину, это редкая доброта. Теперь я смогу пройти гораздо больше. *(Садится на битый кирпич, пытается обвязать лоскутком ногу.)* Нет, не получается! *(Поднимается через силу.)* Возьми назад, девочка, этим никак не забинтовать. Да я и не знаю, как сумею отблагодарить за такую доброту.

Старик. Не благодари так. Ведь это тебе не поможет.

Путник. Да, не поможет. Но для меня нет ничего выше этого подаяния. Погляди, всего меня нужно бы забинтовать.

Старик. Не принимай ее подарок всерьез.

Путник. Ты прав. Но я не могу. И вот чего боюсь! Если приму хоть какое-то подаяние, то стану, как сип, высматривающий падаль, кружить рядом, желая гибели той, что сделала мне добро, и наблюдая собственными глазами, как она погибает. Или прокляну всех, кроме нее, всем желая смерти, даже самому себе, потому что проклятие распространится и на меня. Но пока я еще лишен такой силы. А если бы и обладал ею, то все равно не пожелал бы твоей внучке такой участи, потому что ни она, ни ей подобные сами себе того не желают. Я уверен, что это так. *(Девочке.)* Девочка, твой лоскут очень хорош, но немного мал, возьми его обратно.

Девочка *(испуганно пятится)*. Не надо! Возьми себе!

Путник *(пряча улыбку)*. О... Это из-за того, что я подержал в руках?

Девочка *(кивает в знак согласия, показывает на суму)*. Положи туда, потом поиграешь.

Путник *(отступает в растерянности)*. Но как же я это понесу?

Старик. Ты не отдохнул, поэтому любая ноша тебе тяжела. Отдохни немного, и все пройдет.

Путник. Да, отдохнуть бы... *(Задумывается, но вдруг, спохватившись, прислушивается.)* Нет, не могу. Нужно идти.

Старик. Ты что же, совсем не хочешь отдыхать?

Путник. Хочу.

Старик. Так отдохни немного.

Путник. Не могу...

Старик. Ты все же считаешь, что тебе лучше идти?

Путник. Да, мне лучше идти.

Старик. Тогда иди.

Путник *(распрямляясь)*. Хорошо, я прощаюсь. Я очень благодарен вам обоим. *(Обращается к девочке.)* Вот, возьми, пожалуйста, обратно свой подарок.

Девочка испуганно отдергивает руки и прячется в хижине.

Старик. Возьми с собой. А станет невмоготу, бросишь на могилу.

Девочка *(выходит из дома)*. У-у, так нельзя!

Путник. Да, так не годится.

Старик. Тогда повесь на дикие лилии или на дикие розы.

Девочка *(хлопает в ладоши)*. Ха-ха! Вот это чудесно!

Путник. О-о...

На мгновение воцаряется тишина.

Старик. Ну что ж, прощай. Да будет мир с тобой. *(Встает, девочке.)* Дитя, помоги мне зайти в дом. Погляди, солнце давно уже село. *(Поворачивается к двери.)*

Путник. Большое вам спасибо. Да будет с вами мир. *(Задумывается в нерешительности, но вдруг пугается.)* Но я не могу! Я должен идти. Так будет лучше... *(Поднимает голову и решительно идет на запад.)*

Девочка ведет старика в хижину и закрывает дверь.
Путник уходит в дикую степь, за ним по пятам идет ночная тьма.

Март 1925 г.

МЕРТВЫЙ ОГОНЬ

Мне снится, будто я мчусь среди ледяных гор.

Это громадные ледяные горы, упирающиеся в ледяное небо, сплошь затянутое холодными облаками, похожими на рыбью чешую. По склонам гор — ледяные рощи; ветви и листья деревьев — точно хвоя сосен и елей. Все сковано льдом, все голубовато-белое.

Вдруг я падаю в ледяное ущелье.

И вверху, и внизу, и вокруг — только лед, голубовато-белый лед. А на всем этом голубовато-белом ледяном покрове застыли бесчисленные красные тени, сплетающиеся, словно кораллы. Я нагибаюсь, смотрю себе под ноги и вижу огонь.

Это мертвый огонь. Языки пламени сохранили свои характерные очертания, но замерли без движения, замерзли и теперь похожи на ветки кораллов, а сверху над ними застыл черный дым. Кажется, будто здесь только что был пожар. Сталкиваясь друг с другом, огненные языки отражаются в ледяных стенах, отчего ледяное ущелье окрашивается в кораллово-красный цвет.

В детстве я очень любил смотреть на вспененные волны, поднимаемые быстроходным кораблем, и на языки бушующего пламени, вырывающиеся из раскаленной топки. И не просто так смотрел, а старался разглядеть получше. К сожалению, они то и дело меняли свои очертания, и как бы пристально я ни всматривался, у меня так и не сложилось четкого представления о них.

Мертвый огонь, наконец-то я добыл тебя!

Я подбираю с земли мертвый огонь, чтобы внимательно рассмотреть его, и холод обжигает мне пальцы. Я терплю и засовываю огонь в карман. Тотчас все ущелье становится голубовато-белым. Тем временем я обдумываю, как бы мне выбраться из этого ледяного ущелья.

Вдруг надо мной появляется струйка черного дыма и тянется вверх, как проволочная змейка. И сразу по всему ущелью вновь затрепетали красные языки пламени, будто огромный костер обступил меня со всех сторон. Я опускаю голову и вижу, что мертвый огонь ожил, прожег мне одежду и теперь растекается по ледяной поверхности.

— Ах, друг мой! Своим теплом ты разбудил меня! — говорит он.

Я спешу поздороваться с ним, спрашиваю, как его имя.

— Когда-то люди бросили меня в этом ледяном ущелье,— отвечает он, словно уклоняясь от моего вопроса.— Сами они давно погибли и исчезли бесследно. И я чуть было не умер здесь от холода. Не дай ты мне своего тепла, от которого я ожил, я бы тоже погиб вскоре.

— Я рад твоему пробуждению. Но сейчас я только и думаю, как бы выбраться из этого ледяного ущелья; я готов взять тебя с собою, чтобы ты никогда не замерзал и мог гореть вечно.

— Но тогда я совсем сгорю!

— Жаль, если это случится. Что ж, оставайся здесь.

— Но тогда я погибну от холода!

— Как же в таком случае поступить?

— Ну, а ты? Как бы ты поступил? — задал он встречный вопрос.

— Я уже сказал: я хочу выбраться из этого ледяного ущелья.

— Тогда я предпочту сгореть совсем!

Он вдруг взвился красной кометой и вынес меня из ущелья. Но тут откуда-то примчалась огромная каменная колесница, и я был насмерть раздавлен ею, но все же успел заметить, как она рухнула в ледяное ущелье.

— Ха-ха! Вам больше не встретиться с мертвым огнем! — сказал я с довольной улыбкой, будто только этого и добивался.

Апрель 1925 г.

ВОЗРАЖЕНИЕ СОБАКИ

Мне снится, будто я прохожу узким переулком. Я в лохмотьях, на мне разбитые башмаки, я похож на нищего.

Сзади на меня лает собака.

Я с достоинством поворачиваю голову, свысока смотрю на нее и кричу в гневе:

— Ну! Заткни свою пасть! Ты, пресмыкающаяся перед богатым и нападающая на бедняка собака!

— Хи-хи! — смеется она в ответ.— Где уж мне! Куда мне до людей!

— Что?!

Я вскипаю. Я вижу в этом оскорбление, которому нет равных.

— Да, мне стыдно: до сих пор я все еще не понимаю разницы между медью и серебром, разницы между холстом и шелком, разницы между сановником и простолюдином, разницы между господином и рабом, разницы...

Я бегу от нее.

— Куда ты? Поговорим еще...

Я слышу громкий крик, которым она пытается удержать меня.

Я бегу, бегу изо всех сил, до тех пор, пока не выбегаю из сна и не вижу себя лежащим на своей постели.

Апрель 1925 г.

ПРЕКРАСНЫЙ, НО ПОТЕРЯННЫЙ АД

Мне снится, будто я лежу в постели, в холодном и диком поле, у самой преисподней. Глухие стоны грешников звучат стройно и в унисон с яростным ревом пламени, клокотанием кипящего масла, лязгом стальных вил, сливаются в целую симфонию, которая возглашает на все три мира: под землей великое спокойствие и порядок.

Огромный мужчина, красивый и приветливый, стоит передо мной, он излучает сияние, но я знаю, что это дьявол.

— Все кончено, все уже кончено! Жалкие грешники потеряли этот прекрасный ад! — говорит он с негодованием и болью, потом садится и рассказывает мне историю, известную ему одному.

— Когда земля и небо были медвяного цвета, дьявол победил бога и обрел великую власть, которой подчинились все и вся. Он завладел небесным царством, завладел миром людей, завладел адом. Потом прибыл в преисподнюю, уселся в самом центре ее, изучая яркое сияние, и принялся разглядывать грешников.

Ад давно уже пребывал в запустении: деревья-мечи утратили былой блеск; кипящее масло уже не било ключом; над гигантским костром лишь иногда вился сизый дымок; да еще кое-где на отшибе пробивался дурман, с мелкими, чахлыми и жалкими цветами. Оно и не удивительно, потому что землю там выжигали смертоносным огнем, и она, конечно, перестала плодоносить.

Грешники просыпались в едва теплившемся огне и в остывшем масле и, озаренные сиянием, которое излучал дьявол, глядели на мелкие цветы преисподней, чахлые и жалкие. Совращенные великим соблазном, они вдруг вспомнили о людях. Неизвестно, сколько лет они провели в молчаливом раздумье, но потом, обратившись к людям, истошно возопили, взбунтовавшись против ада.

Люди отозвались на их зов, поднялись в защиту справедливости и вступили в бой с дьяволом. Клич войны гремел по всем трем мирам, оглушительнее, чем раскаты грома. В конце концов был осуществлен генеральный план, расставлены огромные сети, что вынудило дьявола убраться из ада. В знак окончательной победы над воротами в ад водрузили знамя людей.

Пока грешники хором выкрикивали приветствия, посланцы людей, призванные навести в аду порядок, явились в преиспод-

нюю, уселись в самом центре ее и, пользуясь всем своим человеческим могуществом, принялись бранить грешников.

Когда же грешники вновь возопили, взбунтовавшись против ада, они были объявлены смутьянами, восставшими против людей, осуждены на вечные муки и переселены в самую глубь леса из деревьев-мечей.

И вот люди полностью забрали в свои руки всю великую власть над адом и оказались могущественнее самого дьявола. Потом люди навели порядок. Прежде всего они накормили быкоголового А-пана самой высокой травой, потом подбросили в костер хвороста, наточили ножи, которыми были утыканы горы, отчего ад преобразился и разом исчезли следы былого упадка.

Цветы дурмана мгновенно засохли. Как некогда в прошлом, кипело масло, ножи были острыми, а огонь — жарким; как некогда в прошлом, грешники стонали и вертелись так, что им было недосуг даже вспомнить прекрасный, но потерянный ад.

Это было заслугой людей, но она обернулась бедой для грешников...

Друг мой, да ты не веришь мне. Что ж, ведь ты — человек. Ну, а я пойду, поищу диких зверей и злых чертей...

Июнь 1925 г.

НАДГРОБНАЯ НАДПИСЬ

Мне снится, будто я стою перед могильной плитой и читаю вырезанные на ней слова. Похоже, что плита эта сделана из песчаника, она сильно обломана, поросла мхом, и на ней сохранились только отдельные фразы:

«...на грани громких песен и буйного жара — холодно; в небе — бездонная пропасть; в глазах — пустота; спасение там, где нет надежды...»,

«...бродячая душа превратилась в большую змею с ядовитым жалом. Не сумев ужалить человека, она ужалила себя и потому погибла...»,

«...ступай прочь!..»

Обогнув плиту, я увидел одинокую могилу; там не росли ни деревья, ни травы, могила давно провалилась. Сквозь широкий пролом я разглядел труп с разъятой грудью, из которой было

извлечено сердце. Лицо покойника не выражало ни радости, ни печали, оно было серым, точно окутанное дымом.

Изумленный и напуганный, я хотел уйти, но тут заметил обрывки текста и на теневой стороне могильной плиты:

«..вырви сердце и съешь, если хочешь узнать его настоящий вкус. Но рана болит нестерпимо, как тут узнаешь его настоящий вкус?..»,

«...когда уляжется боль, съешь его не спеша. Но сердце уже истлело, как же узнаешь его настоящий вкус?..»,

«...отвечай! А не то ступай прочь!..»

Я хотел уйти. Но труп в могиле уже поднялся и сел; губы его оставались неподвижными, но он произнес:

— Когда я обращусь в прах, ты увидишь мою улыбку!

Я бросился бежать, не смея обернуться, боясь, что он гонится за мною.

Июнь 1925 г.

ДРОЖЬ В ПРЕДЧУВСТВИИ ГИБЕЛИ

Мне снится, будто я вижу сон. Где я — не знаю, но передо мной комната в маленьком, наглухо закрытом домике, глубокой ночью. И еще я вижу на крыше густую поросль мха — «черепичной сосенки».

Абажур лампы на дощатом столе только что протерт, и поэтому в комнате очень светло. В ярком свете на рваной кушетке кто-то взлохмаченный, жестокий и грубый, под его тушей — слабенькое тельце. Оно дрожит и от голода, и от боли, и от страха, и от стыда, и от радости. Дряблая, но еще гладкая кожа лоснится; на иссиня-бледных щеках легкий румянец, будто по свинцу размазаны румяна.

Огонь в лампе тоже сжимается от страха. На востоке уже светлеет.

Но в воздухе еще колышутся волны голода, боли, страха, стыда, радости...

— Мама! — кричит разбуженная скрипом двери девочка лет двух, которая лежит в углу комнаты на полу, завернутая в травяную циновку.

— Рано еще! Спи! — отзывается испуганная мать.

— Мама! Я есть хочу, живот болит. Ты дашь мне сегодня поесть?

— Дам. Вот придет торговец лепешками, и мама купит тебе.— Довольная, она еще крепче сжимает в кулаке серебряную монетку, ее слабый голос печально дрожит. Она подходит к дочери, отгибает циновку, берет девочку на руки и переносит ее на рваную кушетку.

— Рано еще, спи! — С этими словами она поднимает глаза и, не в силах что-либо еще сказать, смотрит на небо через прохудившуюся старую крышу.

Вдруг в воздухе вырастает еще одна волна, сталкивается с теми, прежними волнами, кружится, образуя водоворот, увлекая все, и меня в том числе, в пучину, где невозможно дышать.

Я со стоном просыпаюсь. За окном разлит серебряный свет луны, и до рассвета, видимо, еще далеко.

Где я — не знаю, но передо мной комната в маленьком, наглухо закрытом домике, глубокой ночью, и я догадываюсь, что это продолжается прерванный сон, только много лет спустя. В доме и вокруг него прибрано. В комнате — молодые супруги с целым выводком ребятишек. Все они, исполненные презрения и злобы, стоят перед состарившейся женщиной.

— Из-за тебя нам стыдно смотреть на людей! — раздраженно говорит муж.— Ты считаешь, что вырастила дочь, а на самом деле погубила ее! Лучше бы ей маленькой умереть с голоду!

— Из-за тебя я всю жизнь терплю оскорбления! — подхватывает жена.

— Теперь ты и меня хочешь впутать! — говорит муж.

— И их тоже! — кричит жена, показывая на детей.

Тут самый младший, играя сухой камышинкой, взмахивает ею в воздухе, будто саблей, и громко кричит:

— Ш-ша!

Уголки губ у старой женщины судорожно подергиваются, на мгновенье ею овладевает страх, потом все проходит, и вскоре она поднимается и встает, похожая на каменное изваяние, от нее остались кожа да кости. Она распахивает двери и решительным шагом уходит в темную ночь, оставляя позади холодную брань и ядовитые насмешки.

Она идет и идет сквозь темную ночь, пока не приходит в бескрайнюю дикую степь. Теперь вокруг — только эта дикая степь, а над головой — высокое небо, в котором не пролетит ни бабочка, ни птица. Обнаженная, стоит она, словно каменное изваяние, посреди дикой степи, и за какой-то миг перед ее глазами проходит все, что осталось в прошлом: и голод, и боль, и страх,

и стыд, и радость, а потом — дрожь; упреки в том, что она и погубила, и опозорила, и вытывает, а потом — судорога; это «ш-ша», а потом — безразличие... Затем в одно мгновенье все сливается воедино: привязанность и ссора, любовь и ненависть, заботы о воспитании и жестокая неблагодарность, молитвы о счастье и проклятия... Она простирает руки к небу, и с ее губ срываются какие-то и человеческие, и звериные, неведомые людям речи, непередаваемые словами.

Пока она произносит их, она дрожит всем телом, величественным, словно каменное изваяние, но уже вконец разбитым и никому не нужным. Эта дрожь — точно рыбьи чешуйки, которые то поднимаются, то пропадают в воде, кипящей на жарком огне. И воздух вокруг тоже содрогается, как содрогаются в бурю морские волны.

Потом она поднимает к небу глаза, обрывает свои бессвязные речи, умолкает и только дрожит, излучая сияние, похожее на солнечное, отчего волны в воздухе вихрем кружатся, словно подхваченные смерчем, и уносятся в бескрайнюю дикую степь.

Мне приснился кошмар. Я знаю: это оттого, что я положил руки на грудь; во сне, напрягая все свои силы, я старался сбросить эти удивительно тяжелые руки.

Июнь 1925 г.

СУЖДЕНИЕ

Мне снится, будто я сижу в классе начальной школы и готовлюсь писать сочинение. Я обращаюсь к учителю и спрашиваю его, как выводится суждение о предмете.

— Тяжелая задача! — говорит учитель и бросает на меня взгляд поверх очков.— Я расскажу тебе историю. В одной семье родился мальчик, и радость всех была неописуема. Когда ребенку исполнился месяц, его вынесли к гостям: надо думать, что родители ждали добрых предсказаний для сына.

«Придет время, и этот мальчик будет богат»,— сказал один и получил благодарность.

«Придет время, и этот мальчик станет чиновником»,— сказал другой и в ответ услышал слова глубокой признательности.

«Придет время, и этот мальчик умрет»,— сказал третий и был больно избит всеми собравшимися.

Говоривший о смерти сказал о неизбежном, говорившие же о богатстве и знатности, возможно, солгали. Но тот, кто солгал, получил благодарность, тот же, кто сказал о неизбежном, подвергся побоям. А ты...

— А я не хочу лгать людям и не хочу, чтобы меня били. Что же должен я говорить, учитель?

— Тогда тебе следует говорить так: «Ах, этот ребенок! Нет, вы только взгляните! Ну до чего же... А-ах! Ах-ах-ах!»

Июль 1925 г.

ПОСЛЕ СМЕРТИ

Мне снится, будто я умер на дороге.

Где эта дорога, как я попал сюда, как умер,— ничего этого я не знаю. В общем, когда я понял, что умер, то лежал там уже мертвый.

Слышно, как трещат сороки, как вторят им своим карканьем вороны. Воздух прозрачный, чистый, только чуть-чуть пахнет землей, наверное, сейчас светает. Я хочу открыть глаза, но веки совершенно неподвижны, словно это вовсе не мои глаза; пробую поднять руку, но и она будто чужая.

Внезапно страх острой стрелой вонзается мне в сердце. Както при жизни в голову мне пришла забавная мысль: если бы смерть означала лишь паралич двигательных нервов и не касалась сознания, это было бы еще страшнее, чем полная смерть. Кто знал, что мои предположения подтвердятся и я на себе это испытаю.

Слышатся шаги — кто-то идет по дороге. У самой моей головы проезжает тачка, тяжело груженная; ее скрип терзает душу и вызывает зубную боль. Я чувствую, как глаза наполняет багровый свет — ясно, что взошло солнце. Значит, я лежу лицом к востоку. Но это не имеет никакого значения. Доносятся приглушенные голоса — явились любители поглазеть. Они подняли желтую пыль, которая попадает мне в ноздри, хочется чихнуть, но я так и не чихаю, ограничиваясь лишь этим намерением.

Снова шаги, они замирают совсем рядом; все чаще доносится шепот: собирается все больше и больше зевак. Мне вдруг хочется послушать их суждения. Но тут я вспоминаю сказанные мною при жизни слова о том, что любая критика не стоит и

усмешки. Видимо, эти слова были неискренними: не успел я умереть, как сразу обнаружилась их несостоятельность. Все же я решаю послушать, но понять ничего не могу, только улавливаю:

— Умер?..

— У-у. Это...

— Гм!..

— Тц... Ах!

Я очень доволен тем, что так и не услышал ни одного знакомого голоса. А не то, пожалуй, мог бы огорчить кого-нибудь из знакомых, или порадовать, или подбросить им пищи для послеобеденной болтовни, на которую ушла бы уйма драгоценного времени. В любом случае я чувствовал бы себя виноватым. А сейчас никто из знакомых меня не видит, значит, никому не будет причинено беспокойство. Вот и прекрасно. В общем, можно считать, что я ни перед кем не виноват!

Кажется, муравей ползет у меня по спине и щекочет. Но я не могу даже пошевелиться, а следовательно, и избавиться от него. Случись это в обычное время, достаточно было бы просто повернуться, чтобы он убрался. Вот и по ноге ползет муравей. Что вы делаете? Вы, букашки!

Дело, однако, принимает еще худший оборот: раздается жужжание и на щеку мне садится зеленая муха, делает несколько шажков, опять взлетает и щекочет хоботком кончик моего носа. «Достопочтенная,— думаю я с досадой,— я не какой-нибудь там великий человек, и вы не найдете на мне материала для вашей статьи...» Думаю, а сказать не могу. Она же тем временем сбегает с кончика носа и холодным хоботком щекочет мне губы. Как знать, быть может, это выражение любви. Еще несколько мух собрались на бровях. Стоит им шевельнуться, как сразу приходят в движение волоски. Это так меня раздражает, что я теряю терпение, окончательно теряю терпение.

Вдруг — порыв ветра, сверху меня чем-то накрывают, и мухи тотчас разлетаются, говоря на прощание:

— Ж-ж-жаль!

От гнева я едва не лишаюсь сознания.

Меня приводит в чувство глухой стук сбрасываемых досок, от которого дрожит земля. Я ощущаю на лбу прикосновение тростниковой циновки. Но циновку откидывают, и я тотчас погружаюсь в тепло солнечных лучей. Потом слышу, как кто-то говорит:

— И зачем ему понадобилось умирать здесь?..

Голос звучит совсем близко, его обладатель, видимо, наклонился надо мною. Но где же умирать человеку? Прежде я полагал, что если на земле человек лишен права жить, как ему хочется, то, уж во всяком случае, он имеет право умереть, как ему хочется. Только теперь я понял, что это далеко не так, что очень трудно угодить общественному мнению. Жаль, что у меня давно уже нет ни бумаги, ни кисти; впрочем, я ведь все равно не могу писать, а если бы и мог, то негде было бы опубликовать написанное. Придется все бросить.

Кто-то поднимает меня, кто — не знаю. Слышится стук ножен — оказывается, здесь еще и полицейский, здесь, где «я не должен был умирать». Меня переворачивают с боку на бок, то поднимают, то опускают. Хлопнула крышка, слышно, как заколачивают гвозди. Странно — всего два гвоздя. Неужели здесь заколачивают гробы всего двумя гвоздями?

Теперь меня с шести сторон окружают стены, да еще крышка прибита гвоздями. Это уже полный конец. «Увы, как прискорбно!..» — думаю я.

Ну и духота!

Зато мне стало куда спокойнее, чем раньше, не знаю, правда, зарыли меня или нет. Руки тыльной стороной касаются тростниковой циновки, и этот саван не кажется мне таким уж отвратительным. Досадно только, что я не знаю, кто заплатил за мои похороны! Но до чего противны эти обряжавшие меня людишки! Рубашка собралась складками на спине, а они и не подумали ее расправить, и теперь она мне очень мешает. Вы решили, что покойнику все равно? Что можно делать все кое-как? Ха-ха!

Мне кажется, будто тело мое сейчас гораздо тяжелее, чем было при жизни, потому любая складка причиняет столько беспокойства. Но к этому, пожалуй, можно скоро привыкнуть. Наверное, когда я начну гнить, то никаких серьезных неудобств уже не будет. А пока лучше спокойно поразмышлять в тишине.

— Как дела? Вы умерли?

Какой-то очень знакомый голос. Я открываю глаза и вижу маленького приказчика из букинистической лавки «Процветающая древность». Мы не виделись с ним, наверное, больше двадцати лет, но выглядит он, как прежде. Я опять смотрю на обступившие меня с шести сторон стены, очень грубые и очень шершавые,— ясно, не удосужились даже как следует выстругать доски.

— Это ничего, пустяки,— говорит он, раскрывая темно-синюю матерчатую обложку.— Вот я принес вам минское издание

«Подлинная история А-кью»
Ку Бин-син

«Гунъянчжуань», отпечатанное в годы правления под девизом Цзя-цзин, с черной полосой на обрезе. Оставьте себе, это...

— Что! — в изумлении уставился я на него.— Уж не рехнулся ли? Неужели ты думаешь, что в моем положении я стану смотреть какое-то там минское издание?..

— Да вы взгляните только, ведь это не трудно.

Я спешу закрыть глаза, потому что он мне надоел. Немного погодя я уже ничего не слышу — наверное, он ушел. По шее у меня, кажется, опять ползет муравей, потом добирается до лица и делает петлю вокруг глазницы.

Вопреки всем ожиданиям, человеческие мысли и после смерти могут меняться. Неведомая сила вдруг нарушает покой моего сердца, и перед глазами возникает множество видений. Друзья желают мне радости и покоя, враги пророчат гибель. А я продолжаю жить — пусть не в радости, пусть не в покое, но я не гибну, а живу — ни так и ни эдак,— живу, и все, не могу оправдать надежд ни друзей, ни врагов. А вот теперь, наконец, умер, исчез, как тень, даже врагам не дал знать, не захотел доставить им даже пустячного удовольствия, которое к тому же самому мне ничего не стоило бы.

Я чувствую, что готов заплакать от радости. Это будут, наверное, первые слезы после моей кончины.

Но оказывается, у меня нет слез; вижу только перед глазами, будто сверкнули искры, и вот я уже поднимаюсь и сажусь.

Июль 1925 г.

ТАКОЙ БОЕЦ

Нужно, чтобы у нас был такой боец.

Не такой невежественный, как зуав, с поблескивающей за спиной винтовкой, и не такой изможденный, как китайский солдат зеленознаменных войск, с маузером у пояса.

Он не ищет чудодейственной защиты у панциря из бычьей кожи и шлема из негодного железа. Он полагается лишь на са-

мого себя, в руке у него, как у дикаря, только копье, всегда готовое к броску.

Вот он проходит сквозь ряды бесплотных существ; все, кого он встречает, кивают ему головой. Он знает, что каждый такой кивок — оружие врага, оружие, которым убивают, не оставляя следов крови. От него погибло много бойцов. Оно разит, как артиллерийский снаряд, перед которым оказываются бессильными даже самые отчаянные смельчаки.

Над головами бесплотных существ полощутся стяги с вышитыми на них громкими титулами: «филантроп», «ученый», «литератор», «старший в семье», «юноша», «эстет», «благородный муж»... Ниже — всевозможные мантии с вышитыми на них красивыми словами: «ученость», «мораль», «чистота национального духа», «воля народа», «логика», «общественный долг», «цивилизация Востока»...

Но он поднимает копье.

Все они в один голос клянутся ему, что сердце у них, не в пример другим людям, находится в самом центре груди. Каждый повесил на грудь медное зеркальце-амулет, в знак их глубокой веры в то, что сердце у них — в самом центре груди.

Но он поднимает копье.

Он улыбается, бросает копье и попадает им прямо в сердце.

Все они, сникнув, валятся на землю. Но оказывается, это только мантии, под ними — пусто. Бесплотные существа успели скрыться и торжествуют победу, ибо теперь он стал преступником, заколовшим филантропа и ему подобных.

Но он поднимает копье.

Он широко шагает сквозь ряды бесплотных существ, снова встречает такие же кивки, видит всевозможные стяги и мантии.

Но он поднимает копье.

Наконец, он старится и умирает среди бесплотных существ. Теперь он уже не боец, а бесплотные существа — победители.

Теперь уже никто не слышит клича войны: великий мир.

Великий мир...

Но он поднимает копье.

Декабрь 1925 г.

Раб вечно ищет, кому бы пожаловаться. Только этого он хочет и только на это способен. Однажды он встретил умного.

— Господин! — сказал он горестно, и слезы тонкими струйками побежали у него из глаз.— Ты же знаешь. Я живу поистине нечеловеческой жизнью. Ем раз в день, и то не всегда, причем одну только гаоляновую шелуху. Даже свиньи и собаки не станут ее есть, да и достается мне всего-навсего маленькая чашка...

— Да, этому действительно можно посочувствовать,— отозвался умный, преисполненный жалости.

— Еще бы! — обрадовался раб.— Но работаю я день и ночь, не зная отдыха: рано утром ношу воду, вечером варю кашу, до полудня бегаю по лавкам, ночью мелю муку, в ясные дни стираю, в дождь держу над хозяином зонт, зимой разжигаю керосиновую печь, а летом обмахиваю хозяина веером. В полночь я должен варить «серебряные ушки» и прислуживать, пока хозяин занят игрой, но из выигрыша мне не перепадает ни гроша, а случается, еще и плеткой угостят...

— Ай-ай,— вздохнул умный, и глаза у него покраснели. Казалось, он вот-вот заплачет.

— Господин! Так я больше не могу. Я должен что-то придумать. Но как же мне поступить?

— Я думаю, что жизнь твоя все-таки переменится к лучшему...

— Правда? Только об этом я и мечтаю. Вот я пожаловался тебе, господин, на свое горе, встретил у тебя сочувствие и утешение, и мне стало легче. Видно, есть еще справедливость на свете...

Но не прошло и нескольких дней, как он снова потерял покой и опять стал искать, кому бы пожаловаться на свое горе.

— Господин! — сказал он, обливаясь слезами.— Ты же знаешь. Поистине, я живу хуже, чем в свином хлеву. Хозяин совсем не считает меня за человека. К своей собачонке он относится в тысячу раз лучше...

— Негодяй! — закричал человек так, что раб перепугался. Тот человек был дурак.

— Господин, я живу в маленькой развалившейся каморке, сырой и темной, в ней полным-полно клопов — пока спишь, они могут совсем тебя заесть. Вонь такая, что в нос бьет, нет ни единого окошка...

— И ты не можешь заставить хозяина прорубить окно?

— Как же можно?..

— Тогда веди меня с собой, посмотрим!

Дурак пришел вместе с рабом к его жилищу и сразу же начал пробивать глиняную стену.

— Господин! Что ты делаешь? — спросил перепуганный раб.

— Прорубаю для тебя окно.

— Нельзя! Хозяин станет ругаться!

— Ну и пусть! — Дурак продолжал долбить стену.

— Караул! Разбойник ломает наш дом! Скорей сюда! А не то он пробьет дыру!..— завопил раб сквозь слезы и принялся кататься по земле.

Выбежали рабы, и дурака прогнали.

На крики, не спеша, вышел наконец хозяин.

— Какой-то разбойник хотел разрушить наш дом, я первый закричал, и мы все вместе прогнали его,— почтительно доложил раб, торжествуя победу.

— Молодец,— похвалил его хозяин.

В тот день многие приходили с участливыми расспросами, пришел и умный.

— Господин, на этот раз я отличился, и хозяин похвалил меня. Ты же говорил, что жизнь моя переменится к лучшему. И правда, то было зоркое предвидение...— произнес раб с радостью, будто окрыленный надеждой.

— Еще бы,— ответил умный, который, казалось, тоже был рад за него.

Декабрь 1925 г.

ЗАСУШЕННЫЙ ЛИСТ

При свете лампы читаю «Яньмэньцзи» и вдруг нахожу меж страниц засушенный кленовый лист.

Это рождает у меня воспоминания о поздней осени прошлого года. Обильный иней выпадал по ночам, на многих деревьях увяла листва, покрылся багрянцем маленький клен перед домом. Я обошел деревце, пристально всматриваясь в разноцветные листья; когда они были зелеными, я никогда не обращал на

них внимания. Они еще не все покраснели, больше всего было бледно-вишневых. У некоторых на багряно-красной поверхности сохранились темно-зеленые пятна. Только один лист был чуточку источен червями, по краям у него образовалась черная кайма. В пестроте красных, желтых, зеленых листьев он казался блестящим зрачком, который пристально глядел на людей. Я подумал: «А ведь это больной лист!» Я сорвал его и вложил в только что купленную книгу «Яньмэньцзи». Наверное, мне хотелось, чтобы этот источенный червями и уже готовый упасть листок хотя бы на время сохранил свою пеструю окраску и не был унесен ветром вместе с другими опавшими листьями.

И вот сегодня ночью он, будто восковой, лежит передо мною. Зрачок этот уже не блестит, как в прошлом году. Пройдет еще несколько лет, его прежний цвет сотрется у меня в памяти, и, пожалуй, я даже забуду, зачем он был вложен в книгу. Своей пестрой окраской этот больной лист, наверное, лишь очень короткое время сможет напоминать о себе. Впрочем, запомнить его зеленым и здоровым было бы еще труднее. Вы только взгляните в окно: даже деревья, не боящиеся холода, давно стоят голые, а о клене и говорить нечего. Глубокой осенью, быть может, опять были больные листья, похожие на тот, прошлогодний, да жаль только, что в нынешнем году у меня не нашлось времени, чтобы полюбоваться осенними деревьями.

Декабрь 1925 г.

СРЕДИ ПОБЛЕКШИХ ПЯТЕН КРОВИ

Памяти мертвых, живых и еще не рожденных.

Нынешний творец все-таки трус.

Он исподтишка переделывает землю и небо, но не осмеливается уничтожить целиком земной шар; он исподтишка старит и ведет к смерти живые существа, но не осмеливается вечно хранить их трупы; он исподтишка заставляет людей проливать кровь, но не смеет сделать так, чтобы цвет крови навеки оставался ярким; он исподтишка обрекает людей на страдания, но не смеет сделать так, чтобы они всегда помнили о своих страданиях.

Исключительно ради подобных ему — трусов среди людей — он придумал возводить на развалинах и заброшенных мо-

гилах роскошные дворцы, а с помощью времени смывать горести и следы крови. Каждый день он наливает в бокал подслащенного зелья — не слишком много и не слишком мало, ровно столько, чтобы слегка захмелеть, и подносит людям, и те, что выпьют этого зелья, могут и плакать, и петь, быть и трезвыми, и пьяными, могут сохранять ясность ума или впасть в забытье, желать и жизни и смерти. Но ему нужно, чтобы все жаждали жизни; ведь он еще не уничтожил мужества в людях.

Развалины и заброшенные могилы рассеяны по всей земле, на них — поблекшие пятна крови, и люди, блуждая меж ними, пережевывают свое беспредельное горе. Но они не желают расстаться с ним, считая, что горе все-таки лучше пустоты. Каждый причисляет себя к «опозоренным небожителям», оправдывая тем свой горький удел и с трепетом ожидая новых несчастий. Новое — вот что их пугает и побуждает жадно искать встречи друг с другом.

Все они — благонадежные подданные творца. А ему только этого и нужно.

Но вот среди людей появляется мятежный храбрец. Он стоит распрямившись и окидывает взором уже преображенные и еще сохранившиеся развалины и заброшенные могилы. Он помнит все долгие и тяжкие страдания, смотрит на неоднократно пролитую здесь запекшуюся кровь и глубоко понимает всех мертвых, живых, еще не рожденных. Он разгадал эту комедию сотворения мира, он хочет подняться, чтобы воскресить людей или уничтожить их — этих благонадежных подданных творца.

Творец труслив, ему стыдно, вот он и прячется. И тогда храбрец видит, как преображаются и земля, и небо.

Апрель 1926 г.

ПРОБУЖДЕНИЕ

Самолеты, выполняя свою миссию — сбрасывать бомбы, каждое утро, словно школьники, которые идут на урок, появляются над Пекином. Всякий раз, когда я слышу, как моторы разрывают воздух, я чувствую какое-то легкое напряжение. Наблюдая атаку «смерти», я в то же время остро ощущаю существование «жизни».

После одного или двух глухих взрывов самолеты, жужжа и гудя, медленно улетают прочь. Наверное, есть убитые и раненые, но Поднебесная кажется более спокойной, чем обычно. Нежные листья тополя за окном отливают темным золотом в солнечных лучах; еще пышнее, чем вчера, расцвела слива. Собрав разбросанные по всей кровати газеты, я смахиваю с письменного стола серую пыль, накопившуюся за ночь, и в моем маленьком квадратном кабинете опять, как говорится, «и светло, и чисто»...

Видимо, не без причины я начинаю править рукописи молодых авторов, скопившиеся у меня здесь. Хочется во всем навести порядок. Я смотрю на даты произведений, и эти юноши, не признающие украшательства, один за другим возникают передо мной. Они такие хрупкие, чистые, искренние. А как они страдали, как стонали, гневались и наконец огрубели, милые мои юноши.

Да, души их, исхлестанные песчаным вихрем, огрубели, но это человеческие души, я люблю их и такими. Я хочу поцеловать их, эти души, огрубевшие и кровоточащие, бесформенные и бесцветные. Где-то в далеких прекрасных садах пышно цветут редкостные цветы, праздно бродят тихие румяные девушки, курлыкает журавль, клубятся белые облака... Все это, конечно, трогает человеческую душу, но я всегда помню, что живу среди людей.

Мне вспоминается один случай. Два или три года тому назад в Пекинском университете ко мне в преподавательскую зашел незнакомый юноша, молча передал мне пакет и сразу же ушел. Я развернул пакет — там оказался номер «Низкой травы». В молчании юноши я понял многое. О, каким роскошным был этот подарок! Жаль, что «Низкая трава» больше не выходит. Похоже, она была лишь предтечей «Потонувшего колокола». Этот «Потонувший колокол» одиноко гудит в песчаном вихре, глубоко на дне человеческого моря.

Дикий репей, надломленный и совсем почти загубленный, вновь пытается дать маленький цветок. Помнится мне, взволнованный этим, Толстой написал целую повесть. А в безводной пустыне деревья и травы изо всех сил всасывают корнями влагу из источников, скрытых глубоко под землей, и появляются бирюзово-зеленые заросли; конечно, деревья и травы делают это во имя собственной «жизни», но тем самым невольно радуют усталых, мучимых жаждой путников, которые находят здесь временный приют и отдых. Вот что способно вызвать признательность и в то же время навеять тоску!

В эссе «Без названия», помещенном в «Потонувшем колоколе» вместо редакторского извещения, говорится: «Некто сказал: наше общество — пустыня. Если это и в самом деле так, то здесь, как в пустыне, немного дико, зато спокойно; немного одиноко, зато ощущаешь безбрежные дали. Где еще все так хаотично, так уныло и так переменчиво, как здесь?!

Да, это так. Передо мною юные души. Они уже огрубели или, быть может, вот-вот огрубеют, но я люблю их, люблю эти души, истекающие кровью и молча переносящие боль, потому что они помогают мне чувствовать, что я живу среди людей — да, среди людей.

Пока я сижу и правлю рукописи, вечернее солнце спокойно садится на западе, и теперь я продолжаю работу при свете лампы. Юность самых разных людей проносится передо мною. Со всех сторон меня обступают сумерки. Усталый, я беру сигарету и, думая о чем-то совсем постороннем, тихо закрываю глаза. Я вижу долгий, долгий сон. Вдруг просыпаюсь. Вокруг все так же сумрачно. В недвижном воздухе плывет дымовой узор, похожий на летние облачка, и постепенно начинает обретать какие-то причудливые очертания.

Апрель 1926 г.

СТАРЫЕ ЛЕГЕНДЫ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

ПРЕДИСЛОВИЕ

От начала работы над этим небольшим сборником до ее завершения прошло довольно много времени — целых тринадцать лет.

Первый рассказ «Починка неба» — первоначальное его название «Гора Бучжоу» — был написан еще зимой 1922 года. Я хотел тогда сочинить несколько рассказов на древние и на современные темы, и «Гора Бучжоу», где я использовал легенду о том, как Нюй-ва, расплавив камни, починила небо, была первой попыткой в этом роде. Поначалу я был настроен весьма серьезно: вооружившись теорией Фрейда, я намеревался проследить — на примере сотворения человека и возникновения литературы — истоки творчества. Но вышло так, что в самый разгар работы я отложил кисть, чтобы просмотреть газету, и, на свою беду, наткнулся на чью-то — уже не помню чью — статью с критикой «Аромата орхидеи» Ван Цзин-чжи: критик слезно умолял молодежь никогда не писать подобных стихов. Его нелепые обвинения настроили меня на веселый лад, и, когда я вернулся к прерванному рассказу, уже как-то само собой получилось, что под ногами у Нюй-ва появился человечек в древнем одеянии. Так совершилось мое падение — от серьезного к смешному. А смех — великий враг творчества, вот почему я был очень недоволен собой.

Я решил не писать больше такого рода вещей и, подготавливая к печати свой «Клич», поместил «Гору Бучжоу» в самом конце сборника, в виде приложения, считая ее, так сказать, и началом и финалом.

В те времена наш критик, господин Чэн Фан-у, встав под знамя «приключений души», водруженное над вратами «Творчества», энергично орудовал своим топором. Обвинив «Клич» в «вульгарности», он прикончил его несколькими ударами и только «Гору Бучжоу» объявил шедевром — хотя, разумеется, и не без изъянов. Скажу откровенно: именно по этой самой причине я не только не уверовал в доводы этого смельчака, но и проникся к нему презрением. Я вовсе не чураюсь «вульгарности», она мне даже нравится; что же касается рассказов на исторические темы, то куда труднее, на мой взгляд, писать сочинения, опирающиеся на исследования, сочинения, где каждое слово должно быть подтверждено источниками,— даже если кое-кто и именует их в насмешку «профессорскими рассказами»,— чем те не требующие особого умения опусы, которые можно быстро изготавливать, нанося по своему вкусу ретушь на более чем скромный исторический фундамент. К тому же, как «рыба знает, какую воду пьет», так и я, грубо говоря, сам знаю, что у меня болит: вторая половина «Горы Бучжоу» написана небрежно, ее никак не назовешь шедевром. Читатели, поверив на слово этому «скитальцу», оказались бы обманутыми, а я — обманщиком; вот почему, подготавливая «Клич» ко второму изданию, я убрал этот рассказ; так я расквитался с критиком, ответив вежливым ударом на его удар по голове,— и с той поры «вульгарность» царит в моем сборнике безраздельно.

Осенью 1926 года я жил в Амое, один, в каменном доме у моря; я перелистывал старые книги, вокруг не было ни души, и на сердце было пусто. Но пекинское общество «Без названия» одолевало меня письмами, требуя статей для журнала. О современности в то время думать не хотелось; я вспомнил прошлое и написал десяток очерков под названием «Утренние цветы, собранные вечером». Я продолжал также собирать старинные предания для задуманных мною восьми «Старых легенд в новой редакции». Но едва я успел написать «Меч» (называвшийся первоначально «Мэй Цзянь-чи») и «Побег на луну», как мне самому пришлось бежать в Кантон, оставив замысел незавершенным. Впоследствии, по мере поступления материала, я понемногу добавлял новые наброски, не занимаясь их отделкой.

Теперь книга наконец готова. Большую ее часть составляют все те же наброски, недостойные называться тем, что в «общих курсах литературы» именуется рассказами. Сюжеты отчасти следуют старым книгам, порой же представляют собой свободную импровизацию. При этом, относясь к древним с меньшим уважением, чем к современникам, я не сумел, в ряде

случаев, избежать иронии. За прошедшие тринадцать лет я так и не вырос как писатель и пишу, как вы сможете убедиться, все в той же старой манере «Горы Бучжоу»; однако поскольку описанные мною древние не стали от этого мертвее, чем они есть, то, может быть, и такая манера имеет право на существование.

Декабрь 1935 г.

ПОЧИНКА НЕБА

I

Нюй-ва проснулась внезапно.

По-видимому, что-то разбудило ее в то время, когда ей снился сон; какой именно сон, она уже не помнила, и ощущала лишь досаду, словно чего-то ей не хватало, а что-то было в избытке. Мягкое, теплое дуновение ветра разносило переполнявшую ее энергию по всей вселенной.

Она протерла глаза.

В розовом небе плавали извилистые полосы малахитовых облаков, а меж ними, то зажигаясь, то угасая, мигали звезды. Из кроваво-красного облака на краю неба во все стороны били лучи солнца, напоминавшего жидкий золотой шар, обернутый в первобытную магму; с противоположной стороны висел белый и холодный, словно чугунный, месяц. Нюй-ва, однако, не заметила, какое из светил заходило, а какое восходило.

На земле все было покрыто молодой зеленью, даже редко обновляющие хвою сосны и кипарисы казались необычно свежими. Крупные пестрые цветы издали казались радужной дымкой, и лишь на близком расстоянии можно было различить оттенки — персиковый, синий, белый.

— Ох, что-то мне скучно сегодня, как никогда! — подумала Нюй-ва и тут же порывисто встала, простерла к небу свои необыкновенно округлые, налитые силой руки и зевнула. Небо сразу потускнело, приобрело таинственный красноватый цвет плоти, и на какое-то время Нюй-ва перестала понимать, где она находится.

По залитому красноватым цветом плоти пространству она дошла до моря; контуры ее тела растворились в бледно-розовых

лучах, и осталась лишь густо-белая полоса. Было удивительно, что волны вздымаются и опускаются в такой строгой размеренности, лишь брызги их долетали до Нюй-ва. Белое отражение колыхалось в морской воде, отчего казалось, будто части тела Нюй-ва вот-вот разбегутся в разные стороны, однако Нюй-ва ничего этого не видела; сама того не замечая, она опустилась на колено, зачерпнула пригоршню мокрой грязи, помяла ее — и в ее ладонях появилось очень похожее на нее маленькое существо.

— Ого! — не сдержала Нюй-ва изумления; она догадывалась, конечно, что это дело ее рук, но в то же время думала — а не лежало ли это существо и раньше в грязи, подобно клубню батата?

Все это не только удивило ее, но и обрадовало, и она продолжала свое дело с небывалой смелостью и подъемом, дыхание ее стало тяжелым, пот стекал ручейками.

— Нга, нга! — вдруг закричали маленькие существа.

— Ого! — снова удивилась Нюй-ва и почувствовала, что из каждой поры ее тела что-то рвется наружу и это «что-то» вскоре окутало землю молочно-белой дымкой. Тогда она успокоилась, а маленькие существа притихли.

Вдруг они заговорили с Нюй-ва:

— Акон, агон!

— Эх вы, милые малышки! — Она стала присматриваться к ним и щекотать испачканным в грязи пальцем их полненькие, белые личики.

— Уву, а-ха-ха! — рассмеялись они. Впервые, с тех пор как существуют небо и земля, Нюй-ва услышала смех, и впервые же сама стала безудержно хохотать.

Она ласкала их и одновременно продолжала делать новых, которые сразу же начинали вертеться вокруг нее. Но мало-помалу они отходили все дальше, говорили все громче, она постепенно перестала их понимать и лишь слышала шум в ушах, от которого разболелась голова.

Все это длилось так долго, что радость у Нюй-ва давно сменилась усталостью. Ее дыхание было уже на исходе, пот иссяк, еще сильней стала болеть голова, глаза смежались, щеки пылали жаром; теряя терпение, она перестала интересоваться своим занятием. Однако по-прежнему, сама того не замечая, она продолжала лепить, не давая себе отдыха.

Наконец ломота в пояснице и в ногах заставила ее подняться и прислониться к утесу, который казался более гладким, чем остальные; над собой она видела небо, покрытое, словно рыбьей чешуей, рядами белых облаков, внизу мрачно темнела

густая зелень. Сама не понимая почему, она решила, что все вокруг ей не нравится, и одним движением руки вырвала гибкий ствол глицинии, тянувшейся из расщелины утеса куда-то к краю неба. Еще рывок — и глициния лежала на земле, усеяв ее фиолетовыми и белыми лепестками только что распустившихся, на редкость крупных бутонов.

Она опять дернула ствол — он перевернулся в мокрой грязи, брызги поднялись в воздух, а упав на землю, превратились в таких же маленьких существ, каких она делала до сих пор. Только теперь они в большинстве своем были малопривлекательны — нескладные, подслеповатые, с узенькими мордочками. Но ей было недосуг замечать эти подробности: вновь охваченная любопытством и нетерпением, к которому примешивалось озорство, она все быстрее и быстрее вращала глицинию. Покрытый мокрой грязью ствол катался по земле, как ошпаренная кипятком змея-медянка. Капли грязи дождем отлетали от ствола и уже в воздухе превращались в маленьких плаксивых существ, которые принимались ползать вокруг.

Почти теряя сознание, она тем не менее продолжала вращать ствол, но теперь уже ломило не только поясницу и ноги, руки тоже вконец обессилели. Нюй-ва пришлось присесть на корточки и положить голову на утес, так что ее черные, блестящие, как лак, волосы закрыли вершину. Чуть отдышавшись, она испустила вздох и смежила веки. Глициния выпала из ее рук и, словно умирая от усталости, лениво раскинулась по земле.

II

Трах!!!

От этого грохота, как бы возвещавшего крушение неба и земли, Нюй-ва внезапно проснулась и тут же покатилась куда-то на юго-восток. Она вытянула ноги, чтобы упереться во что-нибудь, но ничего не попадалось, тогда она поспешно ухватилась за один из утесов и перестала скользить.

Но тут она почувствовала, что сзади ей на голову и плечи льется вода, смешанная с песком и камнями, а когда попыталась обернуться, то сразу же набрала в рот и уши воды. Быстро опустив голову, она заметила, что земля дрожит. К счастью, дрожь как будто утихала; Нюй-ва подалась назад, уселась поудобнее и теперь могла вытереть лоб и глаза, чтобы получше рассмотреть, что же все-таки происходит.

Происходило нечто непонятное; повсюду водопадами стекала вода, а кое-где — видимо, в море — вздымались острые гребни волн. Ей оставалось лишь бесцельно ждать.

Но вот все вокруг успокоилось. Гребни волн не заливали вершин гор, и там, где раньше была суша, выступили каменные ребра. Обернувшись в сторону моря, она заметила несколько гор, которые быстро приближались, крутясь в водовороте волн. Боясь, как бы ей не поранило ноги, она остановила горы и заметила, что в ущельях прячется множество невиданных дотоле тварей.

Притянув поближе к себе несколько гор, она пригляделась повнимательнее и заметила, что земля вокруг этих созданий сплошь залита их блевотиной: казалось, будто в жидкой смеси из толченого металла и яшмы плавают пережеванные остатки сосновой хвои, рыбы и мяса. Мало-помалу эти создания стали приподнимать головы, и Нюй-ва, широко раскрывшая глаза, не без труда поняла наконец, что перед ней — сотворенные ею же самой маленькие существа. Очень странным было то, что они успели чем-то обмотать себя, а у некоторых на нижней половине лица выросла белоснежная шерсть, склеившаяся от морской воды наподобие остроконечного листа осины.

— Ой! — воскликнула она изумленно и испуганно; по телу у нее побежали мурашки, как если бы она прикоснулась к мохнатой гусенице.

— Спаси нас, о святейшая! — Один из тех, у кого на нижней части лица росла белая шерсть, поднял голову и заговорил, то и дело останавливаясь из-за приступов рвоты.— Спаси нас... Твои слуги... хотели стать небожителями... Вдруг случилась нежданная беда, сокрушились небо и земля... Но теперь, о счастье... встретилась ты, святейшая... Спаси, умоляем, нас, ничтожных муравьев... и даруй нам эликсир... эликсир бессмертия...

Вслед за этими словами он принялся как-то странно опускать и подымать голову.

В полном недоумении она переспросила:

— Что, что?

Тут уже многие раскрыли рты, не переставая блевать, заголосили вслед за первым «святейшая, святейшая», а потом стали совершать странные движения. Выведенная из себя поднявшимся шумом, Нюй-ва пожалела, что задержала эти горы и вот вынуждена терпеть такую напасть. Беспомощно оглядевшись вокруг, она заметила группу огромных черепах, резвившихся в море. Обрадованная, она взгромоздила на них горы и наказала: «Отвезите-ка их в надежное место!» Черепахи,

казалось, понимающе закивали и строем поплыли вдаль. Но в самом начале один из беловолосых от резкого толчка скатился с горы и не успел взобраться обратно, плавать он тоже не умел и теперь валялся на берегу моря, награждая себя тумаками. Нюй-ва даже пожалела его немного, но помогать ему не стала — у нее попросту не было времени на подобные пустяки.

Переведя дыхание и почувствовав, что от сердца отлегло, она осмотрелась вокруг: вода порядком спала, там и сям виднелись пространства земли и камней, между которыми таились все те же существа. Одни из них лежали недвижно, другие еще шевелились. Она успела заметить одного из них, уставившегося на нее ненавидящим взглядом; почти все его тело было закрыто железными пластинками, на лице были написаны разочарование и испуг.

— Что случилось? — спросила она.

— Увы, ниспослано Небом несчастье,— ответил тот печально и жалобно.— Чжуань-сюй, беспутный, восстал на моего государя. Государь мой поднял карающий меч Неба, и был бой близ стольного града, но не помогло Небо достойному, повернули наши воины вспять...

— Что, что? — Нюй-ва очень удивилась, ей никогда еще не доводилось слышать подобных речей.

— Наши воины повернули вспять, мой же государь ударился головой о гору Бучжоу, сиречь Некруглую, сломал небесную подпорку, разрушил земную основу и сам лишился жизни. Увы, воистину...

— Ладно, ладно, все равно ничего не понимаю.— Нюй-ва отвернулась, но тотчас же увидела другое лицо — довольное и гордое. Обладатель его тоже был с головы до ног покрыт железными пластинками.

— Что же все-таки случилось? — Поняв, что маленькие существа способны принимать самые разные обличья, Нюй-ва понадеялась услышать другой, более понятный ответ.

— Сердца у людей не те, что древле. Кан-хуэй, обуянный жадностью, позарился на Небесный трон, мой государь поднял карающий меч Неба, и был бой близ стольного града, и Небо помогло достойному. Неудержимо шли вперед наши воины, и был предан казни Кан-хуэй у горы Бучжоу.

— Как? — Она по-прежнему ничего не понимала.

— Сердца у людей не те, что древле...

— Довольно, опять ты за свое! — рассердилась Нюй-ва, краска залила ее лицо до самых ушей. Она быстро отвернулась

и после долгих поисков нашла существо, не покрытое железными пластинками. Этот был совсем голый, в кровоточащих порезах, и только чресла прикрывал кусок рваной материи. Этот кусок он только что снял с другого существа, лежавшего рядом без движения, и поспешно накинул на себя, причем лицо его сохраняло выражение полного безразличия.

Предположив, что это существо относится к иной разновидности, нежели обладатели железных пластинок, и что от него можно будет услышать более толковый ответ, она спросила:

— Что здесь случилось?

— Что здесь случилось? — сказал он, чуть приподняв голову.

— То, что тут стряслось...

— Что тут стряслось?

— Наверное, война? — Ей не оставалось ничего другого, как самой пуститься в догадки.

— Наверное, война? — тоже переспросил он.

Нюй-ва сделала глубокий вдох и, запрокинув голову, посмотрела ввысь. На небе зияла большая трещина, чрезвычайно глубокая и чрезвычайно широкая. Она постучала ногтем — звук был глухой, словно стучали по разбитой чашке. Нахмурившись, она внимательно осмотрелась вокруг, призадумалась, потом стряхнула воду с волос, откинула их за спину и, приободрившись, пошла рвать сухие стебли тростника; она приняла решение: «Сначала починю, а там видно будет».

С той поры она дни и ночи таскала тростник, и чем выше становилась груда стеблей, тем сильнее худела Нюй-ва, потому что все было не так, как прежде, ничто не радовало глаза и сердце — ни покосившееся и треснувшее небо вверху, ни зловонная и разбитая земля внизу.

Когда груда тростника достигла трещины, Нюй-ва отправилась искать синие камни. Поначалу она думала обойтись лишь камнями чистого темно-синего цвета — цвета неба, но таких камней на земле было не так уж много. К тому же большие горы ей было жалко, а когда она собирала осколки в людных местах, над ней насмехались, ругали ее, отнимали камни, а порой даже кусали руки. Пришлось ей добавлять белых камней, а когда их тоже не хватило, в ход пошли и красновато-желтые, и серовато-черные. Как бы то ни было, трещина в конце концов была кое-как заполнена; чтобы завершить дело, надо было лишь развести огонь и расплавить камни, однако Нюй-ва не стояла на ногах от усталости, в ушах у нее звенело, перед глазами плыли круги.

— Ой, что-то мне скучно сегодня! Никогда еще так не было,— сказала она прерывающимся голосом, сидя на вершине горы и подперев руками голову.

К этому времени большой пожар в древнем лесу на горах Куньлунь еще не утих, западный край неба пылал багрянцем. Она бросила взгляд на запад и решила взять оттуда большое горящее дерево, чтобы зажечь тростник, но не успела потянуться за ним, как почувствовала укол в палец ноги.

Она посмотрела вниз — и конечно же, опять увидела существо из сотворенных ею, только на сей раз еще более странное: тело его было несколько раз обернуто какой-то тканью, да еще с пояса свешивалось не менее дюжины тряпок, голова была покрыта неизвестно чем, а над макушкой возвышалась небольшая продолговатая дощечка черного цвета. Существо держало в руке какой-то предмет, которым и кололо ее в палец.

Это существо с дощечкой на голове стояло между ног Нюйва и смотрело вверх. Поймав ее взгляд, оно быстро передало ей тот предмет, который держало в руке. Она взглянула — это оказалась отполированная до блеска пластинка зеленого бамбука с двумя рядами тонких черных полосок, более мелких, чем прожилки на листьях дуба.

— Что это? — спросила она, не в силах сдержать любопытства.

Обладатель продолговатой дощечки ткнул пальцем в пластинку и затараторил наизусть: «Обнажать срам и предаваться блуду — значит терять добродетель, губить мораль и разлагать нравы, сие подобает лишь зверям и птицам. Такое не допускается в государстве, где существует закон!»

Нюй-ва уставилась на хозяина дощечки, подтрунивая в душе над собственным упрямством: ведь знала, что из разговора с этими существами ничего хорошего не получится. Не раскрывая более рта, она положила бамбуковую пластинку на дощечку, возвышавшуюся над макушкой этого странного существа, а затем вырвала из пылавшего леса большое горящее дерево, собираясь поджечь тростник.

Вдруг послышались какие-то непонятные звуки, всхлипывания и стоны. Она снова заглянула под продолговатую дощечку и увидела, что в углах маленьких глаз собрались крошечные, меньше горчичного семени, капельки слез. Но она не догадалась, что эти непонятные звуки означали плач, слишком они были не похожи на уже ставшие для нее привычными «нга, нга».

Она подожгла тростник, и притом сразу с нескольких сторон.

Пламя разгоралось лениво — стебли были недостаточно сухими, хотя и трещали весьма громко; прошло немало времени, прежде чем появились многочисленные языки огня,— время от времени они лизали небо и снова исчезали. Затем языки слились в причудливые гроздья цветов и наконец — в огненный столб, сияние которого заставило померкнуть отблеск пламени Куньлуня. Неожиданно поднялся сильный ветер, огненный столб стал с воем вращаться; разноцветные камни так раскалились, что потекли в трещину, будто сахарный сироп, сверкая, как негаснущая молния.

Ветер и дыхание пламени вздымали ее волосы, трепали их, пот лился с нее водопадом, могучий огонь озарил ее тело и в последний раз окрасил вселенную в красноватый цвет плоти.

Столб огня медленно поднимался ввысь, от тростника осталась лишь куча золы. Дождавшись, когда небо приняло лазурный оттенок, она ощупала его и нашла, что поверхность еще шероховата.

«Отдохну хорошенько и опять примусь за дело»,— подумала она.

Она стала собирать золу и пригоршнями бросать туда, где скопилась вода. Зола еще не остыла, вода вскипала от ее тепла и обдавала Нюй-ва с ног до головы серыми брызгами. Налетавший порывами ветер тоже поднимал облака пепла, так что Нюй-ва стала сплошь серого цвета.

— О-о...— испустила она последний вздох.

Из кроваво-красного облака на краю неба во все стороны били лучи солнца, напоминавшего жидкий золотой шар, обернутый в первобытную магму; с противоположной стороны висел белый и холодный, словно чугунный, месяц. Нюй-ва так и не заметила, какое из светил заходило и какое восходило. До конца исчерпав свое естество, она упала наземь, и дыхание ее остановилось.

Наверху, внизу и повсюду наступила тишина, более мертвая, чем сама смерть.

III

В один из очень холодных дней вдруг послышался шум. Это означало, что наконец-то сюда пробились солдаты государевой стражи, а задержались они потому, что ждали, пока улягутся огонь и дым. У каждого на левом боку был желтый топор,

на правом — красный, сзади несли очень большой и очень древний стяг. Осторожными перебежками они приблизились к мертвому телу Нюй-ва, но не заметили никакого движения. Тогда они раскинули свой лагерь на животе умершей, в самом тучном и мягком месте,— они знали толк в таких вещах. Но неожиданно их поведение изменилось: они объявили себя единственными прямыми наследниками Нюй-ва и заменили головастиковые письмена на своем стяге, где теперь было написано, что они вышли из чрева госпожи Нюй-ва.

Свалившийся на берег моря даос тоже оставил по себе память у последующих поколений. Перед самой смертью он рассказал ученику важную тайну о том, как огромные черепахи унесли в море горы со святыми. Ученик рассказал об этом своим последователям, и однажды некий маг, желая снискать благоволение императора Цинь Ши-хуана, доложил ему об этом. Цинь Ши-хуан повелел магу отправиться на поиски.

Гор со святыми маг не нашел, а Цинь Ши-хуан в конце концов умер; Ханьский У-ди вновь велел искать, но опять никаких следов не обнаружилось.

Скорее всего огромные черепахи вовсе не поняли того, что им сказала Нюй-ва, а просто случайно кивнули головами. Бесцельно проплавав какое-то время, они поодиночке отправились спать, и горы вместе со святыми погрузились на дно. Так что до настоящего времени никому не удалось хотя бы краешком глаза увидеть эти священные горы — в лучшем случае люди открывали еще несколько диких островов.

Ноябрь 1922 г.

ПОБЕГ НА ЛУНУ

1

Умное животное всегда понимает хозяина: завидев ворота, конь сразу замедлил шаг, понурил, как и всадник, голову и побрел, спотыкаясь: шагнет — и остановится, будто рис в ступе толчет.

Дом тонул в вечерней мгле, над соседними крышами поднимался густой черный дым: наступало время ужина. Услыхав

стук копыт, слуги вышли за ворота встречать хозяина и стояли навытяжку, руки по швам. Возле мусорной кучи стрелок И нехотя слез с коня; слуги взяли у него поводья и плеть. Взглянув на висевший за поясом колчан, полный новехоньких стрел, на сетку с тремя воронами и растерзанным в клочья воробьем, он в нерешительности остановился у ворот. Потом, гремя стрелами в колчане, упрямо шагнул вперед.

Войдя во двор, он заметил, как Чан Э выглянула на мгновение в круглое окно и тут же скрылась. Он знал, что глаза у нее зоркие,— она, конечно, сразу увидела ворон. От страха он даже приостановился на крыльце, но, делать нечего, надо было идти. Навстречу вышли служанки, сняли с него лук и колчан, отстегнули сетку. Ему показалось, что они невесело усмехнулись.

Он обтер пот на руках и на лице и, войдя в комнату, робко сказал:

— Дорогая...

Чан Э смотрела в окно на вечернее небо. Она медленно повернула голову, равнодушно взглянула и ничего не ответила.

Он привык к таким встречам — это продолжалось уже больше года. Подойдя поближе, он присел на стоявшую рядом тахту, покрытую облезлой барсовой шкурой и, почесав в затылке, нерешительно пробормотал:

— Опять не повезло: одни вороны...

Фыркнув, Чан Э вскинула тонкие брови, вскочила и бросилась к двери, бормоча:

— Опять, опять лапша с вороньей подливкой! Да ты поди спроси у людей: кто еще весь год ест одну лапшу с воронятиной? Ну, уж никак не думала, что мне так повезет: как вышла за тебя, так и сижу целый год на лапше с вороньей подливкой!

— Дорогая! — Стрелок вскочил и кинулся к ней, продолжая вполголоса: — Сегодня ведь еще куда ни шло — я для тебя воробья подстрелил, можно из него что-нибудь сделать. Нюй-синь! — крикнул он служанке.— Покажи госпоже воробья.

Нюй-синь бросилась на кухню, куда уже отнесли дичь, схватила воробья и на ладонях, почтительно преподнесла хозяйке.

Чан Э покосилась, фыркнула, нехотя протянула руку, потрогала и недовольно сказала:

— А где же мясо? Одни клочья!

— Верно,— робко подтвердил И,— одни клочья. Лук слишком тугой, да и наконечник великоват.

— А нельзя было взять наконечник поменьше?

— Мелких у меня нет. Еще с тех пор, как я охотился на исполинских вепрей и удавов...

— Что же, это, по-твоему, вепрь или удав? — сказала Чан Э и, велев служанке сварить ей чашку бульона, удалилась к себе.

Растерянный И остался один. Он сидел, прислонившись к стене, слушал, как потрескивает на кухне горящий хворост, и вспоминал. Вепри были такие огромные, что издали казались холмами. Он всех перебил. Хоть бы один остался — его хватило бы на полгода, и не пришлось бы изо дня в день заботиться о пище. А какая похлебка из удава!..

Вошла служанка Нюй-и и зажгла лампу. Ее тусклые лучи упали на красный лук с красными стрелами, черный лук с черными стрелами, самострелы, мечи и кинжалы, висевшие на противоположной стене. Взглянув на них, стрелок поник головой и вздохнул; он видел, как Нюй-синь принесла ужин и начала расставлять его на столе, посреди комнаты: слева поставила пять больших чашек с лапшой, справа — две чашки с лапшой и чашку с бульоном, посередке — чашку с вороньей подливкой.

Стрелок ел лапшу с подливкой — и вправду было противно — и украдкой поглядывал на Чан Э: даже не взглянув на вороний соус, она подлила себе в лапшу бульону, съела полчашки и отодвинула в сторону. Лицо жены показалось ему необычно желтым и исхудалым, он даже испугался: уж не заболела ли?

Ко второй страже Чан Э как будто немного отошла; она молча сидела на краю постели и пила воду. Стрелок, поглаживая облезлую шкуру, сидел рядом на тахте.

— Этого барса,— сказал он с нежностью,— я подстрелил на Западной горе еще до нашей женитьбы. Какой он был красивый — весь золотистый! — И он стал вспоминать, как они ели в те времена: у медведя съедали только лапы, у верблюда — горб, остальное отдавали прислуге. А потом он перебил всю крупную дичь, и они перешли на кабанов, фазанов, зайцев — при его меткости он всегда добывал столько, сколько хотел.

— Увы,— вздохнул И,— я стрелял слишком метко и перебил на земле все подчистую. Кто мог подумать, что нам придется есть одних ворон...

Чан Э усмехнулась.

— И все же сегодня мне, можно сказать, повезло,— продолжал И, ободренный ее усмешкой,— нежданно-негаданно раздобыл воробья. Пришлось, правда, отмахать лишних три десятка ли, пока на него наткнулся.

— А почему нельзя было проехать еще дальше?!

— Правильно, дорогая. Я и сам так думаю. Завтра хочу подняться пораньше; проснешься первой — разбуди меня. Думаю проехать ли на пятьдесят дальше — авось попадется косуля или заяц. Только навряд ли... Вот когда я стрелял вепрей и удавов, тогда зверя было в избытке... Ты еще, может, помнишь: черные медведи постоянно бродили у самых тещиных ворот, она то и дело просила меня подстрелить медведя...

— Правда? — Похоже было, что Чан Э успела уже об этом забыть.

— Кто мог подумать, что все будет начисто перебито. А теперь просто не знаю, как жить дальше. Мне-то еще ничего: приму золотую пилюлю, которую подарил даос, и вознесусь на небо. Но ведь прежде я должен подумать о тебе... Вот и хочу поехать завтра подальше...

Чан Э недоверчиво хмыкнула. Напившись, она не спеша улеглась и закрыла глаза.

Догорающая лампа освещала ее лицо с остатками краски: белила частью сошли, вокруг глаз появились желтоватые круги, сурьма на бровях, казалось, была наложена неровно. Но губы пламенели по-прежнему, а на щеках — хотя она давно уже не смеялась — все еще были ямочки.

«И такую красавицу я уже год пичкаю лапшой с воронятиной»,— подумал И, чувствуя, как запылали у него от стыда щеки и уши.

2

Ночь прошла, настало утро. Стрелок внезапно открыл глаза и по косым лучам на западной стене понял, что время уже не раннее. Он взглянул на Чан Э: разметавшись на постели, она крепко спала. Тихонько накинув на себя одежду, он слез с лежанки, прошел на цыпочках в зал и, умываясь, велел Нюй-гэн сказать Ван Шэну, чтоб седлал коня.

Из-за вечной спешки он давно отказался от завтраков. Нюй-и уложила ему в сумку пяток лепешек, столько же луковиц и пакетик с острой приправой, прикрепила к поясу лук и колчан. Затянувшись потуже, он, бесшумно ступая, вышел на двор и сказал подошедшей Нюй-гэн:

— Думаю сегодня поехать за добычей подальше и, наверное, задержусь. Как увидишь, что хозяйка проснулась, позавтракала и чуть повеселела, скажи ей, чтоб дождалась меня к

ужину и что хозяин просил извинить его. Запомнила? Так и скажи: хозяин очень просил извинить.

Он быстро шагнул за ворота, вскочил на коня и, даже не взглянув на выстроившуюся челядь, уже через мгновение был за околицей. Впереди простиралось гаоляновое поле, он проезжал его каждый день и теперь проехал не глядя, зная, что там давно ничего нет. Хлестнув коня, он понесся вперед и проскакал без передышки ли шестьдесят. Впереди показался густой лес. Конь, весь в мыле, тяжело дышал и пошел тише. Проехав еще с десяток ли, охотник подъехал к опушке. В лесу полно было ос и бабочек, кузнечиков и муравьев — но ни малейших следов птицы или зверя. Когда он увидел эти места, то рассчитывал, на худой конец, встретить там лису или зайца, но теперь понял, что это была пустая мечта. Обогнув лес, он обнаружил, что за ним снова тянутся изумрудные гаоляновые поля, а вдали было раскидано несколько глинобитных домишек. Дул ветерок, пригревало солнышко, но даже ворон и воробьев здесь не было.

— Проклятье! — с досадой воскликнул И.

Он проехал еще несколько шагов — и вдруг его сердце бешено забилось: вдалеке, на поляне перед глинобитным домиком, он заметил птицу, похожую на крупного голубя,— она ходила по земле и что-то клевала. Он торопливо схватил лук, натянул тетиву до отказа — и стрела понеслась, как метеор.

В успехе можно было не сомневаться — он всегда попадал в цель. Теперь ему оставалось только, хлестнув коня, пуститься без промедления вслед за стрелой и подобрать добычу. Он уже подъезжал, как вдруг, откуда ни возьмись, перед самой конской мордой — старуха. Держа в руках подстреленного голубя, она пронзительно кричала:

— Ты кто такой? Зачем застрелил Чернушку — лучшую мою курицу? Делать тебе больше нечего?..

Сердце стрелка екнуло. Он поспешно осадил коня.

— Как? Неужели курица? А я думал — голубь,— растерянно сказал он.

— Ослеп, что ли? Ведь на вид-то тебе уже не меньше сорока.

— Верно, мамаша. В том году сорок пять стукнуло.

— Ну, вот и вырос болван болваном! Курицу от голубя отличить не можешь! Да кто ты, собственно, такой?

— Я — стрелок И,— сказал он, слезая с коня. Конец фразы И произнес упавшим голосом: он увидел, что его стрела попала курице прямо в сердце — птица, конечно, уже подохла.

— И?.. Что-то не знаю такого,— сказала старуха, вглядываясь.

— А есть люди, которые хорошо меня знают. Еще при Яо я убивал кабанов и змей...

— Ха-ха, ну и хвастун! Да их перебил Фэн Мэн со своей дружиной! Может, и ты с ними был — да ведь ты уверяешь, что один убивал. И не стыдно тебе?

— Вот что, мамаша: этот Фэн Мэн в последнее время действительно частенько ко мне наведывался, но в компании с ним я никогда не был и никакого отношения к нему не имею.

— Врешь! Теперь все только о нем и говорят: я про него за один месяц раз пять слышала.

— Ну, хватит. Поговорим о деле. Как же быть с курицей?

— Плати! Лучшая моя несушка, каждый день неслась. Отдашь мне за нее пару мотыг и три веретена.

— Да ты, мамаша, посмотри на меня: я же не тку, не пашу — откуда у меня мотыги и веретена? И денег с собой нет — только лепешки, зато из белой муки, сейчас достану и отдам тебе за курицу. А еще дам в придачу пять луковиц и сладкого перцу. Ну, как?..— И он потянулся одной рукой к сумке с лепешками, а другую протянул за курицей.

Увидев лепешки, старуха согласилась на обмен, но потребовала целых пятнадцать штук. После продолжительного торга сошлись на десяти. Условились, что он пришлет недостающие лепешки не позднее завтрашнего полдня, а в залог оставит стрелу, которой подстрелил курицу. Облегченно вздохнув, И положил курицу в сумку, вскочил в седло и пустился в обратный путь. Хотелось есть, но на душе было радостно: больше года не пробовали они куриного бульона.

Когда И миновал лес, день клонился к вечеру; стрелок заторопился и принялся нахлестывать коня. Но конь устал — и к знакомому гаоляновому полю они подъезжали уже в сумерках. Стрелок заметил, как вдали мелькнула чья-то тень, и в ту же секунду в него полетела стрела.

Выхватив на ходу лук, он мгновенно заложил ответную стрелу, спустил тетиву и тут же услышал звон: рассыпав искры, стрелы ударились наконечниками, изогнулись углом вверх и, перевернувшись в воздухе, упали на землю. Только успела столкнуться первая пара, как навстречу друг другу понеслись новые стрелы и сшиблись со звоном на полдороге. Каждый выпустил подобным образом по девять стрел — и у охотника не осталось ни одной. Но он уже узнал в своем противнике Фэн

Мэна: тот стоял, полный самодовольства, и последней стрелой метил ему прямо в горло.

«Ха-ха, я-то думал, что он давно на море отправился, рыбку ловить, а он, оказывается, здесь, да еще вон чем занимается; то-то старуха столько про него болтала...» — мелькнуло в голове у И.

В этот миг лук Фэн Мэна, растянувшись, стал круглым, как полная луна, и стрела, с быстротой метеора, свистя, понеслась к горлу охотника. Но, видно, Фэн Мэн чуть ошибся в расчете — и стрела угодила охотнику в рот. Запрокинувшись, И, со стрелой во рту, свалился с коня. Конь сразу замер на месте.

Решив, что И убит, Фэн Мэн осторожно подкрался к нему, желая до дна испить победную чашу — полюбоваться лицом мертвеца.

Вдруг И открыл глаза и сел.

— А зря ты ко мне столько ходил,— рассмеялся он, выплюнув стрелу,— неужели не слыхал, как я умею откусывать наконечники? Нехорошо, дружище. Не стоит заниматься такими штучками. Краденым приемом не убьешь того, у кого украл,— пока сам не наловчишься, толку не будет.

— У кого берешь — на том и проверяй...— еле слышно пробормотал «победитель».

Охотник расхохотался и встал.

— Все классиков цитируешь! Можешь этим старух морочить, а меня-то зачем же? Ведь я только охочусь, а не разбойничаю, как ты, на дорогах...— Заглянув в сумку и убедившись, что курица не пострадала при падении, он сел на коня и поскакал домой.

— ...пробил твой последний час!..— донеслось ему вслед.

«Никак не думал, что из него получится такой оболтус. Ведь молодой еще — а как ругается! Не удивительно, что совсем задурил старуху».— И стрелок сокрушенно покачал головой.

3

Он еще не проехал до конца гаоляновое поле, а уже стемнело; на темно-синем небе показался Юпитер, на западе необычно ярко сверкала Венера. Конь из последних сил тащился по меже, неясно белевшей во мраке. К счастью, над краем неба поднялась луна, ее серебристый свет становился все ярче.

«Вот дьявольщина! — подумал И, услышав урчание в животе, и заерзал в седле.— Так стараешься доехать побыстрее, а тут, как нарочно, неприятности, только время зря теряешь!» — И, чтоб поторопить коня, он поддал ему пятками под брюхо, но конь, вильнув задом, продолжал трусить мелкой рысцой.

«Чан Э, конечно, уже сердится, что я сегодня так поздно,— размышлял И,— даже не представляю, с какой миной она меня встретит. К счастью, есть курица — может, это ее обрадует. А я скажу: дорогая, чтобы ее раздобыть, мне пришлось проехать двести ли. Или нет, нехорошо, слишком уж смахивает на похвальбу».

Увидев впереди огни, стрелок приободрился и перестал раздумывать. А конь, не дожидаясь плети, сам пустился галопом. Полная снежно-белая луна освещала дорогу, прохладный ветер обдувал лицо — даже с крупной охоты не возвращался стрелок с такой радостью.

Конь сам остановился у мусорной кучи. С первого взгляда И почуял неладное: в доме явно что-то стряслось. Встречать его вышел один Чжао Фу.

— В чем дело? Где Ван Шэн? — удивленно спросил И.

— Пошел к Яо за хозяйкой.

— Как? Разве хозяйка у Яо? — растерянно спросил И, все еще не слезая с коня.

Слуга пробурчал что-то невнятное и взял у него поводья и плеть.

Стрелок слез, наконец, с коня, шагнул в ворота, постоял в нерешительности и, оглянувшись, спросил:

— А может, она не дождалась и пошла одна в трактир?

— В трех трактирах спрашивал — нету.

Опустив голову, И в раздумье направился к дому; в зале он увидел перепуганных служанок и, удивленный и встревоженный, громко спросил:

— Как? Вы дома? Разве хозяйка ходила когда-нибудь к Яо одна?

Ничего не ответив, они только взглянули на него и подошли, чтобы снять лук, колчан и сумку с курицей. У него вдруг забилось сердце, его охватила дрожь: а что, если Чан Э с тоски наложила на себя руки? Он велел Нюй-гэн кликнуть Чжао Фу: надо будет послать его в сад за домом, пусть хорошенько осмотрит пруд и деревья. Но, едва переступив порог комнаты, И понял, что его догадка неверна: в комнате был беспорядок, сундуки с платьем стояли раскрытые. Он взглянул под кровать и тут увидел, что шкатулка с драгоценностями исчезла. Его

будто окатили ледяной водой: дело было не в золоте и жемчугах — в шкатулке хранился подарок даоса, пилюля бессмертия.

Он дважды прошелся по комнате, взад и вперед, и только теперь заметил стоявшего в дверях Ван Шэна.

— Разрешите доложить, хозяин,— сказал Ван Шэн,— к Яо хозяйка не заходила, и в кости они сегодня не играли.

Хозяин только взглянул на него, не сказав ни слова,— и слуга поспешил удалиться.

— Звали, хозяин?..— спросил, входя в комнату, Чжао Фу.

Стрелок покачал головой и махнул ему, чтоб уходил.

Он еще несколько раз прошелся по комнате, потом вышел в зал, уселся, посмотрел на висящие напротив красный лук с красными стрелами, черный лук с черными стрелами, на самострелы, мечи и кинжалы, о чем-то задумался и, наконец, обратился к оцепеневшим служанкам:

— Давно пропала хозяйка?

— Мы хватились ее, как стали зажигать лампы,— сказала Нюй-и,— только никто не видел, чтобы она выходила.

— А вы не заметили, не принимала ли она пилюлю из шкатулки?

— Нет, не видели. Вот только после обеда она велела, чтоб я ей воды подала,— это помню.

Стрелок даже подскочил от волнения — кажется, он, наконец, понял, что его оставили на земле одного.

— А вам не показалось, будто что-то взлетело на небо?— спросил он.

Нюй-синь задумалась и вдруг охнула — словно ее осенило.

— А ведь я и в самом деле видела, когда зажгла лампу и выходила из комнаты, как здесь вот пролетела какая-то черная тень, да только могло ли мне тогда в голову прийти, что это наша хозяйка...— Лицо служанки побелело.

— Так я и думал! — Хлопнув себя по колену, стрелок вскочил и направился во двор.— Куда она полетела?

Нюй-синь показала. Следуя взглядом за ее рукой, он увидел висящую в небесах белоснежную полную луну; на ней проступали неясные очертания башен и деревьев. Ему вспомнились сказки о прекрасных дворцах на луне — он слышал их в детстве от бабушки. При виде луны, словно плывущей в синем океане, он особенно остро почувствовал, до чего грузно его тело.

И вдруг им овладела ярость и жажда убийства. Округлив глаза, он крикнул служанкам:

— Подать сюда лук, бьющий в солнце! И три стрелы!

Нюй-и и Нюй-гэн сняли со стены могучий лук, висевший на самом видном месте в зале, и, обмахнув пыль, подали его хозяину — вместе с тремя длинными стрелами.

Взяв в руку лук, в другую — стрелы, И наложил их на тетиву и натянул ее до отказа, целясь прямо в луну. Он напрягся, как утес, его взгляд, устремленный вперед, метал молнии, рассыпавшиеся волосы бились на ветру, как черное пламя,— точно таким он был в тот день, когда сбил с неба девять солнц.

Раздался один протяжный свист — и все три стрелы унеслись в небо: спуская первую, стрелок уже закладывал вторую, спуская вторую — закладывал третью; глаз не успевал уловить его движений, ухо — свиста отдельной стрелы. Все стрелы должны были попасть в одну точку: каждая висела на хвосте у предыдущей, не отклоняясь ни на волос. Но на этот раз, чтоб еще верней поразить цель, охотник делал в момент выстрела едва заметное движение рукой, поэтому стрелы попали в три точки и нанесли луне три раны.

Служанки вскрикнули: все видели, как луна покачнулась, и казалось, вот-вот упадет, но она продолжала преспокойно висеть и сияла приветливей прежнего — будто ее и не ранило.

Вскрикнув от досады, стрелок с минуту смотрел на луну, но та его словно и не замечала. Он сделал три шага вперед — луна отступила на три шага назад; он отступил на три шага назад — и луна вернулась в прежнее положение.

Все молча переглянулись.

Стрелок нехотя прислонил лук к двери зала и вошел в дом. Служанки последовали за ним.

Он сел и вздохнул:

— Выходит, что хозяйка ваша уже обрела для себя вечное блаженство. Бросила меня без всякой жалости и улетела одна. Видно, стар я для нее. А сама еще месяц назад говорила, что я совсем не старый и что считать себя стариком — значит идейно опуститься.

— Дело, конечно, не в этом,— сказала Нюй-и,— многие по-прежнему называют вас воином.

— Иногда вы даже кажетесь художником,— сказала Нюй-синь.

— Какая чушь! Вся беда в том, что лапша с вороньей подливкой действительно не лезет в рот — бедняжка просто не выдержала...

— На эту барсовую шкуру с плешинами просто неприятно смотреть,— сказала Нюй-синь, направляясь в спальню,— я от-

режу немножко от лап, которые ближе к стене, и поставлю заплатки.

— Погоди,— сказал И и, подумав немного, продолжал: — Это не к спеху. Я вот проголодался очень — приготовь-ка мне лучше курицу с перцем, да поживей, а еще возьми цзиней пять муки и напеки лепешек, чтоб я заснул на сытый желудок. Завтра поеду к тому даосу просить пилюлю — приму и полечу догонять Чан Э. А ты, Нюй-гэн, скажи Ван-Шэну — пусть засыплет коню шэна четыре белых бобов.

Декабрь 1926 г.

ПОКОРЕНИЕ ПОТОПА

1

То было время, когда «буйствовали кипящие воды потопа; безбрежные, они обнимали горы и заливали холмы». Однако не все подданные государя Шуня ютились на выступавших из воды вершинах гор; одни привязали себя к макушкам деревьев, другие разместились на бревенчатых плотах, причем на некоторых сколотили из досок навесы. Все это могло показаться весьма поэтичным — если смотреть с берега.

Вести из дальних мест распространялись благодаря плотам. В конце концов все узнали о том, что его милость, сановник Гунь, за целых девять лет не добившийся никаких результатов в усмирении потопа, навлек на себя августейший гнев и был сослан на каторгу на гору Юйшань, а на его место, кажется, встал его сын Вэнь-мин, которого в детстве звали А-юй.

Потоп длился уже долго, студентов университета давно распустили, негде было открывать даже детские сады, так что народ, можно сказать, пребывал во мраке. И только на горе «Культура» собралось множество ученых, пища коим доставлялась на летающих повозках из страны Цигун; потому-то они и не боялись остаться голодными, потому-то и могли заниматься наукой. Однако в большинстве своем они были против Юя или же просто-напросто не верили в его существование.

По заведенному обычаю, раз в месяц небо оглашалось дрожащим звуком, становившимся все пронзительнее по мере приближения; наконец можно было отчетливо разглядеть летаю-

щую повозку, над которой развевался флаг с желтым кругом, испускавшим лучи. Когда до земли оставалось пять локтей, с повозки спускали на веревках несколько корзин. Посторонние не знали, что лежало в корзинах, было слышно лишь, как сверху и снизу обменивались репликами:

— Гуд монин!

— Хау ду ю ду!

— Гулл дир...

— О'кей!

Летающая повозка уносилась обратно в страну Цигун, дрожащий звук замирал в небе, да и ученые вели себя тихо — все были заняты едой. Только волны бились о прибрежные камни — неумолчно звучал прибой. Но послеполуденный сон придавал ученым бодрости, и тогда голос науки заглушал рокот волн.

— Если Юй и вправду сын Гуня, ему ни за что не усмирить потоп,— сказал ученый с посохом в руке.— Я в свое время собрал родословные многих знатных родов и богатых семей, немало потрудился над их исследованием и пришел к выводу: потомки богатых всегда живут в достатке, а отпрыски негодяев всегда негодяи. Вот это и именуют «наследственностью». Значит, раз Гунь не добился успеха, то и Юй ни за что не одержит победы, поскольку от глупого отца не может родиться умный сын.

— О'кей! — ответил ученый без посоха.

— Все же вам следовало бы подумать о батюшке нашего государя,— сказал другой ученый без посоха.— Он поначалу хоть и самодурствовал, но сейчас исправился. А будь он глупцом, никогда бы не исправился.

— Э-это в-все чепуха! — возразил ученый-заика, и кончик его носа сразу запылал от прилива крови.— Вы доверились ложным слухам! На самом же деле никакого Юя нет и в помине, ведь иероглиф «юй» означает насекомое — а разве насекомое м-может усмирять воды? По-моему, и Гуня тоже не существует: «гунь» означает «рыба», а как р-рыба может с-с-справиться с потопом?

Сказав все это, он поднатужился и изо всех сил топнул обеими ногами.

— Как бы там ни было, Гунь действительно существует. Семь лет назад я собственными глазами видел у подножья гор Куньлунь, как он любовался цветами дикой сливы.

— Значит, вышла ошибка с его именем, наверное, его зовут не Гунь — «рыба», а Жэнь — «человек»! Но уж что касается Юя, то это несомненно насекомое. У меня есть масса доказательств.

«Подлинная история А-кью»
Ку Бин-син

подтверждающих, что такого человека в природе не существует, и я готов представить их на суд общественности.

С этими словами он энергично поднялся с места, вытащил кривой нож, срезал кожу с пяти больших сосен, сделал клей, размочив оставшиеся от трапезы хлебные крошки, добавил туда угольный порошок и стал покрывать стволы сосен мельчайшими знаками «головастикового письма», доказывавшими небытие А-юя. На это у него ушло без малого четыре недели. Правда, желавшие взглянуть на его труд должны были внести по десять молодых листьев вяза, с тех же, что жили на плотах, взималось по раковине свежих водорослей.

Но поскольку все равно кругом была вода — ни тебе охотой заняться, ни землю пахать, у всех оставшихся в живых свободного времени было вдосталь, так что любопытных отыскалось очень много. Три дня толпились люди под соснами, то и дело вздыхая — одни от восхищения, другие от усталости, но на четвертые сутки какой-то провинциал наконец заговорил; это было в полдень, когда ученый мир подкреплялся жареной лапшой.

— А ведь и вправду бывает, что человека зовут А-юй,— сказал провинциал.— К тому же слово «юй» вовсе не значит «насекомое», просто мы, деревенские, неправильно его пишем. Господа же пишут немного по-другому, и тогда оно значит «большая макака».

— Значит, человека называют б-б-большой макакой? — угрожающе воскликнул ученый-заика, подскочив с места и наскоро проглотив непрожеванную порцию теста; нос его при этом побагровел.

— Да, называют; бывает, что и Собачкой или Кошечкой назовут.

— Господин Птицеглав, вам не стоит вступать с ним в полемику.— Ученый с посохом отложил в сторону хлеб и встал между спорящими.— Деревенские — народ глупый.

Тут он обернулся к провинциалу и прогремел:

— А ну, давай сюда свою родословную, я докажу, что и твои предки не могли похвалиться умом.

— А у меня никогда не было родословной!

— Тьфу, вот из-за таких пентюхов, как ты, в наших исследованиях нельзя добиться точных результатов!

— Но з-здесь родословная и не нужна, моя наука не может ошибаться,— выпалил еще более разгневанный Птицеглав.— В свое время многие ученые писали мне в поддержку моей теории, все эти письма при мне...

— Ну уж, нет, здесь без родословной не обойтись...

— Но у меня действительно нет родословной,— сказал «пентюх».— К тому же время сейчас смутное, с транспортом плохо. Собрать такие доказательства, как одобрительные письма ваших друзей, ничуть не легче, чем построить храм в ракушке. По-моему, доказательство налицо: вас величают Птицеглав — но значит ли это, что вы на самом деле голова птицы, а не человек?

— Ах, так! — От возмущения у господина Птицеглава побагровели даже мочки ушей.— Ты смеешь оскорблять меня? Он сказал, что я не человек! Требую, чтобы ты вместе со мной явился к его милости Гао Яо на судебное разбирательство. Если я действительно не человек, я готов принять высшую меру наказания: пусть мне отрубят голову. Понял?! Но если правда на моей стороне, тебе придется ответить за клевету. А теперь не трогайся с места, пока я не доем лапшу.

— Господин,— ответил провинциал бесстрастно, не повышая голоса.— Вы же человек ученый, должны бы знать, что полдень уже наступил и что у других людей тоже подводит животы. Беда в том, что желудки глупцов и мудрецов устроены одинаково: они требуют пищи. Вы уж простите великодушно, я пойду наловлю водорослей, а когда вы подадите свою челобитную, явлюсь в суд.

С этими словами он вскочил на плот, достал рыболовный сачок и неторопливо поплыл вдаль, зачерпывая водяные травы. Зеваки постепенно разошлись; господин Птицеглав, с пылающими ушами и багровым кончиком носа, вновь принялся за поджаренную лапшу; ученый с посохом досадливо качал головой.

Но чем все-таки был Юй, насекомым или человеком, так и осталось загадкой.

2

Все же, Юй был, видимо, насекомым.

Прошло больше полугода, летающая повозка из страны Цигун появлялась уже восемь раз, от недоедания распухли ноги у девяти десятых из тех обитателей плотов, что прочли надписи на стволах сосен, а о новом уполномоченном по усмирению вод не было никаких вестей. И лишь после того, как повозка прилетела в десятый раз, распространилась весть о том, что и вправду есть человек по имени Юй, что он на самом деле сын

Гуня и что он действительно назначен министром водного хозяйства. Три года назад он начал свой путь из Цзичжоу и скоро должен добраться до здешних мест.

Все восприняли эту весть не без интереса, но очень спокойно и с некоторым недоверием, ибо от подобных, не слишком достоверных сообщений у многих на ушах образовались мозоли.

На сей раз, однако, слухи подтвердились. Дней десять спустя почти все заговорили о том, что министр вот-вот прибудет, какой-то человек, занимавшийся сбором водорослей, собственными глазами видел правительственный корабль. В доказательство он всем показывал синевшую у него на лбу шишку и пояснял: это охранник запустил в него камнем за то, что он недостаточно быстро освободил дорогу кораблю. С той поры он приобрел широкую известность и не имел ни минуты свободного времени; охотников незамедлительно взглянуть на его шишку оказалось столько, что они едва не потопили плот. Позднее ученые призвали его к себе, подвергли тщательному обследованию и решили, что шишка у него — настоящая. Тут уж господину Птицеглаву стало невозможно отстаивать свою версию; пришлось уступить исторические разыскания другим лицам, а самому заняться сбором народных песен.

Дней через двадцать, а то и больше, появилась целая флотилия больших лодок, выдолбленных из целого ствола дерева. В каждой лодке находилось по два десятка солдат-гребцов и по три десятка стражников с секирами; на носу и на корме развевались флаги. Едва флотилия причалила к вершине горы, как именитые люди и ученые выстроились на берегу для встречи почетных гостей. Но прошло немало времени, пока с самого большого судна сошли два тучных сановника средних лет, окруженные двумя десятками воинов в тигровых шкурах. Вместе со встречавшими они проследовали к самой высокой скале и скрылись в пещере.

На берегу и на плотах собрались люди, каждый вытягивал шею в надежде услышать, о чем идет речь; наконец, они поняли, что пожаловал вовсе не сам Юй, а лишь комиссия по обследованию.

Сановники уселись в центре каменного зала, вкусили хлеба и начали обследование.

Один из ученых — лингвист, специалист по языку мяо, сказал:

— Стихийное бедствие не столь уж тяжело, да и с провиантом положение не безнадежно. Хлеб ежемесячно падает с неба, рыбы тоже хватает; правда, она слегка припахивает тиной, но

зато, ваша милость, какая жирная! Что же до простолюдинов, то в их распоряжении листья вяза и морская трава, они «пребывают в праздной сытости, без забот и тревог» — да и о чем заботиться, они и раньше ни к чему иному не стремились. Мы сами пробовали их пищу — вкус вполне приемлемый и весьма своеобразный.

Тут его перебил другой ученый, исследовавший «Фармакопею Шэнь-нуна»:

— К тому же в листьях вяза содержится витамин Дабл-Ю, а в морских травах — йод, который излечивает от золотухи. Значит, оба продукта весьма полезны для здоровья.

— О'кей! — подал голос еще один ученый муж. Оба сановника не без удивления посмотрели на него.

Исследователь «Фармакопеи Шэнь-нуна» продолжал:

— О питье и говорить нечего, воды у них столько, что десяти тысячам поколений не выпить. Жаль только, что она мутновата и перед употреблением ее следует дистиллировать. Мы многократно давали соответствующие разъяснения, но эти люди погрязли в невежестве и упорно отказываются следовать нашим советам, в результате чего появилось бессчетное множество больных.

— А потом, разве не по их вине начался потоп? — ворвался в разговор почтенный господин в темно-коричневом халате, с усами и бородой, свисающими пятью длинными прядями.

— До потопа они ленились укреплять плотины, а сейчас ленятся черпать воду...

— Сие означает «квинтэссенции духа лишились»! — посмеиваясь, заговорил сидевший в заднем ряду усатый специалист по эссе эпохи Фу Си.— Я недавно взобрался на выси Памира, где свободно порхают небесные ветры; распускалась дикая слива, проносились белые облака, поднималась цена на золото, погружались в сон мыши. И узрел я некоего юношу с сигаретой во рту, и лицо его было окутано дымом, как у Чи Ю... Ха-ха-ха! Ну, что тут будешь делать!

— О'кей!

Беседа в этом духе длилась долго. Сановники с исключительным вниманием выслушивали всех, а под конец попросили ученых совместно написать челобитную, к ней же — ежели возможно — присовокупить подробное изложение мер по ликвидации последствий бедствия.

Затем посланцы вернулись на корабль. На следующий день они не работали и не принимали посетителей — как было сказано, из-за дорожной усталости. На третий день синклит уче-

ных пригласил их подняться на самый высокий пик полюбоваться причудливыми формами старых сосен. После обеда они все вместе отправились на дальний склон горы удить желтых угрей и так развлекались до самых сумерек. На четвертый день было объявлено, что утомленные обследованием сановники не выйдут на работу и не будут принимать посетителей. К вечеру пятого дня был вызван представитель простого люда.

Простолюдины начали выбирать своего представителя еще четыре дня назад, но никто не хотел идти — все ссылались на то, что им никогда не приходилось общаться с чиновниками. Тогда большинство порешило, что пойдет тот, у кого на лбу шишка, поскольку он уже имеет опыт общения с чиновниками. От этого известия шишка, совсем было притихшая, опять заныла, как будто в нее воткнули иглу. Плача, он твердил одно: чем быть депутатом, лучше умереть! Толпа окружила его и целыми сутками читала ему мораль: он-де пренебрегает общественными интересами, он-де себялюбивый индивидуалист, которому нет места на земле Цветущего Ся. Те, кто погорячее, уже сжимали кулаки и тыкали их ему под нос, требуя, чтобы он принял на себя вину за потоп. А ему до смерти захотелось пить и спать, и он подумал: чем помереть здесь, на плоту, уж лучше рискнуть и пожертвовать собой ради пользы общества. Героическим усилием воли он на четвертый день заставил себя дать согласие.

Все хвалили его, причем несколько молодцов ощутили легкую зависть.

Наутро пятого дня все спозаранку выстроились на берегу в ожидании повелений начальства; туда же притащили и депутата. Действительно, со стороны сановников последовал вызов. Тут у депутата задрожали колени, но он вновь набрался величайшей решимости; набравшись же решимости, он дважды зевнул во весь рот и с воспаленными глазами направился на правительственное судно, не чуя под собой ног и как бы плывя по воздуху. Как ни удивительно, стражники с секирами и воины в тигровых шкурах не стали ни бить, ни ругать его, а прямо привели в главную каюту. В каюте лежали шкуры медведей и баранов, висели луки и стрелы, стояло много ваз и кувшинов — словом, у него зарябило в глазах. Придя в себя, он огляделся и увидел, что на возвышении прямо перед ним сидят два дородных сановника. Присматриваться к выражению их лиц он не посмел.

Один из сановников спросил:

— Ты и есть представитель народа?

— Они заставили меня подняться к вам,— ответил он, не отрывая глаз от лежавшей на полу барсовой шкуры с узором, похожим на листья полыни.

— Ну, как вы там?

Депутат ничего не ответил, поскольку не понял вопроса.

— Живете-то как, ничего?

— Спасибо вашей милости, пока ничего...— Он подумал еще немного, потом добавил тихо: — Кое-как выкручиваемся, живем помаленьку...

— Еда есть?

— Есть... листья, водоросли...

— И этим можно питаться?

— Почему же нельзя, мы ведь ко всему привычные, едим и это. Только народ начал портиться, иные сорванцы крик поднимают; ну, мы им, окаянным, и даем взбучку.

Большие господа рассмеялись, а один из них сказал другому:

— Парень-то прост!

Обрадованный похвалой, парень осмелел и затараторил дальше:

— Мы всегда что-нибудь да придумаем. К примеру, из водорослей лучше всего варить пустой «малахитовый суп», а из листьев вяза — «дворцовый бульон». Кору с деревьев нельзя обдирать целиком, нужно часть оставить,— тогда на следующий год опять вырастут листья, можно будет собрать урожай. А ежели, молитвами вашей милости, мы сможем наловить желтых угрей...

Но сановникам явно наскучило слушать: один из них дважды кряду широко зевнул и прервал его излияния:

— Вы бы все же сообща составили челобитную и присовокупили бы к ней предложения о ликвидации последствий бедствия.

— Но у нас никто не умеет писать,— растерянно сказал представитель народа.

— Вы не умеете писать? Не хотите развиваться, иначе это не назовешь. Ну, ладно, принеси нам образцы вашей пищи.

Делегат вышел из каюты, испытывая одновременно и страх и радость, пощупал то место, где была шишка, и незамедлительно передал распоряжение господ всем, кто находился на берегу, на деревьях и на плотах. От себя он громко добавил:

— Это пошлют самому высокому начальству, так что делать надо чисто, аккуратно и красиво!..

Все сразу засуетились: кто промывал листья, кто нарезал

древесную кору, кто вылавливал мох — буквально с ног сбились. Сам же депутат стал распиливать доски, чтобы сделать шкатулку для петиции. Две дощечки, обструганные особенно тщательно, до блеска, той же ночью отправили к ученым на вершину горы, чтобы те сделали на них надписи. На той, которая должна была служить крышкой шкатулки, попросили написать пожелание «жизни долгой, как горы; счастья бескрайнего, как море». Вторую дощечку депутат хотел оставить на своем плоту в память о столь лестном для себя событии и написать на ней: «Зал простодушия». Однако ученые согласились сделать лишь одну надпись — с пожеланием долголетия и счастья.

3

К тому времени, когда два тучных сановника вернулись в столицу, один за другим начали возвращаться и остальные обследователи, не было только самого Юя. Несколько дней сановники отдыхали дома, а затем коллеги из Департамента водного хозяйства в складчину устроили прямо в департаменте пышный банкет по случаю их благополучного возвращения. Билеты на банкет были трех видов: «Счастье», «Благоденствие» и «Долголетие», причем за самый дешевый приходилось платить по пятнадцать больших раковин. В этот день, как говорится, колесницы текли, как река, и влекли их кони-драконы; еще не упали сумерки, а главные гости уже собрались, и во дворе зажгли светильники. Аромат мяса и рыбы, поданных на трепожниках, достигал стражников, стоявших у ворот, и они то и дело глотали слюну. Трижды наполнились и опустели чаши, и тогда сановники принялись описывать виденное ими по пути в пострадавшие от наводнения края: белоснежные цветы тростника, золотистую глинистую воду, жирнейших угрей, нежнейшие водоросли и многое, многое другое... Слегка захмелев, они извлекли собранные для них образцы народной пищи. Образцы были уложены в изящные деревянные шкатулки с надписями на крышках, сделанными либо в стиле триграмм Фу Си, либо в стиле Цан Се, который «исторг слезы у беса». Все первым делом стали любоваться иероглифами, пустились в споры, чуть не подрались, но в конце концов решили отдать пальму первенства надписи «Счастье в стране и в народе спокойствие»; во-первых, ее с трудом можно было прочесть, так сильно веяло от нее старриной, а кроме того, текст пришелся весьма кстати и заслуживал быть занесенным в анналы истории.

Когда закончилось обсуждение этого ископно китайского вида искусства, вопросы культуры отошли на второй план, и собеседники занялись исследованием содержимого шкатулок. Единодушное восхищение вызвала искусная форма лепешек. Дальше, однако, мнения разошлись — тут, по-видимому, сыграло роль изрядное количество выпитого вина; некоторые, вкусив лепешек из сосновой коры, восхваляли их чистый аромат, изъявляя готовность завтра же повесить на крюк свои чиновничьи шапки и уйти в отшельники, чтобы насладиться ничем не запятнанным счастьем. Те же, кто отведал печенье из листьев кипариса, нашли его грубым и горьким, царапающим язык; как нелегко приходится, сказали они, государю, который вынужден вместе с подданными переносить подобные тяготы. А еще несколько человек бросились к ним и попытались отнять надкушенные лепешки и печенье; они объяснили при этом, что скоро состоится благотворительная выставка, и если от экспонатов останутся одни объедки, выйдет конфуз.

Возле департамента вдруг поднялся шум. Группа парней в рваной одежде, с почерневшими от загара лицами, прорвалась через линию заграждений и вторглась в помещение. Стражники прикрикнули на них и преградили путь, скрестив свои сверкающие копья.

— В чем дело? Не видите, кто идет? — вздрогнув от неожиданности, воскликнул шедший впереди высокий, худой и очень нескладный мужик.

Попристальнее вглядевшись в сумеречную мглу, стражники почтительно вытянулись, подняли копья и пропустили парней, задержав лишь догонявшую их запыхавшуюся женщину в халате из домотканого темно-синего полотна, с ребенком на руках.

— Вы что, не узнали меня? — спросила она изумленно, утирая кулаком пот со лба.

— Можем ли мы не узнать вас, госпожа Юй!

— Так почему же меня не впускают?

— Время сейчас неподходящее, госпожа Юй. С нынешнего года взялись за очищение нравов и исправление людских сердец, за отделение мужчин от женщин. Нынче ни в какой ямынь никаких баб не пускают, не только в этот, и не только вас. Вы уж на нас не сетуйте — такова воля начальства.

Госпожа Юй постояла молча, затем вскинула брови и, обернувшись, закричала:

— Чтоб его на кусочки изрубили! Куда это он так мчится? Прошел мимо собственных дверей и даже не заглянул; несется, как на похороны родителей! Стал сановником, а много ли от

этого радости? Точь-в-точь как его папаша — дослужится до того, что попадет на каторгу, а потом свалится в пруд и превратится в большую черепаху! Бессовестный, чтоб его на кусочки изрубили...

К этому времени в большом зале департамента тоже начался беспорядок. Завидев приближающихся парней, пирующие хотели было спрятаться, но, увидев, что вошедшие безоружны, осмелели и стали их разглядывать. Когда первый из группы, худой и чернолицый, оказался совсем близко, по его манере держаться стало ясно, что это и есть Юй, а остальные — его помощники.

Участники банкета от испуга тотчас протрезвели и, шелестя одеждами, отступили в конец зала. Юй же шагнул прямо к столу и уселся во главе его, причем вытянул ноги, а не подогнул под себя — не то из-за простоты нрава, не то из-за суставного ревматизма. Он был без чулок, так что сановникам были видны его огромные ступни, покрытые застаревшими мозолями, похожими на каштаны. Свита расселась по обе стороны от Юя.

— Вы сегодня изволили вернуться в столицу? — осмелев, почтительно спросил один из младших чиновников, потихоньку подползая на коленях к столу.

Юй ничего не ответил и обратился к присутствующим:

— Садитесь поближе! Ну, выяснили вы, как обстоят дела?

Сановники поползли на коленях и, поглядывая друг на друга, уселись в конце стола, на котором были остатки пиршества. Они со стыдом смотрели на надкушенные лепешки из сосновой коры и обглоданные бычьи кости, но боялись приказать повару убрать со стола.

Наконец один из сановников заговорил:

— Осмелюсь доложить вашей милости, дела обстоят вполне прилично, впечатление весьма благоприятное. Сосновая кора и водоросли имеются в изобилии, напитки тоже. Народ у нас смирный, ко всему привычный. Он, ваша милость, славится во всем мире своим умением переносить трудности.

— Тем не менее ваш покорный слуга уже составил план сбора пожертвований,— заговорил другой сановник.— Предполагается устроить экспозицию необычных продуктов питания, а также пригласить мисс Нюй-вэй для демонстрации мод. Если во время продажи билетов объявить, что в зале уже не будут собирать пожертвования, то можно надеяться, что придет много народу.

— Отлично,— сказал Юй, слегка наклонившись к говорившему.

— Но самое неотложное — это поскорее отправить большой плот за учеными и перевезти их сюда, на плоскогорье,— сказал третий сановник.— Кроме того, следует послать кого-нибудь в страну Цигун, рассказать о том, как мы почитаем культуру, и сообщить, что свое ежемесячное вспомоществование они могут отныне направлять непосредственно нам. Вот здесь есть петиция, составленная учеными, и весьма толковая: они считают, что культура является жизненной артерией нации, а ученые — душа культуры. Пока существует культура, будет существовать и Цветущее Ся, все же остальное — вещи второстепенные.

— Они полагают, что Цветущее Ся слишком густо населено и что путь к благоденствию лежит через сокращение населения,— вновь заговорил первый сановник.— К тому же речь ведь идет о людях темных, чьи эмоции отнюдь не столь утонченны, как представляют себе мыслители. При оценке людей и событий субъективные взгляды — самое главное. Вот, к примеру, Шекспир.

«Пошли вы все к чертовой матери»,— подумал про себя Юй, а вслух громко произнес:

— Я провел обследование прежних способов усмирения вод и нашел, что устройство запруд действительно было ошибкой. Впредь нужно будет отводить хляби в море. А каково ваше мнение, господа?

Стало тихо, как на кладбище, лица у сановников покрылись мертвенной бледностью. Многие почувствовали себя больными и подумали — не остаться ли завтра им дома.

— Это же способ Чи Ю! — возмущенно прошептал один храбрый чиновник из молодых.

— Позвольте вашему покорному слуге заметить, что, по его непросвещенному мнению, вашей милости следовало бы пересмотреть свое решение,— тоном категорического протеста заявил седобородый и седовласый сановник; ему представилось, что судьба Поднебесной сейчас зависит от его речи, и он набрался твердости, забыв даже думать о собственной судьбе.— Ведь устройство запруд — это способ его милости, вашего батюшки. «Три года не отклоняться от пути отца — в этом и состоит сыновняя почтительность». А еще не прошло трех лет с тех пор, как его милость поднялась на небо.

Юй не проронил ни звука.

— К тому же ваш батюшка потратил столько сил и энергии! Он украл у верховного божества волшебную землю, чтобы с ее помощью строить запруды. Это навлекло на него божий

гнев, зато воды поубавилось. Так что, по-видимому, лучше действовать прежним способом,— сказал другой сановник, с проседью, который был приемным сыном дяди Юя по материнской линии.

Юй не проронил ни звука.

— Мне кажется, что вашей милости все-таки лучше «содеять то, что не удалось родителю»,— громко и слегка пренебрежительно сказал один толстый чиновник с блестевшим от пота лицом, который принял молчание Юя за готовность покориться.— Следовать семейной традиции — значит восстановить репутацию семьи. Ваша милость, возможно, не знает, как отзываются люди о вашем батюшке...

Тут его перебил седобородый и седовласый старик сановник, испугавшийся, что толстяк скажет что-нибудь не то:

— Одним словом, устройство запруд — метод, признанный всем миром. Прочие же, так называемые «модерные», штучки и погубили в свое время Чи Ю.

Юй усмехнулся:

— Все это я слышал. Одни утверждают, что мой папаша превратился в бурого медведя; другие — что он стал трехлапой черепахой; третьи говорят, что я гонюсь за славой и выгодой. Ну и пусть. Я же вот что скажу: я обследовал горы и водоемы и поговорил с народом. Действительное положение дел мне известно, и решение принято — в любом случае будем направлять воды в море. Все мои сотрудники согласны со мной.

Он указал на сидевших по обе стороны от него. Чиновники — седовласые, с проседью, с изнеженными лицами, толстые и потные, толстые, но не потные — последовали взглядом за движением его пальца, но увидели лишь сидевших в ряд черных и худых субъектов, похожих на нищих, неподвижных, молчаливых, неулыбчивых, словно отлитых из железа.

4

После ухода Юя время неслось удивительно быстро. Столица исподволь стала приобретать черты процветающего города. Кое-кто из состоятельных людей уже надел шелковый халат; во фруктовых лавках появились мандарины и грейпфруты, а в магазинах тканей — пестрые шелка. Богачи стали подавать на пирах первосортный соевый соус, акульи плавники в прозрачном желе и трепанги с холодным гарниром. Они завели себе подстилки из медвежьих шкур и куртки на лисьем меху, а их

супруги щеголяли в сережках из червонного золота и в серебряных браслетах.

Достаточно было постоять у ворот дома, чтобы наверняка увидеть какую-нибудь новинку: сегодня проедет телега с бамбуковыми стрелами, завтра привезут партию сосновых досок. То притащат камень необычной формы для сооружения искусственной горы, то пронесут свежую рыбу, из которой делают строганину. Иногда можно было видеть, как к императорской резиденции шла подвода с корзинами, плетенными из бамбука; в них лежали, втянув головы в панцири, большие — локтя полтора в длину — черепахи.

— Мама, глянь, какие здоровые черепахи! — кричали при виде их ребятишки и, слетевшись стаей, облепляли повозки.

— Убирайтесь, бесенята, да поживей! Это лакомства его величества, чуть что не так, недолго и головы лишиться!

Надо сказать, что новости о Юе росли в той же пропорции, что и редкостные вещи, привозимые в столицу. Возле жилищ простолюдинов, в тени придорожных деревьев — везде можно было услышать рассказы о нем. Особенно часто говорили о том, как он по ночам превращался в бурого медведя, как клыками и когтями прорыл один за другим десять водоотводных каналов, как потом призвал небесных солдат и военачальников, вместе с ними схватил творившее всякие пакости чудовище Учжици и придавил его Черепашьей горой. Зато об августейшем государе Шуне никто более не вспоминал, лишь изредка поговаривали о его непутевом наследнике Дань-чжу.

Давно уже распространился слух о предстоящем возвращении Юя в столицу. Каждый день толпы людей собирались у застав посмотреть — не приближается ли его эскорт. Но никого не было. Тем не менее слухи становились все более настойчивыми и достоверными. Наконец одним неярким, но и не пасмурным утром он вступил в имперскую столицу Цзичжоу при большом скоплении народа. Никакого почетного эскорта не было, один лишь спутники, похожие на нищих. А позади всех шел здоровый, неуклюжий на вид мужчина с почерневшим от солнца лицом и седой бородой, со слегка искривленными ногами; в руках он держал большой заостренный кусок иссиня-черного камня — подаренный государем Шунем «Черный скипетр», и то и дело повторял, пробираясь сквозь толпу к императорскому дворцу:

— Прошу прощения, разрешите пройти! Позвольте, позвольте!

Перед воротами дворца народ радовался, толковал, шумел, как прибой на реке Чжэцзян.

Государь Шунь восседал на драконовом троне; он был уже стар и быстро уставал, а сейчас вдобавок ко всему казался немного испуганным. Едва Юй появился, как он поспешил вежливо подняться и приветствовал его. Но заговорил Шунь лишь после того, как господин Гао Яо произнес несколько приличествующих случаю фраз.

— И ты сказал бы мне что-нибудь хорошее...

— Гм, что же мне сказать? — довольно бесцеремонно ответил Юй.— Пожалуй, вот что: по-моему, нужно усердствовать каждый день!

— Как это — усердствовать? — спросил Гао Яо.

— Когда воды потопа вздымались к небу,— сказал Юй,— и, безбрежные, обнимали горы и заливали холмы, простой люд барахтался в воде. Я ездил в колесницах посуху, ездил на лодках по воде, передвигался на санях по топям, в паланкине — по горам. На горах я вырубал деревья и вместе с И давал людям рис и мясо. Я спускал воду с полей в реки, воду из рек отводил в море и вместе с Цзи утолял голод людей. Когда съестного не хватало, мы привозили пищу оттуда, где она была в избытке, или же переселяли людей. Тогда народ успокоился, и везде воцарился порядок.

— Верно, верно, хорошо сказано! — похвалил его Гао Яо.

— Да,— сказал Юй,— государю подобает осмотрительность и спокойствие. Будешь честен перед небом, и небо воздаст тебе добром.

Шунь вздохнул и поручил Юю управлять делами государства с тем условием, что все замечания он будет высказывать прямо, не распуская тайком порочащих слухов. Когда же Юй дал полное согласие, он еще раз вздохнул и произнес:

— Не уподобляйся Дань-чжу — он никого не желает слушать, предается разгулу, хочет ездить на корабле посуху, дома буянит, никому покоя не дает... Глаза бы мои не смотрели!

Юй отвечал:

— Я ушел из дома спустя четыре дня после женитьбы. Когда же родился А-ци, я не заботился о нем, как подобает отцу. Только поэтому я смог усмирить потоп, разделил землю на пять поясов, общей длиною в пять тысяч ли, и двенадцать областей, простирающихся до самого моря. Я назначил пять предводителей, и все они хороши, кроме властителя мяо — за этим негодником следует смотреть в оба!

Тут и Шунь похвалил его:

— Только твоими трудами наведен порядок в моей Поднебесной.

Вслед за Шунем Гао Яо тоже принял почтительную позу и склонил голову; а когда аудиенция закончилась, он издал специальный указ, коим народу предписывалось брать пример с Юя, причем ослушавшиеся немедленно зачислялись в преступники.

Поначалу это вызвало среди купцов панику. Но, на их счастье, после возвращения в столицу Юй стал вести себя несколько иначе. В еде и питье он оставался неприхотлив, но жертвоприношения и богослужения обставлял роскошно; одевался весьма небрежно, но на аудиенции и визиты приходил в красивом платье. Так что торговля почти не страдала, и вскоре купцы стали говорить, что поступкам Юя и впрямь стоит подражать и что новый указ Гао Яо отнюдь не плох. В конце концов настало такое благоденствие, что все звери пустились в пляс и прилетела чета благовещих фениксов.

Ноябрь 1935 г.

ЗА ПАПОРОТНИКОМ

1

В последние полгода даже в приюте для престарелых стало почему-то беспокойно, старики о чем-то шушукались, в возбуждении сновали туда и обратно. Один Бо-и, равнодушный к мирской суете и, по старости лет, постоянно опасавшийся простуды, с наступлением осенних холодов целыми днями сидел на крыльце, греясь на солнце. Он не поднял головы, даже когда раздались торопливые шаги:

— Брат!

Он узнал голос Шу-ци. Всегда предупредительный, Бо-и слегка приподнялся и, не глядя на брата, жестом пригласил его сесть рядом.

— Плохи дела, брат! — Голос у Шу-ци дрожал; тяжело дыша, он опустился на крыльцо.

— А что случилось? — Бо-и наконец взглянул на брата; Шу-ци показался ему бледнее обычного.

— Вы, конечно, слышали, что от шанского царя к нам бежали двое слепых?

— Да, Сань И-шэн что-то такое недавно рассказывал, но я не придал этому значения.

— Сегодня я был у них. Это старший учитель музыки — Цы и младший учитель — Цян, они привезли с собой кучу инструментов, говорят, недавно была выставка, все от нее без ума и будто бы уже решено начать войну.

— Войну из-за инструментов? Но ведь это противоречит принципам древних государей,— с трудом выговорил Бо-и.

— Не только из-за инструментов. Разве вы не слыхали, что шанский царь попрал законы морали, что он велел отрубить ноги прохожему, который по утрам, не боясь холодной воды, переходил реку вброд, чтобы узнать, какой у него костный мозг? Или о том, как он приказал вырвать сердце у Би Ганя, своего родича, чтобы проверить, действительно ли в сердце у мудреца семь отверстий? Это считали баснями, но с приездом слепых все подтвердилось. Они к тому же неопровержимо засвидетельствовали, что шанский царь внес хаос и сумятицу в древние мелодии. А из-за этого, оказывается, можно начать войну. Но ведь когда низший покушается на высшего, это тоже противоречит принципам древних государей...

— Лепешки день ото дня становятся меньше — видно, и вправду быть беде,— сказал Бо-и, помолчав.— А тебе, по-моему, следует пореже выходить за ворота и поменьше болтать — занимайся лучше своей гимнастикой!

— Хорошо...— смиренно сказал Шу-ци.

— Сам подумай,— продолжал Бо-и, зная, что в душе брат продолжает упорствовать,— мы здесь чужие и живем лишь благодаря милостям Западного князя, который в свое время позаботился о престарелых. Так что лепешки ли уменьшаются, события ли какие назревают, наше с тобой дело — помалкивать.

— Выходит, мы живем только ради пропитания?

— Болтать надо поменьше. Да у меня и сил нет все это выслушивать.

Бо-и закашлялся, и Шу-ци больше не раскрывал рта. Когда приступ кашля прошел, воцарилась тишина. На седые бороды старцев упали последние лучи осеннего солнца.

2

Между тем тревога росла: лепешки не только уменьшались в размере — они стали грубее и темнее. Жители приюта все чаще шептались, а с улицы все чаще долетали ржание коней и грохот колесниц. Шу-ци каждый раз выходил за ворота, но, возвращаясь, ничего не рассказывал брату, и все же его возбуж-

дение передавалось и Бо-и: тот будто чувствовал, что ему уже недолго осталось спокойно есть свой рис.

Однажды, это было в конце одиннадцатой луны, Шу-ци, как обычно, встал рано утром, чтобы заняться своими упражнениями. Но, выйдя во двор, услыхал шум и, распахнув ворота, выбежал на улицу. По прошествии времени, которого хватило бы на то, чтобы испечь с десяток лепешек, он прибежал, запыхавшись; нос его покраснел от холода, изо рта клубами валил пар.

— Брат! Вставайте! Война! — почтительно вытянувшись перед Бо-и, крикнул он каким-то хриплым, будто чужим голосом.

Зябкому Бо-и очень не хотелось вылезать из постели в такую рань, но он любил брата. Увидев его в таком возбуждении, он, пересиливая себя, приподнялся, накинул теплый халат и принялся с трудом натягивать под одеялом штаны.

Пока он одевался, Шу-ци рассказывал:

— Только я хотел заняться гимнастикой, вдруг — слышу, будто по улице люди идут, кони скачут; выбегаю на дорогу — так и есть. Впереди большой паланкин, весь в белом шелку, одних носильщиков — человек восемьдесят, на паланкине — деревянная скрижаль с надписью: «Обитель души Вэнь-вана, повелителя Великой Чжоу», за паланкином идут солдаты. Так и есть, думаю: пошли войной на шанского царя. Нынешний князь слывет почтительным сыном: раз уж замыслил важное дело, значит, непременно выставит вперед Вэнь-вана. Бегу я назад и вдруг вижу: на стене нашей богадельни — манифест...

Бо-и оделся, братья вышли из дому и сразу съежились от холода. Бо-и редко выходил на улицу, за воротами приюта все показалось ему непривычным. Не прошли они и нескольких шагов, как Шу-ци указал рукой на стену, где был вывешен пространный «Манифест»:

«Стало Нам известно, что нынешний шанский царь, именуемый Чжоу, поддавшись наущениям женщины, порвал с Небом, внес хаос в летосчисление, отдалил от себя родичей. Следуя советам женщины, он пренебрег музыкою предков, заглушив и осквернив истинные песнопения непристойными песенками. Посему Мы, царь Фа, смиренно взяли на Себя осуществление Небесной Кары. Напряжем же все силы, о мужи, да не повторится сие ни дважды, ни трижды! О чем и уведомляем подданных».

Дочитав «Манифест», старики молча направились к дороге. По обочинам теснился народ, толпа была такой плотной, что

сквозь нее не просочилась бы и капля воды. Братья попросили пропустить их. Зеваки обернулись, увидели седобородых старцев и, повинуясь высочайшему указу Вэнь-вана о почитании престарелых, поспешно расступились и пропустили их. Деревянная скрижаль, которую несли впереди шествия, давно исчезла из виду; теперь шли колонны латников. Когда прошло примерно столько времени, сколько требуется, чтобы испечь триста пятьдесят две больших лепешки, показалось множество солдат с парадными знаменами, похожими на разноцветные облака. За ними снова шли латники, а за латниками множество военных и гражданских чинов ехали верхом, тесным кольцом окружив своего повелителя. Повелитель был смуглолиц, с небольшой бородкой; в левой руке он держал желтый топор, в правой — белый бычий хвост; вид он имел грозный и величавый. Это и был сам чжоуский царь Фа, «смиренно взявший на Себя осуществление Небесной Кары».

Люди, стоявшие толпой по обочинам дороги, почтительно замерли в молчании, не смея шевельнуться. Таща за собой Бо-и, Шу-ци упорно пробирался вперед. Никто его не останавливал. Проскользнув между конскими головами, он схватил за удила княжеского коня и крикнул, вытянув шею:

— Не успел похоронить отца, а уже отправился в поход,— это ли сыновняя почтительность? Вассал, а злоумышляешь против государя,— это ли гуманность?..

В первое мгновение народ на обочинах дороги и окружавшие князя военачальники оцепенели от ужаса; даже белый бычий хвост в руке у князя скривился и поник. Но едва только Шу-ци произнес эти несколько слов, как туча мечей, со свистом рассекая воздух, поднялась над головами стариков, готовая немедля обрушиться на них.

— Стойте!

Узнав голос Цзян Тай-гуна, никто не посмел ослушаться, мечи застыли в воздухе, и все глаза устремились на всесильного министра: он был таким же седовласым и седобородым, как старцы, только полнолицым.

— Отпустите их! Это же праведники!

Военачальники мгновенно отвели мечи и сунули их за пояс. Вслед за тем к Бо-и и Шу-ци подошли четверо латников, почтительно вытянулись перед ними, отдали честь, подхватили их под руки и, печатая шаг, направились к обочине. Толпа поспешно расступилась.

Выйдя на свободное место, латники снова встали навытяжку, поставили братьев на землю и дали им хорошего пинка.

Охнув, старики, перекувыркнувшись в воздухе, пролетели с целый чжоуский чжан и грохнулись на землю. Шу-ци еще повезло: он упал на руки, шлепнувшись лицом в грязь: а Бо-и, более дряхлый, ударившись головой о камень, тут же лишился чувств.

3

Армия прошла, глазеть больше было не на что, и все обратились к новому зрелищу: обступили лежащего Бо-и и сидящего Шу-ци. Кто-то узнал старцев и тут же начал рассказывать их историю: наследники правителя страны Гучжу, что лежит далеко на западе, они, уступая друг другу трон, кончили тем, что бежали сюда и попали в приют для престарелых, учрежденный покойным государем. Рассказ вызвал шумное одобрение; теперь одни, присев на корточки, старались заглянуть в лицо Шу-ци, другие кинулись домой за целебным настоем; кто-то сообщил о происшествии в приют, требуя, чтобы оттуда поскорее притащили носилки и забрали стариков.

За время, которое протекло после этого, можно было бы испечь целую сотню, а то и больше лепешек, однако все оставалось по-прежнему, и зеваки начали расходиться. Наконец приковыляли двое стариков; они притащили створку двери, устланную соломой и служившую носилками: так, в соответствии с предписаниями Вэнь-вана, полагалось чтить старость. От грохота доски, брошенной на землю, Бо-и пришел в себя и открыл глаза. Шу-ци вскрикнул от радости, помог старикам уложить Бо-и на доску, а сам пошел следом, держась за веревку, которая свешивалась с доски.

Они уже прошли несколько десятков шагов, когда вдруг услыхали крик:

— Эй! Погодите! Я несу лекарство!

К ним торопилась молодая женщина с горшком в руках, но идти быстро она не могла, видимо, боясь расплескать жидкость.

Пришлось ее подождать. Шу-ци рассыпался в благодарностях. Женщина была слегка разочарована, когда увидела, что Бо-и уже очнулся, но, подумав немного, стала уговаривать его все же выпить лекарство — чтобы согреть желудок. Бо-и, который терпеть не мог горького, упорно отказывался.

— Что же теперь делать? Ведь это настой восьмилетней выдержки. Такого вам никто не принесет. А горького и у нас в семье не терпят...— Она была явно обескуражена.

Взяв у женщины горшок, Шу-ци насилу уговорил Бо-и сделать глоток-другой, после чего, сославшись на боли в собственном желудке, одним духом выпил все, что осталось. С похвалой отозвавшись о сильном действии напитка,— у него даже глаза покраснели,— Шу-ци еще раз вежливо поблагодарил женщину, и на этом инцидент был исчерпан.

Когда они вернулись в приют, боль от ушиба совсем прошла, и уже на третий день — несмотря на большую шишку на лбу и потерю аппетита,— Бо-и мог встать с постели.

Не желая оставлять обитателей приюта в стороне от происходящего, начальство то и дело подбрасывало им разные будоражащие новости — в форме правительственных сообщений или последних известий. Так, в конце двенадцатой луны стало известно, что великая армия в районе Мэнцзиня переправилась через Хуанхэ и что вся знать участвовала в операции. Вскоре прибыла копия «Великой клятвы» У-вана, данной им перед войсками. Ее переписали специально для престарелых, принимая во внимание их слабое зрение: каждый иероглиф был размером с грецкий орех. Бо-и и на сей раз поленился прочесть сам, и Шу-ци все прочел ему вслух, от начала до конца; ничего нового не было, а отдельные выражения, вроде «самолично отрекся от предков, расстроил жертвоприношения, в ослеплении забросил дела семейные и государственные...» подействовали на стариков удручающе.

Не было недостатка и в слухах: одни утверждали, будто чжоуская армия дала на Пастушьем поле большое сражение шанскому войску, причем резня была такая, что трупы врагов усеяли поле, кровь лилась рекой, а в реках крови, будто соломинки, плавали деревянные палицы; другие же уверяли, что семисоттысячное войско шанского царя просто-напросто уклонилось от боя: увидев, что чжоускую армию ведет сам Цзян Тайгун, шанские солдаты повернули вспять, открыв тем самым путь У-вану.

Версии были несколько противоречивы, но в победоносном завершении войны сомневаться как будто бы не приходилось. Это подтверждалось и упорными слухами о несметных сокровищах, вывезенных из Оленьей башни, об отборном рисе, захваченном на Большом мосту. Во множестве начали возвращаться раненые, что также как будто свидетельствовало о крупных сражениях. Все инвалиды, способные хоть как-то передвигаться, сидели теперь по чайным, кабакам, цирюльням, а то и просто где-нибудь во дворе или у ворот, рассказывая о сражениях, и каждого окружала толпа восторженных слушателей. С на-

ступлением весны и тепла вдохновенные рассказы ветеранов нередко затягивались за полночь.

Страдая несварением желудка, Бо-и и Шу-ци обычно не съедали положенную им порцию лепешек; как и прежде, с наступлением темноты, они ложились спать, но уснуть не могли. Бо-и без конца ворочался в постели, а на Шу-ци это нагоняло такую тоску, что он частенько вставал и, накинув на себя одежду, выходил во двор — пройтись или размяться.

Как-то раз, в безлунную, звездную ночь, когда все уже мирно спали, у ворот богадельни шла беседа. Шу-ци, не имевший обыкновения подслушивать чужие разговоры, на этот раз почему-то замедлил шаг и прислушался.

— Шанский-то царь, так его и растак, сразу побежал к Оленьей башне,— рассказывал кто-то, судя по всему, инвалид, вернувшийся с войны.— Сгреб в кучу, так его и разэтак, свои сокровища, сам сел посередке, да все и поджег.

— Ах ты, жалость-то какая! — послышался голос привратника.

— Погоди! Сгорел-то он, а не сокровища. А наш великий государь со своей высокой свитой вступил в пределы Шанского государства. Жители встретили его за городскими воротами. Государь приказал своим сановникам пожелать населению счастья, а жители так и кинулись ему в ноги. И везде, где он проезжал, на всех воротах — одно только слово большими буквами: «верноподданные». Государь проследовал на колеснице к Оленьей башне, отыскал тело шанского царя, который наложил на себя руки, да и выпустил по нему три стрелы...

— Это зачем же? Боялся, что тот еще живой? — спросил кто-то.

— Кто его знает. Выпустил, и все. Потом рубанул его разок легким мечом, а желтым топором отрубил голову — только хряснула — и подвесил к большому белому знамени.

Шу-ци стало не по себе.

— Потом пошел искать наложниц Чжоу-вана. А они уж удавились обе. Государь и в них пустил три стрелы, рубанул мечом, отрубил им головы черным топором и подвесил к малому белому знамени. Так вот оно и...

— А правду говорят, будто наложницы эти красавицами были? — перебил его привратник.

— Точно не скажу. Повесили их высоко, народу поглядеть на них сбежалось много, а у меня рана разболелась, я и не стал толкаться.

— А та, которую Да-цзи звали, была, говорят, лисицей,

только ноги не сумела сделать себе человечьи и потому тряпкой их обертывала, правда это?

— Кто ее знает. Ног ее я тоже не видал. Только у многих тамошних баб ноги и вправду смахивают на свиные копытца.

Услышав, что разговор от головы императора перешел к женским ножкам, Шу-ци, человек строгих правил, нахмурился, поспешно заткнул уши и бросился в дом. Бо-и, который все еще не спал, тихо спросил:

— Опять занимался гимнастикой?

Не отвечая, Шу-ци медленно прошел к постели Бо-и, сел на краешек и, наклонившись к брату, рассказал ему все, что слышал. После этого оба долго молчали; наконец Шу-ци, тяжело вздохнув, печально сказал:

— Кто бы подумал, что будут попраны все установления Вэнь-вана... мало того, что нынешний князь к отцу непочтителен, так еще и бесчеловечен... а раз так, мы не можем больше есть здешний хлеб.

— Что же делать? — спросил Бо-и.

— Думаю, что нам лучше уйти...

И, посовещавшись, братья решили завтра же с утра покинуть приют, чтобы не есть больше чжоуских лепешек. Из вещей они ничего не возьмут. Они пойдут на гору Хуашань и доживут там свой век, питаясь листьями и дикими плодами. «Небо справедливо и не оставит добрых людей». Как знать, быть может, там найдется что-нибудь еще — вроде лекарственных грибов или осота...

Решение было принято, и на душе у стариков стало легко. Шу-ци разделся и лег, и вскоре услышал, как Бо-и что-то бормочет во сне; сам он тоже почувствовал прилив сил, ему даже почудился нежный аромат грибов... И с этим ощущением Шу-ци заснул крепким сном.

4

На другое утро братья проснулись раньше обычного, умылись, причесались, взяли оставшиеся лепешки, прихватили палки и вышли через главные ворота — будто бы на прогулку. Из вещей они ничего не взяли, да и нечего было брать, кроме старых, подбитых барашком, халатов, с которыми они никогда не расставались. Старики чувствовали, что уходят из приюта навсегда; это было нелегко — и они то и дело оглядывались.

Прохожих встречалось мало; только заспанные женщины спешили к колодцу за водой. Когда братья вышли на окраину,

солнце стояло уже высоко и прохожих стало больше. Чуть ли не каждый шагал с видом победителя, гордо подняв голову, однако старикам все, как обычно, уступали дорогу. Все чаще попадались деревья; на некоторых — их названий братья не знали — уже распускались почки: деревья словно бы окутал зеленовато-серый дымок; затесавшиеся между ними сосны и кипарисы казались в утренней дымке особенно зелеными.

Среди этого простора, приволья и красоты Бо-и и Шу-ци чувствовали себя помолодевшими, их шаг стал легким и свободным, на душе было радостно.

На следующий день, после полудня, братья подошли к развилку дороги и вежливо осведомились у оказавшегося неподалеку старика, куда им лучше идти.

— Какая жалость,— сказал старик,— приди вы чуть пораньше, могли бы продолжать путь вместе с табуном, который здесь прошел. Идите пока по этой дороге. Развилков будет еще много, там, дальше, спросите.

Шу-ци вспомнил, что в полдень их и впрямь обогнали какие-то инвалиды с большим табуном дряхлых, тощих, хромых и облезлых лошадей. Табун внезапно появился у них за спиной и едва их не затоптал. Теперь, пользуясь случаем, Шу-ци решил узнать, куда и зачем гнали лошадей.

— А вы разве не слышали? — удивился старик.— После того как наш великий государь «смиренно совершил Небесную Кару», нет больше надобности поднимать массы и двигать войска — вот коней и пустили пастись у подножия горы Хуашань. «И вернули коней на южный склон горы Хуашань», помните? Осталось лишь «пустить волов на луг у Персиковой рощи»! Похоже, что на этот раз люди и вправду смогут наконец-то мирно есть свой хлеб.

Стариков будто окатили ледяной водой, они почувствовали озноб, но, овладев собой, спокойно, без дрожи в голосе, поблагодарили старика и зашагали дальше по указанному им пути. Увы, «возвращение коней на южный склон горы Хуашань» растоптало все их надежды, поселив в душе смятение и неуверенность в будущем.

Молча, в стеснении сердца, продолжали они свой путь и к вечеру подошли к невысокому холму из желтого лесса, поросшему редким леском. В лесу виднелось несколько глинобитных хижинок, и старики еще по дороге решили попроситься туда на ночь.

До холма оставалось всего несколько шагов, когда из леска выскочили пятеро здоровенных молодцов свирепого вида, в

рваном платье, с белыми повязками на головах. В руке у главаря был нож, у остальных — дубины. Молодчики сбежали с холма, выстроились в ряд поперек дороги, все разом вежливо кивнули головой и громко закричали:

— Привет, почтеннейшие!

Старики в испуге попятились. Бо-и затрясся от страха; Шу-ци был посмелее: он решительно шагнул вперед и спросил молодцов, кто они такие и чего хотят.

— Я — Цюн-ци Младший, владыка горы Хуашань,— ответил молодчик с ножом,— вот привел братишек, чтобы, в обмен за свободный проезд, попросить у господ деньжат!

— Откуда же, владыка, у нас деньги? — робко возразил Шу-ци.— Мы ведь из богадельни.

— Да что вы! — изумился Цюн-ци и сразу перешел на почтительный тон: — Так, значит, вы и есть те самые «великие старцы Поднебесной»? Мы тоже чтим заветы покойного государя и весьма почитаем стариков, а посему и просим вас, господа, оставить нам на память какую-нибудь безделицу...

Видя, что Шу-ци молчит, он поиграл ножом и продолжал, повысив голос:

— Но если господа так скромны, мы вынуждены будем, смиряясь перед Небесной волей, почтительнейше вас обыскать и всепокорнейше обшарить!

Братья тут же подняли руки. Один из молодцов с дубиной расстегнул на них халаты на меху, теплые куртки и рубашки и все тщательно прощупал.

— У этих голодранцев и вправду ничего нет! — сказал он, повернувшись к Цюн-ци Младшему. На лице его было разочарование.

Заметив, что Бо-и дрожит, Цюн-ци подошел к нему и сказал, ласково потрепав по плечу:

— Не надо бояться. Это шанхайские бандиты имеют обыкновение «обдирать свиней», а мы люди культурные и такими делами не занимаемся. Раз у вас нет сувениров, что ж, будем считать, что нам не повезло. Ну, а теперь катитесь отсюда!

Не найдясь, что сказать, не успев даже натянуть как следует платье, не поднимая глаз, Бо-и и Шу-ци стремительно бросились вперед. Пятерка посторонилась, уступая дорогу, и, почтительно вытянув руки по швам, хором прокричала им вслед:

— Уже уходите? И чаю не попьете?

— Спасибо, не хочется...— крикнули на бегу старики, не переставая почтительно кивать головой...

5

«Возвращение коней на южный склон горы Хуашань» и появление владыки горы Цюн-ци Младшего нагнали страху на праведных мужей. Посовещавшись, они повернули на север. Питаясь подаяниями, передвигаясь днем и отдыхая по ночам, они пришли наконец к горе Шоуяншань.

Это была превосходная гора, не слишком высокая и не слишком крутая. Здесь не было больших лесов, и можно было не опасаться тигров, волков или разбойников: словом, сущий рай для отшельников. Подойдя к горе вплотную, старики увидали нежно-зеленую молодую листву, золотисто-желтую землю и распустившиеся в траве мелкие розовые цветочки. Уже один вид горы радовал глаз и сердце. Полные радости, постукивая палками, братья шаг за шагом поднимались по горной тропинке. Отыскав наверху что-то похожее на выступ скалы над пещерой, они уселись там, вытирая пот и тяжело дыша.

Солнце заходило, усталые птицы с громким щебетанием возвращались в рощу, нарушая прозрачную тишину, окружавшую братьев, когда они поднимались на гору, но и теперь все продолжало им казаться новым и необычным. Шу-ци расстелил на земле халаты, но, прежде чем отойти ко сну, вытащил два узелка с едой, и вместе с Бо-и они съели все до крошки. Это были остатки милостыни, собранной по дороге; поскольку, лишь поднявшись на гору Шоуяншань, можно было приступить к исполнению обета «не есть чжоуского хлеба», они в тот же вечер доели его весь, с тем чтобы уже с завтрашнего дня твердо, без малейших послаблений, держаться принципа.

На рассвете стариков разбудили вороны, они снова заснули и проснулись уже ближе к полудню. Бо-и жаловался на боли в пояснице, а ноги у него ныли так, что он не мог подняться. Пришлось Шу-ци одному отправиться на поиски чего-нибудь съедобного. Тут-то и обнаружилось: то, что гора Шоуяншань была не крутой и не высокой, то, что на ней не было тигров, волков и разбойников, было, бесспорно, ее достоинством, но это же было и ее недостатком — под горой оказалась деревня с таким же названием, поэтому не только старики или женщины постоянно ходили сюда за дровами, но и дети любили здесь играть в свои игры; съедобных диких плодов или чего-нибудь похожего не было и в помине, все давно было обобрано.

Тогда он вспомнил о целебных грибах. На горе были сосны, но не старые, и вряд ли на их корнях росли грибы. А если бы и росли, то без мотыги их не достанешь, а мотыги у него не

было. Вспомнил он и об осоте, но ему доводилось видеть только корни, он и понятия не имел, как выглядят листья этого растения: если бы даже осот рос у него перед носом, он бы его не узнал. А выдергивать на горе каждую травинку, чтобы посмотреть, какой у нее корешок, нечего было и думать. Шу-ци бросило в жар, лицо его запылало, он принялся скрести в затылке.

И сразу успокоился — будто его осенило. Он подошел к сосне, нарвал охапку хвои, нашел на берегу ручья два камня, снял и растер зеленую кожицу с иголок, промыл, еще раз тщательно растер и скатал в лепешку, отыскал еще один камень, тонкий и плоский, и вернулся со всем этим добром в пещеру.

— Ну, нашел что-нибудь? — нетерпеливо спросил Бо-и.— А то у меня от голода в животе урчит.

— Ничего нет. Попробуйте, братец, вот это.

Шу-ци поставил рядышком два камня, плоский камень положил сверху, а на него — хвойное тесто, набрал сухих веток и вздул огонь. Прошло довольно много времени, прежде чем послышалось легкое шипение сырого соснового теста и распространился тонкий аромат, от которого у стариков потекли слюнки. Довольный Шу-ци заулыбался: рецепт этого кушанья он узнал на пиру, когда ходил поздравлять министра Цзян Тайгуна с восьмидесятипятилетием.

Тесто запузырилось и стало понемногу подсыхать, на глазах превращаясь в лепешку. Обернув руку рукавом халата, Шу-ци, радостно хихикая, положил плоский камень с лепешкой перед Бо-и. Тот подул на нее, попробовал отломить кусочек, с трудом отломил и торопливо сунул в рот.

Чем дольше он жевал, тем сильнее морщился, наконец, вытянув шею, выплюнул с отвращением и, укоризненно глядя на Шу-ци, запинаясь, произнес:

— Горько... рот дерет...

Шу-ци будто свалился в омут, все его надежды рухнули. Дрожащей рукой он отщипнул кусочек, разжевал: даже подобия не было чего-то съедобного, и впрямь горько... рот дерет...

Шу-ци сразу сник и бессильно опустился на землю, уронив голову. Но продолжал думать, мучительно думать, словно пытаясь выкарабкаться из омута. Размышляя, он вдруг представил себя ребенком: он, наследник правителя страны Гучжу, сидит на коленях у няньки. Нянька эта — деревенская и рассказывает ему сказки: о том, как Хуан-ди победил злого Чи Ю, а великий Юй усмирил страшное чудовище Учжици, а еще о том, как в голодные годы деревенские жители ели папоротник.

Еще он вспомнил, как расспрашивал ее о папоротнике: какой он бывает, и тут же подумал, что видел недавно такое растение на горе. Ощутив вдруг прилив сил, Шу-ци встал, шагнул в заросли трав и стал искать.

Папоротника и вправду оказалось немало: не пройдя и одного ли, Шу-ци набрал с пол-охапки.

Он сполоснул папоротник в ручье и принес в пещеру; в качестве сковородки Шу-ци воспользовался тем же плоским камнем, на котором жарил лепешку из хвои. Листья быстро потемнели: папоротник был готов. На сей раз Шу-ци не рискнул предложить старшему брату первому попробовать кушанье. Он взял стебелек, положил себе в рот, зажмурился и стал жевать.

— Ну как? — нетерпеливо спросил Бо-и.

— Вкусно!

И старики, хихикая, принялись за жареный папоротник. Бо-и, как старший, съел на две пригоршни больше.

С тех пор они собирали папоротник каждый день. Сначала собирал один Шу-ци, а Бо-и занимался стряпней; потом, когда Бо-и почувствовал себя лучше, он тоже принял участие в заготовках. Меню стало разнообразнее: папоротниковый суп, папоротниковый бульон, соус из папоротника, тушеный папоротник, молодые побеги в бульоне, вяленые молодые листья...

Мало-помалу они оборвали весь папоротник, который рос поблизости от пещеры. Корешки, разумеется, остались в земле, но они не могли сразу же дать нового урожая. С каждым днем приходилось ходить за папоротником все дальше. Попробовали несколько раз сменить жилье, но результат был тот же. Да и новые места для жилья искать становилось все труднее: требовалось обилие папоротника и наличие ручья по соседству, а таких удобных мест даже на горе Шоуяншань оказалось немного. Шу-ци очень беспокоился за брата, который, находясь в преклонном возрасте, в любой момент мог схватить простуду. Он настойчиво уговаривал Бо-и сидеть дома и заниматься только стряпней, предоставив сбор папоротника ему, Шу-ци.

Бо-и уступил, и на душе у Шу-ци стало спокойнее. Но на горе Шоуяншань бывали люди, а у Бо-и от безделья изменился характер: прежде молчаливый, старик сделался словоохотливым, он вступал в перебранку с детьми и завязывал беседы с дровосеками. Однажды, оттого ли, что был в ударе, а может, оттого, что кто-то обозвал его старым попрошайкой, он проговорился, что они с братом — сыновья правителя страны Гучжу, которая находится далеко на Западе, и что сам он старший, а брат его — третий по счету сын государя. Их отец еще при жиз-

ни изъявил желание передать престол третьему сыну, но после смерти отца младший брат решительно отказался от престола в пользу старшего. Старший же, покоряясь отцовской воле и дабы не вызвать смуты, бежал из страны. Но младший тоже бежал! В пути они встретились и отправились вместе к Западному князю — Вэнь-вану, который и поместил их в богадельню. Кто мог подумать, что нынешний чжоуский князь, будучи вассалом, поднимет руку на государя! После этого им не оставалось ничего другого, как отказаться от чжоуского хлеба, бежать на гору Шоуяншань и питаться травами... К тому времени, когда Шу-ци узнал обо всем этом и подивился болтливости брата, новость успела распространиться, и ничего уже нельзя было поправить. Он и на этот раз не решился упрекнуть брата, только подумал про себя, что их отцу, не пожелавшему оставлять престол старшему сыну, и впрямь нельзя отказать в прозорливости...

Дурные предчувствия Шу-ци оправдались в полной мере: последствия оказались просто ужасными. Мало того, что теперь вся деревня с утра до вечера судачила о братьях — не было недостатка и в зеваках, спешивших на гору только за тем, чтобы на них поглазеть. Кто считал их знаменитостями, кто — чудаками, кто — музейной редкостью. Дошло до того, что от них уже не отставали ни на шаг: смотрели, как они рвут папоротник, окружали их тесным кольцом во время еды, жестикулируя, приставая с бесконечными расспросами, от которых у стариков голова шла кругом. И следовало всегда сохранять вежливость: стоило только нахмуриться, чтобы тут же прослыть «неуживчивыми».

Все же хорошего о братьях рассказывали больше, чем дурного. В конце концов взглянуть на них пришло даже несколько барышень и дам, однако на обратном пути гостьи лишь разочарованно качали головой: по их словам, их попросту надули, отшельники оказались «совсем некрасивыми».

Слухи о братьях-отшельниках вызвали наконец любопытство у самого господина Бин-цзюня Младшего — первого лица на деревне. Он приходился дальним родичем шанской государыне Да-цзи и совершал жертвенные возлияния на пирах. Зная изменчивость судьбы, он снарядил пятьдесят возов с вещами и взял восемьсот рабов с рабынями и явился со всем этим добром в распоряжение пресветлого чжоуского государя. К несчастью, произошло это всего лишь за несколько дней до того, как к мэнцзиньской переправе были стянуты войска, все были в хлопотах, и его просто не успели надлежащим образом пристроить.

Оставив ему сорок возов с вещами и семьсот пятьдесят рабов с рабынями и дав в придачу два цина плодородной земли у горы Шоуяншань, ему предложили поселиться в деревне и изучать триграммы. Господин Бин-цзюнь Младший проявлял также склонность и к литературным упражнениям и давно уже скучал в деревне, где все были неграмотны и ничего не смыслили в «общих курсах литературы». Он тут же велел подать паланкин и отправился к старикам поболтать о литературе, прежде всего — о поэзии, потому что был и поэтом, автором сборника стихов.

Но, усевшись в паланкин после беседы со стариками, он только покачал головой, а вернувшись домой, дал волю негодованию. Эти неучи совершенно не разбирались в поэзии. Во-первых, от нищеты: где уж там писать хорошие стихи, когда весь досуг уходит лишь на то, чтобы как-то прокормиться! Во-вторых, из-за «тенденциозности», которая лишала их стихи «искренности» и «теплоты»; в-третьих, из-за критицизма, лишавшего их «нежности» и «сердечности». Но особенного порицания заслуживал сам характер стариков, не характер, а сплошное противоречие. И господин Бин-цзюнь строго отчеканил:

— Вся земля в Поднебесной — собственность государя, так неужто и папоротник, который они едят, не принадлежит нашему владыке!

А Бо-и и Шу-ци между тем тощали день от дня. Виной тому были не посетители и связанные с ними хлопоты — напротив, гостей становилось все меньше. Беда была в том, что все меньше становилось и папоротника. На его поиски уходило все больше сил, а путь становился все длиннее.

Но беда одна не приходит: мало, что в колодец угодишь, так на тебя еще и камень сверху свалится!

Как-то раз они ели свой жареный папоротник; искали его долго и обедать сели уже за полдень. Вдруг к ним подошла незнакомая женщина лет двадцати, с виду — служанка из богатого дома, и спросила:

— Кушаете?

Шу-ци, обернувшись, поспешно заулыбался и закивал головой.

— А что это вы такое едите? — спросила женщина.

— Папоротник,— ответил Бо-и.

— Это зачем же?

— Потому что не хотим есть чжоуского хлеба...

Едва Бо-и начал говорить, как Шу-ци тут же бросил на него предостерегающий взгляд. Но девица, видно, была сообрази-

тельной, она все поняла с первого слова. И с холодной усмешкой строго отчеканила:

— Вся земля в Поднебесной — собственность государя, так неужто и паноротник, который вы едите, не принадлежит нашему владыке!

Фраза прозвучала четко и ясно, и конец ее будто громом поразил стариков — у них даже в голове помутилось. Когда же они пришли в себя — девчонки и след простыл. Паноротник, конечно, уже нельзя было есть — он не полез бы в горло; стыдно было даже смотреть на него и не было сил убрать его с глаз долой: руки будто отяжелели, их невозможно было поднять, словно в каждой было по несколько сот цзиней весу.

6

Дней двадцать спустя дровосеки нечаянно наткнулись на Бо-и и Шу-ци: они лежали мертвые в расщелине за гребнем горы, крепко прижавшись друг к другу. Тление еще не коснулось их тел: отчасти из-за истощения, отчасти оттого, что смерть, видимо, наступила недавно; однако халатов, подбитых барашком, при них уже не оказалось — они куда-то исчезли. Едва лишь новость успела дойти до деревни, как на гору хлынулись толпы зевак; они толклись и галдели до самой ночи. В конце концов несколько энтузиастов здесь же на горе и похоронили стариков, засыпав их желтой землей. Посовещавшись, решили поставить и могильную плиту с небольшой надписью в назидание потомству.

Писать в деревне никто не умел, пришлось просить Бинцзюня Младшего.

Тот ответил отказом.

— Не стоят эти канальи того, чтобы я о них писал,— заявил он.— Сбежали в богадельню, ну и жили бы там, так нет — полезли в политику; сбежали на гору Шоуяншань, ну и жили бы себе, так нет — полезли сочинять стихи; ну пусть бы даже сочиняли, так нет же, вместо того чтобы благодарить судьбу и служить чистому искусству — в критику пустились! Вы только взгляните: да разве подобные стихи смогут выдержать испытание временем?

Собираем травы дикие,
удалившись в горы Западные,
А злодеи и насильники
место прежних всюду заняли!

Времена мудрейших минули —
где преклоним наши головы?!
Смерть, приди! Судьбе не милы мы,
рок сулит страданья долгие...

— Что это такое? Поэзия — это нежность и теплота, искренность и сердечность. А здесь даже не жалобы — просто-напросто ругань! Одни шипы вместо цветов! Жалобы — это уже плохо, что же говорить о ругани? Но оставим литературу — ведь они отреклись от отцовского престола, какие же они после этого почтительные сыновья? А здесь занялись критикой правительства, что тем более не подобает благонамеренным подданным... нет, я отказываюсь писать!..

Неграмотные поселяне мало что уяснили из его рассуждений, но по гордо-негодующему тону поняли, что он решительно против и что лучше отступиться. На этом, собственно, похороны Бо-и и Шу-ци, можно считать, закончились.

В летние ночи, когда спадал зной и дел больше не было, о братьях иногда вспоминали. Кто говорил, что они умерли от старости, кто уверял, что от болезни; некоторые считали, что стариков прикончили бандиты, они, мол, и унесли их теплые халаты. А еще кто-то сказал, что на самом-то деле старики, скорей всего, сами уморили себя голодом: А-цзинь, служанка господина Бин-цзюня Младшего, рассказывала, как дней за десять до смерти стариков она ходила на гору и высмеяла их. Эти кретины всегда были слишком высокого о себе мнения, ну а тут, видно, сразу же разобиделись, сгоряча отказались от пищи, ну и доигрались — с голоду умерли.

После этого А-цзинь очень поднялась в общественном мнении, ее хвалили за находчивость, хотя кое-кто и поражался ее бессердечию.

Сама же А-цзинь считала, что не имеет к смерти стариков ни малейшего отношения. Она, конечно, ходила на гору и что-то там в шутку сказала, все это так, но ведь это была только шутка. И то, что два идиота решили после этого показать характер и отказались есть папоротник,— это тоже было, только умерли они не от этого. Напротив, ведь к ним было привалила большая удача.

— У Небесного Владыки доброе сердце,— рассказывала А-цзинь.— Он видел, в какое нелепое положение они себя поставили, видел, что их ждет голодная смерть, и приказал оленьей самке поить их молоком. Это ли не было величайшей удачей? Не сей, не паши, дров не руби — знай посиживай, а оленье молоко, что ни день, само в рот льется. Но ведь подлой кости

благородство неведомо. Этот младший-то, как его там звали, вошел во вкус, молока ему показалось мало. Пьет молоко, а про себя думает: а олениха-то жирная и, наверно, вкусная, вот бы убить ее да съесть. И уже тянется потихоньку за камнем. Только невдомек ему было, что олениха-то — животное догадливое, она мигом сообразила, что у него на уме, мелькнула, как дымок,— только ее и видели. А Небесному Владыке такая жадность показалась просто отвратительной, и он приказал олениху больше к ним не ходить. Что им оставалось, как не умереть с голоду? Так что вовсе это не из-за моих слов, а все из-за их же собственной жадности и обжорства!..

Дослушав рассказ, слушатели с облегчением вздохнули: у них будто гора свалилась с плеч. И если кто еще и вспоминал иногда о Бо-и и Шу-ци, то уже как-то смутно: где-то под скалой сидят на корточках два старика и, жадно работая челюстями, тряся седыми бородами, вовсю уминают оленину.

Декабрь 1935 г.

МЕЧ

1

Едва Мэй Цзянь-чи и его мать улеглись, как крыса принялась грызть крышку чана. Мэй Цзянь-чи в сердцах тихонько зашикал на нее. Сначала это возымело некоторое действие, но потом крыса попросту перестала обращать на него внимание и продолжала грызть. Громко крикнуть он не решался, боясь разбудить мать, которая, наработавшись за день, мгновенно уснула.

Спустя долгое время крыса, наконец, затихла. Он стал засыпать, как вдруг его испугал какой-то всплеск. Он открыл глаза и услышал, как скребутся когти о глиняную посуду.

«Ага! Чтоб ты сдохла, проклятая!» — подумал он со злорадством и осторожно сел. Потом он слез с постели и по освещенной луной комнате прошел за дверь. Нащупав кремень и трут, он зажег сосновую лучину и осветил внутренность чана. Так и есть! Туда свалилась крыса; воды уже оставалось немного, и она не могла выкарабкаться, а только ползала по кругу, царапая стенки чана. «Поделом тебе»,— обрадовался он, вспомнив, что эти крысы грызли по ночам домашнюю утварь, шумели и мешали ему спать.

Мэй Цзянь-чи всунул лучину в трещину глинобитной стены, решив позабавиться, однако маленькие круглые глазки вызвали отвращение. Он взял щепку и придавил ею крысу ко дну. Но немного погодя отпустил руку; крыса тут же всплыла и снова стала ползать по кругу, скребясь о стенки. Однако она ослабела, глаза ушли под воду, и торчал лишь острый красный носик, который учащенно и прерывисто дышал.

С некоторых пор он недолюбливал людей с красным носом, но этот острый красный носик вдруг вызвал в нем жалость, и он поддел крысу щепкой. Она схватилась за нее и, переведя дух, поползла наверх. Но когда показалась черная шерсть, с которой капала вода, большое брюхо и хвост, похожий на дождевого червя,— он снова почувствовал непреодолимое отвращение и стряхнул крысу со щепки; она опять плюхнулась в воду. Тогда он ударил ее несколько раз по голове, чтобы она поскорее утонула.

Когда он сменил шестую лучину, крыса уже не могла двигаться, а только колыхалась под водой и лишь иногда еле заметно дергалась, пытаясь вынырнуть. Мэй Цзянь-чи опять стало жалко ее, он переломил щепку и, зажав крысу с двух сторон, с трудом вытащил ее и положил на пол. Сначала крыса была совсем неподвижна, потом вздохнула. Спустя много времени лапы ее задвигались и она перевернулась, словно собираясь встать и убежать. Мэй Цзянь-чи испугался и торопливо наступил на крысу. Что-то хрустнуло. Присев на корточки и всмотревшись, он увидел возле рта крысы каплю крови; крыса, по-видимому, сдохла. Его охватило раскаяние, как будто он совершил злодейство, на душе стало тяжело.

Он сидел на корточках не двигаясь, не в силах подняться и бессмысленно уставившись на крысу.

— Чи, сынок, что ты делаешь? — спросила мать, проснувшись.

— Крыса...— коротко ответил он, быстро поднялся и отвернулся.

— Ну, крыса. Я знаю. Но что ты там делаешь? Убиваешь ее или спасаешь?

Он ничего не ответил. Лучина догорела. Он молча стоял в темноте, глядя на чистый свет луны.

— Ах,— вздохнула мать,— после полуночи тебе минет шестнадцать лет, а характером ты все такой же: ни рыба ни мясо, и ничуть не меняешься. Видно, некому будет отомстить за твоего отца.

Он посмотрел на мать. Она сидела, освещенная бледным светом луны, и вся дрожала, а в ее тихом голосе звучала беско-

Ломбард и аптека

Ян Кэ-ян

печная скорбь. У него мороз пробежал по коже, но через мгновение он почувствовал, как в нем закипела кровь.

— Отомстить за отца? Кому? — спросил он, потрясенный, подавшись вперед.

— Есть кому. И ты должен отомстить. Я давно собиралась рассказать тебе, да все откладывала, потому что ты был слишком мал. Теперь ты уже взрослый, а вот характер у тебя не изменился. Ну, как тут быть? Разве с твоим характером можно пойти на большое дело?

— Можно. Говори, мать. Я переменюсь...

— Ну, конечно. Что ж, придется рассказать. Должен же ты измениться. Ну, иди сюда!

Он подошел: мать сидела, выпрямившись на постели. Ее глаза сверкали в бледном свете луны.

— Слушай! — сказала она строго.— Твой отец был знаменитый оружейник, первый в Поднебесной. Инструменты его я давно уже продала, спасаясь от нищеты, ты их так и не увидел, но равного ему мастера на свете не было. Так вот, двадцать лет назад царская наложница родила кусок железа. Говорили, будто она зачала, обняв однажды железную колонну, и будто это было вороненое, прозрачное железо. Царь понял, что это редкое сокровище. Он решил выковать из него меч, чтобы защищать страну и самого себя от врагов. На беду, выбор пал на твоего отца. Он пришел домой с этим куском железа. Днем и ночью он закалял и ковал его, трудился целых три года и выковал два меча. Жутко было в тот день, когда он в последний раз развел огонь в горне. Задрожала земля, и с грохотом взвился вверх столб белого дыма. Он поднялся к небу, превратился в белые облака, и они закрыли все небо. И повсюду разлился темно-красный свет, от которого все вокруг зарозовело, словно зацвели персиковые деревья; у нас в доме, в черном горне, лежали два ярко-красных меча. Твой отец потихоньку обливал их самой свежей водой из колодца, и мечи темнели, шипя и жалобно скрежеща. Это длилось семь дней и семь ночей, и вот мечей не стало видно. Лишь приглядевшись получше, можно было увидеть, что на дне горна лежат две чистых, синеватых, прозрачных, как лед, полосы.

Радостный огонь блеснул в глазах твоего отца. Он взял мечи, бережно обтер их. Но у бровей и у рта легли горестные морщинки. Он уложил мечи в два футляра.

— Ты же видела, что творилось эти несколько дней; значит, все знают о том, что меч уже готов,— сказал он мне тихо.— Завтра я должен буду поднести его царю. Но день, когда я от-

дам меч, будет последним днем моей жизни. Мы расстаемся с тобой навсегда.

— Ты...— Я не поняла этих таинственных слов, испугалась и только смогла вымолвить: — Ты сделал для царя так много...

— Ах! Что ты знаешь! — воскликнул он.— Царь жесток и подозрителен. А теперь, когда я сделал ему меч, не имеющий равного себе по силе, он, конечно, убьет меня, чтобы я не сделал еще одного такого же и чтобы никто не мог сравняться с ним в силе или победить его.

Я заплакала.

— Не горюй. От судьбы не уйдешь, и слезы тут не помогут. Я давно уже все подготовил.

В глазах у него вдруг сверкнул огонь. Он положил один из футляров с мечом на колени.

— Это мужской меч,— сказал он,— возьми его. Завтра я понесу царю только женский меч. Не вернусь — считай, что меня нет в живых. Ты ведь уже на пятом или шестом месяце. Не горюй. Родится ребенок — воспитай его, как надо. А когда он станет взрослым, дай ему этот богатырский меч — пусть он отрубит царю голову и отомстит за меня!

— Вернулся в тот день отец? — нетерпеливо спросил Мэй Цзянь-чи.

— Не вернулся,— сурово ответила она.— Я спрашивала повсюду, но узнать ничего не могла. Потом услышала, как люди говорили, будто первым, кто напоил своей кровью меч, сделанный твоим отцом, был он сам — твой отец. Боясь, как бы душа его не причинила зла, они похоронили его голову и тело в разных местах: перед воротами и позади дома.

Мэй Цзянь-чи показалось, будто его жгут огнем, будто волосы встали дыбом и с каждого волоска слетают искры. Он до хруста сжал кулаки.

Мать встала, подняла доску в изголовье постели, зажгла лучину и, достав из-за двери заступ, передала его Мэй Цзянь-чи.

— Копай!

Сердце у Мэй Цзянь-чи учащенно билось, но копал он спокойно и размеренно. Сначала шел один лесс; на глубине около пяти локтей цвет земли немного изменился — похоже, там лежало перегнившее дерево.

— Смотри осторожнее,— сказала мать.

Мэй Цзянь-чи лег около вырытой ямы и со всей осторожностью стал разгребать руками древесную труху. Но вот паль-

цы его ощутили холод, словно наткнулись на лед, и из земли показался иссиня-черный, прозрачный меч. Нащупав рукоять, Мэй Цзянь-чи вытащил меч наружу.

Звезды и луна за окном и лучина в комнате — все померкло вдруг, и синий свет залил комнату. Меч совсем растворился в этом сиянии, точно его и не было. Лишь присмотревшись, Мэй Цзянь-чи разглядел клинок длиной более пяти локтей. Он не казался особенно острым, наоборот, на конце было утолщение, как у перышка лука.

— Будь же тверд душой! — сказала мать.— Возьми меч и иди мстить!

— Да, отныне я буду тверд душой! Возьму меч и пойду мстить.

— Этого-то я и хочу. Наденешь синюю одежду, а меч возьмешь на спину. Он тоже синий, его не разглядит никто. В путь отправишься завтра же. Одежду я уже припасла.— Мать указала на ящик для тряпок, стоявший за кроватью.— А обо мне не думай!

Мэй Цзянь-чи вытащил новую одежду, примерил — она пришлась ему в самый раз. Тогда он снял платье, завернул в него меч, положил у изголовья и спокойно лег.

Ему казалось, что он уже преодолел свою нерешительность: надо лечь на бок, думал он, и спокойно уснуть, а рано утром встать и, как ни в чем не бывало, не спеша отправиться на поиски обидчика — им двоим нет места под одним небом.

Но сон не шел к нему, он долго ворочался, потом сел. Он слышал, как, отчаявшись, тихонько вздыхала мать; слышал, как прокричали первые петухи — значит, время уже за полночь. Ему исполнилось шестнадцать лет.

2

Солнце еще не показалось на востоке, когда Мэй Цзянь-чи с опухшими глазами, одетый в синее, с вороненым мечом за спиною, не оборачиваясь, вышел за ворота и широко зашагал к городу. Роща криптомерий еще полна была запахов ночи. На каждой иголочке висели жемчужины-росинки. Но когда он дошел до конца рощи, росинки вспыхнули разноцветными огоньками; мгла постепенно рассеивалась, светало. Вдали смутно виднелись серые городские стены с башнями и бойницами.

Когда он вместе с крестьянами, несшими на рынок лук и прочие овощи, вошел в город, на улицах уже царило оживление.

Мужчины праздно стояли рядами вдоль улиц; из дверей то и дело высовывались женщины — у многих были заспанные глаза, растрепанные волосы, желтые лица, еще не напудренные и не подкрашенные.

Мэй Цзянь-чи почувствовал, что все взволнованны и с нетерпением ждут какого-то важного события.

Он пошел дальше; вдруг сзади на него налетел какой-то мальчуган и чуть не наткнулся на острие меча, висевшего у него за спиной; от испуга его прошиб холодный пот. Свернув к северу, он увидел неподалеку от царского дворца плотную толпу людей,— все они вытягивали шеи. Плакали дети, кричали женщины. Мэй Цзянь-чи боялся, как бы его невидимый богатырский меч не ранил кого-нибудь, и поэтому не решался войти в толпу; однако на него уже напирали. Пришлось осторожно отойти назад; впереди он по-прежнему видел одни спины и вытянутые шеи.

Внезапно все опустились на колени; в отдалении проскакали два всадника. Подняв тучи пыли, прошли воины со знаменами, вооруженные дубинками, копьями, мечами и луками. Затем появилась колесница, запряженная четверкой лошадей; сидевшие в ней люди били в колокола и барабаны, дули в какие-то дудки, названия которых он не знал. Вслед за первой колесницей показалась еще одна, заполненная стариками и толстыми карликами в расшитых одеждах, со сверкающими от пота лицами. За ней ехал отряд конников, вооруженных кинжалами, копьями, мечами и трезубцами. Люди пали ниц. В это время Мэй Цзянь-чи увидел колесницу с желтым верхом. Лошади мчали во весь опор. В колеснице сидел толстяк в расшитой одежде, с седеющей бородой и маленькой головкой; на поясе у него висел едва видимый вороненый меч, такой же, как у Мэй Цзянь-чи за спиной.

Мэй Цзянь-чи похолодел, потом его бросило в жар, словно опалило пламенем. Схватившись за рукоять меча, он кинулся вперед, ступая между головами лежавших ничком людей.

Но не успел он сделать и несколько шагов, как вдруг полетел кувырком — кто-то дернул его за ногу. Он упал прямо на какого-то парня с изможденным лицом. Перепугавшись, что ранил его, он вскочил и тут же получил два основательных тычка под ребра. Но ему было не до того: он снова смотрел на дорогу. Однако колесница с желтым верхом и конники давно скрылись из виду.

Люди по краям дороги поднялись с колен, а тощий парень схватил Мэй Цзянь-чи за воротник и не хотел отпускать — Мэй

Цзянь-чи, мол, сдавил ему низ живота и должен будет поплатиться жизнью, если парень умрет, не достигнув восьмидесяти лет. Их окружила толпа зевак. Вначале они молча и тупо глазели на происходившее; потом стали отпускать ехидные шутки, и было ясно, что все они на стороне тощего парня. Такая враждебность смутила Мэй Цзянь-чи, он не знал, сердиться ему или смеяться. Он никак не мог отвязаться от парня. Так прошло время, за которое можно было бы сварить котелок проса. Мэй Цзянь-чи сгорал от нетерпения, однако зеваки не расходились и смотрели на него с неослабевающим интересом.

Но вот кольцо людей дрогнуло, и внутрь протиснулся темнолицый человек с черными усами и глазами, худой, как палка. Ни слова не говоря, он холодно усмехнулся Мэй Цзянь-чи и, легонько взяв за подбородок тощего парня, пристально посмотрел ему в глаза. Рука парня, державшая Мэй Цзянь-чи, медленно опустилась, и он поспешно ушел; черный человек тоже скрылся. Зеваки, разочарованные, стали расходиться. Некоторые из них подходили к Мэй Цзянь-чи, спрашивали, сколько ему лет, где он живет, нет ли у него старшей сестры. Но Мэй Цзянь-чи не обращал на них внимания.

Он пошел на юг. «В городе такая толчея,— думал он,— еще ранишь кого-нибудь ненароком; лучше подождать за южными воротами возвращения царя и осуществить свою месть. Там простор, народу мало, есть где развернуться».

Между тем в городе только и было разговоров, что о путешествии царя в горы, о его пышном кортеже, о его блеске и величии, которые людям довелось увидеть собственными глазами; по общему мнению, того, кто ниже всех склонился перед царем, следовало бы объявить образцом для народа. Толковали и о многом другом. Город гудел, как потревоженный улей. Наконец Мэй Цзянь-чи добрался до южных ворот, здесь было уже не так шумно.

Выйдя из города, он уселся под большим тутовым деревом и вытащил две лепешки; за едой он вдруг вспомнил о матери, в глазах и носу защипало, но потом все прошло. Постепенно кругом воцарилась такая тишина, что он явственно слышал свое дыхание. Уже смеркалось, и им овладело беспокойство. До боли в глазах всматривался он вдаль, но ничто не предвещало приближения царского поезда. Крестьяне, ходившие в город продавать зелень, один за другим возвращались с пустыми корзинами.

Время шло. Когда дорога опустела, из городских ворот вдруг появился черный человек.

— Идем, Мэй Цзянь-чи! Царь хочет схватить тебя,— прокричал он, словно сова.

Мэй Цзянь-чи задрожал и, будто зачарованный, сразу же пошел за ним; не пошел, а полетел как ветер.

Когда он, наконец, остановился и с трудом отдышался, то сообразил, что они уже на опушке рощи криптомерий. За рощей, далеко-далеко, появились серебристо-белые узоры — там всходила луна, но Мэй Цзянь-чи видел перед собой только глаза черного человека, светившиеся фосфорическим блеском.

— Откуда ты меня знаешь? — спросил перепуганный Мэй Цзянь-чи.

— Ха-ха! Я всегда знал тебя,— произнес голос черного человека.— Знаю, что за спиной у тебя богатырский меч, что ты хотел отомстить за отца, но это тебе не удалось. Мало того, уже отыскались доносчики, и тот, кому ты хочешь мстить, давно вернулся во дворец через восточные ворота и приказал арестовать тебя.

У Мэй Цзянь-чи запыло сердце.

— Эх, недаром мать так вздыхала,— произнес он едва слышно.

— Но ей было известно не все, она и не знает, что вместо тебя отомщу я.

— Ты? Ты отомстишь вместо меня? Ты кто — борец за справедливость?

— Не оскорбляй меня!

— Значит, ты сделаешь это из сострадания к нам — сироте и вдове?

— К чему эти затасканные слова — справедливость, сострадание,— сурово сказал черный человек.— Когда-то они были чисты, а теперь это капитал, отданный дьяволу в рост. Мне нет никакого дела до того, что зовется справедливостью и состраданием. Я просто решил мстить вместо тебя!

— Пусть будет по-твоему. Но как ты отомстишь?

— Для этого ты дашь мне только две вещи,— произнес голос, и два огонька сверкнули.— Ты спросишь — какие? Так вот слушай: первая — твой меч, вторая — твоя голова!

Мэй Цзянь-чи не сразу нашелся что ответить, в нем шевельнулось смутное подозрение, но страха не было.

— Ты думаешь, я обманом хочу отнять у тебя жизнь и завладеть твоим сокровищем? — по-прежнему сурово произнес таинственный голос.— Все зависит от тебя. Если веришь мне, пойду мстить, не веришь — не пойду.

— Но почему ты идешь мстить вместо меня? Ты знал моего отца?

— Я всегда знал твоего отца, так же, как и тебя. Но не в этом дело. Ты умный мальчик, и я скажу тебе все. Ты еще увидишь, как я отомщу. Твое — все равно что мое, а он — это тоже я. Люди, да и я сам так изранили мою душу, что я возненавидел себя!

Едва умолк таинственный голос, как Мэй Цзянь-чи поднял руку, взял висевший за спиной вороненый меч и ударил им себя по шее; голова скатилась на зеленый мох, а рука в это время передала меч черному человеку.

— Ха-ха! — холодно и резко рассмеялся тот, одной рукой взял меч, а другой поднял за волосы голову Мэй Цзянь-чи и два раза поцеловал еще теплые губы.

Смех его пронесся по роще, и тут же в глубине ее засверкали огоньки множества глаз. Они быстро приблизились, и стало слышно частое сиплое дыхание голодных волков. В мгновенье была разодрана синяя одежда Мэй Цзянь-чи, а в следующее мгновенье исчезло его тело; следы крови были тщательно вылизаны, и слышался только хруст пережевываемых костей.

Самый большой волк бросился на черного человека. Но тот взмахнул вороненым мечом, и голова волка скатилась на зеленый мох. Остальные волки в мгновенье разодрали шкуру, а в следующее мгновенье большой волк исчез; следы крови были тщательно вылизаны, слышался только хруст пережевываемых костей.

Черный человек подобрал с земли изодранную в клочья одежду, обернул ею голову Мэй Цзянь-чи, взвалил ее вместе с мечом на спину, повернулся и, довольный, зашагал в темноте к столице.

Волки стояли, втянув головы и высунув языки, и, прерывисто дыша, смотрели ему вслед сверкающими зелеными глазами.

А он широко шагал в темноте ночи к столице и пел пронзительным голосом:

Как хорош, как пригож
вороненый мой меч,
Сам себе удалец
снял им голову с плеч!
Но идет — ха-ха-ха!
новый мститель за ним,
Ничего, что теперь
стало меньше одним...
Он любил тебя, меч,

ты был нужен ему,
Но увы, но увы,
не ему одному...
Пусть заплатит другой за него головой,
Ради мести мы оба покончим с собой!
Вот уж нет одного...
Э-гэ-гэ, о-го-го! Э-гэ-гэ, о-го-го!

3

Путешествие в горы не развлекло царя; к тому же он получил секретное донесение о том, что на дороге его поджидает убийца. Это совсем испортило ему настроение, и он вернулся домой. Ночью он был страшно зол, говорил даже, что волосы девятой наложницы не так красивы и не так черны, как вчера. Хорошо еще, что, забравшись к нему на колени, она своими шалостями, кокетством и бесконечными ужимками сумела, наконец, разгладить морщинки между бровей царя.

После полудня царь встал уже не в духе, а пообедав, и вовсе разгневался.

— А-а, тоска какая! — вскричал он, широко зевнув.

И все — от царицы до придворных шутов — со страху потеряли голову. Душеспасительные беседы седоусого сановника и шутки толстого карлика давно уже наскучили царю; в последнее время он без малейшего интереса смотрел на всевозможные фокусы — на то, как ходят по канату, лазают по шесту, жонглируют, стоят на голове, глотают мечи и извергают огонь. Он то и дело выходил из себя, хватал свой вороненый меч и, придравшись к пустяку, убивал сразу по несколько человек.

В это время как раз вернулись во дворец два младших евнуха, которые, урвав минутку, шатались по городу. По мрачному виду обитателей дворца они сразу догадались, что стряслась беда, как это бывало уже не раз. Один из них помертвел от испуга, другой же, наоборот, казалось, почувствовал в себе уверенность и спокойствие и не спеша пошел к царю. Преклонив перед ним колени, он сказал:

— Ваш раб только что говорил с одним чужестранцем, необычно искусным. Он может рассеять вашу печаль, о нем я и пришел доложить вам.

— Что?! — только и воскликнул царь. Его речь всегда отличалась краткостью.

— Это черный, худой человек, с виду нищий. Платье на нем темное, за плечами круглая синяя котомка. Странник слав-

но поет. И еще он говорил, что умеет показывать необыкновенные фокусы, каких никто не видывал. От этих фокусов тотчас рассеются все печали и заботы, и великое спокойствие воцарится в Поднебесной. Когда же его попросили показать фокус, он отказался и объяснил, что ему нужен золотой дракон и золотой треножник...

— Золотой дракон? Это я. Золотой треножник? У меня есть.

— Ваш раб так и думал...

— Приведите его.

Не успел царь это вымолвить, как четыре воина поспешно вышли вслед за младшим евнухом. У всех, от царицы до придворных шутов, просветлели лица. Всем хотелось, чтобы эти фокусы рассеяли печаль и заботы, чтобы в Поднебесной воцарилось спокойствие. Если же фокус не удастся, беда обрушится на этого тощего, черного человека, с виду нищего, значит, надо дождаться, пока его приведут.

Немного погодя показалось шестеро людей, быстро направлявшихся к золотым ступеням. Это евнух и четыре воина вели черного человека. Когда они приблизились, все увидели, что одежда у него синяя, а усы, брови и волосы черные; он был так худ, что скулы и надбровные дуги резко выдавались, а глаза глубоко запали. Почтительно преклонив колени, черный человек пал ниц, и тут все увидели у него на спине совсем круглую маленькую котомку из синей материи с темно-красными узорами.

— Говори! — рявкнул царь. Глядя на скудное снаряжение фокусника, царь решил, что тот вряд ли сумеет показать что-нибудь интересное.

— Вашего слугу зовут Янь Чжи-ао; я родился и вырос в деревне Вэньвэнь. Никакому ремеслу не обучался. К старости встретил мудреца, и он научил меня фокусу с головой мальчика. Но одному человеку этот фокус не под силу; перед золотым драконом надо поставить золотой треножник, наполнить котел чистой водой и греть ее на углях. Затем надо положить в котел голову мальчика. Как только вода закипит, голова начнет колыхаться на волнах, плясать и весело петь на разные лады. Увидит человек эти пляски и песни — и забудет все свои печали и заботы, а увидит народ — в Поднебесной воцарится спокойствие.

— Показывай! — громко приказал царь.

Вскоре перед дворцом поставили большой золотой треножник с котлом, в котором варят быков, наполнили его водой, по-

ложили под него уголь из костей животных и развели огонь. Черный человек стоял рядом. Когда уголь разгорелся, он отвязал котомку, вынул голову мальчика и высоко поднял ее обеими руками. Все увидели изящные брови, миндалевидные глаза, белоснежные зубы и алые губы, на которых застыла улыбка. Волосы вздымались, как клубы черного дыма. Черный человек поворачивался во все стороны, показывая голову, потом вытянул руки над треножником, пробормотал что-то и тут же разжал руки. Голова с плеском погрузилась в воду. Брызги взлетели выше, чем на пять локтей, и вода успокоилась.

Прошло немало времени, а вода оставалась неподвижной. Первым начал проявлять беспокойство царь, за ним заволновались царица и наложницы, сановники и евнухи, а толстые карлики начали сдержанно посмеиваться. Заметив их насмешливые улыбки, царь подумал, что его дурачат, и повернулся к воинам, чтобы отдать приказ бросить негодяя, посмевшего насмехаться над царем, в котел, где варят быков,— пусть сварится сам.

Но в тот же момент послышалось бульканье. Уголь разгорелся ярче, бросив на черного человека красноватый отблеск, отчего он стал похож на раскаленное железо.

Царь снова стал смотреть, а фокусник воздел руки к небу, уставился глазами в пустоту и, пританцовывая, начал вдруг пронзительно петь:

Вижу кровь — ха-ха-ха! —
кровь мне радует глаз!
Вида крови чужой
кто не любит из вас?!
Пусть побеги людские
уходят во тьму —
Там, что люди, что тыквы,
дела нет никому.
У него сто голов —
нет, их тысячи здесь, их не счесть!
Кто число его воинов точно измерит?!
у меня же одна —
Как мила мне она —
голова! Вместо тысяч бойцов
Мертвый череп!
Вижу кровь, всюду кровь, кровь милей всех утех...
И-их! Э-эх! И-их! Э-эх!

Вода в котле еще сильнее забурлила и вспучилась бугром, под которым клокотал водоворот. Голова, послушная движению воды, подымалась и опускалась, кружилась, плескаясь и кувыркаясь, и порой зрители могли видеть ее радостную, довольную

улыбку. Потом она вдруг начала кружить против течения и засновала, словно ткацкий челнок, так что брызги горячим дождем разлетелись во все стороны двора. Один из карликов вдруг завопил, схватившись рукой за нос: несчастного обожгло кипятком.

Как только смолкла песня черного человека, голова остановилась и повернулась в сторону царского дворца, выражение ее лица стало величественно-строгим. Через несколько мгновений она снова закачалась, мягко и плавно, сначала медленно, потом чуть быстрее. Описав три круга, голова вдруг широко раскрыла черные, ярко сверкавшие глаза и запела:

Сколь ты милостив, царь —
не скудеет рука.
Покорил и склонил
ты лихого врага...
Есть вселенной предел,
а тебе срока нет.
Ну, так здравствуй же, царь,
здравствуй тысячи лет!
Я пришел — и вокруг
синий свет разлился.
Не забудешь, о царь,
этот свет до конца!
Будь же славен покуда
величьем своим,
Пусть из края в край
все клонится пред ним —
Долг за мной, я пришел.
Как горит синий нимб!

Голова вдруг всплыла на поверхность воды и замерла; потом несколько раз перекувырнулась и закачалась, кокетливо поглядывая по сторонам и продолжая петь:

Ах, увы, ах, увы,
нет сильнее любви!
Ах, увы, ах, увы,
голова вся в крови!
Лишь мой череп один
вместо многих бойцов,
У него же здесь тысячи,
сотни голов...

Тут она погрузилась в воду и осталась на дне, слов песни уже нельзя было разобрать. Вслед за стихшей песней перестала бурлить вода, как море во время отлива, так что издали уже не было видно, что делается в котле.

— Ну, что там? — нетерпеливо спросил царь, подождав немножко.

— Великий государь! — преклонив колени, ответил черный человек.— Голова сейчас на дне котла исполняет самый диковинный, последний танец, и, чтобы его увидеть, надо подойти к самому котлу. Никакими заклинаниями ваш слуга не может заставить ее подняться, потому что этот танец надобно исполнять на дне котла.

Царь сошел по золотым ступенькам, не обращая внимания на огонь, подошел к котлу и заглянул в него. Сквозь зеркальную поверхность воды он увидел голову. Глаза ее смотрели прямо ему в лицо. Когда царь встретился с ней взглядом, она едва заметно улыбнулась. Эта улыбка показалась царю знакомой. Но он никак не мог вспомнить, где ее видел. Пока он так стоял, удивленный и испуганный, черный человек выхватил из-за спины вороненый меч, взмахнул им, и меч, сверкнув, словно молния, опустился на шею царя; голова его плюхнулась в котел.

Враги сразу узнают друг друга, тем более встретившись на узкой дорожке. Как только голова царя упала в воду, голова Мэй Цзянь-чи ринулась навстречу и яростно вцепилась ей зубами в ухо. Вода в котле снова забурлила — две головы бились насмерть, двадцать раз схватывались они, на голове у царя уже было пять ран, у Мэй Цзянь-чи — семь. Царь хитрил и все норовил обойти противника сзади. В какой-то момент Мэй Цзянь-чи не остерегся, и царь мертвой хваткой вцепился зубами ему в затылок, так что мальчик даже не мог повернуться. Он вгрызался в Мэй Цзянь-чи все глубже и глубже, словно червь; зрителям показалось, что они слышат, как мальчик жалобно застонал от боли.

Такая безысходная скорбь слышалась в этом плаче, что все — от царицы до придворных шутов — с застывшими от ужаса лицами подались вперед, по телу у них побежали мурашки.

В то же время они испытывали тайную радость и стояли, широко раскрыв глаза, словно ждали еще чего-то.

Черный человек тоже как будто немного испугался, но лицо его оставалось бесстрастным. Медленно, не спеша, он поднял тонкую, как высохшая ветка, руку, сжимавшую невидимый вороненый меч, и вытянул шею, словно хотел получше разглядеть, что делается на дне котла. Вдруг рука его дрогнула, вороненый меч ударил по шее, и голова его с плеском погрузилась в котел, разбрызгивая во все стороны белоснежную пену.

Оказавшись в воде, его голова бросилась на царя и вцепилась ему в нос, едва не откусив его. Царь ахнул, разжал зубы

и выпустил голову Мэй Цзянь-чи, а тот, освободившись, развернулся и намертво ухватил царя за подбородок. Затем он рванул царскую голову в одну сторону, а черный человек в другую, и она так и осталась с открытым ртом. Тогда они набросились на нее, как голодные куры на зерно, и принялись кусать куда попало так, что она окривела и лишилась половины носа, а все лицо покрылось ранами, как чешуей; сначала она еще металась по котлу, потом застыла на месте и лишь стонала и, наконец, замолкла и перестала дышать.

Тут черный человек и Мэй Цзянь-чи оставили царскую голову в покое и поплыли вдоль стен котла, чтоб проверить, действительно ли голова мертва или только притворяется. Убедившись, что царская голова на самом деле испустила дух, они с улыбкой переглянулись, смежили веки, обратились лицом к небу и опустились на дно.

4

Огонь погас, дым развеялся, вода в котле успокоилась. Необычная тишина напугала всех обитателей дворца. Кто-то закричал от страха, и вслед за ним стали кричать и остальные. Кто-то бросился к золотому треножнику, и все тотчас, толкая друг друга, кинулись туда же. Оказавшимся позади приходилось заглядывать в просветы между затылками.

Стоявших у котла обдало жаром. Вода успокоилась и была гладкой как зеркало, лишь по поверхности плавало немного жиру. Сейчас в ней отражалось множество лиц: царицы, наложниц, воинов, сановников, карликов, евнухов...

— Ай-яй, О, небо! Голова нашего великого царя все еще там! Аи-яй-яй! — сквозь рыданья запричитала шестая наложница.

Все — от царицы до придворных шутов, вдруг осознав случившееся, растерялись и от волнения не знали, что делать, лишь без толку метались взад и вперед. Но вот вперед вышел самый старый, самый умный сановник; он дотронулся до котла, но тут же отдернул руку, вздрогнул, подняв два пальца ко рту, стал на них дуть.

Оправившись немного, все собрались перед дворцом и стали судить да рядить, как выловить из котла царскую голову. План разрабатывали так долго, что за это время можно было сварить три котла рису. Наконец решили взять на кухне шумовки и приказать воинам вылавливать голову.

Вскоре все приспособления — шумовки, черпаки, золотые блюда, тряпки, которыми вытирают столы,— были сложены около котла. Воины засучили рукава и кто с шумовкой, кто с черпаком стали благоговейно вылавливать голову. Слышно было, как сталкиваются черпаки друг с другом, как царапают стенки котла; вода взбаламутилась, и по ней пошли круги. Но вот лицо одного из воинов вдруг приняло торжественное выражение; с величайшей осторожностью он вытаскивал шумовку. Из нее, словно жемчужины, падали капли воды. В шумовке снежной белизной сверкал череп. У всех вырвался крик ужаса. Воин положил череп на золотое блюдо.

— О-о! Наш великий государь! — зарыдали в голос царица, наложницы, сановники, евнухи и все прочие. Но вскоре они один за другим смолкли, так как воин опять выловил точно такой же череп. Они растерянно смотрели кругом полными слез глазами, но видели только лоснящиеся от пота лица воинов, продолжающих шарить в воде. Вскоре они выловили спутанный клубок седых и черных волос; потом еще какие-то короткие волосы, по-видимому, от седой бороды и черных усов. Затем появился еще один череп и, наконец, три шпильки.

Больше в котле ничего не осталось, один кипяток, и воины прекратили поиски. Выловленные предметы разложили на три золотых блюда: одно блюдо с костями, другое — с волосами и еще одно — со шпильками.

— У нашего великого государя была только одна голова. Который же из черепов его? — с волнением спросила девятая наложница.

— М-да...— переглянулись сановники.

— Если бы кожа и мясо не разварились, различить было бы легко,— преклонив колени, проговорил карлик.

Оставалось только, сохраняя спокойствие, тщательно осмотреть черепа. Но цвет их и размеры были почти одинаковы, даже череп мальчика невозможно было опознать. Царица сказала, что у царя на правом виске был шрам, который остался у него после падения еще в детстве, и что на кости тоже может быть след. Ну конечно, карлик обнаружил его на одном из черепов. Пока все радовались этому, другой карлик разглядел на другом, более желтом черепе, у правого виска такой же шрам.

— Я знаю, как найти,— самоуверенно заявила третья наложница царя.— У нашего великого государя был крупный нос.

Евнухи тотчас принялись изучать носы. Один как будто

оказался больше других, но отличие было ничтожно, и, что досаднее всего, на правом виске не нашли никакого шрама.

— Кстати,— обратились сановники к евнухам,— затылок у великого государя был острый?

— Государевы рабы никогда не обращали внимания на то, какой у великого царя затылок...

Царица и наложницы тоже стали припоминать. Одни считали, что затылок был острый, другие говорили — плоский. Позвали евнуха-парикмахера, но он ничего не мог сказать.

К ночи собрался совет князей и министров, чтобы определить, который же из черепов царский, но, как и днем, это ни к чему не привело. Даже из-за волос и бороды возник спор. Седые, конечно, принадлежали царю, но у него была только проседь, так что и с черными волосами разобраться было трудно. Обсуждение длилось почти полночи, а отложили в сторону всего несколько рыжих волосков. Но тут запротестовала девятая наложница: она-де видела у царя несколько совсем желтых волосков, и кто может теперь поручиться, что у него не было рыжих? Пришлось снова положить их обратно и, таким образом, оставить вопрос открытым. Время уже перевалило за полночь, но еще ничего не решили. Все зевали, однако продолжали спорить и, лишь когда пропели вторые петухи, приняли очень осторожное и удобное решение: положить все три головы с телом царя в золотой гроб и похоронить. Через семь дней состоялись похороны. В городе было очень шумно и оживленно. Пришли жители столицы и отдаленных мест, дабы сподобиться лицезреть «большие похороны» государя. Едва занялся день, а дорогу уже запрудила толпа мужчин и женщин. Здесь же стояли столы для жертвоприношений. Часам к десяти появились конники, которые ехали с опущенными поводьями, расчищая дорогу. Прошло довольно много времени, прежде чем показалась процессия: со знаменами, копьями, луками, алебардами. Затем появились четыре повозки с барабанщиками и дудочниками, а за ними, покачиваясь на неровной дороге, медленно двигалась колесница с желтым верхом, и, наконец, выехал катафалк с золотым гробом, в котором лежали три головы и одно тело.

Народ упал на колени, и тут стали видны ряды столов для жертвоприношений. Некоторые верноподданные сдерживали слезы справедливого гнева, думая о том, что души двух ужасных преступников в этот момент вместе с царем вкушают жертвенные яства. Но ничего нельзя было сделать.

Проехали в своих колесницах царица и многочисленные царские наложницы. Народ смотрел на них, они смотрели на

народ и плакали. Прошли со скорбным видом министры, евнухи, карлики. Но на них народ уже не смотрел, ряды смешались и перепутались совсем неподобающим образом.

Октябрь 1926 г.

ЗА ЗАСТАВУ

Лао-цзы сидел неподвижно, словно вырезанный из дерева.

— Учитель! — войдя к нему, тихо, но с раздражением сказал его ученик Гэнсан Чу.— Опять Конфуций пожаловал.

— Проси...

— Здоровы ли вы, учитель? — спросил Конфуций, крайне церемонно отвешивая поклоны.

— Я-то как всегда,— ответил Лао-цзы,— а вы? Все ли книги прочли, собранные в здешнем хранилище?

— Прочел, но только...— Конфуций говорил торопливо, как никогда прежде.— Мне казалось, что я давно постиг шесть канонов: «Книгу песен», «Книгу преданий», «Церемоний», «Музыки», «Гаданий», летопись «Весна и осень» — и наконец хорошо их усвоил. Тогда я обошел государей семидесяти двух царств, но ни один не захотел воспользоваться моими услугами. Неужели людей так трудно убедить? Или так трудно объяснить учение?

— Счастье еще, что ни один из них не захотел этого, что не напали вы на энергичного царя,— ответил Лао-цзы.— А что такое шесть канонов? В них лишь следы деяний прежних государей. Но следы — это еще не сами деяния. Ведь и от башмаков остаются следы, но разве следы — это сами башмаки? Так и твои слова — это не твои дела.

Помолчав, Лао-цзы продолжал:

— Время не остановишь, судьбу не изменишь, природу не переделаешь. Вот белые цапли: уставятся друг на друга, и у них происходит зачатие. А у насекомых? Застрекочет самец сверху, а самка снизу откликнется — и зачатие совершилось. Так же естественно, только сам от себя, зачинает и двуполый лэй. Природу не изменишь. Постигнешь ее законы — и все станет возможным. Пойдешь против них — ничего не добьешься.

Конфуций остолбенел, будто его по голове стукнули. Только минут через восемь он очнулся, глубоко вздохнул и встал, прощаясь. Как обычно, он крайне церемонно поблагодарил Лао-цзы за поучение.

Не удерживая его, Лао-цзы поднялся, опираясь на посох, и проводил ученика до самых ворот. И лишь когда тот стал подниматься на повозку, Лао-цзы проговорил, словно заигранная пластинка:

— Уезжаете? И чайку не выпьете?

— Нет, нет,— отвечал Конфуций. Взойдя на повозку, он прислонился к поперечной доске и крайне церемонно сложил руки в знак прощального приветствия. Жань-ю взмахнул кнутом, крикнул «пошел», и повозка тронулась. Когда она отъехала, Лао-цзы возвратился к себе.

— Сегодня вы, учитель, как будто очень довольны — наговорили ему немало...— сказал Гэнсан Чу, как только Лао-цзы снова уселся.

— Ты прав,— вяло ответил Лао-цзы со вздохом.— Я, правда, слишком разговорился.— И вдруг, будто вспомнив что-то, добавил: — Э! А не вяленого ли гуся преподнес мне Конфуций? Приготовь-ка его на пару да сьешь. Он мне все равно не по зубам.

Гэнсан Чу вышел. Лао-цзы снова обрел покой и закрыл глаза. Тишину библиотеки нарушил только стук бамбукового шеста о карниз крыши: это Гэнсан Чу достал подвешенного под стрехой гуся.

Прошло три месяца. Лао-цзы по-прежнему сидел неподвижно, словно вырезанный из дерева.

— Учитель! — войдя к нему, тихо проговорил удивленный Гэнсан Чу.— Приехал Конфуций! Ведь он так давно не был! С чего бы это он явился?

— Проси...— Лао-цзы, как обычно, произнес лишь слово.

— Здоровы ли вы, учитель? — спросил Конфуций, крайне церемонно отвешивая поклоны.

— Как всегда,— ответил Лао-цзы,— давно не виделись. Наверно, занимались в уединении?

— Где уж, где уж,— смиренно отнекивался Конфуций.— Просто никуда не выходил и кое-что постиг: рыбы зачинают, смазываясь слюной, вороны и сороки целуются клювом. Оса появляется на свет из другого насекомого, уподобив его себе. Сам я давно не подвергался превращениям, как же мне уподоблять себе других? И еще я постиг: появится младший брат — и старший брат заплачет.

— Верно, верно! — заметил Лао-цзы.— Ты все уже обдумал.

Оба сидели неподвижно, словно статуи. Им не о чем было больше говорить.

Минут через восемь Конфуций глубоко вздохнул и наконец встал, прощаясь. Как обычно, он крайне церемонно поблагодарил Лао-цзы за поучение.

Не удерживая его, Лао-цзы поднялся, опираясь на посох, и проводил ученика до самых ворот. И лишь когда тот стал подниматься на повозку, Лао-цзы проговорил, словно заигранная пластинка:

— Уезжаете? И чайку не выпьете?

— Нет, нет,— отвечал Конфуций. Взойдя на повозку, он оперся на поперечную доску и крайне церемонно сложил руки в знак прощального приветствия. Жань-ю взмахнул кнутом, крикнул «пошел», и повозка тронулась. Когда повозка отъехала, Лао-цзы возвратился к себе.

— Сегодня вы, учитель, как будто не очень довольны,— сказал Гэнсан Чу, как только Лао-цзы снова уселся,— говорили немного...

— Ты прав,— вяло ответил Лао-цзы со вздохом.— Но я вижу, что мне придется уйти. Ты этого не понял?

— Почему же? — воскликнул Гэнсан Чу с таким испугом, будто грянул гром среди ясного неба.

— Конфуций понял меня. Теперь он знает, что я один способен раскрыть его истинное обличье, и, конечно, не успокоится. Не уйду — так делу не помочь...

— Зачем же уходить, разве он идет не той же дорогой, что и вы?

— Нет,— махнул рукой Лао-цзы.— Дороги у нас различные. Мои следы ведут к зыбучим пескам, а его — к царскому двору.

— Но вы же его учитель!

— Сколько лет ты у меня проучился, а все так же прост,— улыбнулся Лао-цзы.— Вот уж поистине, природу не переделаешь, судьбу не изменишь. Так знай же — Конфуций совсем не похож на тебя. Он никогда больше не придет ко мне, не назовет меня своим учителем, а за глаза станет обзывать старикашкой и даже не остановится перед подлостью.

— Вот бы не подумал! Не могли же вы, учитель, ошибиться в человеке.

— Мог. Поначалу часто ошибаюсь.

— Значит...— Гэнсан Чу задумался.— Теперь мы с ним разделаемся...

Лао-цзы улыбнулся.

— Посмотри, есть у меня зубы? — спросил он Гэнсан Чу и разинул рот.

— Нет их,— ответил Гэнсан Чу.

— А язык на месте?

— На месте.

— Теперь ты понял, в чем дело?

— Твердое скорее утрачивается, а мягкое дольше сохраняется — такова ваша мысль?

— Да, такова. По-моему, и тебе лучше собрать вещи да вернуться домой к жене. Только сперва просуши на солнце седло и вычисти черного вола. Я выеду с утра пораньше.

Подъезжая к заставе Ханьгу, Лао-цзы дернул вола за узду и свернул с большой дороги, ведущей на заставу, на боковую, вдоль стены. Объезжая ее потихоньку, он соображал, как через нее перебраться. Стена была совсем невысока. На нее можно было вскарабкаться, стоило лишь влезть на спину вола и подтянуться. Но тогда вол остался бы по эту сторону. Перебросить его через стену не было возможности, для этого понадобился бы подъемный кран. Но увы! Тогда еще не появились на свет ни Лу Бань, ни Мо Ди. Сам же Лао-цзы не мог бы додуматься до такой штуки. Одним словом, он ничего не мог придумать, как ни напрягал свой философский мозг.

Лао-цзы никак не ожидал, что, пока он сворачивал на боковую дорогу, его уже высмотрел шпик и немедленно доложил о нем начальству. Не успел Лао-цзы проехать и семи-восьми саженей, как его настигла группа всадников. Шпик вырвался вперед, за ним скакал начальник заставы Гуаньинь Си, а дальше — четверо полицейских и два таможенных досмотрщика.

— Стой! — закричали они.

Лао-цзы поспешно остановил вола, а сам застыл без движения, словно статуя.

— Ах! — удивленно воскликнул начальник, узнав Лао-цзы. Он скатился с коня и, кланяясь, заговорил: — Я-то думаю, кто бы это мог быть? А это, оказывается, директор библиотеки старый Дань. Вот уж не ждали, не гадали.

Лао-цзы поспешно слез с вола, прищурился, вгляделся и наконец забормотал:

— С памятью у меня плоховато...

— Разумеется, разумеется, вы, учитель, меня забыли. Я Гуаньинь Си, бывал в библиотеке, наводил справки по «Сущности налоговой системы», тогда-то и нанес вам визит, учитель.

Тем временем досмотрщик отвернул седло на воле, проткнул его щупом, пошарил в дыре пальцем и молча, надув губы, отошел.

— Вы что, учитель, прогуливались у стены? — спросил Гуаньинь Си.

— Нет, мне захотелось уехать, сменить обстановку, подышать свежим воздухом...

— О, это очень хорошо, замечательно! Сейчас все заговорили о гигиене. Гигиена очень важна, только нет на нее времени. Нам хотелось бы пригласить вас, учитель, провести на заставе несколько дней, послушать ваши поучения...

Не успел Лао-цзы ответить, как четверо полицейских ринулись к нему, подхватили его под руки и посадили на вола. Досмотрщик ткнул вола щупом в зад, вол взмахнул хвостом и кинулся бежать. Все поехали к заставе.

По приезде на заставу для приема гостя тотчас же открыли большой зал, расположенный в сторожевой башне. Из бойницы виднелась песчаная равнина, которая полого уходила вниз до самого горизонта. Небо здесь было бирюзовое, воздух — чистый. Мощные укрепления заставы господствовали над холмами, которые виднелись за стеной. Чтобы закрыть дорогу, пролегавшую между крутыми склонами, казалось, хватило бы комка глины.

Все напились горячей воды, поели лепешек. Гуаньинь Си позволил Лао-цзы немного передохнуть, а затем предложил ему прочесть лекцию о своем учении. Примирившись с неизбежностью этого, Лао-цзы безропотно согласился. Поднялся шум — зал заполнили слушатели. Кроме восьми человек, которые привезли Лао-цзы на заставу, здесь оказалось еще четыре полицейских, два досмотрщика, пять шпиков, писарь, казначей и повар. Кое-кто захватил с собой кисти, ножи и дощечки, чтобы записывать лекцию.

Наконец водворилась тишина. Лао-цзы, который неподвижно, словно статуя, сидел посередине зала, откашлялся. Под седыми усами зашевелились губы, и все, затаив дыхание, приготовились слушать. И тогда зазвучала мерная речь:

— Дао, которое можно назвать, не есть постоянное Дао; имя, которое называют, не есть постоянное имя. Безымянное — это начало неба и земли. Обладающее именем — это дверь во все таинства...

Слушатели переглядывались, но никто не начинал записывать.

— Поэтому в постоянном, в небытии, стремятся познать скрытое,— продолжал Лао-цзы.— В постоянном, в бытии, стре-

мятся познать явное. Оба они исходят из единого, но различны по имени. Называю их сокровенным. От сокровенного к еще более сокровенному, таковы врата ко всему скрытому...

Лица слушателей делались все более кислыми, некоторые не знали, куда девать руки и ноги. Один из досмотрщиков широко зевнул, а у задремавшего писаря вывалились из рук кисть и дощечка.

Лао-цзы, казалось, ничего не замечавший, кое-что все же разглядел и стал изъясняться более доступно. Но он шамкал беззубым ртом на шэньсийском диалекте с примесью хуаньского, «ли» у него не отличалось от «ни», и в довершение всего он тянул «э-э». Никто ничего не понимал. Лекция затягивалась, слушатели измучились, но приличия ради терпели. Приняв небрежную позу, каждый думал о своем. Когда же Лао-цзы произнес: «Путь совершенного человека — это деятельность, но не вражда»,— и закрыл рот, никто не шелохнулся. Подождав немного, Лао-цзы добавил:

— Э-э... Я кончил.

Тут зал будто очнулся от крепкого сна. Ноги у всех от долгого сидения затекли, сразу никто не смог встать. Но в душе слушатели так удивлялись и радовались, словно получили помилование.

Лао-цзы проводили во флигель отдохнуть. После нескольких глотков горячей воды он сел, не шевелясь, будто статуя.

А на заставе в это время шли споры, и вскоре к Лао-цзы явилась делегация из четырех человек. Они выразили сожаление о том, что Лао-цзы говорил не на чистом «государственном языке», да еще слишком быстро. Никто не успел за ним записать. Остаться без текста лекции было бы весьма прискорбно, а потому они просят Лао-цзы набросать кое-что дополнительно.

— Мы не понимаем вашего диалекта,— заявил казначей.

— Написали бы сами, а? — вставил тут писарь.— Настрочите, так можно будет считать, что не напрасно шамкали. Верно?

Лао-цзы тоже плохо понимал делегатов, но когда перед ним положили кисть и дощечки, он сообразил, что ему предстоит написать свою лекцию. Примирившись с неизбежностью этого, Лао-цзы безропотно согласился. Но попросил разрешения начать завтра, так как сегодня уже очень поздно.

Удовлетворенные исходом переговоров, делегаты удалились.

Следующий день выдался пасмурный. Хотя на сердце у Лао-цзы было тяжело, его ждала работа. Ведь он спешил за

рубеж, а не сдав рукописи, не мог уйти. Взглянув на груду дощечек, Лао-цзы почувствовал себя еще хуже, но нисколько не изменился в лице. Он тихо уселся и начал писать. Вспоминая вчерашнюю свою речь, он задумывался, потом заносил фразу на дощечку. Глаза у Лао-цзы стали слабы, но очки тогда еще не были изобретены, он сильно щурился и уставал. За полтора дня, отрываясь лишь для того, чтобы выпить чашку горячей воды и поесть лепешек, он написал всего пять тысяч крупных иероглифов.

«Чтобы выпустили за пограничную заставу, пожалуй, хватит»,— подумал Лао-цзы.

Он нанизал дощечки на веревку — образовались две связки. Затем, опираясь на посох, он пошел в канцелярию к начальнику, передал эти связки и заявил о своем желании немедленно уехать.

Гуаньинь Си несказанно обрадовался и очень благодарил за рукопись. Он крайне огорчился отъезду учителя и упрашивал его пожить на заставе. Но, видя, что Лао-цзы не удержать, начальник, изобразив на лице скорбь, согласился его отпустить и приказал полицейским оседлать вола. А сам собственноручно достал с полки свертки соли, кунжутных семечек, пятнадцать лепешек, сложил все в казенный мешок из белого холста и передал Лао-цзы на дорогу, объявив, что подобная честь оказана ему, как старому писателю, будь он молодым, лепешек получил бы только десять.

Лао-цзы долго благодарил начальника, потом принял мешок и вместе со всем штатом заставы спустился со сторожевой башни к воротам. Лао-цзы хотел пройтись пешком, ведя вола за уздечку, но Гуаньинь Си так настойчиво советовал ему ехать верхом, что Лао-цзы, отказываясь лишь из скромности, наконец уступил. Простившись, он повернул вола и медленно поехал по дороге между холмами.

Вскоре вол побежал резвее. Оставшиеся у ворот провожали путника глазами. На расстоянии двух-трех саженей еще виднелись седые волосы, желтый халат, черный вол и белый мешок. Но затем поднялась пыль, окутавшая всадника вместе с волом, и вскоре их нельзя было различить среди облака желтого песка.

Воротившиеся в сторожевую башню почувствовали себя так, будто сбросили тяжелую ношу. Они потягивались и причмокивали, словно обнаружили контрабанду. Несколько человек вошли за Гуаньинь Си в канцелярию.

— Это и есть рукопись? — Казначей приподнял связку дощечек, повертел в руках и сказал. — Иероглифы, однако,

вырезаны чисто. Если снести на рынок, покупатель найдется.

К нему подошел писарь и на первой же дощечке прочел:

— «Дао, которое можно назвать, не есть постоянное Дао...» Ох, все та же старая песня! Так надоело, даже голова разболелась.

— Чтобы прошла головная боль, лучше всего вздремнуть,— посоветовал казначей, положив дощечки на место.

— Ха-ха-ха!.. Верно, неплохо бы подремать! По правде говоря, я пошел на лекцию, думая, что он расскажет нам о своих любовных историях. Знай я заранее, что он будет плести такой вздор, ни за что не стал бы терпеть эту муку добрых полдня...

— Если вы могли так ошибиться в человеке, пеняйте на себя! — улыбнулся Гуаньинь Си.— Откуда возьмутся у него любовные истории? Да у него никак не могло быть любви!

— Откуда вы это знаете? — удивился писарь.

— Вы же задремали, не удивительно, что прослушали, когда он сказал: «Тот, кто ничего не делает,— все совершает». Вот уж поистине, у этой твари «разум выше небес, а судьба тоньше бумаги». Мечтает «все совершать», вот ему и остается «ничего не делать». Ведь стоит только полюбить, и нельзя будет любить всех. Как же ему полюбить, как на это осмелиться? А посмотрите на себя: стоит вам заметить какую-нибудь девушку, хоть красотку, хоть дурнушку, и глаза у вас заблестят, будто она уже ваша! Вот женитесь, тогда, пожалуй, остепенитесь, как и наш казначей.

За бойницей пронесся порыв ветра, стало прохладнее.

— Куда же в конце концов отправился этот старик? Зачем? — перебил писарь Гуаньинь Си.

— Сам-то сказал, что уезжает в зыбучие пески,— холодно заметил Гуаньинь Си.— Посмотрим, доберется ли. Ведь там нет ни соли, ни хлеба, воду и то трудно достать. Изголодается, вернется к нам сюда...

— Тогда мы снова заставим его заняться сочинительством,— обрадовался казначей,— только уж очень большой расход лепешек. Но мы заявим, что, по указанию свыше, теперь выдвигают молодых писателей. За две связки дощечек хватит с него и пяти лепешек.

— Вряд ли это пройдет. Еще станет ворчать да капризничать.

— На пустой желудок не покапризничаешь.

— Боюсь, что на такие вещи не найдешь читателя,— сказал писарь, махнув рукой,— не выручишь денег и за пять ле-

пешек. Ведь если Лао-цзы действительно говорил правду, то нашему «голове» пришлось бы забросить все дела, лишь тогда он мог бы «все совершать», как важная персона...

— Ну, это неважно,— сказал казначей,— читатель на все найдется. Разве мало отставных таможенников, да еще не служивших в таможне отшельников...

Подул ветер, клубы песка поднялись чуть не до самого неба. Гуаньинь Си выглянул за дверь — там, тупо прислушиваясь к их болтовне, еще стояли полицейские и шпики.

— Чего торчите здесь, болваны! — гаркнул на них Гуаньинь Си.— Ведь уже сумерки — самое время для контрабандистов перетаскивать товары через стену. Ступайте в дозор!

Всех точно ветром сдуло. Разговоры в канцелярии прекратились. Казначей и писарь ушли. Гуаньинь Си смахнул рукавом пыль со стола и положил обе связки дощечек на полку, среди пакетов с солью, кунжутными семечками, холстом, бобами, лепешками и прочей контрабандой.

Декабрь 1935 г.

ОТКАЗ ОТ НАПАДЕНИЯ

1

Гунсунь Гао, ученик Цзы Ся, уже несколько раз заходил к Мо-цзы, но не заставал его дома. Лишь явившись в четвертый или пятый раз, он прямо в воротах столкнулся с возвращавшимся хозяином. В дом вошли вместе.

После обычных церемоний гость, разглядывая дырявую циновку, вкрадчиво спросил:

— Так вы, учитель, против войны?

— Так точно! — ответил Мо-цзы.

— Следовательно, благородные мужи не должны сражаться?

— Разумеется! — сказал Мо-цзы.

— Но ведь дерутся даже собаки и свиньи, а уж людям...

— Эх вы, конфуцианцы! На словах превозносите Яо и Шуня, а сами готовы учиться у собак и свиней. Как мне вас жаль! — И Мо-цзы кинулся на кухню, бросив на ходу: — Впрочем, тебе этого не понять...

Миновав кухню и заднюю калитку, он подбежал к колодцу, повернул ворот, вытащил с полкувшина воды, черпая воду горстями, сделал с десяток глотков, опустил кувшин, обтер рот рукой и вдруг крикнул, глядя в сад:

— А-лянь! Почему ты вернулся?

А-лянь уже бежал ему навстречу, а подбежав, почтительно вытянулся, опустив руки по швам, и воскликнул:

— Учитель! — После чего продолжал с легким раздражением: — Я отказался работать. У них слово расходится с делом: обещали тысячу мер проса, а дали пятьсот. Я вынужден был уйти.

— А если бы тебе дали не тысячу, а больше, ты бы тоже ушел?

— Нет,— ответил А-лянь.

— Значит, причина не в том, что слово расходится с делом,— просто тебе мало дали!

И, забежав на кухню, Мо-цзы крикнул:

— Гэн Чжу-цзы! Замеси тесто из кукурузной муки!

Гэн Чжу-цзы, молодой и энергичный, уже спешил к нему из дома.

— Заготовить провианту дней на десять? — спросил он.

— Да,— ответил Мо-цзы.— А что, Гунсунь Гао уже ушел?

Гэн Чжу-цзы рассмеялся:

— Ушел. Гневался очень. Сказал, что наша проповедь всеобщей любви наносит ущерб почитанию родителей, а посему уподобляет нас скотам.

Мо-цзы усмехнулся.

— Идете в Чу, учитель? — спросил Гэн Чжу-цзы.

— Да. И ты уже знаешь? — Пока Гэн Чжу-цзы замешивал тесто, Мо-цзы, взяв кремень и трут, высек огонь и зажег сухие ветки, чтобы вскипятить воду. Глядя на огонь, он неторопливо рассказывал:

— Земляк наш Гуншу Бань не перестает баламутить воду, разумеется, в меру своих скромных силенок. Мало ему, что смастерил крючья и тараны и подбил чуского князя на войну с юэсцами, так теперь еще придумал какую-то осадную лестницу и по этому случаю подговаривает князя напасть на Сун. А Сун — страна малая; где ей отбиться? Попробую его урезонить.

Увидев, что Гэн Чжу-цзы выложил хлебцы на паровое решето, Мо-цзы прошел к себе в комнату, вытащил из стенного шкафа связку высушенных соленых овощей и сломанный медный ножик, отыскал рваную простыню и, когда Гэн Чжу-цзы принес уже испеченные хлебцы, связал все в один узел. Он не

сменил платья, не взял даже полотенца — только затянулся потуже кожаным ремнем, надел у порога соломенные сандалии, закинул узел на спину и пошел, не оглядываясь. Над узлом поднимались струйки горячего пара.

— Когда вернетесь, учитель? — крикнул Гэн Чжу-цзы вдогонку.

— Дней через двадцать, не раньше,— ответил Мо-цзы, продолжая шагать вперед.

2

Пока он шел до границ сунского государства, тесемки на сандалиях несколько раз обрывались, а ступни ног горели. Пришлось сделать остановку и осмотреть ноги: сандалии протерлись до дыр, а на ногах вскочили мозоли и волдыри. Превозмогая боль, Мо-цзы продолжал путь. По дороге он присматривался к обстановке: населения оказалось довольно много, но повсюду виднелись следы бесчисленных наводнений и нашествий — они исчезали еще медленнее, чем сменялись поколения. За три дня пути он не встретил ни крупного здания, ни высокого дерева, ни тучного поля, ни веселого лица. Так он дошел до столицы.

Городская стена изрядно обветшала, но кое-где ее подремонтировали новыми камнями; возле рва виднелись кучи ила и грязи — похоже было, что его расчищали, однако по обеим его сторонам Мо-цзы заметил всего лишь нескольких человек, и то рыболовов.

«Наверное, и до них уже дошла новость»,— подумал Мо-цзы. Он пристально всматривался в рыболовов, но не увидел среди них своих учеников.

Мо-цзы решил пройти город напрямик и от северной заставы направился к южной по одной из центральных улиц. В столице было безлюдно и тихо; налепленные на лавках объявления извещали о сниженных ценах, но покупателей не было — как, впрочем, и приличных товаров; улицы тонули в желтой пыли, мелкой и липкой.

«До чего дошли... И на них еще нападать собираются!» — подумал Мо-цзы.

Он шел по главной улице и всюду видел одну нищету. Известие о предстоящем нападении, возможно, уже распространилось, но жители притерпелись к нашествиям, считая их неизбежным злом, да и не видя в них ничего особенного. К тому же у них ничего уже не осталось, кроме жизни,— ни платья, ни

провизии,— так что о бегстве никто и не помышлял. И лишь когда впереди замаячила башня над южными воротами, Мо-цзы заметил на перекрестке группку горожан, человек десять,— видимо, они слушали рассказчика.

Подойдя ближе, Мо-цзы увидел, как оратор взмахнул рукой и громко крикнул:

— Мы им покажем, каков дух сунского народа! Все, как один, пойдем на смерть!

Мо-цзы узнал голос Цао Гун-цзы — своего ученика.

Но он не стал к нему проталкиваться и окликать его, а поспешил выйти через южные ворота и продолжал свой путь. Прошагав еще день и большую часть ночи, он остановился передохнуть и, проспав до зари под навесом крестьянского дома, снова отправился в путь. Сандалии расползлись и не держались на ногах, а простыня была еще нужна — там оставалась провизия, пришлось оторвать полы от платья, чтобы обмотать ноги.

Но тонкие лоскуты не защищали от выбоин на проселочных дорогах, и ступать было все больнее. После полудня Мо-цзы уселся под невысокой акацией, развязал узелок и пообедал, дав заодно отдохнуть ногам. Вдруг он заметил вдали здорового детину, который, толкая доверху груженную тележку, направлялся прямо к нему. Приблизившись, человек оставил тележку, подошел к Мо-цзы и воскликнул: «Учитель!» Он тяжело дышал и полой одежды вытирал пот с лица.

— Песок везешь? — осведомился Мо-цзы, узнав своего ученика Гуань Цянь-ао.

— Песок. Против осадных лестниц.

— А как у вас насчет всего прочего?

— Да насобирали кой-чего: пакли, золы, железа. Только трудненько приходится: у кого есть — те не дают, а кто и дал бы — так у тех нет. Да и болтунов хватает...

— Слыхал я вчера в городе, как Цао Гун-цзы ораторствовал: что-то он там плел о «духе», о «смерти»... Скажи ему, пусть меньше пыжится; умереть — дело неплохое, но не так это просто, ведь главное — умереть с толком!

— Скажешь ему! Как же! — с горечью ответил Гуань Цянь-ао.— Он здесь два года как в чиновниках, не очень-то с нами разговаривает...

— А Цинь Гу-ли?

— Вечно в хлопотах. Только что самострелы испытывал, а теперь, надо думать, рекогносцировку проводит за западной заставой — оттого и не смог с вами встретиться. А вы, учитель, видно, в Чу идете — к Гуншу Баню?

— Верно,— сказал Мо-цзы, поднимаясь,— не знаю только, станет ли он меня слушать. Так что вы не очень-то надейтесь на переговоры и продолжайте готовиться.

Гуань Цянь-ао кивнул, постоял, провожая Мо-цзы взглядом, и с грохотом покатил тележку в город.

3

Чуская столица Инчэн даже сравнить нельзя было с сунской: на широких улицах стояли ровные, стройные здания, большие магазины ломились от первосортных товаров — белоснежных холстов, огненно-красного перца, пятнистых оленьих шкур, крупных, сочных зерен лотоса. Жители были помельче северян — зато бойчее и развязнее. Все были хорошо одеты — Мо-цзы, в своем рубище и обмотках, мог здесь сойти за нищего с солидным стажем.

По пути к центру города, на большой площади, уставленной ларьками и лотками, теснились людские толпы: здесь, на скрещении нескольких улиц, раскинулся шумный базар. Высмотрев в толпе старика, по виду — человека образованного, Мо-цзы решил узнать у него адрес Гуншу Баня. На беду, оба изъяснялись на разных диалектах и не могли понять друг друга. Мо-цзы уже принялся было выводить имя Гуншу Баня на ладони, как вдруг раздался громоподобный рев: толпа запела. Любимица публики Сай Сян-лин исполняла своего знаменитого «Сычуанца в деревне», и все хором грянули припев. Ученый старец тоже начал что-то мурлыкать, и Мо-цзы понял, что старцу теперь не до иероглифов. Не дописав и первого знака, он быстро зашагал прочь, но пели все и всюду: не к кому было и подступиться. Наконец певица все же умолкла — и мало-помалу восстановилось спокойствие. Наткнувшись на лавку столяра, Мо-цзы зашел туда, чтобы разузнать о местожительстве Гуншу Баня.

— Дом господина Гуншу, шаньдунца, который сделал крючья и тараны? — Он и впрямь был хорошо известен хозяину лавки — желтолицему, черноусому толстяку.— Это рядом. Ступай обратно, пройдешь перекресток и по второму переулку, что будет по правую руку, иди на восток, потом на юг, потом поверни на север — и увидишь третий дом от угла, так вот это он и есть.

Мо-цзы, рисуя на ладони иероглифы, попросил хозяина проверить — все ли он правильно понял, и лишь после этого, крепко-накрепко все затвердив и поблагодарив хозяина, стремитель-

ным шагом направился по указанному адресу. Все оказалось точным: на воротах перед третьим домом от угла висела доска из кедра с тончайшей резной надписью. Старинная вязь гласила: «Дом Гуншу Баня из княжества Лу».

Мо-цзы стукнул несколько раз кольцом из красной меди, торчавшим из звериной пасти. На стук вышел свирепого вида привратник. Он бросил взгляд на гостя и заорал:

— Хозяин не принимает! Много вас тут, земляков, шляется, и все чего-нибудь просят!

Мо-цзы еле успел взглянуть на него, как тот уже запер дверь. Мо-цзы постучал еще — никто не отзывался.

Однако привратнику от взгляда незнакомца сделалось как-то не по себе. Почувствовав неладное, он решил все же доложить о нем хозяину. Гуншу Бань, с плотничьим угольником в руках, обмерял модель осадной лестницы.

— Хозяин, опять какой-то ваш земляк помощи просит,— негромко сказал привратник.— Только этот какой-то чудной...

— Как его зовут?

— Я не спросил...— растерянно ответил слуга.

— Выглядит как?

— На нищего похож. Лет тридцати, высокий, лицо смуглое...

— Да это, наверное, Мо Ди! — испуганно воскликнул Гуншу Бань и, бросив модель и угольник, поспешно сбежал с крыльца. Перепуганный привратник, забежав вперед, открыл дверь. Мо-цзы и Гуншу Бань встретились прямо у ворот.

— Ну конечно, это вы,— обрадованно сказал Гуншу Бань, приглашая гостя в дом.— Как себя чувствуете? По-прежнему в хлопотах?

— Как всегда...

— Но вы, учитель, проделали такой долгий путь — не иначе как хотите меня в чем-то наставить?

— Обидел меня на севере один человек,— спокойно сказал Мо-цзы.— Хочу попросить, чтоб ты его убил...

Гуншу Бань нахмурился.

— Я дам тебе за это десять монет! — добавил Мо-цзы.

Услышав такое, хозяин уже не мог сдержать негодования. Насупившись, он холодно ответил:

— Я не убийца!

— Превосходно! — Мо-цзы, взволнованный, встал и дважды поклонился ученику, после чего спокойно продолжал: — Однако я должен тебе кое-что сказать. Слышал я на севере, что ты построил осадную лестницу и хочешь напасть на Сун. А чем

провинилась эта страна? У Чу земли в избытке, а населения не хватает. Разумно ли губить то, чего мало, чтобы завладеть тем, чего и так много? Справедливо ли нападать на страну, которая ни в чем не виновна? Если ты все знаешь и не противишься этому, можно ли сказать, что ты предан князю? А если противишься, но безуспешно,— тебя нельзя назвать сильным. Если же ты зарекся убивать немногих, а сам убиваешь многих — значит, ты не силен в логике. Что, сударь, на это скажешь?..

— Ну что ж...— Гуншу Бань задумался.— Вы совершенно правы, учитель.

— Почему бы в таком случае не отказаться от нападения?

— Ничего не получится,— удрученно сказал Гуншу Бань.— Я уже говорил с князем.

— Тогда веди меня к нему.

— Хорошо. Только время уже позднее, неплохо бы сначала подкрепиться.

Но Мо-цзы ничего не хотел слышать: он беспокойно вертелся, то и дело вскакивал — ему, как всегда, не сиделось на месте. Поняв, что его не переупрямить, Гуншу Бань пообещал отвести его к князю немедленно. Но прежде ученик зашел к себе в комнату, принес оттуда платье и туфли и сказал прямо и без обиняков:

— Только я попрошу вас, учитель, переодеться. Это ведь не у нас на родине — здесь во всем любят шик. Так что будет удобнее, если вы переоденетесь...

— Пожалуйста, пожалуйста,— без всякого смущения ответил Мо-цзы.— По правде говоря, я и сам не очень люблю ходить в драном... просто переодеваться некогда...

4

Чуский князь давно уже слышал про северного мудреца и, как только Гуншу Бань доложил ему о Мо Ди, принял его без проволочек.

Платье оказалось очень коротким — высокий, тонконогий Мо-цзы походил в нем на цаплю. Он вошел вслед за Гуншу Банем в зал для аудиенций, поклонился князю и заговорил легко и свободно:

— Что бы вы сказали о человеке, если он не хочет ездить в карете и зарится на соседскую сломанную телегу; не хочет носить расшитую парчу и зарится на соседскую войлочную куртку; не хочет риса и мяса и зарится на соседские отруби?

— Что это какой-то клептоман,— ответил князь, не подозревая подвоха.

— Царство Чу,— сказал Мо-цзы,— простирается на пять тысяч ли, царство Сун — лишь на пятьсот: вот вам карета и сломанная телега. У вас есть озеро Юньмэн — на его берегах полно носорогов, оленей и лосей; в ваших реках — Янцзы и Ханьцзяне — рыбы, кайманов, черепах — как нигде, а в Сун не найдешь даже зайцев, фазанов и карасей: вот вам рис с мясом и отруби. В Чу растут кедры и высокие сосны, камфарное дерево и катальпа с узорной древесиной, а в Сун больших деревьев нет: вот вам расшитая парча и войлочная куртка. Поэтому-то мне и кажется, что намерение ваших слуг напасть на Сун весьма напоминает притчу, которую я рассказал.

— А ведь и в самом деле! — сказал князь, кивая головой.— Однако Гуншу Бань уже строит для меня осадную лестницу — так что я просто вынужден напасть.

— Но ведь неизвестно еще, чем это кончится,— сказал Мо-цзы.— Прикажите подать сюда щепок — можно будет тут же устроить испытание.

Князь, большой охотник до всяких диковинок, пришел в восторг и приказал немедленно принести щепки. А Мо-цзы снял свой ремень, положил его на пол и, придав ему форму дуги, повернул к Гуншу Баню. Это была «крепость». Разделив щепки поровну, он половину оставил себе, а другую отдал Гуншу Баню. Это были «нападающие» и «обороняющиеся».

Набрав в руки щепок, они начали сражение, напоминавшее партию в шахматы: «нападение» — наступало, «оборона» — отражала натиск; стоило одному отступить — как другой снова вызывал его на бой. Князь и его приближенные смотрели и ничего не могли понять.

Они видели только, что таких отступлений и атак всего было девять: очевидно, противники решили испробовать девять различных способов нападения и обороны. После этого Гуншу Бань прервал игру. А Мо-цзы повернул кожаную дугу в обратную сторону, как бы давая понять, что теперь наступать будет он. Атаки и отступления возобновились, и уже во время третьей атаки Мо-цзы его щепки ворвались в кожаную крепость.

Князь и его свита по-прежнему ничего не понимали в игре, но, увидев, что Гуншу Бань первый, с кислым выражением на лице, отложил щепки в сторону, догадались, что он проиграл и в наступлении, и в обороне.

Князь тоже слегка приуныл.

— А я знаю, как обыграть вас,— помедлив секунду, насмешливо сказал Гуншу Бань,— только не скажу.

— И я знаю, как ты можешь обыграть меня,— невозмутимо ответил Мо-цзы,— и тоже не скажу.

— О чем это вы? — удивился князь.

— Гуншу-цзы думает о том,— ответил Мо-цзы, повернувшись к князю,— что меня надо убить: он полагает, что в этом случае княжество Сун некому будет защищать и можно будет на него напасть. Но триста моих учеников — Цинь Гу-ли и все остальные — получили от меня оборонительное оружие и ждут на городской стене сунской столицы неприятеля из Чу. Так что если вы меня и убьете, успеха все равно не добьетесь!

— Вот это стратегия! — сказал пораженный князь.— Ну что ж, в таком случае я не пойду на Сун.

5

Отговорив чуского князя от нападения, Мо-цзы думал сразу же отправиться обратно в Лу. Но надо было возвратить Гуншу Баню его платье — поэтому пришлось вернуться к нему. Время было позднее, оба сильно проголодались, и хозяин, естественно, стал уговаривать гостя остаться на обед, или, скорее, на ужин, а заодно и перепочевать.

— Я должен идти сегодня же,— сказал Мо-цзы.— Приду на будущий год — преподнесу князю свою книгу.

— По-прежнему долгу и справедливости учите? — спросил Гуншу Бань.— Трудиться, не щадя себя... Помогать ближнему... Все это, земляк, хорошо для черни, но не для знатных — и уж тем более не для государя!

— Ничего подобного! Шелк и лен, рис и зерно производятся чернью, но знать охотно ими пользуется. А долг и справедливость необходимы ей еще больше.

— Что ж, пожалуй! — шутливо отпарировал Гуншу Бань.— Перед вашим приходом я захотел захватить Сун, а теперь пусть мне его подарят — не возьму, раз это несправедливо...

— В таком случае будем считать, что я и вправду тебе его подарил,— шутливо ответил Мо-цзы.— А будешь постоянно следовать долгу — и Поднебесную подарю!

Пока они беседовали и шутили, принесли обед — рыбу, мясо, вино. Мо-цзы отведал лишь мяса, не притронувшись ни к вину, ни к рыбе. Гуншу Бань пил один. Увидев, что гость еле

Тетушка Сян-линь («Молчание о счастье»)

Гу Юань

двигает ножом и ложкой, он, чувствуя неловкость, принялся его потчевать:

— Прошу вас,— уговаривал он Мо-цзы,— лепешки с соусом из перца, только попробуйте: весьма недурны. А вот лук не такой сочный, как у нас...

После нескольких чарок Гуншу Бань оживился еще больше.

— Вот я для морских сражений придумал тараны и крючья,— сказал он,— а есть ли они у вашей справедливости?

— У моей справедливости тараны и крючья получше твоих,— твердо сказал Мо-цзы.— Я беру на абордаж любовью и таранью уважением. Если не брать на абордаж любовью — возникает отчужденность, если не таранить уважением — появляется притворство, а отчужденность и притворство разобщают людей. Вот почему взаимная любовь и взаимное уважение равнозначны общей пользе. Ты же сейчас собираешься идти с крючьями на других, а они — на тебя, таранишь других, а они тебя. А идти друг на друга с крючьями и с таранами — значит друг друга губить. Вот почему мои тараны и крючья лучше твоих, созданных для войны.

— Но вы, земляк, своей справедливостью едва не лишили меня чашки риса! — Обжегшись, Гуншу Бань решил переменить тему, хотя не совсем еще протрезвел, поскольку обычно пил мало.

— Но ведь это лучше, чем лишить чашки риса жителей целого княжества.

— Теперь мне осталось только перейти на игрушки... Постойте-ка, я вам что-то покажу...

Гуншу Бань вскочил и кинулся во внутренние покои — слышно было, как он роется в сундуке. Через секунду он появился — в его руках была сорока, сделанная из дерева и бамбуковых планок. Передавая ее гостю, Гуншу Бань сказал:

— Стоит ее запустить — и будет летать три дня. Что ни говорите, а работа — мастерская!

— И все же ей далеко до работы столяра, который делает тележные колеса,— сказал Мо-цзы, посмотрел на игрушку и положил ее на пол.— Из доски в три цуня толщиной он может вытесать колесо, которое выдержит груз в пятьдесят даней. Искусно и хорошо — то, что полезно. А бесполезное — всегда грубо и плохо.

— Ах да, я и забыл совсем.— Обжегшись вторично, Гуншу Бань окончательно протрезвел.— Уж эти-то ваши слова мне следовало бы помнить.

— Поэтому-то и старайся всегда быть верным долгу и справедливости,— сказал Мо-цзы проникновенно, заглядывая ему в глаза,— станешь тогда не только искусным мастером — вся Поднебесная твоей будет. Но я и так чуть не на целый день оторвал тебя от дела — увидимся на будущий год.

И, взяв свой узелок, Мо-цзы распрощался с хозяином. Гуншу Бань знал, что удерживать его бесполезно. Проводив гостя до ворот, он вернулся в дом и, подумав немного, засунул и сороку, и модель осадной лестницы в сундук, стоявший в дальних покоях.

Обратно Мо-цзы шел медленно. Он устал; у него ломило ноги; провиант кончился, и он чувствовал, что слабеет от голода. К тому же дело улажено, можно было не спешить.

Зато теперь его стали преследовать неудачи. Едва он пересек границу Сун, как его дважды обыскали. Неподалеку от столицы он нарвался на отряд по сбору добровольных пожертвований ради спасения родины — и у него забрали простыню. А возле южных ворот он попал под ливень. Мо-цзы думал было укрыться под аркой, но двое патрульных с пиками отогнали его. Он вымок до нитки и дней десять, если не больше, хлюпал носом.

Август 1934 г.

ВОСКРЕШЕНИЕ

Большой пустырь, на котором возвышается несколько холмиков. Все поросло бурьяном, деревьев нет. В бурьяне — тропа, проложенная конниками и пешеходами, рядом с ней течет ручеек. Вдалеке виднеются дома.

Входит философ Чжуан-цзы, одетый в простой холщовый халат. У него смуглое худое лицо и седеющая борода, которая почти закрывает щеки. На голове — даосская шапка, а в руке — хлыст.

Философ. Когда уезжал из дома, воды почему-то не нашлось, и сразу пить захотел. Да, жажда не шутка, просто хоть в бабочку превращайся. Впрочем, здесь даже цветов нет... О, тут заводь! Какая удача! *(Подбегает к ручью, отгоняет руками ряску и жадно пьет.)* Ну вот, теперь хорошо, можно и дальше ехать. *(Отходит от ручья, смотрит вокруг.)* Ого! Череп! Что это значит? *(Раздвинув траву хлыстом, постукивает по черепу.)* Почему ты стал таким, человек? Слишком любил жизнь и боялся смерти? Или действовал всем вопреки? *(Стучит, будто*

ожидая ответа.) Может, ты упал неудачно или получил удар ножом? *(Постукивает.)* Не совершил ли ты какую-нибудь глупость, не покончил ли с собой, осрамив отца, мать, жену и детей? *(Постукивает.)* Разве ты не знаешь, что самоубийство — удел слабых? *(Стучит особенно энергично.)* Наверное, у тебя не было ни еды, ни одежды, поэтому ты погиб? *(Постукивает.)* А может, ты умер естественной смертью, от старости? *(Постукивает.)* Или...

Ох, до чего я глуп, вообразил, будто я на сцене. Ведь он не может ответить! К счастью, царство Чу уже близко, торопиться некуда и можно умолить Повелителя судеб вернуть этому человеку жизнь. Воскреснув, он развлечет меня беседой, а потом возвратится на родину, к своим близким. *(Обращается на восток, кладет хлыст, поднимает сложенные ладони к небу и во весь голос кричит.)* Прими мои искренние, высочайшие почести, о божественный Повелитель судеб!

Налетает порыв мрачного ветра, и появляется сонм душ — мужчин, женщин, стариков, детей. Одни из них худые, с растрепанными волосами, другие — толстые, лысые.

Души. Ты действительно глуп, философ! Сед уже, а все еще ничего не понимаешь. В загробном мире нет ни смены времен, ни господ. Это на земле меняются годы, от них зависит даже император. Не занимайся чепухой, поезжай скорее в царство Чу, там и развивай свою деятельность.

Философ. Сами вы глупы, даже после смерти не образумились. Знайте, что жизнь — это смерть, смерть — это жизнь, а раб — это господин. Я постиг истоки всего сущего, и вы меня ни в чем не убедите.

Души. Тогда быть тебе опозоренным, тотчас же...

Философ. Меня защищает милость чуского царя, и я не боюсь ваших угроз! *(Снова кричит во весь голос, подняв сложенные ладони к небу.)* Прими мои искренние, высочайшие почести, о божественный Повелитель судеб!

Земли жёлты, небо тёмно,
Вся вселенная огромна,
У светил — восход, закат...
Звезды выстроились в ряд.

Чжао, Цянь, Сунь, Ли,
Чжоу, У, Чжэн, Ван,
Фэн, Цинь, Чу, Вэй,
Цзян, Шэнь, Хань, Ян...

Великий старец, стремительный, точно указ! Появись! Появись! Появись!

Снова порыв ветра, души исчезают, и на востоке в туманной дымке вырастает Повелитель судеб, с виду очень похожий на Чжуан-цзы: смуглое худое лицо и седеющая борода, которая почти закрывает щеки; одет в холщовый халат, на голове — даосская шапка, а в руке — хлыст.

Повелитель судеб. Зачем ты звал меня, Чжуан Чжоу? Опять что-нибудь придумал? Или от воды захмелел?

Философ. Недостойный шел к чускому царю и вдруг увидел череп, довольно хорошо сохранившийся. У этого человека, наверное, есть семья, а он, бедняга, лежит здесь мертвый. Уж очень мне его жаль стало, потому и умоляю тебя, Великий старец, верни ему плоть, воскреси несчастного и позволь ему вернуться домой.

Повелитель судеб. Ха-ха! Неискренние это слова. Наверное, ты напился, да не наелся, вот и хочешь заглушить голод. В общем, не пойму, серьезно ты говоришь или шутишь. Иди-ка лучше своей дорогой и не морочь мне голову. Надо знать, что «жизнь и смерть предначертаны судьбой», даже я не в силах распоряжаться ими, как угодно.

Философ. Ты ошибаешься, старец. Ведь в действительности нет границы между жизнью и смертью. Однажды во сне я превратился в бабочку — настоящую бабочку, которая порхает в воздухе, а проснулся самим собой — вечно беспокойным и хлопотливым Чжуан Чжоу. Так я до сих пор и не могу понять: то ли философ заснул и превратился в бабочку, то ли бабочка заснула и превратилась в философа. Если вдуматься, кто знает: может, сейчас этот череп как раз живой, а когда он будто бы оживет, то на самом деле помрет. Молю тебя, Великий старец, смягчись немного, пойди на компромисс. Человек должен быть гибким, да и богу консерватизм не к лицу.

Повелитель судеб *(улыбаясь)*. А ты по-прежнему действовать не умеешь, зато говорить мастер и отдаешь предпочтение людям перед богами... Ну ладно, ради тебя попробую.

Повелитель судеб указывает хлыстом в бурьян, где лежит череп, и исчезает. Из травы вылетает огонь, а вслед за ним — воскрешенный, совершенно голый. Это высокий, крепкий человек лет тридцати, с красным лицом, по виду крестьянин. Придя в себя, воскрешенный протирает кулаками глаза и замечает Чжуан-цзы.

Крестьянин. Ты кто?

Философ. Я? *(С улыбкой подходит к нему и рассматривает.)* Расскажи лучше, что с тобой стряслось?

Крестьянин. Ох, заспался я. А ты что тут делаешь? *(Оглядывается по сторонам и начинает кричать.)* Ой, где мой

узел и зонтик? *(Смотрит на себя.)* Ой-ой, где моя одежда? *(Стыдливо садится на корточки.)*

Философ. Успокойся, ничего страшного с тобой не приключилось, наоборот, ты только что воскрес. Твои вещи, наверное, давно уже сгнили, а может, их кто-нибудь унес.

Крестьянин. Ты что болтаешь?

Философ. Скажи-ка лучше — как тебя звать и откуда ты родом.

Крестьянин. Кличут меня Ян Большой, а родом я из Деревни семьи Ян.

Философ. Как ты сюда попал и зачем?

Крестьянин. К родичам пошел, да по дороге заснул ненароком. *(Снова волнуется.)* Ну, а где моя одежда, узел и зонтик?

Философ. Ты не волнуйся, будь спокойнее... Скажи мне, из какой ты эпохи?

Крестьянин *(удивленно)*. Чего? Что значит «из какой эпохи»?.. Где моя одежда?

Философ. Ну и глуп же ты, да и эгоист закоренелый,— думаешь только о своих пожитках! При чем тут одежда! Я еще не знаю, что ты за человек, поэтому и спросил первым делом, из какой ты эпохи. Ах, ты не понимаешь... Тогда *(думает)* скажи мне: во время твоей жизни в деревне случались какие-нибудь события?

Крестьянин. События? Случались. Вот вчера Вторая невестка повздорила с Седьмой бабушкой.

Философ. Не очень-то крупное событие.

Крестьянин. Не очень?.. Ну еще Яна Третьего объявили почтительным сыном.

Философ. Вот это действительно событие, но все же недостаточно крупное, чтобы определить эпоху... *(Подумав.)* А не было ли такого, из-за чего бы шум поднялся?

Крестьянин. Шум... *(Думает.)* Как же, было! Месяца три-четыре назад, когда начали строить Башню оленя, потребовались детские души, вот тогда и поднялся страшный шум: даже курицы разлетелись и собаки убежали, а люди просто с ног сбились, чтобы найти ладанки для своих детей...

Философ *(пораженный)*. Когда, говоришь, начали строить Башню оленя?

Крестьянин. Я же сказал, что с тех пор месяца три или четыре прошло.

Философ. Выходит, ты умер при царе Чжоу-сине, то есть больше пяти веков назад?! Это просто невероятно!

Крестьянин *(слегка разозлившись)*. Мы видимся с тобой в первый раз, господин, так что нечего шутки шутить. Я просто вздремнул здесь, а не помер бог знает когда. Дело у меня серьезное, я иду к родичам. Отдавай скорее мою одежду, узел и зонтик. Некогда мне с тобой зубы скалить.

Философ. Погоди, не спеши, дай подумать немного. Как же ты все-таки уснул?

Крестьянин. Как уснул? *(Припоминает.)* Утром пришел сюда, вдруг в голове зашумело, в глазах потемнело, и я заснул.

Философ. А больно было?

Крестьянин. Вроде бы нет.

Философ. Эге... *(Задумывается.)* Теперь я, кажется, понял. Итак, ты жил при царе Чжоу-сине из династии Шан, пришел сюда один и, наверное, наткнулся на разбойника, который сидел в засаде. Он ударил тебя сзади дубинкой, а потом ограбил дочиста... С тех пор прошло пятьсот с лишком лет. Сейчас у нас правит уже не царь Чжоу-синь, а династия Чжоу. Так что одежда твоя давно истлела. Соображаешь?

Крестьянин *(смотрит на философа вытаращенными глазами)*. Ничего не соображаю. Господин, ты не дури, отдай мне одежду, узел и зонтик. Дело у меня серьезное, к родичам спешу. Некогда мне с тобой шутить!

Философ. Да, ты неисправим в своей глупости...

Крестьянин. Кто это неисправим? Я проснулся, увидел тебя, а вещей моих нет. С кого мне еще требовать их, как не с тебя? *(Встает.)*

Философ *(взволнованно)*. Послушай, что я тебе скажу: ты был обыкновенным черепом, который я заметил и пожалел, умолив Повелителя судеб оживить тебя. Но мне не нужно твоей благодарности, я просто прошу тебя понять, как могла сохраниться твоя одежда, если ты умер столько лет назад! Садись лучше и поговорим о временах царя Чжоу-синя...

Крестьянин. Врешь! В твою болтовню не поверит даже трехлетний ребенок, а мне уже тридцать три! *(Надвигается на своего спасителя.)* Ты...

Философ. Я действительно обладаю способностью воскрешать. Ты, должно быть, знаешь про Чжуан Чжоу из Циюаня.

Крестьянин. Нет, не знаю. Но даже если ты обладаешь этой способностью, она ни черта не стоит. Очень надо было мне воскресать, чтобы оказаться голым! Как я теперь пойду к родичам? Узел и тот исчез... *(Чуть не плача, подбегает к философу и хватает его за рукав.)* Не верю я твоему вранью. Кроме

меня, ты здесь один, значит, я должен требовать с тебя. Пойдем к старосте!

Философ. Погоди, погоди, халат у меня ветхий, еле жив, а ты его дергаешь. Дай сказать хоть несколько слов. Не заботься ты так о своей одежде: с ней хорошо, а без нее, может, еще лучше. У птиц есть перья, у зверей — шерсть, а огурцы и баклажаны голые, но ничуть не страдают от этого. Словом, и в том, и в другом заключается верное и неверное. Конечно, нельзя сказать, что следует ходить без платья, но разве можно сказать, что надо непременно носить платье?

Крестьянин *(в ярости)*. Хватит болтать! Отдавай мои вещи, или я тебя укокошу! *(Одной рукой продолжает держать мудреца, а другую сжимает в кулак и замахивается.)*

Философ *(взволнованно заслоняясь)*. Ты не смеешь действовать силой! Отпусти, а то я попрошу Повелителя судеб вновь умертвить тебя!

Крестьянин *(презрительно усмехается и отпускает философа)*. Ладно, убивай меня. Иначе я заставлю тебя вернуть и одежду, и зонтик, и узел, в котором было пятьдесят две монеты, полтора цзиня сахару и два цзиня фиников.

Философ *(сурово)*. Смотри, не успеешь даже пожалеть!

Крестьянин. Сам жалей, мерзавец!

Философ *(решившись)*. Хорошо, раз ты так глуп, возвращайся к прежнему состоянию. *(Обратившись лицом на восток, поднимает руки к небу и во весь голос кричит)*. Прими мои искренние, высочайшие почести, о божественный Повелитель судеб!

Земли жёлты, небо тёмно,
Вся вселенная огромна,
У светил — восход, закат...
Звезды выстроились в ряд.

Чжао, Цянь, Сунь, Ли,
Чжоу, У, Чжэн, Ван,
Фэн, Цинь, Чу, Вэй,
Цзян, Шэнь, Хань, Ян...

Великий старец, стремительный, точно указ! Появись! Появись! Появись!

Молчание, никакого отклика.

Земли жёлты, небо тёмно!

Великий старец! Появись! Появись! Появись!.. Появись!..

Снова никакого отклика. Чжуан-цзы оглядывается по сторонам и медленно опускает руки.

Крестьянин. Ну как, умер я или жив?

Философ *(растерянно)*. Не знаю почему, но на этот раз заклинание не подействовало.

Крестьянин *(подступая)*. Хватит врать. Гони мою одежду!

Философ *(отпрянув)*. Убери руки! Варвар, не понимающий философских принципов!

Крестьянин *(хватает его)*. Да ты, видать, не просто бандюга, а главарь целой разбойничьей шайки! Сейчас я сдеру с тебя даосский халат, возьму твоего коня, и ты заплатишь мне за...

Вырываясь, философ торопливо достает из рукава полицейский свисток и бешено свистит. Крестьянин в изумлении останавливается. Вдали появляется полицейский.

Полицейский *(кричит на бегу)*. Держи его! Не отпускай! *(Подбегает. Это краснорожий безусый детина из княжества Лу в полицейской форме и с дубинкой в руках.)* Держи мерзавца!

Крестьянин *(опять бросаясь на философа)*. Держи мерзавца!

Подбежав, полицейский хватает Чжуан-цзы за воротник, замахивается дубинкой, а крестьянин отпускает мудреца и, согнувшись, прикрывает свой срам ладонями.

Философ *(ухватившись за дубинку, запрокидывает голову)*. Что это значит?

Полицейский. Что значит? Гм, неужели сам не понимаешь?

Философ *(гневно)*. Это ведь я тебя звал, а ты меня хватаешь!

Полицейский. Как так?

Философ. Свисток дал я...

Полицейский. Украл чужое платье, да еще свистишь? Вот негодяй!

Философ. Я просто мимо проходил, увидел мертвеца, оживил его, а он вместо благодарности заявляет, будто я взял его вещи. Посмотри на меня, неужели я похож на грабителя?

Полицейский *(убирает дубинку)*. Кто тебя знает! «Можно видеть лицо человека, но не его мысли». Пойдем в участок!

Философ. Это исключено. Я очень тороплюсь, иду к чускому царю.

Полицейский *(изумленный, отпускает Чжуан-цзы и вглядывается в его лицо.)* Так вы из Ци...

Философ *(радостно)*. Да, я Чжуан Чжоу, цюаньский чиновник. А ты откуда знаешь?

Полицейский. Начальник нашего участка последние дни часто вспоминал о вас, говорил, что вы отправляетесь в царство Чу, чтобы разбогатеть, и, возможно, пройдете здесь. Начальник нашего презренного участка тоже отшельник и занимает свою должность только по совместительству. Он очень любит читать ваши сочинения, например, «О равенстве вещей». Здорово там сказано: «Жизнь — это смерть, смерть — это жизнь. Возможность — это невозможность, невозможность — это возможность». Как это сильно звучит, каким блестящим слогом написано! Зайдите в наш презренный участок, отдохните!

Крестьянин, испуганный, отступает в бурьян и вновь садится на корточки.

Философ. Сейчас уже поздно, и я не могу задерживаться. Но на обратном пути обязательно навещу вашего почтенного начальника.

Мудрец садится на коня, и уже хочет взмахнуть плетью, как вдруг крестьянин, выскочив из бурьяна, хватает коня под уздцы. Полицейский тоже подбегает и пытается оттянуть крестьянина.

Философ *(воскресшему)*. Чего ты снова пристал?

Крестьянин. Вы уедете, а я что буду делать? Господин полицейский, посмотрите, ведь у меня ничего нет...

Полицейский *(почесывая за ухом)*. Да, в таком виде трудно что-нибудь делать... Мне кажется... Господин *(смотрит на Чжуан-цзы)*, вы ведь богаче его, подарите ему часть своего платья, пусть прикроет стыд...

Философ. В принципе это было бы справедливо, одежда принадлежит не мне одному. Но я сейчас еду на аудиенцию к царю, без рубашки обойтись не могу, а без халата тем более.

Полицейский. Да, без них действительно не обойдешься! *(Воскресшему.)* Убери руки!

Крестьянин. Мне нужно к родичам...

Полицейский. Ерунда! Если будешь еще приставать, заберу тебя в участок! Катись отсюда! *(Поднимает дубинку и загоняет крестьянина в бурьян.)*

Философ *(полицейскому)*. Прощай, до свиданья!

Полицейский. До скорого свиданьица, ваша милость! Счастливого пути!

Чжуан-цзы, стегнув коня, трогается с места. Полицейский, приложив руку к глазам, смотрит, как он постепенно исчезает в клубах пыли. Но едва полицейский поворачивается, чтобы снова выйти на дорогу, как из травы выскакивает крестьянин и хватает его за полу.

Полицейский. Чего тебе еще?

Крестьянин. Что же мне делать?

Полицейский. А я почем знаю!

Крестьянин. Мне нужно к родичам...

Полицейский. Ну и иди себе.

Крестьянин. Но ведь я голый.

Полицейский. Разве голому нельзя идти к родичам?

Крестьянин. Сначала ты его отпустил, а теперь думаешь сам улизнуть! Но мне некого просить о помощи, кроме тебя. Скажи, как мне дальше жить?!

Полицейский. Имей в виду: кончают с собой только слабые.

Крестьянин. Придумай для меня хоть что-нибудь!

Полицейский *(освобождает полу своего мундира)*. Я ничего не могу придумать!

Крестьянин *(вцепляясь в рукав полицейского)*. Тогда забери меня в участок!

Полицейский *(пытается высвободить рукав)*. Да ты с ума сошел! Как можно идти по улице голым! Отпусти!

Крестьянин. Одолжи хоть штаны!

Полицейский. Они у меня одни. Если я их тебе одолжу, сам буду неизвестно на что похож. *(С силой вырываясь.)* Не буянь, пусти!

Крестьянин *(хватает полицейского за воротник)*. Я обязательно пойду с тобой!

Полицейский *(в отчаянье)*. Нельзя!

Крестьянин. Тогда я не отпущу тебя!

Полицейский. Чего ты хочешь, наконец?

Крестьянин. Хочу, чтобы ты забрал меня в участок.

Полицейский. На кой черт ты мне сдался?! Не нарушай порядка, отпусти! Иначе... *(Вырывается изо всех сил.)*

Крестьянин *(сжимая его еще крепче)*. Иначе что? Все равно я не могу пойти к родичам и вообще не похож на человека. А два цзиня фиников, а полтора цзиня сахару!.. Раз ты отпустил этого ворюгу, я буду драться с тобой насмерть.

Полицейский *(барахтаясь)*. Не бунтуй, отойди! А то... а то... *(Вынимает свисток и яростно свистит.)*

Декабрь 1935 г.

ПРИМЕЧАНИЯ

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ И РЕДАКТОРА

Предлагаемый сборник произведений имеет целью познакомить советского читателя с наиболее значительными произведениями великого китайского писателя Лу Синя.

Нужно ли здесь упоминать, что по естественному праву составителя предпочтение было отдано сюжетной прозе. Выбор этот ни в какой мере не нарушает объективности подхода к литературным произведениям, как и не находится в противоречии с авторским самовыражением. Включенные в книгу рассказы, разумеется, представляют собой лишь часть лусиневского наследия, но, на наш взгляд, часть, едва ли не наиболее ценную в художественном творчестве писателя.

Сюжетная проза Лу Синя отличается и своеобразием стиля, и богатством душевных тональностей, и яркой идиоматичностью речевых выразительных средств. С нашей точки зрения, простота, которая видится некоторым переводчикам в лусиневском тексте, скорее иллюзия, возникающая от недостаточно глубокого проникновения не только в текст, но и в скрытые тайны авторского подтекста.

Лу Синь обладал всевидящей зоркостью, особым даром обнаруживать и образно воссоздавать внутреннюю взаимосвязь сталкивающихся тенденций в общественных явлениях и человеческих характерах. И здесь нужен многозначный эстетический анализ, дающий возможность обнаружить скрытую ткань перекрещивающихся чувств и устремлений автора, а также созданных им образов. Но для переводчика именно в этом таится опасность оказаться во власти субъективных представлений и стать жертвой собственной фантазии. Переводчик как истолкователь авторского текста должен быть необычайно чуток к многосложностям речевого искусства, к особенностям подтекста.

Лу Синь — самобытный, национальный художник, глубоко усвоивший китайскую традицию. И трудность перевода его произведений состоит, в частности, в первоклассной исторической эрудиции автора. Нам приходится встречаться здесь с философскими глубинами, проблемностью, психологическими противопоставлениями, терзаниями, озарениями,

исканиями писателя. Показательны в этом отношении такие произведения Лу Синя, как «Старые легенды в новой редакции», «Записки сумасшедшего», «Подлинная история А-кью» и многие другие, в которых часто затаена философская традиция художественного видения, отображенная в произведениях китайской классики. Здесь мы видим также смешение литературного и простонародного языка, восходящего к фольклору и мифологии. И потому интерпретация, например, названия «А-кью чжэн чжуань» лишь условно может быть принята как «Подлинная история А-кью». Строго говоря, иероглиф «чжэн» не равнозначен знаку «чжэнь», который дает нам понятие «подлинный», «истинный», «действительный» и т. д., хотя сочетание этих двух знаков «чжэн-чжэнь» и образует такой ряд значений. В отдельности же иероглиф «чжэн» означает: «прямой», «правильный», «прямолинейный», а также «основной», «главный», «справедливый» и т. д. Следовательно, сочетание знаков «чжэн чжуань» не есть «чжэнь чжуань». Примечательно, что именно рассуждению о «чжэн чжуань» Лу Синь посвящает значительную часть «Введения», где заключена ирония, глубокий его юмор, несообразность возвышенного тона повествования об официальных жизнеописаниях в китайских историях комической сущности ситуации. И это производит сатирический и драматический эффект. Здесь обнаруживаются скрытый сарказм автора, своеобычная лусиневская словесная доминанта, излюбленные эпитеты, речения, словесные оттенки. И потому столь существенна для переводчика точность эстетического мышления, идентичность красок и нюансов. Отчетливое понимание значения интерпретации лусиневского текста, стилевой характеристики способно сделать его поистине бесценным подарком для нашего читателя.

Творчество Лу Синя едва ли можно считать распознанным до конца. И нам предстоит еще большой труд впереди, чтобы раскрыть его в полной мере, глубже проникнуть в его идейные и художественные особенности. Познать понимание им жизни, ее склада, ее явлений, понимание писателем человека, сокровенного в нем, всего, что не на поверхности и не бросается в глаза. В Китае искони существовали стихии реальной жизни — социальной, психологической, нравственной,— понимание которых нашло свое образное выражение в сюжетных рассказах Лу Синя и для осознания которых от нас требуется и логическая мысль, и научный анализ, и художественное воображение. Исследователь и интерпретатор лусиневского творчества должен проникнуть в авторский замысел, заключающий в себе и психологические характеристики, и воздействие среды, и обиход времени, и социальную сущность. Энгельс, обращаясь к переводчикам «Капитала» Маркса, подчеркивал: «Для того чтобы переводить такую книгу, недостаточно хорошо знать литературный немецкий язык. Маркс свободно пользуется выражениями из повседневной жизни и идиомами провинциальных диалектов; он создает

новые слова, свой иллюстрационный материал он заимствует из всех областей науки, а свои ссылки — из литератур целой дюжины языков; чтобы понимать его, нужно действительно в совершенстве владеть немецким языком, разговорным и литературным, и кроме того нужно кое-что знать и из немецкой жизни» [1].

Лу Синь издавался у нас многократно, начиная с двадцатых годов. В 1954—1955 годах в свет вышло собрание сочинений Лу Синя в четырех томах. Русские издания великого писателя, неизменно вызывавшие живой интерес советского читателя, вскоре становились библиографической редкостью.

Многие произведения Лу Синя переводились на русский язык разными лицами и неоднократно. Советское лусиневедение привлекало внимание крупнейших наших исследователей, филологов, переводчиков. Творческое сотрудничество знатоков Лу Синя разных поколений — от В. С. Колоколова до В. В. Петрова — в большой степени способствовало существенному повышению идейного и художественного уровня перевода произведений выдающегося китайского писателя. Достигнутые ими успехи в многосложном этом труде по достоинству отмечались в многочисленных рецензиях у нас и в зарубежной синологической литературе.

Мастерство перевода, как и литературоведческая мысль, однако, непрестанно совершенствуется, предъявляя нам все новые, повышенные требования. И мы видим, что здесь предстоит еще сделать очень многое. Переводы предлагаемого сборника сюжетной прозы Лу Синя, естественно, не претендуют на безупречность и совершенство, следовательно, должны рассматриваться лишь как один из этапов на пути нашего движения к высокой цели.

Судьба перевода — его успех у читателя — в значительной мере определяется мастерством переводчика. Самый талантливый оригинал не есть панацея против скверного перевода. Перед иностранным читателем выступает не оригинал, а перевод, который в известном смысле приобретает самостоятельное значение. И качество перевода определяется таким образом его идейно-художественным мастерством.

Вопросы индивидуальности почерка, манеры, мастерства писателя приобретают особое значение при переводе его произведений. И это требует труда людей талантливых, литературно одаренных, образованных.

Творческий перевод выразительными средствами своего языка в идеале мог бы стать равным оригинальному произведению. Иными словами художественный перевод движется в едином потоке с оригинальным творчеством. Важны здесь, разумеется, лексика и ее элементы, семантика и ее выразительные средства, синтаксис, эпитеты, речения, словесные обороты и т. д. Однако все это — составные части единого целого —

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. XVI, ч. I, стр. 230.

литературного произведения. И погоня за синтаксической и словарной точностью вряд ли приведет к точности художественной. Это относится и к стилизации ради стилизации, которая делает речь искусственной, безжизненной, и к анемичной гладкописи, лишенной индивидуального своеобразия, авторских примет, интонаций, речевых оттенков и т. д.

При переводе произведений Лу Синя очень важна устремленность к самой сердцевине переводимого произведения, к потаенной сути иероглифического текста, к внутреннему авторскому замыслу, который порой расшифровывается с немалым трудом. Именно в подобном критическом анализе мы видим задачу, стоящую перед переводчиком и истолкователем китайского текста. Все это, разумеется, должно сочетаться с тончайшими наблюдениями над деталями, интонациями, лексикой, стилистическим почерком писателя, которые у Лу Синя всегда останавливают, заставляют думать, искать аутентичных выразительных средств. И тогда перевод становится поэзией. Раскрываются мысли, чувства, волнения подлинника. Возбуждаются в сердцах людей ответные мысли и чувства, глубокое ответное волнение. Если, отмечал Николай Заболоцкий, перевод с иностранного языка не читается как хорошее русское произведение,— это перевод посредственный, неудачный.

Задача эта поистине сложнейшая, требующая от переводчика творческого соучастия, проникновенности, вдохновения, которыми был исполнен сам автор. И здесь, видимо, требуются не только знания филологов, знатоков китайской иероглифики. Здесь необходим еще художественный талант, благодаря которому только и могли возникнуть лусиневские творения. Существеннейшее значение для переводчика приобретает не общее в оригинале, а индивидуальное, присущее лишь определенному автору.

В любом рассказе Лу Синя, самом малом, как «Суждение» или «Возражение собаки», свой особый интерьер, свой сюжет, свои герои. В любом — за общим внешним спокойствием, кажущейся беспристрастностью — своя авторская интонация, едва уловимые оттенки: сатирические, иронические, грустные, сочувственные. Разве не характерно, что ирония наиболее четко ощущается в изображении Лу Синем персонажей привилегированного сословия, провинциальной, уездной, местной знати, тогда как симпатии автора — неизменно обращены к людям обездоленным, несчастным, униженным. И меткие штрихи, бытовые детали, своеобычные приметы трудной жизни явственно направлены на то, чтобы пробудить сочувственные эмоции, вызвать отзывчивость, движение души, доброжелательность («Кун И-цзи», «Маленькое происшествие», «Родина», «Деревенское представление»). И нас не оставляет ощущение оптимизма, мысль о том, что доброе, здоровое начало в людях не может не победить.

Свободно владея многоцветной гаммой юмористических и ирониче-

ских красок, Лу Синь создает столь же яркие, сколь и самобытные портреты нескончаемой галереи разноликих сбитателей старой китайской деревни. И не потому ли наша мысль все время выходит за грани изображенного в тексте. Воображение наше помогает дорисовывать, додумывать про себя последствия поведения и поступков действующих персонажей произведения.

«Я думаю,— не без основания писал А. К. Толстой,— что не следует переводить *слова* и даже иногда *смысл*, а главное, надо передавать *впечатление*.

Необходимо, чтобы читатель перевода переносился бы *в ту же сферу*, в которой находится читатель оригинала, и чтобы перевод действовал *на те же нервы*» [1].

Читатель оригинала таких, например, рассказов, как «Братья», «Развод», «Утиная комедия» и других, особенно остро испытывает авторское настроение, его не покидает ощущение лусиневской иронии, сарказма. Насколько удалось передать все это в переведенном тексте, переносит ли он читателя в атмосферу оригинала и действует ли он на те же нервы, сказать может будущий наш читатель. При изучении иероглифического текста художественного произведения академик В. М. Алексеев призывал обращать особое внимание на аутентичность его интерпретации. Вот одно из его высказываний по этому поводу, опубликованное в «Вестнике АН СССР» за 1947 год: «Относясь к китайской литературе как к наследию тысячелетий, изощривших ее до тонкости, редко кем улавливаемых как в оригинале, так особенно в переводе, мы взяли на себя задачу, идущую по краю пропасти, отделяющей, как правило, оригинал от перевода. Вдохновленные советским учением о национальной культуре, рождающим самое бережное к ней отношение, мы уже не можем вернуться к простой информации, основанной на неуклюжих, близких к издевательству переводах».

Из этого вытекает наша задача — наибольшая полнота в верной передаче идейного смысла оригинала в сочетании с подлинно художественной, а не буквальной, точностью словесно-речевых средств выражения, воссоздание стилевого своеобразия автора, сохранение конкретной самобытности переведенного произведения как единого целого. Художественный перевод должен выразить творческую волю автора, которую воплощает текст оригинала.

Точность перевода, на наш взгляд, достигается не посредством воспроизведения слов, но путем воспроизведения психологической сущности каждого выражения, каждой фразы и всего текста произведения как целого. Едва ли качество перевода можно определять посредством лишь механического сопоставления оригинала с переводом.

---

[1] А. К. Толстой, Собр. соч., т. 4, М. 1964, стр. 214.

В оценке рецензентов того или иного перевода нередко встречаются замечания в том смысле, что автор перевода в общем справился со своей задачей либо же ему это не удалось. В таком случае принято говорить о том, насколько переводчик правильно понимает оригинал, смысл произведения. Иными словами, владеет ли он языком переводимого текста в такой степени, чтобы передать на родном языке содержание произведения. К этому, в сущности, часто сводится оценка перевода. При этом характерна тенденция рецензентов к изобличению отдельных языковых промахов, словарных ошибок, допущенных переводчиком, словно это и есть мера ценности перевода. Но разве все горе в отдельных непонятых или ошибочно переданных словах, хотя, конечно, подобные промахи сами по себе досадны и оправдания не имеют.

Всякий неудачный перевод, пожалуй, неудачен по-своему, и сведение разбора к одним только огрехам едва ли способно принести должные практические результаты. Случается, что немало нелепостей обнаруживается и в переводах талантливых. Но разве отдельные упущения и недоразумения определяют уровень мастерства, эстетику художественного перевода?

Перед переводчиком всегда остается требование — возвыситься до верного понимания авторского видения, художественной его зоркости, проницательности, скупого, лаконичного его стиля. Это обязывает переводчика, помимо филологической и аналитической способностей, обладать еще одним особым качеством — способностью своеобразной синхронности, умением настроить себя на волну авторского вдохновения. Переводчик должен ощутить не только наиболее существенное в образной системе писателя, но также понять, что у подлинного художника полно значения самое малое, каждая деталь, всякое слово, которое может лишь показаться оброненным мимоходом. Иногда достаточно какой-нибудь интонации, характерной фразы или жеста, чтобы понять лусиневского персонажа, и это делает излишними пространные монологи.

Рисуя, например, образ Кун И-цзи, деклассированного представителя старого ученого сословия, жертвы идиотизма деревенской жизни, Лу Синь пересыпает его речь мудреными и непонятными выражениями, взятыми из древних конфуцианских канонов, вроде «совершенный муж тверд в бедности». Примечательна и типичная манера у Кун И-цзи: вместо слов одобрения или согласия он ударял по прилавку длинными ногтями двух пальцев и характерно кивал головой. Своеобычные эти черты смешного и никому не нужного неудачника, изображенные Лу Синем предельно скупыми средствами, вместе с именем Кун И-цзи приобрели значение неповторимой нарицательности, иронической типичности.

Интерес в этом отношении представляют лексические средства, иероглифические знаки, в которых идея выражается графическим изо-

бражением предметов или явлений в их комплексе. Так, понятие «праздный» может быть выражено одним из многочисленных иероглифов-омонимов с чтением *сянь*. Графически он изображается в виде двух створок дверей (пиктограмма *мэнь*) и луны (пиктограмма *юэ*) между ними. Отметим, что пиктограмма *мэнь* имеет весьма древнее происхождение и встречается еще в гадательных надписях на панцирях черепах. Этимологическое толкование идеограммы *сянь* содержит указание на то, что струящийся в закрытую дверь свет луны вселяет ощущение покоя, беспечности, праздности и т. д. Отсюда происходят понятия, которые дает нам уже обычный стандартный словарь: «незанятый», «свободный», «досужий», «беззаботный», «ленивый», «нерадивый», «посторонний», «праздношатающийся», «не имеющий отношения» и т. п. Таковы оттенки слов, производные от основного идеографического выражения иероглифа *сянь*, с которым связано образование нескончаемого ряда лексических и семантических сочетаний, композиций в соединении с другими иероглифами. Это открывает широкие возможности художественно-речевого творчества для образного отображения действительности, в частности картин природы и мироощущения человека.

Понятие «скука» выражается, например, иероглифом «мэнь», который изображается в виде той же двустворчатой двери и знака сердца (синь) внутри нее. Семантический ряд этого идеографического выражения образует понятия: «тоска», «уныние», «угнетенное состояние», «хандра» и т. п. Далее идут понятия: «душный», «спертый», «палящий», а также «тушить», «томить», «парить» и, наконец, «закупоренный», «закрытый», «накрытый крышкой».

И в данном случае все образное богатство понятия возникает перед нами именно через его идеографическое изобразительное выражение. Благодаря этому понятие приобретает глубину, емкость, образность, поскольку идеограмма выражает больше, чем буквенное обозначение слова. Так, сам зримый образ створчатых дверей, освещенных сиянием луны, или стремительно движущейся фигуры человека и т. д., несомненно, обладает определенным выразительным преимуществом как с точки зрения эмоциональной насыщенности, так и в отношении поэтического восприятия. Если латинская буква, по слову П. Клоделя, властным жестом утверждает, что вещь такова, то иероглифический знак и есть та вещь целиком, которую он знаменует.

Известный шведский синолог Карлгрен считает, что «в современном китайском языке, в сущности, нет грамматики, что делает его до крайности сжатым и скудным, и грамматический анализ малоэффективен. Для понимания китайского текста надо приобрести понимание китайской души...» При этом Карлгрен склоняется к признанию шестого чувства, «которое почти инстинктивно открывает нам истинное значение той или иной фразы».

Концепция эта, встречающая понимание сторонников современной западной лингвистики, не подтверждается действительным состоянием китайского языка. В область предания отошла версия об отсутствии грамматики в китайском языке. Многочисленные труды китайских и советских филологов давно уже опровергли бездоказательный этот тезис, как и рассуждения об интуитивизме, мистической загадочности, иррационализме и тому подобных идеалистических представлениях.

Иероглифическая письменность благодаря идеографической природе таит в себе неисчерпаемые возможности для выражения отвлеченных и многоплановых понятий, различных, едва уловимых оттенков и граней при описании. Существенная особенность иероглифического текста состоит именно в том, что образный смысл слов часто раскрывается не в точных и ограниченных рамках, а в переходах от одного представления к другому по сходству, по смежности, а иногда по противоположности. Поэтому нередко китайский текст как бы домысливается читателем, в сознании которого возникают определенные ассоциации представлений и эмоций. Эта особенность китайской письменности временами создает немалые трудности в понимании истинного замысла автора, поскольку неопределенность и расплывчатость иероглифических понятий порождает различное, порой диаметрально противоположное толкование текста. И не удивительно, что один и тот же текст или отдельные иероглифические знаки нередко интерпретируются различными китайскими комментаторами с прямо противоположных позиций.

Своеобычность толкования иероглифического текста обусловливается часто отсутствием в нем знаков препинания. Лишь в последнее пятидесятилетие, особенно со времени движения «4 мая» 1919 года, наблюдается тенденция ввести пунктуацию в иероглифический текст, при этом не только в современный, но и в старый, например, «Шицзи» («Исторические записки»), «Саньго чжи» («Троецарствие»), «Цзычжи тунцзянь» («Всеобщее зерцало, управлению помогающее») и др.

Интересны замечания Лу Синя по этому вопросу. «Если при маньчжурах какой-нибудь домашний учитель, не заглядывая в шпаргалки, мог проставить точки по всему конфуцианскому «Четверокнижию»,— отмечает Лу Синь,— он почитался в деревне великим ученым. Как будто смешно, но верно. У букинистов попадаются книги, в которых начата расстановка точек. Эти знаки препинания кое-где разрывают фразы, но в середине книги исчезают — дело не сумели довести до конца. Читать такой экземпляр неприятно, и стоит он дешевле.

Переиздание старых книг со знаками препинания началось во время «литературной революции», и помнится, будто тогда же в Пекинском университете ввели экзамены по расстановке знаков препинания в древних текстах».

Лу Синь далее отмечает трудности и субъективность членения классического текста на синтаксические единицы: «Расставлять знаки препинания в древних текстах нелегко... И все-таки досадный, словно чирей, разрыв фразы может получиться даже у известного ученого и отнюдь не в трудных произведениях, а в романсах, где длина строки определяется мелодией, в сочинениях в параллельном стиле или же в совсем нетрудных записках XIV—XVII вв.» [1].

Общеизвестно, что в разных языках различно выражение мыслей, однако процесс мышления един, закономерности мышления одинаковы для всех. У китайского и русского языков различны грамматическая и синтаксическая системы. Различен порядок слов и внутренняя структура фразы. И потому переводчик, стремящийся в точности воспроизвести последовательность расположения слов оригинала, неотвратимо создает на русском языке нечто вовсе не сходное со смыслом китайского подлинника. Здесь точность буквальная, механическое калькирование — неприменимы.

Речь таким образом идет не о некой текстологической копии на русском языке. Главное в переводе — не воссоздание текста, не буквальность оригинала, а передача средствами родной речи самой сути произведения, таящей в себе авторский замысел, его настроение, живую интонацию, образность мышления.

Трудность в том и состоит, чтобы передать индивидуальные черты лусиневских персонажей — героев «Подлинной истории А-кью» и «Кун И-цзи», смешную и жалкую их роль, тоску и слезы людей, оказавшихся на низшей социальной ступени, типичных носителей «Вэйчжуанской культуры».

Гневом и страстной критикой, уничтожающим смехом Лу Синь клеймил пошлость, лакейство, сконидомство, невежество. Его остро-сатирические произведения исполнены отвращения к бесчеловечным порядкам, нравственному и духовному убожеству, мелкодушию, тупости, бездарности. И достигается это чрезвычайно своеобразными изобразительными средствами, используемыми Лу Синем в создании психологических характеристик своих героев,— лексическая самобытность, речевые оттенки, живая интонационность требуют от переводчика высокого искусства перевоплощения, способности воспроизведения всей колористической палитры, цвета, запаха, авторского дыхания. Между тем отнюдь не редкость — пресный, бесцветный, худосочный стиль — один для всех произведений, а то и для всех переводимых писателей. Если в переводе сохраняется собственный наш стиль, мы рискуем подменить творческую личность писателя своим автопортретом. Нередко поэтому можно встретить столько разновидностей одного и того же китайского автора,

[1] Лу Синь, Собр. соч., т. 2, М. 1955, стр. 285—286.

сколько переводчиков, преображающих сам облик писателя по собственному образу и подобию. Это приводит к обесцвечиванию, к стиранию всех интонаций, всех красок, речевых характеристик персонажей.

Порой происходит это от худосочности лексики, от крайней скудости запаса синонимов у переводчика, для которого каждое иностранное слово имеет одно-единственное значение. Разве, например, помимо слова «соу» — «худой», не существует целого вариационного ряда —«сухопарый», «худощавый», «тщедушный», «тощий»? Выразительных этих слов, конечно, не обнаружить в обычных китайско-русских словарях. Вряд ли вообще составителям словарей угнаться за всеми синонимическими словами, за всеми оттенками и нюансами живой речи. Непременный долг переводчика — возвышение своего словарного запаса до уровня изучаемого писателя, стремление к его языковым сокровищам, меткости, пластичности, гибкости, свежести его речевых красок. Переводчик должен обладать безошибочным эстетическим чутьем, чтобы создать подлинно художественное произведение, а не подделку, имитацию. Без усвоения богатства душевных тональностей автора, идиоматичности, стилистического своеобразия перевод обречен на ремесленничество, на творческую неудачу. Необычайные возможности русского языка — в его богатстве и гибкости. Традиции художественного творчества от Пушкина до Горького в полной мере позволяют воссоздать на русском языке классическое и современное произведения литератур самых различных народов и стран. Ближайший ученик Ломоносова Н. Н. Поповский, поэт и ученый, много занимавшийся переводами, в свое время указывал: «Нет такой мысли, кою бы по-российски изъяснить было невозможно» [1].

Перевод — это нечто таинственное, сверхобычное, счастливое. Но путь его — не укатанное шоссе, которое позволяет развивать уверенную скорость. Это — возникающий в поисках момент истины, когда обретенные в стихии родной речи образы вдруг зазвучат голосами оригинала, когда наступает верное соответствие между драгоценной сутью и обнаруженным тобою исконным словом. Недаром удачный перевод считается всегда исключением, всегда чудом.

Это предисловие составителя и редактора — не монографический обзор вложенного переводчиками труда, поэтому в его задачу не может входить подробный анализ поисков и находок, удач и промахов, неточностей, недоработок. Цель наша скромнее — очертить лишь основные контуры некоторых методических соображений, относящихся к исследованию и переводу китайского иероглифического текста художественного произведения на примере сюжетной прозы Лу Синя.

Н. Федоренко

---

[1] См. «Очерки по истории русской журналистики и критики», т. I, Л. 1950, стр. 27.

Рассказ впервые был напечатан в журнале «Сяошо юэбао» («Ежемесячник прозы») в апреле 1913 года под псевдонимом Чжоу Чо; в русском переводе В. Ф. Сорокина—в кн.: Восточный альманах, вып. четвертый, М. 1961; рассказ написан на старом литературном языке вэньянь.

Стр. 33. *Тон не соответствует...*— В китайском языке важную роль играют тона — музыкальные ударения, под которыми произносятся слоги или односложные слова (ровно, с повышением или понижением голоса). В классическом китайском стихосложении тона подразделялись на два типа — ровные и ломаные, причем существовали определенные правила их чередования и взаиморасположения. Традиционное образование предусматривало обучение законам стихосложения, а осваивать эти законы школьники начинали с составления ритмически организованных параллельных фраз.

Стр. 34. *«Луньюй»* («Беседы и суждения») — книга конфуцианского канона, в которую вошли высказывания Конфуция и его беседы с учениками.

Мудрец Кун — Конфуций (551—479 гг. до н. э.), древнекитайский философ, создатель этико-политического учения конфуцианства, оказавшего огромное влияние на все последующее развитие китайской философии и общественной жизни; многие доктрины Конфуция были использованы господствующим феодальным классом в интересах увековечения феодального строя и сословной иерархии.

Стр. 36. *Длинноволосые...*— Имеются в виду участники великой крестьянской войны тайпинов 1850—1864 гг. Тайпины отращивали волосы, отвергая требование маньчжурских властей, согласно которому мужчинам надлежало обривать часть головы, а оставшиеся волосы заплетать в косу.

...больше, чем Мудреца...— Героя рассказа зовут Ян-шэн, что в буквальном переводе означает «почитающий Мудреца», а под Мудрецом имеется в виду Конфуций.

Суйянский Чжан — полководец Чжан Сюнь (709—757), возглавлявший императорские войска, которые защищали город Суйян от мятежников Ань Лу-шаня; погиб при обороне этого города.

Стр. 37. *«Ганцзянь ичжилу»* («Популярное изложение Сокращенного зерцала») — название книги, представляющей собой популярное и сжатое изложение истории Китая, составленное в XVII в. У Чэн-цюанем в соавторстве с другими учеными.

«Шунь минь» в буквальном переводе означает «послушный народ». Хозяин дома, писавший на воротах иероглифы «шунь минь» или же наклеивавший надпись с этими иероглифами, демонстрировал тем самым свою готовность подчиняться новым властям.

Паньгу — персонаж китайской мифологии, творец мира и всего сущего на земле: он положил конец первородному хаосу, отделив небо от земли.

«Тигровая шкура» — так образно называли циновку, на которой сидел учитель в старой китайской школе. Существовала легенда, согласно которой философ Чжан Цзай (1020—1077) во время бесед с учениками имел обыкновение восседать на шкуре тигра.

Стр. 38. *«Баминшучао»* («Сочинения из Школы Восьми эпитафий») — название сборника образцовых экзаменационных сочинений, составленного в 1784 г. У Мао-чжэном.

Стр. 40. *Дань, шэн* — меры объема; дань равен 103,5 л., шэн — 1,035 л.

Стр. 41. *Ли* — мера длины, около 600 м.

КЛИЧ

«Клич» («Нахань») — первый сборник рассказов Лу Синя, который составляют произведения, написанные в 1918—1922 годах; первое издание сборника вышло в августе 1923 года в Пекине. Лу Синь говорил о сборнике:

«Вдохновило меня, пожалуй, сочувствие к энтузиастам-борцам. Мысль у них была верная, но они были одиноки. Вот я и подал свой голос им в помощь... В своих произведениях я старался избежать всего мрачного и озарить их проблеском надежды. Так появились те четырнадцать рассказов, которые позже вошли в отдельный сборник «Клич». То были, можно сказать, «произведения, следующие определенным указаниям». Но указаниям не императора, не доллара и не меча, а авангарда революции, которые я выполнял с уважением и по собственному желанию».

ПРЕДИСЛОВИЕ К СБОРНИКУ «КЛИЧ»

Стр. 45. *Пиндиму* — японская ардизия, низкорослый кустарник, листья которого использовались в китайской традиционной медицине как лекарственное средство.

Стр. 45. *...стал собираться в N.*— Имеется в виду Нанкин, куда Лу Синь приехал учиться весной 1898 г.

Училище К.— Цзяннаньское мореходное училище, в которое Лу Синь поступил по приезде в Нанкин.

Юань — основная денежная единица в Китае.

...готовиться к сдаче экзаменов.— Речь идет о государственных экзаменах, сдача которых в старом Китае давала право на занятие чиновничьей должности. Система экзаменов для поступающих на государственную службу сложилась в VII—VIII вв. и была отменена лишь в 1905 г.

Стр. 46. *«Новый трактат о теле человека» и «Статьи о химии и гигиене»* — сочинения, переведенные на китайский язык с английского и изданные в середине XIX в. в Китае.

...реформы там были проведены... — Лу Синь имеет в виду реформы, проведенные после «реставрации Мэйдзи» (1868) и ознаменовавшие переход Японии на путь капиталистического развития.

Стр. 47. *«Новая жизнь»* («Синьшэн») — литературный журнал, который в 1906 г. собирались выпускать Лу Синь и его друзья, жившие тогда в Японии, но из-за недостатка средств издание «Новой жизни» так и не состоялось.

...склонность к архаическому книжному языку... — Лу Синь имеет в виду старый литературный язык вэньянь, который продолжал сохранять господствующее положение в китайской литературе вплоть до литературной революции периода «4-го мая» 1919 г.

Шаосинское землячество. — В этом землячестве, размещавшемся в одном из переулков у ворот Сюаньумэнь в Пекине, Лу Синь жил с мая 1912 по ноябрь 1919 г.

Стр. 48. *Цзинь Синь-и.* — Под этим именем в рассказе «Цзин Шэн» писателя Линь Шу (1852—1924), представлявшего лагерь консерваторов, был выведен Цянь Сюань-тун (1879—1938) — один из лидеров литературной революции периода «4-го мая» 1919 г., против которых и был направлен этот рассказ, опубликованный в газете «Синь Шэнь бао».

«Новая молодежь» («Синь цинянь») — прогрессивный общественно-политический и литературный журнал, издававшийся в Пекине в 1915—1922 гг.; участники журнала выступали против феодальной культуры и мертвого книжного языка вэньянь, за новую литературу и новый литературный язык байхуа, пропагандировали марксизм, идеи равенства и демократии. Начиная с 1918 г. Лу Синь активно сотрудничал в «Новой молодежи».

ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО

Рассказ впервые был напечатан в журнале «Синь цинянь» («Новая молодежь») в мае 1918 года; в русском переводе С. Л. Тихвинского под названием «Дневник сумасшедшего» — в кн.: Лу Синь, Рассказы, статьи, письма, Шанхай, 1949. В письме своему другу Сюй Шоу-шану от 20 августа 1918 года Лу Синь писал о «Записках сумасшедшего»: «Некогда говорили, что Китай всеми своими корнями связан с учением о морали и добродетели. Последнее время подобные взгляды получили широкое хождение. Если исходить из этого, то чтение истории дает возможность легко решать многие вопросы. Потом я как-то случайно просматривал «Всеобщее зерцало» и понял, что китайцы все еще остаются нацией людоедов. Вот тогда я написал этот рассказ».

Стр. 52. *«Гуманность», «справедливость», «мораль», «добродетель»* — основные понятия морально-этического учения конфуцианцев.

Стр. 53. *Ли Ши-чжэнь* (1518—1593) —автор «Основного перечня кореньев и трав» («Бэньцао ганму»), классического труда о лекарственных растениях и некоторых других средствах китайской традиционной медицины; впервые книга вышла в 1596 г.

«...обмениваться детьми и съедать их» — выражение из комментария «Цзочжуань» к летописи «Чуньцю» («Весны и осени»), составленной Конфуцием; такими словами некий Хуа-юань из княжества Сун характеризовал бедственное положение своей столицы, осажденной войсками княжества Чу.

«...съесть его мясо и спать на его шкуре» — выражение из комментария «Цзочжуань» к летописи «Чуньцю» («Весны и осени»); этими словами сановник Чжоу Чо, перешедший на службу из княжества Цзинь в княжество Ци, выразил свое презрение и ненависть к плененным им Чжи Чо и Го Цзую — сановникам княжества Ци.

Стр. 56. *И Я сварил своего сына...*— И Я жил в эпоху Чуньцю в княжестве Ци, правитель которого Хуань-гун однажды сказал, что никогда в жизни не пробовал мясо младенца. И Я сварил собственного сына и поднес Хуань-гуну, демонстрируя тем самым свою безграничную преданность государю. *Цзе* и *Чжоу* — цари-тираны династий Ся и Шан. Их имена употреблялись как нарицательные для обозначения жестокости; здесь Хуань-гун уподоблен этим древним тиранам.

Сюй Си-линь (1872—1907) — революционер, неудачно покушавшийся в 1907 г. на маньчжурского губернатора провинции Аньхуй Энь Мина; был схвачен и казнен: у Сюй Си-линя палачи вырвали сердце и отдали на съедение охране Энь Мина.

...макал пампушку в кровь казненного...— В старом Китае существовало поверье, согласно которому больной, съевший пампушку, смоченную кровью казненного преступника, излечивался от чахотки.

КУН И-ЦЗИ

Рассказ впервые был напечатан в журнале «Синь циннянь» («Новая молодежь») в апреле 1919 года; в русском переводе А. А. Штукина — в кн.: Лу Синь, Правдивая история А-Кея, Л. 1929; в переводе Н. Т. Федоренко — в кн.: Лу Синь, Избранное, М. 1945.

Стр. 59. *...чтобы подогревать... вино.*— Желтое шаосинское вино принято пить подогретым и подавать к столу в чайниках для вина.

Стр. 60. *Школьные прописи* — применялись при обучении детей письму; иероглифы в этих прописях были красного цвета; имя героя

рассказа составлено из двух простейших по начертанию иероглифов «и» и «цзи», которыми записываются применяемые для обозначения дат циклические знаки.

«Совершенный муж тверд в бедности» — слова Конфуция из книги «Луньюй».

Стр. 61. *...до полсюцая не дотянул...* — Сюцай — первая ученая степень, которую получали лица, выдержавшие экзамен в уездном городе; степень сюцая давала право ее обладателю занимать должность в масштабах уезда.

...постучал... своими длинными ногтями двух пальцев... — Аристократы в старом Китае имели обыкновение отращивать длинные ногти, которые должны были свидетельствовать об их благородном происхождении и непричастности к грубому физическому труду; для предохранения таких длинных ногтей существовали специальные футлярчики.

Стр. 62. *Немного! Немного! Разве здесь много?* — разрозненные обрывки цитат из «Луньюя», вставляемые Кун И-цзи невпопад, вне какой-либо связи с первоначальным контекстом.

Осенний праздник — праздник Середины Осени, отмечается в полнолуние 15 числа восьмого месяца по лунному календарю; у китайцев принято перед каждым большим праздником возвращать долги; полный расчет с долгами производится к Новому году по лунному календарю.

Цзюйжэнь — вторая ученая степень, которую получали лица, выдержавшие экзамены в столице провинции; степень цзюйжэня давала право ее обладателю занимать должность провинциального масштаба.

СНАДОБЬЕ

Рассказ впервые был напечатан в журнале «Синь циннянь» в мае 1919 года; в русском переводе В. Рудмана под названием «Лекарство» — в журнале «Сибирские огни», 1939, № 2; в переводе Н. Т. Федоренко — в журнале «Интернациональная литература», 1939, № 11; в переводе В. Перелешина — в кн.: Лу Синь, Рассказы, статьи, письма, Шанхай, 1949. Лу Синь писал: «Развязка «Снадобья» совершенно отчетливо несет в себе какую-то мрачность и холодность, характерные для Андреева». К признанию определенного влияния Леонида Андреева Лу Синь возвращается и в письме к писательнице Сяо Хун от 16 ноября 1935 года: «Андреев писал свои рассказы, чтобы напугать читателя. В заключительной части моего «Снадобья» чувствуется его влияние».

Стр. 66. *Сияли позолотой иероглифы...* — По этой надписи на перекрестке можно догадаться, что речь идет о главной улице города Шаосин, на которой в июле 1907 г. маньчжурскими властями была казнена революционерка и поэтесса Цю Цзинь (1875—1907); Цю Цзинь, по едино-

душному признанию китайской критики, послужила прототипом образа Ся Юя.

Стр. 69. *Поднебесная* — Китай.

Цинская династия — маньчжурская династия, правившая Китаем с 1644 по 1911 г.

Стр. 71. *...венок из красных и белых цветов...*— В Китае не принято плести венки из цветов и приносить их на могилы. Этот обычай китайские революционеры заимствовали из других стран.

ЗАВТРА

Рассказ впервые был напечатан в журнале «Синьчао» («Новый прилив») в октябре 1919 года; в русском переводе Л. Поздневой и Ф. Богомольной — в журнале «Молодая гвардия», 1941, кн. 3; в переводе В. Васькова — в кн.: Лу Синь, Избранное, М. 1945.

Стр. 72. *...не позже первой стражи...*— Первая стража — время с семи до девяти часов вечера.

Хэ Сяо-сянь.— По свидетельству брата Лу Синя, писателя Чжоу Цзо-жэня, под этим именем в рассказе выведен врач Хэ Лянь-чэнь, лечивший отца Лу Синя.

Стр. 73. *...огонь побеждает металл...*— По представлениям древнекитайской натурфилософской школы, пять первоэлементов в природе (металл, дерево, вода, огонь и земля) порождают и побеждают друг друга: дерево рождает огонь, огонь рождает землю; вода побеждает огонь, огонь побеждает металл и т. д. В китайской медицине каждому из пяти первоэлементов соответствовал один из пяти основных внутренних органов: огонь — сердцу, металл — легким, дерево — печени и т. д. Следовательно, слова Хэ Сяо-сяня расшифровываются примерно так: «сердце побеждает легкие», то есть оказывает на них отрицательное влияние.

Стр. 76. *Сожгли связку жертвенных денег.*— Обряд жертвоприношения предусматривал сжигание изготовленных из фольги денег, имитирующих серебряные слитки или связки медных монет, поскольку считалось, что покойнику в загробном мире, как и в земной жизни, нужны деньги.

Заклинания «Великой скорби» («Да бэй чжоу») — отпечатанные отдельно тексты магических заклинаний из буддийской «Нилакантха-сутры», переведенной на китайский язык в эпоху Тан проповедником Бхагавадхармой. С этими заклинаниями (дхарани) обращались к Гуаньинь, богине милосердия в народном пантеоне, испрашивая у нее всякого рода милости, в данном случае благорасположение к душе покойного; вдова Шань хотела, чтобы душа ее умершего сына была препровождена милосердной Гуаньинь в рай.

МАЛЕНЬКОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

Рассказ впервые был напечатан в дополнительном выпуске приложения к пекинской газете «Чэньбао» («Утро») в декабре 1919 года; в русском переводе В. Рудмана под названием «Ничтожный случай» — в журнале «Сибирские огни», 1939, № 2; в переводе Н. Т. Федоренко (под названием «Незначительный случай») — в журнале «Интернациональная литература», 1939, № 11; в переводе Л. З. Эйдлина — в кн.: Лу Синь, Избранное, М. 1945.

Стр. 78. *...к воротам С.*— Имеются в виду ворота Сюаньумэнь в Пекине; они находились на пути от министерства просвещения, где служил Лу Синь, к Шаосинскому землячеству, в котором он жил.

Стр. 79. *«Учитель сказал... Стихи гласят»* — две формулы, которыми часто начинаются главы или условные абзацы в конфуцианских канонических книгах, тексты которых заучивались в старых китайских школах наизусть. Учитель — Конфуций. Стихи — «Шицзин» («Книга песен»).

РАССКАЗ О ВОЛОСАХ

Рассказ впервые был напечатан в приложении к шанхайской газете «Ши ши синь бао», которое называлось «Сюэдэн» («Светоч учения») 10 октября 1920 года; в русском переводе А. А. Штукина под названием «История с волосами» — в кн.: Лу Синь, Правдивая история А-Кея, Л. 1929; в переводе В. Н. Рогова — в кн.: Лу Синь. Клич, Шанхай, 1950.

«Рассказ о волосах» в известной мере автобиографичен. По утверждению Чжоу Цзо-жэня, при создании образа господина N. прототипом Лу Синю служил Ся Цзэн-ю (1861—1924) — его прямой начальник в министерстве просвещения, автор знаменитого «Учебника китайской истории», участник реформаторского движения, писатель, человек передовых взглядов. Но после прихода к власти правительства северных милитаристов Ся Цзэн-ю разочаровался в революции, разуверился в людях и запил.

Стр. 80. *Праздник двойной десятки* — десятый день десятого месяца, празднуемый в честь начала революции 1911 г., свергнувшей маньчжурскую династию Цин и провозгласившей Китай республикой.

Стр. 81. *...пострадало из-за них во все времена...*— При маньчжурской династии Цин (1644—1911) мужчины должны были обривать часть головы, а оставшиеся на затылке волосы заплетать в косу; ношение косы рассматривалось как проявление лояльности к маньчжурским властям,

а отказ от косы расценивался как вызов императорской власти и жестоко преследовался.

...бритье головы... — Бритье головы в древнем Китае вплоть до VII—VIII вв. считалось наказанием, хотя и не входило в перечень пяти видов наказания преступников (клеймение, отрезание носа, отрубание ног, кастрация, отсечение головы).

Цзядин — небольшой город, расположенный северо-западнее Шанхая. В 1645 г. в течение двух месяцев население Цзядина отбивало атаки войск перекинувшегося на сторону маньчжуров предателя Ли Чэн-дуна; когда город пал, в нем было вырезано более двадцати тысяч человек.

Янчжоу — город в провинции Цзянсу, прославившийся как центр антиманьчжурской борьбы. Гарнизон Янчжоу во главе с генералом-патриотом Ши Кэ-фа оказал упорное сопротивление иноземным захватчикам; в 1645 г. Янчжоу пал, и маньчжуры в течение десяти дней осуществляли карательные акции: население было вырезано, а сам город до основания разрушен.

Хун Сю-цюань (1814—1864) и *Ян Сю-цин* (ум. 1856) — вожди крестьянской войны тайпинов в 1850—1864 гг. Тайпины в знак протеста против маньчжурского владычества не брили головы, отращивали волосы и не заплетали их в косы.

Цзоу Жун (1885—1905) — революционер, участник антиманьчжурского движения. Во время учебы в Японии он и его товарищи проникли в дом к инспектору, надзиравшему за китайскими студентами, надавали ему пощечин и отрезали косу, рассматривая все это как акт возмездия за распутное поведение блюстителя нравов. После этого инцидента Цзоу Жуну пришлось бросить учебу и тайно бежать в Шанхай. В 1903 г. он был задержан полицией сеттльмента, выдан властям и приговорен за антиманьчжурские выступления на два года тюрьмы. Умер в тюрьме в апреле 1905 г.

«Революционная армия» («Гэмин цзюнь») — политический памфлет Цзоу Жуна, содержащий открытый призыв к свержению маньчжурской династии Цин, издан в 1903 г. в Шанхае.

Стр. 82. *Хонда Сэйроку* (1866—1952) — японец, специалист по лесному делу.

В первый год Сюань-туна — то есть в 1909 г. Вступая на трон, китайский император объявлял девиз своего правления, призванный выразить цели и характер царствования. Под девизом Сюань-тун — «Полное единение» — правил последний маньчжурский император Пу И в 1909—1911 гг.

Я служил инспектором средней школы в моем родном городе... — Лу Синь занял должность инспектора в Шаосинской средней школе летом 1910 г., то есть уже во втором году правления под девизом Сюань-тун.

Стр. 83. *...словами Арцыбашева...* — Лу Синь цитирует девятую главу повести М. П. Арцыбашева (1878—1927) «Рабочий Шевырев» в своем переводе, который был сделан с немецкого перевода и закончен в октябре 1920 г.; сначала перевод Лу Синя печатался в журнале «Сяошо юэбао» («Ежемесячник прозы»), а в мае 1922 г. вышел отдельным изданием.

ВОЛНЕНИЕ

Рассказ впервые был напечатан в журнале «Синь циннянь» в сентябре 1920 года; в русском переводе А. А. Штукина под названием «Буря» — в кн.: Лу Синь, Правдивая история А-Кея, Л. 1929; в переводе В. А. Жилина (под названием «Отголосок бури») — в кн.: Лу Синь, Рассказы, статьи, письма, Шанхай, 1949; в переводе В. Н. Рогова — в кн.: Лу Синь, Избранное, М. 1952.

Стр. 83. *Уцзю* — сальные деревья, из плодов которых вырабатывается растительное масло.

Стр. 85. *...мечтал о резвом галопе Фэйхуана...* — мечтал о быстром продвижении по службе; это образное выражение восходит к стихам Хань Юя (768—824), в которых говорится: «Когда Фэйхуан стремительно скачет, ему не до жаб, что сидят на дороге...» *Фэйхуан* — фантастический конь-дракон, описание которого приводится в книге «Хуайнань-цзы» (II в. до н. э.).

Чи — мера длины, равна 0,32 м.

...из пятнистого бамбука фей с реки Сян... — Согласно легенде, такой крапчатый бамбук впервые вырос над могилой мифического императора Шуня. Когда Шунь умер, его жены Э-хуан и Нюй-ин горько оплакивали его, и их слезы, падая на стволы бамбука, оставляли на них крапинки. Оплакав мужа, Э-хуан и Нюй-ин бросились в реку Сян и утонули, после чего их стали называть феями реки Сян.

Император взошел на трон... — Речь идет о неудавшейся попытке реакционных сил реставрировать монархию.

Стр. 86. *«Троецарствие»* («Саньго яньи») — исторический роман Ло Гуань-чжуна (XIV в.), повествующий о событиях периода Трех царств — Вэй, Шу и У (III в.).

Цзинь Шэн-тань (1609—1661) — литератор, издатель и комментатор «Троецарствия»; был казнен маньчжурами.

«Пять тигров» — прославленные полководцы царства Шу, выведенные в романе «Троецарствие»,— Гуань Юй, Чжан Фэй, Чжао Юнь, Хуан Чжун и Ма Чао.

...точно даосский монах. — В отличие от буддийских монахов, которые брили голову наголо, даосы отращивали длинные волосы и закручивали их в пучок на макушке.

Чжао Цзы-лун — второе имя Чжао Юня (ум. в 229 г.), одного из «пяти полководцев-тигров» царства Шу.

Стр. 89. *Генерал Чжан.*— Имеется в виду генерал Чжан Сюнь (1854—1923), один из лидеров северных милитаристов; в июле 1917 г. предпринял попытку реставрировать монархию, распустил парламент и посадил на трон в Пекине свергнутого революцией 1911 г. императора Пу И. Потерпев поражение, Чжан Сюнь укрылся в голландском посольстве.

Чжан И-дэ из удела Янь.— Чжан И-дэ — второе имя Чжан Фэя (ум. в 220 г.), одного из «пяти полководцев-тигров» царства Шу. Чжан Фэй был уроженцем Чжоцзюня, находившегося на территории, принадлежавшей в древности княжеству Янь. Герой рассказа Чжао Ци-е описывает знаменитое копье Чжан Фэя, но вооружает этим копьем современного ему защитника монархии генерала Чжан Сюня.

Чжан — мера длины, 3,2 м; в одном чжане десять чи.

Стр. 91. *Забинтовали ноги...*— В старом Китае обязательным признаком женской красоты считались маленькие ноги, поэтому девочкам в возрасте 3—5 лет начинали бинтовать ступни, подтягивая полотняными бинтами пальцы к пятке и втискивая бинтованную ногу в маленький башмачок. Этот обычай возник в VIII в., когда вошла в моду миниатюрная ножка одной из любимых наложниц танского императора. Передвигаться на бинтованных ножках-копытцах было неудобно, поэтому в крестьянских семьях, где женщина выполняла тяжелую работу дома и в поле, бинтование ног практиковалось гораздо реже, чем в семьях состоятельных.

РОДИНА

Рассказ был впервые напечатан в журнале «Синь цинянь» («Новая молодежь») в мае 1921 года; в русском переводе А. А. Штукина под названием «Родина» — в кн.: Лу Синь, Правдивая история А-Кея, Л. 1929; в переводе Л. Позднеевой и Ф. Богомольной — в журнале «Молодая гвардия», 1941, кн. 3; в переводе Л. Д. Позднеевой под названием «Родное село» — в кн.: Лу Синь, Избранное, М. 1945.

Рассказ «Родина» носит автобиографический характер. Поводом к написанию его послужили реальные события — в декабре 1919 года Лу Синь перевез свою мать из Шаосина в Пекин. По свидетельству Чжоу Цзо-жэня, прототипом Жунь-ту был Чжан Юнь-шуй, отца которого звали Чжан Фу-гэн.

Стр. 92. *...перед изображениями предков...*— Изображения предков устанавливались в домашнем алтаре; на таких изображениях были написаны имена умерших предков, в честь которых в определенные сроки совершались жертвоприношения.

Стр. 93. *Из пяти стихий в его гороскопе не хватало лишь земли...* — Гороскоп состоял из четырех пар циклических знаков, которыми обозначались год, месяц, число и час рождения; циклические знаки имели соответствия среди пяти первоэлементов (металл, дерево, вода, огонь, земля). Жунь — високосный год, ту — земля.

Гуаньинь — богиня милосердия, популярное в народе божество буддийского пантеона.

Стр. 95. *Доуфу* — творожный сыр, изготовляемый из соевых бобов.

ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ А-КЬЮ

Повесть печаталась по главам в приложении к пекинской газете «Чэньбао» («Утро») с 4 декабря 1921 года по 12 февраля 1922 года, под псевдонимом Ба Жэнь. Первый русский перевод Б. А. Васильева под названием «Правдивая история А-Кея» был помещен в кн.: Лу Синь, Правдивая история А-Кея, Л. 1929; перевод М. Д. Кокина — в кн.: Правдивое жизнеописание А-Q, М. 1929; перевод В. И. Рогова — в кн.: Лу Синь, Избранное, М. 1945.

Стр. 101. *«...оставляет поучение в слове»* — один из трех видов деятельности человека, которые, согласно конфуцианскому учению, могли обессмертить его имя и стать образцом для подражания. В комментарии «Цзочжуань» говорится: «В глубокой древности утверждали себя в добродетели, потом утверждали себя в подвигах, потом утверждали себя в слове...» Например, легендарные императоры Хуан-ди, Яо, Шунь прославились своей добродетелью; покоритель потопа император Юй — своими подвигами, связанными с покорением стихии; мудрые советники Ши И, Цзан Вэнь-чжун знамениты своими поучениями.

«Если название неправильно...» — слова из книги «Луньюй».

Официальная биография (лечжуань) — составлялась придворным историографом и включалась в биографический отдел официальной династийной истории.

Автобиография (цзычжуань).— Примером произведения в этом жанре может служить «Автобиография Цзы Лю-цзы» танского поэта Лю Юй-си (772—842).

Частная биография (нэйчжуань) — беллетризованное жизнеописание, концентрирующее внимание на событиях, не нашедших достаточного отражения в официальной биографии. Примером может служить «Частная биография ханьского У-ди», приписываемая историку Бань Гу (32—92), но на самом деле представляющая собой позднейшую подделку (IV—V вв. н. э.); в центре повествования — рассказ о поездке У-ди к владычице Запада Сиванму за эликсиром бессмертия.

Стр. 101. *Неофициальная биография* (вайчжуань) — противопоставляется официальной; примером может служить «Неофициальная биография Цай Янь», составленная Ван Жэнь-цзюнем при династии Цин. Цай Янь (II—III вв.) — известная поэтесса.

Дополнительная биография (бечжуань) — или отдельная биография, составлявшаяся, как правило, в дополнение к официальной, включенной в династийную историю. Например, в «Истории Поздней Хань» («Хоу Хань шу») есть официальная биография комментатора конфуцианских книг Чжэн Сюаня (127—200), но Хун И-юань при династии Цин составил еще «Дополнительную биографию Чжэн Сюаня».

Семейная биография (цзячжуань) — семейная хроника, чаще всего составлялась по просьбе родственников и имела целью сохранить для потомков память об особо отличившихся представителях рода. Примером может служить «Семейная биография Чэнь Лун-чжэна», составленная Чэнь Куем. Чэнь Лун-чжэн жил при минской династии.

Краткая биография (сяочжуань) — противопоставлялась полной официальной. Танский поэт Ли Шан-инь (813—858) составил «Краткую биографию Ли Хэ» — другого танского поэта, жившего в 790—816 гг.

Департамент геральдии — ведомство при дворе императора, занимавшееся распределением титулов и предоставлением привилегий.

«Частная биография игрока».— Под таким названием в 1907 г. в переводе Чэнь Да-чэна был издан роман А. Конан-Дойля (1859—1930) «Родней Стоун», авторство которого Лу Синь по ошибке приписал Ч. Диккенсу; впоследствии, в письме к Вэй Су-юаню от 8 августа 1926 г. он сам указал на допущенную ошибку.

Стр. 102. *...как у «возчиков и уличных торговцев соей»...*— Слова из открытого письма, с которым писатель Линь Шу (1852—1924) обратился в марте 1919 г. к тогдашнему ректору Пекинского университета Цай Юань-пэю (1868—1940): «Если упразднить древние книги и использовать в литературе простонародную речь, то это значит снизойти до языка, на котором говорят возчики и уличные торговцы соей».

Три религиозные школы — конфуцианство, даосизм и буддизм.

Девять философских течений — девять философских школ древнего Китая: конфуцианцы, даосы, натурфилософы, легисты, софисты, моисты, дипломаты, эклектики, аграрники; эту классификацию предложил ученый и библиограф Лю Синь (ок. 46 г. до н. э.— 23 г. н. э.).

«Подлинная история каллиграфического искусства» («Шуфа чжэнчжуань») — руководство по каллиграфии, написанное каллиграфом XVII в. Фэн У. Слово «подлинная» употребляется здесь в значении «достоверная», «надежная».

Стр. 103. *«Древние записи на бамбуке и шелке».*— В древности в Китае писали на бамбуковых планках и на шелке; здесь это выражение

приобретает иронический оттенок: незачем искать имя безродного А-кью в древних анналах.

Если бы его звали «Юэ-тин» — «лунный павильон»!.. — В старом Китае образованные китайцы имели обыкновение брать себе второе имя (цзы), а также псевдоним (хао), один или несколько.

«Лунное дерево» — так китайцы называют коричное дерево, которое, согласно легенде, растет и на луне; здесь речь идет об омонимах (гуй), которые записывались разными иероглифами.

...издаваемый Чэнь Ду-сю журнал «Новая молодежь» стал ратовать за иностранные буквы... — Журнал «Новая молодежь» выступал за реформу иероглифической письменности и за введение фонетического письма на базе латинского алфавита. Эти призывы вызвали раздражение у консерваторов, обвинивших участников «Новой молодежи» в посягательстве на пресловутую «чистоту национального духа». *Чэнь Ду-сю* (1880—1942) — один из основателей и редакторов «Новой молодежи», активный деятель литературной и культурной революции периода «4-го мая» 1919 г., профессор Пекинского университета; в первый период китайской революции участвовал в пропаганде марксизма и в создании Коммунистической партии Китая. До 1927 г. был генеральным секретарем ЦК КПК. В 1929 г. за троцкизм и правый оппортунизм был исключен из КПК.

Стр. 104. *Китайский фонетический алфавит* (чжуинь цзыму) — состоял из 38 букв и был введен в 1913 г. для записи чтения иероглифов и унификации произношения, в дальнейшем подвергался некоторым усовершенствованиям (например, была добавлена еще одна буква). По своей графике этот алфавит напоминает простейшие иероглифы или их составные элементы.

«Фамильные записи провинций» («Цзюньмин байцзясин») — одна из разновидностей книги «Байцзясин» («Сто фамилий»), по которой в старом Китае начинали учиться грамоте; после каждой фамилии в книге дается пояснение, из какой древней области происходит данная фамилия. Например, род Чжао происходит из Тяньшуя, род Цянь — из Пэнчэна и т. д.

Приставка «А» — употреблялась в именах при фамильярном обращении к собеседнику.

«Любители истории и текстологии». — К их числу причислял себя профессор Ху Ши (1891—1962), представлявший правое крыло в литературной революции периода «4-го мая» 1919 г. и в журнале «Новая молодежь». Отодвинув на второй план современные проблемы, Ху Ши занялся «упорядочением национальной старины», пропагандой американского прагматизма, выступал против распространения в Китае марксизма, призывал китайских ученых уделять больше внимания истории и текстологии.

Стр. 105. *Храм Бога земли.*— В китайской деревне всегда имелся храм в честь местного бога-покровителя, чаще всего в честь особо почитаемого крестьянами бога земли, или бога земледелия.

Цунь — мера длины, один цунь равен 3,2 см.

Стр. 106. *...тусклую косу.*— По китайским народным представлениям, у бедных волосы тусклые, а у богатых — лоснящиеся.

«Будем считать, что меня побил мой недостойный сын...» — Всякое оскорбление старшего младшим, особенно отца сыном, рассматривается в китайской семье как тяжкое преступление против общепринятых норм морали, оно оборачивается позором для оскорбившего и возвеличивает оскорбленного. Оправдывая свое поражение, А-кью уподобляет себя отцу, оскорбленному недостойным сыном.

Стр. 107. *Чжуанъюань* — так называли особо отличившихся среди выдержавших экзамены на высшую ученую степень цзиньши (буквально «вступающий на службу»), которая давала право ее обладателю претендовать на должность в столице.

«Старик потерял лошадь...» — поговорка, основанная на рассказе, приводимом в книге «Хуайнаньцзы» (II в. до н. э.). У одного старика, жившего при пограничном палисаде, пропала лошадь. Соседи стали выражать ему сочувствие, на что старик заметил: «Как знать, а не к счастью ли это?» И верно, несколько месяцев спустя лошадь вернулась и привела с собой другую лошадь — гуннского скакуна. На поздравления соседей старик ответил словами: «Как знать, а не к несчастью ли это?» Вскоре сын старика, объезжая новую лошадь, упал и сломал себе ногу. Соседи пришли выразить сочувствие, но старик сказал им: «Как знать, а не к счастью ли это?» Через год в Китай вторглись кочевники, и почти все здоровые молодые люди из приграничных областей погибли в сражениях, а сын старика из-за сломанной ноги не пошел на войну и уцелел. Так счастье оборачивалось несчастьем, а несчастье — счастьем.

Стр. 108. *«Молодая вдова на могиле»* — популярная пьеса шаосинского местного театра.

Стр. 109. *...с жертвенной коровой в храме Конфуция...*— Во время церемонии жертвоприношения в храме Конфуция в жертву приносились корова, баран и свинья, при этом корова считалась главным жертвенным животным.

Стр. 110. *Благородный муж* (цзюньцзы) — человек, отличающийся высокими нравственными качествами, предписанными конфуцианским этико-моральным кодексом. А-кью хочет самому себе казаться таким «благородным мужем».

Стр. 111. *...на прямых ногах.*— В старом Китае среди народа существовало представление, будто иностранцы, в отличие от китайцев, ходят не сгибая колен.

Похоронный посох — палка, на которую во время похорон родите-

лей надлежало опираться сыну, поскольку предполагалось, что он от горя физически ослабевает и не может твердо держаться на ногах.

...показывая на ребенка... — Маленьким детям в Китае бреют голову, оставляя на макушке два пучка волос.

Стр. 112. *...притронулся к ее бритой голове...* — Буддийские монахини, так же как буддийские монахи, наголо бреют голову.

«Слуга ваш поистине трепещет...» — традиционные формулы вежливости, которыми чиновники заканчивали доклады императору.

Стр. 113. *...кто принесет бездетному после смерти чашку риса в жертву?* — Жертвоприношения, совершаемые в честь родителей в храме предков или перед домашним алтарем, рассматривались как важное проявление сыновней почтительности.

«Из трех видов непочитания родителей...» — цитата из конфуцианской канонической книги «Мэн-цзы». Человек, не имеющий потомства, совершает преступление по отношению к своим предкам: после его смерти некому будет совершать обряд жертвоприношения предкам.

«Дух Жо-ао будет голодать» — выражение, восходящее к истории, рассказанной в «Цзочжуань». Некий Цзы-вэнь из рода Жо-ао, служивший при дворе в государстве Чу, потребовал, чтобы его младший брат Цзы-ляи убил своего сына Юэ-цзяо, походившего внешне и голосом на дикого зверя, ибо в противном случае всему роду Жо-ао грозила гибель и могло случиться, что не осталось бы никого, кто бы мог кормить души предков рода Жо-ао, обитавшие в загробном мире. В представлении древних китайцев, души умерших также требовали пищи, ради чего, собственно, родственники умерших и совершали в их честь жертвоприношения.

«...не сумел сдержать себя...» — немного перефразированное выражение, встречающееся в конфуцианских канонических книгах «Мэн-цзы» и «Шуцзин» («Книга преданий»).

Династия Шан — правила Китаем в 1766—1122 гг. до н. э.

Да-цзи — любимая наложница последнего шанского царя Чжоусиня, жестокого и развратного тирана; она поощряла его дикие оргии и отвлекала от государственных дел, поэтому в китайской традиционной историографии Да-цзи нередко объявлялась виновницей гибели династии Шан.

Династия Чжоу — правила Китаем в 1122—249 гг. до н. э.

Бао Сы — любимая наложница чжоуского царя Ю-вана (VIII в. до н. э.), подаренная ему жителями местности Бао. Предаваясь играм с любимой наложницей, Ю-ван совершенно забросил государственные дела. Рассказывают, что Бао Сы никогда не смеялась, и Ю-вану никак не удавалось ее развеселить. Однажды он приказал зажечь на городской стене сигнальные костры, оповещающие о нападении врага. Вассальные князья и воеводы поспешили в столицу. И тут Бао Сы рас-

смеялась, довольная шуткой государя. Но в другой раз, когда на столицу действительно напали войска инородцев и Ю-ван зажег сигнальные костры, никто из князей и воевод не пришел на помощь, считая, что сигнал тревоги подан по прихоти Бао Сы. Чжоуская столица пала, войска Ю-вана были разбиты, а он сам и Бао Сы — убиты.

Династия Цинь — правила Китаем в 246—207 гг. до н. э.

Дун Чжо был убит по милости Дяо Чань.— Полководец Дун Чжо в 190 г., опираясь на военную силу и дворцовые заговоры, низложил императора Шао-ди и номинально передал власть малолетнему Сянь-ди, фактически же сосредоточив ее в своих руках. Жестокость узурпатора вызвала недовольство даже среди близких ему сановников, и в 192 г. Дун Чжо был убит. В заговоре Ван Юня и Люй Бу против Дун Чжо участвовала его наложница — красавица Дяо Чань.

Стр. 114. *«...человек устанавливается»...* — усеченная цитата из книги «Луньюй», в которой говорится: «В пятнадцать лет у меня возникло стремление к учению, в тридцать я установился, в сорок у меня не стало сомнений, в пятьдесят я познал волю неба, в шестьдесят мои уши открылись для восприятия истины, а в семьдесят я стал следовать велениям сердца...» Установился — это значит обрел уверенность в своих словах и поступках, поскольку постиг сущность ритуала.

Стр. 115. *Забывший восьмое правило* — эвфемизм, заменяющий здесь распространенное ругательство «черепашье яйцо»; ругательство означает: «не знающий своих родителей», «выродок».

Стр. 116. *...пригласит... даосского монаха для изгнания демона самоубийства...*— В старом Китае даосских монахов приглашали обычно для совершения обряда изгнания бесов, нечистой силы, болезней.

Стр. 118. *В руке держу стальную плеть, // хочу тебя сразить!* — слова арии из популярной пьесы шаосинского местного театра «Битва дракона с тигром» на сюжет о борьбе Чжао Куан-иня с Ху Янь-цзанем (X в.).

Стр. 119. *«Битва дракона с тигром»* — образное выражение для обозначения боя при равных условиях.

Стр. 120. *...увы, невареных...*— Вареные побеги бамбука — одно из популярных блюд китайской кухни.

Амитофо — Амитаба, будда прошлого; повторение этого имени в устах верующих воспринимается как восклицание, соответствующее обращению «бог мой», «боже».

Стр. 122. *...не так уж красиво ходят.*— У женщин с маленькими бинтованными ногами, которые считались признаком женской красоты, была ковыляющая походка.

Мацзян — распространенная в Китае азартная игра в кости.

Князь ада.— Имеется в виду владыка ада Яньло-ван, образ которого заимствован китайской народной религией у буддистов.

Стр. 123. *В каждой связке...* — Китайские монеты имели посредине квадратное отверстие, и их нанизывали на веревочку.

Стр. 125. *«Домашнее поучение»* — выражение из главы «Луньюй», где говорится о наставлениях Конфуция сыну.

«Сие тело не заслуживает страха» — цитата из книги «Луньюй»: «Тот, кто в сорок — пятьдесят лет не приобрел известности, не стоит того, чтобы его боялись», то есть относились к нему с должным почтением.

Стр. 126. *На четырнадцатый день девятого месяца в третий год правления Сюань-туна* — 4 ноября 1911 г. по европейскому летосчислению. В этот день республиканская армия заняла город Ханчжоу, и на родине Лу Синя в городе Шаосине также была провозглашена победа революции.

...в знак траура по императору Чун-чжэну... — В Китае белый цвет — цвет траура: Чун-чжэн — девиз, под которым в 1628—1644 гг. правил Сыцзун, последний император династии Мин, свергнутой маньчжурами. В период господства маньчжурской династии Цин крестьянские восстания нередко проходили под лозунгом: «Долой Цин, восстановим Мин»; часть крестьян воспринимала революцию 1911 г. как месть маньчжурам за свергнутого ими императора Чун-чжэна.

Стр. 128. *Кровать нинбоского образца.*— Мебель, изготовляемая мастерами города Нинбо в провинции Чжэцзян, считается лучшей в Китае.

Стр. 129. *...с наступлением эпохи «всеобщего обновления»* — слова из конфуцианской канонической книги «Шуцзин» («Книга преданий»).

Стр. 130. *Сюань-дэ* («Всеобъемлющая добродетель») — девиз правления, под которым в 1426—1435 гг. правил минский император Сюаньцзун.

Лодочник Ци-цзинь — персонаж рассказа «Волнение».

...закрутивших косы на макушке.— После революции 1911 года, свергнувшей маньчжурскую империю, некоторые китайцы, не веря в прочность новой республиканской власти, не отрезали косу, а только закручивали ее и прятали под шапку.

Стр. 131. *...письмо в форме «желтого зонтика»* — посылалось в тех случаях, когда требовалось выразить особое почтение адресату. Такое письмо писалось на листе почтовой бумаги в восемь вертикальных строк, в каждой из которых содержались слова восхваления или уважения. Вверху, в двух средних строках, ставилось имя и титул адресата. Боковые строки начинались на разных уровнях, поэтому внешне текст такого письма отдаленно напоминал очертания зонтика с рукояткой.

Партия «кунжутного масла» — здесь переосмысление близких по звучанию слов, пример народной этимологии. Слова «цзыю дан» — «партия свободы» вэйчжуанцы воспринимают искаженно, как «шэ ю дан», что означает партия «кунжутного масла».

Стр. 131. *Ханьлинь* («Лес кистей») — звание, которое получали ученые и литераторы, блеснувшие на государственных экзаменах в столице и зачисленные в состав императорской академии Ханьлинь.

Стр. 132. *Лю Хай* — ученый даос Лю Хай-чань (X в.), служил при дворе, потом удалился в горы, жил отшельником и, согласно легенде, обрел бессмертие. Изображается обычно с длинными распущенными волосами, закрывающими лоб.

Братец Хун — здесь намек на Ли Юань-хуна (1864—1928), который во время учанского восстания 1911 г. командовал хубэйской армией; впоследствии был президентом Китайской республики.

Хубэй — провинция в центральной части Китая, в которой началась революция 1911 г.

Стр. 133. *Фу Си* — мифический император, время правления которого китайская традиционная историография считала «золотым веком».

Стр. 134. *Ямынь* — уездная канцелярия.

Стр. 135. *...долг, который не уплатил его дедушка.*— В старом Китае долги переходили по наследству.

Стр. 137. *...белую безрукавку... с черными иероглифами.*— Приговоренных к смерти облачали перед казнью в белую траурную одежду, на которой черными иероглифами было написано имя преступника и указывалось, за что он приговорен к смерти.

Стр. 139. *Не спел ни одной песни!* — Приговоренные к смертной казни, желая продемонстрировать твердость духа и презрение к смерти, имели обыкновение петь перед казнью арии из популярных пьес или песни героического содержания.

ПРАЗДНИК ЛЕТА

Рассказ впервые был напечатан в журнале «Сяошо юэбао» («Ежемесячник прозы») в сентябре 1922 года; в русском переводе А. А. Штукина под названием «Весенний праздник» — в кн.: Лу Синь. 1881—1936. Сб. статей и переводов, М.—Л. 1938; в переводе В. Н. Рогова — в кн.: Лу Синь, Избранное, М. 1945.

Стр. 139. *Праздник лета* (дуаньуцзе) — отмечался пятого числа пятого месяца по лунному календарю. Его называют также праздником дракона. В этот день в воду бросают сладкий рис или гаолян, обернутый в листья тростника или лотоса, чтобы задобрить царя-дракона, повелителя водной стихии, почитаемого в народной религии как подателя влаги на поля и защитника посевов от всякого рода стихийных бедствий.

Стр. 140. *«...по своей природе близки друг другу»...*— цитата из книги «Луньюй».

Стр. 141. *...не было школьного имени...* — В старом Китае девочкам при рождении не давали имени; поступив в школу, девочка получала «школьное имя», или прозвище, а в замужестве ее называли просто спохой.

...пошли к зданию правительства... — Лу Синь имеет в виду демонстрацию учителей у ворот Синьхуа, состоявшуюся 3 июня 1921 г., при разгоне которой двое демонстрантов, Ма И-чу и Шэнь Ши-юань, были ранены и отправлены в больницу Шоушань (букв. «Первоначальное добро»). Ранили их полицейские, но президент Сюй Ши-чан официально объявил, что виноваты в этом были сами демонстранты.

Стр. 142. *Ворота Синьхуа* (Новый Китай) — главные ворота резиденции президента Китайской республики в Пекине во времена правительства северных милитаристов (выходят на улицу Чанъаньцзе).

Стр. 143. *«Трактат о началах веры Махаяны»* — популярная буддийская книга, сочинение индийца Ашвагхоши (II в. н. э.), известная в китайских переводах проповедников Парамартхи (VI в.) и Шикчапанды (VII в.). Махаяна (большая колесница) — религиозная школа буддизма.

Стр. 144. *Банкноты Китайского банка и Банка путей сообщения* — банкноты, совместно выпускавшиеся двумя крупнейшими банками Китая в период после революции 1911 г.

Стр. 145. *«Лотосовая»* — дешевая гаоляновая водка, производимая в уезде Ляньхуа провинции Цзянси. Ляньхуа в переводе означает «цветок лотоса».

«Хадэмынь» — название ворот в Пекине.

«Опыты» («Чаншицзи») — сборник стихов Ху Ши (1891—1962), изданный в марте 1920 г. в Шанхае; это одна из первых книг стихов на новом литературном языке байхуа.

БЛЕСК

Рассказ был впервые напечатан в журнале «Дунфан цзачжи» («Восток») в июле 1922 года; в русском переводе А. А. Штукина под названием «Белый блеск» — в кн.: Лу Синь. 1881—1936. Сб. статей и переводов, М.—Л. 1938; в переводе В. Васькова — в кн.: Лу Синь, Избранное, М. 1945.

По свидетельству Чжоу Цзо-жэня, прототипом Чэнь Ши-чэна послужил Чжоу Цзы-цзин, родственник Лу Синя.

Стр. 147. *Уездные экзамены* — экзамены на первую ученую степень сюцая.

КРОЛИКИ И КОШКА

Рассказ был впервые напечатан в приложении к пекинской газете «Чэньбао» («Утро») 10 октября 1922 года; в русском переводе В. А. Жилина — в кн.: Лу Синь, Рассказы, статьи, письма, Шанхай, 1949; в переводе В. Н. Рогова — в кн.: Лу Синь, Избранное, М. 1952.

Стр. 154. *«Книга несравненных»* («У шуан пу») — сочинение Цзинь Гу-ляна (XVII в.), иллюстрированное сорока портретами лиц, живших в период со II в. до н. э. до XIII в. и прославившихся своими подвигами, добродетелями или злодействами; каждый портрет дается в сопровождении стихотворения-панегирика или стихотворения-осуждения. Со временем название книги стало употребляться в нарицательном значении.

УТИНАЯ КОМЕДИЯ

Рассказ впервые был напечатан в журнале «Фунюй цзачжи» («Женский журнал») в декабре 1922 года; в русском переводе В. А. Жилина — в кн.: Лу Синь, Рассказы, статьи, письма, Шанхай, 1949; в переводе В. Н. Рогова — в кн.: Лу Синь, Избранное, М. 1952.

Стр. 155. *Ерошенко* Василий Яковлевич (1889—1952) — русский писатель, ослепший в раннем детстве; печататься начал в 1916 г. в Японии, писал на японском языке и на эсперанто. 22 февраля 1922 г. Ерошенко приехал в Пекин, чтобы преподавать эсперанто в Пекинском университете, и поселился в доме Лу Синя, в переулке Бадаовань. Между Лу Синем и Ерошенко установились дружеские отношения. Еще до этого, в 1921 г., Лу Синь начал переводить произведения Ерошенко на китайский язык.

Стр. 156. *...думал о Бирме...* — В 1917 г. В. Я. Ерошенко совершил поездку в Бирму.

Стр. 157. *«Трагедия цыпленка»* — сказка В. Я. Ерошенко, переведенная Лу Синем в июле 1922 г. и опубликованная в журнале «Фунюй цзачжи» в сентябре 1922 г. Названием этой сказки навеяно название рассказа Лу Синя.

Стр. 158. *...поспешно уехал в Читу...* — это случилось в июле 1922 г. Через Читу В. Я. Ерошенко направился в Москву, а оттуда — в Хельсинки на XIV Международный конгресс эсперантистов в качестве представителя Китая; в Пекин он вернулся четыре месяца спустя. Обеспокоенные долгим отсутствием слепого поэта, его китайские друзья решили, что В. Я. Ерошенко, тосковавший по «матушке-России», больше не возвратится в Китай, и это послужило поводом к появлению «Утиной комедии» Лу Синя. В. Я. Ерошенко вернулся, но вскоре, 16 апреля 1923 г., вновь уехал из Пекина в Москву, на этот раз — навсегда.

ДЕРЕВЕНСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Рассказ впервые был напечатан в журнале «Сяошо юэбао» («Ежемесячник прозы») в декабре 1922 года; в русском переводе А. А. Штукина под названием «Деревенский театр» — в кн.: Лу Синь, Правдивая история А-Кея, Л. 1929; в переводе В. А. Жилина (под названием «Театр») — в кн.: Лу Синь, Клич, Шанхай, 1950; в переводе В. И. Рогова — в кн.: Лу Синь, Избранное, М. 1950.

По свидетельству Чжоу Цзо-жэня, эти воспоминания Лу Синя относятся к 1891—1892 годам, когда Лу Синь жил у родственников матери в деревне Аньцяо (ср. в рассказе — деревня Пицяо).

Стр. 158. *Деревенское представление.*— Имеется в виду театральное представление, распространенное в г. Шаосине и окрестностях; одна из многочисленных форм местного китайского театра, пьесы в котором чаще всего исполняются на диалекте или наречии какой-то определенной местности, а арии пишутся на местные народные мелодии.

Традиционный китайский театр.— Здесь имеются в виду как старый классический театр, так и современный местный театр музыкальной драмы, противопоставляемые современному драматическому театру европейского типа. В традиционном китайском театре спектакль носит синтетический характер, соединяя прозаический диалог, стихи, арии, пантомиму, музыку, танец, а нередко и акробатику.

...я приехал в Пекин...— Лу Синь приехал в Пекин из Нанкина в мае 1912 г.

Пекинская музыкальная драма (цзинси) — одна из самых популярных разновидностей традиционного китайского театра; сформировалась как самостоятельное явление в первой половине XIX в. В репертуаре ее преобладают короткие пьесы на исторические или фантастические сюжеты. Роли пишутся с расчетом на исполнение их актерами канонизированных амплуа; форма пьес, грим, костюмы, приемы игры также подчинены определенным канонам. Все роли исполняются мужчинами.

Стр. 159. *Тань Цзяо-тянь* (Тань Синь-пэй) — известный актер пекинской музыкальной драмы, уроженец провинции Хубэй, выступал в амплуа лаошэн — старого положительного героя.

...на амплуа благородной старухи (лаодань) — амплуа положительной героини, старой женщины.

Му Лянь — ученик будды Шакьямуни. Мать Му Ляня попала за грехи в ад, где страшно мучилась и голодала. Му Лянь не мог смириться с этим, проник в ад и спас ее. Пьеса «Му Лянь спасает свою мать» пользовалась огромной популярностью у зрителей.

Гун Юнь-фу — известный актер пекинской музыкальной драмы, игравший в амплуа лаодань. В пьесе «Му Лянь спасает свою мать» Гун Юнь-фу исполнял роль матери Му Ляня.

Стр. 161. *Уборка могил.*— Согласно обычаю, могилы полагалось убирать трижды в году — в третьем, седьмом и девятом месяцах по лунному календарю. Церемония уборки могил сопровождалась жертвоприношениями предкам.

Вьется, кружится берег реки...— цитата из «Шицзина» («Книги песен»), древнейшего памятника китайской поэзии, представляющего собой записи народных песен XI—VI вв. до н. э. Традиция приписывала отбор и редакцию песен «Шицзина» Конфуцию, поэтому «Шицзин» включался в конфуцианский канон и изучался в школе.

Стр. 164. *Алтарь духов.*— Труппа местного театра приезжала в город или в деревню по праздничным дням и играла обычно в местном храме — в храме Бога — покровителя города или в храме Бога земли: специализированных театральных помещений в старом Китае не было.

Герой с «железным лицом».— Имеется в виду одна из разновидностей условного грима у актеров в амплуа лаошэн — положительного героя-старика; в гриме преобладает черный цвет, символизирующий душевную прямоту и справедливость.

БЛУЖДАНИЯ

«Блуждания» («Панхуан») — второй сборник рассказов Лу Синя, вышедший в августе 1926 года в Пекине. В сборник включено одиннадцать рассказов, написанных в 1924—1925 годах.

Лу Синь отмечал, что в произведениях, составивших сборник «Блуждания», он «освободился из-под влияния иностранных писателей, мастерство стало более зрелым, изображение жизни более глубоким», что подтверждается такими, например, рассказами, как «Мыло», «Развод», но, с другой стороны, он «растерял энтузиазм и перестал привлекать внимание читателей».

В качестве эпиграфа к сборнику «Блуждания» взяты строки из поэмы «Лисао» («Печаль отрешенного») великого китайского поэта Цюй Юаня (ок. 340—277 гг. до н. э.).

Стр. 169. *Цанъу* — название местности, где, согласно преданию, похоронен легендарный император Шунь.

Сюаньпу — священная гора.

Сихэ — божество солнца, или возница солнца в китайской мифологии.

МОЛЕНИЕ О СЧАСТЬЕ

Рассказ был впервые напечатан в журнале «Дунфан цзачжи» («Восток») в марте 1924 года; в русском переводе Е. Киппович под названием «Благословение» — в журнале «Интернациональная литература», 1937, № 10; в переводе А. А. Штукина — в кн.: Лу Синь. 1881—1936. Сб. статей и переводов, М.—Л. 1938; в переводе В. Рудмана (под названием «Моление о благоденствии») — в журнале «Сибирские огни», 1940, № 3; в переводе А. П. Рогачева — в кн.: Лу Синь, Избранное, М. 1952.

Стр. 171. *Моление о счастье* — обряд, совершаемый в новогодний праздник, когда обращаются к богу богатства с просьбами ниспослать счастье семье.

...провожали бога очага... — В каждой китайской семье в ночь под Новый год по лунному календарю совершался обряд проводов Бога очага — покровителя семьи; предполагалось, что, задобренный жертвоприношениями и молитвами, бог очага в своем докладе верховному владыке небес представит семью, проводившую его должным образом, в наилучшем свете.

...был слушателем императорской школы и занимался неоконфуцианской философией. — Слушатели императорской школы Гоцзыцзянь в Пекине, основанной в 1287 г., проходили курс подготовки к государственным экзаменам, изучая конфуцианский канон. Неоконфуцианство представляло собой идеалистическую школу в китайской философии, сложившуюся в X—XIII вв.; эта школа, испытавшая влияние даосизма и буддизма, развивала метафизику и этику древнего конфуцианства.

Кан Ю-вэй (1858—1927) — видный политический деятель, писатель и ученый, лидер реформаторского движения, сторонник конституционной монархии. В 1898 г. предпринял попытку осуществить в Китае серию социальных реформ, но успеха не имел. Сторонников Кан Ю-вэя герой рассказа именует «новой партией».

Стр. 172. *Красный эстампаж с большим иероглифом «шоу».* — В Китае считается хорошим тоном украшать кабинет ученого эстампажами с надписей, сделанных знаменитыми каллиграфами прошлого и вырезанных затем на камне или металле. Красный цвет — цвет радости, а иероглиф «шоу» часто воспроизводится на таких эстампажах как общепринятое благопожелание.

Чэнь Туань (X в.) — известный ученый, комментатор канонических книг даосизма; за отшельнический образ жизни его называли «святым патриархом». По своим философским взглядам Чэнь Туань был ближайшим предшественником неоконфуцианской философской школы, поэтому не случайно, что герой рассказа, изучающий неоконфуцианство, украсил свой кабинет образцом каллиграфического искусства Чэнь Туаня.

Стр. 172. *...висел свиток.*— Кабинет китайского ученого часто украшают свитки с параллельными надписями (афоризмы, строки из стихов знаменитых людей), выполненными прославленными каллиграфами.

«Словарь Канси» («Канси цзыдянь») — полный иероглифический словарь, составленный по указу императора Канси (правил в 1662—1722 гг.) и изданный в 1716 г.

«Комментарии к «Записям современных мыслей» («Цзинь-сылу цзичжу»).— Под таким названием в XVIII в. были изданы две книги — комментарии Цзян Юна (1681—1762) и Мао Син-лая к «Записям современных мыслей», составленным в 1175 г. знаменитыми учеными и литераторами Чжу Си (1130—1200) и Люй Цзу-цянем (1137—1181). «Записи современных мыслей» представляли собой своего рода начальную хрестоматию для изучающих неоконфуцианскую философию и включали 622 афоризма философов-неоконфуцианцев Чжоу Дунь-и (1017—1073), Чжан Цзая (1020—1077), Чэн Хао (1032—1085) и Чэн И (1033—1107).

«Замечания к «Четверокнижию» — сочинение комментатора Ло Пэя (XVIII в.). *«Четверокнижие»* («Сышу»)—четыре книги конфуцианского канона: «Луньюй» («Беседы и суждения»), «Дасюэ» («Великое учение»). «Чжун юн» («О середине») и «Мэн-цзы» («Книга мудреца Мэн-цзы»).

Стр. 175. *«...злые и добрые духи всего лишь естественное проявление...»* — цитата из сочинения философа-неоконфуцианца Чжан Цзая «Выявление истины» («Чжэн мэн»).

Стр. 178. *Отправили к жениху...*— В старом Китае после смерти мужа женщина избегала второй раз выходить замуж — второе замужество считалось позорным, но случались и нарушения этого закона домостроя, когда родители покойного мужа сами заставляли вдову снова вступить в брак ради того, чтобы получить за нее денежный выкуп.

В КАБАЧКЕ

Рассказ был впервые напечатан в журнале «Сяошо юэбао» («Ежемесячник прозы») в мае 1924 года; в русском переводе С. Л. Тихвинского — в кн.: Лу Синь, Избранное, М. 1945.

Стр. 185. *...в город S.*— Имеется в виду Шаосин, родной город Лу Синя.

...целый год преподавал в школе.— Лу Синь преподавал в шаосинской средней школе с сентября 1910 г. до лета 1911 г.

Стр. 187. *Цзинань* — главный город провинции Шаньдун.

Тайюань — главный город провинции Шаньси.

Стр. 190. *Храм Бога — покровителя города* (чэнхуанмяо).— В каждом китайском городе имелся храм, сооруженный в честь божества, считавшегося покровителем данной местности.

Стр. 193. *«Мэн-цзы»* — записи бесед и изречений философа Мэн-цзы (390—305 гг. до н. э.), последователя учения Конфуция.

«Канон для женщин» («Нюйэрцзин») — популярная книга наставлений о дочернем почтении и образцовом поведении женщины. Рифмованный текст «Нюйэрцзина» использовался при обучении девочек грамоте.

СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ

Рассказ был впервые напечатан в журнале «Фунюй цзачжи» («Женский журнал») в марте 1924 года; в русском переводе З. В. Казакевича — в кн.: Лу Синь, Правдивая история А-Кея, Л. 1929; в переводе В. Н. Рогова — в кн.: Лу Синь, Избранное, М. 1952.

Стр. 194. *Сюй Цинь-вэнь* (р. 1897) — известный писатель-реалист, активно печатавшийся в 20-х годах, друг и последователь Лу Синя. Замечание о том, что рассказ был написан в подражание Сюй Цинь-вэню, Лу Синь прокомментировал в том же номере «Фунюй цзачжи», в котором была опубликована «Счастливая семья»:

«Когда в прошлом году в приложении к «Чэньбао», я увидел «Идеальную спутницу» г-на Сюй Цинь-вэня, я вдруг подумал о важности этого произведения и о том, что было бы неплохо сочинить что-нибудь в его стиле, но подумал просто так. Вчера вновь вспомнил об этом и, не занятый ничем другим, написал рассказ. Но, когда писал концовку, почувствовал, что выбился из колеи,— вот и получилось слишком скучно. Развязка его рассказа, по-моему, не так скучна. Но в целом это подражание».

Рассказ Сюй Цинь-вэня «Идеальная спутница», написанный в 1923 г., как и «Счастливая семья» Лу Синя, высмеивает пустые фантазии и лишенные реальных предпосылок идеалы.

Стр. 196. *«Идеальный муж».*— Имеется в виду известная пьеса Оскара Уайльда, впервые появившаяся в китайском переводе в 1915—1916 гг.

Фэнь — денежная единица, составляет 0,01 юаня.

Стр. 198. *«Учение о середине»* — одна из основных доктрин конфуцианства, согласно которой человек в своем поведении, во всех своих делах и поступках должен избегать крайностей, оставаться уравновешенным и придерживаться середины, ибо, по словам Конфуция, «переходить должный предел так же ошибочно, как и не доходить до него» («Луньюй»). Мудрый правитель в своей политике тоже призван следовать принципу «середины», что обеспечит гармонию его отношений с народом. Эта доктрина изложена и развита в книге конфуцианского канона, которая так и называется «Учение о середине» («Чжун юн»); авторство приписывается китайской традицией Цзы Сы (483—402 гг. до н. э.), внуку и последователю Конфуция.

МЫЛО

Рассказ был впервые напечатан в приложении к пекинской газете «Чэньбао» («Утро») 27—28 марта 1924 года; в русском переводе В. С. Колоколова — в кн.: Лу Синь, Избранное, М. 1945.

Стр. 203. *...при Гуансюе.*— Под девизом Гуансюй в 1875—1908 гг. правил маньчжурский император Цзай Тянь.

Смешанная англо-китайская школа — школа, в которой параллельно преподавали китайский и английский языки.

Мало, что мужики на монахов стали похожи...— Буддийские монахи и монахини бреют голову наголо.

Стр. 207. *Священные каноны.*— Имеются в виду конфуцианские канонические книги.

Матери Мэн-цзы.— Мать Мэн-цзы почиталась в старом Китае как образец для всех матерей. Рано овдовев, она позаботилась, чтобы сын получил достойное воспитание. Рассказывают, например, что она трижды меняла местожительство только ради того, чтобы избавить сына от дурного соседства.

Чистота национального духа.— В Китае начала XX в. консерваторы демагогически использовали лозунг защиты чистоты национального духа в борьбе против движения за новую культуру. Внешне в их интерпретации чистота национального духа символизировала верность национальной культуре и национальным традициям, а фактически, будучи возведенной в догму, означала увековечение духовной изоляции Китая от всего остального мира.

Стр. 208. *Умеет ли она писать стихи...*— В старом Китае считалось хорошим тоном, если женщина из аристократической семьи умела писать стихи. История свидетельствует также, что поэтическим даром обладали многие знаменитые куртизанки.

СВЕТИЛЬНИК

Рассказ был впервые напечатан в пекинской газете «Миньго жибао» («Республика») в марте 1925 года; в русском переводе Г. В. Рудакова — в кн.: Лу Синь, Рассказы, статьи, письма, Шанхай, 1949; в переводе В. А. Панасюка — в кн.: Лу Синь, Собр. соч. в четырех томах, т. 1, М. 1954.

Стр. 210. *Цзигуантунь* — название деревни, в буквальном переводе означает «Свет удачи».

«Желтый календарь».— Календари в старом Китае печатались на желтой бумаге; в этих календарях отмечались благоприятные и неблаго-

приятные дни: в такой-то день «запрещалось выходить из дома», в такой-то день «надлежало совершать жертвоприношения» и т. п.

Стр. 211. *Лянский У-ди.*— Император У-ди правил в 502—549 гг.; династия Лян в целом продержалась у власти с 502 по 557 г.

НАПОКАЗ ТОЛПЕ

Рассказ был впервые напечатан в журнале «Юйсы» («Нити слов») в апреле 1925 года; в русском переводе А. А. Штукина — в кн.: Лу Синь. 1881—1936. Сб. статей и переводов, М.—Л. 1938; в переводе О. Л. Фишман — в кн.: Лу Синь, Собр. соч. в четырех томах, т. 1, М. 1954.

Стр. 219. *Напоказ толпе.*— В старом Китае приговоренного к смерти преступника перед казнью водили или возили по городским улицам для устрашения народа.

Стр. 221. *Белоснежная холщовая шапочка.*— Такие белые шапочки носят китайские мусульмане.

Стр. 222. *Будда Майтрея* (Милэфо) — популярное божество буддийского пантеона, один из учеников Будды, «грядущий Будда», он должен явиться в мир после Шакьямуни. Майтрея изображается в виде очень толстого и веселого человека, с обнаженным большим животом, и олицетворяет довольство жизнью.

Стр. 223. *Сучжоуская прическа* — название женской прически, появившейся сначала в городе Сучжоу, а затем получившей распространение в других районах Китая.

ПОЧТЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ ГАО

Рассказ был впервые напечатан в журнале «Юйсы» («Нити слов») в мае 1925 года; в русском переводе З. В. Казакевича под названием «Почтенный Гао» — в кн.: Лу Синь, Правдивая история А-Кея, Л. 1929; в переводе А. П. Рогачева — в кн.: Лу Синь, Собр. соч. в четырех томах, т. 1, М. 1954.

Стр. 224. *«Учебник истории Китая»* («Чжунго лиши цзяокэшу»).— Под таким названием в конце XIX в. в Китае было издано несколько учебников современного типа, предназначавшихся для средней школы; один из них имеет в виду Лу Синь.

«Сокращенное зерцало» Юань Ляо-фаня — популярная книга, представляющая собой краткую историю Китая с древнейших времен в изложении Юань Ляо-фаня (1573—1620) и Ван Фэн-чжоу.

Стр. 225. *Восточная Цзинь* — династия, правившая в Китае в 317—420 гг.

Эпоха Троецарствия (Саньго) — период с 220 по 280 г., когда на территории Китая было три государства — Вэй, Шу и У.

Союз о братстве в персиковом саду.— Имеется в виду эпизод о братании трех прославленных героев — Лю Бэя, Гуань Юя и Чжан Фэя, воспроизведенный в первой главе романа Ло Гуань-чжуна «Троецарствие».

...убийство Сяхоу Юаня Хуан Чжуаном на горе Динцзюнь — эпизод из семьдесят первой главы романа Ло Гуань-чжуна «Троецарствие»; Хуан Чжун — полководец государства Шу; Сяхоу Юань — полководец государства Вэй.

...с помощью которых Чжугэ Лян запасал стрелы...— эпизод, воспроизведенный в сорок шестой главе романа Ло Гуань-чжуна «Троецарствие». Чжугэ Лян (181—234) — мудрый советник и прославленный полководец государства Шу, отличался прозорливостью и хитростью.

Стр. 225. *...трижды приводил в бешенство Чжоу Юя.*— Имеются в виду эпизоды, рассказанные в 51-й, 55-й и 56-й главах романа Ло Гуань-чжуна «Троецарствие». Чжоу Юй (174—218) — полководец государства У. Лу Синь высмеивает здесь «знатока отечественной истории» Гао, который знаком с историей Троецарствия только по одноименному роману.

Эпоха Тан — время правления династии Тан (618—907).

Цинь Цзюнь (VII в.) — известный полководец, участник более чем двухсот больших и малых сражений, человек благородный и прямой.

Стр. 226. *Гао Эр-чу.*— Герой рассказа, желая подчеркнуть свою образованность и литературный талант, взял себе имя Гао Эр-чу, напоминающее имя Горького в китайской транскрипции — Гао Эр-цзи. Эти имена отличаются друг от друга лишь последним слогом, но слоги «цзи» и «чу» — синонимы, означающие в переводе «основа», «фундамент».

Стр. 227. *Яшмовый владыка* — верховное божество в даосской религии.

Стр. 230. *Ши Лэ* (273—333) — сначала был торговцем, потом разбойником, служил в императорской армии; в 319 г. провозгласил себя императором династии Поздняя Чжао.

Сражение на реке Фэйшуй — произошло зимой 383 г., когда войска цзиньских полководцев Се Ши и Се Сюаня наголову разбили армию, которой командовал Фу Цзянь (337—385), правитель государства Цинь. Фэйшуй — река в провинции Аньхуй.

Государство Тоба.— Династия Северная Вэй, провозглашенная племенем тоба, правила Северным Китаем в 386—534 гг.

Таблица «расцвета и гибели Шести государств».— Имеются в виду хронологические таблицы династий У (222—280). Восточная Цзинь (317—420), Сун (420—479), Ци (479—502), Лян (502—557) и Чэнь (557—589), правивших в Южном Китае.

ОДИНОКИЙ

Рассказ был впервые напечатан в сборнике «Блуждания» в августе 1926 года; в русском переводе В. А. Жилина — в кн.: Лу Синь, Рассказы, статьи, письма, Шанхай, 1949; в переводе В. С. Колоколова — в кн.: Лу Синь, Собр. соч. в четырех томах, т. 1, М. 1954.

Стр. 233. *Город S.*— Имеется в виду Шаосин.

Стр. 234. *Внук-наследник.*— Так во время похорон родителей отца, при условии, что тот умер раньше их, называл себя старший по возрасту внук, матерью которого была первая жена отца, а отец в свою очередь был старшим сыном первой жены своего отца. Внуки, так же как и сыновья, должны были носить траур в течение трех лет.

Стр. 237. *«Омут»* («Чэньлунь») — первая книга известного писателя Юй Да-фу (1896—1945), вышедшая в октябре 1921 г. В одноименной повести и в рассказах «Переезд на юг» и «Серебристо-пепельная смерть», составивших сборник, воссозданы образы «лишних людей» — молодых интеллигентов, мучительно переживающих разлад с обществом и неспособных к активному самоутверждению в жизни.

Стр. 238. *...я в то время как раз читал буддийские сутры...*— Лу Синь, по всей вероятности, имеет в виду свои занятия буддийскими книгами в 1914—1917 гг.

Чань (от *санскрит.* «дхьяна» — сосредоточение, медитация) — одна из наиболее популярных в Китае буддийских школ, сложившаяся в VI—VII вв. Чань-буддизм видит истину и Будду во всем, что окружает человека при жизни и прежде всего в нем самом, а путь к истине — в мгновенном озарении, которое наступает как результат сосредоточения мысли и погружения в самого себя.

Стр. 240. *Шаньян* — город в провинции Шэньси.

«Указатель к «Историческим запискам» («Шицзи соинь») — комментарий Сыма Чжэна (VIII в.) к знаменитым «Историческим запискам» Сыма Цяня (145—87 гг. до н. э.).

Цзигугэ (букв.: Павильон извлекающего древности) — название библиотеки и книжной лавки известного библиофила и литератора Мао Цзиня (1598—1659).

Стр. 244. *«Правила приличия познаются, когда сыты и одежды вдосталь...»* — выражение из трактата «Гуань-цзы», приписываемого традицией философу и политику Гуань Чжуну (VIII—VII вв. до н. э.), хотя в действительности трактат был создан в IV—III вв. до н. э.

Стр. 245. *Архат* — буддийский святой из числа ближайших учеников Будды.

Стр. 248. *Личэн* — город в провинции Шаньдун.

Тайгу — город в провинции Шаньси.

Вэньсийские лепешки.— Имеются в виду лепешки, которыми славился город Вэньси в южной части провинции Шаньси.

Стр. 248. *Полоса бумаги.*— В Китае существовал обычай наклеивать на воротах у входа в дом, где есть покойник, белую полосу бумаги с указанием пола и возраста усопшего. По этим данным путем сопоставления их с гороскопами других людей определялось, чье присутствие на похоронах является нежелательным и может навлечь несчастье на душу умершего.

Стр. 249. *«Захудалый род».*— Здесь: самоуничижительно, в значении «наш род».

...кто родился под созвездиями «Мыши», «Коня», «Зайца» и «Курицы».— В традиционном китайском летосчислении каждому знаку двенадцатиричного цикла соответствует созвездие, названное именем животного; год рождения человека обозначается двумя циклическими знаками, и второй из этих знаков соответствует созвездию, под которым этот человек родился.

СКОРБЬ ПО УШЕДШЕЙ

Рассказ был впервые напечатан в сборнике «Блуждания» в августе 1926 года; в русском переводе В. А. Жилина под названием «Раскаяние» — в кн.: Лу Синь, Рассказы, статьи, письма, Шанхай, 1949; в переводе О. Васькова — в кн.: Лу Синь, Собр. соч. в четырех томах, т. 1, М. 1954.

Стр. 253. *Ибсен* (1828—1906), *Тагор* (1861—1941), *Шелли* (1792—1822).— Произведениями этих писателей увлекалась китайская студенческая молодежь 20-х гг. XX в.

Стр. 257. *В канун годовщины революции.*— Имеется в виду революция 1911 г.

Стр. 260. *Гексли, Томас Генри* (1825—1895) — известный английский естествоиспытатель и популяризатор учения Дарвина.

Стр. 263. *«Нора»* (1879), *«Женщина с моря»* (1888) — пьесы Ибсена.

БРАТЬЯ

Рассказ был впервые напечатан в журнале «Манъюань» («Заросли») в феврале 1926 года; в русском переводе В. А. Панасюка — в кн.: Лу Синь, Собр. соч. в четырех томах, т. 1, М. 1954.

Стр. 271. *Хуцинь* — двухструнный смычковый музыкальный инструмент.

Стр. 273. *Покойный государь пребывал в Байдичэне...*— ария из пекинской музыкальной драмы «Потеря Цзетина» на сюжет из истории Троецарствия. Покойный государь — Лю Бэй (162—223), правитель госу-

дарства Шу. Байдичэн — древний город-крепость в восточной части провинции Сычуань, игравший важную роль в войнах Лю Бэя против государства У.

Стр. 276. *«Seasame and Lilies»* — «Сезам и лилии», книга лекций и эссе английского писателя и критика Джона Рескина (1819—1900).

Стр. 277. *«Братское согласие...»* — слова из книги «Луньюй».

«Исчез, как желтый аист...» — исчез бесследно; образное выражение, восходящее к строке из стихотворения великого китайского поэта Ли Бо (701—762): «Желтый аист однажды исчез и обратно уже не вернется...»

Стр. 278. *«Трясогузки в чистом поле»* — строка одной из песен «Шицзина», из раздела «Малые оды»; в этой песне воспеваются дружные, любящие братья.

РАЗВОД

Рассказ был впервые напечатан в журнале «Юйсы» («Нити слов») в ноябре 1925 года; в русском переводе А. П. Рогачева — в кн.: Лу Синь, Избранное, М. 1952.

Стр. 279. *Разнесли их очаг...* — По поверью, распространенному в старом Китае, разрушение очага в доме врага навлекало беду на хозяина и на его семью.

Стр. 282. *«Это и есть затычка...»* — В древности китайцы имели обыкновение затыкать покойнику кусочками яшмы или камня рот, уши, ноздри — словом, все отверстия, что на довольно длительное время предохраняло труп от разложения.

Ханьская эпоха — время правления династии Хань (206 г. до н. э.— 220 г. н. э.).

...пропитана ртутью... — В древнем Китае покойника натирали ртутью, чтобы предохранить труп от разложения, поэтому на «затычках» из золота или яшмы, под воздействием ртути, появлялись пятна.

Стр. 284. *Чжун Куй* — божество китайского народного пантеона, главный среди духов-хранителей дверей; изображения Чжун Куя, отличавшегося безобразной и свирепой наружностью, наклеивали на дверях и воротах, чтобы отпугивать злых духов.

Шесть брачных церемоний — передача даров невесте от жениха (род калыма); осведомление об имени и фамилии; передача подарков невесте после гадания о будущей судьбе четы; передача подарков в знак окончательного заключения брака; назначение дня свадьбы и, наконец, поездка жениха за невестой.

Стр. 286. *Красно-зеленые бумаги.* — В старом Китае было принято брачные свидетельства изготовлять из красной и зеленой бумаги.

ДИКИЕ ТРАВЫ

Сборник стихотворений в прозе «Дикие травы» («Е цао») вышел первым изданием в июле 1927 года в Шанхае.

Правильному пониманию этой книги помогает «Предисловие к английскому переводу «Диких трав», написанное Лу Синем 5 ноября 1931 года и вошедшее в сборник статей «Инакомыслящий» (1932):

«Господин Фэн У. S. (Фэн Юй-шэн.— *В. П.*) передал мне через своего друга английский перевод «Диких трав» с тем, чтобы я прочел его и высказал свое мнение. К сожалению, я не понимаю по-английски и могу только сказать несколько слов от себя. Но надеюсь, что переводчик не будет в обиде за то, что я лишь наполовину удовлетворю его желание.

Эти двадцать с лишним миниатюр написаны, судя по датам в конце каждого стихотворения, в Пекине в 1924—1926 годах и последовательно опубликованы в журнале «Юйсы». В большинстве своем это лишь мимолетные впечатления. Поскольку в то время трудно было говорить прямо, пришлось иногда выражаться довольно туманно.

Теперь давайте возьмем несколько примеров. Для того чтобы высмеять модные в те годы стихи о неразделенной любви, я написал стихотворение «Моя потерянная любовь»; возмущенный обилием зевак в обществе, написал первое стихотворение «Месть»; удивленный пассивностью молодежи, написал «Надежду». «Такой боец» написан под впечатлением фактов, когда литераторы и ученые помогают милитаристам. «Засушенный лист» написан, чтобы сохранить мой облик в мыслях тех, кому я дорог. После расстрела безоружной толпы народа правительством Дуань Ци-жуя я написал «Среди поблекших пятен крови»; к тому времени я переехал на другую квартиру. В дни войны между фэнтяньской и чжилийской кликами милитаристов написал «Пробуждение», после чего уже не мог больше оставаться в Пекине.

Вот почему можно сказать, что, в основном, это бледные мелкие цветы на краю пришедшего в запустение ада, и, конечно, они не могут быть красивыми. Да и такой ад тоже следовало бы потерять. Мне говорили об этом лица и речи нескольких героев, жарко споривших и требовавших крайних мер, но в те годы еще не достигших своих целей. И тогда я написал «Прекрасный, но потерянный ад».

Впоследствии я не писал больше подобных вещей. Каждодневно меняющаяся эпоха не приемлет таких произведений и даже таких впечатлений. Мне думается, что это, быть может, как раз к лучшему. На этом я и закончу предисловие, написанное к английскому переводу».

КРАТКОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ

Впервые опубликовано 2 июля 1927 года в журнале «Юйсы» («Нити слов»); в русском переводе В. В. Петрова — в кн.: Лу Синь, Собр. соч. в четырех томах, т. 1, М. 1954.

В четвертом издании «Диких трав», вышедшем в апреле 1928 года, «Краткое предисловие» было изъято гоминьдановской цензурой, усмотревшей в его тексте крамолу — завуалированное сочувствие революции и осуждение порядков, установившихся в Китае после реакционного переворота Чан Кай-ши. С тех пор «Краткое предисловие» не переиздавалось вплоть до 1941 года. Лу Синь в письме к Ся Чуань-цзину от 19 февраля 1936 года писал:

«Предисловие к «Арфам» выброшено правительственной цензурой... Думаю, что и предисловию к «Диким травам» уготована такая же участь. Я уже несколько раз говорил с издательством, но предисловие так и не вставили в книгу...»

ОСЕННЯЯ НОЧЬ

Впервые опубликовано 1 декабря 1924 года в журнале «Юйсы» («Нити слов»); в русском переводе Л. З. Эйдлина — в кн.: Лу Синь, Избранное, М. 1945.

В этом стихотворении приводится описание внутреннего сада в доме № 21 в переулке Сисаньцяо в Пекине. Лу Синь жил в этом доме с мая 1924 по август 1926 года. В 1956 году там был открыт мемориальный дом-музей Лу Синя и были высажены финиковые деревья, взамен срубленных — тех, которые воспел Лу Синь.

ПРОЩАНИЕ ТЕНИ

Впервые опубликовано 8 декабря 1924 года в журнале «Юйсы» («Нити слов»); в русском переводе В. В. Петрова — в кн.: Лу Синь, Собр. соч. в четырех томах, т. 1, М. 1954.

В этом и в ряде последующих стихотворений раскрыт сложный, противоречивый и изменчивый мир исканий и раздумий Лу Синя в ту пору, когда писатель уже решительно отвергал многие старые идеи, восставал против пустоты, красивых иллюзий и тьмы, критически переоценивал прошлое и стремился к самоутверждению в поисках новых идеалов, но еще не полностью преодолел настроения одиночества и не до конца разобрался в мучивших его сомнениях и противоречиях.

В письме к Сяо Цзюню от 9 октября 1934 года Лу Синь писал:

«Мою книжку «Дикие травы» отнюдь нельзя считать плохой с точки зрения мастерства, но в ней слишком много пессимизма, потому что это было написано после того, как я столкнулся с многочисленными трудностями. Надеюсь, что вы не поддадитесь этим настроениям».

НИЩИЕ

Впервые опубликовано 8 декабря 1924 года в журнале «Юйсы» («Нити слов»); в русском переводе Л. З. Эйдлина — в кн.: Лу Синь, Избранное, М. 1945.

МОЯ ПОТЕРЯННАЯ ЛЮБОВЬ

Стихотворение было впервые опубликовано 8 декабря 1924 года в журнале «Юйсы» («Нити слов»); в русском переводе Вл. Рогова — в кн.: Лу Синь, Собр. соч. в четырех томах, т. 1, М. 1954.

По свидетельству Лу Синя, он написал это стихотворение, «желая высмеять модные в те годы стихи о любви»: «Видя, как в то время процветали стихи о несчастной любви типа «ай-я, ай-ох» или «я должен умереть», я нарочно сочинил вещицу с концовкой «впрочем, как угодно», чтобы посмеяться над ними».

По форме «Моя потерянная любовь» представляет собой пародию на элегию «Четыре огорчения» поэта и ученого Чжан Хэна (78—139), а по содержанию является пародией на стихотворные шутки поэта Чжан Да-ю, жившего в эпоху Тан. В стихах Чжан Да-ю комический эффект достигается нарушением логической связи между строками и неожиданными контрастами.

МЕСТЬ (1)

Впервые опубликовано 29 декабря 1924 года в журнале «Юйсы» («Нити слов»); в русском переводе В. В. Петрова — в кн.: Лу Синь, Избранное, М. 1956.

Стр. 297. *Фэнь* — мера длины, 3,2 мм.

МЕСТЬ (2)

Впервые опубликовано 29 декабря 1924 года в журнале «Юйсы» («Нити слов»); в русском переводе В. В. Петрова — в кн.: Лу Синь, Избранное, М. 1956.

Сцена распятия Христа воспроизводится Лу Синем по китайскому переводу «Нового завета» (глава 27-я «От Матфея» и глава 15-я «От Марка»).

НАДЕЖДА

Впервые опубликовано 19 января 1925 года в журнале «Юйсы» («Нити слов»); в русском переводе В. В. Петрова — в кн.: Лу Синь, Собр. соч. в четырех томах, т. 1, М. 1954.

Шандор Петефи был одним из самых любимых поэтов Лу Синя, и писатель не раз обращался к его творчеству в своих статьях. Он

многое сделал для пропаганды поэзии Петефи в Китае. Одновременно с «Надеждой» в январе 1925 года в журнале «Юйсы» было опубликовано пять стихотворений Петефи в переводах Лу Синя.

СНЕГ

Впервые опубликовано 26 января 1925 года в журнале «Юйсы» («Нити слов»); в русском переводе Т. Самойловой — в кн.: Восточный альманах, № 1, М. 1947; в переводе В. В. Петрова — в кн.: Лу Синь, Собр. соч. в четырех томах, т. 1, М. 1954.

Стр. 301. *К югу от Цзяна* — в районах южнее реки Янцзыцзян, то есть в Южном Китае.

Цинь — название древнего музыкального инструмента из группы ударных.

БУМАЖНЫЙ ЗМЕЙ

Впервые опубликовано 2 февраля 1925 года в журнале «Юйсы» («Нити слов»); в русском переводе Л. З. Эйдлина — в кн.: Лу Синь, Избранное, М. 1945.

ПРЕКРАСНАЯ СКАЗКА

Впервые опубликовано 9 февраля 1925 года в журнале «Юйсы» («Нити слов»); в русском переводе В. В. Петрова под названием «Прекрасный момент из прошлого» — в кн.: Лу Синь, Собр. соч. в четырех томах, т. 1, М. 1954.

Стр. 304. *«Азы учения»* («Чусюэцзи») — одна из первых в Китае энциклопедий, представлявших собой систематизированные собрания различных текстов, подобранных и расположенных по предметному принципу. Эта энциклопедия была составлена по императорскому указу коллегией ученых во главе с Сюй Цзянем (659—729).

Стр. 305. *Шаньиньский путь* — проходит к юго-западу от Шаосина (провинция Чжэцзян), в местах, которые славятся на весь Китай живописными пейзажами. Шаньинь — древнее название Шаосина.

ПУТНИК

Впервые опубликовано 9 марта 1925 года в журнале «Юйсы» («Нити слов»); в русском переводе В. В. Петрова — в кн.: Лу Синь, Избранное, М. 1956.

МЕРТВЫЙ ОГОНЬ

Впервые опубликовано 4 мая 1925 года в журнале «Юйсы» («Нити слов»); в русском переводе В. В. Петрова — в кн.: Лу Синь, Собр. соч. в четырех томах, т. 1, М. 1954.

ВОЗРАЖЕНИЕ СОБАКИ

Впервые опубликовано 4 мая 1925 года в журнале «Юйсы» («Нити слов»); в русском переводе А. А. Штукина под названием «Разговор с собакой» — в кн.: Лу Синь. 1881—1936. Сб. статей и переводов, М.—Л. 1938; в переводе Л. З. Эйдлина — в кн.: Лу Синь, Избранное, М. 1945.

ПРЕКРАСНЫЙ, НО ПОТЕРЯННЫЙ АД

Впервые опубликовано 22 июня 1925 года в журнале «Юйсы» («Нити слов»); в русском переводе В. В. Петрова под названием «Потерянный ад» — в кн.: Лу Синь, Собр. соч. в четырех томах, т. 1, М. 1954.

Стр. 313. *Деревья-мечи* — орудия пытки, которой подвергаются в аду грешники.

Стр. 314. *А-пан* — один из обитателей ада; у него бычья голова, копыта, но руки человека. А-пан настолько силен, что может сдвинуть гору.

НАДГРОБНАЯ НАДПИСЬ

Впервые опубликовано 22 июня 1925 года в журнале «Юйсы» («Нити слов»); в русском переводе В. В. Петрова — в кн.: Лу Синь, Собр. соч. в четырех томах, т. 1, М. 1954.

ДРОЖЬ В ПРЕДЧУВСТВИИ ГИБЕЛИ

Впервые опубликовано 13 июля 1925 года в журнале «Юйсы» («Нити слов»); в русском переводе В. В. Петрова под названием «Дрожь на пути к гибели» — в кн.: Лу Синь, Собр. соч. в четырех томах, т. 1, М. 1954.

СУЖДЕНИЕ

Впервые опубликовано 13 июля 1925 года в журнале «Юйсы» («Нити слов»); в русском переводе Л. З. Эйдлина — в кн.: Лу Синь, Избранное, М. 1945.

Стр. 317. *Когда ребенку исполнился месяц, его вынесли к гостям.*— Согласно народному обычаю, ребенка через месяц после рождения выносят показать гостям, которые предсказывают ему будущее.

ПОСЛЕ СМЕРТИ

Впервые опубликовано 20 июля 1925 года в журнале «Юйсы» («Нити слов»); в русском переводе В. В. Петрова — в кн.: Лу Синь, Собр. соч. в четырех томах, т. 1, М. 1954.

Стр. 320. *Минское издание* — издание, увидевшее свет в период правления династии Мин (1368—1644).

Стр. 321. *«Гунъянчжуань»* — широко известный в Китае комментарий к летописи «Чуньцю» («Весны и осени»), приписываемый Гунъян Гао (V в. до н. э.).

Цзя-цзин — девиз правления минского императора Шицзуна (1522—1566).

ТАКОЙ БОЕЦ

Впервые опубликовано 21 декабря 1925 года в журнале «Юйсы» («Нити слов»); в русском переводе В. В. Петрова — в кн.: Лу Синь, Собр. соч. в четырех томах, т. 1, М. 1954.

Стр. 321. *Зеленознаменные войска* — так при маньчжурской династии Цин, правившей Китаем в 1644—1911 гг., назывались войска, которые в отличие от «восьмизнаменной армии», формировавшейся преимущественно из маньчжур, набирались из китайцев и имели знамя зеленого цвета.

Стр. 322. *«Цивилизация Востока»*.— Призывая к защите «цивилизации Востока», консерваторы демагогически использовали этот лозунг в борьбе против новой демократической культуры. Защита «цивилизации Востока» означала для них прежде всего возврат к древности и восстановление господства феодальной культуры.

Зеркальце-амулет (хусиньцзин).— Маньчжурские солдаты носили его на груди как защитное средство от злых духов и от пуль.

УМНЫЙ, ДУРАК И РАБ

Впервые опубликовано 4 января 1926 года в журнале «Юйсы» («Нити слов»); в русском переводе Мардер — в кн.: Восточный альманах, № 1, М. 1947; в переводе В. В. Петрова — в кн.: Лу Синь, Собр. соч. в четырех томах, т. 1, М. 1954.

Стр. 323. *«Серебряные ушки»* — древесный съедобный гриб, один из деликатесов китайской кухни; используется также как лекарственное средство.

ЗАСУШЕННЫЙ ЛИСТ

Впервые опубликовано 4 января 1926 года в журнале «Юйсы» («Нити слов»); в русском переводе В. В. Петрова — в кн.: Лу Синь, Собр. соч. в четырех томах, т. 1, М. 1954.

Стр. 324. *«Яньмэньцзи»* («Собрание сочинений проживавшего на Заставе диких гусей») — собрание стихотворений известного поэта юаньской эпохи Садулы (XIV в.), монгола по происхождению, писавшего по-китайски. Одно время Садула жил в Яньмэньгуань (Застава диких гусей).

СРЕДИ ПОБЛЕКШИХ ПЯТЕН КРОВИ

Впервые опубликовано 19 апреля 1926 года в журнале «Юйсы» («Нити слов»); в русском переводе В. В. Петрова — в кн.: Лу Синь, Собр. соч. в четырех томах, т. 1, М. 1954.

Написано под впечатлением событий 18 марта 1926 года, когда в Пекине состоялась массовая патриотическая демонстрация, участники которой протестовали против наглых агрессивных акций японского империализма, против нарушения суверенных прав Китая, против предательской политики милитаристского правительства Дуань Ци-жуя. Когда демонстранты двинулись от ворот Тяньаньмэнь к резиденции Дуань Ци-жуя, охрана открыла огонь по безоружной толпе и пустила в ход штыки и сабли. В результате было убито и ранено около двухсот человек. Среди убитых и раненых были студентки Пекинского женского педагогического института, ученицы Лу Синя. Кроме этого стихотворения в прозе, Лу Синь посвятил событиям 18 марта 1926 года несколько статей («Памяти госпожи Лю Хэ-чжэнь», «Розы без цветов», «Жалко и смешно», «Мертвая земля»). Скорбя о жертвах контрреволюционной расправы, Лу Синь гневно обличал предательскую политику милитаристов.

ПРОБУЖДЕНИЕ

Впервые опубликовано 19 апреля 1926 года в журнале «Юйсы» («Нити слов»); в русском переводе В. В. Петрова — в кн.: Лу Синь, Собр. соч. в четырех томах, т. 1, М. 1954.

В апреле 1926 года во время боев между армией Фэн Юй-сяна, представлявшего чжилийскую клику, и войсками милитаристов фэнтяньской клики Чжан Цзо-линя и Ли Цзин-линя, самолеты фэнтяньцев несколько раз совершали налеты на Пекин и бомбили город.

Стр. 327. *Пекинский университет* — одно из старейших высших учебных заведений Китая (основан в 1898 г.), центр движения за новую китайскую культуру. Его история тесно связана с революционной борьбой

китайского народа. Лу Синь читал в Пекинском университете в 1920—1926 гг. лекции по истории китайской литературы. Он активно поддерживал требования прогрессивного студенчества и вел решительную борьбу против реакционных ученых и литераторов типа Чжан Ши-чжао.

«Низкая трава» («Цяньцао») — литературный журнал, который издавался в Пекине с марта 1923 года одноименной литературной группой, объединявшей молодых литераторов (Чэнь Сяо-хэ, Чэнь Вэй-мо, Хань Цзюнь-гэ, Линь Жу-цзи, Фэн Чжи). Журнал выходил нерегулярно, всего вышло четыре номера, и в феврале 1925 года «Низкая трава» прекратила свое существование. Упоминаемый Лу Сюнем «незнакомый юноша» — это, видимо, Чэнь Вэй-мо, учившийся тогда в Пекинском университете на факультете английского языка и литературы и по собственной инициативе слушавший лекции Лу Синя по истории китайской прозы; известно, что именно Чэнь Вэй-мо обычно передавал Лу Синю издания литературной группы «Низкая трава».

«Потонувший колокол» («Чэньчжун») — литературный журнал, который еженедельно выходил в Пекине в октябре — декабре 1925 года как орган одноименного литературного общества, ядро которого составляли участники закрывшейся к тому времени «Низкой травы» и вновь присоединившиеся к ним молодые писатели. В августе 1926 года «Потонувший колокол» был возобновлен, но уже как двухнедельное издание и выходил до января 1927 года; в 1932—1934 гг. он был возрожден вторично. Участники журнала увлекались западными писателями (Уайльд, Бодлер, Гиссинг); не случайно они использовали название одной из пьес Гауптмана, чтобы назвать свое общество и журнал. В предисловии ко второму сборнику рассказов в составе «Антологии новой китайской литературы» Лу Синь, характеризуя направление этих журналов, писал о них как об изданиях, выступавших с позиций «искусства для искусства» и «самовыражения», но стремившихся «всмотреться в этот мир» и «петь о правде и красоте тоскующим людям».

Толстой написал целую повесть.— Речь идет о «Хаджи-Мурате».

СТАРЫЕ ЛЕГЕНДЫ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

«Старые легенды в новой редакции» («Гуши синьбянь») — третий сборник рассказов Лу Синя, вышедший первым изданием в январе 1936 года в Шанхае, в составе «Литературной книжной серии» («Вэньсюэ цункань»), которую редактировал писатель Ба Цзинь. Всего в сборнике восемь рассказов, написанных в период с 1922 по 1935 год.

«Старые легенды в новой редакции» — книга своеобразного жанра. Все составляющие ее рассказы написаны на сюжеты древних мифов или легенд, зафиксированных в исторических хрониках. Лу Синь неод-

нократно ссылался на то, что, работая над «Старыми легендами в новой редакции», он «пересказывал китайские мифы, легенды и исторические факты». Но, не ограничив себя одним лишь модернизированным воспроизведением или переложением традиционных сюжетов, он художественно переосмыслил традиционные версии и использовал образы мифов и легенд для критики порядков в старом Китае, политики Чан Кай-ши и китайских милитаристов, придав тем самым «Старым легендам в новой редакции» ярко выраженную сатирическую окраску.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Стр. 331. *Гора Бучжоу* — согласно китайской мифологии, служила опорой неба и находилась где-то на северо-западе Китая.

Нюй-ва — персонаж китайской мифологии, изображалась с головой человека и телом змеи. Нюй-ва создала из желтой глины людей и заделала пролом в небе расплавленными цветными камнями.

Фрейд, Зигмунд (1856—1939) — австрийский врач-психиатр, создатель теории психоанализа, которая оказала большое влияние на современную буржуазную эстетику. Искусство, по Фрейду, не отражает объективную действительность, а выражает и специфически воспроизводит подсознательные процессы в психике художника.

«Аромат орхидеи» («Хуйды фэн») — первый сборник стихов Ван Цзин-чжи, вышедший в августе 1922 г. в Шанхае; основное место в этом сборнике занимали стихи о любви.

Стр. 331. *Ван Цзин-чжи* (р. 1903) — известный поэт, прозаик и литературовед; печататься начал в период литературной революции «4-го мая» 1919 г., активно выступал в литературе в 20-х годах.

Критик... — Имеется в виду студент Юго-восточного университета Ху Мэн-хуа, который поместил 24 октября 1922 г. в «Сюздэн» («Светоч учения»), приложении к шанхайской газете «Ши ши синьбао», рецензию «После прочтения «Аромата орхидеи» г-на Ван Цзин-чжи». Строку «оборачиваюсь на каждом шагу и взгляд устремляю на ту, что мила мне» и все подобные ей строки Ху Мэн-хуа квалифицировал как безнравственные. Опасаясь падения нравов в поэзии, он сокрушался: «О, несчастная молодежь, у меня для нее остаются только слезы!» Отвечая Ху Мэн-хуа, Лу Синь в ноябре 1922 г. написал статью «Против «слезливых критиков», в которой с издевкой отзывался о сентиментальном и ханжески добропорядочном «слезливом» критике, о его тщетных попытках объявить любовную лирику безнравственным жанром, ошельмовать молодого поэта и вообще воспретить писать о любви. Статья Лу Синя была напечатана 17 ноября 1922 г. под псевдонимом Фэн Шэн в приложении к пекинской газете «Чэньбао» («Утро»).

В самом конце сборника... — Рассказ «Гора Бучжоу» («Починка

неба») был включен Лу Синем в первое издание сборника «Клич»; только при переиздании «Клича» в 1930 г. «Гора Бучжоу» была из него изъята.

Стр. 332. *Чэн Фан-у* (р. 1894) — известный литературный критик, один из создателей и активных членов литературного общества «Творчество»; в конце 20-х и в начале 30-х годов участвовал в движении за революционную китайскую литературу; в дальнейшем отошел от литературных дел и работал в области народного образования.

В начале 1924 г. Чэн Фан-у опубликовал в журнале «Чуанцзао цзикань» («Творчество», см. ниже) «Рецензию на сборник «Клич». Признавая, что «Клич» вызвал оживление всей литературной жизни Китая, что Лу Синь «поворачивал дело по-новому», Чэн Фан-у, однако, при конкретном разборе рассказов высказал немало несправедливых суждений. Например, он совершенно необоснованно упрекал Лу Синя за «вульгарности» и «натурализм», за «старомодность стиля» и «плохую композицию» «Подлинной истории А-кью». Чэн Фан-у находил у Лу Синя злоупотребление «описанием» в ущерб «выражению» и лишь в некоторых рассказах «видел» неосознанную тягу к методу «самовыражения», что относил за счет влияния «Творчества». Здесь Лу Синь имеет в виду именно эту рецензию Чэн Фан-у.

«Приключения души».— Имеется в виду определение критики, которое дал Анатоль Франс в статье «Господин Адриен Эбрар, сенатор и директор газеты «Тан»: «Настоящий критик тот, кто повествует о приключениях своей души среди шедевров». Эта статья открывает сборник «Литературная жизнь» (1888) — первый в серии из нескольких одноименных литературно-критических сборников Франса. Определение критики как «приключений души» Чэн Фан-у приводил в «Рецензии на сборник «Клич».

Стр. 332. *«Творчество»* — литературное общество, игравшее выдающуюся роль в развитии современной китайской литературы. Оно было создано в 1921 г. в Шанхае молодыми писателями Го Мо-жо, Юй Да-фу, Чэн Фан-у, Чжан Цзы-пином, Чжэн Бо-ци и просуществовало до закрытия реакционными властями в феврале 1929 г. На раннем этапе участники «Творчества» в своих программных выступлениях осуждали утилитаризм в искусстве, противопоставляли «искусству для жизни» доктрины «самовыражения» и «чистой красоты», хотя одновременно говорили и о «социальном назначении искусства», призванном выжечь «ложь и преступления эпохи». С конца 20-х годов «Творчество» энергично выступало за создание революционной китайской литературы.

«Без названия» (Вэймингшэ) — литературное общество, созданное по инициативе и при активном участии Лу Синя в 1925 г. в Пекине. В состав этого общества входили молодые переводчики Вэй Су-юань, Вэй Цун-у, Цао Цзин-хуа, Ли Цзи-е. Общество «Без названия» внесло сущест-

венный вклад в ознакомление Китая с мировой литературой, в особенности с произведениями русских классиков и советских писателей.

«Утренние цветы, собранные вечером» («Чаохуа сиши») — сборник воспоминаний Лу Синя, изданный в сентябре 1928 г.

...пришлось бежать в Кантон... — В январе 1927 г. Лу Синь уехал из Амоя в революционный Кантон, где возглавил литературный факультет университета имени Сунь Ят-сена; когда после контрреволюционного переворота Чан Кай-ши начались гонения на демократическую интеллигенцию, он вынужден был подать в отставку и в конце сентября 1927 г. уехал из Кантона в Шанхай.

ПОЧИНКА НЕБА

Рассказ впервые был напечатан в декабре 1922 года в дополнительном выпуске в честь четвертой годовщины газеты «Чэньбао» («Утро») под названием «Гора Бучжоу»; в русском переводе В. С. Колоколова под названием «Починка небосклона» — в кн.: Лу Синь, Собр. соч. в четырех томах, т. 3, М. 1955; в переводе Л. Д. Позднеевой (под названием «Как Нюй-ва чинила небо») — в кн: Лу Синь, Сатирические сказки, М. 1964.

Сюжет рассказа основан на фрагментах мифа о Нюй-ва, древнейшие версии которого зафиксированы в таких сочинениях, как «Ле-цзы» (ок. V в. до н. э.), «Хуайнань-цзы» (II в. до н. э.), «Лунь-хэн» Ван Чуна (I в.).

Стр. 337. *Чжуань-сюй* — один из пяти мифических императоров глубокой древности, обожествленный как дух-владыка севера; традиция относит время его правления к III тысячелетию до н. э. Лу Синь использует в своем рассказе версию, приводимую в «Хуайнань-цзы», о борьбе между Чжуань-сюем и Гун-гуном — богом воды, который, потерпев поражение, в отчаянии ударился головой о гору Бучжоу и повредил ее настолько, что небо накренилось и чуть было совсем не рухнуло, а на земле тем временем вспыхнули пожары и начался потоп.

Кан-хуэй — персонаж китайской мифологии; по одной версии, это сановник, ведавший оросительными работами при Чжуань-сюе; другие комментаторы отождествляют его с богом воды Гун-гуном.

Стр. 339. *Горы Куньлунь* — обитель богов и бессмертных на западе Китая.

Обнажать срам и предаваться блуду... — В этих словах содержится намек на высказывания Ху Мэн-хуа по поводу сборника стихов «Аромат орхидеи» поэта Ван Цзин-чжи.

Стр. 341. *Головастиковые письмена* — название древнейшего стиля письма, изобретение которого китайская традиция приписывала «четырехглазому» Цан Цзе — министру-историографу императора Хуан-ди

(III тыс. до н. э.); для придания достоверности этой легенде во II в. н. э. был сфабрикован образец текста, написанного головастиковым письмом; графические элементы иероглифов в стиле головастикового письма внешне имели какое-то отдаленное сходство с головастиками.

Цинь Ши-хуан — первый император династии Цинь, объединившей Китай после долгих междоусобиц, правил в 246—210 гг. до н. э. В «Исторических записках» Сыма Цяня содержится упоминание о том, как Цинь Ши-хуан послал некоего Сюй Фу на поиски священных гор — обители бессмертных.

Ханьский У-ди.— Здесь имеется в виду император династии Западная Хань (Ранняя Хань), которая правила Китаем в 206—25 гг. до н. э. У-ди правил в 140—87 гг. до н. э.; упоминание об интересе У-ди к поискам обители бессмертных содержится в исторических хрониках, в частности в «Исторических записках» Сыма Цяня.

ПОБЕГ НА ЛУНУ

Рассказ был впервые напечатан в январе 1927 года в журнале «Манъюань» («Заросли»); в русском переводе А. А. Штукина — в кн.: Лу Синь. 1881—1936. Сб. статей и переводов, М.—Л. 1938; в переводе В. С. Колоколова — в кн.: Лу Синь, Собр. соч. в четырех томах, т. 3, М. 1955; в переводе Л. Д. Позднеевой (под названием «Вознесение на луну») — в кн.: Лу Синь, Сатирические сказки, М. 1964.

Стр. 342. *Стрелок И* — герой древних китайских мифов, в совершенстве владевший искусством стрельбы из лука. Легенды ставят ему в заслугу истребление диких зверей, нашествие которых угрожало людям. Стрелок И предотвратил также страшную засуху, сбив меткими выстрелами девять из десяти солнц, светивших в небе. У Лу Синя сюжет рассказа основан на фрагментах мифа о стрелке И, включенных в книгу «Хуайнань-цзы» (II в. до н. э.).

Чан Э — в китайской мифологии почитается как богиня луны. История о том, как Чан Э украла у стрелка И лекарство бессмертия, полученное им у владычицы Запада Сиванму, и вознеслась на луну, заимствована из «Хуайнань-цзы».

Стр. 344. *Золотая пилюля* — эликсир бессмертия, изготовлением которого занимались даосы-алхимики.

Стр. 345. *В том году сорок пять стукнуло...*— Эта и некоторые другие фразы («зря ты ходил ко мне больше ста раз», «пробил твой последний час») позволяют разгадать намек на взаимоотношения Лу Синя с писателем Гао Чан-хуном. Они представляют собой несколько видоизмененные цитаты из статей Гао Чан-хуна «Эскиз состояния издательских кругов Пекина в 1925 году», «Судьбы эпохи», «Разговор истины и

справедливости», опубликованных в октябре — ноябре 1926 г. в журнале «Куанбяо чжоукань» («Вихрь»), а затем включенных автором в книгу «Бегство в издательский мир» (1927). Когда Гао Чан-хун начинал свой путь в литературе, Лу Синь привлек его к сотрудничеству в своем журнале, содействовал выходу первой книги Гао Чан-хуна, редактировал его произведения, но затем Гао Чан-хун порвал с Лу Синем и за помощь отплатил неблагодарностью, клевеща на Лу Синя в своих статьях и превознося собственные литературные заслуги.

Стр. 346. *Яо* — император древности, правивший, согласно традиционной версии, в конце III тысячелетия до н. э.

Фэн Мэн — ученик стрелка И; переняв у него искусство стрельбы из лука, стал потом завидовать учителю и, по версии книги «Мэн-цзы», убил стрелка И. Покушение Фэн Мэна на стрелка И, писал Лу Синь, это «пример из прошлого». Фэн Мэн далек от нас, но этот древний дух рассеялся еще не до конца». Проявление неблагодарности и вероломства Лу Синь увидел в поступках Гао Чан-хуна. В рассказе за образом Фэн Мэна стоит Гао Чан-хун, за образом стрелка И — сам Лу Синь.

Стр. 347 *...откусывать наконечники...* — Описание такого необычного способа Лу Синь взял из цитируемого в энциклопедии «Тайпин юйлань» (X в.), но не дошедшего до нас в полном виде раздела книги «Ле-цзы».

Стр. 351. *Шэн* — мера объема и сыпучих тел, около 1,03 литра.

ПОКОРЕНИЕ ПОТОПА

Рассказ впервые был напечатан в сборнике «Старые легенды в новой редакции» в январе 1936 года; в русском переводе Л. Д. Позднеевой под названием «Покорение стихии» — в кн.: Лу Синь, Собр. соч. в четырех томах, т. 3, М. 1955; в ее же переводе, но под названием «Как дракон спас людей от потопа» — в кн.: Лу Синь, Сатирические сказки, М. 1964.

Сюжет рассказа основан на сведениях, сообщаемых Сыма Цянем в «Исторических записках», в главе «Родословная династии Ся», а также на некоторых других версиях легенды о покорении потопа.

Стр. 351. *...«буйствовали кипящие воды потопа...»* — цитата из «Шуцзина» («Книги преданий»); согласно традиционной хронологии, потоп бушевал в Китае в III тыс. до н. э.

Шунь — император древности (конец III тыс. до н. э.), правивший вместе с императором Яо. Потом Яо правил единовластно.

Гунь — министр общественных работ при императоре Шуне, боролся с потопом методом возведения дамб и плотин, успеха не добился.

Гора Юйшань. — На эту гору был сослан министр Гунь после неудачных попыток справиться с потопом.

Вэнь-мин — имя императора Юя, сына Гуня. Юй, согласно традиционной версии, был сначала соправителем Шуня, а потом единовластно правил Китаем (конец III тыс. до н. э.); традиция приписывает Юю заслугу покорения потопа.

Гора «Культура».— Этим названием Лу Синь намекает на реальные события. В октябре 1932 г., когда японские империалисты, оккупировавшие Маньчжурию, угрожали Северному Китаю, решено было вывезти культурные ценности из Пекина на юг. Группа литераторов и ученых во главе с Цзян Ханем обратилась к гоминьдановскому правительству с демагогическим призывом объявить Пекин «городом культуры» — зоной вне политики и войны, и отказаться от вывоза культурных ценностей, что, в сущности, было на руку японским милитаристам. Подписавшие это послание имели о реальном положении дел такое же отдаленное представление, как и обитатели горы «Культура» в рассказе Лу Синя.

Летающие повозки из страны Цигун.— О стране Цигун сообщается в древней книге «Шаньхайцзин» («Книга гор и морей»); в комментарии к ней поэт и ученый Го Пу (276—324) писал, что жители страны Цигун «умели строить летающие колесницы, которые далеко летели, подгоняемые ветром».

Стр. 352. *...флаг с желтым кругом...*— видно, это намек на японский национальный флаг.

Ученый с посохом в руке.— Прототипом этого образа послужил буржуазный исследователь теории социальной наследственности Пань Гуан-дань, который изучал родословные помещиков и чиновников для объяснения явлений наследственности.

Ученый-заика.— Прототипом этого образа послужил историк и археолог Гу Цзе-ган, сторонник прагматических методов в науке («исследование ради исследования», «факт ради факта»). Утверждения «ученого-заики» во время спора о Юе пародируют отрывок из «Рассуждений о древней истории» Гу Цзе-гана.

Стр. 353. *Большая макака.*— Иероглиф, которым записывается слово «большая обезьяна», напоминает внешне иероглиф, которым пишется имя Юй.

Господин Птицеглав.— Ученого-заику зовут Птицеглав (Няо-тоу); это еще один намек на Гу Цзе-гана: фамильный знак «гу» легко распадается на два более простых, древние значения которых «птица» и «голова».

Стр. 354. *Гао Яо* — сановник, ведавший при императоре Шуне тюрьмами и наказаниями.

Стр. 355. *Цзичжоу* — одна из девяти областей, на которые при императоре Яо был разделен Китай; она охватывала территорию современных провинций Хэбэй и Шаньси. Столица империи Яо находилась в пределах области Цзичжоу.

...а самому заняться сбором народных песен.— Еще один намек на профессора Гу Цзе-гана, который в 20-х годах занимался сбором и изучением народных песен.

Стр. 355. *Мяо* — народ, живущий в юго-западных и южных провинциях Китая.

Стр. 356. *Шэнь-нун* — император, который, согласно легендам, научил китайцев земледелию. Ему приписывается одна из древнейших китайских книг о лекарственных растениях — «Фармакопея» («Шэнь-нун бэньцао»); фактически она была составлена в начале нашей эры.

Специалист по эссе эпохи Фу Си.— Прототипом этого сатирического образа послужил известный писатель Линь Юй-тан, ратовавший за так называемый «разговорно-эпистолярный стиль» в литературе и за преимущественное использование жанра коротких эссе, процветавшего в эпоху Мин. Бессвязный набор фраз («Я недавно взобрался на выси Памира...») пародирует «разговорно-эпистолярный стиль» Линь Юй-тана; Фу Си — император глубокой древности, правивший, согласно традиционной хронологии, в начале III тыс. до н. э. (по другим версиям, на рубеже V—IV тыс. до н. э.).

Стр. 356. *Чи Ю* — персонаж китайской мифологии, о котором древние китайцы писали как о чудовище «со звериным обликом, речами человека, с медной головой и железным лбом». Во время войны с мифическим императором Хуан-ди Чи Ю с помощью одному ему известного колдовства напустил на войска Хуан-ди густой туман, что, однако, не спасло его от поражения. Чи Ю издавна воспринимался китайцами как символ жестокости. Фразой про «молодца с сигарой во рту, окутанного дымом, словно Чи Ю», Лу Синь намекает на антисоветскую статью Линь Юй-тана «Еще раз о поездке в Ханчжоу» («Юй Хан цзай цзи»), помещенную в журнале «Лунюй» и содержавшую фразу: «Увидел двух молодых людей, во рту — советские папиросы, в руках — переводы какого-то там ...ского» (то есть русского автора, фамилия которого оканчивается на «ский»). Имя Чи Ю вставлено Лу Синем не без цели — он хочет показать прямую связь выпадов Линь Юй-тана с антисоветизмом лидера северных милитаристов генерала У Пэй-фу, который в 1926 г. заявил японскому корреспонденту, что коммунисты — прямые потомки Чи Ю, прародителя «красной опасности». Заявление У Пэй-фу подкреплялось «научными» аргументами: иероглифы «чи» в имени Чи Ю и в слове «чихуа» — «красная опасность» — являются омонимами.

Стр. 357. *Цветущее Ся* — одно из древних названий Китая.

Стр. 359. *Раковины* — в древнем Китае раковины использовались в качестве денег.

Триграммы Фу Си — восемь графических сочетаний, каждое из которых составляют в разных комбинациях полные и прерванные посредине штрихи, по три штриха в каждой триграмме. Эти восемь три-

грамм, как гласит легенда, мифический император Фу Си увидел на спине драконо-лошади, выплывшей из реки Хуанхэ; он расшифровал их и использовал для конструирования иероглифической письменности.

Цан Се (Цан Цзе) — министр-историограф мифического императора Хуан-ди; традиция приписывала Цан Се изобретение китайских иероглифов.

Стр. 360. *...который вынужден вместе с подданными переносить подобные тяготы...* — Лу Синь перефразирует здесь знаменитые слова из книги «Мэн-цзы» об идеальном государе, который разделяет горе и радости со своим народом.

Прошел мимо собственных дверей и даже не заглянул... — Юй боролся с потопом в течение восьми лет; за это время он трижды оказывался у ворот своего дома, но в дом не заходил, что истолковывалось традиционной историографией как проявление решимости Юя подчинить личные интересы интересам народа и государства.

Стр. 361. *Мисс Нюй-вэй.* — При конструировании этого имени Лу Синь воспользовался свидетельствами древних исторических хроник о северных варварских племенах, у которых все женщины носили фамилию Вэй.

Стр. 362. *...культура является жизненной артерией нации, а ученые — душа культуры...* — Лу Синь цитирует здесь письмо пекинских ученых и литераторов, направленное в 1932 г. нанкинскому правительству, относительно объявления Пекина «городом культуры».

Цветущее Ся слишком густо населено... — Имеются в виду слова писателя-эссеиста Чэнь Юаня из его «Праздных бесед» в журнале «Сяньдай пинлунь» («Современное обозрение») за май 1926 г., где, в частности, говорилось: «У нас не только нет потребности в увеличении населения, но и ничего не случилось бы, если бы его сократить наполовину».

«Три года не отклоняться от пути отца — в этом и состоит сыновняя почтительность...» — цитата из книги «Луньюй»; эта заповедь использовалась ревностными конфуцианцами в интересах консервации всего старого и традиционного; Юй нарушил ее, потому что отказался от возведения дамб и плотин — метода, которым боролся с потопом его отец Гунь, и применил метод отвода избыточных вод.

...украл у верховного божества волшебную землю... — Волшебная земля, как рассказывает легенда, обладала чудодейственным качеством — могла самовоспроизводиться. Гунь надеялся, что волшебная земля «сижан» даст ему в избытке материал для сооружения дамб и запруд.

Стр. 363. *...превратился в бурого медведя...* — Версия о превращении Гуня в бурого медведя зафиксирована в книге «Речи царств» («Го юй»), а версия о превращении его в трехногую черепаху — в комментарии «Цзочжуань» и в «Исторических записках» Сыма Цяня.

Акульи плавники... трепанги — изысканные блюда китайской кухни.

Стр. 364. *...для сооружения искусственной горы...* — В Китае издавна для украшения садов и парков принято сооружать из камней причудливой формы искусственные горки.

Учжици — дух реки Хуайхэ, мешавший императору Юю обуздать эту реку. Юй победил потоп и приковал чудовище Хуайхэ к Черепаньей горе (Гуйшань).

Дань-чжу — сын императора Яо; в отличие от отца, не был почтительным сыном, и Яо передал трон не Дань-чжу, а высоконравственному и мудрому Юю.

Река Чжэцзян — протекает в Восточном Китае.

Стр. 365. *Цзи* — сановник, ведавший при мифическом императоре Юе продовольствием, обожествлен в народной религии как дух-покровитель земледелия.

А-ци — сын императора Юя, правил в конце III тыс. до н. э.

Стр. 366. *Чета благовещих фениксов.* — Появление четы фениксов трактовалось в древних китайских легендах как знак всеобщего благоденствия и процветания.

ЗА ПАПОРОТНИКОМ

Впервые напечатан в январе 1936 года в сборнике «Старые легенды в новой редакции»; в русском переводе Л. Д. Позднеевой — в кн.: Лу Синь, Собр. соч. в четырех томах, т. 3, М. 1955.

Сюжет рассказа основывается на «Исторических записках» Сыма Цяня с привлечением некоторых дополнительных сведений, заимствованных Лу Синем из других древних источников.

Стр. 366. *Бо-и и Шу-ци* — легендарные герои древнего Китая, сыновья Мотайчу (XII в. до н. э.) — правителя царства Гучжу, находившегося в вассальной зависимости от династии Шан (1766—1122 гг. до н. э.). Перед смертью Мотайчу назначил Шу-ци своим наследником. Но после смерти отца Шу-ци отказался от трона в пользу брата. Бо-и, ссылаясь на волю отца, также отказался от трона и покинул царство Гучжу. Шу-ци последовал его примеру. Оба брата поступили на службу к чжоускому У-вану. Когда У-ван собрался в поход против последнего правителя династии Шан Чжоу-синя, братья пытались удержать его, но безуспешно. У-ван победил, и братьям стало стыдно, что они служат человеку, свергнувшему власть законной династии. Они ушли в горы Шоуяншань и умерли там голодной смертью, не желая изменять своим убеждениям. С именами Бо-и и Шу-ци в традиционной китайской литературе всегда связывалось представление о принципиальности, верности и бескорыстии.

Стр. 366. *Шанский царь.*— Имеется в виду Чжоу-синь — последний правитель династии Шан (Инь), правил в 1154—1122 гг. до н. э. Своими бесчинствами и чудовищной жестокостью восстановил против себя народ и вассальных князей. Его имя стало символом жестокого тирана.

Сань И-шэн — сановник при дворе правителя княжества Чжоу.

Стр. 367. *Цы и Цян* — чиновники, ведавшие музыкой при дворе шанского царя Чжоу-синя.

Принципы древних государей.— Имеются в виду принципы управления государством, которыми руководствовались мифические императоры Фу Си, Хуан-ди, Яо и Шунь, благодаря чему Китай процветал и жил в мире и согласии.

Би Гань — дядя шанского царя Чжоу-синя, человек прямой и честный, осуждал распутство и зверства своего племянника, за что поплатился жизнью.

...низший покушается на высшего...— Здесь под «низшим» подразумевается правитель вассального царства Чжоу, под «высшим» — царь Чжоу-синь.

Стр. 368. *...заняться своими упражнениями.*— Имеется в виду популярная в Китае разновидность дыхательной гимнастики по системе «великого предела», правила которой были впервые разработаны в эпоху Сун неким Чжан Сань-фэном. Великий предел (тайцзи) — первоначальное состояние мира, предшествовавшее отделению неба от земли. В истолковании неоконфуцианских философов XI—XIII вв. «великий предел» — это путь космоса, в его движении рождается сила света, а в его покое — сила тьмы; взаимодействие и противоборство этих двух сил, порожденных «великим пределом», служат источником жизни.

...скрижаль с надписью...— По представлениям древних китайцев, поминальная скрижаль с именем покойного становилась обителью его души.

Вэнь-ван — мудрый правитель царства Чжоу, которого Чжоу-синь по подозрению в нелояльности заточил в тюрьму.

Чжоу — царство, которое находилось в вассальной зависимости от династии Шан. Владения Чжоу охватывали территории, занимаемые ныне провинцией Шэньси в северо-западной части Китая. При Вэнь-ване царство Чжоу заметно усилилось.

Фа — имя царя У-вана, сына царя Вэнь-вана, правителя царства Чжоу, свергнувшего шанского царя — тирана Чжоу-синя, и основавшего династию Чжоу.

Стр. 369. *Цзян Тай-гун* — советник У-вана и Вэнь-вана, прославился мудростью и даром предвидения. Своими советами оказал большую услугу У-вану в его борьбе против Чжоу-синя.

Стр. 370. *Гучжу.*— Владения царства Гучжу занимали земли к западу от реки Ляо (западная часть современной провинции Ляонин).

Стр. 371. *Мэнцзинь* — название переправы; именно в этом месте армия У-вана, шедшего походом против шанского царя, переправилась через реку Хуанхэ.

Пастушье поле (Муе) — название местности в тридцати ли к югу от Чаогэ — столицы шанского царя (ныне территория уезда Цисянь провинции Хэнань). В 1122 г. до н. э. в Муе произошло решительное сражение между армиями У-вана и Чжоу-синя, в результате которого пала династия Шан.

Оленья башня (Лутай).— В этой башне, сооруженной по приказу Чжоу-синя в шанской столице, хранились драгоценности, шелка и другие богатства; в ней устраивались пиршества и оргии.

Большой мост (Цзюйцяо) — название царских амбаров в шанской столице, в которых хранились запасы риса и зерна.

Стр. 372. *Да-цзи* — любимая наложница царя Чжоу-синя, на редкость красивая женщина. Конфуцианская традиция считала ее не только соучастницей, но и вдохновительницей всех злодеяний Чжоу-синя.

Стр. 373. *Хуашань* — одна из пяти священных вершин, почитаемых китайцами, находится в провинции Шэньси.

«Небо справедливо и не оставит добрых людей» — цитата из «Исторических записок» Сыма Цяня.

Стр. 374. *«И вернули коней на южный склон горы Хуашань»; «пустить волов на луг у Персиковой рощи»* — выражения из книги «Шуцзин», означающие, что после жестокой войны в стране воцарился мир.

Стр. 375. *Цюн-ци Младший* — вымышленный герой; в древних памятниках, однако, есть упоминание о Цюн-ци — одном из четырех знаменитых злодеев и разбойников.

Стр. 376. *Шоуяншань* — название горы, на которой нашли приют братья Бо-и и Шу-ци после того, как оставили службу у царя У-вана.

Стр. 377. *...Хуан-ди победил... Чи Ю.*— Имеется в виду миф о борьбе мифического императора Хуан-ди против злого небесного божества Чи Ю.

Стр. 379. *Бин-цзюнь.*— Современный Лу Синю читатель угадывал в образе Бин-цзюня черты поэта Шао Сюнь-мэя, автора поэтического сборника «Преступление, похожее на цветок» (1928). Шао Сюнь-мэй презрительно отзывался о литераторах-профессионалах, которые потому «сделались литераторами, что им нечего есть...». По убеждению Шао Сюнь-мэя, литература не труд, а развлечение, и писателю не пристало интересоваться такой «грубой прозой», как кусок хлеба. В противном случае ему не создать настоящих великих произведений искусства. В одной из статей Лу Синь дал отпор барской эстетике Шао Сюнь-мэя, подчеркнув, что «золото и серебро не являются корнями и всходами литературного произведения».

Стр. 380. *...из-за «тенденциозности», которая лишала их стихи «искренности» и «теплоты»...* — В конфуцианской канонической книге «Лицзи» («Книга церемоний») сказано, что суть поэзии — в «искренности» и «теплоте»; здесь Лу Синь намекает на сторонников «чистого искусства», утверждавших, что тенденциозность вытесняет из поэзии теплоту и искренность.

Стр. 381. *Вся земля в Поднебесной — собственность государя...* — цитата из «Шицзина».

МЕЧ

Впервые напечатан в апреле — мае 1927 года в журнале «Манъюань» («Заросли») под названием «Мэй Цзянь-чи»; в русском переводе Л. Д. Позднеевой — в кн.: Лу Синь, Собр. соч. в четырех томах, т. 3, М. 1955.

Литературно обработанный вариант легенды, воспроизведенной Лу Синем в этом рассказе, можно найти в книге Гань Бао (IV в.) «Записки о поисках духов» («Соу шэнь цзи»), а также в некоторых других древних сочинениях. Лу Синь писал о рассказе: «Сейчас уже совсем забыл, из какой древней книги взят «Меч». Помню только, что в первоначальном тексте было около двухсот — трехсот иероглифов, я всего-навсего дополнил и упорядочил текст, но ничего не изменил». По словам Лу Синя, «Меч» отличался от других «Старых легенд в новой редакции» отсутствием сатирического подтекста: «Я полагаю, что в «Мече» нет мест, трудных для понимания. Лишь на одно, наверное, вы обратили внимание — на то, что смысл песен в рассказе не особенно ясен. Поскольку речь идет о странном человеке, то и песни, которые он поет, нам, людям обыкновенным, непонятны».

Стр. 386. *...похоронили... голову и тело в разных местах...* По старинным китайским поверьям, душа убитого не способна отомстить убийце, если тело убитого будет захоронено отдельно от головы.

ЗА ЗАСТАВУ

Впервые напечатан в январе 1936 года в журнале «Хайянь» («Буревестник»); в русском переводе Н. Т. Федоренко — в кн.: Лу Синь, Собр. соч. в четырех томах, т. 3, М. 1955.

Эпизод встречи Конфуция и Лао-цзы заимствован из «Исторических записок» Сыма Цяня и из 14-й главы книги «Чжуан-цзы», где дан текст беседы двух мудрецов, почти полностью воспроизведенный у Лу Синя в переводе на современный литературный язык.

Стр. 400. *Лао-цзы* (VI в. до н. э.?) — древнекитайский философ, объявляемый китайской традицией основоположником даосизма — философского учения, содержащего как материалистические, так и идеалистические элементы в объяснении мира и общества. Реальное существование человека по имени Лао-цзы по сей день оспаривается некоторыми учеными.

Стр. 400. *Гэнсан Чу* — ученик Лао-цзы.

Здоровы ли вы, учитель?..— По одной из версий, Конфуций был учеником Лао-цзы, но версия эта не является общепринятой.

Шесть канонов.— Во II в. н. э. все перечисленные сочинения, кроме «Книги музыки», текст которой был утрачен, вошли в состав канонического «Пятикнижья», представляющего собой важнейший свод древнего конфуцианства.

Двуполый лэй — фантастический зверь, упоминаемый в древней книге «Шаньхайцзин» («Книга гор и морей»), похожий на кошку, но с гривой; обитал в горах Даньюань.

Стр. 401. *Жань-ю* — ученик Конфуция.

А не вяленого ли гуся преподнес мне Конфуций?..— В древности китайцы при встрече обычно подносили в качестве подарка гуся.

Тишину библиотеки...— По одной из традиционных версий, Лао-цзы служил при дворе чжоуского царя и ведал хранилищем книг и документов.

Стр. 402. *...к зыбучим пескам...*— Имеются в виду пустыни на северо-западе Китая, в которые, по преданию, навеки уехал Лао-цзы.

Стр. 403. *...вычисти черного вола...*— Предание гласит, что Лао-цзы уехал на запад, в пустыню, верхом на черном буйволе.

Ханьгу — древняя пограничная застава, через которую вела дорога из Китая на запад.

Лу Бань (в других источниках Гуншу Бань) — искусный умелец, впоследствии вошедший в пантеон китайской народной религии как святой — покровитель плотников.

Мо Ди (Мо-цзы, 479—381 гг. до н. э.) — древнекитайский философ, создатель этико-политического учения, противник конфуцианцев, автор трактата «Мо-цзы»; Лу Бань был учеником Мо Ди.

Гуаньинь Си — страж заставы Ханьгу; легенда гласит, что именно ему Лао-цзы перед отъездом на запад оставил свой трактат «Дао дэ цзин» («Книга о Дао и его бытовании в человеке»); фактически же основной текст трактата был создан, видимо, в IV—III вв. до н. э. Дао — Путь, основной принцип философии даосизма, абсолютное начало вселенной и всего сущего в мире.

Стр. 404. *Кисти, ножи и дощечки.*— В древности, до изобретения бумаги, китайцы писали на бамбуковых планках или деревянных дощечках кистью и в случае надобности соскребали написанное ножом.

«Дао, которое можно назвать...» (и далее до слов: *«дверь во все таинства»)* — начальные фразы трактата «Дао дэ цзин».

Стр. 405. *«Путь совершенного человека — это деятельность, но не вражда»* — заключительные фразы трактата «Дао дэ цзин».

«...государственный язык» — общенациональный язык с единой произносительной нормой. Движение за государственный язык, развернувшееся в Китае в начале XX в., имело целью внедрить его как общегосударственное средство общения и устранить преграды, создаваемые диалектной раздробленностью.

Стр. 406. *Пять тысяч... иероглифов.*— В приписываемой Лао-цзы книге «Дао дэ цзин» насчитывается пять тысяч иероглифов; у китайцев принято измерять объем написанного по числу иероглифов в тексте.

Стр. 407. *«Тот, кто ничего не делает, все совершает...»* — цитата из трактата «Дао дэ цзин», характеризующая учение Лао-цзы о недеянии — основном понятии социально-этической концепции даосизма. Только недеяние дает возможность человеку сохранять естественность, без которой немыслимо постижение Дао.

ОТКАЗ ОТ НАПАДЕНИЯ

Рассказ был впервые напечатан в январе 1936 года в сборнике «Старые легенды в новой редакции»; в русском переводе В. А. Жилина под названием «Пацифист» — в кн.: Лу Синь, Рассказы, статьи, письма, Шанхай, 1949; в переводе В. С. Колоколова — в кн.: Лу Синь, Собр. соч. в четырех томах, т. 3, М. 1955; в переводе Л. Д. Позднеевой (под названием «Война войне») — в кн.: Лу Синь, Сатирические сказки, М. 1964. В основу рассказа положен эпизод из трактата «Мо-цзы»: визит Мо-цзы к правителю царства Чу (444 г. до н. э.), предпринятый с целью предотвратить поход царства Чу против царства Сун.

Стр. 408. *Гунсунь Гао* — вымышленный персонаж.

Цзы Ся — один из ближайших учеников Конфуция.

Так вы, учитель...— Нижеследующий диалог Мо-цзы с учеником Цзы Ся заимствован Лу Синем из книги «Мо-цзы».

Стр. 409. *Гэн Чжу-цзы* — ученик Мо-цзы.

Наша проповедь всеобщей любви наносит ущерб почитанию родителей, а потому уподобляет нас скотам.— В этих словах отражено отрицательное отношение конфуцианцев к учению Мо-цзы, проповедовавшего доктрину «всеобщей любви». Мо-цзы рассматривал «всеобщую любовь» как путь к достижению равенства между людьми, что явно выглядело как посягательство на иерархию в государстве и в семье, точно регламентированную и строго соблюдаемую конфуцианцами. Мо-цзы от-

рицал войны и насилие, осуждал роскошь и пышные обряды, что также не нравилось конфуцианцам.

Стр. 409. *Чу* — одно из семи Воюющих государств в V—III вв. до н. э., занимавшее территории в бассейне реки Янцзы, на которых ныне расположены провинции Хубэй, Аньхуй, Цзянсу.

Юэсцы — жители княжества Юэ, занимавшего в эпоху Воюющих государств (V—III вв. до н. э.) земли в восточной части Китая (ныне северные районы провинции Чжэцзян, провинция Цзянсу). В 334 г. до н. э. княжество Юэ было завоевано княжеством Чу.

Сун — небольшое царство эпохи Воюющих государств (V—III вв. до н. э.), поглощенное в 286 г. до н. э. более сильным царством Ци.

Стр. 411. *Цао Гун-цзы* — ученик Мо-цзы.

Гуань Цянь-ао — ученик Мо-цзы.

Цинь Гу-ли — ученик Мо-цзы.

Стр. 412. *Инчэн* — столица государства Чу (ныне уезд Цзянлин провинции Хубэй).

Стр. 413. *Лу* — царство эпохи Воюющих государств (V—III вв. до н. э.), занимавшее земли, на которых ныне находится провинция Шаньдун, родина Конфуция.

Стр. 415. *Юньмэн* — так назывался в древности район озер в Центральном Китае, прилегающих к излучине реки Янцзы (территория современной провинции Хубэй).

Ханьцзян — левый приток Янцзы.

Стр. 417. *Дань* — мера веса, около 59,6 кг.

Стр. 418. *Отряд по сбору... пожертвований...*— Деятельность подобных отрядов в современном Лу Синю Китае преследовала вполне определенную цель — ввести в заблуждение общественное мнение и создать видимость заботы правительства о национальных интересах страны при фактическом попустительстве агрессивным действиям милитаристской Японии; нередко случалось, что пожертвования на нужды обороны уходили в карманы бюрократов.

ВОСКРЕШЕНИЕ

Рассказ был впервые напечатан в январе 1936 года в сборнике «Старые легенды в новой редакции»; в русском переводе Л. Д. Позднеевой под названием «Воскрешение из мертвых» — в кн.: Лу Синь, Собр. соч. в четырех томах, т. 3, М. 1955.

Стр. 418. *Чжуан-цзы* (Чжуан Чжоу, 369—286 гг. до н. э.) — древнекитайский философ и писатель, представитель школы даосизма. Для учения Чжуан-цзы характерен субъективно-идеалистический взгляд на природу и общество, в нем сильны элементы мистицизма. Излагая свою

доктрину, Чжуан-цзы постоянно возвращается к мысли о том, что окружающий человека мир — иллюзия, а сама жизнь человека — сон. Чжуан-цзы писал ярко и образно, любил парадоксы и аллегории. Традиция считает его автором книги «Чжуан-цзы», признанной в VIII в. каноническим произведением даосизма. Однако в тексте «Чжуан-цзы» значительное место занимают позднейшие дополнения.

Источником сюжета рассказа «Воскрешение», написанного в диалогической форме, послужила притча об оживлении черепа философом Чжуан-цзы, взятая из книги «Чжуан-цзы».

Даосская шапка — черная шапочка, которую носили даосские монахи, пряча под нее собранные в пучок длинные волосы.

...«хоть в бабочку превращайся...» — намек на знаменитую притчу из книги «Чжуан-цзы» (см. стр. 420 настоящего издания).

Стр. 419. *Повелитель судеб.*— В народной религии китайцев властителем судеб считается бог очага.

Земли жёлты, небо тёмно...— первые строки из книги «Цяньцзы вэнь» («Тысяча слов»), составленной в V в. Чжоу Син-сы; это также одна из популярных книг, по которой дети в старом Китае начинали осваивать грамоту.

Стр. 419. *Чжао, Цянь, Сунь, Ли...*— первые четыре строки из книги «Байцзясин» («Все фамилии», X в.), по которой в старом Китае дети начинали учиться грамоте.

Стр. 420. *«Жизнь и смерть предначертаны судьбой»...*— слова из книги «Луньюй».

Стр. 421. *...потребовались детские души...*— Башня оленя была сооружена по приказу царя Чжоу-синя, и при ее закладке, в соответствии с древним обычаем, были принесены в жертву дети.

Стр. 422. *Циюань* — название местности в древнем царстве Сун; в биографии Чжуан-цзы говорится, что он некоторое время занимал чиновничью должность в Циюане, около города Мэн (ныне уезд Шанцю провинции Хэнань).

Стр. 423. *...и в том, и в другом заключается верное, и неверное...*— парадокс, характерный для книги «Чжуан-цзы».

Стр. 425. *«О равенстве вещей»* — название главы из книги «Чжуан-цзы»; «жизнь — это смерть, а смерть — это жизнь...» — цитаты из этой главы.

В. Петров

СОДЕРЖАНИЕ

Л. Эйдлин. О сюжетной прозе Лу Синя 5

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Былое. *Перевод В. Сорокина* 33

КЛИЧ

Предисловие к сборнику «Клич». *Перевод Вл. Рогова* . . . 45
Записки сумасшедшего. *Перевод С. Тихвинского* 49
Кун И-цзи. *Перевод Н. Федоренко* 59
Снадобье. *Перевод Н. Федоренко* 64
Завтра. *Перевод В. Васькова* 72
Маленькое происшествие. *Перевод Л. Эйдлина* 78
Рассказ о волосах. *Перевод Вл. Рогова* 80
Волнение. *Перевод Вл. Рогова* 83
Родина. *Перевод В. Сухорукова* 91
Предисловие автора к русскому переводу «Подлинной истории А-кью». *Перевод Вл. Рогова* 99
Подлинная история А-кью. *Перевод Вл. Рогова* 101
Праздник лета. *Перевод Вл. Рогова* 139
Блеск. *Перевод В. Васькова* 147
Кролики и кошка. *Перевод Вл. Рогова* 152
Утиная комедия. *Перевод Вл. Рогова* 155
Деревенское представление. *Перевод Вл. Рогова* 158

БЛУЖДАНИЯ

Моление о счастье. *Перевод А. Рогачева* 171
В кабачке. *Перевод С. Тихвинского* 185
Счастливая семья. *Перевод Вл. Рогова* 194
Мыло. *Перевод В. Сухорукова* 201
Светильник. *Перевод А. Гатова* 210
Напоказ толпе. *Перевод О. Фишман* 219
Почтенный учитель Гао. *Перевод А. Рогачева* 224
Одинокий. *Перевод В. Сорокина* 233
Скорбь по ушедшей. *Перевод О. Васькова* 252
Братья. *Перевод А. Гатова* 268
Развод. *Перевод А. Рогачева* 278

ДИКИЕ ТРАВЫ

Краткое предисловие. *Перевод В. Петрова* 291
Осенняя ночь. *Перевод Л. Эйдлина* 292
Прощание тени. *Перевод В. Петрова* 294
Нищие. *Перевод Л. Эйдлина* 295
Моя потерянная любовь. *Перевод В. Рогова* 296
Месть (1). *Перевод В. Петрова* 297
Месть (2). *Перевод В. Петрова* 298
Надежда. *Перевод В. Петрова* 299
Снег. *Перевод В. Петрова* 301
Бумажный змей. *Перевод Л. Эйдлина* 302
Прекрасная сказка. *Перевод В. Петрова* 304
Путник. *Перевод В. Петрова* 306
Мертвый огонь. *Перевод В. Петрова* 310
Возражение собаки. *Перевод Л. Эйдлина* 312
Прекрасный, но потерянный ад. *Перевод В. Петрова* . . . 313
Надгробная надпись. *Перевод В. Петрова* 314
Дрожь в предчувствии гибели. *Перевод В. Петрова* 315
Суждение. *Перевод Л. Эйдлина* 317
После смерти. *Перевод В. Петрова* 318
Такой боец. *Перевод В. Петрова* 321
Умный, дурак и раб. *Перевод В. Петрова* 323
Засушенный лист. *Перевод В. Петрова* 324
Среди поблекших пятен крови. *Перевод В. Петрова* 325
Пробуждение. *Перевод В. Петрова* 326

СТАРЫЕ ЛЕГЕНДЫ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

Предисловие. *Перевод В. Сухорукова* 331
Починка неба. *Перевод В. Сорокина* 333
Побег на луну. *Перевод В. Сухорукова* 341
Покорение потопа. *Перевод В. Сорокина* 351
За папоротником. *Перевод В. Сухорукова* 366
Меч. *Перевод В. Сорокина* 383
За заставу. *Перевод Н. Федоренко* 400
Отказ от нападения. *Перевод В. Сухорукова* 408
Воскрешение. *Перевод В. Семанова* 418

Примечания *Н. Федоренко, В. Петрова* 429

БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
СЕРИЯ ТРЕТЬЯ
Том 162

Лу Синь
ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

*

Редактор С. Хохлова
Оформление «Библиотеки»
Д. Бисти
Художественный редактор
Л. Калитовская
Технический редактор
В. Иващенко
Корректоры
Р. Пунга и А. Юрьева

*

Сдано в набор 12/XI 1970 г. Подписано к печати 5/IV 1971 г. Бумага типографская № 1 60×84¹/₁₆. 31 печ. л. 28,92 усл. печ. л. 29,69 уч.-изд. л. 1 вкл.+4 накидок = 30,23 л. Тираж 300 000 (1—150 000) экз. Заказ № 3976. Цена 1 р. 59 к.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

*

Ордена Ленина типография
«Красный пролетарий»
Москва, Краснопролетарская, 16